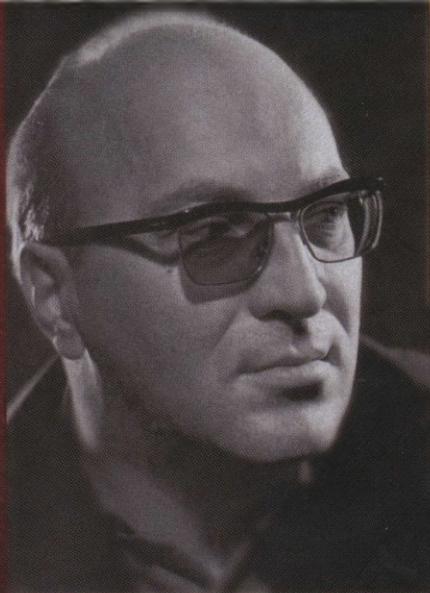


Жизнь Юрия Казакова



*Игорь
Кузьмичев*



*Игорь
Кузьмичев*



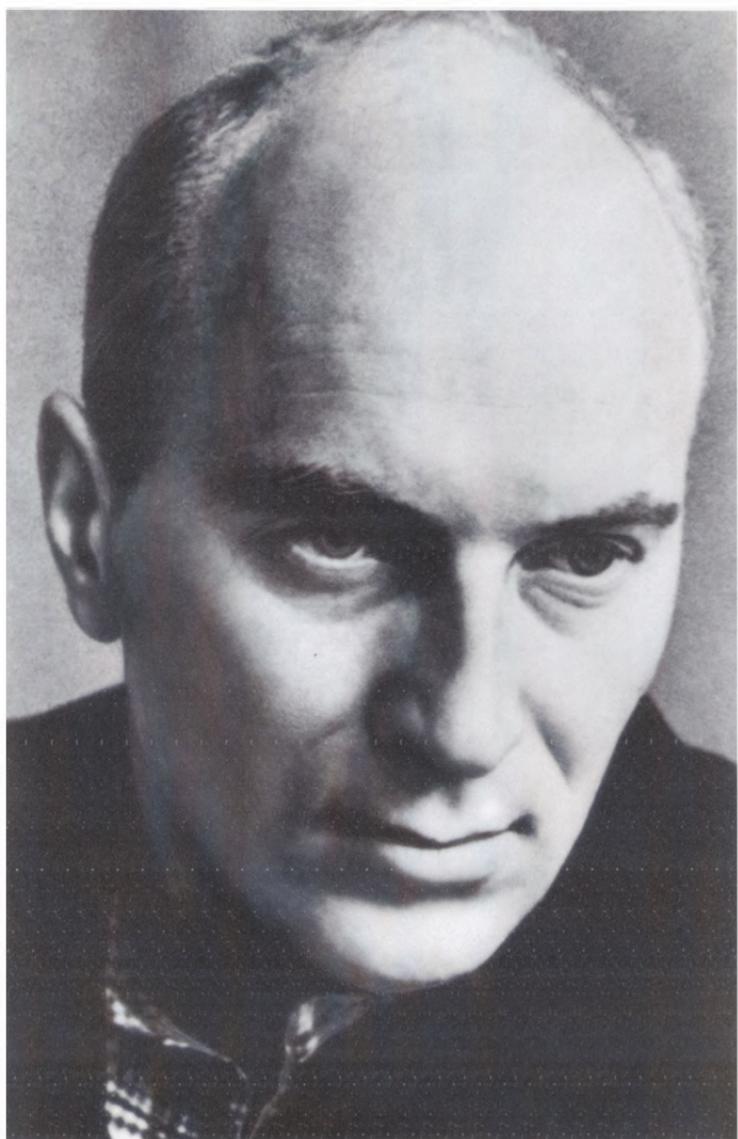
Жизнь

Юрия Казакова

документальное повествование



Русские писатели
ЖИЗНЬ и СУДЬБА



журнал звезда



**Издание выпущено при поддержке
Комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации
Санкт-Петербурга**

Игорь Кузьмичев

**ЖИЗНЬ
ЮРИЯ КАЗАКОВА**

Документальное повествование

Союз писателей Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
2012

ББК 84 Р2
К 89

На переплете:
Дом на Арбате, где Казаков жил с 1930 по 1964 год,
и дача в Абрамцеве.

Редактор
А. Ю. Арьев

Художник
В. А. Гусаков

ISBN 978-5-7439-0160-9

© Журнал «Звезда», 2012
© И. С. Кузьмичев, 2012
© В. А. Гусаков (худож. оформление), 2012

ВСТУПЛЕНИЕ

Когда я думаю о Юрии Казакове, мне вспоминаются кушнеровские строчки, вошедшие в поговорку: «Времена не выбирают, в них живут и умирают...» Казаков родился в год десятилетия «Великого Октября», а умер за десять лет до падения советской власти. Другой жизни, кроме советской, он не знал, но, пребывая в советском вакууме, оставил впечатление, что одинаково свободно чувствовал себя в разных эпохах — и в России старинной, и в предреволюционной, и в выпавшей ему на долю современности. Можно ли называть Казакова советским писателем? По внешним приметам — да, можно, к своему профессиональному цеху, к Союзу советских писателей он принадлежал. А был ли он приверженцем соцреализма, — безусловно, не был, и к официальной идеологии относился отрицательно. Больше всего на свете Казаков любил свою многострадальную страну, бился над тайной русского характера и неуклонно отстаивал *право на себя*, будучи, по известной формуле, «законопослушным, но не верноподданным». Человек пронзительного таланта, писатель безупречно честный, Казаков рано замолчал, рано ушел, никогда ни в чем не поступаясь своей внутренней свободой.

Желание написать книгу о Юрии Казакове появилось у меня давно — когда он был жив, когда еще существовало государство Советский Союз, когда был уже опубликован последний его рассказ «Во сне ты горько плакал», а в кругу наших общих литературных знакомых огорчались, что Казаков одиноко обретается на даче в Абрамцеве, болеет и ничего вроде бы не пишет. Я послал ему письмо, сообщив о своих робких намерениях, и он в январе

1981 года откликнулся: «Мне кажется, самым лучшим методом вашей работы, если вы еще не раздумали, будет следующий: вы пишете себе и пишете, исходя, разумеется, из вашего плана, из вашей концепции, а я, если по ходу работы у вас возникнут те или иные вопросы, буду стараться отвечать на них». Прочитав это письмо, я не только не раздумал, а в своем желании укрепился, задавал ему вопросы, а он отвечал. В марте 1981 года мне посчастливилось провести в Абрамцеве, по приглашению хозяина, целый день, познакомиться с его мамашей, Устиньей Андреевной. Работа моя над книгой подвигалась трудно, неспешно, а в ноябре 1982 года Юрий Казаков скончался.

На его похоронах — на гражданской панихиде в Малом зале ЦДЛ и на Ваганьковом кладбище — я встретился с Устиньей Андреевной и впервые с женой Казакова Тamarой Михайловной Судник. Когда образовалась комиссия по наследию Казакова, куда включили и меня, мы с Тamarой Михайловной взялись готовить к публикации материалы из архива (в частности, для «Нового мира» и «Звезды»). В результате в 1986 году увидел свет сборник «Две ночи. Проза. Заметки. Наброски», и в том же году в Ленинграде, в «Советском писателе», издали мою книгу «Юрий Казаков. Набросок портрета». В ту пору появилось несколько объемных казаковских однотомников, друзья принялись публиковать сохранившиеся у них письма, воспоминания, встрепенулась, было, и критика, но события 1991—1993 годов резко изменили привычное течение жизни, в том числе и литературной.

О Казакове на какой-то момент забыли, но постепенно ситуация стала меняться к лучшему. Журнал «Новый мир» в 2000 году учредил ежегодную премию имени Казакова за рассказ, написанный на русском языке и напечатанный на территории России. Казаковская проза прочно обосновалась в школьных хрестоматиях рядом с текстами классиков. На Арбате, на доме 30,, в феврале 2008 года, преодолев долгую бюрократическую волокиту, установили наконец памятную мемориальную доску. Казакова издают теперь не только в Москве, а и в Иркутске, Алматы,, в Санкт-Петербурге мне удалось дважды — в 2003 и 2007 годах — выпустить в «Азбуке» сборник «Легкое дыхание», включающий основную казаковскую прозу вместе с отрывками и набросками.. В 2008 году книжечка рассказов «Старый дом» была напечатана в издательстве Сретенского монастыря по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, а издательство «Русский мир» в 2011 году завершило выпуск трехтом-

ника, наиболее полно представляющего казаковское литературное наследие.

Со дня смерти Юрия Казакова минуло тридцать лет. Столь внушительная историческая дистанция позволяет заново взглянуть в пройденный писателем земной путь. Как удавалось ему в советских условиях сохранять в себе ощущение вечности и острое чувство правды? Неколебимо верить в свое призвание, в высшее предназначение писателя? Мне подумалось, что теперь об этом можно будет говорить куда как свободнее, — с благодарностью вспоминая близких и Казакову, и мне товарищей, ныне покойных Глеба Горышина, Виктора Конецкого, Эдуарда Шима, всех, кто в разное время помогал мне в работе, и по-прежнему надеясь на понимание и поддержку Тамары Михайловны Судник, за что ей великое спасибо.

Глава 1

«САМОЕ ПЕЧАЛЬНОЕ ВРЕМЯ...»

Юрий Казаков родился в Москве и долго жил на Арбате. Сознание кровной причастности к этой легендарной улице с детства вселяло в него особую гордость, одаривало счастливым, победительным чувством вершинности. «Мы считали, — вспоминал Казаков арбатских мальчишек, — что мы лучшие ребята в мире! Родились не только в Москве, в столице нашей Родины, но и в „столице Москвы“ — на Арбате. Мы друг друга называли земляками».

Казаков жил в доме 30, где спокон веку находился знаменитый «Зоомагазин», а едва ли не напротив, наискосок, в доме 43, жил в детстве Булат Окуджава, элегически воспевавший «арбатство, растворенное в крови» и запечатлевший в «Упраздненном театре» свой неказистый двор: «Квадрат из трех двухэтажных флигелей и главного четырехэтажного... Посредине — большой помойный ящик. Асфальт и редкая блеклая травка кое-где. Родина... Одно старое дерево неизвестного племени возле помойки, под которым сидят старые няньки. Здесь дети играют в „салочки“, в „прятки“, в „классики“, познают „нехорошие“ слова и, распахнув до предела свои жадные глазки, наблюдают, как в подворотне пьют из горлышка взрослые дяди и тети...» Детская душа рвалась во двор, где «домашние несчастья тускнели и никли»: «Там бушевали иные страсти, их грохот сотрясал землю, но это был возвышенный грохот, а не томительное, почти безнадежное домашнее увядание».

То было «до войны», но и потом, в скудные и настоженные послевоенные годы еще торжествовала на Арбате молчаливая солидарность воспетых Окуджавой переулков и дворов, постигающих науку «презрения к дурным предчувствиям». Еще был властен непререкаемый дворовый «кодекс чести». Впрочем, так было не только на Арбате. Андрей Вознесенский, обитавший в Замоскворечье, вспоминал: «4-й Щипковский переулок! О, мир сумерек, трамвайных подножек, буферов, игральных жосточек, майских жуков — тогда на земле еще жили такие существа. Стук консерв-

ных банок, которые мы гоняли вместо мяча, сливался с визгом „Рио-Риты“ из окон и стертой, соскальзывающей лещенковской „Муркой“, записанной на рентгенокостях. Двор был котлом, клубом, общиной, судилищем, голодным и справедливым. Мы были мелюзгой двора, огольцами, хранителями его тайн, законов, его великого фольклора. Мы знали все...»

Юрий Казаков родился 8 августа 1927 года, восемнадцать ему исполнилось в год Победы. Булат Окуджава — такой же «дворянин арбатского двора», но на три года постарше, — уйдя в 1942-м школяр-добровольцем на фронт, успел к тому моменту повоевать, был ранен, а Андрей Вознесенский, будучи на шесть лет моложе Казакова, и после войны оставался мальчишкой, «мелюзгой двора».

Возрастная граница, разделявшая воевавших и невоевавших, пролегла где-то поблизости. Тот, кто побывал в окопах или хотя бы в военном училище, претендовал на право считать себя неизмеримо взрослее своего чуть младшего сверстника, не державшего в руках винтовку. Но все же граница эта, с годами совсем стершаяся, была условной: каждый получил от судьбы свое.

Булат Окуджава — фронтовик, а вот, скажем, Юрий Трифонов, и Юрий Казаков, и Георгий Семенов, и Андрей Вознесенский — все они родились в Москве между 1925 и 1933 годами — люди, собственно, исторически одного промежуточного поколения, видевшие Отечественную войну воочию и познавшие ее на личном, пусть полудетском опыте. Люди поколения «если не воевавшего, то хлебнувшего», как выразился Виктор Конецкий, родившийся в 1929 году в Ленинграде и там же перенесший в 1941—1942 годах роковую блокадную зиму.

Казаков с грустью вспоминал свой тесный неухоженный арбатский двор, свою убогую коммуналку. «Вы, наверное, не раз видели мой дом на Арбате, где „Зоомагазин“, — говорил он как-то в интервью. — Удивляюсь сейчас многотерпению моих соседей: каждый божий день играл я на контрабасе. К счастью, это не скрипка, звук глухой — и не жаловались. Понимали, что человек „учится музыке“. Кстати, в нашем дворе жил Рихтер со своей женой Ниной Дорлиак. И когда летом, с открытыми окнами, он играл на рояле, а она пела, я бросал все и слушал. Правда, тогда я не знал еще, что он — Рихтер...»

Послевоенная Москва, пока не тронутые бульдозером арбатские переулки, полуголодная юность, занятия музыкой...

О многом не знал Юрий Казаков, когда учился играть на контрабасе. И о том, что уготовано ему не музыкальное, а литератур-

ное поприще, тоже вряд ли догадывался. Ни по рождению, ни по домашнему воспитанию он не был интеллигентом, рос в рабочей, едва сводившей концы с концами, семье. В «Автобиографии» (1965) сообщил: «В роду нашем, насколько мне известно, не было ни одного образованного человека, хотя талантливы были многие. Таким образом, я — первый человек в нашей родне, занимающийся литературным трудом». Что скрывалось за этими словами? Горделивое смущение? В разные годы Казаков по-разному рассуждал о пользе собственного образования, но, считая себя фаталистом, в талант, дарованный ему свыше, веровал свято. Его увлечение музыкой и беспокойная тяга к сочинительству были спонтанными...

Позже, когда стал он признанным прозаиком, его художественная культура воспринималась порой как врожденная, наследственная, делались даже попытки объяснять ее «секретами» далекой казаковской родословной, — и в этом слышалось что-то от семейной легенды.

В. Турбин после смерти Казакова размышлял о том, что в Казакове всегда чувствовался неожиданный, но «подлинный, высочайшей пробы» аристократизм. «И поверь мы в учение, предполагающее прохождение нашими душами вереницы мирских воплощений, — писал В. Турбин, увлекаясь, — я увидел бы Казакова где-нибудь в XIV столетии: в предыдущем воплощении был он, вероятно, боярином русским. Из каких-нибудь северных, вологодских бояр. Его вотчина таилась в дебрях лесных, на берегах шелковистых синих озер; и дом у боярина был, конечно же, полная чаша, и в охоте знал толк боярин, и в ратных делах...»

Что и говорить, — сказочный, величавый образ!

Красивая догадка, в которой, как знать, есть, наверное, и своя доля истины, хотя более точен В. Турбин, когда упоминает о широте и артистичности натуры Казакова, о его природном достоинстве, о том, что Казаков одинаково естественно смотрелся бы «на дипломатическом приеме высшего ранга и в компании отчаянных лесорубов где-нибудь в забытом богом леспромхозе; в утонченном философском обществе и в железнодорожном вагоне, расхлябанном и замусоренном, битком набитом самым шалым народом».

Кое-какие детали казаковской родословной, судя по всему, проглядывают в рассказе «Розовые туфли», где, видимо, отложились, пусть и в трансформированном виде, семейные предания о пращурах писателя. Один из этих пращуров, странник и молельник, с лица был темен, как икона, бороду имел белую, апостоль-

скую, глаза голубые, как «небушко утром», на половине жизни он в одночасье ослеп, но прожил до ста шестнадцати лет и помер в Великом Устюге по пути в Соловки. Другой же, донской казак, отчаянный ухарь, в 1812 году дошел с Платовым до Парижа, а вернувшись с войны, поселился в смоленской деревне, в Дорогобужском уезде и прославился там как мастер-сапожник и знаменитый по уезду скрипач, причем он сам и скрипки делал, и детей своих выучил играть на разных инструментах, — да сгубила его страсть к вину...

А вот Э. Карпачев, воспроизводя в воспоминаниях «Повесть о несбывшемся разговоре» не однажды слышанный им от Казакова устный рассказ, сообщает: один из прадедов Казакова, на самом деле, ослеп в шестьдесят лет, слепцом отправился в Иерусалим ко Гробу Господню, взяв себе в поводыри двенадцатилетнего мальчика; их пешее путешествие туда и обратно длилось семь лет, а вернувшись, прадед Казакова прожил еще долго и скончался совсем древним старцем. «Почти фантастическая небывальщина этого предания, — по словам Э. Карпачева, — всегда как-то поновому потрясала Юрия Павловича...»

Что же до родителей Казакова, то и отец его, и мать, действительно, выходцы из крестьян Смоленской губернии. Еще в отрочестве устремились они в Москву в поисках заработка, в надежде на городскую удачу. Отец писателя, Павел Гаврилович Казаков (1901—1974), сын сапожника, очутился в столице подростком и устроился на первых порах в небольшую типографию учеником наборщика. А мать, Устинья Андреевна (1900—1984), как она сама мне рассказывала, девчонкой еще, незадолго до революции, служила в няньках по московским господским домам, потом была подсобницей на каком-то военном заводишке, отравилась там однажды газом, позже выучилась на медсестру и часто меняла места работы.

В дневнике 1958 года Казаков записал: «А во сне мне приснилось вдруг далекое-далекое, кусочек самого раннего детства, когда мама работала в амбулатории завода им. Бадаева, и я часто бегал и играл там один по вечерам. Амбулатория помещалась в мрачном здании готического стиля, там же, где были цеха розлива и внизу подвалы. Вечерами она была особенно сумрачна и страшна своими запахами, своим светом и тишиной. А пахло там сложно: сиропом, пивными дрожжами, лекарствами, асфальтом — залы этого здания были покрыты асфальтом, и он впитывал в себя многолетние лужи, — пахло йодом, кислотами и еще чем-то вроде ана-

томического театра, — жутко мне было бегать и лазить там одному, тогда мне было 5 лет».

Павел Гаврилович, человек добрый и общительный, мастер на все руки, наборщиком не стал, отслужил положенный срок в Красной Армии, работал много лет плотником, сантехником и в Москве быстро «пролетаризировался». А Устинья Андреевна, проведя в огромном городе всю жизнь, напротив, сохранила в себе и крестьянскую прижимистую хватку, и знание сельских обычаев, и самобытную народную речь.

Воспоминания о деревенском прошлом, о родной Смоленщине в семье не затухали. В годы детства, говорил Казаков, когда в Москве собирались вместе братья матери, тут же в их разговоре начинали проскальзывать деревенские словечки и выражения, а позднее, отправляясь летом в деревню, он ловил себя на мысли, что «все это уже видел: забыл, а тут вдруг вспомнил». Неожиданные, не правда ли, ощущения для столичного, арбатского жителя — забыл и вдруг вспомнил!

Тем не менее за этими ощущениями скрывается фундаментальное свойство личности Казакова: его, я бы сказал, глубинная память, душевная интуиция, обостренное чувство причастности к своему семейному роду, бессознательное стремление вопрошать чуть ли не доисторическое прошлое и неведомо какими путями угадывать ответы на свои нетерпеливые вопросы.

Не следует, конечно, забывать, что ощущения эти вызрели у Казакова по прошествии лет. А в детстве, — о котором он ни в беседах, ни в своих рассказах вспоминать не любил, детство, как заметил он в письме ко мне, было у него «весьма и весьма бедно событиями (если не считать войну, да войной кого удивишь?)», — в детстве его еще не пробудившееся сознание словно бы окутывала душевная дрема: было в его житейских обстоятельствах нечто сковывающее, какая-то подавленность и сирость, нечто мешавшее ему дышать полной грудью.

Начать с того, что в начале 1930-х годов Павла Гавриловича осудили на трехлетний срок высылки из Москвы, — кто-то донес, что он в рабочей компании за кружкой пива упомянул о голоде и бунте на Тамбовщине, — и судьба его была надолго предрешена, у властей он постоянно числился в «неблагонадежных», — и это не могло не сказаться на положении его семьи. Павел Гаврилович явным «врагом народа» не считался, но тень подозрения лежала на нем прочно. «За что сломали человеку жизнь (а сыну надломили)... Не писатель, не артист, не офицер, не промпартиец.

Сантехник...» — недоумевала Тамара Жирмунская, вспоминая юного Казакова, настороженного и ранимого, и его коммуналку, где ей доводилось бывать.

В пятнадцатиметровой комнате, перегороденной старой мебелью на «столовую» и «спальню», помещалось четыре человека, Устинья Андреевна воспитывала сироту-племянницу. Она рассказывала Жирмунской — какой «Юрочка музыкальный» определили еще в детском саду: «Приведу его домой — в руки балалайку... Он радио слушает и мотивы подбирает. Залихватски „цыганочку“ играл...» Позже освоил аккордеон, случалось подрабатывать на танцах. Польза была очевидной. А вот сочинительства Устинья Андреевна, по словам Т. Жирмунской, никак не одобряла, повторяла, что литература — жестокое дело, что знай она это раньше, нипочем бы не пустила сына на это поприще: «Она так и выразилась по старинке: „поприще“». В раннем детстве Казаков читал мало. Было не до того. Надо было выживать, полагаясь лишь на самих себя. Устинья Андреевна была женщиной грубоватой, напористой, с готовностью встречала любые жизненные передряги и в семье, безусловно, главенствовала.

В годы войны все у них с матерью упиралось в заботы «о хлебе, одеже», о том, как обменять карточные талоны на продукты, они откровенно голодали, соглашаясь на самую черную работу. По рассказам Устиньи Андреевны, они с сыном возили кряжи для топки бани, разгружали баржи с картошкой и капустой в осажденной Москве, чистили кирками лед на Крымском мосту... Чтобы как-то помочь семье, Казакову не терпелось поскорее обрести самостоятельность, получить конкретную профессию, определиться при деле. Словом, после восьмого класса, в 1944 году, он поступил в московский Архитектурно-строительный техникум, а в 1946-м — в Музыкальное училище имени Гнесиных.

Военное отрочество, послевоенная юность — глухая, безрадостная полоса в биографии Казакова.

Много лет спустя в письме к Эдуарду Шиму он жаловался: «А вообще-то грустно, как начнешь перебирать юность, не знаю, как у тебя, — у меня это самое печальное время. Хоть брось!..»

Спасительной отдушиной обещала стать музыка. В 1942 году Казаков учился в музыкальной школе по классу виолончели. «Но так как заниматься музыкой я начал довольно поздно (с 15 лет) и пальцы мои были уже не столь гибки, то я, — рассказывал он, — скоро понял, что виртуозом-виолончелистом мне не стать, и пе-

решил на контрабас, потому что контрабас вообще менее „технический“ инструмент, и тут я мог рассчитывать на успех.

В училище имени Гнесиных Казаков попал в класс профессора В. В. Хоменко, с которым у него установились добрые отношения. По первому впечатлению, Казаков показался преподавателю «несколько замкнутым, очень мягким по характеру, с ласковыми глазами юношей», но потом выяснилось, что юноша этот и самолюбив, и наделен недюжинным упорством. «Эта завидная его черта, очень важная для будущего музыканта-профессионала, весьма подкупила меня», — вспоминал профессор, рассказывая, как, несмотря на бедность в семье и отсутствие дома инструмента, Юра Казаков «самозабвенно и горячо» осваивал контрабас. Разумеется, не все и не всегда у него получалось. «Часто, придя на урок с хорошо подготовленным заданием, — вспоминал В. В. Хоменко, — Юра по-детски радовался за себя и был счастлив до покраснения лица, особенно когда я оставался доволен им и хвалил его хорошую игру.. Но бывали и такие моменты, когда после урока он чувствовал себя, что называется, не в своей тарелке, и тогда он погружался в молчаливое уныние и грустное отчаяние».

Музыка сослужила Казакову добрую службу, однако, как выяснилось, занятия ею не слишком способствовали его образованию и взрослению. «Когда я занимался музыкой, — признавался Казаков впоследствии, — то главным считал не культуру музыканта, а технику, то есть чем лучше ты играешь, тем больше тебе цена. А чтобы играть хорошо, надо шесть-восемь часов заниматься. Потому-то многие прекрасные музыканты инфантильны, чтобы не сказать больше... Словом, мое занятие музыкой сыграло и такую роль: в Литературный институт я поступил, литературу художественную зная на совершенно обывательском уровне...»

Что же касается детства, то, поддаваясь давнему, но не забытому, так и не изжитому до конца душевному гнету, Казаков о своем суровом, нескладном детстве распространяться — повторяю — не любил. И не отличался, как большинство его литературных сверстников, желанием вспоминать о военном лихолетье, хотя Великая Отечественная война в его сознании навсегда запечатлелась как первый грозный рубеж их общей судьбы.

...Ровесники Казакова, люди его поколения, предьявляли войне свой неоплаченный счет. Одни из них детьми узнали унижение плена и каторгу немецких арбайтслагерей, другие вынесли на себе кошмары ленинградской блокады, третьи хлебнули горя, попав

в неисчислимые потоки беженцев, и даже те, кто не мыкался по военным перепутьям, а вроде бы сравнительно спокойно жил в глубоком тылу, где-нибудь в алтайской деревне или на далекой сибирской станции, не могли не слышать каждодневного дыхания фронта. Как бы по-разному ни складывались их личные биографии, чувство общей судьбы, чувство пережитой в детстве несправедливости и обиды никогда не покидало их.

Чем обернулась для них война?

Василий Шукшин:

«В войну, с самого ее начала, больше всего стали терзать нас, ребятишек, две беды: голод и холод. Обе сразу наваливались, как подступала бесконечная наша сибирская зима со своими буранами и злыми морозами... Будь она трижды проклята, эта зимушка-зима!...»

Виктор Конецкий:

«На рубеже сорок первого и сорок второго годов за хлебом в булочную надо было отправляться рано утром, до открытия. Иначе можно было остаться и без ста двадцати пяти граммов. Света в коридоре и передней не было. На вход и выход мы пробирались, ощупывая в темноте трупы, сложенные вдоль стены. Несмотря на уличный мороз в квартире, запах разложения был. И страх перед трупами сохранялся, но тусклый страх, монотонный, страх без страха перед неожиданным испугом, страх перед мразью тления...»

Анатолий Приставкин:

«Нас было в спальне одиннадцать человек. У каждого из нас на фронте был отец. И при каждой похоронке, приходившей в детдом, одиннадцать маленьких сердец замирали. Но черные листки шли в другие спальни. И мы облегченно вздыхали и начинали опять ждать отцов. Это было единственное чувство, которое не угасало всю войну...»

Виталий Семин:

«Почти все лагерные полицейские были пожилыми людьми. Они подошли к тому возрасту, за которым человека в Германии называют „опа“. Опа — дед, старик, старина, отец... Опы действовали быстро, жестоко и весело. Били не только гумой — резиновой палкой, но ногами, руками и тем, что в этот момент попадало под руку. Тогда я понял, что такое *выворачивающая душу ненависть*. Душа выворачивалась именно оттого, что, как сказали бы теперь, разрушалась вся система моей ориентации в этом мире. Обманывали вернейшие, определяемые самим инстинктом признаки благоразумия, снисходительности, доброты...»

Так свидетельствовали они сами, и это от их имени говорил на одном из писательских съездов Евгений Евтушенко: «Наше поколение по возрастной причине не участвовало в Великой Отечественной войне, но горечь первых отступлений, страдания под гнетом оккупации, блокадный голод, липкий хлеб эвакуации пополам с полынью и лебедой, шелест похоронок в руках наших матерей, смертельный страх потерять продуктовые карточки, спрятанные в холщовый мешочек на шее, — все это было суровой начальной школой нашего поколения. Когда нам не хватало тетрадок, мы писали диктанты на газетах, между строк сообщений Информбюро, и мы были сами похожи на эти хрупкие, неуверенные букочки между строками истории нашего народа... Война унижала нас голодом, холодом, нищетой, и в то же время война возвышала нас ощущением причастности к истории, ощущением самих себя как части великого народа, единого в своем стремлении к победе. Мы — дети Великой Отечественной войны, мы — это зеленые, еще некрепкие побеги на древке знамени Победы, водруженного над рейхстагом...»

Зеленые, еще некрепкие побеги...

Да, они рано узнали, что такое голод и холод, что такое печаль бездомья и тоска военного неуютя. Они рано увидели смерть вблизи, испытали страх перед ее тупой силой, росли они чаще всего без отцов, без требовательной мужской заботы, на всю жизнь уверовав в непререкаемую женскую опеку, в самоотверженную (иногда до деспотизма) любовь матерей. Ожесточаясь и дичая, они воспринимали войну обнаженной, ранимой душой подростков — и потому острее и трагичнее взрослых.

Не солдаты-победители, а удрученные своим бессилием дети, страдающие оттого, что судьба не позволила им распрямиться во весь рост в самую нежную пору их становления, позабыв их между строками истории. Они знали о войне свою, лишь им одним ведомую правду, они яростно ненавидели фашизм и рано или поздно должны были рассказать об этом в своих книгах. Память о войне, о своем попранном детстве позвала их в литературу.

Стоит перечитать рассказы, повести и романы Виталия Семина и Владимира Ляленкова, Виктора Голявкина и Рида Грачева, Виктора Конецкого и Глеба Горышина, Василия Шукшина и Василия Белова, Майи Ганиной и Майи Данини, Эдуарда Шима и Георгия Семенова, Михаила Рощина и Анатолия Приставкина, стоит припомнить стихи Глеба Горбовского и Евгения Евтушенко, посмотреть фильм Андрея Тарковского «Иваново детство», —

и будет ясно: им выпало на долю соприкоснуться с историей в «минуты роковые»...

Казakov в ноябре 1959 года писал В. Ф. Пановой: «Я в Москве был всю войну и уверен, что война в огромном городе имеет особенный привкус, особенную страшность, потому что, когда миллионы людей катастрофически падают из нормальной жизни в ненормальную, это что-то более гнетущее, чем взрывы бомб и снарядов в поле, в лесу, по деревням, словом — война пространственная. Да, когда большой город погружается во тьму, а дети в муках сравниваются со взрослыми, это потрясает...»

Будучи крайне требователен к себе, Казаков осторожно, но все-таки примеривался к жгучему военному материалу, задумываясь как раз над участью того человека, который оказался в детстве между строками истории.

В 1962 году, отвечая на анкету журнала «Вопросы литературы», Казаков говорил: «Со страхом и надеждой я приступаю теперь к антивоенной повести. Вот, кстати, важная проблема, может быть, самая важная сейчас, и страшно, что можешь написать об этом недостаточно сильно. Как я хочу написать об этом честно и сильно!»

Тогда же, в 1962 году, он рассказывал Конечному в письме, что повесть «очень выходит необычная — с философией, прошлым, настоящим и будущим и называется так: «Возраст Иисуса Христа». Герою теперь тридцать три года, герой этот, — признавался Казаков, — в большой мере — я. О ком же писать кроме?»

Насколько можно судить по разным авторским высказываниям и по сохранившимся в архиве писателя наброскам, сюжетной основой повести с самого начала должно было послужить сопоставление двух ночей: первая заставала героя беспомощным тринадцатилетним мальчишкой, она была «полна страхами, плачем, горем и великим мужеством»; вторая — в назойливых, повторяющихся снах — настигала его через двадцать лет и заставляла казаковского героя перебирать в памяти события своей недолгой жизни, подводить итоги: теперь перед ним будто заново, будто в каком-то озарении открывался вечный, безбрежный мир, и герой отчетливо понимал свою силу и «свою ответственность перед судьбами людей».

Действие повести начиналось душным июльским вечером 1941 года, когда на крышу арбатского дома, где-то возле Вахтанговского театра, поднимались жильцы, чтобы «дежурить всю ночь, прятаться от зенитных осколков, слушать грохот выстрелов и взрывов, тушить зажигалки и смотреть сверху на горящую Москву».

Их было четверо: Василий, простой работяга (в одном варианте — заводской токарь, в другом — местный водопроводчик), грубый, но искренний, бывалый парень; татарка Фаина, дворничиха дома, маленькая, смуглая и тонкая, безоглядно влюбленная в Василия; восемнадцатилетняя мотогонщица Лена (Вероника), известная всему Арбату, девушка с «ангельски красивым лицом», еще совсем недавно гонявшая на своем «индиан-скауте» по цирковой стене, а теперь учившаяся на курсах медсестер; и наконец, музыкант, виолончелист Дима (Элигий).

Они были очень молоды, война еще воспринималась ими как «война вообще, для всех, для других»; каждый не сомневался, что он-то уцелеет вопреки всем напастям. Они были молоды, но все-таки взрослые, а пятым с ними на крыше оказался мальчик Коля.

«Это был мальчик как мальчик, с розовыми, пламенеющими на свету ушами, с белобрысой челкой и тем неопределенным цветом светлых глаз и с их трудно постижимым, переменчивым выражением, какие постоянно встречаются у ребят его возраста — а ему было тринадцать лет. Года полтора назад он начал быстро расти, вытягиваться и был теперь уже отрочески высок, но худ, длинноног, тонкорук, до дикости, до неимоверной красноты и испарины застенчив. Он, как почти все ребята его возраста, считал себя более взрослым, чем казался остальным, и поэтому малейшее пренебрежение к нему со стороны настоящих взрослых, его еще не переломившийся детский голос, его худоба и веснушки, проступающие даже сквозь загар, делали его излишне мнительным, поминутно проваливающимся в жаркий стыд и, что хуже всего, ясно говорили всем, что он еще мальчик».

Такова расстановка героев повести в первом ее эпизоде, а сам эпизод этот: бомбежка, во время которой Коля вместе со взрослыми, надрываясь и преодолевая страх, тушил зажигалки, потом взрывной волной его выбросило с чердака на лестничную площадку — могло убить либо искалечить, он спасся чудом, — а мотогонщицу Лену скинуло с крыши. Безвольное, мертвое тело Лены на битых стеклах дымного двора, раненые на Арбате, мать Коли, обезумевшая, «всклооченная, с мокрыми от слез очками», бросившаяся к нему с «хриплым чужим криком», поверившая было, что он убит, что «понесли сыночка», — вся эта смертельно страшная картина навсегда врезалась в Колину память, ощущение пережитого легло роковым бременем на всю его дальнейшую жизнь.

И двадцать лет спустя, когда его уже величали Николаем Петровичем, когда он жил не на Арбате, а на Юго-Западе в отдельной

квартире, работал на заводе, был давно женат и его сын Петя очень напоминал того Колю, ушедшего «навсегда во тьму времен», когда по поводу своих тридцати трех он обычно слышал: «О! Возраст Иисуса Христа!» — и почему-то стыдился, понимая, что «не совершил еще ничего легендарного», — посещали казаковского Николая Петровича сны, возвращавшие его в ту июльскую ночь над Арбатом.

Страхи повторялись, опять нависала война, уже атомная, опять опускалась ночь, и надо было куда-то бежать, где-то скрыться, «потому что сейчас *это* произойдет». Он метался, люди в подворотнях сдавливались, как под гробовой крышкой, рвались со двора на улицу, и над городом — это даже была не Москва! — вспыхивала и «заливала все вокруг невыносимым зимним блеском» атомная бомба... Николай Петрович просыпался в своей теплой постели, видел жену, слышал посапывание сына из соседней комнаты, немного успокаивался, но сердце у него болело и бил нервный озноб.

После таких снов Николай Петрович обычно окидывал взглядом всю свою жизнь, беспорядочно думал о прошлом и о том, что случилось неделю назад, — он «будто бы поднявшись, как космонавт над землей, а она перед ним поворачивается, и он, когда надо, сразу приближается и рассматривает пристально ту или другую картину, тот или иной день. Но сперва он все-таки вспоминает ту далекую ночь на крыше, а потом пути всех, кто там был тогда. Он знает, что Т убит под Вязьмой, и В тоже убит на Карельском фронте, а Ф умерла в Ленинграде, она в августе уехала в Ленинград и умерла там».

Герой повести думал о своем погибшем отце, о тысячах безвестных солдатских могил, разбросанных «по всей великой земле», и вставал перед ним вопрос: «Чем же я отплачу им за свою жизнь, когда я все больше забываю о них, как и вообще о всех предыдущих поколениях, каким же я должен быть умным, сильным и мужественным, чтобы жить теперь, чтобы знать все о своей земле и быть верным моему отцу, моему великому рабочему, и не дать ему погибнуть в себе?..»

Он с ненавистью думал о министрах, президентах и генералах, планирующих атомные «блицкриги», воображал их так, как видел в кинохронике: с раскрытыми ртами, перед микрофонами, над картами, на маневрах, и негодовал на то, почему эти немощные и противные старики, — они почти все старики! — чью «физическую слабость скрывают мундиры с наваченными плечами и гру-

дью», по какому праву «все эти люди, родившиеся где-то на других континентах, задолго до того, как родиться ему, не знающие ничего о его жизни, тем не менее угрожают ему смертью».

И еще он думал об ученых, обо всех этих «отцах» всяческих бомб, об этом «племени роботов», и они представлялись ему марсианами из фантастических романов, существами, чуждыми всему живому, «всем полям и лесам и тихим рекам, любви, рождению». Взыскав правды о самом себе, казаковский герой в своем мучительном самоанализе неизбежно приходил к осознанию себя правомочной, мыслящей частицей человечества, к сознанию своей личной причастности к судьбе будущего. Как человек, «появившийся для чего-то в один прекрасный день в этом мире и обреченный уйти из него в конце концов», он не искал в жизни высшего смысла — «смысл не ему решать», однако всем своим существом чувствовал, что, «если жизнь человечества бессмысленна, значит бессмысленна и его жизнь. А если жизнь всех неисчислимых миллиардов, прошедших и грядущих, наполнена смыслом, значит и его жизнь имеет великий, таинственный смысл в цепи всех поколений».

«Мир сегодня, — заявлял Казаков в 1963 году, — не просто дни без войны. Это бесконечное развитие жизни. Поэтому и повесть свою я задумывал и писал не только как антивоенную. Мысли ее героя обращены к главному — к историческим судьбам человечества».

Повесть не далась Казакову с единого замаха, замысел ее неоднократно корректировался и уточнялся. В 1964 году Казаков сообщал «Вопросам литературы»: «Сейчас у меня наступила интереснейшая пора в работе над повестью: я должен «сделать» некоторые архивные изыскания. Хотя время, о котором я пишу, еще живо в памяти всех нас, а время это — 1941 год, но это уже одновременно и история. И вот для того, чтобы эта история была как можно более точной, я хочу порыться в архивах Великой Отечественной войны. Никогда так не боялся самого себя, своей неумелости, как сейчас, во время работы над этой повестью. Повесть эта будет называться „Две ночи“».

И все же этот магистральный замысел, рожденный воспоминаниями о войне, не нашел осуществления.

В 1979 году Казаков рассказал, что в свое время наполовину написал «повесть о мальчишке, который пережил войну, бомбежку, 1941 год», — под названием «Разлучение душ». Действие ее должно было завершаться в начале шестидесятых годов в Кракове

и Закопане. Тогда, согласно какому-то астрологическому «предсказанию», якобы следовало ждать «конца света» — и писатель использовал такое обстоятельство как своеобразный прием, перенеся в повесть «ту атмосферу».

«Возраст Иисуса Христа», «Две ночи», «Разлучение душ», «Самая длинная ночь» — вариации и осколки одного незавершенного произведения. Как подтверждают оставшиеся наброски, лирический герой Казакова («в большой мере — я») войну воспринимал в ее трагическом обрамлении и считал ее истоком своей гражданской биографии.

Думается, правы те, кто связывает первопричину казаковского писательства и сам тип его художественного мировосприятия как раз с этим, столь важным для автора, замыслом. «Столкновение с войной, пережитое Казаковым, когда он увидел, как в считанное мгновение мир человеческий рухнул и его сменила жуткая картина развала, — может, это столкновение и родило в нем художника с этим особым типом сознания? — писал в 1989 году критик С. Федякин, определяя сознание Казакова как «ностальгическое». — Может, этот ужасный миг, отпечатавшись в детской памяти и возвращаясь у взрослого уже писателя апокалипсическими уже кошмарами, и родил в Казакове то ощущение самоценности каждого мгновения, прожитого человеком на земле?» Да, очень может быть.

Те, кто пережил в детстве «этот ужасный миг», кого хотя бы раз настигало непередаваемое, непреодолимое и с годами, чувство внезапной потерянности, — когда за воздушной тревогой в твой обжитой, тихий мир впервые врывается смерть и ты, беспомощный, оказываешься с ней с глазу на глаз, когда рядом с тобой вдруг погибает человек, еще минуту назад о чем-то с тобой говоривший, а тебя окатывает ледяной страх и чувство вселенского одиночества, — так вот те дети действительно знали цену мгновению на грани жизни и смерти. Никогда не забывал об этом, о том, что смерть всегда рядом, а жизнь всегда висит на волоске, и Казаков.

Ломкое сознание тринадцатилетнего московского мальчишки, едва-едва пробудившись, испытало тогда напор поистине зловещей силы. Сопrotивление этому напору и та нравственная высота, с которой, по зрелом размышлении, казаковский рассказчик оглядывал и судил самого себя с присущим ему максимализмом, должны были позволить, по мысли писателя, не подчиняясь всецело быту, вывести повествование на уровень высокой бытийности, не исключая библейской символики.

Эпиграфом к повести не случайно должны были послужить слова Иоанна Дамаскина: «Сосуд раздрася безгласен, мертвен, недвижим, таков живот наш есть: цвет и дым, и роса утренняя; воистину придите ибо узрите во гробех ясно где суть. Очеса и зрак плотский, все уведоша, яко трава, все погребешися. Велий плач и рыдание, велие въздыхание и нужда, разлучение душ, ада погибель, привременный живот, сень непостоянная, сон прелестный...»

Однако поиски писателя в этом направлении не осуществились, масштабный замысел не укладывался в уготованную ему форму, и о военном детстве мы у Казакова так почти ничего и не прочтем.

Разве лишь в рассказе «Зависть» (1965), где явно присутствуют мотивы неоконченной повести, герой, находясь на горном польском курорте, и впрямь услышал, что «какими-то йогами, какими-то умниками, мудрецами с Востока был предсказан конец света» (поляки всё не верили этому мистическому предсказанию и всё вспоминали пепел Освенцима и Варшавы), и под впечатлением этих слухов как бы исповедовался перед самим собой: «А я опять ушел, но уже дальше, в ту первую свою московскую ночь, когда я стоял на крыше под бомбежкой. Я увидел опять убитых и раненых и заваленные кусками стен улицы. Я увидел октябрь в Москве — баррикады, жирные туши аэростатов по бульварам, редкие, отчаянно громыхающие битком набитые трамваи. Пепел летел по улицам, временами где-то рвались снаряды. Листовки, как снег с неба, и в листовках обещание сладкой жизни. И мы на загородных полях, за Потылихой, ранние морозы, закаменевшая земля, неубранные вилки капусты, морковь, которую выковыривали палками. Противотанковые рогатки всюду, железобетонные колпаки, амбразуры в подвалах, патрули — полупустой город. Замерзающие дома, мрущие старухи, холод в квартирах, железные печки и всю зиму потом темнота, коптилки, лопнувшие трубы водопровода и бледные грязные лица. И все эти годы изнурительная работа грузчиком — дрова, уголь, рулоны бумаги, кирпич, потом слесарные мастерские, потом снег на крышах... Телогрейка, старые штаны, разбитые сапоги. И постоянный голод. Как это говорил тогда Василий на крыше? А, вот как: „Люблю повеселиться, в особенности пожрать!“ — все мы тогда любили повеселиться, да веселья не было. Я смотрел в те годы картину „Серенада солнечной долины“. Я смотрел на экран, как на тот свет, мне не верилось, что люди так могут жить где-нибудь. Потому что каждый раз после кино я шел домой в свою темную грязную конуру...»

В этих горьких воспоминаниях велика, без сомнения, доля авторской исповеди: страдающая память, невосполнимая утрата чего-то радостного и светлого, недоуменное чувство допущенной исторической несправедливости питают ее. И вопрос — как и почему такое стало возможно? — конечно же не мог не возникать перед Казаковым, как и перед каждым, кто испытал подобное в детстве.

Через двадцать лет после окончания войны, в мае 1965 года, Казаков, в очередной раз пытаюсь ответить себе на этот вопрос, писал Конецкому из Малеевки: «И спраздновал я тут 9 мая лучше всех, потому что был один... Потому что, когда ты один, есть возможность подумать... Ведь все-таки мы существа мыслящие в некотором роде. И сидел я один на один с пол-литром «московской», изготовленной в пресветлом граде Калуге, и думал о фашизме. Не о фашистах, которые жгли, стреляли, тащили женщин к себе в постель, пили, сходили с ума, потом сами стрелялись, которые были потом убиты и разбиты и которые еще сейчас многие живы во всех частях света, — нет, я думал о самом высшем фашизме, о средоточии его, о человеке, который, достигнув власти, все подчиняет себе. Это не бесчисленные серо-зеленые солдаты шли на нас, это он их гнал, угрожая расстрелом. Это не генералы и штаурбанфюреры творили зло — зло творил он, потому что, дорвавшись до власти, он обожествовал себя и стал над нацией, над человечеством. Ничто не делалось помимо его воли, и никто ничего не мог решить за него. Как бы ни были крупны остальные фашисты, они могли в лучшем случае советовать ему, соглашаться с ним, подсказывать ему и исполнять его волю. И чем лучше они советовали и исполняли, тем все более возвышались в его глазах и в собственных. Они даже становились наконец более фашистами, чем сам он, но все равно он был главный. Но все-таки не он был главное зло, а самое главное зло была система. Та система, при которой он мог зародиться, этот человек, этот вождь, диктатор, фюрер, мог подняться и существовать вопреки всему, во веки веков, пока он сам жив, потому что никаких демократий, никаких ограничителей при этой системе уже не было, и он не мог быть смещен...»

Те же размышления, — имевшие, безусловно, и отечественный подтекст, касавшиеся не только германского «фюрера», но вызывавшие в памяти собственного «вождя и диктатора», — содержатся и в набросках повести «Разлучение душ». Следует подчеркнуть, что в своей ненависти к фашизму Казаков был последователен и тверд. Участвуя в сборнике «Писатели высказывают свое отноше-

ние к войне во Вьетнаме» (Издательство Питер Оуэн, Лондон, 1967), он писал так: «Когда в далекой стране одна половина народа подстрекает другую, а сотни тысяч молодых американцев пересекают океан, чтобы убивать и быть убитыми, когда напалм и всевозможные бомбы сбрасываются на деревни из бамбука и вместо того, чтобы закатать рукава и взяться за работу, чтобы сделать жизнь на земле лучше, молодые американцы стреляют, вешают и жгут, когда они по приказу своего правительства творят то же самое, что немцы творили на нашей земле и на земле Европы всего лишь немногим больше чем двадцать лет назад, — тогда президент и его советники лгут, лгут пасторы, напрасно призывая благословенье боже, молясь о победе американского оружия. И генералы, журналисты и политические деятели лгут, превознося „подлинную демократию“ своей страны, потому что когда демократия творит зло, она перестает быть демократией».

В биографии казаковского лирического героя трагический опыт детства и юности всегда подразумевался. Но если литературные сверстники Казакова в своих книгах спешили излить не стихавшую в душе боль войны, то он долго держал эту боль в себе, предвидя, может быть, что ему еще придется задуматься над загадкой и возмездием детства, придется вернуться к вечной проблеме «разлучения душ» — в последних рассказах «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал» — и тогда уж выплеснуть застарелую боль наружу.

Об этих автобиографических рассказах речь впереди. Здесь же хотелось бы напомнить короткий эпизод из рассказа «Во сне ты горько плакал», неожиданно приоткрывающий завесу над тем, почему, помимо прочих причин, обратился Казаков со временем к писательству.

Я имею в виду проводы отца, относящиеся, как говорил мне сам Казаков, к 1933 году. Тогда-то, провожая отца, шестилетний Юра (с его собственных слов) испугался овчарки и начал заикаться. А через тридцать лет на вопрос: что заставило его взяться за перо? — ответил: «Я стал писателем, потому что был — заикой. Заикался я очень сильно и еще больше этого стеснялся, дико страдал. И потому особенно хотел высказать на бумаге все, что накопилось...»

Почему он стал писателем? Как рано поверил своему призванию?

Откроем юношеский дневник 1949–1953 годов, где звучит мучительная мысль об отце. 29 июля 1951 года: «Сегодня приехал из Солги. Гостил у отца. Тем сейчас находится мама. С легкой душой

оставил я Солгу. Не очень-то понравилось мне там. Но вот приехал в Москву, и что-то тяжело на душе... Очень плохо складывается жизнь. Отца вижу два-три раза в год. Мама тоже часто и надолго уезжает к нему». 6 октября 1951 года: «Вот скоро три месяца, как мама живет с папой в Солге. А я тут один. Отца я вообще не вижу годами. Как плохо устроена жизнь!..» 17 ноября 1951 года: «Сегодня уехал отец в Шарью. Очень как-то тяжело от этого и пусто на сердце... Да, вот жил с нами папа, и мы частенько ссорились по поводу моей безработицы. А вот уехал — и грустно. Ведь я его год не увижу теперь. А может... и совсем. Очень тяжелая судьба у моего папы, очень тяжелая, и я его жалею всем сердцем, но помочь, к сожалению, не могу».

И рядом записи о своем писательстве. 6 февраля 1950: «Найти себя в творчестве, ощутить пульс жизни своей — в этом вся задача». 26 сентября 1951: «Я все-таки понемножку сейчас разрешаюсь от молчания и начинаю пописывать... Пишу тяжело, по многу раз исправляя написанное, но все же пишу...» 14 октября 1951: «Сегодня снова получил отрицательные отзывы о моей новой пьесе. Снова и снова злоба и отчаяние охватывают меня... Но все равно я буду писать. Я чувствую, что могу написать и напишу нечто очень яркое, свежее и талантливое. Пусть мне отказывают. Пусть! Но победа будет за мной...»

В наброске «Автобиографии» (1965), объясняя, что послужило для него первотолчком к писательству, Казаков говорил: «Я не помню сейчас, почему меня в одно прекрасное время потянуло вдруг к литературе. В свое время я окончил Музыкальное училище в Москве, года три играл в симфонических и джазовых оркестрах, но уже где-то между 1953 и 1954 годами стал все чаще подумывать о себе как о будущем писателе. Скорее всего, это случилось потому, что я, как, наверное, и каждый молодой человек, мечтал тогда о славе, об известности и т. п., а моя служба в оркестрах, конечно, никакой особенной славы мне не обещала. И вот я, помню, стал тяготиться своей безвестностью и стал попеременно мечтать о двух новых профессиях — о профессии дирижера симфонического оркестра и о профессии писателя или, на худой конец, журналиста. Я страстно хотел увидеть свою фамилию *напечатанной* в афише, в газете или в журнале».

Биография Казакова, начиная с детства, ничем, пожалуй, не примечательна, скорее заурядна. Сам он всегда отдавал себе в этом ясный отчет и по-своему даже настаивал на том, что жизнь, насы-

щенная неординарными событиями и приключениями, вовсе не обязательна для писателя. Поверхностной хронике писательского пути он противопоставлял самодостаточность «внутренней биографии». «Человек с богатой внутренней биографией, — утверждал Казаков, — может возвыситься до выражения эпохи в своем творчестве, прожив в то же время жизнь, бедную внешними событиями. Таков был, например, А. Блок».

Во взгляде на *внутреннюю* и *внешнюю* стороны человеческой жизни, — касалось ли это его героев или его самого, — Казаков всегда придерживался той точки зрения, что внутренние мотивы и побуждения человека в первую очередь достойны внимания того, кто захочет, как выражался особо чтимый Казаковым Лермонтов, «отгадать чужое сердце». «Во всяком сердце, во всякой жизни, — писал Лермонтов, — пробежало чувство, промелькнуло событие, которых никто никому не откроет, а они-то самые важные и есть, они-то обыкновенно дают тайное направление чувствам и поступкам».

Подобный взгляд был издавна свойствен русской литературе. Друг Лермонтова В. Ф. Одоевский, полагая, что «нет ничего интересней второй жизни человека», а она лишь иногда прорывается наружу, «оставаясь всегда скрытой, как некая тайна», заметил: «Материалы для жизни художника одни: его произведения. Будь он музыкант, стихотворец, живописец — в них найдете его дух, его характер, его физиономию, в них найдете даже те происшествия, которые ускользнули от метрического пера историков...»

И молодой Герцен, памятуя о кровной взаимосвязанности внутренней жизни писателя и его художественных созданий, утверждал: «Я решительно хочу в каждом сочинении моем видеть отдельную часть души моей. Пусть их совокупность будет иероглифическая биография моя... Пусть впечатления, которым я подвергался, выражаются отдельными повестями, где все вымысел, но основа — истина».

И уже в XX веке Пришвин подхватывал: «Метод писания, выработанный мной, можно выразить так: я ищу в жизни видимой отражения или соответствия непонятной и неведомой жизни моей собственной души».

Короче говоря, внутреннюю, духовную биографию, поэтическую личность и, что называется, догмат веры Казакова следует извлекать прежде всего из его рассказов. Он сам подталкивал именно к такому восприятию его творчества. Между прочим, слово «творчество» Казаков не любил, — наверное, еще и потому, что не

отделял себя от своих произведений, считая себя органической их ипостасью. Автобиографизм в литературе Казаков трактовал как неперемное условие художественности. «Произведения всех авторов автобиографичны, — заявлял он, — автобиографичны в том смысле, что все, чем их произведения наполнены, — события, детали, пейзажи, вечера, сумерки, рассветы и т. д. — когда-то происходило в жизни самого автора. Не в той последовательности, в какой описано в рассказе или в романе, но автор это должен был пережить сам».

Так что и в рассказах Казакова — может быть, «все вымысел, но основа — истина». В них закономерно присутствуют «его дух, его характер, его физиономия», в них запечатлена «жизнь души» писателя, его «иероглифическая биография».

Видимо, по причине мощного, но сдерживаемого художественного темперамента, обладая напряженно-чутким слухом и остро осязая предметную, вещную плоть мира, Казаков неслучайно усмотрел свой писательский удел именно в психологическом рассказе. Трагический лирик по натуре, он быстро постиг поэтические ресурсы такого рассказа и возможности его отточенной формы.

Еще в ноябре 1959 года Казаков писал Виктору Конецкому — не без усмешки, но все же отчетливо понимая значимость своих слов, — о том, что задумал он «нечто грандиозное». «Задумал я, — писал Казаков, — не более, не менее, как возродить и оживить жанр русского рассказа — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Задача гордая и занимательная. Рассказ наш был когда-то силен необычайно — до того, что прошиб даже самонадеянных западников. А теперь мы льстиво и робко думаем о всяких Сароянах, Колдуэллах, Хемингуэях и т. д. Позор на наши головы!.. Давай напряжем наши умишки и силишки и докажем протухшему Западу, что такое советская Русь!»

Было бы ошибкой посчитать эти слова за проявление молодого зазнайства, а тем паче неуважения к именитым иностранным прозаикам. Когда в июле 1961 года застрелился Хемингуэй, Казаков откликнулся: «Мы гордились им так, будто он был наш, русский писатель. Мысль о том, что Хемингуэй живет, охотится, плавает, пишет по тысяче прекрасных слов в день, радовала нас, как радуется мысль о существовании где-то близкого, родного человека...»

Казаков с неподдельным интересом и доверием относился к зарубежным писателям, усердно усваивал их опыт, литературу считал самовыражением человечества — в этом нет никаких сомнений. А любопытно другое: этот дух соревнования, эта жажда

равенства с признанными авторитетами, ощущение своего полноправного участия во всемирном литературном процессе.

В 1979 году, рассуждая о своей долголетней приверженности рассказу, Казаков говорил: «Рассказ дисциплинирует своей краткостью, учит видеть импрессионистически — мгновенно и точно. Наверное, поэтому я и не мог уйти от рассказа. Беда ли то, счастье ли: мазок — и миг уподоблен вечности, приравнен к жизни». И при этом он как бы сетовал: «А вот с романом я пока терплю фиаско. Наверное, роман, который, в силу своего жанра, пишется не так скупой и плотно, как рассказ, а гораздо жиже, — не для меня... так, видно, и суждено умереть рассказчиком...»

Думается, никакого фиаско с романом Казаков, собственно, не терпел, конкретного романа он, по-моему, никогда всерьез не замыслил и не писал, правда любил время от времени о романе и романистах порассуждать. Паустовскому в 1961 году признался, что «всегда страшно завидовал» романистам, и советовался, — может быть, стоит перешерстить «Северный дневник», прослосить его рассказами, получится «увесистая книга листов на 15»: «Все мои рассказы и записки будут в этом романе как бы главами, частями. А почему бы и не роман?! Речь в нем будет вертеться все вокруг одного и того же: вокруг Белого моря, рыбаков, времен года... Кроме того везде будет присутствовать личность автора...» Паустовского он просил: «Вы, пожалуйста, напишите мне — будет это романом или нет, все это собрание очерков и рассказов».

Мысли о романе (но не конкретные планы) возникали у Казакова и позже. Т. М. Судник в 2002 году вспоминала: «Ему хотелось попробовать писать роман — он почувствовал вкус к этому жанру, когда работал над переводом трилогии казахского писателя А. Нурпеисова: ему нравилось, что у него есть работа «в пальцах» (как говорил Пушкин), что роман «дисциплинирует». Он тогда постоянно размышлял о сопоставлении романа и рассказа, говорил, что задуманный надолго роман — благоприятная почва, на которой вырастают рассказы. Но так и остался рыцарем рассказа...»

На вопрос: что больше дисциплинирует и почему — роман или рассказ? — Казаков для себя ответил на практике. Романа как такового он не писал, но попытка взглянуть на все написанное, как на «роман», на некое целое — примечательна, и потому воспринять казаковские рассказы в их единстве, как некое подобие романа, как суверенное художественное полотно, отражающее «развитие и повторение тайных тем в явной судьбе» (В. Набоков), как личную «летопись впечатлений» — вполне уместно.

В. Шукшин однажды обмолвился: «Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман. И оценивают его потом, когда роман дописан и автор умер». Это схвачено верно, хотя всякий «роман рассказчика», разумеется, гипотетичен. В его «сюжете» нет направленного сквозного действия, кроме разве что движения отраженного в нем времени. Но и в этом романе, при всей его условности, в этой книге жизни неизбежна цельность авторского миропонимания и есть любимые писателем герои, несущие от рассказа к рассказу, будто от главы к главе, врученную им нравственную эстафету. Автор в таком романе может перебирать и словно бы примеривать к себе варианты непрожитых судеб и, без сомнения, является в нем центральной фигурой, независимо от того, какие он изыскивает возможности для самовыражения.

Высветить прихотливую канву казаковского «романа», передать его художественный колорит и эмоциональную атмосферу, обозначить вершины духовной эволюции его лирического героя, прояснив тем самым «иероглифическую биографию» писателя, — и неимоверно трудно, и заманчиво.

Казаков как-то заметил, что каждый писатель, имеющий смелость причислить себя к настоящей литературе, занят всю жизнь одним и тем же кругом проблем. Этот подсказанный талантом и обусловленный конкретным душевным опытом круг проблем и определяет содержание и внутренние связи в том своеобразном романе, который в итоге всех своих многолетних усилий создает рассказчик. Применительно к себе Казаков эти корневые проблемы сформулировал так: «Счастье и его природа, страдания и преодоление их, нравственный долг перед народом, любовь, осмысление самого себя, отношение к труду, живучесть грязных инстинктов...»

Среди названных проблем «осмысление самого себя» — проблема стержневая. Каждый человек, родившись, «застает» историю в определенный ее момент, и с этого момента берет начало его биография, равно как и судьба его поколения. Каждому поколению дается свой старт, и писатель, пытающийся понять свое время и самого себя, не может не задумываться над исторической ролью своего поколения, печать которого и он, и его многоликие герои так или иначе несут на себе, — любой из них, при всей его индивидуальности, есть еще все-таки и как бы иносказание автора о самом себе. Случается, что герой, не будучи прямым лирическим двойником автора, лишь отчасти соответствуя ему своим душевным складом, способен, именно в силу приблизительного

сходства, выразить своими чувствами и поступками то их «тайное направление», которое автору особенно близко и созвучно.

Истоком казаковского «романа» (военное детство все-таки осталось за его рамками), исходной точкой в развитии казаковского лирического героя можно посчитать рассказ «Голубое и зеленое» (1956), написанный от лица московского школьника, а затем студента 1940-х годов. Сам писатель характеризовал этот рассказ как «исповедь городского инфантильного юноши» и внутренних соприкосновений со своим мятущимся героем не скрывал.

Действие «Голубого и зеленого» разворачивается в послевоенной Москве, на Арбате. Время это безошибочно угадывается — и в подробностях быта, и в том неуловимом настроении тревоги, горечи и надежды, которое, всегда сопутствуя молодости, и тогда, в тяжелую послепобедную пору, особенно давало о себе знать. Интонация повествования здесь с самого начала доверчиво откровенная: перед нами, действительно, искренняя, наивная исповедь совсем юного человека, раздумывающего, как сложится в будущем его жизнь.

Открывается рассказ трогательной нотой: десятиклассник Алеша знакомится летом на арбатском дворе с девушкой Лилей, они отправляются в кино, на другой день гуляют по Тверскому бульвару, и между ними — им по шестнадцать лет! — вспыхивает любовь, первая, беспокойная и лучезарная... Алеша не ведает, чем она для него обернется, и вглядывается, вглядывается в себя, пытаясь понять, что же это с ним приключилось?

Чем же пленяет этот бесхитростный, по-школьному сентиментальный герой, изображенный с несомненной теплотой и симпатией? Каков он, этот арбатский Алеша, не сразу освободившийся от вязкой власти детства?

Ну, прежде всего, он до неловкости застенчив, в любую минуту способен усомниться в себе. Непреодолимая стеснительность отличает его поведение и манеру держаться. Он, допустим, любит джаз: не танцевать под джаз, танцевать Алеша еще не умеет, — он любит слушать джаз, и тут же готов уступить: «Некоторые не любят, но я люблю. Не знаю, может быть, это плохо». Будучи душевно мягок, Алеша, как он ни старается выглядеть сильным и самостоятельным, не в состоянии скрыть своих сомнений и своей удручающей растерянности. Он жалуется, что нелегко быть молодым, а ему так хочется волнующей, бурной жизни: «Хочется писать стихи, чтобы вся страна знала их наизусть. Или сочинить ге-

роическую симфонию и выйти потом к оркестру — бледному, во фраке, с волосами, падающими на лоб...»

Романтические грезы городского честолюбивого мальчишки! Но так ли уж они легковесны? Слегка иронизируя над своим героем, над его заемными, книжными словами, автор в глубине души сочувствует его возвышенным чаяниям. Алеша — как сама юность — весь соткан из противоречий. Мысленно он готовится к ответственным поступкам, но трезво соотнести честолюбивые планы с действительностью еще не умеет. Он вдруг увлекается плаванием, хочет стать «чемпионом СССР, а потом и мира», всем стилям, за стремительность, предпочитает кроль, но вечерами любит тихо помечтать. Порывистость, взрывная энергия, ищущая достойного применения, отличают Алешу не меньше, чем склонность к самоанализу и созерцанию.

«Есть зимой короткая минута, — размышляет Алеша, — когда снег на крышах и небо делаются темно-голубыми в сумерках, даже лиловыми. Я стою у окна, смотрю в открытую форточку на лиловый снег, дышу нежным морозным воздухом, и мне почему-то греются далекие путешествия, неизвестные страны, горы... Я голодаю, обрастаю рыжей бородой, меня печет солнце или до костей прохватывает мороз, я даже гибну, но открываю еще одну тайну природы. Вот жизнь! Если бы мне попасть в экспедицию!..» В экспедицию Алешу, конечно, не берут, он не прочь поступить в какой-нибудь институт, стать инженером или учителем, но при этом он думает с укоризной, что в его лице «люди потеряют великого путешественника».

Взыскательным к себе, категоричным в помыслах идеалистом предстает перед нами Алеша на пороге сердечного потрясения, уготованного ему в рассказе, — сомневающийся, чуткий к прекрасному, не распознавший еще своего призвания московский школьник, поверивший в бесконечно счастливую любовь. Примелькавшийся персонаж «молодой прозы» конца 1950-х годов. Однако подкупает в этом рассказе подчеркнутая авторская причастность к его судьбе, — та откровенная причастность, когда создается впечатление, будто тонкая тень грустного личного воспоминания ложится на страницы.

И детали, и пейзажи, и вечера, и сумерки, и рассветы — о чем говорил, как помним, Казаков, — здесь поданы с такой подлинностью чувства, что их жизненный первоисточник не вызывает сомнений. И нежный морозный воздух, и лиловые московские сумерки, и зимний запах в пригородном поселке, запах березовых

почек и снега, и этот снег на платформе, что «блестел, как соль», — вся гамма лирических подробностей вселяет в нас саднящее ощущение чистоты и холода, испуга и отваги, внезапной незащитной радости и томительного сердечного переживания...

Казаков частенько сопрягал переломные моменты в жизни героев, родственных ему душевным складом, с любовными драмами. В таком положении оказался и Алеша, который поначалу даже не находил названия тому платоническому чувству, какое возникло у него к Лиле. Как это они — «совсем чужие друг другу и в то же время странно знакомые?». Его чувство к Лиле идеально, бескорыстно, светло, это как бы и не страсть, не любовь к женщине, а освобождение от одиночества, радость от сознания, что нашелся на земле единственный человек, которому можно без утайки излить свои сокровенные горести и надежды — и он тебе откликнется и тебя поймет!

И как же чудесно преобразился, какими удивительными красками засиял, засверкал мир, когда Алеша глянул на него сквозь волшебную призму своего и зыбкого, и упорного чувства!

Многоцветный и мерцающий, он заворожил Алешу, обжег блеском обнажившейся красоты. Первое, что тронуло Алешу, когда он встретился с Лилей в арбатском дворе, — ее глубокий грудной голос и «горячая маленькая рука», белеющая в темноте. «Какая необыкновенная, нежная рука!» — с восторгом подумал он, и слово «нежность» с того момента заняло прочное место в Алешином (и авторском) лексиконе. Стоя на дне глубокого темного двора, он увидел окна: голубые, и зеленые, и розовые, и просто белые, услышал джаз и, не зная, как заговорить с Лилей, весь отдался во власть «необыкновенного ритма и серебряного звука трубы».

Впоследствии Казаков говорил, что в этом рассказе задался целью воссоздать «ясность мира, увиденного впервые глазами подростка», и потому использовал здесь «слово светлое, цветное», отчетливо передающее эту ясность, эту непосредственность наивно-романтического взгляда на все окружающее — и на город, и на природу, и на людей.

Лирический герой Казакова романтик по натуре. Потому и Алеша из «Голубого и зеленого» в стремлении к совершенству, к безоблачному счастью не может согласовать идеальные мечтания с будничной реальностью, не может этой грозной для него реальности не опасаться. Когда его любовь к Лиле взмывала и набирала силу, ему — ох, как! — не терпелось доказать и себе и всем вокруг, что он такой великой любви достоин; но симптоматично, что Але-

шино чувство к Лиле от него словно бы и не зависело, оно будто вселилось в него по чьему-то наущению, и он, осознавая себя в этом неожиданном чувстве, не переставая изумляться настигшему его счастью, не переставал вместе с тем и тревожиться, — как бы какое-нибудь недоразумение, что-нибудь роковое не нарушило их необыкновенных отношений.

И вот, пребывая на вершине счастья, Алеша сперва не замечает, а «только чувствует с болью, что наступает что-то новое» у них с Лилей, и тут уж, как ни странно, ничего нельзя поправить... Алеша потрясен! Он не видит за собой никакой вины, и все-таки совершается невероятное: Лиля (напоминавшая Алеше серовскую «Девочку с персиками», которую так любил сам Казаков), такая родная и так ему необходимая, неумолимо от него отдалается. И в их непонятной распре, как и в том, что они однажды встретились, заключена некая неразгаданная тайна.

Когда же через год Лиля выходит замуж, страдающий Алеша успешно учится в институте. Он выполнил норму первого разряда по плаванию. «Кроль — самый стремительный стиль, — по привычке рассуждает Алеша, но добавляет: — Впрочем, это не важно». И верно, это не важно, потому что Алеша убеждается: даже если бы он стал «героем, гением, человеком, которым будет гордиться страна», — все равно ничего бы не изменилось, у любви непредсказуемая логика и своя жесткая правда.

В финале рассказа Алеша заканчивает институт. Кстати, какой — неизвестно, да это и не имеет значения. Ни поэтом, ни музыкантом, ни путешественником Алеша не стал, зато он теперь взрослый человек, занятой, активный, самостоятельный. От былой его стеснительности не осталось и следа. Он не знает и не хочет знать, где теперь Лиля, отправившаяся с мужем куда-то на Север, но изредка она ему снится, и тогда он вновь чувствует себя юным, вновь переживает горечь поражения, — непрошенные сны выбивают Алешу из налаженной колеи, а ему так нравится теперь быть уверенным в себе и утром просыпаться веселым...

В рассказе «Голубое и зеленое» героя от автора отделяет на первых страницах возрастная дистанция приблизительно в десять лет. Когда Алеша безотчетно по разным поводам повторяет примелькавшуюся фразу: «Не знаю...» — в настойчивости этого лейтмотива просматривается определенное авторское намерение. Автор словно хочет подчеркнуть, что ему, в отличие от его страдающего героя, не только известен исход этой любовной истории и те поучительные уроки, какие Алеше суждено извлечь из случившего-

ся, — он, автор, теперь вообще о многом *знает*, за минувшие годы он приобрел изрядный жизненный опыт и многое переоценил и в своем герое и в самом себе.

Потребность в подобной переоценке — ключ к замыслу «Голубого и зеленого». В финале наивная исповедь Алеши оборачивается горьким, но трезвым воспоминанием, — это воспоминание продолжает временами томить и героя и самого писателя, но оба они, помудрев, приходят к согласному выводу: «Ничто не вечно в этом мире, даже горе. А жизнь не останавливается. Нет, никогда не останавливается жизнь, властно входит в твою душу, и все твои печали развеиваются, как дым, маленькие человеческие печали, совсем маленькие по сравнению с жизнью. Так прекрасно устроен мир».

Конечно же, было бы упрощением полностью отождествлять героя-рассказчика в «Голубом и зеленом» с самим писателем и толковать эту юношескую исповедь как прямое авторское признание. Тем не менее, прочерчивая кардиограмму переживаний своего юного героя, следуя памяти сердца, Казаков художественно воскрешает в этом рассказе эмоциональную и отчасти житейскую атмосферу собственной юности.

Автора и его героя, его лирического спутника роднит многое: и романтическая поэтичность натуры, и порывистость, схожесть темпераментов, и присущая обоим затаенная детскость, «органическая тяга к целомудрию» (Т. Жирмунская), которую потом тщательно камуфлировало время. И дело здесь не просто в совпадении тех или иных внешних примет обстановки, не только в том, что Алеша унаследовал от автора любовь к Москве и Арбату, его пристрастие к джазу, грезы о путешествиях, интерес к охоте, — многое из того, о чем мечтал Алеша, автор как раз и осуществил, — дело в психологической основе самого этого характера, полноточные очертания которого не раз проступят в казаковском лирическом герое.

Плюс ко всему нужно добавить: в «Голубом и зеленом» таилось что-то захватывающе-необъяснимое, вызывавшее незамедлительный читательский восторг. Как рассказывает Д. Шеваров, на одном из вечеров памяти Казакова критик Юрий Болдырев вспоминал: «Я учился в университете, был очень активным читателем всех журналов, любил литературу, и однажды взял свежий номер журнала и прочел „Голубое и зеленое“, и со мной было нечто вроде шока. Ничего подобного в тогдашней литературе я не знал. И я прекрасно помню, как я с этим номером журнала по-

мчался к своему старшему товарищу и ворвался к нему буквально крича, что вот появилось что-то совершенно необыкновенное!..» Помнится, и я, когда впервые прочел «Голубое и зеленое», пребывал в похожем состоянии. Заряд лирического переживания, изобразительная магия рассказа были настолько сильны, что, действительно, тут же хотелось с кем-то разделить свою сокрушительную радость.

Рассказ воспринимался как музыка. Глеб Горышин потом очень точно назвал «Голубое и зеленое» «рассказом-прелюдией» и писал: «Юра был музыкален, и потому его проза не уместается в смысл высказанного словами, не покрывается правилами композиции, сюжета, текста или подтекста. В ней есть еще другая композиция — музыкальная, композиторская...»

Уже в этом рассказе, исполненном светлой печали, пронзительно дала о себе знать та музыкально-смысловая доминанта, та мерцающая мелодия, которая варьировалась в других рассказах — то сгущаясь до тоски, отчаяния, скорби, то взмывая на, казалось бы, недостижимые высоты мгновенного счастья. Оттого-то, наверное, и голос Казакова был так безошибочно узнаваем — по неповторимой, влекуще-меланхолической тональности.

В рассказах Казакова никогда не смолкал «звон путеводной ноты» (В. Набоков). Т. М. Судник объясняла: «Музыка в рассказах Казакова и музыка его рассказов — очень глубокая тема. Он постоянно слушал музыку. Иногда ему снилась незнакомая симфоническая музыка, и он жалел, что не смог записать ее. В дневнике студенческих лет он писал о любимом Рахманинове: „В его фортепианных произведениях нет аккордов, пассажей, отдельных нот, которые было бы неудобно, неловко сыграть, амплитуда его вещей проста, изящна, легка“, — и тут же о литературе: „В настоящей поэзии не должно быть неудобных, корявых слов, выпадающих из общей тональности“. У него был абсолютный слух в том, что называют музыкой слова».

Музыка вдохновляла Казакова. «Помню, — продолжает Тамара Михайловна, — как мы специально ездили в Музей Бахрушина в надежде найти среди редких записей романс Шумана на стихи Гейне „Во сне я горько плакал“, причем в исполнении Шалыпина. Название рассказа Юрия Павловича — парафраз этой строки, и навеян рассказ не столько стихами Гейне из книги „Лирическое интермеццо“, сколько любимым романсом...»

Ну, об этом, последнем казаковском рассказе, речь пойдет в свой черед.

Глава 2

«МОЯ ОХОТА...»

У Алеши из «Голубого и зеленого» было неожиданное для московского, городского мальчишки увлечение — охота. После девятого класса ему подарили ружье, и он месяц провел в северной деревне, охотясь в «настоящих диких лесах». По правде, он не столько охотился, сколько бродил со своим ружьишком по косогорам, собирал грибы, сидел мечтательно на берегу озера, наблюдая за пролетающими утками, — иными словами, созерцал окрестную природу.

И это знаменательно.

У самого писателя страсть к охоте возникла едва ли не в детстве, и возникла необъяснимым для него образом.

«Моя охота, — вспоминал Казаков, — началась... на Арбате, в здании нынешнего ресторана „Прага“ — тогда дом этот был набит всевозможными учреждениями, от милиции до собеса, — в читальном зале библиотеки. В детстве мне не повезло в том смысле, что близких родных, к которым бы я мог поехать в деревню, у меня не было, каникулы я проводил на арбатских дворах, природы и в глаза не видал и не думал о ней... Тем удивительнее теперь кажется мне величайшая страсть, которая овладела вдруг мною в темной, холодной и голодной Москве. С чего бы вдруг? И до чтения ли было тогда мне? Но неожиданно, покачиваясь иногда от слабости, брел я к вечеру в читальный зал и сидел там до закрытия, набирая каждый раз гору книжек про охоту. До сих пор помню запах этих книг, шрифт, рисунки, чертежи, описания птиц и зверей...»

Из этих диковинных книг узнал он тогда, как ставить капканы и силки, как обрабатывать шкурки, как определять свежесть следа, узнал, когда и где залегают медведи, когда сбрасывают рога лоси, по этим книгам изучил самые известные ружья, английские, бельгийские, французские...

И та же непонятная страсть привела его в охотничий магазин на Неглинной, где эти ружья, порой редкие, музейной работы,

продавались. В этом магазине, где все вызывало любопытство, открылся Казакову прежде неведомый, совсем уж не книжный — охотничий — мир со всей его подноготной. «Бог ты мой, — вспоминал Казаков много лет спустя, — какие чудачки там собирались, какие страшные старухи, какие фантастические старики, какие нищие приползали туда из своих холодных нор, какие калеки, гуньявые, зайки, помешанные на охоте! Какие сытые бандитские хари вдруг таинственно моргали тебе и, дыша водкой и салом, предлагали шепотом купить по случаю вальтер, парабеллум или наш ТТ. А какие споры бывали там, — до ненависти, до презрения! — можно ли взять утку за сто шагов? Можно ли убить медведя дробью?..»

Так, еще не ступив на охотничью тропу, отдался Казаков этому азартному, магическому миру и тогда же — за хлебные и крупяные талончики, вырученные в качестве приработка на дровяном складе, — сумел приобрести первое свое ружье, старую захваченную берданку тридцать второго калибра.

Словом, восторженный и неумелый молодой охотник появляется в ранних рассказах Казакова не без причины. Он дублирует автора: как Алеша из «Голубого и зеленого», способен он днями бродить по лесным полянам и строить планы на будущее, или, подобно герою рассказа «Ночь» (1955), шагать сумрачными оврагами и предаваться воспоминаниям о чем-то далеком и забытом, что «уже было когда-то», в какую-то «счастливую пору жизни».

Для Казакова и его лирического героя — уже в самых ранних рассказах — характерна эта потребность: вспоминать о давнем, будто забытом и всей душой осязать некогда нарушенное родство с полями и перелесками, лугами и проселками, звездным ночным небом и тишиной лесных озер. Оказываясь с глазу на глаз с природой, возвращаясь к ней из цивилизованного далека, из плотного городского быта, Казаков словно освобождается от пут, обнаруживает в себе цепкую наблюдательность, тонкий слух, обостренное обоняние и преисполняется ни с чем не сравнимым, невыразимым чувством жизни — с восторгом и печалью, радостью и сожалением, грустью и «не омраченным ничем счастьем». Гармония природы навевает ему то задумчиво-поэтическое состояние, когда чувство живого и чувство прекрасного равнозначны.

Когда-то К. Паустовский заметил: «Природа требует пристального глаза и непрерывной внутренней работы по созданию в душе писателя как бы „второго мира“ этой природы, обогащающего нас мыслями и облагораживающего нас увиденной художником ее красотой». «Второй мир» природы, существующий в воображении

Казакова, реалистически отчетлив, зрим, пластичен и в то же время романтически загадочен и музыкален.

В рассказе «Ночь» (1955), написанном от первого лица, одинокий охотник, «один в ночи» непроизвольно откликается на малейшее движение на земле и в небе, на любой звук в лесу и на реке и воспринимает природу не как праздный наблюдатель, не как безучастный городской гость, — а чутко вслушиваясь в ее потаенный пульс, в ее дыхание. Его сердце бьется с природой в унисон, его ощущение природы интимно. Бредя по пыльной, мягкой дороге, рассказчик видит рожь: «Она созрела уже, стояла недвижно, нежно светлая в темноте; склонившиеся к дороге колосья слабо касались моих сапог и рук, и прикосновения эти были похожи на молчаливую, робкую ласку...» В ответ на готовность услышать ее зов природа словно обещает человеку свое доверие, словно заговаривает с ним.

Мозаика сокровенных, едва улавливаемых переживаний — как в лирическом стихотворении — обычно заменяет в рассказах Казакова сюжетную интригу, во всяком случае, отодвигает ее на задний план. Вот и в рассказе «Ночь» нет, собственно, никакого действия. Рассказчик встречает в лесу двух сельских парнишек, братьев, и один из них, лет шестнадцати, некрасивый, «с худой кадыкастой шеей и большими оттопыренными ушами», в телогрейке, замасленных ватных брюках и кирзовых сапогах, лебедчик со сплава Семен, вдруг признается постороннему человеку в своей мечте, которая никак не вяжется с его грубоватым внешним обликом. Выясняется, что Семен — натура незаурядная, он, как говорит о нем с гордостью младший братишка, «всякую музыку сочиняет». «Я вот рассказать вам не могу про ночь и все такое, ну звезды там и туман над рекой. А в музыке я все могу, — признается Семен, — на сердце щемит у меня, лягу спать — не сплю, а засну — часто такая музыка играет!»

Семен уверен: песня, «особо ежели долгая, должна свой запах иметь, как вот река или лес», должна нести в себе «истинную чистоту», он пускается в оркестровые тонкости, — и автор уже и не замечает, что образ Семена двоится, что такой, едва ли не профессиональный, монолог его простоватому герою не по силам. Автор торопится утвердить мысль о том, что всякий талант конгениален природе, он ее порождение.

Когда в неясные ночные шорохи в рассказе «Ночь» влетает «тонкий дрожащий звук, похожий на песню», вместе в этом звуком будто прилетает оттуда же, из лесных далей и мелодия расска-

за. «А „Ночь“ ты не поняла, — писал Казаков Т. Жирмунской в ноябре 1958 года. — Шепотом, говоришь, написано. В том-то и смак, что шепотом. Кто же ночью горланит, — одни пьяные, а нормальные люди говорят шепотом и пишут про ночное шепотом. „Ночь“ лучший мой рассказ. Не рассказ, а поэма...»

Именно ночь станет впоследствии излюбленным часом для откровений и прозрений казаковских героев. И позже, и уже здесь Казаков, внимая «музыке природы», слышит, никем, кроме него, не слышимую «музыку жизни». Да, природа у Казакова всегда пронизана музыкой, а музыка природна в своей первооснове. Музыка — неперемное состояние бытия: она, памятуя слова А. Блока, «творит мир», «предшествует всему, что обуславливает». Предшествует всему, а значит, и поэтическому образу, и самому слову. Сложный музыкальный подтекст, «музыка, обернутая лирикой» (М. Цветаева) с первых же рассказов отличает казаковскую прозу.

Лирический герой ранних охотничьих рассказов Казакова, молодой восторженный мечтатель, не прочь поразмышлять о красоте ночного неба, о «великой тишине» и «чистом таланте», о таинственной силе жизни, о простых деревенских людях, внешне, может быть, неказистых, но душевно щедрых и добрых. Избирая себе природу в духовные поводыри, он исповедует ту мудрую наивно-пантеистическую философию, истоки которой легко найти в русской классике, скорее всего, пожалуй, у Льва Толстого. Это она питала Николеньку Иртеньева, когда он по утрам глядел «на лиловатую в тени поверхность реки, начинающую колыхаться от утреннего ветра, на поле желтеющей ржи на том берегу, на светло-красный утренний свет лучей», «наслаждался сознанием в себе точно такой же свежей, молодой силы жизни, какую везде кругом... дышала природа». Это то слияние с природой, когда Николеньке казалось лунной ночью, «будто природа, и луна, и я, мы были одно и то же».

Поэзию такого ощущения жизни Толстой навсегда сделал достоянием русской литературы, пророчески предугадав неизбежность глубокого драматизма в отношениях человека с природой, если человек в этой поэзии усомнится или ее отвергнет. Возмущаясь невежеством тех ученых, которые хотели бы «исправлять природу» и думали, что «лучше природы знают, что нам нужно и что ненужно», Толстой говорил: «У китайцев есть слово — «шу». Это значит — *уважение*. Уважение не к кому-нибудь, не за что-нибудь, а *просто* уважение, уважение ко всему за все. Уважение вот к этому лопуху у частокола за то, что он растет, к облачку на небе,

к этой грязной, с водою в колеях, дороге... Когда мы, наконец, научимся этому уважению к жизни?»

Казаков с самого начала нес в себе это безотчетное «уважение к жизни», уважение «ко всему за все». Обуреваемый вопросами, что называется, вечными, старался художественно разрешать их, опираясь, в частности, и на толстовский опыт.

Всякому самостоятельно думающему человеку, а в молодости особенно, свойственно искать для себя в мире нравственную опору; утверждая себя как личность, осознавать так или иначе свою духовную миссию и свой гражданский долг. Этого невозможно достичь, избегая, сторонясь, страшась, может быть, порой и высокопарно звучащих, но по существу неизбежных вечных вопросов — тех самых, что преследовали когда-то толстовского Пьера Безухова: «Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?..» Духовный потолок всякого человека (и литературного героя тоже) определяется тем, какие ответы на эти вечные вопросы его удовлетворяют. «Призвание каждого человеческого существа, — заявлял Альберт Швейцер, — состоит в том, чтобы выработать собственное мыслящее мировоззрение, стать подлинной личностью». А «собственное, мыслящее мировоззрение» прямо зависит от способности человека хранить в себе благодарность Творцу за дарованный каждому от рождения светлый, трепетный взгляд на жизнь.

Казаков вечных вопросов не страшился. Напротив, он настойчиво и последовательно ставил перед собой эти вопросы о жизни и смерти, о том, «какая сила управляет всем», и рассматривал их именно в том художественно-этическом русле, где толстовское «уважение к жизни» — нравственная аксиома. Казаков этого специально не декларировал, и все-таки «уважение к жизни» было для него — святая святых.

Вспомним ранний, 1956 года, рассказа «На охоте» («Дым»), в котором предвзятый критик в свое время не нашел ничего, кроме «темы роковой неотвратимости явлений». Советские критики вообще недоумевали и ставили Казакову в вину «архаичный», «отсталый», асоциальный подход к традиционным нравственным проблемам, давно, по их мнению, решенным в свете «пролетарской морали».

В рассказе «На охоте» мы впервые наблюдаем ситуацию, немало потом занимавшую Казакова. Здесь два героя — отец и сын, они приехали в места, куда Петр Николаевич, отец Алексея, при-

езжал таким же двадцатилетним, со своим отцом. Они с трудом находят поляну, где Петр Николаевич с отцом, дедом Алексея, разводили костер, теперь она заросла, стала маленькой и чужой, а в памяти представлялась «более значительной, чем на самом деле». Они едва опознают старую толстую ель, возле которой когда-то ставился шалаш, а теперь валялись гнилые, почерневшие палки... Петр Николаевич все время невольно сравнивает то, что видит, с тем, что помнит. Опечаленный воспоминаниями о канувшей молодости, он поет старые русские песни «о разлуке, о смерти, о несбывшейся любви, о раздольных полях, о тоске и сиротливых ночах», поет, вспоминая, как он был болен от счастья в свои двадцать лет.

Тональность рассказа: «стеклянный скрип журавлей», «чистый и грустный запах росы», «присмиревший тихий лес», «чистый печальный воздух» — все это создает элегическое настроение, вызывает сочувствие к герою. Но рассказ «На охоте» не только об отце, переживания Петра Николаевича имеют свое продолжение. Как отмечала Е. Галимова (1992): «Если бы рассказ строился только на сопоставлении мироощущения Петра Николаевича сегодняшнего и двадцатилетнего Пети в далеком прошлом, то и в этом случае он не явился бы лишь иллюстрацией тривиального утверждения о том, что все проходит, все старится». Важнее другое — в рассказе тянется «ниточка от отца к сыну, от сына, ставшего отцом, к его сыну», Алексею суждено ступить в ту же колею и повторить путь отца. «То, что Петр Николаевич, вернувшись туда, где он был молод и счастлив, оказался лицом к лицу с собой двадцатилетним, — писала Е. Галимова, — позволило ему продлить свой взгляд и в прошлое, и в будущее, ощутить и трагизм быстротечной человеческой жизни, и вечное величие, и красоту мира».

Казаков, добавим, несомненно обладал таким «дальним зрением», имеющим старозаветные истоки. Как ни горько Петру Николаевичу соглашаться с краткостью людского века, ему чужд эгоизм, он не только радуется за сына — тому еще предстоит испытать сполна все отпущенные судьбой страдания и радости! — он думает, позволяет себе думать о человечестве; ему «странно до восторга» от мысли, что «еще тысячи людей, может быть и не родившихся даже, будут так же просыпаться когда-нибудь и глядеть на рассвет, туманы на лугах, будут дышать крепкими густыми запахами земли».

Это неизбывное жизнелюбие, осязаемая причастность к вечному самовозрождению природы — неотъемлемое свойство каза-

ковской природы. И не случайно проблема и генетического, и духовного родства, проблема отцовства, возводимого в конечном итоге к библейской парадигме *отца и сына*, — впервые разведанная во внешне скромном рассказе «На охоте», а позднее исследованная и в неосуществленных «Двух ночах», и в «Несторе и Кире», и в «Свечечке», — так волновала писателя.

Наслаждение жизнью и земной красотой неистоимо в человеке — оттого и «второй мир» природы в рассказах Казакова бесконечно прекрасен в своей первозданной сути.

Пожалуй, редко где у Казакова это показано с такой изобразительной страстью, как в рассказе «Арктур — гончий пес» (1957), посвященном памяти М. М. Пришвина.

Сделав главным героем рассказа слепую охотничью собаку с необычайно тонким чутьем и слухом, писатель воспроизводит здесь в мельчайших деталях восприятие мира вроде бы вовсе недоступное, «неведомое и неслышное» человеку, воссоздает настоящую симфонию естественных запахов и звуков, равноценную в своей выразительности зримому образу мира.

Арктур «слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим, — пишет Казаков, эти звуки замечательно улавливая и запечатлевая. — Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи, за многие версты вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит в саду мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым и неживым, как для нас. Дом тоже жил: он скрипел, шуршал, потрескивал, вздрагивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, скапливаясь внизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке. Шевелился толстый слой бревен в запани около лесозавода. Тихо поскрипывали уключины — кто-то переплывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам...»

И запахи для Артура «звучали, как музыка», — в особенности те, что нахлынули на него, поглотили все его существо, когда он впервые очутился в лесу. Передавая это «собачье», звериное, дочеловеческое, так сказать, ощущение запахов, значения которых Арктур не знал, погружаясь вместе с ним в первородную явь лесной стихии, автор окружает свое повествование ореолом первозданной чистоты, — и собственному восприятию земной природы словно возвращает когда-то утерянную, забытую силу.

Восторг, волнение, испытываемое Арктуром, когда он попадает в лес, проснувшись в нем «великая страсть» охотника сродни восхищению рассказчика этим псом — этим непостижимым феноменом жизни! — с его необузданным азартом, его мучительным инстинктом, его жадной осуществить предначертанное природой призвание.

Участь Арктура от рождения трагична: ему не дано было знать, что он слеп, что существует многоцветный мир, он «принимал жизнь такой, какой она досталась ему», но иллюзия пронзительного внутреннего зрения, иллюзия преодоленной слепоты недаром царит в рассказе, и участь Арктура недаром получает, по словам писателя, «возвышенный и героический смысл».

Вдохновенное упоение Арктура охотой бескорыстно. Никогда не настигая зверя, вступая в напрасный, казалось бы, поединок с лесом, Арктур всегда держался бойцом и безоглядно стремился к своей невидимой цели: «Лес был ему молчаливым врагом, лес стегал его по морде, по глазам, лес бросался ему под ноги, лес останавливал его. Только запах, дикий, вечно волнующий, зовущий, нестерпимо прекрасный и враждебный запах, доставался ему, только один след среди тысячи других вел его все вперед и вперед». И даже преданность хозяину, которого он любил, может быть, больше самой жизни, не могла смирить в Арктуре «великие грезы», укротить его нрав, и он остался верен своей страсти, своему предназначению до конца.

Позже Казаков скажет: «Все-таки, от какого бы лица ни выступал автор, он пишет о себе. Даже если он пишет о лошади или о собаке...» И рассказ об Арктуре вовсе не «детский». Тема рассказа, как справедливо было в свое время замечено, это тема самоосуществления, тема «всцелой сосредоточенности на том, что есть твоя функция в жизни», тема, рожденная потребностью «осуществить себя, свое жизненное предназначение, как осуществляет свое призвание гончего пса слепая собака с именем звезды» (И. Соловьева). И, помимо того, — это еще тема утверждения врачующей красоты мира, волеизъявления самой природы, рупором которой и оказывается Арктур.

Когда Арктур, трагически одинокий в своей счастливой поглощенности гоном, никем не понуждаемый и ни разу не изведавший добычи, отдавался охотничьей страсти, — оживал и прекрасно преображался лес. Когда Арктур преследовал зверя, «было похоже, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол, и этот теплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в борах,

разносился по всему лесу, настраивая все на торжественный лад». В такие моменты серебряный лай Арктура слушали «затаившиеся белки, тетерева, и березы, и тесные зеленые елки, и озеро внизу», а когда лай замолкал, лес сразу становился «пустым и мертвым»...

Над рассказом «Арктур — гончий пес» Казаков работал много. Первый его вариант под названием «Гомер» был написан в 1955 году и существенно отличался от варианта окончательного (1957). Поначалу в рассказе важное место занимали отношения Гомера и его хозяйки Леночки, дочери доктора, студентки консерватории, любившей своего пса эгоистично, «как интересную игрушку». Рассказ был написан от третьего лица без прямых авторских обращений к собаке, мир природы был преподан в рассказе скуперее, и конфликт «талантливого» пса и усердной музыкантши отчасти заслонял внутреннюю драму главного персонажа. Позже доля авторского сопереживания Арктуру заметно возросла. В письме к Н. И. Замошкину (от октября 1957 года) Казаков сообщал: «„Арктур“ Вы знаете, это новый вариант „Гомера“, я его почистил, выбросил девочку с роялем и изменил композицию». Действительно, от Леночки в рассказе осталось лишь слабое упоминание, а ее хозяйские функции, уже в новом качестве, были целиком переданы ее отцу-доктору. В результате интонация в рассказе стала более мужественной, отношения доктора с Арктуром психологически усложнились, возникли в рассказе обращенные к Арктуру внутренние авторские монологи, и тема единства с природой зазвучала здесь громче и отчетливее.

«Второй мир» природы у Казакова, — о чем, в частности, свидетельствовал и «Арктур — гончий пес», — был изначально непредставим без такого единства, он предполагал в авторе особую чуткость: и к позывным природы, и к голосу собственной совести.

Но не только прекрасный и целительный мир природы открывается юному романтику в ранних казаковских рассказах. Охота приводит его в глухие деревни, в сельскую и лесную глубинку, знакомит с людьми, о которых раньше он мог судить разве лишь понаслышке, сталкивает с неожиданными попутчиками — и лукавыми порой, и чудаковатыми, и своекорыстными, — и перед ним предстает жизнь, разительно не похожая на привычную городскую, жизнь во многом ему не понятная, сплошь и рядом грубая, а то и нарочито жестокая.

Соприкосновение с этой, если угодно, почвенной жизнью для юного казаковского героя (и для самого автора!) никак не менее

поучительно, чем общение с природой. Причем природа и встречающиеся люди бывают, что называется, контрастны, несовместимы, и все же — это органичная стихия, вызывающая и восхищение, и растерянность, а порой и неприкрытый страх.

Вот Саша Старобельский в рассказе «Ни стуку, ни грюку» (1960) — студент, москвич, «почти мальчик», худой и застенчивый, очень похожий на Алешу из «Голубого и зеленого». Отправившись на Смоленщину едва ли не на первую самостоятельную охоту, он познакомился в поезде с деревенским парнем Сергеем Вараксиным, тот посулил ему богатую добычу в своих местах, и доверчивый Саша от Серegiных разговоров «даже сомлел как-то и ничего уже не чувствовал, кроме того, что счастлив необыкновенно и что жизнь прекрасна». А сойдя с поезда в каком-то неизвестном ему Мятлеве, тут же ощутил, как «кончилась, ушла одна жизнь и наступила для него другая, резко отличная от прежней — глухая, таинственная».

Внешний антураж в рассказе «Ни стуку, ни грюку» вполне охотничий. Саша Старобельский бродил каждый день с ружьем по заливым лугам, сперва с Сергеем, потом в одиночестве, с наслаждением стрелял перепелов, вечером купался в реке, пил на сон грядущий парное молоко и, немного помечтав «по своему обыкновению», засыпал в сарае на сене. Ничто не омрачало его счастливого состояния, грустное очарование позднего лета убаюкивало впечатлительного Сашу и никак не вязалось с теми весьма некрасивыми событиями, очевидцем которых ему довелось стать.

И причиной его переживаний, его душевного разлада оказалась как раз Серега Вараксин, абсолютный Сашин антипод.

Еще при первом его появлении, еще в вагоне поезда, когда, бросив на полку неприятно пахнувшие мешки, Серега принялся, сёрбая и захлебываясь, с хрустом есть арбуз, — еще тогда проглянула в нем звероватая жадность, как бы и не замеченная Сашей; да и весь его облик — был Серега «губаст и красноглаз, с набрякшими лиловыми руками, был в меру выпивши и весел», — весь его облик говорил о том, что Сереге в отличие от Саши чужды сантименты и мечтания, он никогда не упустит своей выгоды, да и Сашу-то с его ружьем он уговорил себе в попутчики, видно, не без расчета: боялся, как бы ночью не отняли у него по дороге пятьсот рублей, вырученные за мясо.

Грубая телесность, невозмутимое самодовольство сразу же обращают на себя внимание в Серее. На охоте — а она ему быстро наскучила — он вел себя лениво, в полдень отбирал у Саши рюк-

зак, принимался «с жадностью, с наслаждением пожирать яйца, хлеб, холодную с застывшим жиром баранину», и, насытившись, «позевывая, порыгивая», вгонял Сашу в краску, говоря ему: «Девки — это не вещь. Ты с девками не связывайся: кино там, клуб, да танцы, да всякие слова ей надо произносить, идейное чего-нибудь... Нет, ты возьми бабу... кха! — ба-бу!» И учил Сашу уму-разуму, напористо объясняя ему, что он, Саша, «со своей философией да с поэзией век дураком будет».

Держался Серега с Сашей покровительственно, всячески подчеркивая свое мужское превосходство. Спорить с тертым, опытным Серегой робкий, интеллигентный Саша не решался, но и согласиться с ним в душе не мог. На первых порах он вроде бы не воспринимал всерьез цинизма Серегиных поучений, на поверку слова Сереги могли обернуться хвастливым трепом, бравадой разбитного гуляки, и в подлость Серегиных любовных шашней он тоже и верил и не верил. Серега же быстро доказал, что слова у него не расходятся с делом, минутного удовольствия ради он обманул молоденькую Галю, за что местные парни избили его до полусмерти, и он всю ночь «стонал, сморкался, плевал кровью, ругал Сашу, Москву и охоту».

Характер Сереги Вараксина раскрывается в рассказе до конца, линия его жизненного поведения совершенно ясна...

А что же Саша Старобельский?

Узнав о Серегиной «победе», Саша почувствовал боль в сердце и жалость к себе, будто что-то неладное, стыдное произошло именно с ним. Слушая равнодушную похвалбу Сереги, он содрогнулся «от озноба, от тоски и гадливости», и было ему горько и одиноко. Как личное оскорбление воспринял он чужую низость и о Сереге не мог думать иначе как с презрением. Но к этим благородным переживаниям Саши примешивалась еще и невольная зависть, потому что он заметил, каким влюбленным взглядом смотрела на Серегу нагло посрамленная им Галя. И печаль Саши оттого еще была так глубока, что день, когда избитый Серега злобно кричал на Галю, выдался чудесный, особенно тихий, нежный, «совсем летний, но бледный и грустный по-осеннему».

Охота ненароком позволила наивному городскому мечтателю взглянуть краешком глаза на жизнь ему неведомую, пугающую. Увиденная вблизи деревенская и привычная московская жизнь были словно разделены невидимой стеной, были несовместимы, одна исключала, отменяла другую. Как примирить их, Саша не знал, и стоило ему после всего случившегося подумать о Москве,

о знакомых девчонках, о футболе, и все эти дни в деревне, охота, Серега, Галя, ночная драка — все это «сразу стало далеким, ушло куда-то, точно так же как ушла вся его прошлая жизнь, когда он поздно ночью слез с поезда в Мятлеве».

Как бы там ни было, первое столкновение юного московского мечтателя с «другой», неизвестной и непонятной ему жизнью состоялось, и это знаменательное сближение послужило залогом того, что в казаковском «романе» стал обнажаться огромный социальный пласт, стал все шире приоткрываться бескрайний российский материк, который писателю и его лирическому герою предстояло и узнать, и войти с ним в непростой контакт.

Для «иероглифической биографии» Казакова это веха перво-степенной важности.

Раз за разом, легкий на ногу, срывался Казаков из Москвы, забирался в глухомань — страсть к охоте провоцировала его на добровольные скитания. Неудивительно, что и рассказы его, эмоционально и ситуативно, основывались зачастую на дорожных впечатлениях, да и рождались нередко в поездках. «Поехал на Волгу, в Городец — написал два рассказа, поехал на Смоленщину — три, поехал на Оку — два, и так далее», — вспоминал позже Казаков.

Дорожный дух и колорит проникали в самую плоть этих рассказов, влияли на их поэтику. Причем молодой писатель не довольствовался лирическими зарисовками либо акварельными «картинками с натуры»; в его наблюдениях, на первый взгляд мимолетных, и в эпизодах едва ли не банальных таился скрытый, подспудный драматизм, — сквозь поверхностную, безобидную оболочку незначительных, отнюдь не эпохальных событий просачивалась в казаковские рассказы неподдельная человеческая боль.

Ну, что можно было извлечь из короткой сцены прощания парня с девушкой в рассказе «На полустанке» (1954), действие которого на пяти страницах длится считанные минуты? Однако, как справедливо было подмечено, Казаков уже с первых литературных шагов умел написать один час в жизни человека так, что отчетливо ясной делалась вся его судьба.

Вот и в этом рассказе, где на затерянной маленькой станции с невыразительным названием Лунданка дышала севером пасмурная, холодная осень, и девушка с припухшими тоскующими глазами влюбленно, не отрываясь, смотрела на вихрастого рябого парня, на его нелепо торчащее «белое хрящеватое ухо», вот и здесь — впервые у Казакова — замечен и скупое, но точно описан

персонаж, которому предстояло привлечь к себе всеобщее внимание, персонаж, с самого начала прочно поселившийся в казаковском «романе».

Этот сельский штангист Вася, с грубым, тяжелым и плоским лицом, с короткой толстой шеей, с красными короткопалыми руками, — из тех хитроватых парней, что, однажды чем-то обольстившись в городе, навсегда теряли душевный покой, начинали суетно торопиться куда-то и без всякого сожаления порывали с деревней и родным домом. Вася где-то на соревнованиях «жиманул запросто» норму мастера спорта и решил, что не стоит ему теперь прозябать в колхозе, что его дело теперь «на рекорды давить», — и, само собой, у него «житуха начнется — дай бог!». У вагона он самодовольно хорохорится перед плачущей девушкой, и только с подножки тронувшегося поезда бросает ей в лицо беспощадную фразу: «Слышь... Не приеду я больше! Слышь...»

Вася из рассказа «На полустанке» уверовал в свою «нутрянную силу», в своем победительном запале он весь как на ладони, — и все-таки не сразу решишь, чего больше заслуживает такой парень: осуждения? жалости? или даже сочувствия? Да, он нахрапист, туповат, он, действительно, из тех, про кого пословица говорит: «Сила есть — ума не надо!» А с другой стороны, он еще, по-молодому, не ведает, что творит, бросая очертя голову родительский дом.

Такой герой при своем появлении вызвал почти единодушное неприятие. И, пожалуй, резче всех высказался о нем Виктор Конецкий, — правда, уже в середине 1980-х. Возражая Юрию Трифонову, считавшему, что подобные «мутноглазые» парни, «в чем-то трагически слабые», достойны и жалости, Конецкий решительно заявил: «Ну, жалости к этим парням я не испытываю... Парни Казакова, состоящие из цинизма, наглости, нахальства, с ядреными задами, крепко пахнущие спермой, табаком и водкой, расплодились и пронизали в самых разных качествах всю Россию. Это и перекати-поле без святого в душе и сердце, которыми набиты исправительные колонии усиленного режима. И одновременно из этих послевоенных парней вышли и миллионы грубых и откровенных приспособленцев на всех ступенях общественной лестницы. Послевоенные, начала пятидесятых годов, парни Казакова, бегущие из деревни в дырявых сапогах гармошкой, к нашему времени обулись в кроссовки и на пальцы нанизали золотые кольца...»

Да, все так, тем более, как мы теперь знаем, такие же вот «штангисты» в 1990-х охотно пополняли ряды криминальных «братков».

В 2008 году Лев Анненский, цитируя Конецкого, безоговорочно с ним соглашался: «В конце концов, вся застойная, застолярная, застылая, самодовольная номенклатурная Россия 70-х годов, пахнущая „водкой, бензином и одеколоном“, сбежавшая с искорверканной земли, — наwerbовалась из этих вот рванувших с „полустанка“ казачковских героев 50-х годов».

Пафос и Конецкого, и Анненского понятен. Но хочется обратить внимание и на то, о чем Анненский упоминает вскользь: у Казакова «тоска лирического героя, бредящего „дорогой“, парадоксально смыкается со „скукой“ встреченного им на полустанке мордастого деревенского парня». А ведь в этом смыкании для Казакова главное. Это ключевой парадокс его иероглифической биографии. Плядя на таких казачковских героев со стороны, глазами столичного горожанина, обличать их было легко. Сам же Казаков рожденных им героев никогда не обличал, — он им сострадал, они мучили его, они возмущали его, они могли быть непереносимы, как он сам порой бывал для себя непереносим. Казаков изображал своих героев с потаенной оглядкой на себя, испытывая стыд за содеянное ими, нисколько их не оправдывал, и все-таки — жалел...

Анненский наглядно обрисовал механизм сближения автора с антиподом лирического героя: «Истинно то, что видится издали и слышится неясно, все то, что доходит сквозь долгое пространство. Все, что приближено, — делается грубым и пошлым. Скучным. Пока далеко — чем-то веет. Хотя и неясно, чем. Приближаешься к человеку — и от него уже не веет, разит, шибает... Как слепой пес Арктур, Казаков сходит с ума от этих ближних запахов. Ему хочется под звезды. В туман. Только бы не видеть, не осязать, не сталкиваться». Однако, скажу от себя, «не видеть, не осязать, не сталкиваться» Казакову, как и его Арктуру, не позволяет та самая неодолимая потребность осуществить свое предназначение. И в этом одна из причин казачковской драмы...

Крошечный рассказ Казакова, будто выхваченный моментальной вспышкой из сумрака северного полустанка, не претендовал на серьезный анализ социальных причин Васиного бегства из деревни, но общественное явление, воплощением которого стал этот герой, писатель «инстинктом истины» угадал и заприметил раньше других. Спешащий в город Вася, глупо импозантный в своем кожаном пальто, на глазах утративший всякую естественность, породил вереницу похожих на него искателей легкой удачи в рассказах самого Казакова и вообще в молодой прозе той поры.

В один ряд с ним попадал, к примеру, и бесхитростный шофер Илья Снегирев из рассказа «По дороге» (1960): он промутился в Сибири лето, вернулся осенью в свою деревню «в злом разочаровании», не понравились Илье и барачная жизнь, и гнус в тайге, и тонкий, напряженный звук МАЗов на дорогах. И все же по весне он снова с легкостью бросал дом, и мать, и невесту... Илья не угрюм и не груб, как штангист Вася, его не терзает тщеславие, он не собирается никого «поприжать», он так и не знает, что выталкивает его из налаженной, устойчивой жизни в неуют временных рабочих поселков, — и тем не менее он не в состоянии усидеть в родной деревне, он здесь теперь, считай, отрезанный ломоть...

Писатель не торопился судить беспечного своего героя строго, — хватит с него суда бедной его матери, опечаленной и недоумевающей. «Господи! — думает она. — Не нужен им дом родной! Ездют, ездют, вся земля поднялась — время какое ноне настало! В рубашоночке... бегал босый, беленький, царица небесная! А теперь звон — полетел!..»

«Время какое ноне настало!» — вот в чем вся штука.

Время, когда беспаспортная русская деревня, измотанная государственным произволом, скудела, дичала, исчезала с лица земли.

Казаков был настойчив — и в рассказе «Легкая жизнь» (1962) еще пристальнее приглядывался все к тому же социальному типу. Герой рассказа — вновь Василий, на сей раз Василий Панков, — пять лет не был дома и сходил с поезда будто на той же самой северной станции, где садился в поезд герой рассказа «На полустанке». Пять лет жизни на стороне, даже и не в городе, где не так-то просто деревенскому парню было удержаться, сделали свое. Василий Панков привык за эти годы к бесконечным переездам, транзитным кассам, районным гостиницам, общежитиям, к быту кочевому и неустоявшемуся. Он перевидал столько городов, поселков и глухих мест, что не все эти места запомнил и никаких чувств к ним не питал. Панков может, если захочет, хорошо поработать, он умелый монтажник, он даже перевыполняет нормы, за что получает почетные грамоты, и теперь вот вполне заслужил свой отпуск, чтобы наконец отоспаться на деревенском сеновале, выпить в свое удовольствие после трудов праведных...

Все это в порядке вещей. Да беда в том, что Василию Панкову (как и Илье Снегиреву) дома уже никак не усидеть. При его здоровье и кипучей энергии, что-то грызет и гложет его изнутри, «какая-то горечь, неудовлетворенность наполняет сердце». Выпав

однажды из гнезда, Василий Панков не способен остановиться, он все спешит, не оглядывается, все в его жизни какое-то случайное, ни друзей настоящих, ничего — одна дорога, одни вокзальные буфеты в памяти. «Всем ты чужой», — говорит Василию при очередном расставании мать, и горе ее так же непонятно для нее и неутешно, как и горе матери Ильи Снегирева.

Индивидуально друг с другом несхожие, казаковские герои, соблазнившиеся «легкой жизнью», люди «перекаати-поле», оказались не в силах противостоять пронзительному ветру времени, — в этом причина их неприкаянности, раздвоенности, их душевной опустошенности. Устремившись в неведомые дали либо попросту «в город», они как бы потерялись на полдороге, и «легкая жизнь» обернулась для них возмездием и страданием.

Почему Василий Панков столь небрежен с окружающими, самодоволен, столь решительно презирает инженеров с дипломами и «вообще культуру»? Почему он хочет выглядеть умнее и образованнее, чем есть, а пьяная глупая серость так и прет из него? Разве не слаб, не жалок он в своей лихой непоседливости? А вдруг он потому и тоскует о дороге, что сулит она ему иллюзию побега от осточертевшей обыденности?

Писатель и здесь далек от обличений, предельно вживаясь в буйную натуру своего героя. Он знает — и у Василия Панкова случаются минуты, когда тот трезво «думает о своей жизни»: «И жалко становится ему себя, какая-то горечь, неудовлетворенность наполняет сердце, скучно и стыдно как-то делается». Душевная горечь наполняет и сердце героя, и сердце автора, «скучно и стыдно» им в равной мере, автор хочет взять своего бесшабашного героя под защиту, ведь у них обоих в глубине души теплится вечная надежда человека на спасение — как на высшую справедливость.

Дюжие сельские парни, задиристые и неотесанные, во всеуслышанье заявляли о себе в пику инфантильному горожанину, озабоченному, по их мнению, не хлебом насущным, а лишь призрачными «высокими материями». И эти парни, и городской мечтатель полноправно сосуществовали в казаковском мире, они словно сближались на встречном движении — и не только потому, что юный московский романтик тянулся к природе и с удовольствием окунался в деревенский быт, а эти парни любой ценой и под любым предлогом норовили из деревни удрать. Они сближались волею объективных процессов и противостояли друг другу в плане духовном, «культурном», хотя прямого конфликта между ними не просматривалось.

Конфликт здесь не трактовался Казаковым узкосоциально, не сводился к проблеме города и деревни, и когда впоследствии Казакова причисляли к «деревенщикам», это было, скорее, недоразумение. И городской мечтатель, и практичные деревенские парни, обретая себя в казаковской художественной реальности, были звеньями одной духовной конструкции. Без этих звеньев невозможно представить себе «все поле внутренней жизни» писателя, равно как нельзя обособить эти звенья, исходя из чисто внешних характеристик.

Казакова всецело интересовала сфера нравственной жизни его героев, включающая в себя и быт, разумеется, и социальность, но не регламентированная ими, не замкнутая, — и потому втискивать казаковские рассказы в какие бы то ни было тесные идейно-тематические рубрики непродуктивно. Пресловутое деление писателей на «деревенщиков» и «горожан», а тем более местнические счеты никогда Казакова не затрагивали. В своих произведениях — как и в своих суждениях о литературе — он никогда не опускался до унижительной, унылой групповщины.

Тем не менее Казаков, столь внимательно интересовавшийся провинциальной жизнью, органически не переносил местной рутины и открыто презирал провинциализм, из-за которого, по его словам, «все усугубляется». Он был правдивым и внутренне свободным: «арбатство, растворенное в крови», — прибегая к стихам Окуджавы, — было в нем «неистребимо, как сама природа».

И характер, и гражданскую позицию своих героев Казаков испытывал на прочность, ставя их перед проблемами вечными и одновременно актуально-конкретными. Казакова, как он сам, напомним, объяснял, волновали: человеческое счастье, преодоление страданий, живучесть грязных инстинктов, любовь... Любовь, может быть, в особенности: она служила той лакмусовой бумажкой, которая безошибочно определяла душевный потенциал человека. Всякое, кажется, мог простить Казаков даже самым отпетым своим героям, но он был непримирим, когда речь касалась любви и отношения к женщине.

Героини ранних казаковских рассказов достаточно натерпелись горя от тупых и жестких парней, вроде злополучного Васи из рассказа «На полустанке» или ветеринарного фельдшера Николая из рассказа «Некрасивая» (1956), — натерпелись, но и в горе себя не потеряли. Как ни безотраднa доля попавшей после института в деревню учительницы Сони, нескладной, некрасивой девушки, будто бы смирившейся со своим одиночеством и все же

мечтавшей о счастье, — она нашла в себе гордость восстать против наглого хама, от которого «веяло чугуном силой». Обиды не подавляли Соню, не сковывали, а напротив, придавали ей энергии, как бы заново открывая ей мир, спасительная красота которого еще заметнее сквозь слезы.

Соня, подсказывает автор, «вдруг увидела пронзительную красоту мира, и как, медленно перечеркивая небо, валились звезды, и ночь, и далекие костры, которые, может быть, чудились ей, и добрых людей возле этих костров и почувствовала уже усталую, покойную силу земли...» Эта способность ощутить в трудную минуту «покойную силу земли» и вскинуть взор в звездное небо, эта способность к душевному порыву преображает казаковскую героиню. Красота, извечно царящая в мире, словно берет ее, «некрасивую», под свое крыло, распространяя на нее свое могущество.

Такой исход рассказа противостоял мрачной житейской обстановке, казалось бы, подавлявшей лучившийся в рассказе внутренний свет. «Вы совершенно правильно поняли „Некрасивую“, — писал Казаков С. Шипачеву в октябре 1959 года, — я задыхался и кричал от нежности, когда писал ее, а все почему-то считают, что это „жестокий“ рассказ...»

Что-то роднило Казакова с некрасивой Соней, что-то впрямую не высказанное. Не случайно Ф. Поленов про казаковских героинь как-то заметил, что в их «женской беззащитности, некой надломленности» таится «ключ к пониманию хрупкости и незащищенности самого автора». И по-своему ту же, в сущности, мысль обронила Т. Жирмунская, когда в своих воспоминаниях беседовала с Казаковым: «Целомудрие пишущего, как правило, не принимается в расчет при разборе его произведений. И зря! — сетовала она: — Попрание чистоты или покушение на чистоту («На полустанке», «Некрасивая», «Странник», «Манька») не ошеломило бы, не ранило бы тебя так больно, если бы сам подгнил на корню».

Надо сказать, подобное порой случалось: жесткость фона или жестокость казаковских персонажей критики относили на счет авторской позиции, не учитывая, что автор преданно любил своих неблагополучных героев. С другой стороны, и «нутряные парни», под стать Сергею Варакину, Василию Панкову или фельдшеру Николаю, не обязательно были столь уж оголтелы и примитивны. Молодой горожанин мог спасовать перед ними, мог отшатнуться от деревенской жизни при первом же с ней знакомстве, но писатель, шагнув ей навстречу, стремился за шершавой оболочкой

распознать глубинную суть и разглядеть в людях, пусть неприметных, странных, даже, может быть, ущербных, их человеческую неповторимость. Более того (используем слова Б. Зайцева о Гоголе), «он в них влил нечто тягостное и мучительное из своей души, как бы свои некие черты в них распыл, что и сделало их столь неотразимо ранящими...»

Ракурс изображения, эмоциональные оттенки при этом варьировались. Молчаливый спор между восторженным городским мечтателем и занозистыми деревенскими парнями уходил за рамки авторского поля зрения, а эти парни получали в казаковской прозе законное право голоса.

В этой связи заслуживает пристального внимания один из вершинных рассказов Казакова — «Трали-вали», опубликованный в журнале «Октябрь» под названием «Отщепенец».

Весной 1959 года Казаков писал Паустовскому: «А чудные вещи творятся на свете. Недавно написал я рассказ „Трали-вали“ про бакенщика на Оке и вообще про Русь и русский характер, а больше всего про себя. Отнес я его в „Октябрь“, Панферов отказал, т. к. нашел ущербность. А после выступления Соболева Панферов вдруг разозлился, попросил снова этот рассказ и хочет печатать...»

В августе Казаков вновь писал Паустовскому: «И еще просьба: прочтите, пожалуйста, мой последний рассказ в № 7 „Октября“. Только называется он не „Отщепенец“ (это Панферов выдумал) — какой он отщепенец! — а „Трали-вали“. Меня ругают сейчас все, но Вы не расстраивайтесь, пока есть люди, подобные Вам, нам, молодым, не страшно жить...»

Рассказ «вообще про Русь и русский характер, а больше всего про себя...».

Рассказ, казалось бы, не исповедальный, написанный от третьего лица. Про русский характер — да, несомненно. А почему — «про себя»? Что объединяло их, героя и автора? Ведь бакенщик Егор, перебравшийся из ближней деревни в речную сторожку на Оке, явно из тех самых «нутряных парней»: он был «крепок, кадыкаст, немного вял и слегка косолап», и лицо у него было «крупное, рыхлое, неподвижно-сонное и горбоносое»; ко всему на свете Егор относился с равнодушной насмешкой, лениво и оживлялся только в предвкушении выпивки. В минуту слабости сокрушался: «Недоделанный я какой-то! Черт меня делал на пьяной козе!»

И вот в этом столь непрезентабельном герое, с его «бездумно-отчаянными глазами», за его расхлябанностью, развращенностью от легко достающихся ему на перевозе денег, за глупой пьяной бра-

вадой писатель сумел угадать нечто для себя сокровенное... Что же? Какие свои черты (еще и при некотором портретном сходстве) автор «распял» в своем герое? Укоренившуюся на Руси дурную привычку к рюмке? Тоску, возвышающую обоих над царящей скукой жизни?

Повествование в рассказе течет неторопливо, под стать Оке, с ее «глубиной и потаенностью». И так же неспешно спадают пелена за пеленой, прежде чем обнажается подлинный облик Егора. Привыкший к уединению, на людях он либо высокомерен до неловкости, либо суетен и чувствует себя не в своей тарелке. Когда в сторожке ночуют проезжие, Егор выглядит ершистым выпивохой, пустым и никчемным, он без зазрения совести врёт, что настрелял за зиму триста пятьдесят зайцев. Со случайными гостями он препирается по пустякам, что-то доказывает им во хмелю, пытается завоевать у них симпатию и вообще «победить» их во что бы то ни стало. Но Егора, вопреки его стараниям, не принимают всерьез, над ним снисходительно посмеиваются, его нелепое скоморошество ради стакана водки вызывает у городских гостей полупрезрительную жалость. Влюбленная в Егора Аленка в такие моменты стыдится за него и с нетерпением ждет, когда Егор начнет «поражать гостей».

И Егор, действительно, сбрасывает с себя маску скомороха и принимается петь: «И при первых же звуках его голоса мгновенно смолкают разговоры — непонятно, с испугом все смотрят на него! Не частушки поет он и не современные песни, хотя все их знает и постоянно мурлычет, — поет он на старинный русский манер, вразтяжку, как бы неохотно, как бы хрипловато, как, слышал он в детстве, певали старики...» Правда, Егор и чуть кокетничает своим пением, но в его негромком голосе «столько настоящего русского, будто бы древне-былинного», что через минуту забывается его пьянство, его грубость и хвастовство и слушателей захватывает проникновенный голос, родная песня, неведомо как сплывающая всех, кто оказался в сторожке. В пении Егора сходятся «вместе и прошлое и будущее», — его пение повергает всех в то восторженно-грустное состояние, о каком толстовский Федя Протасов говорил когда-то: «это десятый век, это не свобода, а воля».

После такого пения Егор предстает перед гостями «непонятным и сильным», хотя сам он, вроде бы счастливый от похвал, по-прежнему небрежен и насмешлив в разговоре, и лицо его опять ничего не выражает. Спетая песня для него — всего лишь театр, выступление на публику, повод отстоять поправленное водкой чело-

веческое достоинство. А гложет сердце Егора нечто большее, нежели его униженное самолюбие, ему ведомы минуты высокого вдохновения.

Такое с героями Казакова бывало не раз: талант восставал в них против пьяного непотребства, против неизбежного похмелья, которое в человеке «убивает все». Посрамленные дурным недугом и, может быть, поставленные на край пропасти, герои Казакова, споря с наследственностью или с обстоятельствами, живут в незаметном для стороннего взгляда борении, в противоборстве с собой и своим несчастьем, и в этом борении на грани гибели дает знать о себе их снедаемый совестью характер...

Пение Егора перед гостями — только четверть его «славы»; иное дело, когда он поет для себя, когда его «затягивает», когда в песне он, что называется, выплескивает душу. Тогда, примостившись с Аленкой подле дырявой перевернутой плоскодонки, он отдается пению «с глубокой мукой» и обычно равнодушное лицо его становится просветленно-скорбным. Магия его голоса такова, дивные слова старинной русской песни так родны и спасительны, что и Аленка, не слыша своего «низкого, матового, страстного голоса», подпевая Егору «дух в дух», тоже испытывает ни с чем не сравнимую мучительную радость. Пение Егора и Аленки — апофеоз их страдания и счастья; они поют, «чувствуя одно только — что сейчас разорвется сердце, сейчас упадут они на траву мертвыми, и не надо уж им живой воды, не воскреснуть им после такого счастья и такой муки».

Страсть вдохновения и любви Казаков писал всегда пронзительно и ярко. Люди с неутоленными страстями, люди во плоти, те, кому и долгого века мало, чтобы все в жизни изведать, громко заявили о себе уже в ранних его рассказах. Уважение к «живой жизни», преклонение перед человеческой личностью обусловили в чем-то самом главном художественную концепцию Казакова, причем ни возраст, ни профессия, ни общественное положение его героев не считались здесь решающими факторами.

И непутевый бакенщик Егор — из тех мятущихся героев, что принесли в казаковский «роман» неутихающую душевную тревогу, смутное беспокойство, горькую ноту неудовлетворенности собой. Такие герои, вслед за автором, обладали космическим слухом, особым чувством мироздания, их одолевала жажда простора — и все это вздымало их над будничной суетой, позволяло им слышать музыку вселенной. «Идет мимо него жизнь! Что за звон стоит в его сердце и над всей землей?» — восклицал писатель,

обращаясь к Егору (и к самому себе), — и этот звон, будто праведный колокол, звал заблудшего, потерявшегося человека встрепенуться, пробудиться, уверовать в ниспосланное ему свыше предназначение.

Пока внятн этот звон, пока сердце Егора бьется с ним в лад — светла его печаль и не покинет его надежда. Вопреки внешней застылости, не затухает в Егоре искра таланта; талант не позволяет ему свыкнуться с прозябанием. Егор не понимает, просыпаясь ночами, кто окликает его — «будто звездный крик гудит по реке», — но он «смутно и знобко» чувствует, что какие-то бескрайние дали зовут его, и неясная тоска Егора оборачивается тоской «по работе, по настоящему труду — до смертной усталости, до счастья».

В драме бакенщика Егора видел Казаков не столько драму несостоявшегося певца, одаренного человека, не сумевшего подняться до вершин культуры, сколько драму талантливой души, теряющей себя, но не погибшей.

Эта нравственная проблема издавна волновала русскую литературу. Достоевский, например, в своих записных тетрадях рассуждал: «...как странно: мы, может быть, видим Шекспира. А он ездит в извозчиках, это, может быть, Рафаэль, а он в кузнецах, это актер, а он пашет землю. Неужели только маленькая верхушечка людей проявляется, а остальные гибнут (податное сословие для подготовки культурного слоя). Какой вековечный вопрос, и однако, он во что бы ни стало должен быть разрешен».

Со времен Достоевского в этом плане, наверное, мало что изменилось, но Казаков был обеспокоен не тем, что непроявленный талант — только почва «культурного слоя». Казакова занимало чудодейственное, воскрешающее влияние таланта на его обладателя, влияние и воздействие, бесценные сами по себе. Поэтому дело здесь не в том, что Егор не выбился в профессиональные певцы, в чем упрекали писателя присяжные критики, не в том, что Егор насмешливо и раздражительно отзывается о сцене («Все это трали-вали... театры там всякие...»), и тут он вполне сродни Василию Панкову из «Легкой жизни», презиравшему «вообще культуру». Суть дела в том, что талант, священный дар, даже «ни к чему и ни к кому не обращенный», не бессмыслен, — на что сетовал артист М. Романов в открытом письме Казакову в «Литературной газете» (1959), — талант сам по себе есть ярчайшее проявление «живой жизни». Талант в любых условиях и при любом стечении обстоятельств врачует душевные раны и сулит его обладателю, пусть краткие, минуты счастья.

Для Казакова изначально две соизмеримые силы — творческое вдохновение и вдохновение любви. Они, как ничто другое, возвышают человека, позволяя ему очищать душу от всего мелочного, унижительного, порочного, — храня свое достоинство и вопреки всему достигая «торжества своего внутреннего мира». Эти две силы постоянно сопутствуют друг другу, и для того же Егора спасительно не только самозабвенное пение, а и та нежность, какая просыпается в нем к безропотной Аленке, когда он «жадно приникает, прижимается к ней, чувствует только ее, как ребенок, готовый заплакать», когда он «слабеет от радости», «уже не думая ни о чем и ничего не желая, а желая только, чтобы так продолжалось всегда».

Казаков как-то признавался, что в рассказе для него важнее всего «финальная черта». В заметке «Опыт, наблюдение, тон» (1968) он писал: «Мне кажется, самое главное в рассказе это начало и конец. Середину можно как-то продлить или сократить. Но правильно начать и кончить — это важнее и труднее всего. Между прочим, я обратил внимание, что почти все стихотворные строчки, которые мы помним, как правило, являются началом стихотворения или его концом — это строчки, являющиеся „ключом“ или подводящие итог стихотворения. Так же, мне кажется, и в рассказе: конец и начало — это самая важная вещь».

Вспомним финал рассказа «Трали-вали», его заключительный аккорд.

Егор и Аленка поют. «А когда кончают, измученные, опустошенные, счастливые, когда Егор молча ложится головой ей на колени и тяжело дышит, она целует его бледное холодное лицо и шепчет, задыхаясь:

— Егорушка, милый... Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой...

„А! Трали-вали...“ — хочет сказать Егор, но ничего не говорит. Во рту у него сладко и сухо».

Такая вот деликатно откровенная финальная сцена. Такие минуты искупают собой и душевные терзания, и пьяное непотребство Егора, суля ему какую-то неясную надежду.

Когда же Егор тоскует об «иной жизни», когда ему хочется, бросив все, куда-нибудь уехать, он воображает дальнюю дорогу, плывущих на ночном пароходе пассажиров и думает о том, как прекрасна его родина, «эти пыльные дороги, исхоженные, истоптанные с младенчества, эти деревни — каждая наособицу», как восхитительна весна «с лиловым снегом на полях, с мутным необозримым разливом, с холодными закатами в полнеба, с вороха-

ми шуршащих палых прошлогодних листьев по юврагам», и как поэтична осень «с ее скукой, с дождиком, с пахучим ночным ветром, с особенным в это время уютom сторожки», — в этих лирических откровениях уже напрямую слышится авторский голос. Перевоплощаясь в своего непутевого героя, автор, приняв на себя его грехи, идет ему навстречу и, наделяя героя собственным мироощущением, будто поднимает его над уготованной ему судьбой.

И тут нельзя не согласиться с О. Салынским, заметившим (1987), что «все герои казаковского „романа“, в том числе противопоставленные лирическому страннику бродяги, отвечали каким-то глубинным свойствам природы писателя. Она, эта натура, видимо, содержала в себе в качестве тенденций, возможностей многие ипостаси национального характера — и возвышенное духовное странничество, и бродяжничество, и вкус к оседлой, „коренной“ жизни».

Действительно, тенденции были разные. Л. Аннинский, скажем, высмотрел у Казакова свой вариант русского характера и этот вариант абсолютизировал: «Русский человек у Казакова, — писал он в 2008 году, — это сила, которая мучается и куражится от неприкаянности. Чугунная сила, самодовольная. Сама собой любителю, ищет, кому бы показаться, перед кем покрасоваться... Иногда орет человек, иногда поет. Иногда фальшиво поет, а иногда так, что дух захватывает. Зов в человеке, и „голоса“: кто-то окликнет его неведомо откуда — он встанет и пойдет... А кто сидит на месте — тот с ума сходит от этих „зовов“. Судьба русского человека, лейтмотивом идущая через рассказы Казакова: заскучал — запил — забуянил. С кем-то подрался, с кем-то расцеловался, на чьей-то груди плакал, потом хотел топиться, а утром, проснувшись, изодранный, избитый, с большой головой, не может ничего припомнить. Из недавнего, ближнего, реального — ничего не помнит, не знает и НЕ ХОЧЕТ знать. Хочется ему куда-нибудь подальше, и именно — не знать, куда».

Такова версия русского национального характера, извлеченная из казаковской прозы Л. Аннинским, но в ней налицо и другие тенденции. Иной раз появлялись у Казакова и совсем уж неожиданные герои, сочетавшие в себе, казалось бы, несоединимые черты. К примеру, в рассказе «Странник» (1956), которому предшествовала и вовсе любопытная история.

Студентом Литинститута отправился Казаков на практику в Ростов Великий. «Можно было поехать куда угодно, хоть на Камчатку, но я полагал, — объяснял писатель позже, — что мое дело

изучить Россию...» В Ростове, в местной газете, Казакова спросили, к чему у него лежит душа, и он почему-то ответил — к фельетону. Тогда его направили в городской суд, потом в милицию, где предоставлялись на выбор: убийство, грабительство, поджог. «Но это же для фельетона не тема, — рассказывал Казаков. — И вот попало мне такое дело: был арестован некто, под видом странника ходивший по городам и весям. Я, что называется, ознакомился с фактами: этот хмырь с бородой (а бородатые экземпляры тогда еще редко встречались в России) пришел в церковь, где, упав на пол, истово молился (во спасение России). Подошла к нему старушка и, узнав, что он странник божий, предоставила ему ночлег. Со старушки взять было нечего, но она сдавала угол каким-то молодоженам, чьи небогатые пожитки он и присвоил. Поймали его на базаре, где он, уже выпивши, торговал ворованным. Ну и биография у него оказалась! Сначала учился на художника, а потом обворовывал церкви, бродяжничал...»

Казаков написал об этом «хмыре с бородой» небольшой фельетон, который опубликовала районная газетка. Но когда вернулся в Москву, ему вдруг померещилось в фигуре странника «нечто большее, чем простой мелкий жулик», подумалось, что «какая-то неясная мысль» влекла того вдаль, — и писатель сел за рассказ.

Как навязчиво критики ни призывали Казакова, — коль скоро он касается не искорененных еще пороков, — бить насмерть «чудом уцелевшего пещерного человека», Казаков не торопился внимать подобным требованиям, и в данном случае путь от фельетона к психологическому рассказу весьма показателен.

Нужно было самому узнать в детстве ту надличную, «особенную страшность», какую поразила его, подростка, война, нужно было на себе испытать и голод, и семейный неуют, почувствовать себя изгоем в вынужденной разлуке с отцом, — чтобы в судьбе неприятного и неопрятного «хмыря», своего сверстника, уловить отражение их общей судьбы. Наконец, нужно было услышать в себе душу странника, чтобы в той фельетонной ситуации найти зерно подлинной человеческой драмы.

Странник Иоанн, в самом деле, «нечто большее, чем простой мелкий жулик». Его выморочная судьба имеет свои социально-исторические координаты и свое психологическое объяснение. Мальчишкой в войну потерял этот Иоанн — Иван! — родителей в псковской деревне, долго горевал один-одинешенек, подорвался на mine, стал инвалидом, работенки по силам ему в колхозе не нашлось, помыкался он и пустился бродяжничать ради куска хле-

ба... Выбросило его взрывной волной войны из разоренного отчего дома, оторвало от крестьянских корней, понесло по жизни. А душа у него оказалась «ненасытимая»: не мог он, пустившись в бега, подолгу оставаться на месте, все его куда-то тянуло, все «сосало чего-то», особенно по весне.

При более благоприятных обстоятельствах насытил бы этот псковский Иван свою неутомимую душу как-нибудь иначе, нашел бы себе занятия по нраву. Ведь само по себе «весеннее смятение» казаковских героев, их непоседливость — родовая, авторская черта — нисколько не зазорны, напротив, заразительны обещанием душевной раскованности. Однако Ивану выпала его нелепая доля.

Влекла ли его какая-то «неясная мысль»? «Думал ли он о чем-нибудь, шагая мимо деревень, лесов, мимо рек, зеленых полей и бурых паров?» — спрашивает писатель и отвечает: «Синие его глаза в красных веках не смотрели ни на что внимательно, ни на чем подолгу не останавливались, блуждали по далям, по белым облакам, заволакивались слезами, потом опять бездумно глядели...»

Душа странника была опустошена, как выжженное войной поле. Бездумье служило ему невольной защитой, прикрытием от одиночества и сиротства. Но в то же время бездумье и безделье калечили его, отвращали от труда и людей, с которыми он держался трусливо или, если нащупывал в них слабость, «важно и твердо». Он потерял мерило нормальных человеческих отношений и не сознавал унижительной двуликости своего существования. Больше всего он вроде бы дорожил неподконтрольной свободой: «Нету над тобой начальства, нету законов никаких, встал — пошел. Что мне люди? Кто такие?» И все же страха перед честными людьми преодолеть не мог. Он выдавал себя за праведника, за человека веры, поучал святости добродетельную старуху Настасью, а сам пекся вовсе не о небесных благах, а о грешных земных удовольствиях: за ужином ел жадно и много, «жадно глядел на кровать с периной»...

Драма странника, с его гордыней и притворством, с его лживым пренебрежением ко всему мирскому, заключается прежде всего, пожалуй, в том, что он, в сущности, человек мнимый, несостоявшийся, обделенный на общем пиру, не нашедший себя в сумрачные послевоенные годы.

И тем не менее, влекла ли его какая-то «неясная мысль»? Ведь говорил он Настасье: «Ах, мамаша! Много я по свету исходил, а если сказать по душе, как перед господом истинным, — нету стороны лучше русской! Идешь ты по ней, жаворонок звенит, вот тре-

пещется, вот трепещется, тут тебе донник цветет, ромашка на тебя смотрит, тут люди хорошие попадут, распросят, ночевать позовут, накормят...» Ведь чувствовал он благодарность родной земле, добрым русским людям, надеялся на их милосердие, — значит, мысль о Родине, о России была для него спасительной?

Да. И не только эта мысль согревала его.

В доме Настасьи, опустившись в горнице на колени, засматривался он в окно на неподвижные яблони и прислушивался к тихим домашним звукам и запахам, они неспроста «сладко трогали его сердце»: «Сколько деревень он повидал, где только не ночевал! Все было разное везде: люди, обычаи, говор... И только сумерки, запахи жилья, хлеба, звуки везде были одинаковые...» И на Любу он поглядывал, откровенно думая, что «хорошо бы обрить бороду, жениться на такой девке, работать по хозяйству, спать с ней на сеновале, целовать ее до третьих петухов...» Но сладить с собой, перебороть себя он уже не в силах, и когда с нарочито-печальным лицом покидал гостеприимный Настасьин дом и снова отдавал себя дороге, «тоска по чему-то незнакомому» веселила его и «слабо покалывала сердце».

Дорога была неисчерпаемым кладезем сюжетов и побуждала к писанию. О рассказе «На полустанке» Казаков говорил, что тот «возник из воспоминания о крошечной, заброшенной станции на севере Кировской области». Рассказ «Трали-вали» комментировал так: «Когда я с внуком Поленова странствовал по Оке, мы часто ночевали у бакенщиков, знакомство с которыми и легло в основу создания образа Егора. Когда я уже сел за этот рассказ, то все время почему-то крутил пластинку Рахманинова „Вокализ“...»

Кого только ни встречал Казаков на российских дорогах! В какие медвежьи углы ни забирался! Какую «старую жизнь» ни наблюдал, — чему иллюстрацией «Дом под кручей» (1955), и каких только старозаветных типов не заметил в древних, глухих городках, где — как в рассказе «Старики» (1958) — еще стучали по ночам в колотушки сторожа, хоронили людей по церковному обряду и бабы бегали на базар слушать пророчества Коли-дурачка...

Как непривычно, а порой вызывающе выглядели в ранних рассказах Казакова его неординарные герои, не отвечавшие вкусам благополучной беллетристики начала 1950-х годов. Особенно — беззастенчивые, безудержные и «бездумные» деревенские парни, самим своим появлением в литературе тех лет словно бы нарушавшие общественное спокойствие.

Тип странника, путника, скитальца — в различных его вариантах: будь то лирический двойник автора или персонажи, так ли, иначе с ним конфликтующие, ему противостоящие, — едва ли не самый примечательный тип в этих рассказах.

Причем инфантильный городской романтик, совершавший свои первые охотничьи прогулки, скоро уступил место на страницах казаковского «романа» человеку с более сложной и зрелой духовной организацией, знаменовавшему собой новый виток «иероглифической биографии» автора.

А сама дорога! Само движение!

С затаенной печалью писал Казаков в «Легкой жизни»:

«...Хорошо ехать ночью в поезде!..

Хорошо думать о том, что мимо проплывают темные деревни, озера, стога, глухие сторожки и реки, которые угадываешь только по гулу мостов.

Появится где-то в неизмеримой черной дали дрожащая красная точка костра, долго держится почти на одном месте, потом погаснет, заслоненная косогором или лесом. Или вынырнет откуда-то автомашина, бежит рядом с поездом, перед ней прыгает светлое пятно от фар, но и машина мало-помалу отстает, и вот уже снова темно...

Сколько же земли осталось за тобой, сколько деревень, станций промчалось мимо, пока ты спишь или думаешь! И в этих деревнях, на этих станциях живут люди, которых ты не видел и не увидишь никогда, о жизни и смерти которых ничего не узнаешь, так же как не узнают и они о тебе.

Как сожмется сердце от мысли, что великое, непостижимое множество судеб, горя и счастья, и любви, и всего того, что мы вообще зовем жизнью, тебе никогда не придется увидеть!..»

Само понятие *дорога* будто вмещало в себе для Казакова и образ жизни, и мечту, и художественную программу.

В воспоминаниях о Паустовском Казаков писал: «Перечитывая книги Паустовского, вспоминая разговоры с ним, я теперь думаю, что страсть к литературному труду всю жизнь боролась в нем со страстью к путешествиям... Когда он ехал, он думал о той минуте, когда наконец сядет за стол, чтобы написать обо всем, что увидел и о чем думал в дороге. Когда он работал, сидя где-нибудь в деревне или на заброшенной даче, новая дорога уже звала его и не давала покоя».

Эти же две страсти всю жизнь боролись и в самом Казакове.

Глава 3

«ТОСКА, СОВСЕМ НЕ ХОЧЕТСЯ ПИСАТЬ...»

Принято думать, что в творчестве Казакова не было ученического периода, — он объявился в литературе неожиданно, как сложившийся мастер.

Ю. Трифонов в связи с пятидесятилетием Казакова, обращаясь к нему, говорил: «Ты ведь как-то сразу, без разгона, без подготовки обнаружился мастером, сразу стали читать, полюбили. И сразу — прочно, навсегда. Только редкий и мощный талант вырубает так стремительно, так естественно и легко себе место на книжной полке *истинных мастеров*, где, надо сказать, тесновато. Много в нашей литературе писано, громадный хор голосит, и выделиться в этом хоре — хотя бы единой нотой — высочайшая трудность. Иные кладут на сей подвиг жизнь, другие так и пропадают беззвучно, потонув во вселенском гуле, но голос Юрия Казакова был услышан мгновенно».

Обычно факт рождения писателя связывают с выходом в свет его первой книги. С Казаковым было иначе. Он начал печататься с 1952 года, и до того, как в Москве, в 1959 году, был издан его сборник «На полустанке», который Казаков по праву считал своей первой полновесной книгой, молодой писатель был уже и замечен читателем, и обруган критикой, хотя выпустил он к тому моменту всего две тоненькие книжечки в Архангельске: «Тедди» (1957) и «Манька» (1958), крохотный сборничек рассказов «Арктур — гончий пес» в московском Детгизе (1958) и опубликовал в журналах несколько рассказов.

И все-таки — был ли у Казакова ученический период?

Да, был.

Об этом со всей очевидностью свидетельствует дневник 1949—1953 годов, где наивность и пылкость юного романтика, решившего посвятить себя искусству, сочетается с настойчивостью трезво мыслящего человека, которому живется весьма несладко, — не забудем, что отец его по-прежнему оторван от семьи, работает

в вятских краях на положении ссыльного, а это конечно же «пятает анкету» сына.

Суждения о литературе и музыке, о собственном писательстве перемежаются в этом дневнике с бесконечными жалобами на отсутствие работы по специальности, на то, что с оркестрами сотрудничать случается эпизодически и потому вечерами он вынужден играть на танцверандах и в поте лица «биться за жизнь, за деньги».

6 октября 1951 года Казаков записывал: «Как плохо устроена жизнь! Вот 15.X.51 день рождения мамы. А как я могу его отметить? Что подарить ей? Я ведь сам не работаю, и денег нема. Хоть бы сгорели эти деньги! В Москве определенно неурядица с оркестрами. Оркестров мало. И много музыкантов, особенно из молодых ходят без работы. А в том числе и я. Когда же это кончится? Я уж столько денег развездил, обивая пороги различных музучреждений, и все без толку. Хоть специальность меняй».

22 октября 1951 года: «Пробовал устроиться грузчиком на ф-ку „Красный Октябрь“. Ничего не получилось... Что же теперь делать? Ох, деньги, деньги!.. Хотел бы я пожить немного, не думая каждодневно: „Где взять деньги на хлеб, на квартиру, на питание?“ Деньги и средство их добывать — вот что пока занимает меня неперестанно».

Безденежье с детства вызывало у Казакова ненависть: «Хоть бы сгорели эти деньги!» — и оставило на душе шрам на всю жизнь. Отчаяние из-за напрасных поисков работы преследовало его, не стихая.

11 ноября 1952 года он записывал: «Все лето пришлось играть на танцверанде. До чего же осточертели мне все эти танцы! И я сейчас одному рад — тому, что не слышу более всех этих па-де-грасов и прочих „па-де...“ Во всей моей идиллистической обстановке, наверное, наступит скоро перелом. Дело в том, что меня увольняют — и я снова остаюсь безработным. Но теперь это долго продолжаться не будет, т. к. я надеюсь найти работу на периферии...»

20 ноября 1952 года: «Решилось! Я — уволен. И снова я вольная птица без гроша в кармане и с ужасной скукой в душе. Уманский пока хлопочет (или уверяет меня, что хлопочет), не знаю, что выйдет из этого, но пожалуй, ничего не выйдет. Придется смаывать удочки из благословенной богом Москвы и искать пристанища где-нибудь подальше. Был я в Комит<ете> по дел<ам> искусств. Там определенного ничего не сказали. Но был слушок, что нужны-де контрабасисты в Улан-Удэ. Вот это я понимаю, места, что называется, не столь отдаленные...»

3 января 1953-го Казаков снова жаловался в дневнике: «...временами дохожу до страшного отчаяния и зверской тоски... Скоро должен прийти ответ из Свердловска, из театра оперы и балета, и если условия там будут мало-мальски подходящие, я не задумываясь поеду». Пришел ли этот ответ, неизвестно, но уехать из Москвы Казакову было не суждено. В марте ему замаячила работа, какой он никак не ждал. «Чуть-чуть было мне не повезло в жизни, — записывал он 2 марта. — Но все дело сорвалось. Рука судьбы беспощадно карает меня. В конце февраля я окончил рассказ о боксерах в Зап<адной> Германии. Понес в газету „Сов<етский> спорт“. Там прочли, одобрили и... предложили переделать. Кроме этого мне предложили, даже без всякого намека с моей стороны, стать их постоянным, штатным сотрудником, т. е. корреспондентом. Я не знаю, как мне удалось удержать в себе весь восторг, который охватил меня...»

В «Советском спорте» Казакова приветил журналист и поэт Н. А. Тарасов, а его жена Елена Тарасова в 2000 году вспоминала молодого Казакова: «Был он как-то не по-мужски белолиц, с легким, нежным румянцем на щеках и пронизательным взглядом серых глаз, увеличенных толстыми стеклами очков. И при этом было в нем, кроме явно проглядывающей доверчивости, добродушная, слегка насмешливая грубоватость...»

Казаков тогда заполнил, как положено, анкету, написал автобиографию, с великим трудом достал справку из домоуправления, заместитель редактора встретил его «шикарной улыбкой», но глянув в анкету да еще заметив, что Казаков заикается, «как-то увял, поблек», вежливо предложил доработать рассказ и больше не проронил ни слова.

И все же 5 марта Казаков сдал секретарю редакции документы для окончательного согласования. «Редактора не было, — записывал он в ночь на 6 марта. — Он должен был быть вечером и провести меня приказом. 6 марта, т. е. сегодня я должен был уже явиться в редакцию за назначением. Но сегодня утром над страной разнеслась тяжелая весть — умер Сталин... И я не поехал в редакцию: до меня ли там сейчас! На душе тяжело. Сегодня весь день по радио передавали трагические мелодии, и Левитан читал правительственное сообщение о смерти вождя. В Москве объявлен траур на три дня. Траурные флаги, афиши заклеены белой бумагой, кино не работает. Завтра я все же пойду в редакцию. Быть может, меня уже провели приказом. Если же нет, то тогда, значит, вообще не примут на работу. Сегодня стали известны результаты совмест-

ного заседания ЦК, Совета Министров и Президиума Верховного Совета. В правительстве большие изменения. Вполне вероятно, что изменения эти коснутся и Комитета по делам физкультуры и спорта, а следовательно, и газеты. Будет другой редактор, другая будет и обстановка. В общем, завтра в моей личной судьбе все выяснится. Я почему-то уверен, что мне не повезет и на этот раз. Так уж паршиво складывается жизнь моя. Что делать?»

Смерть вождя, воспринятая совсем буднично, пересеклась неожиданно-негаданно с «личной судьбой» и аукнулась как-то очень уж по-бытовому, опрокидывая мало-мальскую надежду на удачу. А тревога, разлитая по страницам юношеского дневника, настоятельность человека, загнанного в угол, вечная неуверенность в завтрашнем дне — такие настроения, кажется, уже никогда не покидали Казакова, как бы он ни бывал успешен и признан.

Из дневника 1949—1953 годов мы узнаем: Казаков писал в те годы любовные стихотворения в прозе и не чуждался стихов; сочинил, как он сам выразился, «небольшую по формату и скромную по таланту» пьесу на злобу дня — мыкался с ней по редакциям, где ее и брать не брали и отказывать не отказывали; пробовал писать очерки о природе и даже рассказы из «американской жизни», — словом, старался испытать свои силы в разных жанрах и на различном материале.

Записи в дневнике 1949—1953 годов подкупают трогательным простодушием, за ними чувствуется молодое упрямство, вызов, серьезность целей, и вместе с тем — неловкость юноши, нескладность, и еще — легкая поза, по-своему естественная: неумение верно соотносить свои литературные занятия с действительно профессиональной практикой.

26 сентября 1951 года: «Я разрешился наконец от своего почти годового писательского кризиса...»

6 октября 1951 года: «Наступил необычайно оживленный период в моей писательской деятельности. 2-го числа закончил одноактную пьесу, вчера — рассказ, а сегодня еще один. По плану нужно будет до 15-го X. написать еще один рассказик, вернее, очерк „Просторы Родины“ и публицистическую статью в „Литературную газету“. Это первый очерк (статья), что я напишу, и не знаю, как мне *это* удастся...»

14 октября того же года: «Задумал повесть. Нечто оригинальное. Посмотрим, как она получится! Год! Два! — буду работать над ней, а закончу ее...»

Через несколько дней: «Начал писать повесть. Интересно узнать бы, как работают над крупной формой писатели. У меня что-то плохо клеится. Черт знает, как ее писать. Очень трудная штука — повесть. Много действующих лиц, и всех их нужно обрисовать, показать развитие характеров и т. д. Кроме того, нужно воплотить в повести какую-то идею. А как это сделать? Ну, ладно, узнаю еще. Не все ведь сразу...»

В таких записках налицо сомнения «технологического» порядка: «не знаю, как мне это удастся», «очень трудная штука повесть». Начинающий автор удручен тем, что пишет медленно и тяжело, «по многу раз исправляя написанное», но он любит «ворошить слова и переделывать фразы», надеясь ремеслом овладеть: «не все ведь сразу», и заставляя себя писать «по плану».

В январе 1953 года Казаков попытался подвести некоторые итоги: «Почти четыре года прошло со времени, когда я начал эту тетрадь. При моих темпах записей мне, вероятно, хватит ее надолго. Еще в 49 г. я мечтал о литературе, хотел быть писателем. Сегодня то же самое. Но дела мои становятся хуже. Дело в том, что еще год-два и выйду уже из возраста „начинающих“. И так уже порядочная лысина на башке. Дела же мои за это время не сдвинулись ни на йоту. Омерзительно чувствовать себя все на том же уровне знаний и возможностей. Временами мне нравятся мои творения, которых, кстати, очень мало, временами же я теряю всякие надежды на какой-нибудь хоть мельчайший успех на поприще литературы. Отчего это происходит? На мой взгляд, — по двум причинам. Во-первых, конечно, все мои творения (многие, большинство — в набросках) далеко не прекрасны, если не сказать более. Ну, а так как у меня все же есть какое-то критическое чутье и способность к самоанализу, то и получается так, как будто я просыпаюсь вдруг и с ужасом и тоской убеждаюсь в несовершенстве своих начинаний. Вторая причина — это недоступность, недостижимость редакций...»

Через десяток лет, когда Казаков уже достаточно утвердил свое имя в литературе, бывшие страдания и неудачи воспринимались им не так болезненно и о редакциях он вспоминал по-доброму.

В наброске «Автобиографии» (1965) о тех же годах он писал: «Я стал более внимательно читать очерки и рассказы, стараясь понять, как они сделаны. А через некоторое время стал и сам писать что-то. Не помню теперь уже, как я тогда писал, потому что не хранил своих рукописей. Но уверен, конечно, что писал я тогда и по отсутствию опыта и вкуса и по недостаточной литературной

образованности — плохо. Все-таки, видимо, было нечто в моих тогдашних писаниях симпатично, потому что отношение ко мне с самого начала в редакциях было хорошее, и в 1953 году я уже успел напечатать несколько небольших очерков в газете „Советский спорт“ и в том же году был принят в Литературный институт».

Первой публикацией Казакова оказалась одноактная пьеса «Новый станок», напечатанная в 1952 году в малоприметном репертуарном сборнике. И эта, и схожая с ней по авторским задачам пьеса «Первое свидание» (1955) воспринимаются сейчас не более как упражнения на заданную тему в духе учебных требований Литинститута. О них вообще можно было бы и не упоминать, если бы и «пьеса о подхалиме» Култышкине, и «американские» рассказы: «Обиженный полисмен» (1953), «Тысяча долларов» (1953), «Голубое озеро» (1954), и материалы в «Советском спорте» и провинциальных газетах не ознаменовали собой как раз тот самый ученический период, которого у Казакова, считай, никто и не заметил.

Что касается «Советского спорта», — а к спорту Казаков питал определенный интерес, по крайней мере, в молодости, — то здесь он выступал с очерками о знаменитых чемпионах: например, о прославленном штангисте Трофиме Ломакине, о молодых рекордсменах, многоборцах, бегунах, конькобежцах; помещал заметки под рубрикой «Искусство и спорт»: о картинах художницы Н. Сергеевой, о скульпторе Д. Народицком. И что особенно важно, будучи газетным корреспондентом, имел он возможность регулярно выезжать на периферию. Подготовленные в результате таких поездок материалы, — допустим, очерк о председателе городецкого колхоза И. А. Емельянове, — позволяли Казакову не только выполнять задания редакции, но и размышлять, что называется, на вольные темы: о самобытности Заволжья, об особом национальном колорите этого края, вспоминать Мельникова-Печерского и Алексея Толстого.

Интерес к спорту не был у Казакова праздным. Он искренне преклонялся перед волей и мужеством людей, способных извлекать непредсказуемые резервы человеческого организма, не уставал удивляться их артистизму и красоте. Казаков смотрел на рекордсменов как на людей будущего. Позже, в «Северном дневнике», вспоминая какой-то легкоатлетический сбор под Москвой, он писал: «Среди палаток по полянам, под деревьями ходили, бегали, прыгали люди такого роста и такого сложения, что я — молодой крепкий парень — показался себе в тот день ничтожным и слабым. Их было много, они были собраны в одно место, и это

место на берегу водохранилища, залитое солнцем, было как бы странной будущего, и, глядя на высоких смуглых обитателей этой страны, я думал тогда с восхищением: вот каким может быть человек!»

В рецензии на книгу рассказов Ю. Трифонова «В конце сезона», напечатанной в «Советском спорте» в апреле 1961 года, Казаков замечал: «Писать о спорте очень трудно. Гораздо труднее, например, чем живописать пейзаж. Спортсмен в очень короткий промежуток времени отдает то, что копил годами. Ради этой минуты и пишется рассказ. Чтобы передать состояние героя на ринге, реакцию зрителей, предысторию схватки и многое, многое другое, писатель должен быть так же, как спортсмен, собран, напряжен. Это так сложно, что иногда даже талантливый писатель не выдерживает напряжения и уходит в область штампа».

Рассуждая так, Казаков, по-моему, не забывал и собственные рассказы, такие, как «Тысяча долларов» или «Голубое озеро».

Словом, «школа спорта», работа во всесоюзной газете для Казакова, будущего студента Литинститута, была весьма полезной...

О своем поступлении в Литинститут Казаков в 1964 году рассказывал: «В 1953 году я выкурил полпачки папирос на лестнице Литературного института, прежде чем осмелился зайти в учебную часть. Я тогда держал конкурс на поступление в институт. Конкурс был очень большой, примерно сто человек на одно место. Естественно, что я страшно волновался. Мимо меня все ходили вверх и вниз, и когда спускались, то редкие спускались счастливыми. Наконец и я взошел наверх, и мне сказали, что я принят... Тогда я написал два или три рассказа... о американской жизни. И вот с ними-то я и поступил в Литинститут. Тогда же мой руководитель, прочитав эти мои рассказы, навсегда отбил у меня охоту писать о том, чего я не знаю. Родители мои, простые рабочие люди, хотели, чтобы я стал инженером или врачом, но я стал сначала музыкантом, потом писателем. И отец и мать до сих пор не особенно верят, что я настоящий писатель. Потому что для них писатель — это что-то вроде Толстого или Шолохова...»

3 января 1953 года в дневнике Казаков, имея в виду Литинститут, признавался: «Я очень стремлюсь попасть туда, так как там можно многое узнать о литературе, о творчестве, кроме того, там — „среда“. Именно та литературная, пишущая среда, от которой я сейчас совершенно оторван». И через две недели: «...передо мной стоит основная задача: знание! Знания мне нужны, как столу рубанок, их у меня, скажу откровенно, маловато».

О появлении Казакова в Литинституте Т. Жирмунская вспоминала: «Мы поступили в Литературный институт им. М. Горького в 1953 году. Юрий Казаков — после Гнесинского училища, эпизодической работы по специальности, мучительных поисков себя, я — после средней школы. На первом курсе Юра был заочником, мы практически не встречались. На втором — замаячил в нашей тесной аудитории светловолосый, лысоватый, на вид старше своих 27 лет, новичок. Никому не старался угодить. Учился, как теперь говорят, „без напряга“. Заикался. Известно о нем было немного: музыкант, играл на контрабасе, а теперь пишет рассказы в духе Джека Лондона, чуть ли не из иностранной жизни, да вот еще отличился пьесой на производственную тему: „Новый станок“».

Они подружились. На лекциях обменивались записочками. По разным поводам. О том, кто что прочитал. Казаков: «Только сейчас доходит до меня „Жан Кристоф“». Великая вещь! Очень бодрая»; «читал Лемке о цензуре»; «Бунин — божество, недоступное совершенно и с непонятной гениальностью». По его совету Т. Жирмунская прочла «Пана» и «Викторию» Гамсуна, «Фацелию» Пришвина, «Творчество» Золя, «Хромого барина» А. Толстого, Казаков уверял, что по натуре своей близок к «хромому барину»...

Однажды он прислал ей на лекции стихотворение:

Дорога с погоста пустая,
Осенние дали чисты.
Святая Россия! Святая!
Всю ночь будешь снится мне ты.
Кого хоронил я сегодня?
Судьбу ли свою иль мечту?
Но радостно смертная сводня
Глядит на мою нищету.
Вверху — только галочья стая,
Назад оглянешься — кресты...
Святая Россия! Святая!
Всю ночь будешь снится мне ты.

22 дек. 57 г.

С припиской: «Тамара! Вот стихи. Мои. Восчувствуй, вернее, восчювствуй и напиши: хорошо или нет... Никому не показывай. Sic transit gloria mundi». И в ответ получил отповедь: стихи дилетантские, несовременные, вернее, вневременные: «Искреннее чувство губит литературщина. Из каждой строчки выглядывает Блок...» Казаков был разгневан и оскорблен... Вспыллил незамед-

лительно: «...ты ничего не понимаешь, т. к., читая стихи, ты думаешь не о том, что хотел сказать автор, и не о том, что заставило его их написать, и не об авторе (в данном случае обо мне), — а скорее пускаешься бежать по коридорам памяти, чтобы найти поэта в прошлом, к которому можно было бы отнести эти стихи. А найдя, радуешься: Блок, Блок!.. Как будто победу одержала...» Казаков был крайне раним и обидчив, вспыхивал от малейшей искры непонимания.

В Литинституте он занимался сперва на заочном отделении в семинаре драматурга Б. С. Ромашова, а затем, в 1954 году, перевелся на очное, где его творческим руководителем стал Н. И. Замошкин, строгий педагог, пользовавшийся у студентов авторитетом.

Правда, взаимопонимание меж ними наладилось, судя по всему, не вдруг. При переводе на очное отделение (в июне 1954 года) Казаков отправил Н. И. Замошкину следующее письмо:

«Дорогой Николай Иванович! Сегодня взял на кафедре творч<ескую> характеристику, написанную Вами. Характеристика эта так удивила меня, что я хотел уже и не подавать заявления о переводе на о<чное> отд<еление>, но так как выхода другого у меня не оставалось, то я подал заявление с приложением Вашей характеристики. Николай Иванович! Конечно, все написанное Вами обо мне — правда. После неоднократных бесед с Вами я почувствовал основные свои недостатки и буду воевать с ними. Но, все же, для официального основания моего перевода такая характеристика явно недостаточна. Скорее всего, она создаст у дирекции отрицательное обо мне мнение. В самом деле — „штампы“, „ремесленничество“ и т. п. — вряд ли прельстит кого-либо. П. В. Таран-Зайченко прочитал характеристику и сказал, что сильно сомневается в благоприятном исходе моих хлопот. Дело осложняется тем, что в случае отказа я остаюсь без работы и все мои планы разлетаются по всем швам! Я был настолько уверен в переводе, что за полмесяца до экзаменов ушел с работы, а совсем недавно отказался от весьма соблазнительного предложения — стать зав<едующим> лит<ературным> отделом газеты „Сов<етский> спорт“. Теперь Вы понимаете, в каком я расстройстве. Может быть, я, по глупости своей, чего-то не понимаю? Может быть, мне не нужно было начинать этого дела? Во всяком случае, спасти положение можете только Вы. Уважающий Вас Ю. Казаков».

Надо полагать, соответствующие меры были приняты, и Казакова на очное отделение зачислили.

В дальнейшем тон казаковских писем к Н. И. Замошкину изменился, хотя скрытое беспокойство так, кажется, и не исчезало из этих писем.

В Литературном институте в середине 1950-х годов вели творческие семинары К. Паустовский, Я. Смеляков, П. Антокольский, В. Луговской и другие почтенные писатели. Тем не менее семинар Н. Замошкина был одним из самых посещаемых. Как вспоминает его участник Е. Осетров, на занятиях у Н. Замошкина, человека скромного, но принципиального, отлично знавшего литературу, царило обычно спокойствие и академическая тишина. «Шел строгий, обстоятельный разговор о написанном. Самые горячие головы не решались кричать, как это бывало на других семинарах: „Я — гений, а ты — бездарность!“ Николай Иванович не любил разжигать полемические страсти. Когда мы здесь, в своем кругу, — отмечал Е. Осетров, — обсуждали рассказ или повесть, написанные нашим же товарищем, то чувствовали, что Николаю Ивановичу нравились не задорно-хлесткие выступления, не громогласные категоричные оценки, и не остроумные выходки, а умение трезво отделить хорошее от плохого. По молодости лет некоторые из нас старались найти в рукописи товарища возможно большее количество недостатков, упущений и бойко выставить их на всеобщее осмеяние. Замошкин этого не одобрял. Подводя итог очередному занятию, Николай Иванович тактично и деликатно старался ободрить каждого, в ком чувствовал искру дарования...»

Разносили тогда на все корки и Казакова, было принято упрекать его в книжности, подражании классикам, по его словам, его «били ремнем» за «Дым» и «Некрасивую», объявляли «грубым и неумелым, и бездарным, и еще, и еще...» «Осенью 1956 года, — вспоминает Т. Жирмунская, — в Музее изобразительных искусств открылась выставка произведений Пикассо, этому событию была посвящена стенгазета „Где гостит Пегас“. В заметке Казакова, в частности, поминалось о „розовой лошади“ — символе прекрасного в искусстве. Ох, и досталось ему за эту „розовую лошадь“. Ее поминали всякий раз, когда хотели укорить кого-нибудь из студентов за измену реализму, сползание в декаданс».

Будучи участником замошкинского семинара, Казаков, как водится, держал руководителя в курсе своей работы. В октябре 1957 года, например, послал ему нечто вроде творческого отчета: «Дорогой Николай Иванович, здравствуйте! Очень я соскучился по Вас, хочется поговорить и Вас послушать. Но, наверное, опять не приду на семинар. Одолела меня глухота: после вирусного грип-

па — катар Евстахиевых труб. Сижу дома и немного пописываю. После семимесячного перерыва сделал на этих днях два рассказа». В этом же письме Казаков извещал, что напечатал в журналах рассказы «Арктур — гончий пес» и «Никишкины тайны», отдельной книжкой выпустил в Архангельске «Тедди», подготовил сборники для «Советского писателя», Детгиза и архангельского издательства. «Я пустил в ход *все* рассказы, — писал Н. И. Замошкину Казаков, — кроме первых, „американских“. Вот эти рассказы: „Тихое утро“, „Ночь“, „Дым“, „Некрасивая“, „Лешак“, „Голубое и зеленое“, „На полустанке“, „Странник“, „Дом под кручей“, „Никишкины тайны“, „Арктур“, „Розовые туфли“, „Тихон Бешеный“ (сильно переделан!), „Тедди“. Все рассказы, конечно, будут в разных книжках в разных пропорциях...» Еще он сообщал, что несколько его рассказов переведены в Италии, и, прося у своего руководителя разрешения поехать в Дом творчества, докладывал: «Сейчас пишу довольно активно, но все написанное как-то не удовлетворяет меня и мало нравится... Мне все-таки хочется подготовить к диплому побольше нового, дома работать трудно, а сюжетов целый пуд...»

Когда настала пора защиты диплома, Казаков в письме от 15 января 1958 года спрашивал Н. И. Замошкина: «Кого бы Вы посоветовали мне в оппоненты? Или положиться на провидение и доверить это дело кафедре? Будьте благодетелем, Николай Иванович, подумайте! Вы ведь лучше знаете вкусы и настроения писателей».

Что посоветовал своему воспитаннику Н. И. Замошкин, мне неизвестно, но с оппонентами Казакову не повезло. «Диплом защитил на тройку, — жаловался Казаков В. Пановой в июне того же года, — Панков, Исбах и Лаптев все-таки упекли меня и поставили низкую отметку».

Т. М. Судник рассказывала в 2002 году: «Сейчас трудно поверить, что Юрий Павлович с трудом защитил диплом в Литературном институте. В 1958 году он представил к защите восемь рассказов, среди них „На полустанке“, „Арктур — гончий пес“, „Никишкины тайны“. Рецензенты, известные тогда критики, отметив мастерство и талант, в один голос сказали, что автор „еще не нашел себя в идейном отношении“, что он, молодой еще человек, „боится большой героической темы“, „уходит с большой дороги на проселок“, что рассказы его „вне времени и пространства“, упрекали в „достоевщине“, а тему рассказа „Арктур — гончий пес“ рекомендовали „решить на человеческих характерах“. Спас дело

Всеволод Иванов, которого Юрий Павлович всегда вспоминал с благодарностью. Он председательствовал на защите и предложил все же зачесть диплом, чтобы не закрывать талантливому человеку дорогу в литературу».

Как бы ни складывались обстоятельства, Н. И. Замошкин курировал Казакова до окончания института и рекомендовал его в Союз писателей. В ноябре 1958 года Казаков обращался к нему в письме: «Дорогой Николай Иванович! Меня приняли в СП, и я спешу поблагодарить Вас за Вашу рекомендацию. Спасибо Вам также за ту долгую науку, которую неустанно преподавали Вы мне в течение четырех институтских лет. Наверное, своими писательскими успехами я все-таки больше всего обязан Вам, ну а мои недостатки остаются на моей совести. Я посылаю Вам свою книжку. Посылаю ее не для чтения — Вы все эти рассказы читали уже, да они здесь и поободраны порядочно, — а просто как отчет ученика перед учителем. Я рад, говорю это искренне, что мне пришлось заниматься у Вас — такого, как у Вас, чувства слога, стиля, слова, конечно, не было ни у кого из институтских преподавателей, за исключением, м. б., Паустовского. Скоро я принесу в „Октябрь“ новый рассказ — не знаю, понравится ли он, но сижу над ним со сладостью и довольно долго уже. Будьте здоровы! Ваш Ю. Казаков».

И много позже Казаков тепло вспоминал о Н. И. Замошкине, но о своей учебе в Литинституте сильно сожалел. «Вообще я теперь удивляюсь и горьки слезы лью, — писал он мне в феврале 1981 года, — зачем, зачем я кончал этот институт! Мне бы уйти со второго-третьего курса! Сколько рассказов осталось ненаписанными, страшно представить! Все-таки каждый день с 9 утра и до 5 дня, а то и задерживали еще из-за всяческих семинаров. Когда же тут писать? А желание было страшное! И все потому, что в голове сидел дурацкий диплом — как же без диплома! Теперь же я и не знаю, где у меня этот диплом, как получил, сунул его куда-то, так и в глаза больше не видал».

Однако диплом дипломом, а вот погружение в профессиональную литературную среду, чего Казаков так жаждал в 1953 году, безусловно, и его самого, и его институтских товарищей многому научило. «Мы поступили в институт и встретились все вместе в 1953-м, а заканчивали в 1958-м, — вспоминал Михаил Рошин, — теперь уже нетрудно вычислить значение этого пятилетия для всей нашей истории. Буквально мы вошли в институтские двери с одними понятиями, а вышли с другими... В восемнадцать, и в двадцать, и в двадцать пять лет, как было тогда Казакову, мы все,

конечно, все-таки уже знали, где правда и где кривда и чего хочется нам самим. Наши „новые“ понятия о том, какую литература должны быть, ввергали нас в литературную борьбу, которая шла тогда, и мы, молодые, чаще всего терпели в ней поражение со значительно превосходящими силами противника».

В 1956–1957 годах, когда Казаков учился в Литинституте, его рассказы стали появляться в «толстых» журналах регулярно: «Голубое и зеленое» — в «Октябре», «Арктур — гончий пес» — в «Москве», «На полустанке» и «Некрасивая» — в «Молодой гвардии», «Дом под кручей» и «Никишкины тайны» — в «Знамени». И только «Новый мир» не торопился и при жизни писателя так и не собрался его напечатать.

А. Твардовский о рассказах Казакова, предложенных «Новому миру», высказался во внутреннем отзыве скептически. «Автор явно талантлив, — писал он в августе 1958 года, — но по молодости притворяется пожившим, усталым, познавшим будто бы „тщету всего земного“, горечь и безнадежность утрат, неизменность „вечного круговорота“ — юность — старость и т. п. Все эти настроения и мотивы в готовом виде взяты из литературы, более всего от Бунина, который весьма сильно определяет и само письмо молодого автора, например слишком усердно эксплуатируемая детализация всевозможных запахов. Оттуда же, думается, и «галерея» отвратных типов вроде любителя «легкой жизни» Василия Ионкова (Панкова. — *И. К.*), Николая («Некрасивая»), «лешака» из одноименного рассказа. Они наблюдаются верно, но как-то одно-сторонне, абстрагированно от множества жизненных сложностей, связей, так сказать, «в чистом виде». Вообще, по молодости опять же, автор думает, что, чем более освобожден его рассказ от жизненных, временных примет, тем он «художественнее». Особо показателен в этом смысле рассказ «Дым», где есть «отец», «сын», «отец отца» в их отношении к природе, цветам и запахам, в их ощущениях биологического (возрастного) счастья юности и горести старости, но нет ни намека на практически-жизненную принадлежность их, кто кто — неизвестно. А ведь это так важно, что «дед», например, был мужиком, а «отец» генералом или бухгалтером, а сын учится и кем-то собирается быть. Другая цена была бы всем этим росным травам, запахам земли и воды, даже мыслям о юности, счастье, старости и смерти».

При всем глубочайшем уважении к А. Твардовскому, соглашаться с ним безоговорочно не хочется. Прочитанные им каза-

ковские рассказы конечно же давали повод для критики, в частности для разговора о бунинских мотивах и настроениях у молодого писателя, но уж чего за Казаковым никогда, и в молодости тоже, не водилось, так это притворства и эмоциональной фальши. Отношение его героев к природе, пусть взятое и «в чистом виде», всегда отличалось искренностью, психологической достоверностью, их «практически-жизненная принадлежность» угадывалась, как правило, мгновенно, по нескольким точным деталям, и социальная прикреплённость тех героев, которые показались А. Твардовскому «отвратными» — и только? — была обычно резко обозначена.

Справедливости ради следует добавить, что спустя несколько лет в статье «О Бунине» (1965) А. Твардовский высказался о Казакове уже иначе. Признавшись, что Бунин был «одним из самых сильных увлечений» его собственной юности, А. Твардовский среди лучших советских прозаиков, чье творчество отмечено почетным «родством с бунинскими эстетическими заветами», вслед за Шолоховым, Фединым, Паустовским и Соколовым-Микитовым назвал Казакова и вместе с ним Белова и Лихоносова.

Ранние рассказы Казакова оценивались писателями старшего поколения не однозначно, но должное его таланту они воздавали.

Прочитав казаковские рассказы на всероссийском семинаре молодых прозаиков в Ленинграде в ноябре 1957 года, В. Панова отозвалась о них так: «Юрий Казаков — талант очень большой, таящий в себе возможности неограниченные. Представленные им рассказы поражают силой эмоции, законченностью и стройностью, это — произведения большой литературы. В лепке характеров, в слове, ритмике, композиции, в искусстве создания настроения нам нечему учить молодого Казакова, он с не меньшим правом может взяться учить нас».

В. Панова отмечала, что талант Казакова еще очень молод, что он «бродит, ищет свой материал» и не свободен от подражания. Однако, заявляла она, «подражание само по себе неизбежно, как корь. Нет молодого писателя, который не оглядывался бы на оболюбованные им классические образцы». Созревая, писатель «вырастает из них, как из одежды», и потому куда важнее увидеть контакт писателя с современностью, то, что Казаков «щедро дает — при желании — превосходные детали сегодняшнего дня». «Особенно много этих деталей в „Легкой жизни“, — говорила В. Панова, — на мой взгляд — лучшим из представленных рассказов. Много их и в „Лешаке“. Превосходно написан разговор Лешака с пред-

седателем колхоза: видишь богатое знание жизни, любишь мастерством, — ведь в этом разговоре каждое слово точно и нет ни одной ненужной реплики».

На всероссийском семинаре 1957 года Казаков сошелся с молодыми ленинградскими прозаиками В. Конечким, Э. Шимом, Г. Горышиным и потом дружил с ними до конца своих дней; последнее письмо В. Конечкому послал из госпиталя буквально за неделю до смерти. Они Казакова любили, признавали его яркую одаренность и мастерство, — правда, не без чувства доброго соперничества, не без критики, — а Казаков ценил своих ленинградских друзей за талант, за серьезное отношение к литературе, за вкус к странствиям. Потребность духовного общения с ними была у него искренней и долгой.

Несомненно, сыграло тут свою роль и ошеломительное впечатление, какое произвел на Казакова Ленинград.

Осенью 1957 года он писал Паустовскому: «Этим летом я испытал большое потрясение — первый раз был в Ленинграде. Я застал еще последки белых ночей, сходил с ума, хотел что-то писать об этом насильственном городе, но, приехав домой, перечел „Медного всадника“, поревел немного и писать ничего не стал».

Впечатление было настолько сильным, что на какой-то момент для Казакова, по его словам, как-то померкли и Москва, и Арбат, он даже «страшно жалел, что „Голубое и зеленое“ было в то время уже опубликовано», иначе он бы «все перенес в Ленинград и рассказ от этого только выиграл». Относительно «Голубого и зеленого» Казаков, пожалуй, впадал в крайность, но рассказ о Ленинграде по тем ощущениям он все-таки писал — рассказ «Пропасть», где можно прочесть проникновенные строки: «Странен, таинственен становится в конце мая Ленинград! Медленно заходит солнце, долго сияют, вспыхивают окна домов, стекла автомашин, шпили и купола соборов, синее, густеет Нева, настораживаются сфинксы, — все глохнет, затаивается. Настает ночь, погружаются в тень каналы, смутны тогда силуэты зданий, пронзительны прямые линии проспектов... И только ползают, шипят по площадям тупые поливные машины, прыскают мертвой водой, и засыпает город очарованным сном. Все изменяется! Все делается огромным, пустынным, прозрачным. Небо светоносно, заря перемещается, зловещ пепельный силуэт тяжелых бастионов Петропавловки, мертвенно-бледен Зимний, пуста, громадна Дворцовая площадь, темен Исаакий, а его золотая шапка кажется серебристой. Как бред, как забытые тянется эта ночь. Любви, стихов, молчания требует она...»

«Пропась» — это рассказ, где, по выражению Казакова, непримиримо сталкиваются «любовь и смерть, внезапные, как взгляд вора». Т. Жирмунская даже усмотрела в герое этого рассказа геологе Агееве ту «разрушительную стихию», какую сам Казаков, никогда не заблуждавшийся насчет «бездн и пропастей человеческой природы», нес, по ее мнению, и в себе. Рассказ «Пропась» остался незавершенным, а герой с той же фамилией, — видимо, неслучайно — появился потом в рассказе «Адам и Ева», о чем речь впереди.

Первое впечатление от Ленинграда томило и не отпускало Казакова. В июле 1958 года он снова приехал на несколько дней в очаровавший его город и остановился у Виктора Конецкого на Адмиралтейском канале (тогда — канале Круштейна), напротив Новой Голландии. «Я в Питере, — писал он Т. Жирмунской, — со мной машинка, наброски „Старого дома“, материалы по Лермонтову (знаешь ли, что я хочу писать о Лермонтове?), я живу в отдельной комнате окном на канал, и мне не пишется что-то... Я хожу по Питеру (здесь так называют Л<енингра>д), и опять восторги, но не те, что были в прошлом году — более глухие, пережитые... Все было, было уже... Здесь еще белые ночи, но уже нет блистания, а полумрак, очень слабый ночной свет...»

Казаков познакомился с братом Конецкого Олегом, искусствоведом, пробовавшим себя в прозе (под псевдонимом Базунов), и матерью братьев Любовью Дмитриевной, хрупкой, но волевой интеллигентной женщиной, в молодости артисткой миманса в труппе Дягилева, посетившей с театром Францию и Англию. В их доме, где Любовь Дмитриевна хозяйничала безраздельно, царило некое неуловимое напряжение, какое ощущаешь в старинных петербургских квартирах, вобравших в себя дыхание длинной череды поколений. Быт здесь наслаивался органично и медленно: висели старинные семейные иконы, на стене можно было увидеть в рамочках фотографии дягилевской артистки Матильды Конецкой (любимой тетушки братьев) — в балетных костюмах; на столике лежали шахматы, подаренные кому-то из родственников чуть ли не самим Алехиным... Тут все было подлинное — и гравюры, и рисунки, изобилие цветов и никаких мещанских украшений. Об этих стенах Олег Базунов писал в повести «Мореплаватель»: сколько в них «смирненного, скромного, немного достоинства, сколько созерцательно-поэтической мудрости, сколько знают, сколько таят они про себя — эти самые стены — жизненных перипетий и пыла родственных чувств, сколько запечатлено ими взрывов страстей,

приливов любви и отчаяния хотя бы одной-единственной, отдельно взятой семьи...»

Такая обстановка Казакова не могла не притягивать. Да и город, что бы он ни говорил про «более глухие восторги», по-прежнему брал его за душу. «Погода наконец более или менее установилась, — писал он Т. Жирмунской 26 июля, — я наконец испытал вчера нечто похожее на прошлогоднее — это было возле Спасана-Крови, знаешь, на канале Грибоедова, в том месте, где много мостов — три или четыре — и видна сразу Марсова площадь (поле), Летний сад вдаль, Михайловский замок, и тут эта церковь, тут же сливаются Мойка с каналом, и вот долго я крутился на этом месте, не уходил, снаружи на стене церкви — (на крови) выложен мозаикой Христос распятый, весь в свежей зелени, и какие-то женщины приходят, целуют стену, целуют ступени, двери, молятся, и голуби воркуют, купаются в лужах, тихий такой уголок, я молча постоял, глядя туда-сюда. А вечером катался на водяном такси за червонец до Кировских о<стро>в и обратно. Вечер был и мгла небольшая, плотная к горизонту, красная с мутью, и на этом красном на Неве, когда вышли, — Петропавловка, и солнце просвечивало слабым шаром, вода была синей от неба с красноватой примесью, с бликами заката, открылись набережные. И когда ехали назад, солнце уже село, и по морским обычаям шофер снял флаг с кормы и зажег сигнальные огни — зеленый и красный (флаг на восходе поднимают, на заходе спускают). А потом я шлялся по Грибоедову каналу, но с другой стороны Невского, там, где мостик со львами с золочеными крыльями, и потом возле Казанского собора и вокруг и сзади Александринского театра...»

Назавтра он уезжал из Питера на Север: «В Кижы, в Повенец, в Петрозаводск и Бог знает куда еще занесет меня нелегкая...» Ехал в одиночестве «тосковать, молиться, радоваться и Бог знает что еще почувствовать», и думая «об одном, все об одном — не пропало б это для меня, не исчезло бы, не застыла бы кровь, а то зачем все, зачем я еду? Написать бы чего-нибудь...»

В Ленинграде Казаков общался с друзьями и мельком виделся в Доме кино на просмотре какого-то американского фильма с Верой Федоровной Пановой, с которой у него с 1957 года установились доверительные отношения.

В январе 1958 года он писал ей: «Сейчас у меня экзамены, время ужасное, все время готовлюсь, только свалю одно, как накидывается и душит другое. В общем, состояние обычное для студента. А страшно хочется писать. Не знаю, но кажется, писать

теперь я стану как-то иначе: лучше, строже и серьезней. У меня был большой перерыв, ничего я не делал, а только скорбел, изъязвлял свою душу, ругался с врагами и т. д. Думаю, перерыв этот должен пойти мне на пользу, и тогда хоть немного оправдаю я все те хорошие слова, которые сказали Вы на мой счет...»

В феврале 1958 года он снова писал В. Пановой: «Будьте здоровы, Вера Федоровна, дай Вам бог легкости в работе. Только напрасно Вы себя причисляете к старикам и сдаете позиции нам, молодым... Эти мысли, вероятно, навеяны были смертью Шварца, которого я, кстати, очень люблю, люблю с детства. И совестно Вам прибедняться перед нами, странно даже было читать, честное слово! И Буниным Вы меня напрасно укорили. Что ж Бунин? Бунин олимпиец, бог — таких, как он, у нас на Руси было 3—4, не больше. Но если я обожествляю Бунина, то это вовсе не значит, что я слеп и глух к остальному. Я многих люблю, я и Вас люблю, Вера Федоровна, и над Вашим „Сережей“ я слезу пустил и загрустил и решил бросить писать, что со мной всегда бывает, когда прочту что-нибудь великолепное. Вот так!..»

Особенно нравились Казакову военные рассказы В. Пановой «Валя» и «Володя». «Дорогая Вера Федоровна, — писал он в ноябре 1959 года, — поздравляю Вас с прекрасными рассказами. Они прямо-таки великолепны, ей-богу, и они бесспорны, т. е. цельны. От них круглое впечатление, душа не саднит, никакой нет неудовлетворенности. Это очень чувствуется. Это чувствовалось в „Сентиментальном романе“, но там как раз была какая-то неудовлетворенность, никто не мог попасть в точку, все говорили разное, но все как-то поживались, а тут все в один голос: превосходно! Я очень рад Вам об этом сказать, так как — простите — Вашу победу считаю и своей победой, вообще победой всего талантливо-го, что у нас есть...»

В. Панова, вместе с Н. Замошкиным и К. Паустовским, рекомендовала Казакова в Союз писателей, чем потом немало гордилась...

А с Константином Георгиевичем Паустовским Казаков познакомился весной 1957 года в Дубултах, и характер их взаимоотношений определился сразу: Казаков, что называется, влюбился в мудрого, всеведущего писателя, который знал — должен был знать — ответы на самые неразрешимые вопросы. Уже в первом письме к Паустовскому (в октябре 1957 года) он писал: «Я не хочу ничего говорить о Ваших книгах, хоть мог бы, наверное, многое сказать. Одного я хочу — встречи с Вами, хочу послушать Вас и,

каюсь, задать Вам несколько вопросов, касающихся литературы. Вопросы эти мучат меня и расслабляют, а ответить на них может только честный человек. Я горжусь Вашей честностью, Ваш гуманизм дорог мне, и, естественно, только у Вас хочется мне спросить совета».

В письмах 1957—1960 годов Казаков искренне, с необычной для него кротостью исповедовался перед Паустовским, жаловался на литературные дразги, на редакторов, искал понимания и поддержки. 3 марта 1958 года писал: «Вы представить себе не можете, как помогли Вы мне своим теплым словом. Мне было очень тяжело весь этот год, и уж месяцев восемь я забросил литературу. Когда видишь каждый день, как на литературной арене вновь и вновь появляются старые бойцы бездарности, жирные волкодавы софронеры и проч., как бьют они направо и налево, как распоясываются, доходя до наглости, и нельзя их укротить, — так делается тошно на душе и так, в конце концов, равнодушно!»

В августе Казаков сообщал, что в Архангельске у него пошла в набор книжка: «Там редакторша по мне с ума сходит, т. е. по моим рассказам, подняла шум на весь Архангельск и тамошние троглодиты чуть меня не слопали, книжку затребовали в обком, я уж на ней крест поставил, вдруг ничего, идет понемножку и довольно хитро: по договору 4 листа, а фактически 7—8, и „Некрасивая“ там, и „Дым“, и „Манька“, и прочие рассказы, которые здесь у меня парятся. Так что с одной стороны не так уж плохо у меня, но все равно не то, не то, бесишься, жизнь-то коротка. Терпеть да ждать веку не хватит». И в этом же письме, перед этими строчками: «Уже много дней у меня тоска, совсем не хочется писать, руки опускаются, и никуда не подашься. Хотел было несколько раз приехать к Вам в Тарусу, да все откладывал, куда уж — у Вас, небось, своих хлопот полон рот... Только один Вы и поддерживаете тем, что вообще где-то живете, пишете. Вспоминаю Ваше лицо, голос и — легче, а то кругом рыла кувшинные...»

Казакову очень хотелось, чтобы Паустовский вспоминал о нем почаще, чтобы общение между ними было тесным, а их диалог не прерывался долгими паузами. Он и стеснялся, и не мог удерживать себя, видя в Паустовском духовного пастыря, к которому можно обращаться и мысленно, без надежды на встречу. «Я Вам все пишу, Вы не отвечаете, — сокрушался он в том же письме от 20 августа 1958 года, — и я не знаю, доходят ли мои письма к Вам, а даже если не доходят или Вы их не читаете, все равно я буду писать — как в космос, пускай, мне приятно Вам писать, только про-

стите, я хочу да и надо бы вообще писать бодро, интересно, как полагается мужчине, а я нет-нет да и заную, захнычу...»

Потом, вроде бы освоившись с неизбежными писательскими мытарствами, Казаков, «как полагается мужчине», весной 1960 года писал Паустовскому, уже слегка иронизируя над собой: «Как живет нормальный человек? Нормальный человек едет на Оку весной или еще куда-нибудь, охотится, ловит рыбу, ночует у костра, выпивает с друзьями, поет хриплые песни, любит женщин и делает массу разнообразнейших и приятнейших вещей. Ненормальный человек покидает родные пенаты, покидает друзей и женщин и свой Арбат и все, и едет в Дубулты (или в Ялту), садится в комнатенке, курит, злится, стучит на машинке, мельком только заглядывая в окно, на природу, на солнце, на белок, страдает бессонницей и живет так месяц, два, три — и все для того только, чтобы потом в тоске ходить по редакциям, предлагать сотворенное в эти три месяца и получать везде отказы. Ах, ах!»

В марте 1957 года Паустовский писал о Казакове Э. Казакевичу: «Человек он очень талантливый и настоящий мастер. Автор он суровый (в этом есть что-то бунинское)...» Весной 1958-го — ему же: «Читали ли Вы рассказы молодого писателя Юрия Казакова? Очень здорово! Вот Вам и настоящая смена...»

А в статье «Бесспорные и спорные мысли», опубликованной в «Литературной газете» в мае 1959 года накануне писательского съезда, спрашивая: «Есть ли у нас талантливая, передовая, умеющая по-настоящему работать и серьезная писательская смена?» — отвечал, что да, есть — и «смена прекрасная». Называя Казакова в ряду с В. Тендряковым, С. Никитиным, Ю. Трифоновым, Ю. Бондаревым, К. Паустовский заявлял: «Я не могу сейчас рассказывать о всех молодых прозаиках, но у них у всех есть одно превосходное и плодотворное свойство, предрекающее им большую и нужную писательскую жизнь. Это свойство — их кровная принадлежность к народу... Особенно глубока, прозрачна и берет за сердце правдой и силой эта народная струя в рассказах Казакова и Никитина... Достаточно прочесть хотя бы два рассказа Казакова „Никишкины тайны“ и „Арктур — гончий пес“ и рассказ Сергея Никитина „Вкус желтой воды“, чтобы прикоснуться к заветным источникам народной жизни и поэзии».

В рекомендации, которую дал Паустовский Казакову (февраль 1958) при вступлении в Союз писателей, говорилось: «Сравнительно недавно, год назад, я впервые прочел рассказы Ю. Казакова и был поражен силой, мастерством и зрелостью тогда еще никому

не известного писателя. Тем более я был поражен, узнав, что Казаков — студент Литературного института им. Горького и человек еще совсем молодой. Достаточно прочесть два-три рассказа Ю. Казакова, чтобы стало ясно, какой талантливый, зоркий и умный писатель вошел в нашу литературу. Поэтому в данном случае я считаю излишним углубляться в разбор произведений Казакова. Они сами говорят за себя. Одно могу сказать — писатели старшего поколения должны быть счастливы таким взыскательным к себе и одаренным преемником, каким является Ю. Казаков...»

Тогда же прозу Казакова по достоинству оценили такие непохожие друг на друга многоопытные литераторы, как В. Шкловский, Ф. Панферов, И. Эренбург, П. Далецкий, М. Светлов, предсказавшие молодому писателю большое будущее, за что он навсегда остался им благодарен.

Ф. Панферову в августе 1959 года Казаков писал: «Вы по-настоящему помогли мне в самую мою злую, трудную минуту — и это не забудется. Мне особенно радостно, что рассказ («Траливали». — *И. К.*) все хвалят, меня поздравляют, и выходит, что я уже как-то отблагодарил Вас как редактора. Мне было бы хуже, если бы рассказа не заметили. И мне очень хочется принести Вам еще что-нибудь настоящее, хорошее, чтобы Вам понравилось, чтобы еще и еще оправдать Ваше доброе внимание ко мне...»

На фоне прозорливого и доброжелательного отношения к Казакову со стороны писателей старшего поколения грубо и неуклюже выглядели наскоки тех безответственных критиков, которые именовали молодого писателя «декадентом», «эпигоном», приверженцем «меченой колоды вечных темок», а его героев сплошь причисляли к разряду «нытиков», исповедующих «культ увядания». Можно себе представить, какую справедливую неприязнь вызывала у Казакова «аргументация» подобных критиков и как хотелось ему с ними начистоту объясниться.

Когда Ал. Дымшиц в декабре 1961 года напечатал в газете «Литература и жизнь» статью «Работать дружно», — обидевшись на писателей, в частности на молодых, за неуважительное отношение к критике, — Казаков приготовил письмо (оно сохранилось в его архиве), где отвечал от лица своих литературных сверстников: «Мы пишем о любви, о труде, о дождях, о весне, об одиночестве и содружестве, о страданиях и о преодолении страданий, о великом и низком — мы сами не всегда довольны своей работой, нам хочется лучше и больше, мы ошибаемся и исправляемся. И во всей нашей работе нам всегда помогала и нас ободряла настоящая кри-

тика, та критика, в которой мы находим страсть и нежность, философию и гнев, и тонкость мысли, и глубокое понимание дела, которому мы все служим. А те критики, которые пишут о нас неуважительно, злобно, несправедливо, которые приклеивают к нам одни оскорбительные ярлыки, — такие критики нам только мешают. Они напоминают нам горькую чеховскую шутку насчет слепня, который жалит работающую лошадь. Так кто же виноват, что между нами и этими критиками нет дружбы?»

Проработчиков Казакову на его литературном веку хватало с избытком, — их предвзятость, эстетическая глухота, их сердитые окрики нанесли ему немало душевных травм.

И все же репутация даровитого мастера, убежденно преследующего свою цель, репутация оригинального писателя, идущего своим путем, оказалась сильнее. Убежденность, вера в свою звезду, принципиальность мудрого не по летам художника сделали Казакова, наверное, самым авторитетным прозаиком в кругу его ровесников и единомышленников. Книга «На полустанке» (1959) этот авторитет укрепила, хотя среди двенадцати рассказов 1954—1958 годов там не оказалось ни «Трали-вали», ни «Лешака», ни «Маньки». Надо заметить, что хронология создания казаковских рассказов далеко не всегда совпадает с последовательностью их печатания. Поставленные под рассказами даты обычно фиксируют момент их публикации. Кроме того, ряд рассказов имел ранние варианты, с другими названиями, чаще всего не сохранившиеся; эти варианты иногда точнее отвечали авторскому замыслу. Календарь казаковских книг с хронологией создания рассказов и совсем не в ладу: иные рассказы писателя не попадали в его сборники по многу лет.

...Стоит напомнить, что ни в чем так не упрекали Казакова после появления первых его рассказов и сборника «На полустанке», как в пристрастии к прошлому, к живой старине, в том, что прошлое сосуществует у него с настоящим на равных. Критики подчас утверждали, что Казаков, мол, охотно пишет об отживших явлениях, о пережитках, потому что это несложно, и что куда труднее поспевать за стремительно бегущим днем, открывать в действительности «ростки нового»...

Видимо, обсуждалась эта проблема и в спорах Казакова с В. Пановой. В письме от февраля 1958 года Казаков возражал ей: «И насчет XX века Вы, извините меня, не правы. Конечно, у нас XX век, но и XVI хватает. У нас может стоять в глуши ракетная космическая установка и — попади туда, подумаешь, сон, фантазия. И тут

запах; заставить нас вспомнить красоту и радость плотского — огромная цель!»

И В. Турбин, как бы итожил долгие споры, говоря: «Дар стилизации у Казакова был прочен, и не зря, вероятно, он самостоятельно разбирал лучшие вещи русских писателей: умная, артистичная стилизация — не подражательство вовсе, а постижение. Разновидность диалога с прошлым, вовлечение его в современность».

Да, ведя диалог с прошлым, Казаков вовлекал его в современность, прислушивался к голосу прошлого ради глубинной информации, поступавшей оттуда по незримым каналам, до поры находившимся в небрежении. Сердцем и чутьем таланта он улавливал те «лучшие инстинкты души Русской, образованной и облагороженной христианством», те «воспоминания древности неизвестной, но живущей в нас тайно», что, по словам А. Хомякова, произвели «все хорошее, чем мы можем гордиться». И потому связь Казакова с классикой была духовной и никак не сводилась к элементарному ученичеству.

Каких только влияний не приписывали Казакову — от Карамзина до Пришвина и от Гамсуна до Хемингуэя! Влияний, притянутых за уши и тех, что действительно имели место?

В частности, стоит прислушаться к Михаилу Рошину, когда он вспоминал: «...ничто другое не оказало на наше поколение столь сильного влияния, как итальянский неореализм, где жизнь была увидана и показана ясно, жестко, до последней степени правдиво, но с такой пронзительной любовью к человеку, ко всем „малым сим“, униженным и оскорбленным, бедным и обездоленным, но добрым и чистым сердцем, что, бывало, после каждого сеанса выходишь заплаканный, а душа кипит жаждой справедливости. О, это была великая наука, и я знаю, помню, как много значило это и для писателя Казакова, коренного москвича, арбатского парня, который жил в коммуналке, возле Вахтанговского театра, в доме, где зоомагазин, как раз напротив „Юного зрителя“...»

В казаковской писательской родословной, безусловно, есть самые дорогие для него имена, которые объясняют его вкусы и привязанности, его художественную натуру. Среди русских классиков первым следует назвать, пожалуй, Лермонтова, чья таинственная и трагическая судьба запала Казакову в сердце еще в юности. Не случайно написал он рассказ «Звон брегета»: темным, тоскливым днем 1958 года приехал специально в Ленинград, направился к пушкинской квартире на Мойке, не зная, как спра-

виться с мыслью — почему Лермонтов, боготворивший Пушкина, так с ним никогда и не встретился? Роковая тайна этого гениального русского человека, «изжелта-смуглого поэта с сумрачными глазами», погибшего в неполные двадцать семь лет, не давала Казакову покоя, смущала непостижимостью очевидных противоречий.

«Образ его, — писал Казаков о Лермонтове в 1964 году, — смутен, загадочен для нас. Это потом уже, когда стал он мертв и гениален, как о далекой звезде, говорили о нем, что был он хорош, обаятелен и велик во всех своих поступках. Потом, когда друзья и не друзья кинулись припоминать, то припоминали только хорошее и много при этом привирали. Зато, когда он был мальчик еще, когда он был гвардейцем, гусаром, поэтом только для друзей, всерьез его никто не принимал. Упоминания о нем в письмах и дневниках его знакомых были редки и почти всегда неприязненны. По этим дневникам и письмам выходило, что сумрачен он был, желчен, некрасив, хром, неблагодарен, циничен...»

Соединение в облике Лермонтова черт гениального поэта и непонятого, может быть, внешне даже непривлекательного человека больше всего занимало воображение Казакова. Он с болью думал о том, как успевал Лермонтов, «таскаясь по российским дорогам, по Кавказу, стоя в нарядах, пируя с друзьями», писать свои «высокие, горчайшие стихи» и почему он уже к двадцати шести годам устал от службы, — кручинился об этом и представлял себе, какую блестящую главу русской национальной истории создал бы Лермонтов, проживи он дольше. Ведь недаром, напоминал Казаков, сам Лев Толстой с восхищенным испугом говорил: «Если б жив был Лермонтов, то не нужны были бы ни я, ни Достоевский».

Лермонтов для Казакова — не просто увлечение молодости. Жена писателя, Т. М. Судник, рассказывала, как однажды, уже в 1969 году, она привезла в абрамцевский их дом новое издание лермонтовских сочинений, и Казаков долго читал вслух стихи, а потом прочел на память начало «Тамани». «Конечно, Лермонтов был ему дорог, — вспоминала Тамара Михайловна, — мне казалось, что здесь, как и всегда, привлекала его какая-то тайна, смутность, обреченность...»

Что-то вещее было в казаковском тяготении к Лермонтову. Казаков горевал о нем, как о близком по духу человеке, сокрушался, что гений Лермонтова не осуществился в полную силу его гигантских возможностей, что множество грандиозных замыслов не нашли своего воплощения и он унес их в могилу. И еще Казакова

запах; заставить нас вспомнить красоту и радость плотского — огромная цель!»

И В. Турбин, как бы итожил долгие споры, говоря: «Дар стилизации у Казакова был прочен, и не зря, вероятно, он самостоятельно разбирал лучшие вещи русских писателей: умная, артистичная стилизация — не подражательство вовсе, а постижение. Разновидность диалога с прошлым, вовлечение его в современность».

Да, ведя диалог с прошлым, Казаков вовлекал его в современность, прислушивался к голосу прошлого ради глубинной информации, поступавшей оттуда по незримым каналам, до поры находившимся в небрежении. Сердцем и чутьем таланта он улавливал те «лучшие инстинкты души Русской, образованной и облагороженной христианством», те «воспоминания древности неизвестной, но живущей в нас тайно», что, по словам А. Хомякова, произвели «все хорошее, чем мы можем гордиться». И потому связь Казакова с классикой была духовной и никак не сводилась к элементарному ученичеству.

Каких только влияний не приписывали Казакову — от Карамзина до Пришвина и от Гамсуна до Хемингуэя! Влияний, притянутых за уши и тех, что действительно имели место?

В частности, стоит прислушаться к Михаилу Рошину, когда он вспоминал: «...ничто другое не оказало на наше поколение столь сильного влияния, как итальянский неореализм, где жизнь была увидана и показана ясно, жестко, до последней степени правдиво, но с такой пронзительной любовью к человеку, ко всем „малым сим“, униженным и оскорбленным, бедным и обездоленным, но добрым и чистым сердцем, что, бывало, после каждого сеанса выходишь заплаканный, а душа кипит жаждой справедливости. О, это была великая наука, и я знаю, помню, как много значило это и для писателя Казакова, коренного москвича, арбатского парня, который жил в коммуналке, возле Вахтанговского театра, в доме, где зоомагазин, как раз напротив „Юного зрителя“...»

В казаковской писательской родословной, безусловно, есть самые дорогие для него имена, которые объясняют его вкусы и привязанности, его художественную натуру. Среди русских классиков первым следует назвать, пожалуй, Лермонтова, чья таинственная и трагическая судьба запала Казакову в сердце еще в юности. Не случайно написал он рассказ «Звон брегета»: темным, тоскливым днем 1958 года приехал специально в Ленинград, направился к пушкинской квартире на Мойке, не зная, как спра-

виться с мыслью — почему Лермонтов, боготворивший Пушкина, так с ним никогда и не встретился? Роковая тайна этого гениального русского человека, «изжелта-смуглого поэта с сумрачными глазами», погибшего в неполные двадцать семь лет, не давала Казакову покоя, смущала непостижимостью очевидных противоречий.

«Образ его, — писал Казаков о Лермонтове в 1964 году, — смутен, загадочен для нас. Это потом уже, когда стал он мертв и гениален, как о далекой звезде, говорили о нем, что был он хорош, обаятелен и велик во всех своих поступках. Потом, когда друзья и не друзья кинулись припоминать, то припоминали только хорошее и много при этом привирали. Зато, когда он был мальчик еще, когда он был гвардейцем, гусаром, поэтом только для друзей, все-речь его никто не принимал. Упоминания о нем в письмах и дневниках его знакомых были редки и почти всегда неприязненны. По этим дневникам и письмам выходило, что сумрачен он был, желчен, некрасив, хром, неблагодарен, циничен...»

Соединение в облике Лермонтова черт гениального поэта и непонятого, может быть, внешне даже непривлекательного человека больше всего занимало воображение Казакова. Он с болью думал о том, как успевал Лермонтов, «таскаясь по российским дорогам, по Кавказу, стоя в нарядах, пируя с друзьями», писать свои «высокие, горчайшие стихи» и почему он уже к двадцати шести годам устал от службы, — кручинился об этом и представлял себе, какую блестящую главу русской национальной истории создал бы Лермонтов, проживи он дольше. Ведь недаром, напоминал Казаков, сам Лев Толстой с восхищенным испугом говорил: «Если б жив был Лермонтов, то не нужны были бы ни я, ни Достоевский».

Лермонтов для Казакова — не просто увлечение молодости. Жена писателя, Т. М. Судник, рассказывала, как однажды, уже в 1969 году, она привезла в абрамцевский их дом новое издание лермонтовских сочинений, и Казаков долго читал вслух стихи, а потом прочел на память начало «Тамани». «Конечно, Лермонтов был ему дорог, — вспоминала Тамара Михайловна, — мне казалось, что здесь, как и всегда, привлекала его какая-то тайна, смутность, обреченность...»

Что-то вещее было в казаковском тяготении к Лермонтову. Казаков горевал о нем, как о близком по духу человеке, сокрушался, что гений Лермонтова не осуществился в полную силу его гигантских возможностей, что множество грандиозных замыслов не нашли своего воплощения и он унес их в могилу. И еще Казакова

мучило, почему Лермонтов с такой легкостью шел навстречу своей гибели: «Но какой бес сидел в нем, какой рок, какая судьба гнала его все ближе, ближе к обрыву на Машуке?.. Или он хотел еще раз испытать свою судьбу, уподобиться своему странному герою-фаталисту?»

Личное бесстрашие, нравственный максимализм Лермонтова, его романтическая вера в высокое предназначение поэта влекли к себе Казакова, и многие лермонтовские мотивы — одинокое скитальчество, звездный космос, нетленность предания, неотвратимость страданий, непонятая либо неразделенная любовь — нашли себе созвучие в казакских рассказах, причем без каких-то прямых реминисценций.

В Лермонтове, в его трагически короткой жизни заключалась какая-то фатальная недосказанность. А вот Лев Толстой — его Казаков почитал больше, чем кого бы то ни было из классиков — поражал всеведением, громадностью своего человеческого и писательского опыта; сын своего века, Толстой знал ту правду о человеческой душе, которая одинаково ценна во все времена, — и потому и в XX веке, по мнению Казакова, остался он для нашей литературы главной фигурой.

Художественный мир Толстого незыблем для Казакова, как сама жизнь. Казаков преклонялся перед этим миром свято. «Когда говорят о Толстом-моралисте, о Толстом как о нашей нравственной совести, — писал он, — подразумевают прежде всего его этико-религиозные произведения, его публицистику, его „В чем моя вера?“, его „Не могу молчать“. А разве его художественные сочинения не есть (в какой-то мере — не с религиозной точки зрения) то же учение, — все эти описания бесчисленных состояний человеческой души, весь мир, предстающий перед нами на страницах художественных, разве это не возвышает нас, не учит нас добру, не говорит нам бесконечно убедительно, что мы не должны грешить, не должны убивать, а должны бесконечно любить мир с его облаками и водами, лесами и горами, с его небом и — человека под этим небом?»

Ни Лермонтов, ни Толстой, ни другие любезные его сердцу русские классики не являлись для Казакова учителями лишь в узком, профессиональном, ремесленном смысле. Они открывали ему свой внутренний мир, приобщали к своей философии, вселяли в него уверенность в великой воспитательной пользе литературы, он словно жил с ними бок о бок, — и результаты такого духовного общения сказывались сами собой.

О Чехове, например, Казаков заметил: «Он вошел в мою жизнь, как говорится, с молодых ногтей, вместе с Толстым. Знакомство с ним, когда я не помышлял еще о писательстве, было плавным и как бы необязательным...»

И только Бунин, о чем влиянии на Казакова толковали так охотно, «достался» ему дорогой ценой.

В отличие от Толстого и Чехова, признавался Казаков, Бунин ударил по нему «резко, внезапно, неестественно сильно». «Когда на меня обрушился Бунин с его ястребиным видением человека и природы, — вспоминал Казаков в 1979 году, — я просто испугался. И было чего испугаться! Он и то, о чем я бессонными студенческими литинститутскими ночами столько думал, волшебным совпало».

Следует сказать, что в середине 1950-х годов Бунин «обрушился» не на одного Казакова. Его проза, в которой было «чресчур много живописи» (Ю. Трифонов), оказала на молодых прозаиков той поры — в чем они дружно и не однажды признавались — огромное влияние «в области стиля, пластики слова», заморозила их своими интонациями, ритмами, своей «сочной и плотской» образностью. В бунинской прозе их привлекло, как говорил, например, А. Приставкин, «полное отсутствие официоза, естественность и простота, глубокий психологизм, близость к природе и вообще к естеству человека, высокая, почти музыкальная культура слова».

Приобщаясь к бунинской традиции, молодые прозаики середины 1950-х годов тем самым как бы подчеркивали свою прямую связь с классической русской литературой, почтенным долгожителем которой в XX веке оставался Бунин, скончавшийся в 1953 году. Он был для них «последним, пока еще никем не превзойденным ее классиком» (В. Белов). И в то же время они могли считать его и своим старейшим современником, с которым могли возникать у них и особые, так сказать, личные связи.

У Казакова эти связи, эти «волшебные совпадения» с Буниным определялись самим существом его художественного дарования — той особенностью таланта, на которую применительно к Бунину указывал А. Твардовский, когда в статье о нем писал: «Бунин — не просто мастер необычайно точных и тонких запечатлений природы, он великий знаток „механизма“ человеческой памяти, в любую пору года и в любом нашем возрасте властно вызывающий в нашей душе канувшие в небытие часы и мгновения, сообщающий им новое и новое повторное бытие и тем самым по-

звolyающий нам охватить нашу жизнь на земле в ее полноте и цельности, а не ощущать ее только быстрой, бесследной и безвозвратной пробежкой по годам и десятилетиям...» Такой механизм художественной памяти, такое ощущение полноты жизни отличали в известной мере и Казакова, делая его последователем бунинской школы.

«Конечно, я подвергся самому откровенному влиянию, — признавался он, — и несколько моих рассказов — ну, например, „Старики“ — написаны явно в бунинской манере. Но вот что мне обидно: когда я-то из-под Бунина выбрался, стал самим собой (ведь последующие мои вещи написаны вообще вне этого влияния), мои критики продолжали твердить как заведенные — Бунин, Бунин, Бунин... (Ну, разве „Осень в дубовых лесах“ — Бунин?)».

И «выбравшись из-под Бунина», Казаков продолжал преданно его любить и хотел написать о Бунине книгу в духе цвейговских «Звездных часов человечества». Будучи во Франции в 1967 году, он встречался с Б. Зайцевым, Г. Адамовичем, расспрашивал о Бунине всех, кто был о нем мало-мальски осведомлен: не просто собирал материал, а как бы сливался с бунинской средой, ощущая себя ее законным наследником.

Книги Бунина Казаков воспринимал как неотъемлемую часть единой русской культуры, насильственно отторгнутую от своего основного русла. Он был искренне озабочен тем, чтобы любые талантливые семена этой культуры, куда бы их ни забросил ветер истории, не канули в неизвестность и не исчезли бесследно, потому что ростки этих семян непредсказуемо благотворны. Идею духовной преемственности Казаков понимал широко, непредвзято и быстро обретал общий язык с писателями первой эмиграции.

Читал ли он воспоминания о Бунине, оставленные Г. Адамовичем, — не знаю, но с той характеристикой Бунина, которая содержится в этих воспоминаниях, Казаков, по-моему, согласился бы.

Г. Адамович писал о Бунине: «По возрасту он принадлежал скорей к нашему веку, но больше, чем кто-либо другой, напоминал своим присутствием о связи столетий и о роковой опасности исчезновения преемственности и пренебрежения ею. Он не торопился жить вровень с эпохой, не уступал жалкому желанию, столь часто встречающемуся даже у самых талантливых людей, быть в согласии с последней умственной модой, находить в этой моде особую ценность и привлекательность. С величавой простотой и величавым спокойствием он жил чуть-чуть в стороне от шумного, суетливого и самонадеянного века, недоверчиво на него поглядыва-

вая и все больше уходя в себя. Он был символом связи с прошлым, как с миром, где всему было свое место, где не возникало на каждом шагу безответное недоумение, где красота была красотой, добро — добром, природа — природой, искусство — искусством...»

Родственные принципы исповедовал с молодых лет — вслед за Буниным и независимо от него — и Казаков.

Т. М. Судник рассказывала: «У него был дар — всегда с необыкновенной ясностью видеть живую жизнь писателей, понимать их судьбы. О Бунине, Чехове, Толстом он всегда говорил так, как если бы был их современником — до деталей быта, до чего-то самого сокровенного. Каким откровением была бы книга о Бунине — он прочел о нем все, что возможно, и знал и понимал эту жизнь больше, чем свою собственную...»

Но книгу о Бунине Казакову написать не довелось. Среди неосуществленных казаковских замыслов — а их немало! — эта из самых невосполнимых потерь.

И в продолжение сказанного нельзя умолчать о том, что еще один классик, с ярко выраженным «ностальгическим сознанием», вызывал у Казакова пристальный интерес — Владимир Набоков, чьи книги он с восхищением перечитывал: и «Дар», и «Другие берега», и все, что было ему тогда доступно.

Казаков был бесконечно предан своей литературной родословной и хотел, чтобы традиция русской классики продолжалась. По словам А. Битова, он прокладывает мост «между бескультурной литературой и литературой в подлинном смысле. К тем, на ком она прервалась, — Чехову и Бунину». Волею судеб Казаков стал, кажется, последним достойным выразителем русской классической традиции, ее принципиальным защитником, словно предчувствовал, какой профанации подвергнут ее литературные импотенты в конце XX века. «При жизни Казакова, — заметил в 1989 году А. Арьев, — многим представлялось, что он существует в литературе благодаря своей традиционности», но потом стало ясно другое — «благодаря Казакову классическая традиция русской лирической прозы не оскудела, не утратила своей прозрачной чистоты».

Глава 4

«ЗАЧЕМ, ЗАЧЕМ Я ЗДЕСЬ?..»

Страсть к охоте, как помним, родилась у Казакова в послевоенной голодной и холодной Москве и повела за собой любовь к странствиям, а странствия в свой черед помогли ему утвердиться в своем истинном призвании, — и тут счастливым для Казакова открытием стал Русский Север.

Размышляя о том потрясении, какое он получил, впервые познакомившись с прозой Бунина, Казаков рассказывал: «Может быть, и не было бы такого потрясения, если бы лет за десять до этого я не побывал летом в деревне, на севере Кировской области, где влюбился в эти стародавние избышки. Был я в ту пору двадцатилетним музыкантом и повлекся туда, обуреваемый охотничьей страстью. Вспоминаю, как я ходил-бродил там один с ружьем — наивный, юный, робкий. Никакого во мне неверия тогда не было, была только светлая юношеская вера в будущее (несколько лет спустя я от имени того арбатского мальчика и написал рассказ „Голубое и зеленое“). Помню, как увидел я идущего по пашне мужика — с коробом на левом боку, с ремнем через правое плечо, — который бросал зерно так, что оно билось о край короба и рассыпалось веером. Мерно шагал он, и в шаг — вжик, вжик — летело зерно... По радио в фильмах тогда все пели про комбайны, технику и так далее. А тут идет мужик в портках и босиком (ведь то был, кажется, 1947 год). Об экономических проблемах сельского хозяйства я тогда не думал. И тем более я не думал, что стану писателем. Но мне хотелось внимательнее присмотреться к человеку с коробом. И вот когда десять лет спустя я стал читать Бунина, мне все виделся этот босой мужик, серые избы, слышался вкус хлеба с мякиной».

Мужик с коробом, с лукошком на колхозных полях — пусть даже лукошко это, как писал Казаков в другом месте, было последним в России — навсегда врезался ему в сердце как пришелец из бунинского века, как живое воплощение стойкости русского кре-

стьянина. И то, что столкнулся Казаков с этим фактом на Севере, в Кировской области, где на станции Луза, отнюдь не по своей воле, как помним, работал в послевоенные годы плотником его отец Павел Гаврилович, к которому они с матерью наезжали, добавило к тому пронзительному впечатлению отблеск давнего личного переживания...

В 1956 году, будучи студентом Литинститута, Казаков на каникулах вновь отправился на Север: на сей раз журнал «Знамя» послал его в творческую командировку.

«Я в ту пору, — рассказывал Казаков, — очень увлекался Пришвиным, его, в частности, одной из лучших вещей „За волшебным колобком“. И вот, думаю, поеду-ка я по следам Михаила Михайловича и погляжу, что осталось, что изменилось. Ведь интересно: он там путешествовал в 1906 году, а я ровно через пятьдесят лет».

Пришвин был одним из любимейших писателей Казакова. Он открыл его для себя еще в юности и еще в 1949 году записал в дневнике: «Бывает, спрашивают у меня в разговоре, кого я из советских писателей люблю больше других. Каждый раз я отвечаю: Пришвина. Пришвин — писатель совершенно особого склада. Читать его наслаждение, почти равное наслаждению живой природой. В каждом человеке есть свое тайное, глубоко запрятанное, и, по моему, ни один из советских писателей не трогает так это тайное, как Пришвин...» Казаков не только любил Пришвина, но и хотел подражать ему в жизни, — о чем не однажды упоминал.

Так что не только желание сравнить, что изменилось на Севере за полвека, руководило Казаковым в той поездке 1956 года, — не меньше увлекало его *творческое поведение* Пришвина, принципы которого молодой писатель собирался проверить на собственной практике.

Вспомним, с какими помыслами отправлялся когда-то Пришвин в свое первое северное путешествие. На первой же странице «Колобка» он объяснял, что путешествие не имело обдуманного плана, он хотел провести три летних месяца как лесной бродяга, с ружьем, чайником и котелком. Получив поручения от Географического общества, Пришвин, однако, не ставил перед собой определенной цели, — ему чудилось, что он, как в сказке, брел за волшебным колобком. Эта сказочно-романтическая настроенность, эта свобода передвижения, эта раскованность в размышлениях и вольность в разговоре с воображаемым другом или с самим собой и сегодня подкупают в пришвинских записках.

Правда, Пришвин лукавил. Подспудная цель у него все же была: он искал на Севере ту несбыточную страну, куда пробовал убежать в детстве, «страну без имени, без территории», загадочную страну чистой мечты, далекую от черствой действительности. Недаром эпитафией к своим запискам он взял слова радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву»: «Теперь я прощусь с городом навеки. Не въеду николи в сие жилище тигров. Единое их веселие грызть друг друга; отрада им томить слабого до издыхания и раболепствовать власти. И ты хотел, чтобы я поселился в городе! Нет, мой друг, заеду туда, куда люди не ходят, где не знают, что есть человек, где имя его неизвестно. Прости! Сел в кибитку и поскакал».

Открывая в поисках этой прекрасной и справедливой страны Русский Север, Пришвин открывал в себе писателя. Радость такого открытия — самозабвенный лирический мотив его «Колобка». Стремясь по-своему лицезреть мир, он как поэт жаждал познать тайны человеческой души. «И хорошо же вот так удрать от всех в какое-то новое место, полное таинственных сновидений, — размышлял Пришвин. — Хорошо так касаться человеческой жизни с призрачной, прекрасной стороны и верить, что это — серьезное дело. Хорошо знать, что это не скоро кончится. Как только колобок перестанет петь свою песенку, я пойду дальше. А там еще таинственнее... Мое занятие — этнография, изучение жизни людей. Почему бы не понимать его как изучение души человека вообще?»

Изучение жизни людей и «души человека вообще» подразумевало в качестве неперемennого условия исследование собственного душевного опыта. Пришвин кропотливо анализировал интимные, необычные отношения, какие складывались у него с дикой природой, и был счастлив, отыскав на Севере ту благодатную среду, где его чуткая художественная натура могла проявиться без помех, во всей доступной полноте. «Тишина леса, и беснование Нивы, и ожидание взлета птиц, похожих на лапландских чародеев, — все это придумано для меня, — записывал Пришвин. — От всего этого во мне будто натягивается струна, выше и выше, и вот уже нет звуков: ноги и тело, вероятно, идут, но сам я где-то порхаю. Каждую частицу себя ощущаю, но сам не знаю — где. Поймать бы, уловить, описать это разбросанное в лесу существо человека. Но это невозможно...»

Оказавшись в тех же заповедных северных краях, околдованный пришвинским «Волшебным колобком», Казаков должен был

испытывать нечто похожее. Он не следовал за своим учителем слепо, их связывала скорее причастность к общей литературной традиции, но что бесспорно: Пришвин, словно ведя за собой нащупывающего свой путь начинающего писателя, вселял в него уверенность и подсказывал ответы на вопросы, по молодости встававшие перед ними обоими, объяснял то, что до поры казалось Казакову необъяснимым.

Так, он давал точную отгадку охотничьей страсти, которой сам был неудержимо подвержен, — той самой, что с детства удивительным образом вселилась и в Казакова. Пришвин считал, что общение с дикой природой, таинственное переселение за «тысячелетия назад» обнажает скрытую связь природного и творческого начал в человеке, и постигнуть эту связь помогает охота. Так называемому «культурному» человеку охота может представляться невинной или злой забавой. «Но для меня, — утверждал Пришвин, — это тайна, такая же, как вдохновение, творчество. Это переселение внутрь природы, внутрь того мира, о котором культурный человек стонет и плачет».

Изначальная, извечная поэзия природы притягивала к себе Пришвина — поэзия, которую остро, инстинктом чувствуют дикие народы и дети. Они живут в обособленном, не испорченном цивилизацией мире. Этот мир и хотел запечатлеть Пришвин, он словно балансировал на грани реальности и грезы и всегда готов был ступить за эту грань в неведомое, сказочное царство.

И Казакова волшебный пришвинский колобок звал в ту страну без имени, без территории, о какой мечтают дети, в страну, где каждый «когда-то бывал», где все знакомо — и все забыто...

Напрямую об этом Казаков позже, 18 июля 1958 года, писал Т. Жирмунской из Ленинграда: «Я скоро уеду отсюда, не знаю только куда — в Псковскую область сначала или прямо на Север, на пароходе. Мне хочется почему-то смутиться духом, попечалиться в одиночестве. Я делаюсь в эти минуты лучше, знаешь, такой маленький Юрочка, неизвестно когда родившийся, едет по белу свету, смотрит и поражается его счастьем и грусти, и многим жизням, и вечному, и мгновенному...»

Правда детского восприятия окружающего мира как высшая мудрость, доступная человеку, была тем нравственным и поэтическим идеалом, что брезжил и перед Пришвиным, и перед Казаковым. Провозглашенное Пришвиным «возвращение к себе первоначальному» имело всеобъемлющий, программный смысл, — касался ли разговор детства планеты, детства человечества, пра-

щуров Лапландии, упоминалось ли о прелести дивной, свободной жизни с котелком у костра, велась ли, наконец, речь о самоотрешенности, позволяющей художнику услышать себя, распознать свой талант и уверовать в него.

Студеная природа, прекрасная в своей первородности, цельные под стать ей люди, суровое бытие Русского Севера, под пристальным взглядом писателя обнажающее свою скрытую веками первооснову, — все это властно заявило о себе в первых же северных рассказах Казакова, навеянных его поездкой на Белое море в 1956 году.

Слышалась в этих лаконичных, плотных по письму рассказах какая-то всепроникающая нота, берущая исток, может быть, действительно у Бунина, а может быть, долетевшая из времен куда более далеких, Аввакумовых, допетровских, сказовых...

Первые северные рассказы принесли с собой в казаковский «роман» наивно-романтическое ощущение тайны мироздания, ощущение душевной изначальности и чистоты, ощущение какой-то прозрачной временной бездонности.

Человек предстает в этих рассказах как прямое порождение природы, — и уже в раннем детстве просыпается в нем удивление перед загадкой жизни, уважение к земле, возникает неосознанно благодарное чувство причастности к миру растений, зверей, рек, звезд, чувство благоговения перед жизнью, переживаемое в детстве как никогда потом искренне.

Ну вот, скажем, Никишка из рассказа «Никишкины тайны» (1957). Ему лет восемь, живет он в деревне на берегу Белого моря. Тихий и ласковый, «не такой, как все», он больше молчит, размышляет про себя, и все вокруг исполнено для него неведомого смысла: и камни, смотрящие «из-под земли», и запутанные следы чаек на песке, и черный восьмиугольный крест на пустынном берегу, и звон моря, и лесные шелесты...

Едет Никишка морским берегом на отцовскую тоню, разговаривает с пугливым конем и думает о «разном». «А почто это камни на меня смотрели? — спрашивает он, добравшись к отцу. — Они тоже думают? Небось ночью-то переваливаются, кому неловко лежать, за день-то вон как бок отлежишь!» И отец в тон ему отвечает: «Камни-то?.. Камни, они, надо думать, тоже живые. Все живое!» «А ты понимаешь, об чем березы говорят?» — спрашивает Никишка. «Дак они по-своему, по-березьи небось говорят! — отвечает отец, — Надо язык ихний знать». И хочет Никишка все постичь своим умом: и «березий язык», и желания теплой собаки,

которая смотрит на него огненными глазами, и мучения семги на дне ловушки, — хочет он «тайну такую понять, чтобы все, что видит, разом открылось ему».

Маленькому казаковскому герою нет нужды грезить о призрачной пришвинской стране «без имени, без территории». Никишку от рождения пленяет его родная — реальная — страна, и он постепенно опознает ее, проникаясь ее древним могучим духом. Чувство родовой причастности ко всему, чем занимаются люди вокруг, пробуждается в нем очень рано, и так же, как не знает Никишка границы меж собой и природой, не ведает он ни малейшего отчуждения от того быта и образа жизни, какой достался ему в наследство от далеких предков. Недаром кажется ему, что в рыбацкой лодке он «сидел давно годами, семгу ждал», и что отец в избе говорит что-то «давно знакомое, родное: о рыбе говорит, о море, о ботах, о деревне, о ветрах».

Это нечто давно знакомое, эту «информацию со дна колодца» Никишка воспринимает сызмальства, и когда он говорит отцу о чем-нибудь, о проплывающем тюлене, например: «Знаю!» — он словно сверяет свою генетическую память с действительным миром, совмещает в своем пробуждающемся сознании понятие с предметом.

Есть во взгляде Никишки свой «магический кристалл», отмеченный печатью авторского мировосприятия: предметы, вещи и явления предстают перед ним в их первозданной наготе и прелести, выявляя и демонстрируя воочию свою исконную сущность. Робкое неведение и упрямое знание, беззащитная правда и вековая мудрость одинаково естественны в Никишке, таков уж он есть по авторскому замыслу: «Глянет — и вот младенец несмышленный, а другой раз глянет — вроде старик мудрый». «Не знаю почему, но этот рассказик мне было стыдно писать, будто я раздеваюсь», — признался Казаков в письме Т. Жирмунской в апреле 1959 года.

И природа с надеждой благоволит Никишке и сама жаждет подсказать ему разгадку вселенской тайны, надоумить, наставить на путь истинный. Ей это почему-то необходимо, она с какой-то своей «целью» взывает к мальчику — и Никишка улавливает эту обращенную к нему требовательную мольбу.

Состояние напряженного ожидания царит в рассказе. Все вокруг затихло в предвкушении какого-то откровения, «все молчит», — и это тоскующее молчание, эта красота убаюкивают Никишку, погружают его в сон, и в этом вещем сне «обступит его деревня, избы с глазами-окошками, лес подойдет, камни и горы,

конь явится, пес рыжий, чайки прилетят, кулики сбегутся на тонких ножках, семга из моря выйдет — все к Никишке сойдутся, смотреть на него станут и, бессловесные, будут ждать заветного слова Никишкиного, чтобы разом открыть ему все тайны немой души».

Бессловесная, немая душа природы вопрошает человека, взывает к его разуму и совести. Человек, с детства пребывающий в нерасторжимом контакте с природой, воспринимающий ее как «второе откровение» (Д. Лихачев), становится у Казакова как бы ее живым нервом, ее голосом, ее рупором, ее посланником и защитником, в современном цивилизованном мире, — тем самым «маленьким Юрочкой» (он же беломорский Никишка).

Именно такой человек появляется в первых северных рассказах. А природность и изначальность становятся для Казакова родовым знаком поморского характера, непременным свойством многих его героев.

Такова и Манька из одноименного рассказа (1958), — подобно Никишке, она сама невинность, сама стихия. Непокорный нрав этой гордой, своевольной девчонки, дикая красота, сквозящая в ее странной, затаенной улыбке и опущенных зеленоватых глазах, ее мучительное и яростное чувство к Перфилию не случайно пленяют писателя. Любовь, с фатальной неизбежностью охватившая семнадцатилетнюю Маньку, равноценна детским прозрениям Никишки, любовь эта тоже содержит в себе великую тайну, — и перед ней, перед этой тайной любви, и желанной, и пугающей, нельзя сфальшивить, нельзя смалодушничать, нельзя изменить себе и преступить неписанные дедовские законы.

«Что главное в любви? Знать и скрыть. Узнать о любимом и скрыть, что любишь. Иногда *скрыть* (стыд) пересиливает *знать* (страсть). Страсть тайны — страсть яви» — так размышляла когда-то Марина Цветаева, и диковатой, «непросвещенной» казакской героине это женское состояние, эта необъяснимая логика любви тоже, оказывается, хорошо знакомы.

Сдерживаемая, невысказанная «страсть тайны» руководит ею, подталкивая в критических ситуациях к единственно верным решениям. Мудрость сердца, нравственная сила, обнаруживающиеся в несмышленной Маньке, первородны, доопытны, и первородство это тем очевиднее, чем теснее переживания Маньки увязаны с жестким природным фоном. Когда Манька во время шторма, полуживая от страха, в ледяной воде «по-звериному» вырывалась из резких, злых рук Перфилия, а море «ревело, будто громадный буйный зверь», ее отчаянная схватка с морем и «сладкий ужас»

любви к Перфилию были совершенно созвучны, — метафорическая (но и точная в деталях!) эта картина как нельзя красноречивее передавала драму казаковской героини.

Простодушная вера Маньки в свою звезду вовсе не так наивна: неопровержимый опыт поколений спрессован в ее чувстве, и Манька бессознательно ощущает это. В ее любви торжествует благородство. Каким жалким выглядит Перфилий, когда, «притворившись тоже диким», пытается овладеть Манькой! Его глупая наглость, его «легкий, хищный шаг» вызывают у нее такой отпор, что Перфилий сразу же сникает и, что называется, просит пощады. Лихой парень по натуре, он совсем теряется под влюбленным и проклинаящим Манькиным взглядом. Однако не в развенчании Перфилия замысел рассказа: хотя Манька вольна либо казнить, либо миловать своего суженого, она не перестает, страдая, его любить. Не зная, как лучше распорядиться обретенной над ним властью, она чувствует в себе такую силу, такой заряд «живой жизни», что способна, кажется, вразумить и Перфилия, не ведающего, какое счастье попало ему в руки.

Знобкое ощущение чистоты и свежести, какое бывает после стихнувшей грозы, остается в финале рассказа. Чистоты душевной. Чистоты восторжествовавшего нравственного чувства.

Позже в «Северном дневнике» Казаков вспоминал, как возникло у него желание написать этот рассказ.

Жил он однажды на Летнем берегу Белого моря на рыбацкой тоне.

И вот: «Раз в два или три дня на солнечной светлоте берега, на грани воды и земли, появлялась одинокая фигурка женщины. Приближалась она медленно. Следы этой женщины, если посмотреть потом, были частыми и усталыми. Она волочила ноги и ступала нетвердо. Следы скоро заравнивало водой, а старуха молча, хмуро, отдав почту рыбакам, уходила дальше и скоро скрывалась за голубым крутым мысом. Ходила она из Лопшеньги в Летний Наволок. Расстояние между этими деревнями было тридцать пять километров».

Казаков думал тогда, как тяжело, наверное, живется этой старухе, как непросто ей со старческими хворями проделывать регулярно свой путь, нести, что называется, свой крест.

«Я хотел написать о ней грустный, но героический рассказ, — вспоминал Казаков. — Рассказ этот долго мне не давался, а потом неожиданно для себя я написал совершенно другой рассказ о почтальонше — молодой девчонке Маньке».

Но и героический рассказ о старухе он тоже написал еще до «Маньки», рассказ «Поморка» (1957) — первоначально «Святая», — где великолепно все: и осенний пейзаж, когда на Белом море «сумерки коротки, а ночи аспидно-черны и холодны»; и детально поданный деревенский быт, просторная, строенная еще в XIX веке на большую семью изба, поражающая старинным порядком, чистотой, суровыми хрустящими скатертями с мережкой; и обитающая в этой избе девятистолетняя одинокая Марфа, давно проводившая в смертную дорогу и мужа и детей...

Словно перед былинным колоссом замирал писатель перед Марфой и, наблюдая ее, не переставал восхищаться тем, как много она успевает сделать за день привычной «бабской работы», сколько в ней немереных сил, доброты и участия к людям, как, несмотря на глубокую старость, оживает ее древнее и темное лицо при мысли о внуках, плавающих где-то в далеких морях, как справедливо судит она о жизни и как спокойно, с достоинством говорит о смерти.

Этот поистине эпический образ не только зрим, не только притягателен своей душевной неисчерпаемостью, — этот образ символизирует собой отношения человека и времени в пределах человеческой жизни, знаменует немеркнущую связь поколений в рамках национальной истории. «Такой монолит характера столетиями складывается в недрах народной жизни и представляет одно из высших ее свершений», — писал критик И. Крамов (1979), считавший главным мотивом этого рассказа «осознание исторической глубины жизни, ее объема, вмещающего старину как неотъемлемую часть сущего и действительного».

И знаменательно, что Казаков искал прямого духовного родства с Марфой — в желании обогатиться той вековой народной памятью, какой она обладала. В этом раннем рассказе он задавался вопросом принципиальнейшим: «Случай забросил меня сюда ненадолго, скоро я уеду и никогда, быть может, не увижу больше ни моря, ни этих высоких черных осенью изб, ни этой древней поморки. Отчего же так таинственно близка и важна мне ее жизнь, почему так неотступно слежу я за ней, думаю о ней, расспрашиваю ее?»

Он в тот момент еще не знал, что Север надолго станет частью его жизни, что он будет вновь и вновь возвращаться к этим избам, на эти берега.

Когда ночью, в шторм Марфа молилась за всех, кто в эту ненастную погоду рыбачит на Баренцевом море, Казаков неожидан-

но для себя думал: «Странно мне слушать это — будто бабка моя молится, будто мать свою я слышу сквозь сон, будто все мои предки, мужики, пахари, всю жизнь, с детства и до смерти пахавшие, косившие, положенные, забытые по погостам, родившие когда-то и хлеб и другую, новую жизнь, будто это они молятся — не за себя, за мир, за Русь — неведомому богу старозаветному, доброму Николе-угоднику».

Поездка Казакова на Север в 1956 году, вне всякого сомнения, стала поворотной в его судьбе. Русский Север и Белое море тогда зачаровали Казакова: люди там жили коренные, колоритные, жили крепко, основательно, в двухэтажных избах, быт там сохранялся патриархальный, честь почиталась превыше всякой доблести... И еще заворожила его небывалая, абсолютная тишина, царившая на пустынных побережьях, пленили белые ночи и «совершенно особые серебристые облака, высочайшие, светящиеся жемчужным светом»...

Но самое главное: оказавшись тогда на Русском Севере, «окунувшись в поток настоящей, живой речи, — признавался Казаков позже, — я почувствовал, что родился во второй раз. Бога ради, не воспринимайте это как красоту. В жизни каждого человека есть момент, когда он всерьез *начинает быть*. У меня это случилось на берегу Белого моря, терпкого от водорослей, от резкого, непривычного, неповторимо морского запаха. В этих краях каждое слово обживалось веками».

Тогда-то он всерьез и начал быть — писателем.

После поездки на Белое море в 1956 году Казакова стало тянуть на Север, как он выразился, с постоянством магнитной стрелки, — и эта фатальная тяга была сопряжена с острым желанием разобраться в настигшей и не отпускавшей его душевной смуте. Красноречивым свидетельством тому стал путевой беломорский дневник 1958 года.

Покидая в конце июля Ленинград, чтобы, как помним, — «тосковать, молиться, радоваться и Бог знает, что еще перечувствовать», не ведая, куда занесет его нелегкая, Казаков в первых числах сентября оказался в Архангельске с намерением отправиться оттуда на северное побережье Белого моря. Первая запись в дневнике сделана 7 сентября в Нижней Золотице, но как бы прелюдией к дневнику служат два письма Казакова к Т. Жирмунской: от 2 сентября из Архангельска и от 5-го — по прибытии на место.

«Ах, ах! — писал Казаков 2 сентября, — я от бабушки ушел, я от дедушки ушел и сижу теперь, как великий и мудрый Пришвин, у росстани, в гостинице „Интурист“ и думаю о тебе... первый день прошел вяло, я отсыпался в гостинице, потом был в издательстве, у знакомого писателя и т. д. Завтра я думаю выйти на разведку, на предмет моего маршрута, т. е. куда я поеду отсюда. Пока я держу в голове Зимнюю Золотицу — деревню на Белом море, откуда родом Марфа Крюкова. Слышны изредка низкие гудки морских пароходов и меня покалывает иголочками. Боже мой, как я счастлив был здесь в первый раз, осенью 56 года, ужасно, что сейчас я сплю как-то...»

А на следующий день, сверх всяких ожиданий, произошла нелепая встреча с редакторшей, которая, как выяснилось, была влюблена не только в рассказы Казакова, о чем он писал Паустовскому, а заочно в него самого. Она устроила ему сцену с глупыми упреками, после чего Казаков чувствовал себя как оплеванный. «Был момент, — писал он Т. Жирмунской, — когда у меня как-то остановилось сердце и стало противно жить... стало, вероятно, так, как некрасивой Соне, когда Николай сказал, что у нее глисты... впору бросить все и ехать в Москву. Но я все равно завтра уеду в Золотицу и проболтаюсь на побережье весь месяц. А каково-то теперь с книгой!»

Эмоциональный взрыв был очень силен. «Конечно, я виноват, все я, наверное, не так вел себя, как надо, — сокрушался Казаков, — не то писал ей в письмах, она, верно, имела основания надеяться, ждать меня, ах я подлец, ну не сукин ли сын, Господи, когда же я стану человеком без страха и упрека... скажи, ведь я действительно дурак, да?.. а что я могу, раз я такой, неужто затвориться, не жить и молчать, и не думать о своей жизни, но монастырей-то теперь нет, не уйдешь, и вот чувствую все время, что поступаю всю жизнь не так и делаю не то, что надо. Ну, на все плевать, на все, на всех, это я знаю, это я понимаю, и не в том суть, кому до меня дело... Уй, как мне нехорошо, прости, не слишком читай-то, ведь я выпивший болтаю, но в болтовне-то все равно уж открываться... Может, только один-два человека можно встретить за всю жизнь, для которых и ты небезразличен, и ты что-то значишь, нужен. Ты это поймешь еще потом, как и я, а что всего ужасней, что сто раз обманешься, сто раз будешь оплевана, а вера, она опять толкнет тебя к ним же, и опять ударят тебя в душу.. никому я сейчас не верю и тебе не верю — никому. Матери только, мать одна не

предаст, ты не обижайся, ты тоже, наверное, во мне не уверена, и тоже, может, мучаешься, ну и я тоже».

Как относиться к непонимающим тебя людям? Как им верить? И как верить в людей, если общение с ними вызывает такие страдания? Отдельные люди — да, могут быть глупы, гадки, подлы. Но люди вообще? Негодуя на себя, Казаков, как говорится, явно перегибал палку. Ведь той же Т. Жирмунской меньше чем за месяц перед тем он писал из Ленинграда: «Я сейчас подумал, что как, в сущности, люблю я людей и как не могу без них и что если даже не люблю, ненавижу, то все равно из-за любви к ним. Значит, как же несправедливы ругающие меня и как, верно, долго мне терпеть все это». При его болезненной ранимости, Казаков был максималистом во всем, — и людей это касалось, может быть, в первую очередь.

Он с детства чувствовал себя безмерно одиноким и спасения от одиночества искал, повинуюсь непобедимому инстинкту творчества. Причем и здесь оставался тем же максималистом, заносясь в своих мечтах на звездные высоты. Жалуясь Т. Жирмунской в письме из Архангельска на свою судьбу, он был столь же категоричен: «Милая, милая, хотел бы я Блоком быть или еще каким-нибудь *гением*, понимаешь, *гением*, ужасным и загадочным, и ради тебя только, мне не надо, мне на что — слава дым, это так, т. е. когда ты один, так один, хоть бы тебя миллиарды любили и ставили свечи, но когда туго, страшно, все равно один, уж Христос на что, а взмолился же отцу: пронеси, мол, мимо чашу сию, а знал же наверное, что будет любим в веках (или не знал?), знал наверное, а вот взмолился, и поэтому, когда один, то слава — мура и вообще ничего не надо, но я хотел бы стать *первым*, *великим*, чудом природы, то есть когда уж людям не понять, как это, как? — это ой-ей как ужасно, трудно...»

С таким вот настроением отправился Казаков в Нижнюю Золотицу, но письмо к Т. Жирмунской оттуда звучало уже иначе: «Мамочка моя, куда меня занесло! Что-нибудь одно: или я дурак совершенный или самый мудрый и хитрый человек — или я уеду отсюда, проклиная Север и себя, или привезу в Москву полный мешок поэзии и счастья... Я послал тебе из Архангельска смурное письмо. Теперь уж я успокоился и выиграл духом: прочь, прочь все!.. дрожит у меня в душе что-то, какой-то зайчик солнечный прыгает иногда, мелькнет, вздохнешь только и не поймешь, что же это такое с тобой. Не есть ли это, я думаю, тайное предчувствие удачи?»

Он рассказывал о том, как плыл на «черном, погребальном, мрачном» пароходе в 3-м классе и ему встретилась такая девушка, что он, грешным делом, крикнул: «...глаза у нее — редкость великая, даже трудно подыскать определение — ленивые, странные, загадочные (...у Маньки моей я примерно такими воображал глаза, только зелеными, а у этой фиолетовые)», — и это был первый глоток прекрасного, «чисто писательский, наблюдательный». Рассказал он и как со вкусом ел на пароходе арбуз: «...что-то есть сладкое и необычайное, что на Севере, в холодном море под северным сиянием ты еще ешь арбуз и бросаешь корки за борт. Дул сильный ветер, выдувал из глаз у меня слезы, слезы текли по щекам, попадали на арбуз, арбуз тек по подбородку и холодил, а я все равно ел. Блаженство!» А еще — как с тяжелым сердцем пошел уже в Нижней Золотице на погранзаставу: «Ты знаешь мою старую неприязнь и боязнь всяческих таких объектов, зон и т. п., т. е. тех мест, где тебя перестают рассматривать как человека и начинают глядеть на тебя как на объект, кот<орый> должен находиться под наблюдением... К счастью, капитан попался хороший, похвалил, что я приехал изучать жизнь поморов... и даже предложил вымыться в бане... Ура! Отлегло немного от сердца...»

Такая вот прелюдия.

А начиная дневник, Казаков записал 7 сентября: «Вчера и сегодня в море шторм. Ходил вчера на море — на берегу мело песок, мутные волны и низкое осеннее небо — больше ничего. Ветер Ю-З. Не знаю, сколько баллов, сильный. Вечером усилился чрезвычайно, бил в стену комнаты, где я живу. Стекла звенели и трясся пол, стол, лампа мигала. Вечером за чаем старик-хозяин (Пахолов Василий Дмитриевич) рассказывал мне о промыслах на Мурмане. Был он там в 1923 г. Пришвин описывал подробно эти промыслы в „Колобке“ (1900), и вот за 23 года ничего не изменилось, все так же поморы выходили в море за 30 верст в шняке (иначе — ёла, норвежск.?) и выкидывали ярус до 10 верст длинной (на треску)... Приехал я ночью, — продолжал Казаков, — когда спустился в карбас, то не было волны, не швыряло, не валяло, а только так — как дышало глубоко — поднимало и опускало... Наверху над бортом горели желтые во тьме лампы, светились иллюминаторы, и то мы вздымались вверх к свету, то падали вниз, во тьму, и тогда стена борта казалась очень высокой. Наконец отошли на катере. Разыгралось северное сияние, я такого еще не видел. Что-то мистическое, страшное. От зенита во все стороны зеленоватые полосы, переходящие в брусничный, кровавый

свет; все это подергивалось зеленью с желтизной и голубишной — очень сложная гамма...»

На следующий день он ходил в лес: место «дикое совершенно, нет нашего обжитого пейзажа, нет полей, лугов»; договорился с хозяином о поездке на рыбацкую тоню.

9 сентября: «Сегодня был у меня хозяин и снова говорил, что ему следует пенсия, а вот не дают. И снова я перебирал с ним возможности получения пенсии. В то время, как он говорил, в голосе его, в лице, в глазах виделась мне скрытая ненависть к тому строю, кот<орый> вот не дает ему пенсии...» Первая деталь, аукнувшаяся потом в рассказе «Нестор и Кир». И еще одна: «Утром уехал на тоню напарник хозяина — придурковатый парень».

Тут же пометка — *к рассказу*, где по поводу героя задуманного рассказа сказано: «И он тотчас вспомнил мать свою, ее к нему любовь, всю ее жизнь в нем и себя самого такого быстрого, подвижного, с такими приступами беспричинной радости и живости, что даже не верилось, что он мог быть таким. И с ненавистью к себе он думал о том, как часто был груб с матерью, как не хотел слушать ее рассказы о детстве, о жизни своей, пока можно было слушать, как в молодой эгоистичности не мог понять и оценить того редкого чувства, той любви, которой постоянно не хватало ему в жизни потом. И тут же вспомнил он жену свою и всю жизнь с ней — с тех первых дней, когда он с ней познакомился. И опять упрекал себя в том, что недостаточно любил ее, так часто был не чуток с ней, раздражителен и холодно-насмешлив, и что если вглядеться, как другие живут и вообще в человека с его недостатками, пороками, то она-то была одной из тех редких женщин...»

Речь тут, судя по всему, о неосуществленном замысле «Птица Сирин». Этот замысел под напором свежих впечатлений постепенно отодвигался на задний план, и в дневнике уже формировался материал для нового рассказа, отдельные микроэпизоды и детали которого были, что называется, списаны с натуры. Так момент, зафиксированный в записи от 11 сентября («Вчера наконец выехали на тоню. Перед этим вечером был вскользь разговор о том, что хорошо бы взять на тоню водки...»), и далее сценка отъезда почти дословно были потом воспроизведены в «Несторе и Кире». И такие моменты все прибавлялись и прибавлялись.

Добравшись до тони, Казаков записал в тот же день: «Избушка, в которой я теперь живу, очень мала, закопчена и грязна. С тремя окнами на три стороны. Слим на каком-то тряпье, укрываемся одеялом, которое так тяжело, так грязно и сально, что на-

верное не меньше трех поколений рыбаков и зверобоев укрывалось им и оно впитало в себя их дух и пот».

Запись от 13 сентября — узловая в дневнике: «Не знаю, может ли долго жить здесь настоящий интеллигентный человек, а если будет жить, то не отупеет ли? И ссылка (раньше), как я ее понимаю, состояла именно в выключении сознательного человека (*homo sapiens*) из общественной жизни. Тут живут рыбаки, и все разговоры их вертятся вокруг того, запала вода или нет, побережник ветер или шалонник, „пригонила“ белуха семгу или нет. Свободное от ловли рыбы время проводится в приготовлении ухи, плетении сетей, во сне с пердежом и храпом. Кажется, самая здоровая и естественная жизнь? Кажется, вопль „интеллигентности“ является просто слюнтяйством. Однако, если принять во внимание современность и вообще все века борьбы за культуру, если вспомнить, что за 40 лет выпущено 1 млн. 400 тысяч названий книг, и посмотреть на рыбаков, у которых я живу и которые не прочитали ни одной книги, то становится грустно...»

14 сентября весь день гремел шторм, бешено дул ветер, море гудело — «к гулу его привыкаешь и скоро перестаешь замечать», — охоту пришлось отложить, настроение у рыбаков было плохое. «Очень скучно. Рыбаки плетут сети, — записывал Казаков... — Ветер усилился необычайно. Шторм 12 баллов. Трудно выйти на улицу. Провода уже стонут, не звенят, а визжат, все повышая тон, и неизвестно, где он оборвется, хватает за душу. Море в бинокль ужасно, даже на горизонте видны беспрестанно встающие горбы, и по-прежнему чист, но уже смугло-ал горизонт — неширокая полоса под синевато-коричневым в тучах небом. По этому смуглому, розовому поднимаются в страшной дали из-за горизонта лиловатые холодные пепельные облака, фантастически-грозных очертаний. Топим печку, сегодня буду спать на верхних нарах, под потолком».

16 сентября: «Рыбаки тосковали, тосковали, не выдержали и ушли пешком за 20 верст в деревню... я остался один в избушке, растопил сейчас печь, дрова трещат, греется чайник. О такой жизни я мечтал когда-то. Она и хороша, но не надолго... Я попил чаю. Когда стал доставать колбасу и чай из рюкзака, вдруг запахло прекрасно чем-то родным, милым, будто детством. Я очень хорошо помню этот запах — запах дороги, вещей, среди которых долго лежали конфеты, чай; будто утренним кофе пахнет, бабкой моей, когда она приезжала, всегда с ней, от рук ее, из чемодана был такой милый запах...»

При сильном шторме пароходы в Нижней Золотице не приставали, и у Казакова возникла отчаянная мысль идти пешком до Архангельска. «Мне и хочется пойти: эти 190 км пешком мне много бы дали, — записывал он. — Мне и хочется идти и страшно. Не горы меня пугают и не расстояние, а то чувство великого одиночества, забытости, которые я уж раз испытал осенью 56 года. Боже мой, как тосковал я, когда шел пешком от тони Кашина до Яреньги, когда ехал верхом от Лопшеньги до Летнего Наволока, когда снова шел от Наволока до Кеги и потом 15 верст по острову Анзер (Соловки). Какая пустыня, какое одиночество и какая тоска. Неужели и сейчас снова придется испытать все это?.. Неделя пути, разве это не страшно? Нет, конечно, но неделя одному, когда знаешь, что никого, никого нет вокруг, когда одинокое тоже солнце садится в море, когда перед тобой только камни, только мох, кривые елки, кресты черные, это ах как нехорошо, будто весь мир вымер и ты остался один. Или пойти и выпить всю тоску этого пути до дна? Зачем я заехал сюда?»

Это был вопрос вопросов, и не так важен был скорый ответ на него, сколько — путь к ответу, желание начистоту объясниться с судьбой.

18 сентября: «Вчера ночью было душно на полатах, я долго не мог заснуть, поневоле стал думать о себе в настоящем смысле, и мне стало грустно, тяжело и безвыходно. Обычно я перед сном думаю о себе в некотором экстравагантном роде, будто, скажем, я бог знает какой гений, живу один (у меня была несчастная любовь, еще не прошедшая совсем) на берегу Белого моря, ловлю рыбу и пишу вещи вроде „Старика и море“ Хемингуэя и пр., и пр. Тут же впервые я серьезно задумался о своей жизни, т. е. жизни этого года и будущей в новом свете, т. к. думаю о себе постоянно, конечно. Так что же я и для чего живу? Будто рок какой-то тяготеет надо мной, да и не то: рок — слишком пышно, слишком романтично. Тут другое, именно, что у меня нет цели. Вся моя поездка бесцельна и не нужна никому и прежде всего мне; то, что я вижу здесь, узнаю, я все уже знаю и видел, нового ничего: те препятствия и преодоления, которые я перед собой возвожу, как например, идти пешком в Архангельск, мне не нужны, опять-таки пусты... Пришвин, отправляясь в свой путь, восходя на Голгофу (в дух<овном> смысле), имел перед собой цель, идеал, что ли, словом, сумму определенных философских и эстетических взглядов, которые ему надо было разрешить и, видимо, только здесь. Он жил в эпоху другую совсем, в эпоху переходную, тревожную, когда одни шли в ре-

волюцию, другие искали бога, Пана, слияния с нечто, символов, видели смысл жизни в мистических откровениях. Пришвин бежал из города, от общества, это болезнь его, это молитва его, и он здесь многое понял. У меня лично этого нет. М. б., кое-кто и видит во мне кого-то, окружает меня каким-то ореолом, но я этого ничего не знаю и не чувствую, я знаю одно: „мне скучно, бес!“ Я еду сюда... даже не в народ, т. к. к этому народу, т. е. северному, я ничего не чувствую, кроме некоторого экзотического любопытства: поморы чужды мне, тогда как смоленские мужики не чужды, там свое, т. е. мне. Зачем же я здесь?.. Искренно говорю, что выходит у меня книжка в Москве или нет, не важно для меня, искренно говорю, что все литературное мне чуждо: надежды, споры, движения, симпатии и антипатии, соцреализм и проч. Мне надоело, и я не вижу смысла жизни своей в литературе...»

«Все литературное» казалось Казакову чуждым, когда, думая о себе «в настоящем смысле», он вдруг терял почву под ногами. Он не мог, не хотел, больше всего опасался лукавить перед реальной жизнью в угоду литературным соблазнам. Суетные эти соблазны, в том числе какая-то известность, были ничто в сравнении с предначертанной свыше жизненной целью, смысла которой Казаков так мучительно добивался. Ясно для него было одно — лучше вовсе отказаться от «жизни своей в литературе», чем хоть капелючку сфальшивить перед собой и отвернуться от, пусть и не понятой до конца, пугающей, но настоящей, драматической и противоречивой жизни поморов, которая при всем при том притягивала Казакова как магнитом.

Казаков сравнивал в дневнике ту жизнь поморов, какую наблюдал Пришвин, — и нынешнюю, советскую, и приходил к неутешительному выводу: «Что застал здесь Пришвин — уже смерть, уже умирание, оваянное дымкой поэзии старых традиций, старых патриархальных отношений. Еще была жизнь в смысле творческом, т. к. каждый был предоставлен себе и должен был что-то делать (и часто не совсем заурядное), чтобы жить богато и счастливо. Была еще предприимчивость, была поэзия выгодного, иногда опасного труда. Сейчас не то совсем, а все хуже. Не знаю, вряд ли я ошибусь, если скажу, что в творческом отношении теперешний северный народ, теперешние поморы — мертвы. Дело в том, что каждый в отдельности лишен перспектив обогащения чрезвычайного, а поэтому во всем проглядывает некоторая лень, летаргия».

Вопреки всем своим очевидным сомнениям Казаков вглядывался и вглядывался в окружающую его поморскую повседнев-

ность, накапливая и накапливая все новые и новые впечатления. «Был сегодня у старухи (80 лет), старой девы, — записывал он 20 сентября, — святой души, которая вдоволь почитала священных книг, вдоволь их потолковала, которая толкует их и сейчас и предсказывает скорый конец света. Земля будет сожжена на десять локтей. Города разрушатся, и в них останется по 10 человек, а в деревнях по 2 — люди станут искать друг друга, чтобы, соединясь, вместе начинать новую жизнь. Старуха эта Пелагея Тимофеевна (Она тоже появится в рассказе «Нестор и Кир». — *И. К.*) горько плакала о том, что разорили все, церкви поломали, что справных поморов раскулачили — вот уж тридцать лет прошло со времени „раскулачки“, как она выражается, а она все помнит и все тужит о той прежней живой жизни... Старуха не видит уже 17 лет — у нее бельма, и зрачки рассосались. С удивлением она говорит: „Во снах все вижу, людей вижу, улицы, иконы, как в церкви служат, и море часто вижу, а встану — и прошшай все, а так во снах все вижу...“ А погода все не устанавливается, доры все не выходят в море, и я не могу выбраться отсюда, и скучно, скучно... М. б., завтра? Хорошо бы! Зачем, зачем я здесь?»

Когда дора в очередной раз проследовала мимо, Казаков все же решил идти пешком в Архангельск. «Вчера ничего не писал, — отметил он в дневнике 22 сентября, — не мог, ужасный, ужасный путь». Вчера он с полной выкладкой (джемпер, куртка, плащ, зимняя шапка, рюкзак килограммов двадцать, ружье, удочки), весь взмокший, пришел часа через три на чью-то тоню, немедленно разделся, развесил все сушиться, снял сапоги (ноги были разбиты до мозолей), тут же задремал, а через час собрался снова, чтобы за день пройти как можно дальше. Подвернулись ему попутчики — пограничники, направлявшиеся на Зимогорский маяк. Он за ними едва поспевал, «ноги горели», поклажа казалась невероятно тяжелой: когда потянулся каменистый берег, он повалился отдохнуть, пограничники не остановились, и началась «великая мука»: «Идти нужно было камнями 4 км. Камни попадались крупные и величиной с кулак. Ноги подвертывались, дрожали, я брел из последних сил, оступался, ругался. 4 км я шел два часа. Цель моя была тоня Травнова. Я пришел туда, когда начало темнеть». За весь день он проделал 27 километров.

23 сентября ранним утром он снова поднялся в путь: «Опять я шел по камням на разбитых ногах, страдал и думал все, зачем я принимаю эти муки». Восьмикилометровый отрезок от тони Травнова до Зимогорского маяка прошел за пять часов и «хорошо

устроился у начальника маяка»: «Какое наслаждение выпить чаю крепкого из самовара, снять сапоги, расправить плечи! Дальше горами идти невозможно: четыре глубоководных ущелья, через которые надо перебираться. Значит, опять берегом и опять камнями, Господи!»

25 сентября: «Вчера я прошел 21 км, дошел до тони Терецкой». Здесь подвернулась попутная дора и «глупо было не поехать на ней».

А 27 сентября, уже в Архангельске, Казаков записывал в дневнике: «Опять я в той же гостинице, что и месяц назад, но уж другим полно сердце — на юг, на юг — лениться, загорать, думать. Сегодня ходил за билетами, на почту и все спешил, волновался почему-то, разглядывая город, но уже не жадно, как тогда в 56 г., а мельком, рассеянно. Денег у меня осталось 70 руб., но все-таки кое-что покупал и не удержался, купил гравюры „Пушкинские места“. И, конечно, Петербург, Царское Село, и тотчас заньло, заболело сердце, снова вспомнил Л<енингра>д, прошлогоднюю жизнь и сумасшествие свое, любовь свою, веру во что-то, сладкую муку. Что со мной, что со мной? И что было тогда — будто и не жил совсем, а горел все время, таял, изнемогал от счастья. И теперь опять эти дали невские, эти перспективы проспектов, решетки каналов, Летнего сада, силуэты мостов — разве не будет у меня этого больше, не заплачу я, что ли, не стеснится сердце?»

26 сентября в письме Т. Жирмунской Казаков признался: «Поездка моя оказалась совсем не тем, что я воображал себе. Т. е. к ужасу своему я понял, что или я прав, а весь мир не прав, или я не прав, или я совсем не туда забрался. Если все писать так, как я чувствовал здесь, то это гроб, а по-другому писать, т. е. не то, а как надо, — тоже гроб. Я, м. б., покажу тебе дневник, я от скуки плел чего-то, ты увидишь, что я совсем зарыпался и того, что мне нужно бы, я не увидел, проглядел, что ли, а всякие ощущения — это все эфемерно и, м. б., неверно...» Тем не менее беломорский дневник 1958 года — документ красноречивый.

Казаков с юных лет отличался тем, что, исповедуясь перед собой, стремясь к душевному самоочищению, сурово взнудывал себя в поисках жизненной цели. Недаром он так почитал Льва Толстого — не только за великие книги, но и за бесстрашие в попытках угадать тайну собственной судьбы. Вот и в дневнике 1958 года он продолжал, как мы могли убедиться, «думать о себе в настоящем смысле», повторяя раз за разом фразу: «Зачем я здесь?» Искренне сомневался в правильности своих рассуждений

в «экстравагантном роде», старался не думать «слишком пышно, слишком романтично» и наставлял себя: «потом еще надо к этому вернуться и пересмотреть». За поддержкой он опять обращался к пришвинскому «Колобку», полагал, что Пришвин, — как уже говорилось, — «восходя на Голгофу (в духовном смысле)», имел перед собой «идеал, что ли, словом, сумму определенных философских и эстетических взглядов», себя же Казаков казнил за отсутствие таковых.

И все-таки он, по-моему, уже подбирался к истинной причине недовольства собой. Ведь процесс духовного становления неостановим, и поиски цели — уже сами по себе цель. Это не только творческие поиски, поиски себя в литературе, это поиски смысла человеческой жизни, «святой, неизъяснимой цели» (Лермонтов). Так что, как бы Казаков ни укорял себя, цель у него была, хотя и таилась пока как бы вне его сознания. Казаков ценой горьких самообличений прокладывал путь к собственной духовной Голгофе и приближался к постижению подспудных причин своего душевного беспокойства.

Одну из этих причин он в беломорском дневнике, как помним, определил так: «Мне скучно, бес!» Пушкинский же Мефистофель отвечал на это:

Что делать, Фауст?
 Таков вам положен предел,
 Его ж никто не преступает,
 Вся тварь разумная скучает;
 Иной от лени, тот от дел;
 Кто верит, кто утратил веру;
 Тот насладиться не успел,
 Тот насладился через меру,
 И всяк зевает, да живет —
 И всех вас гроб, зевая ждет...
 Зевай и ты.

И дальше Мефистофель объяснял, что скука — «отдохновение души», а «размышление — скуки семя», что скука таит в себе греховные соблазны, а пресыщение достигнутым снова рождает скуку. «Ты с жизни взял возможну дань, // А был ли счастлив?» — спрашивает Мефистофель, и Фауст отвечает: «Не растравляй мне язвы тайной. // В глубоком знаньи жизни нет...»

Скука для мыслящего человека болезненно неизбывна — подобно поиску жизненной цели. В скуке проявляется еще и грехов-

ная, изначальная двойственность человеческой природы, борение в человеке добра и зла, «небесного» и «земного». Мировая скука равноценна мировой скорби. Но она имеет и другие измерения, мотивированные исторически и индивидуально.

Следует согласиться с Л. Аннинским, когда он пишет (2008): «Слово, ключевое для психологического состояния, на которое откликается Казаков, — „скука“. Многозначное слово, куда более многозначное, чем была бы в этой ситуации „тоска“. „Скука“ — это и пустота зимнего деревенского неделания, и выматывающий беспросвет страдной работы, и бобылье одиночество, и озверелость многолюдья. „Скука“ связана не с той или иной ситуацией, а все с тем же общим строем бытия. С этим сырым воздухом. С солнцем, которое светит холодным, белым, плоским светом. С туманом. С пылью, которая поднимается от дорог, когда они высыхают...»

Тягостное ощущение скуки, навязчивое в беломорском дневнике 1958 года, продиктовано и одиночеством автора дневника, и диким пейзажем морского побережья, и летаргической атмосферой поморской жизни, какой она виделась Казакову. Рассуждая о том, что все, что он тут наблюдает, ему уже известно и заведомо не нужно, что к северному народу он ничего не испытывает, «кроме некоторого экзотического любопытства», Казаков, тем не менее, нечто весьма важное для своего контакта с поморами схватывал. В этот приезд на Белое море он многое понял иначе, глубже, чем в первый раз, отмерив своему знанию другую меру личного страдания, и понял не только то, что касалось Севера, — но всей России.

Да, путевой дневник 1958 года полон сомнений в истинной привязанности писателя к Северу, и тем знаменательней, что в дальнейшем Русский Север притягивал Казакова все сильнее и сильнее. Если перенести на карту его многоверстные маршруты, они протянутся по Кольскому полуострову и Карелии, по Маринской системе и Северной Двине, вдоль побережья Ледовитого океана через Белое, Баренцево, Карское и море Лаптевых, заметными ориентирами в этих маршрутах станут Архангельск, Мурманск, Нарьян-Мар, Амдерма, Мезень, Соловки...

Зов Севера подтолкнул Казакова, закоренелого рассказчика, к новой и, как выяснилось, необходимой ему художественной форме — он принялся за «Северный дневник», которому суждено было занять в казаковской прозе особое место.

Глава 5

ТИХИЕ ГЕРОИ

Страницы «Северного дневника» накапливались постепенно, складываясь в самостоятельные очерки-главы. Между ними не обязательна прямая сюжетная связь; форма дневника, предполагающая последовательную авторскую исповедь, цементирует эти очерки в цельную книгу. Было бы опрометчиво рассматривать «Северный дневник» лишь как сборник очерков разных лет, объединенных тематически. Дневниковая функция в этом оригинальном произведении первостепенна, подчеркнута лирическая интонация очевидна. «Северный дневник», помимо всего прочего, может служить и своеобразным подтверждением внутренней эволюции автора за более чем десятилетний срок.

В самом начале 1960-х годов, когда Казаков затеял «Северный дневник», лирическая проза претендовала едва ли не на ведущую роль в литературном процессе. Лирическая и путевая проза часто смыкались друг с другом, соседствовали с прочими жанрами, путевой очерк или путевая поэма решали сходные задачи, поскольку они являлись, как заметил И. Золотусский, «зримым ответом на жажду передвижений, перемещений, перемены мест, которая вспыхнула в начале десятилетия».

Нужно сказать, что жажда эта дала о себе знать еще раньше, уже в середине 1950-х годов, когда вдруг пронесся повсеместно свежий ветер общественного обновления, когда — за далью даль — стали раздвигаться привычные горизонты и сделались доступными и достигаемыми самые заброшенные, затерянные в глуши уголки.

Эта жажда тревожила и понуждала к активному действию тогдашних молодых писателей.

Казаков эту жажду объяснял так: «В ту пору начали возводиться стройки. Братская ГЭС, поднимали целину. Туда и поехали все мои друзья. Великие стройки были действительно веянием времени. И еще одна причина: тогда был в большом почете среди нас Хемингуэй, который, как известно, часто писал от первого лица: он

и путешественник, и охотник, и рыбак, и корреспондент. „Географически“ богатая личность. И этот хемингуэевский настрой („за-раза“ — слово грубое) дал *тонус* многим нашим писателям, находившимся под его влиянием, и вообще много хорошего. Страна-то у нас вон какая огромная: тут тебе и экзотика, и социалистическое строительство, — и все побежали: чем дальше, тем лучше. Вот и я побежал...»

Сверстники Казакова изъездили, исходили пешком всю страну. Странствия принесли им бесценный жизненный опыт, определили характер их героев и структуру их книг. Об этом хорошо говорила М. Ганина: «Сюжетов я никогда не придумывала, да и не искала, материал группируется вокруг «движения». Движения душевного состояния героя либо даже просто физического движения: многие из моих героев едут или идут, возможно, потому, что я сама все время ежду...»

И не менее симптоматично другое: отправляясь в путь, отдавая себя дороге, сверстники Казакова стремились на свой страх и риск, без чьей-либо подсказки выстраивать свои писательские биографии.

Среди друзей Казакова — тех, кто «побежал» в дальние края одновременно с ним, — хочется вспомнить Глеба Горышина. Подобно Казакову, еще студентом — он учился в Ленинградском университете на отделении журналистики — Горышин пристрастился к охоте, и путь к писательству у него тоже начинался на лесной тропе. Бросая взгляд на те годы, Горышин позже писал, что ему во что бы то ни стало хотелось утвердиться тогда в «каком-нибудь деле, пока что в охотничьем». «Главное дело, то, чему я решусь, готов решиться отдать мою жизнь, — признавался Горышин, — пока что еще не ясно, но я уже знаю: оно ждет меня. Чтобы взяться за дело, нужно сначала уехать, а после идти по лесной дороге, идти до тех пор, пока хватит сил в ногах. Вот тогда и начнется дело...»

В 1954 году, после университета, Горышин отправился на Алтай, на целину. «Это был мой первый самостоятельный шаг, первый кирпич в собственноручной кладке судьбы-биографии, — с удовлетворением говорил он много лет спустя. — Слава богу, что я его совершил, первый шаг определил весь дальнейший путь». Горышин вербовался потом в изыскательские партии сезонным рабочим, прорубал «судовые хода» в зоне затопления Братского моря, побывал с геологами в Восточных Саянах и на Кольском полуострове, полюбил Дальний Восток, жилав месяцами на Сахалине и в Приморье, добирался до Камчатки и Командорских островов...

Не сразу сфокусированная, но ставшая стратегической, цель странствий определилась: Горышин искал, в меру сил обследовал и сердцем постигал родные пространства. Точнее — такие пространства, которые могут и должны стать родными. Живя в огромной многонациональной стране, он обживал ее для себя, поражаясь ее гигантским размерам и мощи, ее таким непохожим людям — на севере и на юге, — ее сказочно разноликой природе. Родная страна в сложном переплетении географических связей представляла перед Горышиным не только в своей красе и славе, но, случалось, выглядела дико и нелепо, загадочно и пугающе. И все же любые, даже забытые Богом края, обещали стать родными.

Для писателя чувство своей страны, своей земли — как талант: он либо есть, либо его нет. Это чувство дается от рождения, и никакие умственные потуги, никакие спекуляции здесь не помогают. Можно жить в вологодской или воронежской деревне — и этого чувства не ведать. А можно жить в столице — да хоть и в Париже! — и этим чувством спастись. И когда много лет спустя родное пространство, державшее Горышина на плаву, волею судьбы едва ли не в одночасье, стало рассыпаться, рушиться, с очевидностью демонстрируя иллюзию государственного единства, ему стало нечем дышать, и жизненная драма (в силу разных причин, но эта, может быть, главная) завершилась катастрофой.

Познакомившись с Горышиным в 1957 году, Казаков быстро почувствовал в нем близкого по духу человека. В «Литературной газете» он опубликовал рецензию на первую книгу Горышина «Хлеб и соль», где в значительной степени выразил собственное кредо. Казаков обращал внимание на то, что название книги символично: что, как ни многообразна наша действительность, «хлеб и соль все равно первородны»; что в рассказах Горышина присутствует настоящая жизнь: там «приходит и уходит любовь, льют дожди, текут реки, гонят по рекам плоты, валят лес и сажают яблони», — все это подлинно, созидательно, а горышенский рассказчик, при внешней затрапезности, остается в душе мечтателем.

«Почти все рассказы Горышина, — замечал Казаков, — о Сибири. Горышин пишет о том, что знает не из вторых рук, о тех местах, где сам был, о тех людях, с которыми сам ел хлеб и соль. Он пишет свои рассказы, наполняя их внутренним восторгом перед героями не потому, что писать рассказы о Сибири — модно, а потому, что Сибирь томительно взяла его за сердце». Над рассказами Горышина, признавался Казаков, хочется думать, перечиты-

вать их — это первый признак таланта, — а перечитав, хочется самому сделать что-нибудь настоящее. «Есть книги, — заключал он свою рецензию, — судьба которых — срывать людей с места и бросать их в далекое. Есть книги, прочитав которые, люди едут на Белое море или на Камчатку, или становятся моряками или охотниками... Авторы таких книг представляются мне людьми щедрыми на красоту и добро. Они проходят, подарив вас улыбкой, поманив вас куда-то, так что сожмется от глухого волнения сердце».

Такая человеческая щедрость отличала и самого Казакова. Приверженность к странствиям ради единственного дела в жизни — ради писательства — близка им обоим.

Надо сказать, что и духовных наставников Горышин и Казаков выбирали и называли одних и тех же: и Пришвина, и первым — Льва Толстого.

«Уезжая из города, юным, в весенний вечер, я переживал примерно те самые чувства, какие описаны Львом Толстым в „Казаках“, — рассказывал Горышин. — Помните, что чувствовал, думал юный Оленин, уезжая в ночь из Москвы?.. „Он раздумывал над тем, куда положить всю силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке... не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет и как ему кажется, и из всего мира все, что ему хочется...“»

Этот неповторяющийся молодой порыв и привел Казакова на Белое море, а Горышина на Алтай.

И еще объединяла их, конечно, любовь к Хемингуэю, о котором оба отзывались восторженно и с которым оба распрощались на определенном этапе своей биографии — как с мечтой молодости.

Чем привлекал их Хемингуэй?

Казаков на это отвечал: «Не так уж часто случается, когда писатель, даже гениальный, бывает во всем подобен лучшим своим героям. Хемингуэй был как раз таким писателем. Это был крепкий, мужественный человек — солдат и охотник, боксер и рыбак... Его рассказы, романы и пьесы написаны в принципиально новом стиле — стиле двадцатого века. Он жил и писал в мире, потрясаемом катаклизмами, в мире, где человек одинок и несчастлив. И потому многие романы и рассказы его наполнены такой едкой горечью, а герои его — настоящие люди, жаждущие счастья для себя и других, — так часто умирают. Произведения Хемингуэя полны большой правды о человеке и веры в него, несмотря ни на что...»

Горышин тоже подчеркивал, что писатели его поколения тянулись в юности к Хемингуэю в поисках мужественности, самостоятельности, в поисках того героя, который, воюя за свое и общее счастье людей, деятельно протестовал против фашизма и войны. И хотя позже, приобретя житейский и гражданский опыт, они, по словам Горышина, израсходовали былые восторги по поводу его хорошей спортивной формы, меткой стрельбы, лапидарности в выражении чувств и большой выносливости у стойки бара, хотя охота стала у них потом не в чести, — Хемингуэй все же научил их «массе полезных вещей» и оставил заметный след в их духовной биографии.

Того же мнения о Хемингуэе придерживался и В. Конецкий, общий друг Казакова и Горышина. «Хемингуэй был честным перед самим собой, — писал Конецкий в книге «Соленый лед». — Он не боялся плохого в себе, потому что всегда боролся против плохого в себе. И если он чего-нибудь не понимал, то спокойно говорил об этом... Его герои часто одиноки, хотя он и сказал, что человек не может один. Наверное, это оттого, что сам он всю жизнь сражался один. А сам он есть в любом его герое».

И Казакова, и Горышина, и Конецкого Хемингуэй учил преодолевать одиночество, честно относиться к своей профессии и верить в человека, несмотря ни на что...

Что же касается Конецкого, то Казаков в молодости его искренне любил, уважал в нем «бродягу» и «морского волка», и о «Соленом льде» отзывался с большой похвалой.

Конецкий, по словам Горышина, «обладал тем, о чем Казаков лишь мечтал: всецелым знанием плывущего в море судна, способностью написать — в лирическом ключе — жизнедеятельность рабочего корабля как живого организма, ощущая себя его частью, с капитанского мостика. Это Казаков ценил в Конецком выше всего, любовался своим другом-капитаном, ставил его в пример пишущим как образец-эталон слиянности мужской моряцкой судьбы и таланта».

В отличие от Казакова и Горышина, у Конецкого странствия были профессией. Окончив военно-морское училище, он в 1953 году попал на Северный флот, служил на судах-спасателях, а затем, глядя на море с капитанского мостика, исколесил весь свет, вплоть до Антарктиды. Герои «Соленого льда», и сам автор-рассказчик, путешествовали не столько в силу призвания, сколько в силу житейских обстоятельств. Тяжесть морской профессии всегда ощущалась в повестях и рассказах Конецкого, и он часто

справедливо сердился на читателей и критиков, говоря: «Если писатель в море работает всю свою жизнь, они все равно считают, что он там путешествует...»

Море предъявило Конечкому-писателю свой категорический счет, не оставляя лазеек для компромиссов. Оно не терпело словесной фальши, пусть и непреднамеренной. Море требовало от него беспощадной искренности и предостерегало от душевной расслабленности и всякой там «романтики». Писать о море оказалось ничуть не легче, чем в море работать.

Виктор Конецкий был человеком волевым. Разумеется, случались и у него минуты слабости, растерянности, страха, случались нередко — он сам многократно жаловался, какой мрак и тоска временами нападают на него, как тяжело бывает одолевать себя — и все-таки, если (по присловью его героя) «взвесить на весах духа» все победы и потери, удачи и огорчения, доминантным обозначится именно это его качество — воля. Самоконтроль и воля не изменяли ему в самых критических ситуациях, он умел делать выбор, принимать решения и выполнять их. Умел приказывать и своей волей подавлять других.

Когда в 2002 году Виктор Конецкий скончался, его хоронили военные моряки на старинном Смоленском кладбище. С офицерскими почестями. Адмиралы произносили речи, гремели ружейные залпы, согласно официальному ритуалу звучал обветшавший советский гимн...

Но вернемся к «Северному дневнику».

В сентябре 1960 года Казаков сообщал Конечкому: «Был я на севере, очень славно съездил, и теперь с натугой ворошусь в своих записках и пишу ни более ни менее как путевые очерки и ни более ни менее как листа на четыре. Не все тебе писать свои пухлые рассказы, надо и другим... Вообще, кэп, славно жить на этом свете, хоть и сидишь ты сейчас, как обычно, без денег. Все-таки славно чувствовать в себе какие-то силенки, видеть мир Божий, обливаться слезами и сопеть носом от обилия в нем хорошего, настоящего...»

Работал Казаков упорно, не давая себе роздыху, и через два с половиной месяца, в ноябре того же года вновь писал Конечкому: «Был я в Поленове недели две, но потом муторно мне стало от обилия отдыхающих и смылся я в маленькую деревеньку, и там тыпал и тыпал проклятый свой северный очерк и никак не мог его постичь, наконец постиг, и вышло у меня четыре с чем-то листа — местами ничего, а местами так себе. Устал я от всего этого и зака-

ялся впредь связываться с чем бы то ни было, кроме рассказов, милых моих, драгоценных и блистательных рассказов...»

Весной 1961 года «Северный дневник» — в рукописи он назывался: «Тихие герои. Северные путевые заметки» — был опубликован журналом «Знамя», и Казаков вряд ли предполагал, что этот «проклятый» очерк откроет собою книгу, которая окончательно сложится и выйдет отдельным изданием лишь в 1973 году.

Сюжет очерка «Северный дневник» ограничен летней поездкой 1960 года — из Архангельска до Мезени на пароходе «Юшар», потом на сейнере «Белужье» в деревни на Зимнем берегу Белого моря. Вместе с тем повествование пропитано всякого рода воспоминаниями, перемежается эпизодами и впечатлениями прежних северных поездок автора; самые неожиданные ретроспекции прихотливо переплетаются здесь, и в результате «время проживания» в очерке приобретает куда больший объем, нежели хроника месячной поездки, а пристрастие Казакова к временной ассоциативности сразу же настойчиво заявляет о себе.

Когда затем стали появляться в периодике очередные очерки-главы дневника, написанные в разные годы и по разным поводам, цельность книги не нарушалась. Наоборот, каждая глава давала свой временной срез, свой сюжетный изгиб, открывала еще одну створку в казаковском повествовании и освещала это повествование еще с одной точки. Временная многослойность, своего рода стереоскопичность, как нельзя лучше отвечала фактуре свободного лирического излияния. Путешествие в пространстве приобретало оттенок путешествия во времени. Путевые мотивы, описания рейсов и маршрутов были полностью подчинены главной цели автора — постигнуть Русский Север как уникальный историко-культурный феномен, как выражение русской национальной стихии.

Каждая из глав дневника, написанных в промежутке между 1960 и 1972 годами, имела локальный путевой сюжет, вносила в дневник определенный эмоциональный акцент, а взятые вместе, главы эти, если рассматривать их последовательно, своим соседством создавали в книге еще и, так сказать, дополнительный художественный эффект.

Так, в главе «На Мурманской банке» (1961—1962) Казаков любовно рассказывал о тяжелой, рискованной работе рыбаков на промысловом судне РТ-116 — маленьком заводе среди океана — в гольфстримских водах и, восхищаясь этой работой, воображал вдруг «все пространство океана и земли», представлял себе, как в эту самую

минуту плывут в морях корабли, и каждый капитан, как сейчас на этом траулере, думает, что занят самым важным делом в мире. Писатель уносился мыслью на материк, туда, где начинается «протяженность железных дорог», где посвистывают паровозы, бегают чумазы смазчики, и каждый из этих смазчиков тоже убежден, что и без его труда никак не обойтись; потом переводил взгляд — по меридиану — в Западную Европу и Африку, где люди, в свою очередь, уверены, что и они «делают единственно важное и необходимое человечеству дело», — и видел, как медленно поворачивается в эту минуту Земля и «летит, наполненная титанической энергией, в пространство, которое каждую минуту ново». Он зримо ощущал эту всеобщность, всемирность человеческих усилий и труда, эту повсеместную причастность любого человека к судьбе планеты, эту значительность всякой минуты, и чувство Земли — когда «все двигается, шевелится, думает, действует, приливает и отливает, умирает и рождается» — смиряло в нем тревогу за ее будущее.

А в следующей главе — «Калевала» (1962) — движение, напротив, словно останавливалось, время замирало и природа настораживала человека своей утрюмостью, как и тысячу лет назад. «Щемлящее чувство пустынности, одиночества», так часто возникавшее у Казакова на Севере, тут как бы исключало даже намек на какую бы то ни было людскую солидарность, подавляло всякую надежду и радость. Но по ходу повествования выяснялось, что и здесь, в глуши Карелии, в краю древних рунопевцев, куда Казаков отправился, «как в сказку, как за Жар-Птицей», неистребима вера в людское единение, в созидательную силу духа. И здесь древность, отнюдь не молчащая, служила залогом незыблемости будущего. «Я думаю, — писал Казаков в заключении этой главы, — придет время, и... не станет дикости, пустынности, на берегах озер возникнут стеклянные дома — тут ведь особенно любят свет! — и побегут шелковистые розовые, и желтые, и голубые дороги, и среди лесов будут краснеть острые черепичные крыши ферм, отелей и городов, — тогда забудется многое, забудется бедность, приниженность избушек, бездорожье, одно не забудется — не забудется Калевала и великий дух Вьянемейнена, осеняющий эту прекрасную страну, и имена сказителей, несших этот дух сквозь столетия».

А главы «Отход» (1967) и «Белуха» (1963–1972), в свою очередь, стоящие рядом, относятся к тому моменту, когда Казаков (вместе с Е. Евтушенко) плывал в арктических льдах на промысловой шхуне «Моряна». Они посвящены одному рейсу, связующий их лейтмотив — охота, но сколь различны эти главы по настроению, по

авторскому самоощущению: от радостного предвкушения долгожданного плавания, азарта предстоящей охоты в первой из этих глав до душевной потерянности и скорби в финале второй.

Глава «Отход» открывается веселым, шумным пиром в архангельском ресторане, где экипаж и гости «Моряны» собрались перед отходом судна в море. «Отход, отход, дожил, счастливый день, мой день!» — ликует автор. И рваный, бестолковый разговор не может передать всего напора, душевного жара и братской слитности людей за этим столом, они без устали, в неудержимом запале «всё говорят, говорят в эти последние минуты, будто прорываются куда-то».

В разгар этого вдохновенного, хмельного разговора автор вдруг как бы отдалается от реальности и — наблюдая, как витийствует его «гениальный друг», поэт, в котором легко угадывается Е. Евтушенко, — вспоминает о другом поэте, отыскивая его «во Вселенной, не знаю где — в Сигулде, в Париже ли», и ясно, что другой — А. Вознесенский, а гон зайца, видением промелькнувший в главе «Отход», наверняка навеян его стихотворением «Охота на зайца» (1963), посвященным Казакову.

В тех трагических стихах А. Вознесенский тронул сокровенную казаковскую тему:

...Так кричат перелески голые
и немые досель кусты,
так нам смерть прорезает голос
неизведанной чистоты.

Той природе, молчально-чудной,
роща, озеро ли, бревно —
им позволено слушать, чувствовать,
только голоса не дано.

Так кричат в последний и в первый.
Это жизнь, удаляясь, пела,
вылетая, как из силка,
в небосклоны и облака...

Эта «нота жизни», этот «голос неизведанной чистоты» — звучит и в «Отходе».

А в следующей главе «Белуха» элегическое, еще памятное видение красивой заячьей охоты, осеняемой трубным звуком егерской валторны, — как в удельные времена! — контрастно сменяется охотой-убийством, охотой, когда стреляют «как на войне».

Есть что-то добиблейское в том, как описывает здесь Казаков самих белух, их «нездешность», их неподначальность людям: «А были они отвратительны и прекрасны. Головы у них были — как каска немецкого солдата. Такой же крутой купол, почти отвесно падающий вниз и переходящий затем в козырек-нос. Они казались первобытно-слепыми, как какой-нибудь бледный подземный червь, потому что глаза их были смещены назад и в стороны, а спереди — только этот мертвенный, ничего не выражающий, тупой лоб. Было в них еще что-то от тритона. Когда они по очереди и сразу выходили, выставляли, как говорят поморы, из воды дохнуть воздухом и опять погружались в зеленую пучину — вот тогда в их выгнутых острых хребтах в миг погружения чудилось мне что-то от саламандры, от тех земноводных, которые одни жили когда-то на земле, залитой водой. Но еще были они и прекрасны! С гладкой, как атлас, упругой кожей, стремительные, словно бы даже ленивые в своей мощи и быстроте...»

И само это описание, и реакция автора на совершаемое на его глазах — с его участием! — противоестественное, немилосердное действие, не оставляют сомнения в глубоком страдании писателя, снедаемого тоской и раскаянием, испытывающего чувство вины — и своей, и всего человеческого племени.

«В ужасной страсти своей к убийству, — признается Казаков, — выпросил и я у боцмана винтовку и все держал, с наслаждением ощущая ее тяжесть, забив предварительно в магазин маслянисто-желтые патроны с туповатыми черноголовыми пулями — дыру величиной с кулак в трепещущем теле делает такая пуля. Но, разглядев белух, я вдруг остыл и положил винтовку и стал молиться. Господи, думал я, отвернули бы они в море! Испортились бы наши моторы! И что стоит этим прекрасным существам, даже войдя в загон, перевалить через верхний ряд сетей, через поплавки, и уйти дальше, и продолжать свою непостижимую, неподвластную человеку жизнь!»

Связи между очерками-главами «Северного дневника», его внутренние смысловые рифмы разнообразны, не всегда заметны, переключка затрагиваемых здесь проблем порой неожиданна, но все это вполне органично для казаковского повествования, все это лишний раз подтверждает, что мы имеем дело с откорректированным замыслом, с единой книгой, а не просто сводом разрозненных путевых заметок, как это представлялось издателям некоторых посмертных казаковских сборников...

«„Северный дневник“, — говорил Казаков в 1973 году, — книга для меня несколько необычная. И потому, что писалась она больше десяти лет, и потому, что составляют ее очерки». География поездок на Север расширялась, из каждой поездки он «привозил один-два очерка, печатал где придется, пока вдруг не обнаружил, что, собранные вместе, очерки составляют картину северной жизни (разумеется, далеко не полную) за доброе десятилетие».

Казаков объяснял, что взялся за очерк неслучайно: «Жанр этот — весьма емкий и гибкий. То, что твой герой — живой, конкретный человек, а не собирательный образ, конечно, представляет для писателя определенные трудности, но в то же время здесь заключена и сила жанра. На Севере я иногда ловил с рыбаками рыбу, был на тюленьем промысле, при случае работал наравне со всеми, и люди становились мне ближе, будто и я родился на Севере. В то же время я со скрупулезностью исследователя (а вдруг пригодится будущему историку?) узнавал, и сколько стоит килограмм выловленной семги, и сколько зарабатывает рыбак за сезон, и многое-много другое».

Жанр очерка, с его «контактностью», позволял максимально сокращать дистанцию между автором и героями, на какой-то момент чувствовать радость от, пусть и мимолетного, но искреннего единения с окружающими людьми. «В каждой поездке, — признавался Казаков, — случались мгновения, когда я ощущал, что вот эта минута, этот день являются для меня как бы наградой за что-то. Я попадал в такую обстановку, где все было прекрасно: и море, и звуки, и запахи, и люди... И тогда я не видел необходимости в рассказе, в выдумывании героя — герой был рядом со мной, я мог любоваться им. У меня была иная задача: получше запомнить этот день и час, этого человека и мир вокруг него — море, тундру, белую ночь... Я не сочинял ничего. Я даже фамилии своим героям не придумывал, все они у меня живут под своими именами...»

Что же касается непосредственно очерка «Северный дневник», открывающего книгу, может показаться, что и он написан по первому впечатлению, едва ли не протокольно, с той цепкой профессиональной хваткой, когда автор, сосредоточившись, улавливает ухом и глазом и пускает в словесную переплавку у себя в путевом блокноте все, что так или иначе задевает его внимание, — и детали обстановки, и поразившие его воображение пейзажи, и повадки незнакомых дотоле людей, и меткие фразы и словечки, обретенные ими.

Момент первого знакомства — с каким-нибудь кораблем, деревней, человеком, даже неприметным озерком или заливчиком — для Казакова всегда дорог. Первое впечатление всегда томит его по-особому, сознание «великой важности всего, к чему прикоснулся», преследует неотступно. И вопрос к самому себе: а что же ты в этом мире, только ли соглядатай, только ли свидетель, или ты полноправный участник жизни? — этот вопрос для Казакова принципиален.

Вот и начальную главу «Северного дневника» он пишет в кубрике сейнера за липким и грязным столом, на котором стоит алюминевая миска с беломорской селедкой, горой лежит хлеб, сахар, стоят кружки с недопитым чаем, и рядом обедает задумчивый радист, и море за бортом напоминает о себе ударами волн по скулам сейнера... Неискушенный читатель может подумать, что автор на самом деле впервые на рыболовном сейнере, никогда не плавал по северным морям, вся эта обстановка ему внове — отсюда и его восторженное удивление и такая зоркость взгляда, фиксирующего всякую малую деталь едва ли не крупным планом.

Но это не так. В известном смысле это литературный прием. В главе «Калевала» Казаков вспоминает о своем действительно первом посещении Белого моря, когда он, проплыв ночью из Архангельска на пароходе, проснулся утром на пристани в Пертоминске и услышал неповторимый, навсегда смутивший его душу «запах моря, соленой рыбы, дерева, смолы, перегорелого угля», когда увидел, «какие тут же, возле парохода, покачивались карбасы, дорки, мотоботы, сколько везде было палуб, рубок, мачт и какой был к северу за горами, за выходом из Унской губы, глубокий морской простор!» «И все это, — вспоминал Казаков, — грянуло впервые на меня, ошеломило до озноба: вот и я здесь, вот и я сам вижу то, о чем только читал когда-то...»

Ощущение этого озноба, этот запах, прекрасней которого нет на свете: когда «как бы и не рыбой пахнет, а всем остальным, что связано с ней, — палубой сейнера, скажем, сетями, водорослями, морем, смелостью и силой рыбаков, уютом кубриков — мало ли чем!» — этот запах и это знобкое ощущение во всей своей свежести оживали в Казакове всякий раз, когда он потом попадал на Север.

Грубоватый, терпкий настой поморской жизни в «Северном дневнике» крепок, даже, может быть, слегка навязчив, но стоит прочесть несколько страниц, чтобы почувствовать многоголосье дневника и обнаружить в нем, помимо решительной интонации корреспондента, интонации совсем другие. Настороженную, меч-

тательную, поэтическую, — «как звук, все повышающийся до тончайшей бесконечности, как шепчущий голос: «О! О! Смотри! Смотри!» И еще интонацию грустную, лирическую, навеянную воспоминаниями. И еще — мужественную интонацию, подсказанную, подаренную самими героями повествования. Такое богатство интонаций неизмеримо поднимает «Северный дневник» над уровнем обычных путевых очерков и создает в нем тонкую полифонию пульсирующего подтекста.

Однако секрет «Северного дневника» не объяснить только богатством подтекста. Подтекст, о чем интересно писал в заметке, посвященной памяти Казакова, Андрей Битов в 1984 году, — не новость и не открытие, он всегда есть во всяком произведении, отмеченном печатью художественности, но за пределами текста «витают вещи и покрупнее подтекста: это не то, что — под, а то, что — над, надтекст», надтекст — «нечто, превышающее текст, из него никак не вычитаемое и не вычитываемое, но каким-то непонятным волнением с ним скрепленное: будто след, невидимая память о вдохновении писавшего». Вот это «непонятное волнение», эта «невидимая память о вдохновении» автора, это «таинственно уложенное в книгу высокое авторское чувство, каждый раз воскресающее в душе читающего», весьма показательны для «Северного дневника».

Куда бы ни обращал Казаков свой взгляд, у него было всепоглощающее желание: обрести то самое *родное пространство*, вжиться в мир, недоступный равнодушному заезжему горожанину, почувствовать себя «на месте этих людей и вместе с ними».

Герои и автор «Северного дневника» как бы сближались на встречном движении. Писатель стремился уловить в их жизни нечто самое существенное, а они демонстрировали откровенную готовность в его поиске ему способствовать. Неподдельная взаимозаинтересованность передавала в «Северном дневнике» атмосферу особого доверия и единения, нынче совершенно исчезнувшую, что в 2009 году с грустью подтверждал Алексей Варламов. «Интересно было бы сегодня пройти по местам им описанным, — рассуждал Варламов, мысленно следуя за Казаковым, — посмотреть, как живут Койда и Майда, узнать, построили ли дорогу от Мезени до Архангельска, что случилось с героями его дневника — кто из них жив, кто, когда и как умер и ведают ли их потомки о том, что их отцы, деды, бабушки, попали в большую литературу. Интересно было бы выяснить, не изменились ли из-за глобального потепления направления ветров и очертания берегов на Белом

море... сколько семги, зубатки и белухи нынче ловится и какую зарплату получают за свой труд моряки, рыбаки, пастухи, как живут они, работают... но даже если кто-то за такой замысел возьмется и казаковскими дорогами пройдет, второго „Северного дневника“ все равно не напишет. И не только потому, что для этого надо соединить в себе удивительный талант видения, внимания и любви к Божьему миру... Просто время таких книг прошло... никто не будет так хотеть, чтобы книга об их родной земле была написана, не будет ей и ее создателю бескорыстно, от чистого сердца помогать. Это воодушевление из нашей жизни ушло...»

Да, это воодушевление из нашей жизни исчезло. И ощущение того единства, к прискорбию, — тоже. Реальные же персонажи «Северного дневника» вместе с автором тяготели к друг другу, подвластные незримому душевному притяжению, подобно планетам. Казаков любил сравнивать людей с планетами и радовался, когда, за импровизированным столом либо у костра, они смотрелись — «как целый мир»!

Ощущение единства, изначально предначертанного родства каждого с каждым нарастало в «Северном дневнике» от главы к главе, снова и снова заявляя о себе в фактах, порой вроде бы мимолетных.

Даже если какая-нибудь встреча была минутной, она годами могла томить сердце. Всякий душевный разговор Казаков расценивал как подарок судьбы. В главе «Ночь на „Бере“» (1969), к примеру, вспоминал он «обидный час», когда на побережье моря Лаптевых не удалось ему познакомиться как следует с охотником-промысловиком: «Так и не поговорили, так и не узнал я, — сокрушался Казаков, — жизнь того человека, не породнился с ним». А в «Долгих криках» (1966–1972), едва столкнувшись на затерянном в лесах перевозе с его хозяином, признавался: «Хозяин говорил, говорил, проводник сильно греб, журчала под носом вода, иногда всплескивали весла, а нам дремалось, а нам казалось, приехали мы к родному человеку, и так много нужно ему сказать, и так много накопилось у него сказать нам...»

Между прочим, не только в России, но нередко и за границей, как вот в маленьком румынском городке Хумулешть Казаков, по его словам, «испытывал необъяснимое желание остаться» на денек другой в обычном крестьянском доме, который «не был ни дворцом, ни помещьем, в простом дворе с плетеной изгородью, с сараем, с колодцем», — и прибавлял: «Мне не присуще чувство предпочтения какой-то определенной страны или какого-то

народа. На меня производят равное впечатление все страны, в которых я бывал и чье небо хотя бы на несколько дней оказывало мне гостеприимство».

Но с особой пронзительностью мысль о людской солидарности звучит в главе «Северного дневника» «Какие же мы посторонние?» (1966).

Случайная встреча, всего на какой-то час, в заметенной снегом деревеньке с неизвестной женщиной, странно назойливой в своем гостеприимстве, имела трагическую подоплеку. И заведомая обида этой женщины на то, что ее неправильно поймут, и ее неловкая повелительность объяснились у нее в избе, за праздничным ужином — Восьмого марта, — когда хозяйка открылась гостям в своем несчастье. Зная, что тяжело больна, что у нее опухоль в мозгу, говорила она тем, кто сидел за столом: «Да я о себе не думаю, я вот о других думаю, как они тут будут без меня? Как на свете-то станет без меня, а? Ведь горе же будет, а?.. не тот без меня будет белый свет...» И, прощаясь, напутствовала гостей: «Ну, счастливо! А вы говорили — посторонние! Какие же мы друг другу посторонние? Все люди... Так и помните — все люди на земле...»

Жизнь поморов преподносила Казакову и такие непредсказуемые встречи — открывала ему новые и новые свои секреты, влекла к себе, обещала признать за своего. И чувство сродненности с этим краем крепло и крепло. «Бывают минуты, — писал он в „Северном дневнике“, — когда кажется, что живешь ты здесь веки вечные и впереди у тебя еще больше времени, и вовсе не нужно жадно пускаться в изучение, а, может быть, самое важное сейчас — просто посидеть и посмотреть».

Такое душевное состояние, такая потребность — просто посидеть и посмотреть — понятны. Медлительность Казакова, его неспешная задумчивая манера соответствовали ритму и ладу окружающей его жизни: неторопливо, надежно трудились здесь рыбаки, спокойно и несуетливо вели хозяйство женщины — сама природа диктовала им этот привычный ритм, и «всеобщая тишина», царившая в этом краю, никому не позволяла вести себя иначе.

Северная тишина Казакова поражала. Белая ночь «без теней, без звуков» была порой мучительна. Бремя загадочной тишины словно останавливало бег времени и тяготило душу. Казалось, тишина природы способна поглотить человека, лишит его воли, — чтобы представить это, достаточно было хоть раз увидеть, как в «совершенной тишине» горело в ночном небе северное сияние, превращаясь «в тысячи лучей, распухающих и утончающихся,

с невероятной скоростью передвигающихся по небу, образующих грозный нимб вокруг черного провала в зените». Северная тишина навевала космический ужас, но она же и успокаивала, когда в этой тишине можно было слышать «деревянную музыку Севера»; когда становились понятными «тихие слова и тихие улыбки» окружающих, «слова и улыбки о здешнем: о сенокосе, о комарах, о реке, о рыбе, о коровах»; когда можно было почувствовать, сколь значимо и естественно «тихое, малозаметное, но постоянное» присутствие человека на этой заповедной земле.

Недаром и коренной чертой поморского характера считал Казаков «тихое постоянное мужество», присущее не каким-то исключительным личностям, а доступное обыкновенным, ничем не замечательным жителям этого сурового края.

Вспоминая старуху-почтальоншу, что ходила по рыбацким тоням из Лопшеньги в Летний Наволок, ту самую, что послужила первотолчком к образу Маньки, Казаков говорил, что вот ее-то жизнь и есть достойный человека подвиг, о котором никто никогда не узнает: «Я воображал ее болезни. Ее старческую немощь. Я думал о том, как одиноко ей живется, как тяжело просыпаться ей по утрам, пройдя накануне несколько десятков километров. И еще я думал, что она никогда не жалуется, не плачет, не надоедает людям своими недомоганиями. И что она прожила большую жизнь, и, когда молодая была, наверное, работала наравне с мужиками, и, наверное, любила в свое время страстно, и детей вырастила... И что, конечно же, не только эти невнятные следы, которые каждый день смывают волны, останутся от нее в мире. Что она живет и делает все то, что должен делать человек на земле. И если жизнь ее шла своим тихим чередом, несмотря на все несчастья, если она все-таки продолжалась наперекор всему, то как же не восхититься этим человеческим мужеством, этим тихим постоянным мужеством, я бы сказал!»

После опубликования очерка «Северный дневник» критики спорили, почему автор с такой настойчивостью именуется своих северных героев «тихими».

«Пожалуй, само определение выбрано им неудачно, — считала В. Шитова, — но за ним стоят наблюдения правдивые и непредвзятые... определение приобретает вполне конкретный смысл: «тихие» — значит, скупые на громкие фразы, не склонные к размышлениям о собственной героичности, слишком для этого занятые делом и вообще не привыкшие думать о том, как они выглядят со стороны».

Разумеется, это верно, но суть дела вовсе не исчерпывается перечнем тех или иных качеств и добродетелей казаковских героев. Определение «тихие» выбрано писателем не только удачно — оно принципиально. Если заглянуть в словари русского языка, то слово «тихий» означает там: «смирный», «скромный», «кроткий», «спокойный». Даль, иллюстрируя это слово, приводит пословицу: «Добро не лихо: бродит о-мир тихо». Так что «тихий» соседствует с «добрым», «праведным». Называя своих героев «тихими», автор, думается, и это имел в виду.

Слово «тихий» скрывало в себе для Казакова некое коренное свойство поморского, вообще русского характера — под стать гордому смирению. О нем, может быть, первым заявил во всеуслышанье Карамзин, когда назвал «некоторые постоянные правила великодушия в действиях сего, часто легкомысленного народа». А таковыми правилами, по мнению великого историографа, были: «не превозноситься в успехах, изъявлять умеренность в счастье, твердость в бедствиях, давать пристанище изгнанникам, верно исполнять договоры...» Толстой же в «Севастопольских рассказах», как известно, в поисках разгадки поведения русского солдата в условиях непереносимых, поклонялся его, солдата, «молчаливому, бессознательному величию и твердости духа», его «стыдливости перед собственным достоинством».

Таким же чувством проникнут и казаковский «Северный дневник».

Если соглашаться с оценочно-рассудочным «здравым смыслом», если идти на поводу у искушенного в житейской хитрости обывателя, то напряженная, дисциплинирующая волю и закаляющая характер жизнь в северных широтах — с полярными ночами, со стужей и затерянностью человека в немереных ледяных пространствах, со смертельным риском на морских промыслах, — такая жизнь, такое «некомфортное» житье покажется кому-то неоправданной жертвой. Но житель поморских деревень в глубине души питает и к земле своих предков, и к отчужденному «любви без хитрости» — так он воспитан православным преданием и всем ходом отечественной истории.

Ярким примером того, как история обнаруживается в застарелом социальном конфликте, стал включенный в «Северный дневник» рассказ «Нестор и Кир» (1961), непосредственно восходящий своим замыслом, как мы уже знаем, к беломорскому путевому дневнику 1958 года.

Едва ли не в былинном ореоле рисовались Казакову герои этого рассказа. Нестор и Кир, отец и сын, — где встретишь такие старинные имена, как не на Севере? Где найдешь в сохранности такие реликтовые характеры во всей их мощи? Было в Несторе, кудрявом седоватом мужике лет под шестьдесят, что-то звероватое, могучее, проглядывала в нем властная цепкость, крестьянская жилистость и еще — скрытая скорбь. Под стать ему выглядел сын: молодой золотоволосый красавец, широкий в плечах, белозубый, синеглазый, но — дикий, дурачок... Картинная приятельность Нестора и Кира бросалась в глаза, но сразу же и настораживала.

Странное ощущение преследовало писателя перед тем, как он оказался в доме Нестора: мнилось ему, будто начал он путешествие в глубокую древность, чуть ли не к варягам; и позже, когда вспыхнул у них с Нестором спор и камнем преткновения в этом отчаянном споре стала ни больше ни меньше как сама история, запечатленная в судьбе Нестора, — это ощущение не пропало, определив эмоциональную доминанту всего рассказа.

Встрече писателя с Нестором и Киром в Кеге, где они жили, предшествует некая прелюдия. Рассказ начинается с того, что, задержавшись из-за пятидневного шторма где-то в поморской деревне, измучившись скукой и ожиданием погоды, писатель собирается в дорогу — до Кеги ему предстоит пройти пешком шестьдесят километров пустынным берегом, по скалистым ущельям. Сколь утомителен этот путь, мы можем судить по дневнику 1958 года и знаем, что не расстояние, не прибрежные горы пугают автора, а больше всего страшит его — одиночество. «Когда идешь и никого нет и ты одинок, — пишет Казаков, почти дословно повторяя текст дневника, — когда одинокое тоже солнце садится в море, когда перед тобой только камни, только мох, кривые елки, брошенные топи, черные покосившиеся кресты — это так нехорошо, будто весь мир вымер и ты остался один на земле».

К тому же перед дорогой наведывается он к восьмидесятилетней давно ослепшей старухе Пелагее Тимофеевне, — встреча с ней тоже перекочевала из дневника 1958 года. Старуха все еще безутешно горюет о разоренных церквях, о прежней жизни, о «справных поморах», которых извели в годы «раскулачки», и предсказывает скорый конец света. Зловещие, апокалипсические причитания старухи настраивают автора совсем уж на мрачный лад, его душу давит необъяснимый гнет какой-то затянувшейся, неизжитой катастрофы, какой-то всенародной, еще не смолкшей

трагедии, и тут-то и закрадывается к нему впечатление, будто очутился он в доисторическом прошлом.

Иллюзия путешествия в прошлое — далеко, за сто лет назад и еще дальше в древность — по дороге в Кегу усиливалась, а первоизданная красота вокруг, пурпурная, солнечная осень и холодное, безразличное к человеку море вызывали досаду. И вспоминалась писателю Ока, гостеприимные поленовский дом, свет лампы под фарфоровым колпаком, картины Коровина и Врубеля на стенах, — все это оставалось где-то недостижимо далеко, и проявлялась у него зависть к своим прежним счастливым дням, и так хотелось «не видеть этой угрюмой дикости».

Когда писатель добрался до Кеги, он был вымотан, измучен, его мозг отказывался вмещать и оценивать увиденное, и в таком полуотрешенном состоянии ощущение, что он провалился «в глубокую древность, пришел к варягам, к их морской жизни», окончательно укрепилось, а Москва, трехчасовой полет до Архангельска, гостиница, Двина, мачты пароходов, гудки, клубочки пара над буксирами — «этого всего будто никогда и не было».

Внешне нечто похожее испытывал, как помним, Саша Старобельский, сойдя ночью с поезда в Мятлеве. Но как несоизмеримы их духовные горизонты — инфантильного городского мечтателя из рассказа «Ни стуку, ни грюку» и страдающего автора в «Несторе и Кире»! К сожалению, даже сведущие исследователи склонны были не замечать между ними разницы. «Казаков, каким он был в те годы, — пишет Е. Ш. Галимова по поводу „Нестора и Кира“, — весь устремлен в будущее, в завтрашний день, именно с этим будущим, замороженный уверениями, что „нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме“, связывает он надежды на лучшее». С таким мнением никак нельзя согласиться. О юном городском мечтателе, может быть, и можно было так подумать, но об авторе беломорского дневника 1958 года — уж никак!

Зачин рассказа «Нестор и Кир» мрачен. И вместе с тем в том прорыве в древность, в том чувстве, когда писателю кажется, что он один на земле, есть нечто трагически возвышенное, нечто торжественное, — как и в ликующей осени, обступающей его в пути. Писатель отдает себе отчет в том, что пребывание человека на земле трагично, человек смертен, и, может быть, поэтому люди всегда были так равнодушны к земле, так предусмотрительны и упорны в своем стремлении обжить, обустроить, окультурить землю, — в этой их потребности таилась спасительная возможность противостоять трагедии и забвению, и как бы замысловато ни чередова-

лись ритмы истории, созидательное начало в человеке никогда не иссякало, никогда не переставал человек утверждать себя в роли деятеля и творца.

Но так ли невинны и безмятежны люди в этом понятном стремлении? История доказывает: до идиллии здесь далеко. В переплете социальных бурь человек, даже если он субъективно прав и честен, может стать жертвой исторического произвола, будучи не в силах противостоять яростным обстоятельствам. И все же его «личную правду» не так-то легко в нем погасить. Человека можно подавить, подчинить лозунгу, можно, казалось бы, парализовать в нем волю, но лишить его этой «личной правды» — пока он жив! — до конца нельзя.

Так случилось и с Нестором.

Что и говорить, он справный помор, дом его, сложенный из гладких, огромных бревен, просторен, светел, вымыт, выскоблен до блеска, красиво поставлен над морем. И хозяйство у Нестора ладное: есть у него и корова, и овцы, и семгой он промышляет, и еще добывает точильный камень, печуру. И одежда в семье у него прочна, добротна, чиста. Чувствуется во всем порядок, ум, сметка, терпеливая дотошность. И все Нестору в его доме и хозяйстве под силу, все доступно его умелым рукам. А как искусно ловят они с Киrom рыбу! «Как они работают! — восклицает писатель. — Как у них все ловко, разумно, скупое в движениях, какой глаз и точность!»

Вековое единоборство с природой приучило предков Нестора ценить в человеке силу, сноровку, приучило полагаться на проверенный столетиями опыт поколений. Нестор безоговорочно верил в этот опыт и, казалось, был идеальным олицетворением натурального, естественного человека, не искушенного в книжной премудрости, не рассуждающего понапрасну...

Однако несмотря на крепкий, стародавний уклад в доме, на врожденную трудовую хватку и неизменную удачу в рыбацком промысле, нельзя было не заметить застарелой настороженности Нестора, недоумения по поводу постигшей его исторической несправедливости. Сын же Нестора Кир от рождения пребывал за гранью рассудка и воплощал в себе «тупую идиотическую силу». Нечто одновременно «прекрасное и ужасное» виделось писателю и в Кире, с его красотой, удалью, здоровьем и юродством вместе, и в Несторе, у которого «руки были добры, тогда как мысли — злы».

Нестору не давала покоя ностальгия по безвозвратно канувшей жизни. Мысль о том, каким бы он мог стать хозяином, как развернулся бы на этой нетронутой земле, которая теперь «лежит

в забросе», сколько накопил бы он денег и «имушества», — эта мысль неотступно преследует его, и он твердо убежден в своей правоте, наблюдая порядки вокруг. Хотя — как человек здравый, немало перенесший на своем веку — не может он не понимать и того, что мечты его пришлись вразрез с наступившими временами.

Нестор, как говорится, испил свою чашу сполна и потому не мог забыть «раскулачки», когда у него «батю на Соловки забрали, очень он яростный был», его самого «в колхоз забрали», только в колхозе он и не работал вовсе, не в силах был спокойно смотреть, как «шваль полоротая», «горлопаны эти шуметь стали», мотался он по экспедициям — с геологами либо на гидрографическом судне... И страдания Нестора, душевная горечь его неизбывны, как и у слепой старухи в начале рассказа.

Никак не может Нестор смириться со своей обидой, с приставшим к нему социальным клеймом. «Вот ты хотел знать про меня, — обращается он к писателю, — вот я тебе скажу. Ты думаешь — кулак и все тут! Кулак — как бы не так! Нас вот с батей разорили, все побрали — ладно, хорошо... Хорошо! Теперь гляди с другой стороны, что получается. Деньги, какие у нас были, имушество, они что же — с неба нам упали? Али подарил кто? Или эти твои бедняки поднесли нам? Погоди, не нукай! Молчи, молчи! Мы тут раньше знаешь как жили! Мы со всем светом торговлю вели. У нас тут всяких ваших министров не было, а было так: захотел в Норвегию, дуй в Норвегию, захотел в Англию, дуй в Англию. Ты думаешь, я уж темный такой, да? А я, сказать тебе, в Норвегии два года жил до революции, делу обучался, так? Я все произошел, шхуны строил!..»

Обида за свою сломанную жизнь у Нестора не стихает еще и потому, что никак не может он принять как закон справедливости царящую повсюду уравниловку. «Ровного на земле отродясь не бывало, — рассуждает он. — Капитану один пай, на то он и капитан. Опять же владельцу судна. И опять же сколько у кого добычи. Я сто тюленей на зверобойке добыл, а ты пятьдесят — какое тут может быть равное?» Нестор в делах всегда был аккуратен и прижимист, каждая заработанная копейка знала у него счет, прятал он ее «в сундучок, на самое донышко» и никогда не понимал тех, кто не дорожил собственным трудом. Отсюда и гнев его на своего же соседа, такого же рыбака: «...он, к примеру, получит, может, поболее моего, так? Получит, закатится в кабак, да по бабам, по этим самым шлюхам-паскудам, а? Я о доме думаю, о хозяйстве, а он на пробку наступает, он глаза свои винищем наливает... Это

тебе как же?.. Лодырь, пьяница, таких в мешок да в воду, чтобы не смели на земле смердить, и он же после того беднота, а я кулак? А? Ему все свободы, а меня к ногтю... я мимо всего шел, нос отворачивал, об хозяйстве думал, деньгу берет. И все нажил, все у нас было, а этим гадам все задарма пришло, от нас взяли — им дали. А впрок это им пошло? Тут же все и развеяли, как дым...»

И в этом еще одна причина негодования Нестора — не пошло никому впрок отобранное у него добро! Дураки и лодыри пустили по ветру береженную им копейку. Был, скажем, у него сосед по уличному прозвищу Хнык: «Ах, зараза, ах, лодырь, я с батей на зверобойке, — вспоминал Нестор, — он дома, в карты играет, я в горах камень ломаю, он с Марфуткой нашей, со шлюхой, водку лакает, последний хомут продает. У нас добыча, у него только го-го-го да га-га-га! А потом, колхоз когда организовали, он, этот Хнык, больше всех на богатых насканивал — как же, беднота-а, язви его в душу! И кем же его сделали, ты думал? Завхозом он стал в колхозе. А как стал, так и совсем спился, все пропил, в Архангельск подался, там, наверное, начальником сделался...»

В злом и зорком взгляде Нестора есть нелицеприятная правда, никуда от нее не денешься. Он по-своему болеет за отечество, за общее дело, отлично знает, как нужно вести хозяйство в своих краях, и потому он вправе обрушиваться на «власти всякие», на те, что сверху «приказы шлют» и предписывают «то, другое, пятое, десятое — там коси, там сей». Не может Нестор согласиться с такими порядками, не укладывается это в его крестьянском сознании.

Нестор тоскует и критикует историю с той пристальностью и развенчивает ее с той пристрастностью, на какую способен побежденный — в своем праведном гневе. Писатель охотно предоставляет ему эту возможность, видя в нем не только «бывшего», потерявшего под ногами взрастившую его социальную почву, но и самостоятельного человека, не утратившего несмотря ни на что своей личности, жизненного навыка, мастерства и желания хозяйски относиться к земле и к своей работе.

«Так что же такое Нестор? — задавался вопросом Казаков. — Я вдруг вспомнил все свои странствия за последние годы — где только я не побывал! На Смоленщине, в Ярославской, Горьковской, Калужской областях, и на Севере, и в Сибири... И сколько попало мне таких вот Несторов в своих домах, со своими садами и огородами, коровами и поросятами. Земля по отношению к человеку безлична, она родит и отдает плоды любому, кто за ней

ходит. Но вот такой человек, как Нестор, никогда не был безличным по отношению к земле. Для него всегда существовало понятие земли своей и чужой. И никогда не перейти ему пропасти, разделяющей землю на свою и общую».

Казаков задумывался надо всем этим в конце 1950-х годов. Однако потребовалась треть века, чтобы обстоятельства резко изменились и общество вняло голосу Нестора. А в 1965-м, когда «Нестор и Кир» был опубликован — в журнале «Простор» (Алма-Ата), с купюрами и жесткой редакторской правкой, московские журналы печатать рассказ наотрез отказались, — образ Нестора сильно озадачивал критиков.

«В рассказе Ю. Казакова, — писал в 1965 году Ф. Левин, — отражается двойственное отношение к Нестору: неприятие его как социального типа и любование его человеческими достоинствами — силой, умением, трудолюбием, хваткой, твердостью характера». Такое отношение писателя к своему герою не устраивало критика, ему хотелось, чтобы писатель привел в своем споре с Нестором всем известные аргументы, как это делалось в литературе прежде. Но у Казакова была своя задача: он просто встретился с живым человеком, с недавним «кулаком» и выслушал его исповедь, дав тому редкую возможность высказаться.

Пытаясь вникнуть в казаковскую позицию, А. Нинов — уже в 1974 году — как бы возражал Ф. Левину: «Всей системой образных отношений Ю. Казаков раскрывает неполноценность, ущербность жизни, потраченной на стяжательство. И вместе с тем он отдает должное Нестору, когда его устами говорит одаренный работник, трезво мыслящий и сметливый в хозяйстве человек, негодующий против расточительства, безрукости и всяческой лени. Правда — даже в чужих и неприятных устах — сохраняет свой смысл и силу. И надо иметь мужество ее выслушать. Автор потому и не спешит ослабить двойственность впечатления, вынесенного им из встречи с Нестором. В этой двойственности нужно еще разобраться, нужно еще понять, что ценное и что дурное заложено в человеке».

Но ведь и это еще не все.

Казакову всегда претил догматизм любого толка — особенно же во взгляде на человека, — на всякого человека, и на того, что, казалось бы, отжил свой век тоже. Готовые книжные рекомендации, предлагаемые общественной «наукой», претендовавшей на силу всемирного закона, его не интересовали — его интересовали живые лица, простые люди.

Казаков написал «Нестора и Кира» в 1961 году, когда на представлениях о положении дел в деревне, о психологии советского крестьянина лежал отсвет благодушной литературы предшествующих лет и сказывался груз тех легкомысленных сочинений, про которые Казаков в этом рассказе говорил, что в них было все — «счастье, изобилие, социализм был построен, пережитков не существовало», послевоенная деревня поспешала в этих книгах к коммунизму, и конфликт в них строился «на борьбе отличного с хорошим». До расцвета «деревенской прозы», трезво взглянувшей правде в глаза, было еще далеко, пора напряженных психологических поединков, к примеру, в «Плотницких рассказах» В. Белова, была впереди, и потому вклад Казакова в разработку проблем, позже поднятых «деревенской прозой», общепризнан.

Однако нужно подчеркнуть, что и здесь Казаков придерживался своего художественного ракурса, и та двойственность, о которую спотыкались критики, имела в «Несторе и Кире» не только конкретно-социальную, а еще историко-культурную подоплеку.

Казаков знал: Несторы, встреченные им в разных уголках России, — носители вековой крестьянской культуры, вдруг оказавшейся на грани гибели. Культуры не узко земледельческой или промысловой, но культуры духовной, освященной тысячелетней христианской традицией. А что до Русского Севера, где искони преобладало старообрядчество, то тут стремление к хозяйственной самостоятельности и национальной самобытности было всегда особенно ощутимо, хотя старообрядцы умели, когда следовало, проявлять и разумную веротерпимость. Как заметила К. Мяло (1988), «на крутых поворотах своего развития старообрядческая община выработала удивительную способность гибкого существования в двух временах: в священном, неизменном времени фундаментального ядра традиции и основанных на ней обрядов и в текущем, эмпирическом времени, отношения с которым отнюдь не были проблемой, о чем свидетельствовала не в последнюю очередь и хозяйственная умелость старообрядцев, а также их пространственная подвижность и способность сосуществовать с самыми различными национальными и культурными традициями...»

Вот эта-то способность «существования в двух временах», эта наследственная верность народной культуре вопреки культуре официальной и поразила Казакова в поморах. Он уже тогда догадался, что трагедия не просто в несправедливостях и ужасах «раскулачки», но в тотальном уничтожении самих первооснов стародавней крестьянской жизни. Это угнетало его больше всего. Так

что истоки двойственности, которой отмечен рассказ «Нестор и Кир», а также причины социальной и культурной изоляции казаковских героев — здесь. И отсюда же в «Несторе и Кире» — и не покидающая автора печаль, и душевная неуютность, и нелегко дающийся ему контакт с героями, и невозможность судить о них по привычным меркам, и неясное чувство собственной вины...

Восхищение героями рассказа никак не мирилось в авторском сознании с их приниженностью и ограниченностью. В том, что Нестор и Кир ведут здоровую, естественную, в итоге — социально полезную жизнь, стоило ли сомневаться? Но писателя явно смущало резкое несоответствие их и его собственных потребностей. «То, что важно для меня, — писал Казаков, повторяя беломорский дневник 1958 года, — для них не важно. Из выпущенных у нас полутора миллионов названий книг они не прочли ни одной. Получается, что самые гжучие проблемы современности существуют только для меня, а эти вот два рыбака все еще находятся в первичной стадии добывания хлеба насущного в поте лица своего и вовсе чужды какой бы то ни было культуры?»

Поистине, спрашивал Казаков: «Зачем же им книги? Зачем им какая-то культура и прочее вот здесь на берегу моря? Они — и море, больше нет никого, все остальные где-то там, за их спиной, и вовсе им не интересны и не нужны».

Эти вопросы обращены писателем не к героям рассказа, а к самому себе. «Какая-то культура» им была, действительно, не нужна, для них было бы противоестественно подстраиваться под «городской прогресс». Родная же культура, которую завещала им христианская традиция, десятилетиями слепо подавлялась, что и привело в итоге к общественной летаргии и безразличию. Наблюдая натуральную, немую жизнь Нестора и Кира, Казаков с обидой за своих героев вспоминал столичные «под коньяк» разговоры о литературе, о поэзии, о «направленности творчества», вспоминал клубные споры, в которых «кажется, что от того, согласишься ты с кем-то или не согласишься, зависит духовная жизнь страны, народа», — и разговоры эти представлялись ему суетными...

Критики, прочитав «Нестора и Кира», поспешили упрекнуть Казакова в том, что он, дескать, «впадает в рефлекссию и испытывает ложный стыд» за свою литературную профессию. Но это неправда. Дело литературы для Казакова было свято.

Глава 6
**«ЭТА ВНЕЗАПНАЯ
БОЖЕСТВЕННОСТЬ СЛОВА...»**

Так уж издавна повелось в русской литературе: ответственность перед талантом и перед собственной совестью всегда почитались у нас превыше всего, — об этом замечательно писал в свое время Гоголь, вспоминая, как Пушкин сказал однажды, что «слова поэта суть уже его дела».

«Пушкин прав, — писал Гоголь. — Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще... Потомству нет дела до того, кто был виной, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело. Оно не станет разбирать, кто толкал его под руку: близорукий ли приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, журналист ли, хлопотавший только о выгоде своего журнала. Потомство не примет в уважение ни кумовство, ни журналистов, ни собственную его бедность и затруднительное положение. Оно сделает упрек ему, а не им. Зачем ты не устоял противу всего этого? Ведь ты же почувствовал сам честность званья своего; ведь ты же умел предпочесть его другим, выгоднейшим должностям и сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому, что в себе услышал на то призыванье Божие, ведь ты же получил в добавку к тому ум, который видел подальше, пошире и поглубже дела, нежели те, которые тебя подталкивали. Зачем же ты был ребенком, а не мужем, получа все, что нужно для мужа?»

Казаков, ступив «на поприще слова», благоговел перед классиками, перед великими традициями и дорожил этой гоголевской заповедью, наверно, как никто из его сверстников. И по прошествии десятилетий мужи прошлого оставались для него живым примером и тем образцом служения отечественной словесности, следуя которому только и можно не посрамить «честности званья своего», как того требовал Гоголь.

При всяком удобном случае Казаков старался и объяснить, и отстоять такую свою позицию.

«Русская литература, — писал он в декабре 1967 года, — всегда была знаменита тем, что, как ни одна литература в мире, занималась вопросами нравственными, вопросами о смысле жизни и смерти и ставила проблемы высочайшие. Она не решала проблем — их решала история, но литература была всегда немного впереди истории. Мы потому и оглядываемся постоянно на наших великих предшественников, что современных писателей такого масштаба у нас нет или, говоря точнее, почти нет. Мы потому и всматриваемся в них с такой ненасытностью, что велики они не тем только, что прекрасно писали, а тем еще, что писали о самом главном, что составляет сущность жизни общества».

«Лучше, чем я могу, я не напишу, разумеется, — продолжал Казаков, — но вера в высшее предназначение писателя, постановка важных вопросов, серьезное отношение к задачам литературы даже при малом таланте поможет мне стать писателем настоящим. Так что напомнить друг другу об ответственности перед талантом и перед словом никогда не лишне».

Принципиальная оглядка на классику, вера в высшее предназначение писателя, завещанный великими мастерами критерий, с каким следует подходить к литературе, диктовали Казакову и те цели, которые он смолоду ставил перед собой.

Тогда, в молодости, витало в воздухе горячих споров лихое словечко «гениально», как бы по новому курсу пущенное в оборот, и далеко не каждый взявшийся за перо, наскоро вкусивший удачи, задумывался над тем, на что обрекает себя. Не каждый спрашивал себя: сумеет ли он с честью одолеть грядущие испытания? Не разменяет ли на мелочи свой талант? Хватит ли у него сил противостоять литературной рутине и цепкой житейской суете? Спустя полвека множество книг, что казались значительными и новаторскими, подернулись тленом и немало писателей, когда-то громко заявивших о себе, бесследно исчезли с литературного горизонта. Время неумолимо, оно никому не дает поблажки. Тем более — время нынешнее, отвергнувшее великие критерии и беспощадно презревшее не только классику, но и литературу как нравственный феномен...

Казакову виделись свои гарантии творческого долголетия, случайно он соотносил труд писателя, вообще художника с трудом тех, как принято выражаться, «простых людей», что, не мудрствуя лукаво, каждый день, до самой смерти занимаются «грубой, изначальной работой».

В «Северном дневнике» он размышлял: «Давно-давно уже приходит ко мне иногда, является и молча стоит и смущает картина моря или реки и дом на берегу, дом в ущелье, сложенный из хороших бревен, дом с печкой и коричневыми, слегка прокопченными балками. И моя жизнь в этом доме и на берегу моря, и моя работа — ловить ли семгу, рубить ли лес, сплавливать ли его по реке... Разве это не выше моих рассказов или разве помешало бы это им? Наверное, это сделало бы их крепче и достоверней. Потому что мужчина должен узнать пот и соль работы, он должен сам срубить или, наоборот, посадить дерево, или поймать рыбу, чтобы показать людям плоды своего труда, — вещественные и такие необходимые, гораздо необходимее всех рассказов!»

Это признание, в котором слышны хэмингуэвские нотки, не следует трактовать очень уж буквально, в том лишь плане, что литература, писание рассказов — занятие менее «вещественное и необходимое», чем «изначальная работа» людей на земле или в море. Казаков примеривался к натуральной жизни в «доме на берегу» не потому, что подвергал сомнению общечеловеческую и гражданскую важность писательского дела. Он, скорее, хотел доказать самому себе, что и в той жизни, познав «пот и соль» той работы, не посрамил бы себя, — во всяком случае, ему необходимо было в это верить.

Соотнося писательство с «изначальной работой», Казаков не питал никаких иллюзий, о чем еще в декабре 1957 года предупреждал Конецкого — в письме, смахивающем на манифест: «Привет, старик! Получил твое письмо, наполненное слезами. Ты, брат, порешь ерунду. Хотя то, что ты писал до сих пор „не то“, — это факт. В этом, к сожалению, я не могу тебя успокоить. Все твои рассказы — мура и бормотание сивого мерина. Равно так же и мои...» При столь неутешительной оценке их сочинений, Казаков, тем не менее, призывал Конецкого, уверовав в свой талант, не бояться соблазнов молодости. «Молоды мы слишком! — объяснял он. — Я вычитал вон у Мечникова о биологии оптимизма. Он с самым серьезным видом утверждает, что в молодом организме заложены какие-то тлетворные разъедающие вирусы. А этому и примеры есть всюду. Вся трагическая поэзия наша вышла из-под пера мальчиков. Все эти муки, разочарования, чертовщина — у молодых...» — Казаков поминал, в частности, Лермонтова, Есенина. И продолжал: «Единственное средство от этого, я думаю, труд. Чем больше работаешь: пишешь, дрова пилишь или еще что-то, тем меньше тоски и т. п. А еще, не знаю, как тебе, а мне положительно

вредна слава. Вредна в том смысле, что делает меня трусливым, т. е. боишься, что не исполнишь того, что ждут от тебя». И рецепт спасения оставался один: «работать, стремиться к совершенству». «Ну и потом, — вразумлял Казаков Конецкого, — еще остается Пушкин, Толстой, Чехов и Бунин, остается Ленинград с его сумасшествием, остается биение сердца при виде прекрасной девочки, остаются слезы от мысли о кратковременности всего земного... Не правы оптимисты, которые считают, что жизнь прекрасна. Не правы также пессимисты, которые считают, что жизнь ужасна. В ней хватает и того и другого. Будь реалистом! — взбодрил Казаков Конецкого. — Талант — ядовитая вещь. Я это знаю, поскольку сам испытал несколько раз в жизни приливы божественности, приливы тоски и мрака, слез по уходящему и много прочего. Мужик пашет, и знает, что делает добро, о котором никакой идиот не скажет, что оно не нужно. А поэт...»

Жизнь в «доме на берегу» манила Казакова своей чистотой, целомудренностью, ясностью целей и наглядностью результатов.

А еще — и это не менее существенно — Казаков сперва интуитивно, а потом все последовательнее пытался вникать в те связи, что пролегают между стихийной жизнью человека в природе и той духовной культурой, которую человек веками создает.

Путешествуя по карельским тропам и озерам, в краю лопарей, Казаков думал о том, какая бездна с незапамятных времен отделяла недвижимую и нерушимую жизнь, скрытую здесь за диким, поистине языческим пейзажем, от жизни так хорошо всем знакомой, цивилизованной, исторически представимой, запечатленной в бесчисленных книгах, в живописи, в музыке. Жизнь в этом краю вершилась по каким-то иным, неведомым уставам, и «чем жила все эти столетия наша земля, какие были войны, революции, какие Бетховены и Толстые рождались и умирали — ничего этого тут не знали, и время для этого народа как бы и не текло, так же как не течет оно для этих камней и озер».

Но так ли это? И может ли быть нем и безразличен к мировой истории даже первобытный народ? Может ли он существовать без своего искусства?

Слушая напев «Калевалы», а напев этот был так же «первобытен и прост, как эти камни и сосны», Казаков воочию убеждался, насколько эпос карелов внутренне слитен, сроднен с величественной северной природой. Этот эпос — подобно русским былинам, сказкам и песням — свидетельствовал о таком концентрирован-

ном духовном богатстве, какое готово поспорить с самым выдающимся «именным» искусством.

Народный северный эпос, в любом его национальном выражении и форме, конденсирует в себе титаническую творческую силу — внеличную, коллективную, древнюю — и дарит ее в наследство современным художникам, в первую очередь тем, кто, связав с Севером свою судьбу, уверовал в целительность всего «вечносущего», родового, кто на себе почувствовал здоровую, очистительную свежесть суровой северной стихии.

Одним из таких бесконечно преданных Северу, мудрых и мужественных художников был Рокуэлл Кент. Картины, искусство Кента, его характер и сам его образ жизни являли собой пример удивительной человеческой цельности, за что так высоко и ценил его Казаков.

Все картины Рокуэлла Кента, — писал он в 1961 году, посетив выставку художника, — «как одна песнь человеку и природе, солнцу и морю, горам и вересковым долинам, домам и шхунам. На его картинах горят могущественные солнца, окруженные багровыми световыми кольцами; ослепительной белизной сверкают снега; страшные ледники обрываются в изумрудные моря; работают у моря на берегу люди, и у людей этих ноги, как столбы, плечи широки, лица мудры и спокойны; дома этих людей строены навек — не только для себя, но и для правнуков. Север — страшный, ледяной и немой и первозданно прекрасный, завораживающий — дышит на нас с картин Кента. Чтобы так писать о земле, надо чувствовать ее всем телом — ногами, глазами, ушами, руками, — надо падать на нее в изнеможении, надо строить на ней дома или рубить лес, надо ходить по ней, смотреть на нее неустанно, надо плавать по ее морям и рекам, ловить рыбу, есть и пить с ее обитателями и вместе с ними страдать или петь песни, когда уходит горе и приходит радость».

Вот о такой жизни в «доме на берегу» и помышлял Казаков, забираясь в медвежьи углы, в стародавние поселения Арктики. Мысль о том, чтобы затеряться, укрыться где-то в безмолвных широтах, в заполярной пустыне, дабы всем существом ощутить и точными, волнующими словами выразить грандиозность мироздания, спеть гимн человеку, — такому, кажется, немощному рядом с природой и такому упорному в своей устремленности к чему-то бесплотному, но высочайшему: к торжеству бессмертного человеческого духа, — эта мысль преследовала и обжигала Каза-

кова всю жизнь, с того момента, когда он «родился во второй раз», ступив на беломорский берег.

Между прочим, уже в мае 1980 года, собираясь — вопреки болезням — в очередной раз на Север, на Новую Землю, Казаков писал Конецкому: «А знаешь, когда был я в институте Арктики и Антарктики, то с наслаждением разглядывал карту побережья Ледовитого океана, там отмечены, например, такие „населенные пункты“: „изба Супонина“ и т. п. Очень это меня умиляло. Вот, думал я, так бы и жить: „изба Конецкого“, а в 30 км от нее „изба Казакова“ — это чтобы пореже друг другу надоедать...»

А еще в сентябре 1958 года, когда он «шел по камням на разбитых ногах, страдал и думал», зачем «принимает эти муки», Казаков в дневнике тут же обронил фразу: «Это прекрасное дикое ущелье, красный лес по его склонам опять навели меня на мысль о доме здесь — выстроить дом и приезжать сюда на лето...»

Что же до тех северных художников, личность и опыт которых были Казакову особенно дороги, то среди них нельзя не выделить поморского сказочника и живописца Степана Писахова (1879—1960), чье творчество представлялось Казакову «явлением первоуродной мощи».

В статье «Северный волшебник слова» (1959) Казаков рассказывал, как ходил он в Архангельске в известный всему городу дом Степана Григорьевича Писахова; как встретил его на пороге «маленький, с желтыми усами книзу, страшными бровями, с длинными густыми волосами» странноватый человек, ввел к себе и сразу «заговорил, засмеялся, стал необычайно привлекательным», как подарил он гостю книжку своих чудесных сказок и написал на ней: «С приветом не от того Севера, которым пугают людей Юга: моржи, медведи, льды, дикие люди, наполняющие город Архангельск... — от Севера, красой своих просторов венчающего земной шар!»

В этом двухэтажном деревянном доме на Поморской улице Писахов родился и прожил восемьдесят лет. В 1930-х годах, когда преподавал в школе рисование, он водил сюда своих учеников. Как сообщал Александр Горелов в очерке «Череда чудес» (1978), мастерская Писахова выглядела подлинным святилищем духа: «с арктическими и лесными пейзажами хозяина на стенах, с берестяными туесками и пряничными досками северной работы, с копией гудоновского бюста: Вольтер в платочке. На полках стояли ровным строем книги (иные толстенные — с цветными рукописными заставками, с застежками), а низкие шкафы у стен были полным-полны бумаг, вырезок о Севере и искусстве». Писахов ста-

вил ученикам гипсы и, пока они рисовали, «пересказывал гомеровский эпос, эпизоды «Дон Кихота», неподражаемо рассказывал пинежским говорком народные и свои собственные сказки, говорил о любимых, но совсем непохожих на него художниках — Брюллове, Ван-Дейке, исполинах Возрождения. Он непрестанно витал в какой-то высшей сфере — человек, к которому приезжали погостить полярники, писатели, заходили рабочие дока, краеведы. Он учил высоко мыслить, мечтать и изо всех сил тянуться к осуществлению своей мечты».

Писахов был редкой, уникальной личностью, и судьба ему досталась неординарная. Вольнослушатель Санкт-Петербургского центрального училища технического рисования барона Штиглица, он в результате событий 1905 года вынужден был покинуть его стены и, вернувшись к себе на Север, объездил дальние поселения Печоры, Мезени, Пинеги, Онеги, разыскивая и запечатлевая на своих акварелях сотни памятников древненовгородской архитектуры. В ту же пору Писахов успел пожить на Новой Земле в стойбище Малые Кармакулы и вызывал немалое удивление ненцев своей непривычной работой: «будто весь мир хотел сложить в свой ящик» (этюжник), а также тем, что не пил водки, не курил табаку, не называл плохое хорошим. Он же, в свою очередь, тоже был удивлен и счастлив, живя, как пишет Александр Горелов, «возле этих искренних людей, возле птичьих гнездовий, где можно было дышать простором океана и испытывать ни с чем не сравнимое состояние единения Человека и Земли», где его чувство «оказывалось совершенно родственным, а может быть, и равным чувству неграмотного ненца, своей душой обнимающего природу».

Писахов был широкой, вселенской натурой, огромная культура, как было однажды о нем сказано, сочеталась у него с непосредственностью младенца. Он был деятелен и умен, горяч, но справедлив. Дабы удостовериться в величии и духовной щедрости Русского Севера, желая воочию сравнить его с «югом», он в молодости с билетом паломника, почти без денег, на свой страх и риск отправился в Средиземноморье, к Святым местам, посетил Константинополь, Иерусалим, берега Мертвого моря, Каир, Александрию, Рим, Афины и вынес из своего путешествия неколебимое убеждение, что все культуры в мире равноправны и все люди на земле — братья. Он участвовал в поисках пропавших экспедиций Седова, Русанова, Нобиле, а его картины с успехом выставлялись не только в Архангельске, в Москве и Петербурге, но и в Риме...

Можно догадаться, сколь сильное впечатление произвел на молодого писателя этот «сказочник, русак, старик 79 лет, немного уже рассеянный, но все равно чудесный». Он ведь мог в былое время купаться в ледяной полынье; мог ходить на паруснике в страшные северные штормы и зимовать в условиях, о каких нынешние поморы знают только по рассказам; он когда-то летал с польским летчиком Нагурским на Новую Землю и еще — мог в полном одиночестве, «в сладком волнении» писать картину на крохотном островке в Ледовитом океане, — и если вообразить этот островок в двадцать метров шириной, восхищался Казаков, «седой мох, камни, океан вокруг, тускло-красный диск незаходящего солнца, оторванность от всего мира — есть от чего похолодеть!».

Недаром в своих сказках Писахов, по словам Казакова, так весел, буен, гиперболитичен, сказки его так пронзительно озорны и жизнерадостны. Герой их Сеня Малина саркастически смеется над злом, он всесилен, он пьет звездный дождь и спит на берегу, натянув на себя море. Сказки Писахова насыщены необычными поэтическими смещениями, язык их древен и чист по складу, по ритму, по выразительности, и он же, язык этот, весьма современен по своей социальной заостренности.

«Сказки создавались у нас десятилетиями, создавались объединенными усилиями сотен и тысяч словотворцев, — писал Казаков. — Сказки „обкатывались“, шлифовались, канонизировались, пока, наконец, не получалось песни, из которой слова не выкинешь. Написать сказку, равноценную народной, пустить ее в народ — труд великий, и может сделать это только большой поэт, только человек, безмерно знающий дух и характер своего народа. Этими качествами Писахов обладает вполне. Но он не только поэт-сказочник, но еще и поэт-художник. И так же, как в сказках, — вечной темой для своих картин Писахов избрал Север. Полотна его по своей тончайшей прелести, по настроению, по выражению национальному, — утверждал Казаков, — стоят, на мой взгляд, в одном ряду с полотнами Поленова, Нестерова, Левитана!»

Будучи на Белом море, Казаков давал книгу сказок Писахова рыбакам, поморам, морякам, и ее читали вслух с таким вкусом и с таким упоением, какого устаиваются немногие авторы. Писахов, проживший жизнь в «доме на берегу», сложил о своем родном крае проникновенную сагу, и общедоступную, и поэтически изощренную.

«Если скандинавы, главным образом норвежцы, открыли всему миру свой Север, то наш Русский Север — Белое море, побере-

жье Кольского полуострова, острова в Ледовитом океане, — замечал Казаков в 1959 году, — поэтически еще, к сожалению, мало тронут. Мало, мало поэтов видел наш Север: Пришвин, Шергин... и тем дороже должно быть всем нам творчество Писахова...»

Прочитав статью Казакова о себе, Писахов отвечал ему: «Дорогой Юрий Павлович! Спасибо Вам большое, сердечное за поддержку. Время подходит к концу... При моем большом желании подождать до 2000 года... Сама собой является мысль: пора подводить итоги. Ваше приветственное слово дало, не стану скрывать, большую радость. Ведь юбилей, пожалуй, будет отмечен...» И далее Писахов рассказывал, как его ученики стали профессиональными художниками в Москве и Ленинграде, как внимательны к нему архангелогородцы просто на улицах, как хочется ему «вспомнить, что будет», и прочесть передовицу в «Правде Севера» за 1 января 2000 года...

Знал бы он, каким будет в России 2000 год и о чем напишут газеты в этот день!

Из тех, кто сполна познал жизнь в «доме на берегу», сочетая ее с благоговейным служением искусству, больше всех запал Казакову в сердце ненец Тыко Вылка, к личности которого писатель обращался не раз: в «Северном дневнике» посвятил ему заключительную главу «И родился я на Новой Земле» (1972), а потом, основываясь на материале дневника и других документах, написал о нем повесть «Мальчик из снежной ямы» (1972–1976) и сценарий двухсерийного художественного фильма «Великий самоед» (1980).

Жизнь Вылки была исполнена героического смысла — жизнь «дикаря» XX века, ставшего учителем своего народа, жизнь талантливого художника, доказавшего нужность и необоримость своего, казалось бы, наивного, незащитного искусства.

Той осенью 1960 года, когда Казаков в деревеньке на Оке принялся писать «Северный дневник», Тыко Вылка умирал в Архангельске, в больнице, — и Казаков, ничего тогда не зная о нем, потом сожалел, что не увидел, не успел узнать и полюбить Тыко Вылку при жизни. «А ведь я мог зазнать Вылку! — писал он в повести „Мальчик из снежной ямы“. — Я начал ездить на Север с 1956 года — в том же году переехал с Новой Земли в Архангельск и Вылка. Я мог бы приходить к нему в свои приезды, слушать его рассказы, его песни, выпрашивать его обо всем, смотреть, как он пишет картины. Я мог бы написать о нем при его жизни, а это так важно — успеть сказать о человеке доброе

слово при жизни! Да, видно, не судьба была, никто меня с ним не познакомил, не повел к нему в гости, а сам я откуда же мог знать, что это был за человек?»

Что это был за человек?

Восстанавливая по крупницам биографию Вылки, Казаков в повести «Мальчик из снежной ямы» вел свой рассказ издалека. Он вспоминал, ссылаясь на книгу С. В. Максимова «Год на Севере» (1859), как в незапамятные времена, оставив свою прародину за Саянскими хребтами, появились на Севере самоеды. (О. Воронова в книге «Президент Новой Земли Тыко Вылко» (1977) объясняет: «Ненцами (людьми) называли они себя сами — национальных понятий в их языке не было. В России они были известны под именем «самоедов» — странное это слово образовалось из дважды искаженного лапландского наименования северного края «Самеядна». «Самоядь» — записал в XI веке летописец Нестор. «Самоеды» — «поправили» его потом переписчики».) Как обжились ненцы в пустынной, выстуженной тундре, как нужда заставляла двигаться дальше и дальше, пока не достигли они островов в Ледовитом океане. Отец Тыко Вылки был бедным пастухом; когда не осталось у него собственных оленей и хозяин бросил его на Югорском Шаре без продовольствия на произвол судьбы, он решил попытать счастья на Новой Земле и оказался там среди первых российских поселенцев.

Тыко Вылка родился на Новой Земле в середине восьмидесятых годов XIX века — точная дата его рождения неизвестна — в детстве и юности жил, по его собственным рассказам, «в чуме, а приходилось и в снежной яме, грязь, дым, никаких удобств»; занимались ненцы-островитяне охотой и рыболовством, били морского зверя, белого медведя, песца; меха и рыбу продавали скупщикам за бесценок, часто норвежцам за водку; от голода и холода постоянно умирали ребятишки. «Особенно плохо пришлось нам в годы с 1900 по 1907, — записывал Вылка в автобиографии. — Ружья у меня не было, стрелял я гусей из лука. Самодельный лук был. Стрелял метко. Хорошо видел, очков не носил, да и знал, что если не подстрелю птицу, то мы голодом насидимся». В 1909—1911 годах Вылка в проводниках у В. А. Русанова прошел вокруг северного и южного островов Новой Земли. Зимой 1910-го учился в Москве, куда его привез В. А. Русанов, потом вернулся на Новую Землю и «стал жить, как раньше жил».

В Москве Тыко Вылка учился живописи. Еще мальчишкой познакомился он на Новой Земле с побывавшим там художником

А. Борисовым, пробовал сам рисовать. Когда на Новую Землю после 1905 года попал Писахов, он, кажется, первым по-настоящему оценил рисунки Вылки, отметив особенную музыкальность его пейзажей. Приехав в свое стойбище в 1911 году «на каникулы», Вылка намеревался собирать ботанические и зоологические коллекции, хотел написать побольше картин, но в его семье случилось несчастье: нечаянно застрелился его двоюродный брат, и Вылка, по обычаю ненцев, обязан был жениться на вдове брата, потому что без мужа-добытчика женщина с шестью детьми обречена была на верную смерть.

Этот неожиданный, роковой поворот в судьбе Вылки особенно потрясал Казакова.

«Первая половина жизни окончилась, колесо судьбы повернулось, — писал Казаков, — на долгие годы Вылка скрывается из нашего поля зрения, живет где-то на Карской стороне уже в полном одиночестве, если не считать семьи. Как горько, должно быть, было ему отказаться от всего, чем поманила сначала его судьба, отказаться от полярных странствий, забыть наивные, но гордые мечты стать настоящим художником, образованным человеком, поехать, может быть — куда? — в Париж, где жил когда-то и учился Русанов, в Италию? Отныне и до веку суждено ему было опять жить в снежной яме? Ну, пусть не в яме, конечно, не в рубище, не в худой маличке, — в избе из плавника, но все же, все же! Он мечтал слушать музыку, а пришлось слушать ему вой метелей, крик тюленей и гул моря. Он снова был низвергнут в первобытное состояние, но, к счастью своему, не на всю жизнь!»

Не сразу, но и на Новую Землю долетела весть о революции, — и судьба Тыко Вылки в который раз переменилась. С 1924 года он председатель островного Совета, и на этот пост его, «президента Новой Земли», добровольно выбирали островитяне тридцать два года подряд...

Почему Вылка был так беспрекословно уважаем и своим народом, и всеми, кому довелось с ним общаться?

Собранные Казаковым факты свидетельствуют: Вылка был чист душой и бескорыстен, сердечен и храбр и всю жизнь творил людям добро. Он говорил и ненцам, и русским, и всем людям вообще: не бойтесь жить, в жизни есть высокий смысл и радость, жизнь жестока, но и хороша, будьте мужественными и терпеливыми, когда вам трудно! И он не только так проповедовал, он сам всегда так поступал, своей деятельной добротой спасая людей от отчаяния и смерти.

Вот за такую философию жизни, неотделимую от жизненного поведения, за абсолютную духовную слитность со своим народом и преклонялся Казаков перед Тыко Вылкой, видя в нем пример исключительной личности, пример человека, соединившего в себе мудрость древности и современное гражданское самосознание.

«Он не издавал книг с описанием своих полярных путешествий, — замечал Казаков, — не ездил по городам Европы с лекциями. Известность его во время жизни на Новой Земле была ограниченной. Всего несколько сот ненцев и русских знали его лично, говорили с ним, слушали его поучения, видели его картины. Но те, кто его знал, любили его безмерно. Живи он не на Новой Земле в наш век, а где-нибудь в Европе в другие века, кто знает, не имели бы мы теперь в его лице еще одного святого? Или национального гения, какого норвежцы имеют в лице Фритьофа Нансена?»

Но Вылке была непонятна и чужда всякая самореклама — он был крайне скромн, тих, уступчив, нежен, и эти его человеческие качества не могли не проявиться в его картинах, в которых, по мнению Писахова, с самого начала чувствовался большой мастер.

Направляясь в 1964 году на шхуне «Моряна» на Новую Землю, куда ему, впрочем, так и не удалось попасть, Казаков старался представить ее себе по картинам Вылки. «Мне почему-то воображалась тишина, — писал он, — прозрачные ручьи, водопады, лед, тундровые озера, дымок от костра, летящие вверх, освещенные ночным солнцем гуси... И старые каменные могилы с истлевшими, повалившимися крестами, развалившиеся избушки — слабые следы жизни полярных исследователей на этом диком острове». И сам собою возникал у Казакова вопрос: как же жил там долгие годы Тыко Вылка, «как находил он поэзию на этой бедной земле, в этом поистине ужасающем вертепе ледяной стужи и мрака?»

Е. Евтушенко, плававший, как уже говорилось, с Казаковым на «Моряне», посвятил Вылке стихи:

...И я восславлю Тыко Вылку!
 Пускай он ложку или вилку
 держать, как надо, не умел —
 зато он кисть держал, как надо,
 зато себя держал, как надо!
 Вот редкость — гордость он имел.

Взяв эти строчки эпиграфом к последней главе «Северного дневника», Казаков возразил: «Гордость — не то слово, конечно...»

И добавил, что Вылка не был горд, он был «добросердечен и храбр, он был Учитель», мудрец, открытый и доверчивый художник.

Мир, запечатленный так непосредственно на картинах Тыко Вылки, с их чистыми красками и бесхитростными сюжетами, был суров, тревожен, безмолвен, и вместе с тем он словно высвечен изнутри, одушевлен присутствием человека, согрет щедрым любящим сердцем. Так спокойны, невозмутимы задумчивые ненцы у костра. Так теплы и уютны среди ночного безмолвия светящиеся окошки одиноких домов. Так добродушны и любопытны белые медвежата, симпатичны собаки и олени. Так вызывающе выразителен, как подметил Казаков, простой электрический фонарь на столбе, соперничающий с мистическим полярным сиянием, — «такой милый человеческий свет, мешающийся с космическим светом, перебивающим его!»

Надо было обладать незаурядной стойкостью и душевной силой, чтобы столь оптимистично изображать этот мир ледников и скал, этот остров, затерявшийся в просторах Ледовитого океана, — такими радостными красками, с такой трепетной нежностью. Картины Тыко Вылки не отпугивали, не вселяли страха, напротив, они были, по словам Казакова, как привет друга, долетевший к нам из другого мира, из иных времен.

Иногда доводится читать о том, что казаковская «характеристика образа жизни поморов, конечно, очень уязвима», и это «вызывает внутренний протест у всякого, кто знает, каким богатством, какой высокой духовностью была наполнена ярчайшая поморская культура» (Е. Ш. Галимова). При этом ссылаются на академика Д. С. Лихачева, по словам которого, Русский Север спас от забвения и наши былины, и деревянную архитектуру, и русские трудовые традиции, и т. д. Но, по-моему, здесь явное недоразумение. Чего уж ломиться в открытую дверь! Одно лишь общение Казакова с Писаховым, его преклонение перед Тыко Вылкой, его пристальный интерес к духовным истокам Русского Севера, четко зафиксированный, в частности, в одной из глав «Северного дневника» — в «Соловецких мечтаниях» (1966), — все это говорит как раз об обратном.

Казаков впервые попал на Соловки в 1956 году.

Как рассказывал Ф. Поленов, не обошлось без того, что он был задержан военным патрулем и доставлен к дежурному по гарнизону, которому — на вопрос: что он тут делает? — пытался объяснить, что интересуется русской историей, архитектурой монастырей, а дежурный никак не мог его понять и все спрашивал: «А где

об этом сказано?» — памятью о какой-то разрешительной служебной инструкции.

Картиной запустения, открывшейся перед глазами, Казаков был потрясен. Знаменитый некогда монастырь был разрушен, «изъявлен, ободран и потому — страшен». В смятении бродил Казаков вокруг монастыря, а потом долго не мог постигнуть, что руководило людьми в их ненависти к Соловецкому архипелагу, какая была выгода в уничтожении архитектурных и исторических ценностей, создававшихся стараниями и гением народа в течение веков.

Через десять лет, вновь посетив Соловки, еще ждавшие часа своего возрождения, Казаков молча стоял перед полуразрушенной гробницей Авраамия Палицына и с чувством стыда и обиды читал на гранитном надгробном камне, оскверненном пошлыми надписями, старинную эпитафию: «В смутное время междуцарствия, когда России угрожало иноземное владычество, ты мужественно ополчился за свободу отечества и явил беспримерный подвиг в жизни русского монашества как смиренный инок. Ты безмолвной стезей достиг предела жизни и сошел в могилу не увенчанный победными лаврами. Венец тебе на небесах, незабвенна память твоя в сердцах благодарных сынов отечества, тобой освобожденного с Мининым и Пожарским».

Негодующий призыв опомниться обращал Казаков к «благодарным сынам отечества», — и сердце и рассудок его никак не могли согласиться с тем, что эти священные камни, эти благодатные некогда российские места может постигнуть забвение.

«Необходимо вспомнить, — писал Казаков, взывая к общественному мнению, — что на Соловках были когда-то не только церкви, часовни и кельи — на Соловках было многоотраслевое, весьма доходное хозяйство. У монахов были огороды и сады, молочно-товарное производство, кузницы, рыболовецкие и зверобойные артели. Были столярно-малярные мастерские, гончарный завод, лесопильный завод и гидроэлектростанция, судоремонтный док, салотопки, биологическая, зоологическая и метеорологическая станции, прекрасный транспорт, множество гостиниц и магазинов. Интереснейшие селекционные работы велись монастырем в ботаническом саду. Монастырь имел, наконец, уникальные по ценности библиотеку и собрание старинной русской живописи. Да, монастырь был не только общежитием иноков и местом паломничества — он был, можно сказать, своеобразным культурным центром Севера. Зачем же было мстить камням и стенам, зачем было исключать богатейший, хозяйственно развитой край из

экономики области и страны? Неужели за то только, что стены эти выложены монахами? А монахами ли только они выложены? Нет, в этих стенах труд сотен тысяч поморов, приезжавших на разные сроки — „по обещанию“ — на протяжении сотен лет...»

Когда в сентябре 1966 года «Соловецкие мечтания» напечатала «Литературная газета», читатели откликнулись незамедлительно. Писали в редакцию, писали автору, писали в государственные инстанции, — и не только целиком разделяли тревогу Казакова по поводу состояния Соловецкого монастыря, но и ратовали за его восстановление, предлагали свою помощь, свои средства, находились энтузиасты, готовые даже переселиться ради этого на острова. М. Бакст из Ленинграда, человек одного с Казаковым поколения, обращался к нему: «Мы с женой хотим, чтобы возрождение жемчужины Русского Севера стало делом всей нашей жизни. Хотим жить и работать там, на Соловецких островах. И очень Вас просим порекомендовать нас (разумеется, если сочтете это нужным и возможным и если это вообще кому-нибудь нужно) заинтересованным лицам и организациям. Наверное, это не единственное письмо с подобной просьбой. Тем лучше для дела! Но какой тяжкий и, должно быть, несвойственный труд возлагают они на Вас! Что же делать, если хочется приложить руки и голову к осуществлению Ваших (и не только Ваших) мечтаний?»

Т. М. Судник в 2002 году вспоминала, что «Литературная газета» получала «сотни писем от людей, которые хотели поработать на этой ниве. Тогда же был создан студенческий отряд физфака МГУ на Соловках, единственный, который, кажется, существует до сих пор, о нем писали несколько лет назад: он получил награду Патриарха».

«Литературная газета» опубликовала письмо подполковника запаса В. Монахова, в свое время спасавшего на Соловках библиотеку и собрание древних икон, письмо кандидата исторических наук А. Кирпичникова (ныне академика), разделявшего тревогу Казакова и считавшего его суждения и справедливыми, и своевременными, официальный ответ министерства, информировавшего о срочно принимаемых государственных мерах по сохранению Соловецкого заповедника.

«Соловецкие мечтания» прочел Д. С. Лихачев — в 1928 году он, как известно, был сослан на Соловки, провел там в лагерях более четырех лет, — и в своем письме в «Литературную газету» характеризовал Соловки как уникальный комплекс архитектурных и технических памятников XVI века, писал, что крепостные сооруже-

ния Соловков, рассчитанные на длительную осаду, в ту эпоху были самыми могучими в России, а Преображенский собор, единственное соединение здания типа Успенского собора с шатровой постройкой, превосходил по высоте все московские соборы и храм в Коломне. Урон, понесенный Соловками, подчеркивал Д. С. Лихачев, огромен, ценности, уничтоженные пожарами и небрежением местных хозяйственников, неисчислимы. Он требовал немедленной консервации памятников, надежной их охраны и, естественно, был солидарен с Казаковым, с его призывом: «Соловки нужно спасать! Потому что советскому человеку нужна история. Нам просто необходимо иметь постоянно перед глазами деяния наших предков, далеких и близких, потому что без гордости за своих отцов народ не может строить новую жизнь. Сыны отечества — это великий титул, и нам нужно всегда помнить об этом!»

Для Казакова памятники и реликвии прошлого всегда были живым проявлением культурной родословной, запечатленной и в заповедных ландшафтах. И культура, и природа вершили одну и ту же летопись. Казаков никогда не прибегал к расхожему нынче слову «экология», никогда, кажется, не употреблял терминов «среда обитания» или «окружающая среда», но мысль о сохранности этой среды, — включая в нее и памятники истории, — пронизывает и его рассказы, и его «Северный дневник».

Пристальное внимание Казакова к Соловкам было продиктовано потребностью всматриваться в «приволье времени и простор веков» (В. Набоков). «Северный дневник» неслучайно включает всякого рода экскурсии в прошлое Русского Севера, в историю освоения Арктики. На страницах дневника мы встречаем пространное свидетельство старинного очевидца «сельдяного похода»: «Поход сей представляет человеческому взору огромное, величественное и преузорчатое зрелище. Зрители с высочайших корабельных мачт не могут вооруженным оком достигнуть пределов пространства сребровидным сельдяным блеском покрытой поверхности моря...» Встречаем на страницах дневника строки рун «Калевалы», вызывавшие у Казакова слезы молчаливого восторга. Находим почерпнутые из первых рук сведения о жизни полярного путешественника Русанова, знакомимся с записанными автором устными рассказами поморов, старожилов Новой Земли. И при кажущейся неоднородности и даже пестроте привлекаемых фактов, они свободно вписываются в текст «Северного дневника», не только не нарушая его внутренней логики, но и отчетливо выявляя исторические пристрастия автора.

А в своих пристрастиях Казаков всегда был откровенен. И если речь заходила о людях, бескорыстно посвятивших себя Арктике, людях любой страны и любой национальности, Казаков перед ними, что называется, снимал шляпу. Еще в 1959 году он подарил Конецкому записки норвежской полярницы Лив Балстад «К северу от морской пустыни» с присловием: «В. Конецкому для зарядки мужеством. Жаль, что не я написал эту книгу».

И к тому же Конецкому, в мае 1980 года, Казаков обращался в связи со съемками фильма «Великий самодед»: «Ты в книжке упоминаешь Русанова. Он присутствует и в нашем фильме. Кстати, я к нему отношусь с большим пиететом, нежели к Седову. Б. Шоу после лекции о Сев<ерном> полюсе сказал: за ваш полюс я и двух центов не дам, а вы лучше изобретите лекарство от насморка. Конечно, Сев<ерный> полюс – это звучит гордо. А у Русанова была задача другая – он ведь был геолог, он хотел осуществить жизненно важное для России, т. е. доказать, что Сев<ерным> Путем можно пройти...»

Изучая Беломорье, с его легендами и преданиями, обычаями и поверьями, промыслами и хозяйственным укладом, Казаков не забывал о государственной пользе дела. С той же целью использовал он в «Северном дневнике» и редкую книгу А. А. Жилинского «Крайний Север Европейской России», выпущенную в Петрограде в 1919 году: разделял беспокойство ее автора по поводу бездорожья в районе Канинско-Чешских промыслов, сочувствовал его предложению «оборудовать новый прямой путь от Мезени до Архангельска параллельно Зимнему берегу Белого моря».

Ссылки на книгу А. А. Жилинского чуть ранее предвещал лирический монолог о дороге: «В дорогу, я хочу говорить о дороге. Отчего так прекрасно все дорожное, временное и мимолетное? Почему особенно важны дорожные встречи, драгоценны закаты, и сумерки, и короткие ночлеги? Или хруст колес, топот копыт, звук мотора, ветер, веющий в лицо, — все плывущее мимо назад, мелькающее, поворачивающееся?...» Мотив дороги в «Северном дневнике» отчетливо звонок, только вот критики, так охотно цитировавшие этот монолог, обычно как-то не замечали следующую за ним весьма будничную, далеко не романтическую картину северного бездорожья. А Казакову было важно сказать и о том, и о другом.

Книга А. А. Жилинского наглядно демонстрировала социально-историческую динамику заселения Русского Севера. Согласно старинной легенде, рассказывал А. А. Жилинский, за северны-

ми горами был укрыт от смертных «Рай земной», и новгородцы, плывая по Ледовитому океану, видели его. Но не только мечта о земном рае, а и насущный интерес заставил новгородцев проникнуть в «Заволоцкую Чудь» — в погоне за товарами, годными для обмена с забалтийскими гостями. И еще одно немаловажное обстоятельство способствовало освоению Русского Севера. «Было и другое течение, — писал А. А. Жилинский, — едва ли не более широкое и, во всяком случае, более колонизирующее — это бродяжничество новгородской вольницы, „без новгородского слова“ утекавшей от местных неурядиц и обид искать счастья в маловедомые страны северо-востока. Это новгородские *ушкуйники* и положили начало тому колонизационному потоку, который разлился потом широкой, неуправляемой волной, захватывая на длинном историческом пути — вплоть до наших дней — все недовольное в русском народе, сначала — татарскими насилиями, потом московским жестоким „правежом“ и „тяжестями“, „никонианской ересью“ и т. д. и т. д. Это движение первоначально совершалось без ведома и даже вопреки намерениям русской власти с ее стремлениями, главным образом, на запад и юг..»

Исследуя истоки русского национального характера, Казаков несомненно учитывал и это историческое обстоятельство. Недаром в «Северном дневнике» писал, что ему «всегда хотелось пожить не на временных становищах, не на полярных зимовках и радиостанциях, а в деревнях — в местах исконных русских поселений, в местах, где жизнь идет не на скорую руку, а постоянная, столетняя, где людей привязывает к дому семья, дети, хозяйство, рождение, привычный наследственный труд и кресты на могилах отцов и дедов».

Такая устремленность, такая направленность таланта выделяла Казакова среди его литературных сверстников. К тому же прав был, пожалуй, В. Турбин, когда соотносил тяготение писателя к Северу с заветами Чехова: бесспорно чеховским представлялось ему желание Казакова «включить себя в традицию перевоплощения и целенаправленных путешествий куда-то в углы страны, вдаль». Казаков, как писал В. Турбин, назначил себе крайний север России, Беломорье, и традиция Чехова ожила здесь прежде всего в той идее, которая двигала Казаковым: «...проникнуть в угол, добраться до рубежа родимой земли и в меру своей одаренности осветить его жизнь, быт, уклад, с тем, чтобы показать *существенность* происходящего там, в углу».

Чему учил Казакова Русский Север?

Прежде всего — мужеству и мудрости. Мужество для Казакова — синоним человеческого достоинства, залог честно и полноценно прожитой жизни. И есть своя закономерность в том, что именно на страницах «Северного дневника» заводит Казаков разговор о мужестве писателя.

Сидя в номере «истоптанной, зажитой» и тем не менее прекрасной для него старой архангельской гостиницы, глядя накануне отплытия в море поверх крыш на светлый горизонт с легкими розовыми облаками, Казаков размышляет о том, что мужество писателя — особого рода, что главное испытание, какое предстоит писателю до конца его дней, — это испытание одиночеством, что, оставаясь верным своему профессиональному и гражданскому долгу, писатель должен постоянно бороться со всяческими соблазнами и мелкой житейской суетой.

«Когда писатель сел за чистый белый лист бумаги, — исповедуется Казаков, — против него сразу ополчается так много, так невыносимо много, так все зовет его, напоминает ему о себе, а он должен жить в какой-то своей, выдуманной им жизни. Какие-то люди, которых никто никогда не видел, но они все равно как будто живы, и он должен думать о них, как о своих близких. И он сидит, смотрит куда-нибудь за окно или на стену, ничего не видит, а видит только бесконечный ряд дней и страниц позади и впереди, свои неудачи и отступления, — те, которые будут, — и ему плохо и горько. А помочь ему никто не может, потому что он один. В том-то вся и штука, что ему никто никогда не поможет, не возьмет ручку или машинку, не напишет за него, не покажет, как надо писать. Это он должен сам. И если он сам не может, значит, все пропало — он не писатель...»

Одиночество, упорство и аскетизм — вот, пожалуй, первые условия того священнодействия словом, на какое добровольно обрекает себя писатель. Ему, по мысли Казакова, вовсе не чужды простые людские треволнения и обычные человеческие радости, напротив, он способен чувствовать прелесть окружающего мира, может быть, во сто крат острее, чем другие люди; но, наверно, еще и поэтому он обязан строго ограничивать себя во всем, взнуздывать себя, подчинять себя единственной своей жизненной цели, и в те минуты, когда он берется за перо, «возле него не должно быть никого — ни любимой, ни матери, ни жены, ни детей, а должны быть с ним одни его герои, одно его слово, одна страсть, которой он себя посвятил».

И все-таки, оставаясь наедине со своими героями, писатель, забывая обо всем на свете, не замыкается в себе, не противопоставляет себя миру и не теряет контакта с действительностью.

Художественная правда, убежден Казаков, всегда идет от правды жизни, и потому к собственно писательскому мужеству прибавляется еще «мужество летчиков, моряков, рабочих — тех людей, кто в поте лица меняет жизнь на земле». Прежде чем сесть за свой рабочий стол, писатель должен «их всех повидать сам и пожить с ними». Для Казакова это обязательное условие литературного творчества — писателю надо непременно жить, пусть недолго, вместе со своими героями: сидеть с ними в кубрике сейнера, или пробираться по тайге, или проводить суда Великим Северным путем. И конечно же вместе с ними помнить, что на земле существует и поднимает голову зло, существует фашизм и угроза глобальной войны, — и значит, если понадобится, писатель должен быть готов стать вместе со своими героями солдатом, «мужества его должно хватить и на это, чтобы потом, если он останется в живых, опять сесть за стол и опять оказаться один на один с чистым листом бумаги».

Если писатель мужествен, если он мужествен до конца, — ведь то, что он делает, он делает «не день, не два, а всю жизнь», — мужество вознаграждает его за такое постоянство и дарит ему счастливые минуты, когда его осеняет *внезапная божественность слова* и он чувствует себя мощным и честным. «Когда он вдруг, — восклицает Казаков, — вспоминает, написав особенно сильную страницу, что сначала было слово и слово было Бог!»

«Взаимодействие человека и его Божественного дара, — отмечал в 2009 году А. Варламов, — есть универсальный мотив всей казаковской прозы и мучительных размышлений писателя, как жить, что делать человеку с его талантом, тем более что за этот талант приходится платить обостренной, обнаженной, бесконечно ранимой душой и нескладной жизнью».

А Тамара Михайловна Судник вспоминала: «В мае 1967 года его пригласили сотрудники Физического института Академии наук. Зал был полон, многие стояли вдоль стен, присутствовали нобелевские лауреаты академики Прохоров и Басов. Ему был задан такой вопрос: „У физиков есть критерий истины: если теория подтверждается экспериментом, значит, она верна. А каким критерием руководствуетесь вы в своей работе?“ Юрий Павлович страшно волновался, но тут ответил уверенно и спокойно: „Если я знаю, что могу предстать перед Господом и сказать: „Господи,

это я писал...“ — значит, написано хорошо“. Сразу раздались аплодисменты, сначала аплодировали сидя, потом весь зал встал, все переглядывались с каким-то радостным облегчением — полное единодушие „физиков“ и „лириков“!..»

Призвание писателя — служить правде, в правде его спасение. «Только не надо думать, — предупреждал Казаков самого себя, — что твою правду примут сразу и безоговорочно. Но ты все равно должен писать, думая о бесчисленных неведомых тебе людях, для которых ты в конце концов пишешь. Ведь пишешь ты не для редактора, не для критика, не для денег, хотя тебе, как и всем, нужны деньги, но не для них ты пишешь в конечном итоге. Деньги можно заработать как угодно, и не обязательно писательством. А ты пишешь, помня о божественности слова и о правде. Ты пишешь и думаешь, что литература — это самосознание человечества, самовыражение человечества в твоём лице. Об этом ты должен помнить всегда и быть счастливым и горд тем, что на долю тебе выпала такая честь».

Вот какие духовные уроки вынес для себя Казаков, приобщившись к Русскому Северу. Вот так свято — как *служение* — понимал он свое писательское призвание, прямо следуя гоголевским заветам!

Глава 7

«ВСЯ ЖИЗНЬ — ОДНА ЛИ, ДВЕ ЛИ НОЧИ...»

Однажды на Севере, наблюдая белой ночью облака и в разрывах между ними голубовато-розовое небо, Казаков записал: «Я смотрю на эти ослепительные пятна вдаль и вверх, одни дающие свет земле и воде, и мне чудится в них что-то непорочно чистое, снежное, как бы Северный полюс, предел всего, что есть на земле, прозрачный солнечный чертог, что-то необыкновенно отдаленное от меня, от моих мыслей и чувств, — то, к чему мне надо идти всю жизнь и чего, может быть, так никогда и не достигнуть».

Таким непорочно чистым идеалом, такой недостижимой мечтой и обещанием счастья оставался Север для Казакова всегда — как противовес иной жизни: среднерусской ли, столичной ли, городской, может быть легкой и беззаботной, а может быть, обычной и стертой.

Это противостояние Севера и срединной России обнаружилось уже в очерке «Северный дневник», и, заканчивая этот очерк на Оке, в деревеньке возле Поленова, наслаждаясь мягкой, нежной осенью тех любезных его сердцу мест, Казаков — как не однажды в будущем — обращал свой взор к Белому морю, к своим «тихим героям», словно приглашая их сюда, в домик на Оке, а они упорно звали его обратно, «на мрачные берега, в высокие свои дома, на палубы своих кораблей».

С годами связь Казакова с Севером крепла и крепла, но и окские плесы и холмы он любил самозабвенно, соглашаясь с Пришвиным, что Ока — самая русская река из всех русских рек. Молоду привязался Казаков к Тарусе, где жил Паустовский, к Поленову, где сдружился с Федором Поленовым, внуком художника, — и не только жадно впитывал в себя красоту и негу ласковых приокских далей, томительный настоль здешних лугов и лесов, а и прикипал душой к тому легендарному российскому прошлому, что на каждом шагу напоминало тут о себе, проникался духом того стародав-

него уклада и той добропорядочности и чести, что воплощались для Казакова в поленовской семье и доме.

В своей книге «У подножия радуги» (1984) Федор Поленов с большой теплотой рассказал, как познакомился с Казаковым весной 1958 года и как ранним апрельским утром в разгар половодья отправились они вместе с поэтом Ю. Коринцом и художником Перченковым в путешествие по Оке на лодке-плоскодонке. Плыли мимо Тарусы и Велегожа, мимо деревень, каждая из которых была чем-нибудь да знаменита — в Карове жил когда-то опальный генерал Кар, разбитый Пугачевым, возле старинного Фетиньина возвышалось величественное древнеславянское городище, Любутское основано было князем Олегом Рязанским и т. д., — плыли, ночевали у бакенщиков, помогали им ставить на фарватере белые и красные фонари с керосиновыми лампами. «Бакенщики были разные. Были солидные и степенные отцы семейств, досконально знавшие Оку и безошибочно предсказывающие по местным приметам погоду на завтра. Была молодежь, совсем недавно, после демобилизации из армии, осевшая на берегу. Был некий пивший запоем Колька-Ножик, у которого прошлой осенью, переходя реку по молодому льду, утонула жена...» Тот самый Колька-Ножик, что стал прототипом главного героя в рассказе «Трали-вали».

Вечерами разводили на берегу костер, вольготно располагались, ужинали, читали наизусть стихи Цветаевой и Блока, Казаков пел русские романсы; когда пел, переставал заикаться. (Ф. Поленов дает по этому поводу свое разъяснение: «Я знал — откуда дефект его речи. В одну из ночей конца лета 1941 года он едва не был сброшен с крыши своего арбатского дома ударом взрывной волны. Спасла его печная труба, о которую он ударился. Заикание — память той ночи, когда в Театр Вахтангова на Арбате угодила немецкая авиабомба».) Так и осталась в памяти у Ф. Поленова картина: «Ночь, костер, сонные вздохи половодья. Поблескивает своими металлическими деталями снятый с лодки наш верный мотор, свалены в кучу рюкзаки, потрескивают сучья в костре, и Казаков поет...»

На пятый день добрались до Калуги, хотели подняться по Угре до деревни Дворцы — до места исторического «уторского стояния», знаменовавшего конец татаро-монгольского ига, — но время у них было на исходе, у села Плетневка повернули обратно и за полтора дня спустились к поленовскому плесу. «Загорелые, пропахшие дымом костров, впервые за неделю попав в настоящее домашнее

тепло и уют дома над Окой, вспоминали мы, — пишет Ф. Поленов, — свое путешествие, перебирая его день за днем. Горела настольная керосиновая лампа, потрескивали дрова в камине, который затопил мой отец, в полумраке тонули углы комнаты, а со стен ее смотрели на нас такие знакомые этюды Коровина, Поленова, Левитана...»

Обращаясь к тому путешествию 1958 года, Ф. Поленов вспоминал и арбатский дом Казакова (где «Зоомагазин»), дом, на котором висит мемориальная доска в честь ученика Поленова художника Сергея Иванова, в 1890-х годах поселившегося возле Тарусы, в Марфине — как раз там по прихоти судьбы не однажды жилал Казаков. «Может быть, со временем, — надеялся Ф. Поленов, — на этом доме будет висеть доска, посвященная писателю Казакову (Сегодня эта доска там, действительно, висит! — И. К.), но в ту весну он был лишь скромным студентом Литературного института, написавшим уже, впрочем, чудесный рассказ „Голубое и зеленое“».

В те дни Казаков с Ф. Поленовым бродили по весенней Тарусе, перед домом Паустовского и в поленовском парке сажали желуди. «Память той весны, — заключал свой рассказ Ф. Поленов, — подрастающие и крепнущие дубки вдоль подножия поленовского бугра. Начало их роста — та весна, когда в затоне над разлившейся речкой Нарой, под древней стеной серпуховского Владычного монастыря познакомился я с Юрием Казаковым. Вместе слушали мы голоса пробуждающегося весеннего леса, радовались простору разлившейся реки, вместе проходили ее плесы, притягательная сила которых так велика в пору высокой воды, в пору окского раннего половодья...»

Окрестности Тарусы Казаков хорошо знал, исколесил их на мотоцикле, мечтал приобрести здесь собственный дом.

И не только восхищался пейзажами, но крайне дорожил культурными традициями этих «милых художнических мест», кругом тех интеллигентов старой закалки, о ком довелось ему здесь узнать из первых уст и с кем посчастливилось самому общаться.

Потребность в такой творческой, интеллигентной среде постоянно возбуждала Казакова. «Таруса превращается в Барбизон. Нашествие писателей и художников», — с восторгом писал он Конечкому в июне 1962 года. А в воспоминаниях о Паустовском «Поедьте в Лопшеньгу» (1971) рассказывал: «Места между Тарусой и Алексином открыты давно. В разное время жили тут Чехов и Пастернак, Заболоцкий и Бальмонт, А. Толстой, играл Игумнов,

десятками наезжали художники на этюды, поленовская семья устраивала спектакли в Тарусе... Я еще застал вымирающее уже поколение старых интеллигентов, верных Тарусе десятилетиями, верных до гроба, — умерла Цветаева, умерла Надежда Васильевна Крандиевская, умер сын ее, скульптор Файдыш-Крандиевский, умер врач Мелентьев, у которого в доме двадцать лет подряд звучала музыка...»

Центральной фигурой, духовным средоточием Тарусы был тогда, без сомнения, Паустовский, обладавший тем неуловимым магнетизмом, какой отличает не только уважаемого народом честного писателя, но и присущ добросердечному, деликатному человеку, немало повидавшему на своем многотрудном веку. По словам Казакова, Паустовского в последние годы жизни окружала «атмосфера влюбленности и связанного с ней некоторого трепета»; неудивительно, что и сам Казаков, как уже говорилось, был в него влюблен: «не любил, а именно влюблен».

Он стеснялся Паустовского, боялся всякий раз помешать неожиданным посещением, утомить, но в письмах робость свою преодолевал и делился самым сокровенным. В январе 1960 года признавался: «Я дурно жил этот год, как-то растерянно,пил много, не писал ничего. Надоела мне вдруг литература. И когда я с Вами поговорил, то есть кое-что Вам рассказал о себе, стало мне лучше, спокойнее».

И в этом же письме жаловался: «А я все не женился, не задается мне как-то личная жизнь, просто беда!» Жаловался, горевал, повторял, как благотворно действует на него семья Паустовского («И Татьяна Алексеевна, и Галя»), как хочется ему влюбиться в кого-нибудь: «Это, Константин Георгиевич, страшное дело влюбиться. Чтобы тоска хватала. Даже пусть безответно, все равно здорово».

Но когда такое случилось, Казаков сетовал на двойность писательского существования: живя, как все, терзаешься мыслью, «что не пишешь ничего, что время идет», а запершись за работой, скрывшись ото всех — «тоже тоска». В марте того же 1960 года сокрушался: «Отбыл я свой срок заточения в Голицыне, да едва ли не зря отбыл: написал всего с гулькин нос, ибо посетила меня нехстати любовь... Ну, в общем все это позади, т. к. для любви я решительно не гожусь по своему несчастному образу жизни, любить меня может только женщина с нервами кардинала Ришелье...»

Казаков, как сам он подсчитал, встречался и говорил с Паустовским раз двадцать, и чаще, наверно, в Тарусе: плавал с ним по Оке, ловил рыбу, сиживал у Паустовского в саду. И неизменно по-

ражался, с каким благоговением рассуждал старый писатель о литературе, как торопился «всех приобщить к своей любви», с какой пристальностью интересовался всем талантливым, будучи скромным в разговорах о себе, о своих книгах и замыслах.

Любовь Паустовского к литературе была, впрочем, реальной и действенной. Характерное подтверждение тому — изданный в Калуге в 1961 году (при его активном участии) сборник «Тарусские страницы», где печатались не публиковавшиеся дотоле стихи Цветаевой и Заболоцкого, Б. Слуцкого и Д. Самойлова, молодых поэтов В. Корнилова и Н. Коржавина, проза Б. Балтера и Б. Окуджавы, Ю. Трифонова и самого Паустовского, — сборник, ставший международным литературным событием и вызвавший ожесточенную полемику. Казаков напечатал здесь рассказы «Запах хлеба», «В город», «Ни стуку, ни грюку», в письмах к Паустовскому не однажды высказывал беспокойство за судьбу «Тарусских страниц», а когда они появились, радовался: «Я сам видел, какая стояла очередь за „Тарусскими страницами“, и смело теперь говорю всем вам — делавшим их — хорошее вы сделали дело, ура всем вам и еще раз ура!»

«Паустовский был добрый и доверчивый человек, — вспоминал Казаков. — К сожалению, иногда слишком даже добрый и доверчивый. Свое хорошее мнение о каком-нибудь человеке он часто распространял и на его писания. Зато скольким талантливым писателям он помог... Я не был учеником Паустовского в прямом смысле этого слова, то есть не занимался у него в семинаре в Литинституте, да и литературно я, по-моему, не близок ему. Но он так часто говорил обо мне с корреспондентами и писателями разных стран, что во многих статьях Паустовского называли моим учителем. В высшем смысле это правда — он наш общий учитель, и я не знаю писателя, старого или молодого, который не воздал бы ему в сердце своем».

А весной 1958 года, когда Казаков с Поленовым путешествовали по Оке, Паустовский сильно болел, его душила астма, но едва он слышал, что Казаков собирается на Белое море, тут же достал географический атлас и стал разыскивать пункты, куда Казакову предстояло попасть: Яреньга, Лопшеньга... И, с тоской глядя в окно на заливные луга, на Оку, просил взять его с собой, прекрасно понимая, что это невозможно.

Паустовский благословлял Казакова на его странствия и поощрял его преданность Русскому Северу, о котором сам писал не однажды, по себе зная его неодолимо влекущую силу...

Так что, как ни суди, Казаков смолоду испытал притяжение как бы двух далеких «полюсов», причем видимые противоположности этого притяжения — центр и окраина, разноликая природа и несопоставимый быт, первозданная дикость и рафинированная культура — сами по себе мало что объясняли.

«Ничего здесь нет нашего среднерусского», — как бы с сожалением замечал писатель, пребывая на Севере, наблюдая редкие, одинокие поселения, деревянные гати-мостовые, изломанные линии сизых изгородей, вздыхая о ромашках, соловьях, вишнях и пыльных полевых дорогах средней полосы. Доискиваясь ответа на смущавшую его загадку, он словно спрашивал кого-то или самого себя: «Что-то здесь присутствует, какая-то сила в этих домах и людях, и этой природе, которая делает Север ни на что не похожим, — древность ли живет здесь и властвует над всяким приезжим, или века, которые здесь как бы и не текли, новгородская ли жизнь, которая у нас давно прожита и забыта, а здесь отдается еще, как эхо, или белые ночи и море, раскинувшееся за холмами?»

Противостояние Севера и срединной России скрывало в себе для Казакова некое условие душевного равновесия.

Века, которые на Севере будто и не текли, сжимались в воображении писателя в такой монолит, когда граница между вечностью и мгновением делалась условной и человеческая жизнь ощущалась равно драгоценной в любом своем отрезке, — если только уметь прожить ее на пределе своих возможностей.

Поскитавшись, побродив в одиночестве по Северу, лирический герой казаковского «романа» хорошо понял цену такого душевного напряжения, таких взаимоотношений с временем, и может быть, именно Север научил его ревностно оберегать то недолгое счастье, что выпадало ему на долю...

Мысль о счастье пронизывает один из самых, по-моему, дорогих для Казакова рассказов — «Осень в дубовых лесах» (1961), — где противостояние северной и среднерусской жизни оказывается художественным лейтмотивом.

«Осень в дубовых лесах» можно назвать рассказом о счастливой любви. Не той любви, что увенчана брачными узами, что дарит семейное благополучие, душевную стабильность и прочность домашнего очага, — нет, это рассказ о другой любви: зыбкой, призрачной, растворяющейся в письмах и снах, и все-таки — любви, приносящей счастье. Оттого, что любовь эта лишена традиционных атрибутов и надежной уверенности в своем будущем,

герои рассказа так боятся ее утратить и так дорожат каждым ее часом.

Их первая встреча, — а имен героев, как нередко у Казакова, мы не знаем, просто: *я* и *она*, — была на северном побережье случайной, их отношения складывались прихотливо, меж ними не только пролегли тысячи разделяющих их километров от Белого моря до Оки, — меж ними еще, казалось бы, непреодолимая несовместимость столичного интеллигента и сильной, грубоватой поморки. Когда они повстречались впервые, герой был в северных краях гостем и околдовавшие его белые ночи не давали ему спать, все время напоминая, что он на этом побережье ненадолго. Героиня же, напротив, там, на Белом море, чувствовала себя хозяйкой: «Она крепко спала ночами на тонях за ситцевой занавеской, потому что на рассвете ей надо было вставать и вместе с дюжими рыбаками грести, доставать из ловушек рыбу, а потом варить уху, мыть посуду...» Но несколько месяцев спустя уже она оказалась гостьей — сперва в Москве, а потом в домике на Оке, где и протекает действие рассказа.

Казаковские герои — гости в окружающем их мире, с его условностями, социальной иерархией. Их разделяют и расстояния, и уровень интеллекта, и житейские привычки, однако крепче всяких узаконенных уз связывает их любовь, сильная тем, что заложено в ней самой, непредсказуемая и мятежная, как сама природа.

Героиня рассказа, естественная и простосердечная женщина, верит в мудрость своей любви безотчетно, угадывая сразу ее торжественную значительность, тогда как герою, с его романтической скованностью, поначалу это невдомек, хотя и он, уезжая с Севера, предчувствует, что поступает по-ребячески. «Куда же ты едешь? Ты ничего не понимаешь!» — повторяет и повторяет ему героиня при первом их расставании, призывая его опомниться и понять: их любовь — великое счастье, но утрата ее — еще более великое горе. И потребовалось время, прежде чем герой, после унижительных для них метаний по Москве, в ночном уединении на Оке окончательно прозрел...

Рассказ «Осень в дубовых лесах» — опять же пейзаж-состояние, где психологическая коллизия держится на смене лирических переживаний героя, вызванных ожиданием и потом приездом героини.

Уже на первой странице рассказа описание темной осенней ночи, — когда герою жутковато идти в звенящей тишине берегом реки, и вздрагивающий свет фонаря в руке выдает его насторо-

женность, его душевное смятение, — уже это описание, это ощущение затерянности человека в ночном лесу наводит на мысль о непрочности, о переменчивости счастья, и мысль эта ненавязчиво преследует героя не потому, что он несчастлив, а по причине как раз противоположной.

«Счастья в жизни нет, есть только зарницы его — цените их, живите ими...» — говорил когда-то Бунину Лев Толстой. И Казаков будто предупреждает своего героя о том же.

Суеверная тревога героя в ожидании любимой женщины не суетна, не сиюминутна, ее источник чист и благороден. Это радостная и скорбная тревога человека, сознающего, что все на свете преходяще, что всякое счастье не беспредельно, что над ним властно время, поскольку временно само пребывание человека в этом и прекрасном, и яростном, и печальном мире.

Когда герой рассказа в счастливом смятении спускается ночной тропой к реке, всматриваясь в неясно брезжущие силуэты и прислушиваясь, он вбирает, впитывает в себя и звенящую тишину, и открывающиеся перед ним пространства, и мерцание бакенов, «будто проколотых иглой» в непроглядном мраке. Всем своим существом он внимает природе и ловит на себе пристальный взгляд мироздания, чувствуя, как «все остальное, притаившись, молча созерцает» его самого.

Это созерцание обоюдно, взаимопоглощенность казаковского героя и окружающей его природы символична. Эта ночь на Оке — момент наивысшего прозрения героя, когда он напряженно ждет какого-то вещего отклика, какого-то ответа от природы — и получает этот ответ.

«Ночь была вокруг меня, и папираса, когда я затягивался, — пишет Казаков, — ярко освещала мои руки, и лицо, и сапоги, но не мешала мне видеть звезды, — а их было в эту осень такое ярчайшее множество, что виден был их пепельный свет, видна была освещенная звездами река, и деревья, и белые камни на берегу, темные четырехугольники полей на холмах, и в оврагах было гораздо темнее и душистее, чем в полях. И я подумал тут же, что главное в жизни — не сколько ты проживешь: тридцать, пятьдесят или восемьдесят лет, — потому что этого все равно мало и умирать будет все равно ужасно, — а главное, сколько в жизни у каждого будет таких ночей».

Этот стойкий мотив по-разному варьируется в рассказах Казакова, и в нем слышны явственные отголоски того безоглядного упоения жизнью, той отваги и бесстрашия перед судьбой, что за-

вещал русской литературе Пушкин, — недаром однажды, в рассказе «Ночлег», мелькает у Казакова пушкинская строчка: «Вся жизнь — одна ли, две ли ночи...» — та самая, что упомянута в прищвинской «Фацелии».

Если бы герои «Осени в дубовых лесах» только лишь скрывались в домике на Оке от унизительных гостиничных свиданий, от снисходительных взглядов московских приятелей и досужих обывательских разговоров, если бы они ради своей любви прятались от «цивилизованного быта», — и все! — перед нами была бы достаточно тривиальная любовная история, не более того. Но автор помещает своих героев в домике на Оке, затерявшемся среди родных полей, холмов и лесов, дабы обвенчать их с этой природой, дабы приобщить их к той вечной тайне жизни, которая с красотой природы неразлучна...

Как заметил в свое время Иннокентий Анненский, «для живописца смотреть и значит любить, как для музыканта любить значит слушать».

Вот и Казаков со своими героями — кажется, смотрит и слушает, а мы чувствуем, *как* любит жизнь он, с какой жадной изощренностью вбирает он в себя красоту мира, перевоплощая ее в художественную ткань рассказа.

И заросшая орешником, соснами и рябиной ночная дорога от берега к дому, и узкая звездная река над ней, и неслышный первый осенний снег за окном, и дымно-зеленые утром поля на холмах, «будто пересыпанные мукой», и янтарная древесина на срубе у родника — все эти поэтические штрихи оставляют доподлинное впечатление чистоты, ликующей свежести, целомудренности и покоя, как бы расшифровывая тем самым красоту любви казаковских героев.

Красота умиротворяет их, унимает тревогу, сулит им надежду на «будущее, которое, может быть, будет лучше прошлого». Они не перечат надежде, но надолго ли, «как в белом сне», останутся вместе — это для них теперь вроде бы и не самое важное. Они были вместе, на мгновение растворились в природе, прожили, узнали эту неповторимую ночь, встретили этот прекрасный, до боли ослепительный день, и потому, как бы ни боялись по-прежнему потерять друг друга, — торжество их любви свершилось, какая-то тайная мысль, напетая ночной джазовой мелодией, отныне воплотилась в их судьбе.

Сколь важен для Казакова взгляд на настоящее в процессе его сиюминутного исчезновения, сколь дорого ему «понимание того,

что каждый момент жизни единственен в своем роде и преходящ, как преходяще всякое ощущение», — об этом в 1989 году убедительно писал С. Федякин, а Е. Ш. Галимова в 1992-м продолжила: «По самой своей природе „ставка“ на мгновение рискованна. За счет того, что миг нагружается смыслом, наполняется максимально интенсивным переживанием, все остальное „теряет в весе“, лишается устойчивости... Стремление удержать ускользающее мгновение — эту единственную реальность — обнажает главное, неразрешимое противоречие мировосприятия Юрия Казакова, придающее его произведениям глубокий внутренний драматизм: достичь абсолютного счастья возможно, но возможно лишь на миг».

Однако Казаков был уверен: «мазок — и миг уподоблен вечности». Он сознательно шел на риск, догадываясь, что желанный миг нельзя упустить, не сомневаясь, что игра стоит свеч, и уповая на эту самую «максимальную интенсивность переживания». Сосредоточенная сама на себе страсть была неотъемлемым качеством дарования Казакова, неизменным атрибутом его художественного письма.

И в этом отношении он опять-таки причастен к толстовской школе и традиции.

Борис Пастернак писал о Толстом: «Он всю жизнь, во всякое время обладал способностью видеть явления в оторванной окончательности отдельного мгновения, в исчерпывающем выпуклом очерке, как глядим мы только в редких случаях в детстве, или на гребне всеобновляющего счастья, или в торжестве большой душевной победы. Для того, чтобы так видеть, глаз наш должна направлять страсть. Она-то именно и озаряет своей вспышкой предмет, усиливая его видимость. Такую страсть, страсть творческого созерцания, Толстой постоянно носил в себе. Это в ее именно свете он видел все в первоначальной свежести, по-новому и как бы впервые».

И для Казакова — в пределах, разумеется, его художественного диапазона — страсть творческого созерцания служила обязательным побудительным импульсом к писанию, «на гребне всеобновляющего счастья» проявляясь с особенной силой.

Если рассказ «Осень в дубовых лесах», с его светлой печалью, проникнут тихой, настороженной нежностью, сдерживаемой радостью героя, дождавшегося своей любви, своего звездного часа, и боязливая растерянность оттого-то в нем и поселилась, что ему странно быть до такой степени счастливым, — то беспощадно

правдивый рассказ «Адам и Ева» (1962), написанный почти одновременно с «Осенью в дубовых лесах» и тоже затрагивающий тему счастья, овеян совсем другими настроениями и расцвечен иными красками.

И здесь присутствует Север и в своем молчаливом противостоянии московскому быту, столичным праздным разговорам предстает как мощная очистительная стихия.

И здесь главный герой рассказа, двадцатипятилетний московский художник Агеев, в надежде на счастье, ожидает приезда героини, студентки Вики, — на этот раз в северном заштатном городишке, куда он выбрался писать рыбаков.

И здесь молодые герои — он и она, Адам и Ева — уединяются среди природы, совсем уж первозданной, на островке Сег-Погост где-то на карельском озере, и безоглядное ночное небо открывается им во всей своей былинной красе... Но как безнадежно далеки они друг от друга, несмотря на искреннюю их готовность к любви, и как грозно над ними это небо в космических сполохах полярного сияния!

«Адам и Ева» — рассказ о любви отринутой, сломанной. История недолгих отношений Агеева и Вики, эпизоды их северной встречи, последовавшей за мимолетным знакомством на московской вечеринке, составляют его нехитрую сюжетную канву.

И вместе с тем это рассказ трагический, рассказ о призвании и участии молодого художника, вступившего в конфликт с высокопарным пустословием и обыденщиной, с обывательскими представлениями об искусстве и оказавшегося в результате в конфликте с самим собой.

Три идейно-смысловых горизонта, три грани во взаимоотношениях художника Агеева с действительностью четко очерчены в рассказе.

Во-первых, это его любовь к Вике: потребность, капризы и обиды, вся непростая гамма этой любви, — как бы верхний слой, видимая поверхность повседневной жизни Агеева в данный момент.

Это, во-вторых, ощущение Агеевым-художником природы, реальности, которую он талантливо видит и чувствует по-своему, а натура — это и северная природа, и самые разные люди, живой, многоликий народ.

И наконец, третье — это распри Агеева с критиками-конъюнктурщиками, присвоившими себе право с апломбом выступать от имени «всего народа», с ними Агеев негласно ведет непрекращающийся бескомпромиссный диспут.

Агеев, согласно авторскому замыслу, фигура страдающая. А страдание, как известно, прерогатива всякой незаурядной творческой личности: «Что без страданий жизнь поэта? // И что без бури океан?» У Лермонтова поэт «хочет жить ценою муки», «он даром славы не берет». И Агеев — подобно самому Казакову — принадлежит к творческим личностям такого вот лермонтовского склада, к тем, для кого страдание самоценно и плодотворно.

Агеев хочет сказать о мире свое слово, хочет узаконить свои краски, свой колорит, хочет самоутвердиться как личность и как живописец. Это требует от него всей его душевной энергии без остатка, однако его усилия отстоять свою внутреннюю свободу и достойным образом реализовать свой талант встречают сплошь и рядом глухое сопротивление. Агеева бесят поучения никчемных крикунов-демагогов, которые назойливо пугают его ярлыками — «незрелость мировоззрения», «шаткая стезя», «чуждое народу», — отнимают у него уверенность в своем таланте, и потому он в пику им превозносит свою «гениальность», называя себя мессией и пророком.

Человек обостренно ранимый, Агеев так нуждается в искренней сердечной поддержке, так ищет понимания и душевного отклика у Вики, которую начинает любить; и решительно ожесточается, заслышав в ее речах сомнение в его правоте. Ему больно сознавать, что Вика склоняется к стану тех, кто ему не доверяет, в чем-то его подозревает, что она не способна ради любви поступить своими наивными суждениями и покориться Агееву безропотно, уйдя от людей судящих и став нерассуждающей натурой.

Агеев мечтал видеть Вику своим бескорыстным спасителем, единомышленником, а вместо этого угадывал в ней очередного раздраженного оппонента, — отчего и любовь оборачивалась для него еще одним ненужным поединком в защиту собственного таланта, а Вика из союзника грозила превратиться в противника.

И вот на пустынном острове, где все обещало им счастливые дни, наступает разрыв между героями, — вроде бы сперва из-за пустяков, из-за неосторожно сказанного слова. И досаднее всего, что никто им здесь не помеха, они сами во всем виноваты, — тем более что они представляют себе, как могло им быть здесь хорошо. «И было бы, было, — сокрушается Агеев, — если бы сразу согласилась с ним, сказала бы: «Да! Ты прав!» С ума бы сошел, увез бы в фиорды, в избушку, у окошка бы посадил, а сам с холстом. Личико крохотное, глаза длинные, волосы выгоревшие, кулачком подперлась... Может, в жизни бы лучше ничего не написал! Ай-яй-яй!»

Агеев жертвует любовью ради своего искусства. Талант требует от него охранных действий, как бы эгоистично они ни выглядели. Агеев не в состоянии фальшивить ни в живописи, ни в любви. Как художник и как человек он стремится найти для себя «идею в высшем смысле», познав «настоящую жизнь земли, воды и людей». И любовь, по его убеждению, призвана помогать ему в поисках самого себя, призвана пестовать эту идею, иначе любовь становится тормозом, ненужным препятствием и ей суждено погибнуть...

Тут я не могу не привести строки из письма Казакова Т. Жирмунской от 15 сентября 1959 года, проливающие кое-какой свет на ту жизненную ситуацию, которая так или иначе подпитывала и объясняла конфликт, отраженный в рассказе «Адам и Ева». Признаваясь, что их отношения зашли в тупик, Казаков писал, по привычке явно сгущая краски: «Общение с женщиной в теперешнем моем положении должно доставлять мне радость, ну, если не радость, то легкость во всяком случае. И я не могу, не хочу видеть твоих опущенных губ. Мне и без тебя слишком паршиво приходится в этой жизни, я и без тебя каждый день снова решаю свои проклятые вопросы — кто я есть на земле. К ним можно относиться по-разному, в зависимости от настроения, от событий и проч., но от них не уйти мне, как бы я порой ни смеялся жестоко над судьбой и надо всем, связанным со своей деятельностью в литературе. Мне очень тяжело порой, что наши с тобой отношения кончились ничем. Виною этому не я. Ты застала меня уже в трансе, уже таким, каков я сейчас, и в самом начале тебе надо было думать о себе и обо мне. Я тебя не обманывал. Твое все увеличивающееся недовольство мной, моим поведением мне всегда было тяжело, наверное, я все-таки не то, что нужно обыкновенной земной женщине. Согласись, что такие слова, как „Мессия“, „страдалец“, „отщепенец“, „поэт“ и т. д. хороши только издали и мало кому нужны вблизи. Так вот, не хочется, чтобы ты верила, надеялась на мое „исправление“. Я неисправим. Наверное, я буду становиться все хуже и хуже. Я стал пить, чего раньше не было. Я отбился почти от дому, и путь мой, дорога моя становится для меня крестом, а писательство — Голгофой. Я мрачен, ленив, скучен, неинтересен и брюзглив. А скучать и томиться лучше в одиночку...»

Такой вот безапелляционный приговор самому себе. Как вспоминал Горышин, Казакову было крайне свойственно «самоедство художника», и как раз о таком «самоедстве», о «капризной и роковой неуживчивости неустоявшегося таланта „на общем уров-

не“ — рассказ „Адам и Ева“, самый, может быть, „автопортретный“, — по словам Горышина, — безвыходно-мрачный по колориту и с пульсирующей внутри, жизнетворящей, как кровь, верой в непобедимую красоту жизни». Казаков, по свидетельству Горышина, «обладал неколебимой убежденностью в своей правоте; это нужно было ему для самосохранения, противостояния всякого рода антагонистам, каковых хватало. Он утверждал себя с поистине московской самоуверенной непосредственностью. Его бесцеремонность могла бы кого-нибудь и обидеть, но она подкупала своей недвусмысленностью, особенным казаковским энтузиазмом. Казакову позволено было то, что другому бы не простили».

Как же восприняли драму казаковского героя критики, когда рассказ «Адам и Ева» был опубликован?

Одни из них безоговорочно осудили Агеева, а заодно с ним и автора. Они предъявляли рассказу обвинительные акты, словно принимая заявления о критиках-лжецах в собственный адрес. Агеев представлялся им мелкой, низкой, мстительной натурой, они отказывали ему в таланте. По логике таких критиков, Агеев с детства использовал поклонение окружающих, возомнил о себе, что он гений, а все подонки, но, не найдя «идеи в высшем смысле», почувствовал творческую несостоятельность, озлобился на жизнь и поднял против нее несправедный бунт..

Другие критики были снисходительнее и не хотели воспринимать рассказ как приговор «баловню судьбы», но их не устраивала сама «идея в высшем смысле» — как они ее трактовали. А. Марченко, например, усматривала в рассказе почти «клиническую картинку» кризиса этой идеи и утверждала: «Хотел того Ю. Казаков или не хотел, но рай на острове с символическим названием Сег-Погост не состоялся, роли Адама и Евы оказались не по нутру современным людям. Декорации рухнули, арбатский пантеизм обанкротился. И более того: тупик, в котором оказался Агеев, — это тупик художника, который вздумал бы, противопоставив современности „биологическую весну“ и „человека во плоти“, отгородиться от ее сложностей — не большой горой, так соломинкой».

Но ведь Казаков и писал о том, что рай на острове Сег-Погост не состоялся. Только в отличие от критиков он-то знал, что герой его по-настоящему талантлив — иначе стоило ли огород городить? — и верил, что, обманувшись иллюзией любви, Агеев «все равно будет делать то, что должен делать», что его никто не остановит в его безудержном стремлении к самоосуществлению, и что это ему потом, как говорят, зачтется.

Если судить об Агееве, забыв, что он наделен талантом, его сумрачное для постороннего наблюдателя существование, его вызывающие повадки, действительно, могут сойти за пустую, циничную беготню, а его разгульное времяпрепровождение кому-то покажется дурной бессмыслицей.

В глазах обывателя Агеев пижон, угрюмый эгоист и «духовный стилинга». Но если принять условия авторского замысла и судить об Агееве, не преувеличивая внешних раздражителей и сомнительных черт его характера, если внять его мучительным поискам себя, оценить, как должно, его готовность отрешиться ради творчества от всего суетного, даже и от лично дорогого, — то и драма казаковского героя предстанет перед нами во всей ее нелицеприятной, но искупающей все его грехи правде.

Агеев против жизни не бунтует, не отгораживается от современности и не злобится на простых людей, — природу и людей он чувствует и любит никак не меньше, чем те, кто взялся его авторитетно поучать. Задумываясь, почему не хватало ему до сей поры «какой-то основной идеи», Агеев, как бы его ни оговаривали, в состоянии трезво оценить и упрекнуть себя за то, что был «равнодушен, вял и высокомерен в своей талантливости ко всему, что не было его жизнью и его талантом».

Такое положение вещей действует на Агеева угнетающе, и дело здесь не в кризисе идеи «арбатского пантеизма», вообще не в самой такой идее, как там ее ни определи, а в психологии художественной натуры, смолоду возгоревшейся желанием найти в действительности и утвердить в искусстве свой идеал.

Для Агеева важнее всего то, что Пушкин называл «самостоянием человека», — а именно спонтанная способность свободного волеизъявления своей натуры, своего дара, своего характера и темперамента. Он с таким упорством отстаивает свою духовную независимость, потому что видит в ней коренное условие всякого творчества. И если некоторые качества его характера, некоторые стороны его поведения идут вразрез с высоким назначением его таланта, то возникающее здесь противоречие острее и мучительнее всех переживает он сам.

В одном из писем, как раз в связи с Пушкиным, П. Флоренский заметил, что «удел величия — страдание, страдание от внешнего мира и страдание внутреннее, от самого себя. Так было, так есть и так будет. Почему это так — вполне ясно; это — отставание по фазе: общества от величия, и себя самого от собственного величия, неравный, несоответственный рост...» П. Флоренский ви-

дел в этом проявление *закона жизни*, ее аксиому, — а значит, эти слова с допустимым коэффициентом можно относить к явлениям разного ранга. Если же применить их к сюжетной ситуации, использованной Казаковым, то отставание «общества от величия, и себя самого от собственного величия» будет необходимой гранью конфликта, в котором оказался талантливый герой рассказа «Адам и Ева». Причем отставание «себя самого от собственного величия» для Агеева даже болезненнее, чем его спор с обществом.

Из критиков, обращавшихся к рассказу «Адам и Ева», ближе других к пониманию казаковского замысла был Е. Громов, полагавший, что проблему творческого эгоцентризма в любом случае нельзя скинуть со счетов, когда речь касается судьбы таланта. От такого эгоцентризма страдает не только окружение художника, но и он сам больше других: естественные чувства — к другу, к любимой женщине, к детям — иногда начинают соперничать у него с чувствами эстетическими, с необходимостью самозабвенно погрузиться в работу.

Вникая в казаковский образ, Е. Громов писал (1969): «Агеев — художник не только по профессии, но и по натуре. Искусство для него — альфа и омега собственного существования. Отсюда вытекает его особая гордость, переходящая в высокомерие, и легкая ранимость, перерастающая то в грубость, то в самоуниженность... Казаковский Агеев — весь в мысленных взлетах и падениях. Он же, помимо всего прочего, очень молодой человек, не умудренный еще опытом жизни. Его внутренний мир сложен из острых, неотшлифованных кристаллов...» Когда на жизненном горизонте Агеева появляется Вика и предъявляет на него какие-то права, Агеев по привычке настораживается, он никак не желает признать, что эта милая «студенточка» может претендовать на собственное мнение, что она, даже любя Агеева, не обязана растворяться в его личности. Казаков, как справедливо считал Е. Громов, не оправдывает своего героя. К особой гордости у Агеева примешивается и недостаток чувства. Многие упреки Агеева к Вике не обоснованы. Однако и она, еще, в сущности, девочка, пасует перед его парадоксальными творческими порывами. В результате оба героя и виноваты и не виноваты в разрыве, но оба они, пусть в разной степени, ответственны за него.

Отстранив от себя любовь, Агеев готов выбраться из творческого кризиса. Простившись с Викторией и оставшись один на один с «тайной своего самоосуществления», он, несмотря на безмерную

тоску, ощущает прилив энергии и, как ни скверно у него на душе, чувствует приближение счастливых минут вдохновенной работы...

И здесь хочется с удовлетворением подчеркнуть: замысел «Адама и Евы», чем дальше, тем все глубже и точнее прочитывался критиками. Если в 1962 году А. Борщаговский писал об Агееве: «Он натура не творческая, не тонкая, и Казаков терпит поражение в попытке убедить нас, что он — художник, и художник талантливый», если А. Борщаговский считал казаковского Агеева «шагом назад в изображении мятущегося, протестующего интеллигента в русской литературной традиции», — то, скажем, И. Штокман в 1988-м уже нисколько не сомневался: «Агеев — художник, живописец, причем талантливый, и в рассказе рассыпано немало деталей и точных мет, говорящих об этом... Творчество — главное в жизни Агеева, и простить небрежение к этому своему призванию и делу, непонимание, вообще какое бы то ни было несоответствие ему Агеев просто не может». Оставить без внимания этот момент, по мнению критика, — «все равно что не прочесть рассказ толком».

И сверх того, «Адам и Ева» представлялся И. Штокману «историей как-то по-особому автобиографической»: «В этой горькой и печальной людской встрече-разлуке, — по его словам, — явственно слышатся голос и раздумья самого Казакова и, в частности, его отношение к творчеству, этому кресту, который и тяжек, и мучителен временами, но он — все, без него — нет жизни, нет ни смысла ее, ни Главного Счастья в ней, хотя счастье общежитейское, простое и всем-то, кроме творцов, куда более доступное, почему-то ускользает при этом бесследно, манит, но не дается в руки».

О том, сколь тяжек был для Казакова «крест творчества», бремя таланта вспоминала Т. Жирмунская, усматривавшая скрытую переключку рассказа «Адам и Ева» с незавершенным «обрубком рассказа» «Пропасть». Она мысленно обращалась к Казакову: «А с какой страстью ты писал его, как внутренне дрожал: это угаданное мной... состояние, когда зуб души на зуб не попадает, когда внутри одна сплошная пляска святого Витта, было единственным, в котором ты мог творить. Оттого так ненавидел внешние помехи: сперва институтские, потом союз-писательские настырные ЦУ, хищную дружбу коллег, капризы влюбленной девочки, недовольные вздохи родственников и свойственников». По словам Т. Жирмунской, Казаков далеко не всегда имел возможность «развязать душу до вольной художественной вибрации», но если ему это удавалось и его «божественное „я“ вырывалось на свободу, озноб души, настроенный на одну волну с колебаниями мирового

эфира», независимо от его воли «перетекал в полновесную и окончательную словесную музыку», «желтая лихорадка вдохновения» его в такие моменты «трепала немилосердно». Воистину: талант — «ядовитейшая вещь».

«Пропасть» — «восемь страниц о гибели любви, роковом несовпадении душ и судеб, неожиданной смерти», — по свидетельству Т. Жирмунской, была «задушевым созданием» Казакова. Причем герой рассказа ленинградский геолог Агеев, как она считает, сам провоцировал «реакцию распада», начинал и успешно вел «подрывную работу по уничтожению счастья»: «Уже собравшись, перед тем, как ехать на вокзал, он имел время зайти к ней, предупредить, узнать адрес, но не пошел... Не пошел нарочно из-за какого-то мгновенного упрямства, с едкой радостью думая о том, как она огорчится, отчается, когда он не придет в субботу, когда пропадет, исчезнет для нее на много дней, и каким зато счастливым будет их свидание, когда, вернувшись, он придет к ней». А вернувшись через два месяца и войдя в квартиру через «двустворчатую старинную дубовую дверь», Агеев видит крышку гроба, прислоненную к стене в коридоре...

Рассказ «Пропасть», как явствует из письма Казакова к матери (18 ноября 1958), имел, между прочим, два варианта финала: в одном героиня уезжала, в другом — умирала, однако заключительные страницы рассказа не сохранились (да и были ли они написаны?).

Т. Жирмунская дает тут такое объяснение: «Ты-то никогда не заблуждался насчет природы человека вообще и нашего в особенности. В человеке тьма восстает на свет, и пожирает его вместе с потрохами и побегими высшего, и торжествует победу. А потому еще и хвастливо именуешь себя светом — вот что самое обидное. Ты это знал, ты об этом писал, когда всякими моральными кодексами старались прикрыть бездны и пропасти человеческой природы. А тебя называли очернителем, декадентом, смакователем физиологического начала...»

В рукописи рассказ обрывается на полуфразе, а герой с той же (намеренно?) фамилией Агеев появляется в «Адаме и Еве», совсем иной человек, московский художник. Но если в «Пропастях» поведение героя было как бы фатально predetermined, вызвано минутной прихотью, душевным вывертом и только, то поведение художника Агеева имеет основательную, четко выверенную психологическую мотивировку.

Казаков, как заметил О. Салынский (1987), относился к прозаикам «особого, не так уж часто встречающегося типа, взгляд

которых выбирает в многообразии жизненных явлений, характеров лишь то, что отражает их собственную душевную проблему. Отсюда повторяемость человеческих типов и конфликтов между ними», и не случайно, по мнению О. Салынского, лирического героя в пространстве казаковского «романа» сопровождает его «черный человек».

И еще один рассказ, наряду с «Осенью в дубовых лесах» и «Адамом и Евой», стоит вспомнить, говоря о том, как преломлялись северные впечатления Казакова, когда он размышлял о счастье, — рассказ «Проклятый Север» (1964), в первоначальной редакции называвшийся «Нам становится противно».

Тональность этому рассказу — тревожному, внутренне ожесточенному, но зовущему к снисхождению — задает обращение автора к Чехову, к его пребыванию в Ялте. Казаковская ненависть к оголтелой пошлости обнаруживается здесь, кажется, как нигде. Обывательское представление о счастье, о «шикарной жизни на юге» сталкивается в этом рассказе с чем-то едва уловимым — с драматической мечтой о счастье по Чехову.

Власть мешанства, которой так подвержен курортный быт, — да разве только курортный и только ли быт! — вызывает резкое, обостренное неприятие у рассказчика, недовольного, впрочем, и самим собой, своей неприкаянностью в «нормальной жизни». По своему мироощущению рассказчик здесь, нужно заметить, максимально близок к автору. Близок настолько, что не раз высказывалось сомнение: соответствует ли интеллект главных героев рассказа их рыбацкой профессии, не являются ли они фигурами достаточно условными, лишенными социальной конкретности? Этот упрек отчасти правомерен, казаковские герои не лишены здесь условности. Автобиографичность в этом рассказе (а он, действительно, автобиографичен, в письмах Казакова к Конечкому можно прочесть: «Написал я рассказ про тебя...»; «...тот рассказ, где мы с тобою в Ялте»; и т. д.) остается как бы не до конца художественно преодоленной.

Вспомним: Казаков понимал автобиографизм как неперемное условие художественности. Его рассказы — это звенья его «иероглифической биографии». И о Чехове он, кстати, рассуждал так: «Каждый талантливый писатель — единственный в своем роде, потому что пишет лишь себя, лишь о мире, который окружает его небывалую, отличную от всех личность. Что там ни говори, а герои Чехова — все эти бесчисленные врачи, художники, учителя,

землемеры, генералы, мужики, помещики и прочие и прочие — это он сам в разных ипостасях, это круг его родных и знакомых, люди, встреченные им в жизни, это, наконец, его душа, воспринимающая мир по-чеховски, душа любящая, страдающая одному и презирающая другое, душа, вовсе не напрасно пришедшая в этот мир, мелькнувшая в нем кратким сиянием, нет, не напрасно, если не напрасен вообще наш мир». Такова принципиальная творческая установка Казакова.

...Открывается «Проклятый Север» характерным признанием: «Весной на меня наваливается странная какая-то тоска. Я все хочу чего-то, мне скучно, я думаю о проходящей своей жизни, много сплю и встаю осоловевший и разбитый...» Столь минорное настроение заявлено в рассказе с первой страницы, и ответа на вопрос: в чем причина этой тоски? откуда эта мысль о быстротечности жизни? — писатель добивается на всем протяжении рассказа, время от времени обращаясь мысленно к Северу.

Благоуханная, теплая Ялта и «проклятый Север» — будто два противовеса. Север в его конкретности не присутствует здесь географически, но служит чертой отсчета во всех раздумьях героев рассказа. Север живет в них самих, питает их бескомпромиссность, раздраженность окружающим благолепием — и это сказывается на каждом шагу. Глядя на освещенные в ночи белые лайнеры, они с яростью думают: «Мы презирали эти пароходы за их величину, за лень и благополучие, за их освещенность и легкость. Мы не могли смотреть без смеха на южных моряков-каботажников, на их белые мичманки, белые рубашки, на галстуки и на их отутюженные брючки. Мы вспоминали, как кривоного, беспомощно и упорно пляшем мы в полярном мраке, среди воя и свиста, среди гулких ударов, скрипа и треска — на палубах, резко освещенных рабочими лампами». Так думают казаковские герои в полном согласии с авторским мироощущением, и не это ли противопоставление Севера и Ялты рождает их тоску?

А может, виновна в их тоске ялтинская весна: красно-лиловые горы, которые по вечерам «постепенно теряли свои краски, становились сперва палевыми, дымчатыми, потом густо-лиловыми, потом черными»; запах цветов и влажной земли, тянувшийся из садов на узких улочках; розовые лепестки на плитах тротуаров; цветущее иудино дерево с мучительно искривленными ветвями, будто сочащимися кровью на закате, — весь весенний Крым, который в это время «розово дымился и пах нежным дурманом»? Может быть, эта красота, древняя, отдельная от людей, как и при

Чехове, опровергала собой беззаботную людскую суету, и оттого Ялта виделась казаковским героям «убогой, веселье людей — неестественным», и даже море было в их глазах «слишком прилизанным и удобным, созданным будто специально для отдыхающих»?

Может быть, причина душевного разлада в этом контрасте?

Некую завесу над состоянием героев рассказа приоткрывает посещение ими чеховского домика. Свидание с Чеховым, с тенью Чехова в его ялтинском доме не унимает их тоски, даже усиливает ее, но вместе с тем придает ей новый оттенок. Им по-человечески жалко Чехова, немало горевавшего в этом доме, им досадно, что какая-то заезжая компания, какие-то красномордые, распаренные типы бродят теперь по его комнатам и говорят о хозяине дома глупые, оскорбительные слова, им до слез обидно, что пошлость оскверняет приют великого писателя, который всю свою жизнь беспощадно воевал с ней, высмеивал ее и вот бессилен от нее защититься.

Казаковским героям как бы передается чеховская тоска по красоте, по умным, деликатным людям, они всей душой сочувствуют Чехову, улавливая в его невзгодах и душевных страданиях нечто созвучное своим собственным настроениям. «Несчастливая была у него жизнь, — говорит друг рассказчика, немало о Чехове прочитавший, — а крепкий все же был человек, настоящий!» Эта крепкость, стойкость чеховского характера, его негромкое мужество больше всего импонируют героям «Проклятого Севера» и самому автору.

Между прочим, Чехов в одном из писем сказал: «Кто постоянно плавает в море, тот любит сушу; кто вечно погружен в прозу, тот страстно тоскует по поэзии». Эти слова будто прямо адресованы казаковским героям, которые словно расшифровывают их на свой лад: «Когда долго живешь в море и видишь все одно и то же: треску, морского окуня, поднимающийся и опускающийся горизонт, вспененную, взлохмаченную поверхность воды, когда в каюте у тебя все ерзает, падает, когда ты сам во сне валишься через бортик койки и только в последнее мгновение цепляешься за что-нибудь и снова забираешься под одеяло, — хочется чего-то высокого и настоящего: настоящих женщин, музыки, настоящей еды, интересных разговоров и тишины».

Герои Казакова тоскуют о поэзии, страстно хотят чего-то высокого и настоящего. И та парадоксальность, с какой уживается в них уверенность в себе с внутренней деликатностью, гордость и бравость с застенчивостью, с каким-то подсознательным смирением, — для них особенно показательна. Как и меланхолическая

потерянность в суждениях о любви, неудовлетворенность собой, жалость и снисхождение к «некрасивым женщинам». Мечта о той единственной любви, про которую друг рассказчика говорит: «Может, я как раз хочу, чтоб было такое смертельное, что ли, понимаешь? Чтобы я погорел на этом деле к чертям собачьим! А?»

Впрочем, имело место в замысле еще одно обстоятельство, зафиксированное в первоначальной редакции («Звезда», 2011, № 5). Там, среди прочего, рассказчик вспоминал, как весной посетил туристом Румынию: «что-то такое швейцарское, горное, тихонькое, виллы, дворцы, уютные отели, брусчатка на улицах, горный воздух», канатная дорога к снежным вершинам, лыжники и лыжницы в красных, голубых, желтых и зеленых свитерах, «полным-полно разных шведов, французов и немцев». И как на этом пестром, беспечном празднике он и его тогдашний спутник, в мрачных мешковатых пальто, казались себе убогими, неуклюжими и все твердили фразу, услышанную от журналиста, который издевательски хаял заграничную жизнь — с «разгулом бездельников», «проклятым, смердящим джазом», «прекрасными девушками, гибнущими в пороке», — ханжескую фразу: «Нам становится противно». Вся эта обстановка, зажатость и ущемленность при встрече с людьми внутренне свободными, гнет привычного лицемерия рождали у рассказчика «какую-то эмигрантскую тоску». И это — еще одна краска в душевном облике рассказчика, она-то в печатном варианте «Проклятого Севера» как раз и потерялась.

В марте 1962 года Казаков извещал Конецкого: «В „Знамени“ рассказам моим „Адаму и Еве“ и „Нам становится противно“ — дали отпор. Скорино написала маленькую рецензейку, как поправить рассказы, чтобы они пошли. И в этой рецензейке сто семнадцать пунктов, и если я их все исполню, то получается статья на тему, как стать вегетарианцем, и кастратом, и импотентом. А этого я не хочу, пушай народы, которые этого хотят, сами доходят, своими мозгами, я им в этом не помощник. Так я забрал рассказы, скрипнул прокуренными зубами, ударила мне в голову почти черная кровь (как на меня в пародии написали), и понес их в „Новый мир“ к Твардовскому. И не знаю, сколько там насморкал и наплевал Твардовский, когда их читал».

«Новый мир» рассказы тоже отверг. А Конецкий в ноябре 1963 года писал Казакову: «Очень хочется увидеть рассказ о Ялте напечатанным. Ты его прихвати с собой. Дадим, ради смеха, в „Неву“, а? Всяко бывает. Только почему ты его „Проклятый Север“ назвал? Обидится Север, обозлится, а злить его опасное дело».

Рассказ «Нам становится противно», попутешествовав по редакциям, подвергся жестокой вивисекции в журнале «Москва», где в 1964 году, в № 6, и был опубликован «Проклятый Север», текст которого на две трети повторял первый вариант. Эти начальные две трети особого ущерба не понесли, если не считать пустяковых вычерков (например, было изъято имя Ива Монтана, оказавшегося на тот момент у нас в немилости), а вместо семи финальных страниц (румынский эпизод) автором были вписаны два коротких абзаца, упростившие главную содержательную доминанту прежнего замысла. «Проклятый Север» по-своему целен, только вот объяснение мрачного настроения и тоски у рассказчика и его друга-капитана здесь было урезано.

Герои «Проклятого Севера» в силах критически воспринимать свое душевное состояние, не избегая неутешительных для себя признаний. Как ни иронизируй над их условностью, искренность их страданий очевидна и авторское единодушие с ними несомненно. Скука, как говорил Пушкин, «есть одна из принадлежностей мыслящего существа», — и, может быть, потому казаковские герои не вписываются в общий колорит беззаботного веселья, они лишние на этом пиру и выход из такого положения обязаны искать сами, на свой страх и риск.

Герои Казакова пребывают наедине со своей печалью: «...нам некуда было деваться, а только разговаривать о смысле жизни, о ее краткости, переменчивости, — исповедуется рассказчик, — и чем веселее было вокруг нас, тем грустнее было нам, хотя это и глупо грустить, когда весна, когда ты в Ялте, на берегу прекрасного моря, когда кругом так много людей, и так южно и древне пахнет, так все зовет к бездумности, к счастью — но что делать, и кто виноват, что нам плохо!»

Бездумность и счастье для них несовместимы. Оказавшись, что называется, не у дел, герои рассказа пересматривают свою жизнь, вспоминают молодость, свое знакомство в зимнем Ленинграде, и выясняется, что тогда они были отчаянно веселы, все ждали «чего-то замечательного», грезили Севером, и никакие невзгоды не мешали им просыпаться утром с вопросом: «Что мне сегодня предстоит такое хорошее?» Память подсказывает им имена товарищей, погибших потом в Арктике, подсказывает имена любивших их женщин, извлекает из забвения эпизоды, когда им вдохновенно думалось о «любви и вообще о всех людях», — и причины тоски казаковских героев все больше открываются.

Герои рассказа снова и снова уносятся мыслями к Северу. «Я глядел кругом, будто проснувшись, — признается рассказчик, — и с удивлением думал, зачем мы здесь, и что с рук наших уже сходят мозоли, и что пора назад на Север — там скоро весна, что мы прямо-таки отравлены этим проклятым Севером, что и говорим-то мы все последние дни только о нем, и Чехов хотел на Шпицберген, и, наверное, поэтому нам так скучно. И, думая обо всем этом, я поежилась от сладкой печали, от любви к жизни, ко всем ее подаркам, все-таки и не очень редким, если припомнить...»

Как бы ни хандрили казаковские герои, их тоска — от любви к жизни, им чужда праздность, и не разлад с миром, а жажда единения, потребность в духовной гармонии руководят ими.

В конце концов, в другом сюжете подобные герои могли оказаться в других обстоятельствах, и тогда уже не Север, не море, а что-то иное — не менее фатальное! — манило бы их, и они так же мучились бы в надежде найти себя, одолеть скверну в самих себе, и тогда им тоже некуда было бы деться от извечных российских вопросов: что делать и кто виноват?..

Размышляя об особенностях русского рассказа и западной новеллы, Казаков подчеркивал, что, в отличие от западной новеллы, с ее «остроумным, захватывающим сюжетом, необычайными ситуациями», с внезапным, нередко парадоксальным концом, в русском рассказе очень часто ничего, на первый взгляд, не происходит, сюжетная линия бывает тщательно заглушена, но русский рассказ, «кроме основного тона, имеет, как правило, множество обертонов, кроме одного чистого и ясного звука — множество призвуков. И чем чище взята основная нота, чем больше призвуков слышится в ней, тем лучше рассказ».

«Проклятый Север», — а тем более «Нам становится противно» — с внешне аморфным сюжетом, от начала и до конца соткан из тончайших призвуков, из эмоциональных обертонов, отчего так ощутим в нем лирический авторский настрой. Его герои просто сидят и разговаривают, либо гуляют по набережной, либо проводят вечер в ресторане, однако энергия авторского переживания достигает здесь, кажется, предельного накала, и в самой «бессюжетности» рассказа заметна оглядка на Чехова, который служил для Казакова в его раздумьях о русском рассказе непререкаемым авторитетом.

«Разве не банально все то, что происходит в „Даме с собачкой“ Чехова? — как-то размышлял Казаков. — Курортное знакомство, переходящее в легкую связь, расставание, а потом обыден-

ная, налаженная годами жизнь у него и у нее, редкие свидания тайком, любовь, слезы... Попробуйте пересказать содержание человеку, не читавшему рассказа, — тот, скорее всего, пожмет плечами: о чем только пишут? Ничего интересного! И сколько таких рассказов у Чехова, Бунина, Короленко, Горького и у советских писателей Паустовского, Нагибина, Лихоносова, Битова, Белова... Дело, следовательно, не в случае, послужившем основой для рассказа, не в его оригинальности или неоригинальности, а в том, с какой душевной мерой подошел к этому случаю автор. Дело прежде всего в том, что автор, наделенный в высокой степени ощущением родства со всеми людьми, делает этих людей как бы соучастниками всего происходящего в его рассказе...»

Вот эта *душевная мера*, предполагающая «универсальную общность со всеми остальными людьми», общность высшего порядка «в высокой области духа и сердца», эта неукоснительная *мера*, с которой автор способен подойти к своим героям, а равно и к самому себе, бескомпромиссность его нравственной самооценки как нельзя лучше характеризуют рассказ «Нам становится противно».

И тут, чуть как бы отвлекаясь в сторону, хочется обратить внимание вот на что. В октябре 1961 года, работая над рассказом «Нам становится противно», Казаков просил Конецкого: *«Умоляю, вышли мне срочно те (!!!) фразы, которые ты записал в доме Чехова... Когда мы там были, ты записал, что говорила одна тетка пошлая, какие-то она задавала пошлейшие вопросы насчет Чехова и ты записал в блокнот. Ты посмотри в блокноте и пришли мне срочно — мне надо, пишу нелепый рассказ про Ялту, очень надо»*. Конецкий ответил: «Пошлая тетка говорила: „В таком доме и я написала бы чего-нибудь... Да, ничего себе домик! Сколько тут комнат? Ого! А говорят, скромный был“...» Эти слова попали в текст рассказа, а Конецкий много позже в связи с этим рассказом отметил, что «беспощадности в рассматривании самого себя и точности микроскопических мелочей» Казаков учился у Чехова.

Похожую ситуацию описывал и Георгий Семенов. Они с Казаковым охотились под Вологдой, ночевали у каких-то деревенских стариков. По возвращении Казаков принялся писать рассказ, где фигурировали эти старики, и как-то позвонил Семенову, прося о встрече. «Оказалось, — вспоминал Семенов, — что он забыл слово, которое произнесла старуха, перед тем как мы легли спать у нее в избе. К счастью я это слово помнил... Я тогда понял, что он запнулся на этом слове, и рассказ остановился...» «Кстати, —

добавлял Семенов, — слово, которое он забыл, было самым обыкновенным словом, только чуточку исковерканным старушкой».

Да, для Казакова, когда он писал свои рассказы и когда, впрочем, переводил чужие тексты, не существовало мелочей, пусть и микроскопических на сторонний взгляд. Он обдумывал каждую фразу, *каждое слово*. Не мог, по свидетельству Семенова, «погрешить против истины даже в малом, даже в едином слове», «не мог пойти на ту маленькую ложь, которая разрушала для него самого весь его рассказ». Это же подтверждала Т. М. Судник. Отвечая в 2002 году на вопрос корреспондента: не мучило ли Казакова то обстоятельство, что он написал мало, Тамара Михайловна приводила мнение Федора Абрамова: «Говорят, Казаков написал мало. Разве надо писать много? Грибоедов написал „Горе от ума“...» И объясняла про Казакова: «С его несравненным мастерством он мог бы, конечно, написать гораздо больше. Но ведь он не был беллетристом. Он чувствовал ответственность за каждое слово».

Глава 8

«И ВЗДОХ МОЖЕТ ПРОНЗИТЬ...»

Казаков всегда оставался убежденным приверженцем лирической прозы, связывая ее родословную с классической русской традицией. В этом ключе рассматривал он и литературную ситуацию конца 1950-х — начала 1960-х годов.

Участвуя в дискуссии, развернувшейся на страницах «Литературной газеты» в 1967—1968 годах, Казаков писал о том, что в недавнем прошлом лирическую прозу сопровождали версты проработочных статей, что ей нужно было быть достаточно мужественной, чтобы отстоять самое себя, — и все-таки она выжила и утвердилась, и произошло это потому, что лирическая проза, по словам Казакова, «пришла на смену потоку бесконфликтных, олеографических поделок и принесла в современную литературу достаточно сильную струю свежего воздуха». Сначала робко, а потом все смелее она ломала установившиеся каноны как в самой прозе, так и в критике; писать о лирической прозе набором штампов и газетных прописей, составлявших лексикон рецензий о «производственных» романах, было нельзя, нужно было подтягиваться «до уровня нового писателя».

Заслуги и возможности лирической прозы стали тогда очевидны, и все-таки зачастую ей отводили роль падчерицы в литературном процессе, не принимая в расчет ее неоспоримых достижений. Возражая своим оппонентам, Казаков спрашивал их: «Если чувствительность, глубокая и вместе с тем целомудренная, ностальгия по быстротекущему времени, музыкальность, свидетельствующая о высоком мастерстве, чудесное преображение обыденного, обостренное внимание к природе, тончайшее чувство меры и подтекста, дар холодного наблюдения и умение показать внутренний мир человека, — если эти достоинства, присущие лирической прозе, не замечать, то что же тогда замечать?» «И вздох, — добавлял он, — может пронзить...»

В той дискуссии конца 1960-х годов разговор о лирической прозе велся в основном на территории прозы «деревенской». «Сердечная тоска по родной земле и лирическое паломничество к ней» — так формулировал определяющий мотив тогдашней лирической прозы один из участников дискуссии. И тут раздавались недовольные голоса о том, что лирическая проза идеализирует человека деревни, поднимает на щит патриархальность, что целый хор писателей «ведет проникновенную мелодию грусти по оставленному и зовущему миру деревни, мелодию растроганно-благодарного прикосновения к истокам».

И это — на пороге последнего разорительного натиска на деревню, уничтожившего почти окончательно былую крестьянскую культуру.

Не вдаваясь в подробности той дискуссии, нужно сказать, что Казаков в отличие от многих деревню бездумно не славословил, и связи его лирического героя с деревней, с людьми, хозяйствующими на земле, были вполне естественными. Поначалу, как помним, этого героя привела в деревню охота, интерес к природе и страсть к скитаниям, он воспринимал деревенские нравы с точки зрения человека городского, которому эта жизнь в новинку, с юношеской категоричностью реагировал на всякую грубость и бессердечие. Однако наряду с этим, до известной степени инфантильным отношением к деревне, в рассказах Казакова упрочилось и другое — авторское — отношение к понесенным деревней необратимым утратам и переменам в психологии современного сельского жителя.

Казаков деревню не идеализировал. Доверяясь всецело своему художественному чутью, он умел посмотреть на нее глазами отнюдь не равнодушного, но при этом строго объективного свидетеля событий, умел изображать ее отстраненно, сдерживая собственные эмоции. Казаков не комментировал поведения своих деревенских персонажей, не навязывал им авторских деклараций, — он лишь достоверно описывал их поступки, их переживания и побуждения, а выводы напрашивались сами собой.

И пожалуй, в первую очередь задевала Казакова та проблема, которой он коснулся еще в рассказе «На полустанке», проблема, столь трепетная для «деревенской прозы», — а именно уход крестьянина из деревни, тяга сельского жителя к благам городской цивилизации.

В этом плане нельзя не вспомнить рассказ Казакова «В город» (1960) — в первой редакции «Лешак» — и фигуру главного

героя этого рассказа, плотника Василия Каманина, наверное самую мрачную фигуру во всем казаковском «романе».

Деревенский человек по рождению, Василий Каманин еще с довоенных времен, с той поры, как однажды попал по вербовке на большое строительство, проникся неистребимым желанием перебраться на жительство в город. Хороший плотник, с приличными заработками, он жил в просторной старой избе, чудом уцелевшей в войну, когда немцы сожгли деревню дотла, жил, надо полагать, в достатке, по крайней мере лучше других односельчан, но каждый год по осени начинал тосковать и, равнодушный ко всему, думал о заманчивой городской жизни.

Причем представление об этой несбыточной для него жизни Каманин имел, мало сказать, своеобразное: «Городских он терпеть не мог, считал всех дармоедами, но жизнь городскую — парки, рестораны, кинотеатры и стадионы — любил до того, что и сны ему снились только про город».

Жена Василия Акулина, женщина красивая и тихая, его мечту не одобряла, противилась уезжать из деревни, — «шептала по ночам о земле, о родине, о хозяйстве», — Василий за это на нее злобился, и особенно негодовал потому, что соседи посмеивались над его несвободой: вот, мол, мужик не может настоять на своем.

До поры до времени этот конфликт, видимо, оставался в рамках семейного разлада, домашней распри, но после того, как дочери, выйдя замуж, перебрались в город, Василий вовсе заскучал, стал зверски пить и во хмелю бил жену. Потом Акулина неизлечимо заболела, выяснилось, что дни ее сочтены, — и вот в этот критический момент произошло с Василием непоправимое: не внимая ни горю, ни милосердию, ожесточился он до предела, и его, прежде, в общем-то, понятная, мечта лишилась всякого извинительного ореола.

Внутренний, семейный конфликт обнаружил свою социальную подкладку. Кульминацию этого конфликта писатель и фиксирует в рассказе, сосредоточивая основное внимание на двух сценах — на разговоре Василия с председателем колхоза и на отъезде Акулины из родной деревни.

К председателю Василий направляется попросить лошадь, чтобы отвезти жену в больницу. С первых строк, когда он ранним хмурым утром, «осклизаясь, тяжело переставляя ноги», шагает в соседнюю деревню, в рассказ проникает настроение гнетущей безысходности, источаемой Василием, и сама его внешность — его мутные с желтыми белками глаза, бурая, давно не мытая шея,

серая застарелая щетина, слабая с похмелья голова, противная слюна во рту — сама его внешность и его пасмурное состояние не вызывают к нему никакого расположения. А окружающий пейзаж: грязная исключостанная дорога, свинцовая вода между отвалами вспаханной зяби, низкое серое небо без малейшего просвета, без надежды на солнце — вся эта безотрадная картина ощущение угнетенности, придавленности, душевного неблагополучия многократно усиливает.

И мысли Василия столь же тусклы и неприкрыто циничны. Ожидая председателя, поглядывая на его недовольную непрошеным гостем жену, «крепкую чернявую бабу с тугим задом», Василий думает о том, что Акулина скоро помрет, надо будет делать гроб и лучше заранее «раздобыться хорошими досками», что на поминки барана придется резать, а то и двух, «родни припрет, пожрать любят», прикидывает, кому и за сколько продать дом и хозяйство. Ни жалость, ни раскаяние, кажется, вовсе незнакомы Василию, либо выветрились в нем напрочь. Никакого сострадания к умирающей женщине, с которой он прожил жизнь, заводил детей, Василий не испытывает, и всеми его помыслами и действиями руководит лишь слепая жадность собственника.

Разговор с председателем сперва протекал мирно, лошадь тот пообещал дать, но Василий вдруг заявил, что намерен вообще распрощаться с колхозом: «Пушай другие поработают, а с меня хватит». На слова председателя, что в колхозе не хватает людей, Василий с вызовом ответил, что его «это не касается», и добавил в раздражении: «А что я с колхоза имею? Культуру я имею? Выпить и то негде». После таких речей разговор, разумеется, перешел на другие рельсы, председатель возмущился, «громко задышал», гневно бросил Василию, что тот «мастер на стороне хапать», — и разговор кончился у них непристойной бранью...

В общем, к финальной сцене отъезда Акулины в больницу представление о Василии создается достаточно ясное, а эта сцена не оставляет и последних сомнений в его бессердечии, в его животном эгоизме.

Описание того, как Василий накануне отъезда в город закалывает во дворе барана, как жует он с хрустом кусок сырой бараньей печенки, «пачка губы и подбородок кровью», как становится дурно Акулине, когда она слышит «сладковатый запах свежей убойны», — все эти подробности рисуют обстановку какого-то дохристианского, языческого действия, где слепая, неодолюваемая сила презирает и попирает не только жизнь, но, кажется, и саму смерть, выказывая ей свое нарочитое небрежение.

Василий, «помолодевший и веселый», с лицом «напряженно-ожидающим и радостным», не может взять в толк, насколько зловец и страшен он в своем невнимании к умирающей Акулине. Чем бы ни объяснялось его застарелое злое раздражение и упрямое сопротивление всему и вся, как бы ни был он одинок в своей душевной тоске, не имеет он права окончательно губить свою и без того исковерканную душу ради мнимого освобождения, которое якобы обещает ему смерть жены и сулят все эти городские рестораны и стадионы, — не должен он преступать роковой черты, за которой не остается в человеке ни святости, ни любви.

И насколько же благороднее и мудрее, чем слепо тоскующий Василий, оказывается кроткая, но твердая духом Акулина, и в преддверии неотвратимой смерти не утратившая ни преданности своему дому, ни почтения к односельчанам, ни восхищения красотой родных деревенских полей. Сидя на телеге и молча прощаясь со встречными женщинами, она «улыбалась сквозь слезы напряженной стыдливой улыбкой», вспоминала «всю свою жизнь в колхозе: и молодость, и замужество, и детей, любя все это еще сильнее и острее, зная, что, может быть, никогда больше не увидит родных мест и никого из своих близких».

Акулина и жила и умирает достойно, исполнив свой долг на земле до конца. С ней пропадает из деревни что-то вековое, невозвратное — пропадает христианская доброта. Озлобившемуся мужу, прельстившемуся пустыми соблазнами городской «культуры», она преподает урок милосердия и добра, урок, смысл которого для Василия не внятен и не слышен. Но этот смысл слышен в рассказе, ибо Казаков убежден, что человек унижительно гибнет, живя во зле и во лжи, и торжествует, как бы ни было ему трудно и тяжело, живя в любви и правде.

Казалось бы, благая, а в сущности, противоестественная мечта Василия Каманина потребительски-примитивна, уродлива, и та цена, какую он готов заплатить за ее осуществление, ничем не оправдана. Никаких жестких инвектив в его адрес писатель не высказывает — герой своим поведением изобличает себя сам.

Драма крестьянина, покидающего родную деревню не ради хлеба насущного, а влекомого какой-то невнятной тоской по «культуре», понуждаемого завистью к городским «дармоедам», которым эта «культура» достается за просто так, драма человека, стремящегося доказать всем, а главное самому себе, что он тоже на эту городскую жизнь с ее привилегиями имеет законное право, что он свободен в своем выборе и никому не позволит унижать его

какими бы то ни было запретами, — эта социальная драма нашла талантливое истолкование в «деревенской прозе» 1960-х — 1970-х годов, и ярче всего, пожалуй, у Шукшина.

Причины и последствия этой драмы волновали Шукшина «ну вот по-живому», и, может быть, больнее прочих беспокоил его как раз «вопрос расплаты» деревенского жителя за уход от корней, из родительского дома. Шукшин, разделяя горести и обиды новоявленного горожанина, бывал к нему справедливо суров. Он был убежден, что деревенский житель, отправившийся в город возвращать в себе алчность — и только, — не имеет права «терять себя как человека, личность, характер». «Совесть, совесть и совесть, вот это не должно исчезать», — страстно провозглашал Шукшин.

Казаков в числе первых почувствовал накал этой драмы, этого внутреннего бунта, зорко разглядел страждущего деревенского человека и показал его с немалой убедительностью, не слишком гадая, впрочем, о том, что ожидает сельского жителя в городе. Обеспокоенный не поверхностными, а подспудными процессами, имеющими исторический знаменатель, проявляя художественный такт, Казаков предпочитал правдиво живописать, но не судить такого человека. Можно сказать, употребляя слова Бунина, что Казаков вообще «не стремился описывать деревню в ее пестрой и текущей повседневности», а был занят «главным образом душой русского человека в глубоком смысле».

Критики не раз противопоставляли Казакову Шукшина, ссылаясь на то, что Шукшин иронически относился к лирической прозе, что он имел большие преимущества перед Казаковым, «находясь внутри народной жизни», имея «крепкие корни в массовом быту», в то время как Казаков смотрел на эту жизнь, дескать, «все же со стороны». Стиль Шукшина представлялся таким критикам предпочтительным, его изобразительные средства и возможности более перспективными. Однако вопреки этим искусственным противопоставлениям куда существенней понять, что в своем стремлении разобраться в эволюции русского крестьянского характера, Казаков и Шукшин, самые талантливые рассказчики своего поколения, были во многом единомышленниками.

Шукшин возражал «тетям в штанах»: «Если бы мои «мужики» не были бы грубыми, они не были бы нежными». Шукшин говорил: «Меня больше интересует «история души», и ради ее выявления я сознательно и много опускаю из внешней жизни того человека, чья душа меня волнует». Шукшин полемизировал: «От сравнений, от всяческих «оттуда — сюда» и «отсюда — туда» невольно приходят мысли не только о «деревне» и о «городе» — о России».

Все это, думаю, было близко и Казакову.

...Василий Каманин, предвкушая свою беспечную и беспечальную жизнь в городе, не очень-то представлял себе, как эта жизнь сложится, и едва ли беспокоился о том, ёкнет ли у него когда-нибудь сердце при воспоминании о родной деревне, где он прожил пятьдесят пять лет.

Между тем оставленная навсегда деревня, забытая крестьянская родословная иной раз напоминали казаковским героям о себе помимо их воли, вразрез с их устоявшимся городским благополучием.

Дусю из рассказа «Запах хлеба» (1961) даже смерть матери не позвала незамедлительно в родительский дом, и только необходимость этот дом продать заставила ее все же отправиться в свою деревню и прийти на могилу матери. И тут случилось с ней то, о чем Дуся и не подозревала. Увидев осевший холмик на могиле и сизый крест над ним, Дуся «побелела, и вдруг будто нож всадили ей под грудь, туда, где сердце. Такая черная тоска ударила ей в душу, так она задохнулась, затряслась, так неистово закричала, упала и поползла к могиле на коленях и так зарыдала неизвестно откуда пришедшими к ней словами». Что-то вековое, надличное слышалось в этих словах, и плач Дуси над материнской могилой был, может быть, искупительным плачем и над ее, Дусиной, судьбой.

Перед лицом смерти, перед судом памяти человек не принадлежит одному себе, и казаковская героиня, как ни поглощена она суетными, меркантильными заботами, не в состоянии справиться с властью все-таки одолевшего ее горя, не в силах подавить в себе голос крови, голос невольного покаяния.

Казаков вовсе не идеализировал патриархальных устоев, не звал деревенских горожан и столичных провинциалов возвратиться к покинутым родным пенатам, не предлагал им никаких спасительных рецептов для душевного успокоения. То, что Василий Каманин или Дуся, каждый в свою меру, утратили в себе, в своей душе, — они утратили окончательно. Смысл их драмы, доступный писателю, для них самих остался темен. И вот это их душевное неведение, их слепота особенно настораживали Казакова.

В связи с этим заслуживает внимания и рассказ «Кабасы» (1961), где молоденький заведующий клубом Жуков тоже подумывает перебраться в город, поступить «куда-нибудь учиться», дабы насытить гнетущую его потребность в разговорах «о культурном, об умном».

История, случившаяся с Жуковым, на первый взгляд попросту анекдотична. Сторож Матвей жалуется, что ему по ночам докуча-

ют «кабиасы»: махонькие такие, черные, «которые с зеленцой»; сторож стреляет в них наговоренными патронами, но это мало помогает. Жуков смеется над невежественным стариком и вскоре расплачивается за свою самонадеянность.

Оказывается, этот яркий противник суеверий, при его пропагандистском задоре и тяге к просвещению, откровенно трусоват, а его представления о «сверхъестественном» весьма наивны и беспомощны. После разговора со стариком Матвеем все в ночной округе видится Жукову чужим и страшным. Решетчатые опорные мачты походят на «вереницу огромных молчаливых существ, заброшенных к нам из других миров», огонь возле озера, «неизвестно кем и для чего зажженный», производит странное впечатление, а когда в кустах у дороги — как мерещится Жукову — стало что-то ломиться, сопеть, дышать ему в спину холодом, он в ужасе крестится и вздрагивает, «испугавшись себя».

«Какая, в сущности, ирония, — писали в свое время по поводу рассказа «Кабиасы» М. Чудакова и А. Чудаков, — в том, что он, Жуков, деревенский парнишка, вдруг испугался темного леса, испугался до того, что «как во сне, громадными скачками перенесся через мост над черной водой и зарослями ивы», а потом, «повизгивая от страха, не оглядываясь, побежал крупной рысью!» Он ошарашен природой, потому что, родившись в деревне, проведя в ней и детство и юность, не чувствует природы, не привык жить с ней, понимать ее, осознавать чем-то своим, частью своей жизни».

Но смысл «Кабиасов» вовсе не в том, чтобы посрамить незадачливого ниспровергателя нечистой силы и высмеять самоуверенного юношу, «ошарашенного природой». Ирония по этому поводу в рассказе налицо, только есть в нем и другая, отмеченная симпатией к герою, интонация. Переболев ночными страхами, Жуков в итоге оказался на пороге прозрения, «все в нем вдруг перевернулось, и он, будто сверху, с горы увидел ночные поля, пустынное озеро, темные ряды опорных мачт с воздетыми руками, одинокий костер, и услышал жизнь, наполнявшую эти огромные пространства в глухой ночной час. Он стал переживать заново весь свой путь, всю дорогу, но теперь со счастьем, с горячим чувством к ночи, к звездам, к запахам, к шорохам и крикам птиц...»

Для Казакова дороже всего — чтобы его малодушный герой, пусть ценой конфуза, все-таки преодолел себя и, взглянув на все «будто сверху», расслышал живую жизнь огромных пространств. Е. Ш. Галимова справедливо замечала, что Казаков, склонный анализировать «такие душевные состояния, которые отличаются

нестабильностью, текучестью, подвижностью», в рассказе «Кабиасы» «стремился показать, как мощно и непредсказуемо отзывается душа человека на тайны мира, как внезапно и резко может измениться его состояние, как остро переживается жизнь в критические моменты и какое это счастье — испытать такое состояние». И дело здесь не в масштабе личности. Такому спонтанному порыву может быть подвержен любой человек, — и такой недалекий деревенский паренек, как Жуков, в том числе.

Кстати, «Кабиасы» имеют и автобиографическую подоплеку. Казаков так рассказывал о возникновении этого замысла: «В 1954 году я впервые попал на мамину родину. Вот где страшно сохранилась память о войне — сожженные, вообще стертые с лица земли деревни. Место, где я жил, было в пятнадцати километрах от Сычевки, куда мне приходила корреспонденция до востребования. И я часто совершал такие прогулки: шел на почту, получал письма, там же отвечал на них, — и обратно. Однажды я возвращался очень поздно по едва белеющей тропе, и меня вдруг охватил неизъяснимый страх. Да еще вдруг по распаханному полю мне наперерез в звездном свете стало двигаться темное пятно — не то человек, не то животное. Это ощущение запомнилось. Плюс: я знал одного самоуверенного мальчишку, заведующего клубом, которого и вывел в „Кабиасах“. И еще: в детстве мать часто рассказывала мне сказку о кабиасах — самую страшную из тех, что я знал».

Воспоминание о пережитом «необъяснимом страхе», подхваченное незабытым детским впечатлением от жуткой сказки (таинственные кабиасы съели в избе старика и старуху), определило тревожную интонацию бесхитростного сюжета. Сюжеты в прозе Казакова, как уже говорилось, вообще не главное, писатель мог выбирать ситуации, лишённые всякой занимательной интриги, но полные неподдельного драматизма. Толчком к рождению рассказа могло послужить просто *ощущение*, которое запомнилось, или какая-нибудь бытовая деталь, бросившаяся в глаза, или оброненная кем-то фраза, как получилось, например, с рассказом «Вон бежит собака!».

По словам Казакова, этот рассказ начался с названия. «Давным-давно, стоя у окна со своим знакомым, — вспоминал Казаков, — я услышал простую его фразу: „Вон бежит собака!“ Был в ней какой-то ритм, застрявший во мне и лишь через некоторое время всплывший и вытянувший за собой замысел. И еще: ехал я на автобусе в Псков, ехал всю ночь, очень мучился, не спал, ноги нельзя было вытянуть. Ну, а потом муки позабылись, а счастье ночной дороги осталось».

Между прочим, М. Чудакова и А. Чудаков усматривали внутреннюю переключку «Кабиасов» как раз с рассказом «Вон бежит собака!» (1961). Они писали: «Замысел его — выразить уже знакомую по рассказу „Кабиасы“ душевную скованность, человечность, будто погашенную на время в герое его оторванностью от природы, а проще говоря — от леса и луга, от обычной реки, где можно пожить два дня в палатке, посидеть с удочкой и незаметно оттаять, облегчить душу и потом поразиться своей недавней жесточенности, равнодушию».

Так ли это относительно рассказа «Кабиасы» — вынесем за скобки, а вот героя рассказа «Вон бежит собака!» это несомненно касается. Московский механик Крымов уже не мальчик, не наивный городской мечтатель, скупаемый слепой охотничьей страстью, а человек куда более умудренный жизнью, хотя и отправляется он «в свое особое место» с той же целью — насладиться «недолгим горячечным счастьем рыбака». Внешние его побуждения: склонность к одиночеству, потребность в кратковременной, но абсолютной отрешенности от «города, огней, газет, работы» — нам знакомы и понятны, как понятно и ожидание «неистребимого счастья», которого искал он где-то на берегу речки за пятьсот километров от столицы.

Крымов до своего тайного места добрался, провел там два дня и две ночи, все планы его как нельзя лучше удалась, — но не ради констатации этого факта написан рассказ.

Казаковский механик Крымов, при всем своем счастливым упоении природой, испытывает и смутную, а потом все более отчетливую неудовлетворенность собой, причиной чему мимолетное невнимание Крымова к случайному для него человеку.

В междугородном автобусе рядом с ним ехала молодая женщина, чем-то огорченная, пытавшаяся завязать с попутчиком незначительный дорожный разговор. Крымов разговора не поддержал, на чужое беспокойство не откликнулся, боясь спугнуть в себе радостное предвкушение рыбалки. Своей неделикатностью он обидел женщину, а когда ее скорбное, «рассветно-несчастное» лицо пропало за стеклом отъезжающего автобуса, вовсе забыл о ней. А на обратном пути, улаженный своей рыбалкой, Крымов на той же остановке неожиданно для себя вспомнил ту женщину, вспомнил, как у нее дрожали губы и рука, когда она прикуривала, и тут: «Лицо и грудь его покрылись колючим жаром. Ему стало душно и мерзко, острая тоска схватила его за сердце. — Ай-яй-яй! — пробормотал он, тягуче сплевывая. — Ай-яй-яй! Как же это, а? Ну и сволочь же я, ай-яй-яй!.. А?» Запоздалое раскаяние, может быть,

как-то смягчает вину казаковского героя перед самим собой, перед собственной совестью, но перед той незнакомой женщиной он остается виноват, и здесь уж ничего поделывать нельзя.

Когда Казаков казнился: любит ли он людей? — не сомнения в их достоинствах (хороши люди или плохи?) тревожили его в первую очередь, его беспокоил сам процесс общения, готовность или неготовность к душевному контакту с ними. Механику Крымову, счастливому в своей замкнутости, ничто не мешало проявить элементарное внимание к *другому человеку*, но он остался глух к чужой беде. Поведение Крымова, что называется, частный случай, а вот диагностированная писателем болезнь, вызываемая «комфортом самодовольства», весьма характерна для казаковской прозы. В свое время А. А. Ухтомский, указав на этот общественный грех, предупреждал: «Только в меру того, насколько каждый из нас преодолевает самого себя и свой индивидуализм, самоупор на себя — ему открывается лицо другого», и только решаясь «открытым сердцем принять мир другого», человек обретает свое истинное лицо. Казаковскому герою в данном случае такой градус понимания неведом, однако он ведом автору, постоянно преодолевающему себя на пути к людям.

Механик Крымов был глух в своем эгоизме — и природа, одарив его радостью уединения, словно соболезнует ему: «Что-то большое, красивое, печальное, — говорится в рассказе, — стояло над ним, над полями и рекой, что-то прекрасное, но уже отрешенное, и оно сострадало ему и жалело его».

Это — христианское сострадание, сострадание высшего порядка. Оно тем знаменательнее, что механик Крымов, признав за собой вину перед другим человеком, не чувствует пока, что в его вине есть горький привкус вины перед самой природой.

Крымов, между прочим, недоумевает, почему женщины равнодушны к наслаждению охотой или рыбалкой, и его дорожная спутница в их недолгом, скомканном разговоре успевает ему ответить: «Охота — убийство, а женщина — мать, и ей убийство вдвойне противно. Вы говорите, наслаждение смотреть, как рыба бьется, а мне это гадко. Но я вас понимаю, то есть понимаю, что вы охотитесь и ловите рыбу не из-за жестокости. Толстой, например, очень страдал потом, после охоты, вспоминая смерть. И Пришвин тоже...»

В этих словах, — а Крымов, слыша их, уныло подумал: «Ну, понесла!» — четко звучит авторское предостережение, которого герой рассказа пока не берет в толк, но которого нельзя не услышать и нельзя должным образом не оценить.

Глава 9

«ПЛАЧУ И РЫДАЮ, ЕГДА ПОМЫШЛЯЮ ЖИЗНЬ...»

Очерчивая «иероглифическую биографию» Казакова, перечитываем еще один рассказ — «Плачу и рыдаю» (1963), — формально говоря, типичный охотничий рассказ, со стрельбой и дальнейшими словопрениями по поводу добычи, но вместе с тем это и рассказ философский, рассказ о величии жизни и смерти, об ответственности человека за судьбу всего живого на земле, в том числе и за самого себя как носителя высшей мудрости, наделенного высшим чувством любви и справедливости. В этом рассказе, написанном в начале 1960-х годов, Казаков, в параллель к тем рассказам, о которых уже шла речь, демонстрирует такое понимание и художественное постижение природы, какое для литературы той поры было явно непривычным и по-своему новаторским.

Что же происходит в этом рассказе?

Трое охотников в весеннем лесу на вечерней тяге стреляли вальдшнепов. Старший из них Елагин, доцент-филолог, лет сорока, человек восторженный и добрый, все время восхищался природой и любил поговорить. Насмешливому егерю Хмолину — он охотился с детства и, «кажется, только и делал всю жизнь, что стрелял», — было лет тридцать, он сентиментальных словоизлияний Елагина не разделял и к людям городским, «культурным», как водится у Казакова, относился с пренебрежительным превосходством. А третий был «просто Ваня», пятнадцатилетний мальчик, «со щечками, веснушками, с постоянной радостной улыбкой — покорный и услужливый», он приехал из города вместе с Елагиным.

Три этих героя, столь непохожие друг на друга, — словно три ипостаси самого писателя: когда-то в юности он был таким же мечтательным и азартным Ваней, теперь ему по душе торжественные и скорбные откровения Елагина, а Хмолин — это, если угодно, его «теневого двойник», тот фоновый антипод казаковского

лирического героя, не будь которого, и сам лирический герой, наверное, что-то бы в себе утратил.

Предвкушение охоты в весенний сумеречный час погружает казаковских героев в состояние, какое, по мысли Пришвина, сродни разве что вдохновению. В тот час, когда и слух, и зрение, и все инстинктивные силы в человеке до предела напряжены, ему открывается доступ к таким сферам природного бытия, какие находятся не только за гранью обыденности, но и как бы за пределами настоящего времени.

С такого вдохновенного вживания в природу начинается процесс осознания человеком своего места в мироздании, открывается тернистый путь человека к постижению созидającego духа, присутствие которого можно почувствовать в каждом проявлении «живой» и «неживой» природы. Казаков словно ищет ключи к самому механизму времени. В этот час, пишет он, «время двоилось: казалось вместе и медленным и быстрым», и этот парадокс объяснялся не только томительным приближением ночи, не только тем, что дневная жизнь замерла, а ночная еще не начиналась, но и тем, как менялось, «удваивалось» в этот момент у казаковских охотников само их ощущение реальности.

Они слышат, как «стучает и чмокает» ручей в овражной тьме — будто метроном, как обычно, как всегда, будто уже в прошедшем времени. Они знают, что сейчас засвищет дрозд «в стеклянной светлоте между черными ветвями» — тоже уже как бы в прошедшем, известном им времени. И тут же с удивлением замечают то, чего не было, не могло быть день, час, минуту назад, то, что изменяло знакомую картину буквально у них на глазах.

«Все заметили, — пишет Казаков, — под ногами на черной земле между жухлыми листьями какие-то красные и ярко-зеленые почки и стручки — напряженные, тугие, и на многих видна была еще не высохшая земля. Значит, они вылезли сегодня... И лес стал вроде не так прозрачен, как вчера, ветви набухли больше прежнего, и почки стали толще, а вчерашняя ольха, которую все эти дни никто не замечал, сегодня будто вышла из лесу, стала шершавой, толстой, все суки ее снизу доверху и самый ствол покрылись бородавками, и она вся стала похожа на мохнатую гусеницу...»

Казаковские герои будто присутствуют при акте творения. Такова особенность, такова, что называется, аура движущегося, спонтанного казаковского пейзажа. Момент рождения, «неведомая дрожь существования» — и здесь, и всегда у Казакова — исходный момент его философской символики. Природа словно допускает

героев рассказа к себе в тайное тайных в надежде испытать, достойны ли они ее доверия, и, как бы останавливая «мгновенно-медленное время», оставляет их наедине с вечностью, с космосом, под настороженным взглядом всходящей на небе Венеры.

«Как и вчера, как тысячу лет назад, чистой блестящей каплей между черными как сажа ветвями дубов засверкала Венера», — говорится в рассказе. И с появлением Венеры наступает ночь, начинается «иная жизнь», уводя охотников куда-то во внеземное измерение, — жизнь со своими космическими знаками и знаменьями. И беззащитными вестниками этой неведомой людям жизни предстают ни о чем не догадывающиеся, ничего не подозревающие вальдшнепы, на которых направлены охотничьи ружья. «Они были далеко видны на светлом и летели быстро, хотя казалось, что медленно, — пишет Казаков, еще раз подчеркивая своеобразную двойственность сюжетного времени, — и в их круглых крыльях, в их волнистом полете, вздымании и опадании было что-то нездешнее. Они хрипели и свистели на лету, и это опять было не похоже ни на один земной звук».

Художественное зрение Казакова всегда предполагало эту возможность взгляда на человека из запредельных, космических пространств, равно как из глубины времен. Писатель был наделен тем особенным слухом, что способен улавливать «нездешние», «неземные» звуки. Сквозь линзу его мировосприятия сама бессмертная природа смотрела на человека своим пронизательным оком.

Казаков и жил среди нас «как представитель рощ, водоемов, неба, — замечал А. Вознесенский, — как тяжело дышащий кусок тишины, как напоминание о подлинном темном и вечном, что есть в нас — людях, как в ветвях, рассветах и волчьей шкуре. Большинство писателей описывают природу, глядя на нее — на ольху, затоны, просеки — глазами сегодняшнего человека. Казаков же глядит на сегодняшнего человека глазами леса, вепря, дворняги, глядит с нежностью, сокрушенным сожалением и родством». В этом будто опрокинутом взгляде на человека, взгляде *из природы*, в этом чувстве, так сказать, «обратного» родства — существенная черта казаковского миропонимания.

Герои рассказа «Плачу и рыдаю» делают каждый свои, далеко неравнозначные выводы из той ситуации, которую предложил им автор.

С егерем Хмолиным все более-менее ясно: он охотник-профессионал, ему «на законном основании» дано как бы отпущение грехов. Охота не вызывает у Хмолина необычных переживаний,

кроме азарта, и в сторожке он занят будничным для него делом — потрошит вальдшнепов. На вопрос смущенного Вани — чувствуют ли вальдшнепы свою смерть? — Хмолин безапелляционно отвечает: «Всякая тварь сознает», — и эти глупо-высокопарные слова звучат пошло и стерто. На речи же Елагина Хмолин реагирует решительно: «Мура все это!.. святая там доброта, самопожертвова... жертванье, одним словом, то да се...» И все-таки Хмолин, когда он идет из сторожки за водой, не может скрыть своего искреннего восхищения ночной красотой: он слышит, как в жидком лунном свете падает из березового сучка капля, ему приятен запах холода и лесной чистоты, — правда, понять тайный смысл открывшейся картины Хмолину не по разуму, да и потребности такой у него нет, красоту природы он воспринимает инстинктом, подобно «дикому» человеку.

В отличие от выдавшего всякое Хмолина, Ваня, подстрелив первого в своей жизни вальдшнепа, пережил настоящую драму. Вид умирающего вальдшнепа — «были у него огромные глаза на маленькой головке, но он не смотрел на подбегавшего Ваню и, наверное, не видел его, а смотрел вверх, и все — грудь, длинный тонкий клюв, ржавая спина, изгиб шеи, — все было устремлено ввысь в смертной тоске» — этот вид умирающей прекрасной птицы, это лицезрение смерти, виновником которой был он сам, Ваню потрясли. Он впервые наблюдал агонию живого существа, впервые имел возможность «заглянуть по ту сторону тайны жизни и смерти», — на что Казаков неизменно обращал пристальное внимание.

Видение смерти, промелькнувшее перед Ваней, не могло не задеть за живое его мальчишеской души, на какой-то момент Ваня преисполнился почти мистического страха, но после того, как все выпили, поели похлебки, «посмотрели друг на друга с улыбкой и тут же смутились оттого, что так бессовестно счастливы», Ваня успокоился, ему вместе с его собеседниками показалось, что они втроем сейчас что-то найдут, решат все каверзные вопросы, и он испытал полное блаженство, «думая, что сегодня ели его вальдшнепа, что он научился стрелять влет, что был разговор о любви, о смерти и о времени и что все это ерунда, а главное — подбить бы ему и завтра вальдшнепа или утку». Словом, Ванина наивность и переменчивость его настроений вполне соответствуют его возрасту.

И совсем иное дело Елагин, никого на охоте не убивший и об этом нисколько не жалеющий. Отвечая на вопрос Вани о смерти, он говорил об этом в каком-то вдохновенном смятении, говорил долго, убедительно, и Ване в его речах слышалась истинная прав-

да. Елагин говорил о том, что сознание неминуемой смерти мучительно для нас, но радость жизни, вера в святость человека превыше смерти. Он вспоминал древний священный текст: «...аз емь земля и пепел, и паки рассмотрю во гробех и видех кости, кости обнаженны, и рек убо кто есть царь, или воин, или праведник, или грешник? Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть вижду во гробех лежащую по образу божию созданную нашу красоту безобразиях бесславно, не имущу вида!» — вспоминал этот скорбный текст, эти строки из погребального чина, и спорил с кем-то, горячо утверждая, что «все-таки высшее на земле есть доброта и любовь». Спорил, казалось бы, с роковой неизбежностью и утверждал вопреки всему: «Плачу и рыдаю!.. Весна! Все живет, все лезет! Не прав, не прав старик. Нет, не прав! Плачу и рыдаю, егда помышляю жизнь — вот как надо!»

Казаков рассказывал В. Лихоносову, как рождался этот рассказ: «Домбровский меня вдохновил. У него гениальная память, ты заметил? Мы как-то попарились в бане, вышли. И была ночь, звезды. Домбровский возьми и вспомни: „Кая житейская сладость пребывает печали непричастна? Кая ли слава стоит на земле непреложна?.. Где есть мирское пристрастие? Где есть золото и серебро? Вся персть, вся пепел, вся сень...“ Это откуда? Что ж ты, понимаешь, такой темный у нас? Пишешь, печатаешься в „Новом мире“ (меня вот Твардовский прогнал), а ни бубу, святых отцов не читал. Я тоже не читал тогда, а Домбровский, тот что-нибудь и в журнале „Наука и религия“ найдет. Ну вот, я ему говорю: „Ты спиши мне, старичок, я сделаю из этого шедевр“. Иоанн Дамаскин! Гениально: „Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть...“ Я устами героя в рассказе „смерть“ переправил на „жизнь“. Так. Плачу и рыдаю — два слова, и рассказ в голове...»

Монолог Елагина, уповающего на неистребимость всего живого и сущего, — своеобразная форма авторской исповеди. Размышления героя выражают духовное кредо писателя: это он, сам Казаков, преисполнен трагического благоговения перед тайной мироздания, это он страждет, ощущая всюду разлитую в природе полноту жизни как величайшую благодать, это он испытывает властное притяжение земной красоты и тревожится за нее с каким-то почти суеверным страхом.

Откуда этот страх? Эта тревога? Эта настороженность?

Ища ответа на подобные вопросы, критик И. Крамов устанавливал принадлежность казаковской прозы определенному историческому моменту. «Теперь уже трудно избавиться от горечи, при-

мешанной к нашему поклонению красоте земли, — писал он в 1979 году. — Мы любим ее — и осознаем в то же время, что наносим ей раны, которые нельзя залечить. Рассказы Юрия Казакова целиком относятся к этому новому времени, хотя появились они в ту пору, когда „среда обитания“ была просто понятием и еще не стала в нашем сознании проблемой. Казаков был одним из тех, кто раньше многих других ощутил зыбкость и ненадежность прежних представлений и навыков наших, исходящих из того, что мир вечен и земля неистребима. Что-то мешало ему с отрешенным спокойствием любоваться и живописать красоту земли. Еще не было ясных и выверенных в научных дискуссиях формулировок, не было симпозиумов и авторитетных научных трудов, но тревожно-грустная, иногда щемящая нота казаковских рассказов отзывалась провидчески на происходящее».

В этой связи вспоминается одна статья, опубликованная тогда же, в 1979 году, где констатировалось, что еще на рубеже 1960-х годов природа повсеместно воспринималась как покорная нашей воле данница, и в самой науке немногие, кажется, замечали все обострявшееся противоречие, лежавшее в основе наших с ней взаимоотношений. «Грозовой фронт долго продолжал видаться движением отдельных незначительных туч на лазоревом небе научно-технического прогресса», — говорилось в той статье, — и с трудом верится, что «максимум за пятнадцать лет в сознании человечества произошла подлинная «экологическая революция» — явление и срок, пожалуй, беспрецедентные в истории».

Когда во всемирном масштабе резко эволюционирует общественное сознание, литература с полным напряжением сил спешит уловить и предать художественной огласке те глубинные изменения, которые происходят при этом в человеческих душах, стремится распознать суть тех неизвестных доселе угроз, какие история вдруг преподносит людям.

На ответственность литературы в условиях «экологической революции» указывал в статье «Литература и природа» (1980) и С. Залыгин, подчеркивавший значительность проблемы «человек и природа» для современной прозы и предупреждавший, как необходимо литературе выработать собственное отношение к природе «как аргументу жизни». «Нам не привыкать к потерям, — писал с тревогой С. Залыгин, — но только до тех пор, пока не настанет момент потерять природу — после этого терять уже будет нечего. Хотя никто не хочет умирать, мало кто умеет беречь жизнь, и вот литературе, которой свойственно искать смысл жизни, нынче

уже есть смысл уберегать самую жизнь. То есть природу. И делать это, соотнося человека не только с человеком, но и с природой. Делать чем шире, тем лучше, потому что тем скорее будет формироваться то наше мироощущение, которое может противостоять разрушению природы».

Такое мироощущение отвечало самой сущности казаковского таланта. Трагическое «прощание с природой» было вполне в духе того «ностальгического сознания», о котором, как помним, заявлял применительно к Казакову С. Федякин: «Более всего, — писал он, — Казакова притягивает действительная жизнь, каждая минута, секунда, каждое мгновение этой жизни. Ностальгическое сознание заставляет вглядываться в каждую деталь окружающего мира, как будто ты видишь эту частицу бытия в последний раз, „с улыбкой прощальной“, и тебе надо насмотреться, надышаться, чтобы наполнить свою память, поскольку никак иначе, чем через память, этого мгновения не переживешь второй раз». В этом чувстве С. Федякин справедливо усматривал истоки одной из доминирующих в прозе Казакова тем — «темы прощания, которое само по себе есть граница между счастливым прошлым и пугающим неопределенностью будущим».

Боль прощания, пронизывающая казаковскую прозу, была свойством самой натуры писателя, его личности и чувствовалась во всем, но в непосредственном восприятии природы особенно. Казаков по складу характера — романтик, а романтик, как заметил однажды Пришвин, «всегда стоит у порога трагедии»: «Это детство, продленное в юность и юность, сохраненная в мужестве. Это вера в достижение невозможного...» Казакова такая вера никогда не покидала — при том, что ему никогда не изменяло чувство реальности. Казаков был мечтателем, но не был прожектером.

На эту сторону казаковского дарования — в 1984 году — обращал внимание И. Штокман. «Было в творчестве этого писателя, — отмечал он, — притягательное, не часто встречающееся (а для самого Казакова, думаю, достаточно трудное) соединение лирико-романтического начала с трезвым, точным, а порой и жестким реализмом. Две эти стихии были тут неразрывны, оттеняли друг друга, создавая чисто казаковский контрапункт, который и шемил, и тревожил, и бередил душу.. От его рассказов всегда словно исходил внутренний свет души молодой, остро чувствующей, даже восторженной, да, да, восторженной, но всегда мудро и зрело знающей законы жизни, ее реальный ход и течение. Пропущенное „сквозь призму сердца“ (Жуковский) всегда было у Казакова в строгой, точной раме реальности и подчинялось ей».

Причины такого восприятия бывают различны. Казакову в этом плане сослужили свою службу и Пришвин, и, может быть, Паустовский. Вероятно, имело здесь место и тяготение Казакова к «романтическому натурализму» — в том его выражении, какое в России известно, в частности, по Аксакову, а на Западе, например, по Генри Торо.

Что касается Аксакова, он, по остроумному выражению современника, писал так, будто не прочитал до этого ни одной книги. Казаков упомянул об этом еще в 1959 году, в статейке «Вдохновенный певец природы» (напечатанной в журнале «Крестьянка»), где обращал внимание на то, что Аксаков не мог ничего «сочинять», он «писал только правду, только то, чему сам был очевидцем», его проза насквозь автобиографична, а его «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» являют собой «яркий пример того, как биография одного человека перерастает в биографию целого края, в биографию общества». Казакова восхищало то, что Аксаков писал «непритязательно, спокойно, великолепным народным языком», что о каждой своей книге он думал как о последней, вкладывая в нее всю душу, а потом, закончив книгу, «с изумлением убеждался, что не рассказал и десятой доли того, что знал, что воспоминаний хватит еще на целую книгу», — и все начиналось сначала. Целомудрие, первоизданную чистоту аксаковского слова Казаков впитывал органически, как говорится, всем своим нутром.

А вот был ли он знаком с популярной среди молодых прозаиком в 1960-е годы книгой Г. Торо «Уолден, или Жизнь в лесу», не знаю, но определенные точки соприкосновения с позицией ее автора у Казакова просматриваются. Торо, допустим, писал: «...я хотел оказаться на черте, где встречаются две вечности: прошедшее и будущее, — а это ведь и есть настоящее, — и этой черты придерживаться». Или еще: «Я ощущал и поныне ощущаю, как и большинство людей, стремление к высшей или, как ее называют, духовной жизни и одновременно тягу к первобытному, и я чту оба эти стремления. Я люблю дикое начало не менее, чем нравственное...» Такого рода высказывания, — а главное, та «философия природы», которую исповедовал Г. Торо, могли Казакову импонировать.

Н. Е. Покровский в книге «Генри Торо» (1983), анализируя нравственно-эстетический подход Торо к природе, выделяет среди прочих его идею, согласно которой человек не должен ни подчинять, ни изменять природу, а лишь осторожно внедряться в ее систему, становясь безмолвным, вдумчивым наблюдателем ее гар-

монического строя; и еще — идею о том, что природой нельзя пресытиться, ее необузданная дикая мощь показывает человеку, что есть силы, превосходящие его собственные, — такое понимание природы указывает человеку источник оптимистической веры в грядущее, поскольку, «созерцая бьющую через край жизненную силу, человек испытывает облагораживающее дух влияние скрытого идеального начала и приближается к абсолюту».

«По мысли Торо, — писал Н. Е. Покровский, — в природе осуществляется полная гармония, даже если на первый взгляд это не соответствует нашим представлениям о добре и зле, о красоте и безобразии. Человеческое сознание освоило лишь часть гармонического строя природы, наделив непознанную часть отрицательным значением. По инерции и в силу ложного представления эта непознанная природа отождествляется со злом в человеке и обществе. Однако все в природе закономерно, истинно, красиво и нравственно. Преступлений против духа она не совершает. Даже смерть не нарушает ее единства и красоты. Мир природы непорочен — вот главный вывод Торо».

Нужно ли говорить, как созвучны эти идеи с теми, что питали казаковскую прозу?

Однако при всем том драматизме, какой постоянно ощущается в подтексте отношений казаковского лирического героя с природой, при всей печали, сквозящей в казаковских пейзажах, случаются, как мы знаем, в жизни этого героя и такие моменты, когда он бывает негаданно счастлив, обласкан природой, когда природа как бы благословляет его, одаривая внутренним покоем и тихой радостью.

В апреле 1963 года Казаков писал В. Лихоносову: «Я думаю, что радость такая же сторона жизни, как и несчастье, ее, может быть, меньше, но она есть и можно очень честно писать об этом. Она, т. е. радость, очень сейчас подмочена во мнении думающего читателя, и как-то даже мы стесняемся иной раз писать оптимистические вещи, но оптимизм иной раз у нас спекулятивен, фанфаронен, а я говорю о другом оптимизме, вытекающем из естественной необходимости счастья и бодрости во всем живом...»

Этим *другим оптимизмом* пропитан рассказ «Двое в декабре» (1962), герой которого имеет ту же знакомую нам родословную, что и Алеша из «Голубого и зеленого». Их внутренняя близость определяется без труда. Это вариант того же характера — только на более зрелой стадии душевного постижения жизни и самого

себя. Вопросы, с какими инфантильному Алеше из «Голубого и зеленого» еще надлежало справиться, герой рассказа «Двое в декабре» уже преодолел, и там, где Алеша страдал в неведении относительно своего будущего, этот герой (имени его автор опять не называет) уже не испытывает никаких обременительных сомнений.

«Он думал, как странно устроен человек, — пишет Казаков. — Что вот он юрист и ему уже тридцать лет, а ничего особенного он не совершил, ничего не изобрел, не стал ни поэтом, ни чемпионом, как мечтал в юности. И как много причин у него теперь, чтобы грустить, потому что жизнь не получилась, а он не грустит, его обыкновенная работа и то, что у него нет никакой славы, вовсе не печалит, не ужасает его. Наоборот, он теперь доволен и покоен и живет нормально, как если бы добился всего, о чем ему мечталось».

Герой рассказа «Двое в декабре» не достиг высот, на какие посягал в юности, но его удовлетворение «обыкновенной работой», отказ от мнимой славы и умозрительных мечтаний свидетельствуют о том, что жизнь, выпавшая ему на долю, — жизнь такая, как она есть, — для него естественна и нормальна. К тому же и любовь его вызрела до той стадии, когда романтический ее период, кажется, минул.

Герой рассказа, как никогда прежде, чувствует полноту жизни. «Не радостен он был, нет, — говорится в рассказе, — а просто покоен, и ему было приятно и покойно думать, что на работе все хорошо и его любят, что дома тоже хорошо, и что зима хороша: декабрь, а по виду настоящий март с солнцем и блеском снега, — и, что главное, с ней у него хорошо. Кончилась тяжелая пора ссор, ревности, подозрений, недоверия, внезапных телефонных звонков и молчания по телефону, когда слышишь только дыхание, и от этого больно делается сердцу. Слава богу, это все прошло, и теперь другое — покойное, доверчивое и нежное чувство, вот что теперь!»

Состояние душевного покоя приходит к казаковскому герою будто долгожданный вздох облегчения, достается ему как награда. Оно знаменует собой определенный итог в его нравственном становлении и вместе с тем является предпосылкой для нового взлета, для нового движения к чему-то неизведанно-прекрасному. Душевный покой, чувство умиротворения таят в себе предвкушение еще большего счастья, помешать которому могут разве что силы посторонние, фатальные, от человека не зависящие, однако и в то, что они присутствуют в мире, казаковский герой в данный момент отказывается верить, настолько они для него нелепы и противостественны.

Нарушить его счастье могли бы война или смерть, но такой трагический жребий писатель на этот раз как бы исключает для своего героя. «Последнее время он часто думал о войне, — пишет Казаков, — и ненавидел ее. Но теперь, глядя на сияющий снег, на леса, на поля, слушая гул и звон рельсов, он с уверенностью подумал, что никакой войны не будет, так же как не будет и смерти вообще. Потому что, подумал он, есть минуты в жизни, когда человек не может думать о страшном и не верит в существование зла».

Герой рассказа «Двое в декабре» вроде бы снова попадает во власть иллюзий, — не тех, юношеских, а все же иллюзий, — и готов подобно страусу спрятать голову под крыло, забыть о мировом зле. И все же это не так: ни о чем он не забывает. Мысль о войне и смерти, брошенная, что ли, вскользь, в рассказе достаточно слышна, — но молчаливым вызовом ей становится картина лыжной прогулки, когда герои рассказа будто растворяются в окружающей их природе, будто сливаются с нею, и это ощущение слиянности с мирозданием волшебным возвышает их над всеми житейскими невзгодами и страхами.

В необозримое пространство заснеженных подмосковных лесов и полей отправляет Казаков своих героев, наделяя их неутолимой потребностью во все всматриваться и все вокруг впитывать в себя. Как замороженные движутся они по лесу, пронизанному дымными косыми лучами солнца, иногда лишь тихо говоря друг другу: «Послушай!» или «Посмотри!», поднимаются не спеша с увала на увал и словно сверху видят деревни с белыми крышами, окрестные холмы, закутанные прозрачной синью, удивляются, что ствол у осины «цвета кошачьих глаз», желто-зеленый, что в голубых тенях по колеям дорог есть, несмотря на декабрь, что-то весеннее, замечают и деловитых снегирей, и озабоченных галок, и лисий след, пропадающий в снежном сиянии, — и это для них откровение, несказанная благодать, недаром писатель так настаивает, что на все это им «нужно было смотреть».

Рассказ «Двое в декабре» написан от третьего лица, но в нем попеременно слышатся словно два равноправных голоса: поначалу больше похоже на исповедь героя, повествование постепенно превращается в исповедь героини, с тем чтобы в финале последнее слово осталось за автором. Если герой испытывает умиротворение и покой, то героиня, как выясняется, не слишком рада поездке, она мучается «от грусти и досады» и, вопреки предупредительности и нежности своего любимого, требует от него в душе чего-то большего, какой-то иной взаимности.

«Отчего ей сегодня стало вдруг так тяжело и несчастливо? — задается вопросом автор и отвечает: — Она и сама не знала. Она чувствовала только, что пора первой любви прошла, а теперь наступает что-то новое и прежняя жизнь ей стала неинтересна. Ей надоело быть никем перед его родителями, дядьями и тетками, перед его друзьями и своими подругами, она хотела стать женой и матерью, а он не видит этого и вполне счастлив так. Но и смертельно жалко было первого тревожного времени их любви, когда было все так неясно и неопределенно, зато незнакомо, горячо и полно ощущением новизны».

Женщина у Казакова обычно сильнее, прозорливее и требовательнее в любви, чем мужчина. И в данном случае героиня расказа подталкивает своего возлюбленного к новому рубежу в их отношениях — для нее ясному, а для него пока еще нет, — подводит его к пониманию того, что счастье не только в свободе, что впереди у них серьезная жизнь и они оба ответственны за свое будущее.

Уловив ее тревогу, герой в какой-то момент по привычке озлобился, подумал о том, что опять не знает, чего ей нужно и как сделать, «чтобы она была постоянно счастлива». Ему даже кажется, что героиня от него отдаляется, что над их счастьем опять нависает пелена недоверия и непонимания. Но в этом рассказе перед нами не Алеша из «Голубого и зеленого», беспомощный в своей любви, и не художник Агеев из «Адама и Евы», не сумевший сделать навстречу Вике еще одного маленького шага, — герой рассказа «Двое в декабре» на такой шаг способен, он в состоянии подавить в себе мужскую гордыню ради любви.

«Что ж! — говорит автор за своего героя. — Первая молодость прошла, то время, когда все кажется простым и необязательным — дом, жена, семья и тому подобное, — время это миновало, уже тридцать, и что в чувстве, когда знаешь, что вот она рядом с тобой, и она хороша, и все такое, а ты можешь ее всегда оставить, чтобы так же быть с другой, потому что ты свободен, — в этом чувстве, собственно, нет никакой отрады».

Так думает герой рассказа, и вместе с ним думает о том же — о доме, о жене, о семейном счастье — и сам писатель.

Так обнаруживает себя в казаковском «романе» и по-своему одерживает верх, — пользуясь словами Толстого, — «мысль семейная», мысль о доме.

Глава 10

«ВЫБЕРИ СЕБЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ...»

Мысль о доме у Казакова — самая заветная и спасительная.

«Когда я был маленьким, — читаем в детском рассказе „Как я строил дом“, — я больше всего любил рисовать дома. Я рисовал их целыми сотнями. Я рисовал их в тетрадах, в альбомах, на оборотной стороне фотокарточек и на обоях, на стенах домов и на заборах, во дворе на асфальте и в кухне на кафельной стене. На каждом кафеле я нарисовал по дому. Другие ребята тоже рисовали. Но они рисовали разные вещи: человечков и собак, коров и кошек, лес, траву, солнце. Один я рисовал только дома. Они у меня были одноэтажные и двухэтажные, с высокими крышами и низенькими...»

Шутливо-детское, но характерное признание. Он и в рассказах своих ни о чем, кажется, не писал с такой любовью и тщанием, как о домах, извечном человеческом пристанище, о разных домах: и о родном доме на Арбате, и о старинном доме художника Поленова под Тарусой, и о просторных двухэтажных беломорских избах, и о таинственном прибалтийском доме, где обитали тролли («Оленьи рога»), — вплоть до гимна абрамцевскому дому в «Свечечке».

Мысль о доме по-разному звучит в казаковской прозе, а первой ласточкой был ранний неоконченный рассказ «Старый дом» — его выстроил в былые времена знаменитый композитор на берегу Оки, «когда сердце его, утомленное овациями Вены, Лондона, Парижа и Петербурга, блеском концертных залов», загорелось самой нежной любовью к родине, к далеким годам детства. Выстроил, памятуя о словах старой книги: «Выбери себе место на земле — ничего, если место это не будет дивным! Выстрой себе жилище и потрудись весь остаток жизни своей над украшением земли...»

С видимым наслаждением описывал Казаков строительство этого дома, во всех мельчайших вкусных деталях: «Гол, уныл и дик был холм на берегу реки, когда начали возить туда белый, сахар-

стый камень и оранжевый, звонко-каленный кирпич, желтые сосновые и палевые дубовые и кедровые бревна, гибкие доски, распространявшие запах скипидара и лаванды, легкую красную, с радужно-шоколадным отливом черепицу, пахнущую почему-то тонкой сухой пылью аравийских пустынь».

Долгая жизнь этого дома была спокойна и величава, и вот он стал стар, и хотя стены его еще крепки, полы тверды, холодны и блестящи, балки сухи и звонко-тути, окна чисты, дом имеет вид больного, умирающего...

Рассказ о композиторе остался в набросках, а мастерски выполненный «портрет дома» Казаков намеревался использовать в другом контексте. В апреле 1959 года он извещал Т. Жирмунскую: «Вчера придумал, а сегодня наконец начал писать новый рассказ. Рассказ о Пасхе, о пасхальной ночи, о благовесте, о любви, о весне, о добре и вечной жизни — и да поможет мне Господь Бог! Я так рад теперь — главное, чтобы не растерялось то, что вчера подкатило и так ясно встало и вообразилось, что у меня аж мурашки по коже пошли. Какая удача: и мой старый дом с его запахом пыли аравийских пустынь от черепицы — все пойдет в рассказ и так естественно: девочка ночью выпрашивает ключ и ведет моего Павлика в этот дом. Ах! А свечи, а крестный ход, а пение, а крик: „Христос воскрес!“ А Ока внизу, а запах дыма от листьев, которые жгут в парке возле дома и... бог знает, что еще. Кончается же все березовым соком, который брызжет, капает в темноте — всюду...»

Т. Жирмунская, упоминая об этом замысле, спрашивала себя: был ли Казаков верующим? И отвечала: «Несомненно!» Когда он хвалил ей Абрамцево, то говорил: «Там легче сосредоточиться на себе и на Боге». Да, в нем жила такая потребность. Такая сосредоточенность придавала ему и душевных, и творческих сил. Неспроста, видимо, в одном из черновиков промелькнула у Казакова фраза: «Я человек совсем особого порядка — до меня дотронулся Бог». Неизвестно, чего больше содержала эта фраза — страха за свою избранность или тяжкого груза ответственности за все, что рождалось под его пером.

Священник Ярослав Шипов в 2008 году рассказывал: «Как-то, оказавшись в больнице, Казаков познакомился с архимандритом Кириллом (Павловым). Они лежали в одной палате, что, конечно же, располагало к общению. Впоследствии батюшка приезжал к писателю на дачу в Абрамцево и освятил дом. Трудно сказать, насколько глубока была религиозность Казакова, однако, начиная

новый рассказ, он просил у Господа помощи и поддержки: на первых страницах некоторых рукописей сохранились письменные молитвенные обращения».

Таков был диапазон религиозности Казакова — от укоренившегося с детства следования православным заповедям в семейном быту до никогда не прекращавшегося постижения *божественности слова*.

С 1968 года Казаков прочно и надолго обосновался в Абрамцеве, в милых его сердцу аксаковских местах, на собственной даче. Выбор этих благословенных, старозаветных мест был им, конечно, хорошо обдуман. И потому, что он безмерно дорожил преданиями этой исконно русской земли, когда-то давшей приют Сергию Радонежскому, навеки прославившему и освятившему ее своим подвижничеством. И потому, что именно здесь возник в XIX веке один из самых замечательных, самых важных и памятных для России очагов отечественной культуры и родилась та стойкая национальная традиция, которая поначалу была связана с именем Аксакова, а потом продолжена Абрамцевским кружком, знаменитыми русскими художниками, поставившими себе целью, как писал В. М. Васнецов, показать своим искусством «красоту, мощь и смысл наших родных образов — нашей русской природы и человека, нашей настоящей жизни, нашего прошлого» и в своем «истинно национальном отразить вечное, непреходящее».

Витавший над Абрамцевом «дух старика Аксакова» и эта традиция — Казаков ощущал ее вживе, будучи близок с внуком В. Д. Поленова, — служили для него вдохновляющим стимулом.

Обосновавшись в Абрамцеве, Казаков хлопотал о планировке сада и цветников, завел камин и баню, — как купил дом, так, по его словам, и погиб, — но хлопоты эти были ему в удовольствие, были приятны, тихая основательная жизнь в Абрамцеве обещала ему стабильную, спокойную работу.

В августе 1968 года Казаков писал Горышину: «А я крепко надеюсь на осень, на глубокую осень, когда сыро и холодно и повсюду темно, и потому так тепел и светел кажется дом, и так хочется сидеть и что-то свое ковырять, может быть, вовсе и недурное. У меня тут белки прыгают, а осенью начну птиц подкармливать. Эта зима, глядишь, что-нибудь и даст мне, потому что, старичок, что есть наше счастье? Рассказ хороший написал, вот и счастье. А все остальное ерунда».

Когда наступила зима, в декабре, снова писал ему же: «У нас зима хорошо взялась, я уже предвкушаю свои рассказы... Новый год, Рождество... У нас тут поселок пуст, три дома только живут — Леонтовичи, еще кто-то и я. Темно, дико, крыши белеют в черноте лесов, иногда чуть слышен перестук электрички. Если бы в Троице-Сергиевой лавре звонили, у нас бы слышно было...»

К той поре наметилась в жизни Казакова новая полоса, согрела ему сердце новая надежда — по той немаловажной причине, что после всяческих житейских мытарств стал он наконец полноправным семьянином в собственном доме и не мог нарадоваться родившемуся у него сыну Алеше.

В румынских заметках Казаков рассказывал: «Я путешествовал не один. Со мной была — настоящая героиня! — моя беременная жена. В день нашего приезда в Бухарест Захария Станку и его жена пригласили нас на обед. И первый тост, который произнес Захария Станку, был за здоровье того, „кто незримо присутствует среди нас“. Я не сразу понял, кого он имел в виду. И только потом оценил, какой это был чудесный тост — за здоровье еще не родившегося человека. Не знаю почему, но мы с женой были уверены, что родится мальчик. И в то время как наша машина мчалась со скоростью 120 километров в час, пока мы скитались по городам и весям, пересекая горы и долины, мы мучительно подыскивали ему имя. Моей жене нравилось имя Иван, мне оно не нравилось, но ничего другого я не мог придумать. Через две недели после того как мы вернулись из Румынии, родился наш сын. И я, пользуясь правом отца, назвал его Алексеем, Алешей».

Как ни суди, но цену такой простой и такой необъятной человеческой радости, такого доступного каждому смертному теплого счастья Казаков знал, как мало кто другой, и нисколько себе не противоречил, когда опять же Горышину признавался: «Оно, т. е. счастье, глядишь, нет-нет да и посетит нас недостойных, и не все оно позади, а впереди немало будет, пока обратимся в „кости сокровенны“, и тогда уж ничего не будет».

Он был полон семейным счастьем и боялся это светлое состояние спугнуть, утратить. В марте 1972 года в «Фенологическом дневнике» записывал: «Алешка внезапно уснул, а мне захотелось вспомнить, как я проводил Т. и А. 1 марта в Москву, а сам, таща за собой такие полегчавшие санки, пошел домой. Как щемящи все-таки проводы, даже на подмосковной платформе, даже на два-три дня, если ты дорожишь теми, кого провожаешь. Шипение, стук дверей, прощальное, уже смутное сквозь нечистое стекло, уже отреш-

шенное от тебя лицо, подвывание моторов, мелькание вагонов — чем дальше, тем все более скорое, и вот уже вспыхнул красный огонь на светофоре, вот уже ты один на платформе...»

И дальше: «На солнце капель, в тени — 3°С. Ходил сегодня с А. на лыжах, т. е. он ходил, а я его поддерживал за руку. Так он уморился, что, пообедав, пошел в свою комнату, полез на кровать и не залез — заснул — одна нога на полу, другая на кровати...»

Наблюдать маленького Алешу («прелестного мальчика с волосами пшеничного цвета. Так говорят все, не только я, его отец»), любоваться Алешей, — с этим трепетным переживанием, с этой нежностью ничто не могло сравниться.

Когда Казаков обрел долгожданный свой приют в Абрамцево, 1960-е годы клонились к закату, — а именно они, эти годы, в особенности первая их половина, стали периодом расцвета казаковского таланта. За короткое время, всего за пять-семь лет, Казаков написал большинство своих известных рассказов и его имя приобрело такую притягательную силу в литературных кругах, что позже критикам казалось, будто и все-то его творчество — лишь один порыв, одно мгновенное и мощное усилие, не получившее затем обещанного завершения.

В. Турбин, например, после смерти Казакова утверждал: «Казаков был человеком первого шага, дебюта... Творчество Казакова — дебют, длившийся несколько лет. Он перестал писать? Замолчал? Смею думать: он замолчал потому, что весь он выложился в дебюте, в шестидесятых годах — годах отличных литературных и социальных дебютов, начал, начинаний, которые не всегда, далеко не всегда находили столь же яркое продолжение».

Между прочим, С. Залыгин аналогичным образом аттестовал Шукшина после смерти: по словам С. Залыгина, Шукшин «никогда и ничего не заключал», а «всегда начинал, все его творчество — это сегодняшнее угадывание своего собственного творческого завтра».

В таких суждениях есть своя доля правды, и все же утверждать, что Казаков «весь выложился в дебюте» — не значит ли упрощать положение вещей? А. Вознесенский, назвавший 1960-е годы «хребтом столетия», сказал об этих годах: «Они были высвечены прожекторами, отсветом иных веков, их судьбы были выпуклыми, яркими...» Именно такими были судьбы Казакова и Шукшина. И того и другого никак не хочется принимать лишь за удачливых дебютантов, за людей первого шага. Они жили настроениями, ритмами 1960-х годов и не только давали авансы, — они в

полный голос говорили о том, о чем надлежало им сказать, и потому сделанное ими, велико оно или мало, так заметно и существенно в литературе. Они действительно оба выиграла в дебюте, но кто знает, чего бы они еще добились, проживи дольше и на самом деле выложившись до конца. К тому же ведь и молчание иной раз есть акт творческого поведения.

У Казакова публикация рассказов в периодике тех лет было часто сопряжено со всяческими мелочными к нему придирками, это отнимало душевные силы и нервную энергию, он сокрушался, когда ему предлагали сомнительные переделки, был резок и несговорчив, не уступал и в мелочах, громко настаивал на своем, и в итоге рассказы его все-таки появлялись в журналах, и едва ли не каждый из них удостаивался критических откликов либо попадал в орбиту очередной дискуссии, а редакционные неудовольствия покрывались архивной пылью.

Казаков в 1960-е годы при первой возможности куда-нибудь да уезжал, в самые разные края: в Прибалтику, в Закарпатье, на Кавказ, в Казахстан, но неизменную тягу испытывал, как уже говорилось, к «местам исконно русских поселений». Он не любил приморские южные города, и Одессу, и «все эти Алупки, Алушты, Симеизы», которые с отъездом курортников «закрываются, как театры после спектакля». Другое дело, скажем, Вилково в устье Дуная — основанный беглыми староверами в XVIII веке маленький городок, «плоский, ослепительно белый, залитый солнцем, заросший цветами и виноградом, пересеченный десятками ериков», и его жители — работающие потомственные рыбаки. Казакова восхищала неутомимость, с какой вот уже двести с лишним лет обживали здесь некогда гонимые русские люди Дунай, храня верность древним своим преданиям и обычаям...

И в псковских Печорах, — с их старинным монастырем, монахами и молельными пещерами, — с первого взгляда покоривших «покоем, чистотой и музыкальностью» чувствовал Казаков «необычайно сильное ощущение русского», свою сыновность, свою принадлежность к родной истории...

Но, конечно, самым влекущим оставался для него «тихий зов Севера», с его столицей Архангельском. В «оде Архангельску» — лирическом очерке «Четыре времени года» (1966) — Казаков признавался, что «каждый раз испытывал глухое мощное и постоянное волнение при мысли об истории этого города».

И книги у Казакова в 1960-е годы — хоть и не так регулярно, как он того заслуживал, — издавались, и у нас и за рубежом.

Международная известность, напомню, пришла к Казакову рано, еще до появления сборника «На полустанке». А в 1960-е годы его постоянно печатали в Чехословакии и в Польше, в Англии и в Югославии, в Париже присудили премию за лучшую иностранную книгу, переведенную в 1962-м на французский язык, а в Италии почтили в 1970 году Дантовской премией. Позже география переводов казаковской прозы значительно расширилась: его книги увидели свет в Индии, Таиланде, Испании, Норвегии, Голландии, Швейцарии, США, ФРГ и в других странах на всех континентах. Самому писателю довелось побывать в те годы в Румынии, Болгарии, ГДР, где к его прозе тоже относились с большим пиететом.

Законченных зарубежных путевых очерков Казаков не оставил, но в его рассказах встречаются эпизоды, мелькают воспоминания, навеянные заграничными поездками. Соприкасаясь с незнакомой ему жизнью, Казаков не хотел удовольствоваться впечатлениями туриста, а для углубленного постижения той жизни у него, конечно, не доставало времени. «Что такое за граница для русского? — задавался Казаков вопросом в наброске „И все это два какие-то дни...“. — Не знаю, как другие, но я как-то всегда довольно расплывчато воображаю ночные бары, хорошие отели, пойдешь туда, сюда, завернешь, поплутаешь, выйдешь к фонтану какому-нибудь, к дворцу или церкви, с детства знакомой тебе по открыткам, голмон, незнакомая речь, автомашины — бог знает что! Что-то такое отличное от нашей жизни, незнакомое, чужое, в чем тебе предстоит разобраться». Разобраться во всем, проникнуть в суть, сокрытую за рекламной мишурой, за величавым молчанием памятников и музеев, Казакову очень хотелось, как всегда хотелось ему узнать и полюбить всякого незнакомого человека, где бы он ни жил — в беломорской Лопшеньге или в Париже.

«А в Прагу мы приехали часов в шесть утра, — говорится в том же наброске, — но не сразу приехали, а сперва остановились на мосту над какой-то улицей. Верхние этажи домов этой улицы были с нами вровень, и думалось, вот тут живут какие-то чехи и никогда они не были у нас, где-нибудь на Оке, и никогда мне не суждено прийти к ним в гости, посидеть, поглядеть, какие у них комнаты и как они завтракают, перед тем как идти на работу...»
Характерное казаковское настроение!

Особое место среди зарубежных поездок Казакова занимает его пребывание во Франции — весной 1967 года, — где он по приглашению синдиката французских писателей находился вместе с В. Солоухиным. Те три недели, что провел Казаков в Париже и Провансе,

когда о нем оживленно писали парижские газеты, выдались напряженными и увлекательными: деловые приемы в издательствах, встречи с видными литераторами, переводчиками, с художниками, например с Марком Шагалом, пресс-конференции и просто приглашения в гости до предела заполнили те дни. И хотя программа была строго расписана, все-таки удавалось и отклоняться от нее — Казаков пробовал отыскать во Франции живые бунинские следы.

В Париже виделся он с Борисом Зайцевым и позже рассказывал, что «даже вздрогнул от какого-то страха», когда тот сказал, что познакомился с Буниным в 1902 году: «...тогда еще Чехов был жив! Восемь лет еще было до смерти Толстого, Горький, Куприн, Бунин были молодыми, едва ли не начинающими писателями... Сколько великих и страшных событий случилось с тех пор во всем мире, какие эпохи миновали, а собственная жизнь, может быть, и не кажется Б. Зайцеву столь уж долгой...»

К счастью, уцелела на пленке запись беседы Казакова с Б. Зайцевым («Новый мир», 1990, № 7). Старый писатель рассказывал тогда о себе, о своей кровной причастности к русской деревне, о том, что все его детство и ранняя молодость — родился он в Орле в 1881 году — прошли в захудалом имении под Калугой; рассказывал о московском литературном кружке «Среда», где, по его словам, главными действующими лицами были Л. Андреев, Н. Телешов, куда навещался Чехов; где приблизительно в 1902 году он познакомился с Буниным и тот ему сразу «как-то понравился непосредственно, внеразумно». Отношения с Буниным складывались у Б. Зайцева не совсем равноправные — Бунин был старше на одиннадцать лет, — складывались своеобразно: «Я находился, — рассказывал Б. Зайцев Казакову, — на грани между декадентством, символизмом, с одной стороны, а другим концом как-то к реалистическому лагерю более принадлежал. Так что мое положение было такое, что все мои приятели, многие, и знакомые левого крыла, литературного, они на Бунина всегда нападали как на реалиста, и я всегда защищал его с этой стороны... С другой стороны, Бунин всегда их ругал, понимаете, вот Блока там, Белого, — и тут я ему возражал...» Общение с Буниным продолжалось у Б. Зайцева полвека. Он вспоминал о Вере Муромцевой, с которой дружила его жена и которую Бунин, не обвенчавшись, увез в 1907 году в путешествие в Палестину; о московских празднествах в 1910 году, когда Бунин «получил академика»; об их встрече в Париже в 1920-х годах; о частых поездках в Грасс; о том,

каким небывалым событием для всей русской эмиграции стало присуждение Бунину Нобелевской премии; о последних годах Бунина, когда он со многими из эмигрантов, в том числе и с Б. Зайцевым, перессорился...

Интересуясь прежде всего Буниным, Казаков вел в этой беседе, если угодно, и свою партию. Остро чувствуя, что перед ним «живая история», он тем не менее не робел, держался открыто, говорил, что ему больно думать о годах, которые провели здесь, вдали от своего народа, русские писатели. Б. Зайцев объяснял, что «с этим миром» у них ничего общего нет, за сорок лет он так и не выучился толком французскому языку, а вот наиболее зрелые свои произведения эмигранты написали как раз за рубежом своей страны — произведения, «конечно, связанные с Россией, явно», — да и жили они все это время «собственно, Россией — внутренне, но не Россией революционной, нет, это нет», это был для них тоже мир чуждый и далекий. В разговоре у них возникла тема участия или неучастия писателя в общественных делах, и Б. Зайцев признался, что из-за характера своего «был чрезвычайно далек от всякой общественности всегда», на что Казаков возразил: «Писатель может не участвовать в общественных делах, то есть не выступать на собраниях, не писать статей, не быть там председателем разных комитетов и так далее. Но писатель не может отстраниться от жизни своей страны, своего народа. Не только своего народа, но вообще всего мира. Писателя, как и любого человека, не могут не волновать какие-то события в мире...» И добавлял, что недавно тут не доспорил с молодым французским авангардистом, который считает писателей вообще свободными от ответственности перед обществом, однако он, Казаков, «не понимает достоинства этой свободы». И Б. Зайцев с ним соглашался: «Это неверно, все ответственные...»

Вот такой вели они разговор. Не только Бунин, сама Россия была предметом их размышлений.

Не знаю, сколь обстоятельно Казаков читал книги Б. Зайцева, имевшего в свое время репутацию «поэта прозы», — Куприн называл его талант «таким простым, вдумчивым, элегическим, таким тонким», — но, без сомнения, он обнаружил бы в зайцевской манере немало для себя родственного: и лиричность, и музыкальность, и сильно развитое чувство природы, и автобиографизм, переплавленный в исповедь очевидца трагической эпохи. Им обоим, и тому и другому, разделенным, казалось бы, пропастью лет, был одинаково дорог «пейзаж и климат русской литературы»,

душевный и трогательный, как писал Б. Зайцев, «человечнейший и христианнейший из всех».

Ну и конечно Казаков не мог бы остаться равнодушным к рассказу Б. Зайцева «Улица Св. Николая», — если он его читал, — поэтическому монологу об Арбате. «Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления — это ты, Арбат...» — так грустил Б. Зайцев в 1921 году, и легко себе представить, какой сердечный отклик эти строки могли бы вызвать у Казакова. Образ Арбата в этом рассказе одновременно конкретен и символичен, пленителен и жесток, провидчески тревожен и взывает к мужеству. Волны истории, набегая, меняли его облик в XX веке, Арбат торжествовал и каялся, богател и беззаботничал, шумели над ним «метели страшные», и житель его, «гражданин Арбата», закалялся в горниле событий, «грозных и свирепых». «Много нагрешил ты, — обращался к нему Б. Зайцев, — заплатил недешево. Но такова жизнь. И не стоит на месте. Налетела буря, пронеслась, карая, взвешивая, встряхивая, — стала тихнуть. Утомились воевать и ненавидеть; начал силу забирать обычный день — атомная пружина человечества... А ты живешь, — и это звучало уже как обращение к потомку, — в жизни новейшей, вновь беспощадной, среди богатых и бедных, даровитых и бездарных, неудачников, счастливых. Не позабывай уроков. Будь спокоен, скромн, сдержан. Призывай любовь и кротость, столь безмерно изгнанных, столь поруганных... Плачь с плачущими. Замерзай с замерзшими и голодай с голодными. Но не гаси себя и не сдавайся плену мелкой жизни, мелкого стяжательства, ты, русский, гражданин Арбата...»

Этот призыв Казаков, автор «Голубого и зеленого», имел полное право отнести к себе. Да вот знали бы они с Б. Зайцевым, в каком глухом плену «мелкой жизни, мелкого стяжательства» окажется Арбат в XXI веке!

Во время той французской поездки состоялись у Казакова и другие подобные встречи, а направляясь в Ниццу, он завернул в Грасс, на бунинскую виллу и потом свои впечатления изложил позже в наброске «Вилла Бельведер», откуда я рискну привести пространную выдержку, как бы страничку из неосуществленной казаковской книги о Бунине:

«А я вдруг стал воображать эту виллу Бельведер, — писал Казаков, переносясь в тот весенний день на горном шоссе, когда «от синевы небес весело ломило душу», — и подумал, что, в сущности, это первый дом, где Бунин жил многие годы подряд. Что это был первый его дом!

Странно все-таки, что Бунин, которого критики не называли иначе как баринком, помещиком, — никогда не имел своего угла. Вечный бродяга, жил он то у родственников в Орловской губернии, то по отелям, гостиницам...

Трудно понять человека, дожившего почти до старости и нажившего два чемодана рукописей и любимых вещей. Не говорю уже о Толстом — скромнейший Чехов всю жизнь мечтал стать домовладельцем и стал им.

И не беден был Бунин, нет, по тогдашним временам получал он высокие гонорары, любил жить широко — это досталось ему, наверное, от отца — любил путешествовать, побывал чуть не во всем мире, а возвращался каждый раз не к родным палестинам, а в гостиницу Лоскутную.

Жалел ли он, что нет у него детей, родного угла, где все свое, родное, привычное, где все настраивает на рабочий лад, на ежедневный постоянный труд?

Никогда не говорил он об этом.

И странно еще, что всю вторую свою половину жизни провел он оседло, почти никуда не ездил, будто потерял вдруг тягу к новым местам. Или это потому, что жил бедно? Даже слишком бедно...

Каюсь — не люблю мемориальных музеев, до сих пор не был во многих знаменитых усадьбах. Но по дороге в Грасс мне вдруг так захотелось увидеть эту виллу, это печальное пристанище, где Бунин проводил свои, может быть, самые страшные ночи в мыслях о мимолетности славы и о скорой неминуемой смерти, так мне стало горько, будто ехал я на дорожную могилу.

И еще я думал, что и этот дом был, в сущности, чужой ему дом. Все в этом доме было ему чужое и сами стены хранили память о многих поколениях чужих людей.

Все-таки и в этом доме был он минутный гость, странник, присевший на минуту перед дальней дорогой, только вот дороги у него как раз и не было. Даже эфемерного утешения, что дом твой станет когда-нибудь родовым гнездом для твоих детей и внуков, — у него не было.

И мне не хотелось в «благоговейном молчании» ходить по комнатам этой виллы, а хотелось только взглянуть на стены, оглянуться вокруг, увидеть то, что долгие годы видел из окна и во время прогулок он...»

Посещение Франции, где его принимали столь радушно, запомнилось Казакову навсегда. Из Парижа он, правда, писал жене, что не испытывал здесь — от архитектуры города — «того болез-

ненно восторга», который был у него, когда он впервые приехал в Питер, тем не менее, как рассказывала Тамара Михайловна, Париж, с его благопристойностью, приветливостью и комфортом, благообразными стариками и старушками, с его кафе и антикварами, он очень полюбил и непременно хотел поехать туда еще — его приглашали прочесть там лекции о русской литературе...

Только поездки за границу случались редко. А Казакову думалось, что родился он слишком поздно, и родись столетием раньше, «непременно сделался бы путешественником». Тамара Михайловна вспоминала: «...ему очень хотелось побывать в разных странах, он мечтал о кругосветном путешествии, узнавал даже, нельзя ли наняться на какое-нибудь океанологическое судно. Очень хотел попасть на Святую землю — он всегда говорил об этом, когда брал в руки маленький кипарисовый складень, привезенный оттуда кем-то из благочестивых предков...»

В Абрамцеве Казаков жил чем дальше, тем все замкнутее, почти отшельнически. Единственное, чего жаждал — писать свои рассказы, они одолевали его, но в 1960-е годы он много времени и сил отдал переводам.

В 1962 году Казаков перевел с якутского повесть Николая Чискана «Белый поток», а позже надолго сдружился с казахским прозаиком Абдижамилом Нурпеисовым и в результате после нескольких лет работы подарил русскому читателю его трехтомный роман «Кровь и пот», который получил, по словам С. Баруздина, широкое признание «не только в нашей стране, но и за рубежом, поскольку с русского был переведен и на многие другие языки мира».

Казакову не забыть было той осени 1964 года в Казахстане, когда после Декады русской литературы остался он в доме отдыха под Алма-Атой и приступил к переводу эпопеи Нурпеисова. Это была непривычная, но азартная работа, которой Казаков щедро отдавал себя. Это было творческое соперничество, самоутверждение столь необычным для рассказчика способом, при том, что переводимая книга была чужой, у нее был полноправный хозяин — автор. Спорам их не было конца. Когда начиналась работа, «начиналось бешенство, презрение, любовь, удовлетворение, наслаждение, наконец! Все это испытывал я, — вспоминал потом Казаков. — Бесконечная вереница вопросов, недоумения, раздражения, непонимания текста преследовали меня ежедневно. Но каждый раз верх брало терпение автора. Нурпеисов как бы заранее настроился претерпевать и отражать всевозможные мои нападки».

Постепенно работа наладилась, вошла, что называется, в свое русло. Контакт переводчика с автором был установлен. В предисловии к первой книге романа («Сумерки») Казаков рассказывал: «Целую зиму провел я в горах над Алма-Атой, в ущелье Медео. Там было много тишины и много солнца. Снег таял на обрывах, обращенных к югу, и всю зиму в горах пахло весной. Черные и серые дрозды, которые улетают от нас на всю зиму, там бегали по вытаявшей земле и перелетали в кустах барбариса по ущельям. Иногда целыми днями валил крупный снег, шоссе в горы заваливало, машины не ходили, деревья под снегом тяжелели и цепенели, и если с ветки срывалась нахохлившаяся птица — снег долго тогда сыпался кисеей. Мир вокруг меня как бы глох, только Алматинка внизу все рокотала и несла ключья пены и завитки пара. Приезжал ко мне наверх Нурпеисов, мы выходили из теплого, тихого дома на мороз, на снег, и Нурпеисов рассказывал, как душиста и зелена бывает степь весной, как горько и сочно пахнет полынью на Арале и как нескончаемо звенят в вышине жаворонки. В ту зиму я работал над переводом романа „Сумерки“. Непривычны и чужды сначала были мне мир казахов, их жизнь и их обычаи, но каждый день я снова и снова как бы уходил туда, в 1914 год, на берег моря, к рыбакам и баям, свыкался с ними, и скоро все они стали мне как давние знакомцы, и мне было весело работать...»

К этой изнурительной и методичной работе Казаков относился с присущей ему ответственностью. С Глебом Горышиным, который тоже переводил с казахского, делился опытом: «Сказать тебе что-нибудь определенное о технике перевода я не могу, т. к. сколько переводчиков, столько и методов перевода. Я *переписывал* Нурпеисова, стараясь все-таки, чтобы это был Нурпеисов, а не Казаков. Подстрочник ни в коей мере не передает букву оригинала, но дух оригинала в подстрочнике все же присутствует, и, уловив этот дух, можно довольно смело работать, не опускаясь, с одной стороны, до примитивизмов подстрочника и, с другой стороны, не возвышаясь над автором... Не знаю, как тебе достанется перевод, а мне было тяжеловато. Халтурить душа не позволяла, и я, в сущности, как бы вновь писал роман, и времени уходило много, как на свой собственный».

Нурпеисов, нужно отдать ему должное, не только сумел разглядеть за «крутым и резким» характером Казакова «тонкую, почти детскую восприимчивость и артистизм», но и оценил по достоинству его преданность их общему труду. «Работа с Казаковым, — вспоминал он впоследствии, — была для меня серьезной школой. Смею

сказать, что я сам люблю работать над словом, убежденный, что облик слова определяет облик самого произведения. Но, признаться, кропотливая работа над словом Юрия Казакова меня всегда восхищала... Когда дело касалось творчества, для него не было мелочного и второстепенного. Он ни в коем случае сам не допускал и никому не позволял неточности, приблизительности, любая фальшь или искажение текста могли его легко вывести из равновесия...»

Работа в Казахстане отрывала от родного абрамцевского дома. Казаков сильно скучал. Из Алма-Аты в январе 1971 года писал Эдуарду Шиму: «Милый, мудрый Шим! Вспомнил я твой дом в моем изгнании, среди чуждых гор, и стало мне приятно от мысли, что если мне постараться, то и у меня будет когда-нибудь такой же дом, т. е. в смысле ухоженности и красоты земли. Как-то я тут смотрел в громадный телескоп на звезды, а потом вышел вон, но и наружи не было уютнее — белели вокруг горы и блестели под луной купола обсерваторий, и так мне захотелось в Абрамцево, затопить камин, и чтобы весной вылез из земли тюльпан, баню затопить и вообще чего-нибудь простого захотелось, что даже нехорошо как-то стало. Все-таки молодец ты, что живешь на земле, не на асфальте, хорошо, что и я купил себе домишко и что еще одно усилие, еще одна трата денег на ремонт, а потом десяток лет можно не думать о доме, а только о посадках, о теплицах, о расчистках леса, о деревьях и кустах и вообще — жить. И жалко, что благодать эта пришла мне теперь, а не в двадцать пять лет...»

Надо сказать, Эдуард Шим «о посадках, о теплицах», о голландских тюльпанах и приготовлении настойки на смородинных почках был весьма осведомлен. Столяр-краснодеревец по профессии, он университетов не кончал, — а всего лишь архитектурное (читай — ремесленное) училище. Из ленинградской блокады с больной матерью Шим попал в глухую северную деревеньку, мать «почти не могла работать, жилось худо, голодно», и чтоб как-то прокормиться, всякий день ходил он в лес: «Весной собирал крапиву, пestyшки, щавель, клюкву из-под снега, летом — ягоды и грибы; потом стал ходить на рыбную ловлю, на охоту... Еще не разумом, не опытом, не наметанным глазом — просто сердцем ощущал эту неброскую, тихую, бедную землю как свою родину...» Став писателем, Шим с особым чувством писал о детях и для детей, писал мастерски, порой изысканно — и о секретах столярного мастерства, «о березовом полене и многих прекрасных вещах, спрятанных в нем»; и о повадках лесных птиц и зверей; и о деревен-

ских ребятишках, с которыми собирал те самые «пестышки» — вкусную весеннюю травку... Шим все умел делать своими руками, с немецкой тщательностью и аккуратностью. Когда он женился на актрисе Вахтанговского театра Елене Добронравовой и переехал в Москву, он так обустроил старую, обветшавшую дачу в Валентиновке (сравнительно недалеко от Абрамцева), так умно распорядился дворовыми посадками и цветочными теплицами, что вызывал у Казакова, старавшегося ему в этом деле подражать, уважительную зависть...

Казахский перевод Казакова тяготил, отвлекал от собственных рассказов, хотя и дисциплинировал тоже. В том же письме Шиму он жаловался: «Завидую я вам, чертям, что вы свое что-то царапаете, а мне вот надо своей кровью орошать пустыни Казахстана. Но что делать — последний том, верный заработок, верный, следовательно, хлеб и луковицы, и семена, и ремонты, и налоги, и все остальное. А со своим еще без денег насидишься, знаю я, как писать свое. Зато после Казахстана ни одной нации не подпущу я к себе близко и вновь займусь изучением русского языка».

Однако как бы ни складывались житейские обстоятельства, как бы Казаков ни сокрушался, что «давно *сам* не писал», — он временами все же отрывался от перевода и от киносценария по роману «Кровь и пот». Сочинял короткие детские рассказы, признаваясь, что писать для малышей ему одно удовольствие.

Еще в ноябре 1958 года он писал Конецкому: «Наконец, я занялся детской литературой и состряпал четыре крошечных рассказа для детей. Для совсем маленьких детей... удивительно приятная и захватывающая работа — делать детские миниатюры. Нужно без конца самоограничиваться и обходиться без эпитетов, многоглагольности и т. п. штучек литературы для взрослых...»

А в 1979 году, когда журналист как-то обратился к Казакову: «Вы пишете и детские рассказы, и даже являетесь членом редколлегии журнала „Мурзилка“. Однажды на страницах этого журнала вы выступили в очень необычном жанре — написали статью для самых маленьких о Лермонтове. И вот вышли ваши новые рассказы „Свечечка“ и „Во сне ты горько плакал“, построенные в форме обращения к маленькому сыну. Дети интересуют вас как собеседники, в обращении к которым вы испытываете острую потребность. Так ли это?» — Казаков ответил журналисту: «Одно дело рассказы о детях, а другое — для детей. Вы упомянули „Мурзилку“. Так вот, если иметь в виду самого маленького читателя, то рассказ для него должен быть предельно прост, лаконичен, инте-

ресен и поучителен. (Это, кстати, большое искусство; есть писатели, посвятившие этому свою жизнь.) Рассказ же о ребенке, написанный для взрослых, может быть сколь угодно сложен. Во всяком случае, свои рассказы о маленьком сыне... я бы ни за что не посмел предложить маленькому читателю».

Детская проза Казакова, его книжки для самых маленьких: «Тропики на печке» (1962), «Красная птица» (1963), «Как я строил дом» (1967) и другие — трогательная глава в казаковском «романе рассказчика».

Но и предчувствие чего-то значительного, тревожившее Казакова, когда он только поселился в Абрамцеве, не обмануло — здесь родились те самые упомянутые журналистом «Свечечка» (1973) и «Во сне ты горько плакал» (1977), волею судьбы ознаменовавшие собой последнюю главу казаковского «романа».

Последнюю, но не скажешь — заключительную, потому что «роман» этот все-таки остался незавершенным, и это тем прискорбнее, что духовные горизонты и художественные высоты, открывавшиеся в этих рассказах, сулили ему прекрасное продолжение.

Глава 11

СВЕЧЕЧКА

Еще в феврале 1963 года Казаков пометил в дневнике: *«Написать рассказ о мальчишке, 1,5 года. Я и он. Я в нем. Я думаю о том, как он думает. Он в моей комнате. 30 лет назад я был такой же. Те же вещи».*

Однако потребовалось десять лет, пока этот замысел проглянул в рассказах «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал», которые сам Казаков называл частями «триптиха», предполагая написать еще рассказ «Компотик!», обдуманный им во всех подробностях.

За десять лет Казаков шагнул далеко и достиг в этих рассказах такого уровня художественной простоты, когда повествование как бы являет собой «свободное излияние сердца» (И. Золотусский), которому нет ни границ, ни запретов.

Лирический монолог автора в этих рассказах вьется вокруг неспешных его прогулок с маленьким сыном Алешей возле абрамцевского дома. Обстановка будничная, и вместе с тем этот неторопливый ненавязчиво-грустный монолог исполнен философской символики и душевного напряжения; слова отца, обращенные к сыну, звучат с торжественной значительностью завещания.

Сын слушает отца, но, занятый собой, играя своей машинкой, ему почти не отвечает. Он по-своему, не всегда уловимо реагирует и на слова, и на поведение отца, но взаимопонимание между ними, «безусловное единство» сына и отца (П. Флоренский) покоится не на словах, а на чем-то ином, несравнимо более убедительном и крепком: на неизреченной душевной близости, на доверии и любви, силу которых невозможно измерить.

Разговор между отцом и сыном в этих рассказах — это «разговор двух душ», в томлении и взаимной тоске которых скрыта вечная (вероятно, высшая!) тайна. Их разговор, прибегая к выражению Д. С. Лихачева по другому поводу, «носит наджизненный, надбытовой характер», и хотя находятся они в конкретных преде-

лах своего абрамцевского существования, они говорят как бы «больше того, что они могли бы сказать в жизни», сказать словами.

И первое слово в этом исповедальном разговоре, сопряженном с резкими, импульсивными перепадами авторского настроения, было — об отчем доме.

Казалось бы, убежденный странник, Казаков будто остановился, задумался и страстно захотел посвятить сына в истинную первопричину своих многолетних метаний. «А где я только не жил! — рассказывал он Алеше. — В каких домах только не проходили мои дни — и в сторожках бакеншиков, и на лесных кордонах, и в таких, где и перегородки-то не до потолка, и в таких, которые топились по-черному, и в хороших старых домах, в которых и фарфор был, и рояли, и камин, и даже — представь себе! — даже в замке пришлось пожить, в самом настоящем замке — средневековом, далеко, во Франции, возле Сан-Рафаэля!» Он везде чувствовал себя одинаково уверенно — и в курной избе, и во французском замке Жерара Филипа, — но отовсюду нужно было уезжать, и потому так преследовала его в глубине души назойливая мысль об отчем доме, о прародительской обители, какой он не знал в детстве.

Чувство неукота, неприкаянности, давней изнурительной бедности скрывается за этой тоской по отчужденному дому, и то обстоятельство, что у Алеши свой надежный дом есть от рождения, вселяет в отца сознание выполненного долга. Сумев дать в наследство Алеше этот абрамцевский дом, он словно возобновляет распавшуюся связь времен, связь поколений, возрождает сыновнее отношение к прошлому и сообщает Алешиной жизни ту законную, изначальную стабильность, которой сам был лишен.

Ведь что такое для человека отчий дом?

Это перво-наперво живая воплощенная память о своих предках, это родное пристанище, это чувство своего корня. «Как жалею я иногда, — сокрушался Казаков, — что родился в Москве, а не в деревне, не в отцовском или дедовском доме. Я бы приезжал туда, возвращался бы в тоске или в радости, как птица возвращается в свое гнездо».

Это «малая родина», единственный, неповторимый пейзаж: поля, луга, или какой-то берег, или степь, или Волга, а для Алеши вот — древнейшая радонежская земля, старинное Абрамцево.

Отчий дом — исток человеческой жизни, источник гражданского самосознания, невозможного без чувства Родины. Самим фактом своего существования отчий дом как бы материализует это «первичное чувство», укореняя человека в бескрайнем и много-

ликом отечестве. Недаром, как рассказывает отец Алеше, один его друг на войне при возгласе: «За Родину!», в последние, может быть, секунды видел перед собой «не Родину вообще, а отцовский дом и сарай, и сеновал, и огород, и повесть в деревне Лопшеньга на берегу Белого моря!».

То же самое, надо заметить, испытывал Шукшин, вспоминая свою избу и «родные полати из детства». «Трудно понять, — признавался он, — но как где скажут „Алтай“, так вздрогнешь, сердце лизнет до боли мгновенное горячее чувство, а в памяти — неизменно — полати. Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний момент успею подумать о матери, о детях и о родине, которая живет во мне».

Шукшин хорошо знал, что такое спасительное притяжение родительского, отчего дома!

«Одно дело жить и бороться, когда есть куда вернуться, другое дело, когда отступать некуда, — писал он. — Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот — есть еще куда отступать, есть где отдышаться, собраться с духом. И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живет там с людьми и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу».

С Шукшиным Казаков лично знаком не был, публично о нем, кажется, не высказывался, а вот В. Солоухину завидовал открыто: тому, что есть у него родная деревня Оледино, есть просторный дом, и не покупной, а родовой, есть у него собрание старопечатных и рукописных книг, икон, — оттого и чувствует себя В. Солоухин на земле прочно, и житье-бытье его, с такой достоверностью им описанное, так заразительно для его читателя.

Отчий дом, в представлении Казакова, — небезучастный, взволнованный хранитель семейных древностей и преданий, живая память о детстве, обо всем, что было раньше, что в разные эпохи и времена происходило в его стенах. «Тихая работа вещей» создает в доме неповторимую атмосферу, каждая вещь в доме — жива, каждый закоулок источает невнятные для посторонних, но такие понятные близким душам свидетельства о прошлом. «Ты не думай, малыш, — обращается отец к сыну, — что дома и вещи, сделанные человеком, ничего не знают и не помнят, что они не живут, не радуются, не играют в восторге или не плачут от горя...»

Но дом — не только хранитель прошлого, он и та волшебная линза, сквозь которую можно заглянуть в будущее, тот магический объектив, который позволяет отцу приобщиться к будущей жизни сына. Благодаря дому жизнь человека продлевается и в минувшем и в грядущем, и дом становится вечной обителью всех когда-либо населявших его людей, становится мостом сквозь время.

Рано или поздно, верит Казаков, пройдя по жизненным дорогам и став «совсем другим человеком», сын вернется в отчий дом и услышит от него то, чего не в состоянии запомнить сейчас, в пору своего младенчества. Это так необходимо отцу — чтобы сын понял когда-нибудь его теперешнюю тоску и боль: «ибо горе близко и помочь мне некому!» — чтобы сын перевоплотился однажды в отца, как теперь отец пытается вообразить себе тот будущий момент в жизни сына.

«Но вот настанет время, ты вернешься в старый свой дом, вот поднимешься на крыльцо, — пишет Казаков, — и сердце твое забьется, в горле ты почувствуешь комок, и глаза у тебя защиплет, и услышишь ты трепетные шаги старой уже твоей матери, — а меня тогда, скорей всего, уж и не будет на этом свете, — и дом примет тебя. Он обвеет тебя знакомыми со младенчества запахами, комнаты его улыбнутся тебе, каждое окно будет манить тебя к себе, в буфете звякнет любимая тобою прежде чашка, и часы особенно звонко пробьют счастливый миг, и дом откроется перед тобою: „Вот мой чердак, вот мои комнаты, вот коридор, где любил ты прятаться... А помнишь ты эти обои, а видишь ты вбитый когда-то тобой в стену гвоздь? Ах, я рад, что ты опять здесь, ничего, что ты теперь такой большой, прости меня, я рос давно, когда строился, а теперь я просто живу, но я помню тебя, я люблю тебя, поживи во мне, возвратись в свое детство!“ — вот что скажет тебе твой дом...»

Теперь абрамцевский дом уже ничего не скажет. В конце 2007 года его сожгли...

Не сгорел он — притихший, беззащитный казаковский дом злонамеренно и варварски сожгли...

Так вот, в разговоре двух самых близких душ — отца и сына — дом становится нерушимым связующим звеном: и реальной ареной, и символом их общего бытия.

В итоге создается в «Свечечке» иллюзия необычайного простора, беспредельности: при строго локальной бытовой основе, повествование здесь как бы безгранично во времени и неисчерпаемо в том «высшем значении», о котором скорбит душа писателя.

Два ощущения времени заявлены в «Свечечке» с самого начала. «Эх, малыш, — обращается к сыну отец, — ничего-то ты не понимаешь... Давно ли было лето, давно ли всю ночь зеленовато горела заря, а солнце вставало чуть не в три часа утра? И лето, казалось, будет длиться вечность, а оно все убывало, убывало... Оно прошло, как мгновение, как один удар сердца. Впрочем, мгновенным оно было только для меня. Ведь чем ты старше, тем короче дни и страшнее тьма. А для тебя, может быть, это лето было как целая жизнь?»

Жизнь — как мгновение, как один удар сердца.

И мгновение — как целая жизнь.

С одной стороны, перед нами художественно претворенные воспоминания, тревожные, печальные, овеванные одиночеством, проникнутые болью и сожалением из-за невозвратимости, невозстановимости минувшего.

А с другой — неторопливая, пристальная летопись детства, светлого и доверчивого, устремленного в бесконечные дали своего воображения, исполненного «созерцательного наслаждения» в общении с тихим и прекрасным миром.

Таков уж механизм восприятия времени у Казакова: находясь в одном измерении, он тут же проникает и в другие. Понимая, что каждая минута, каждый нынешний день для его сына — уже прошлое, которого тот даже и не запомнит, он чувствует себя по-особому ответственным и перед сыном и перед собой.

Размышляя о поре нежного младенчества, по какому-то странному закону исчезающей с годами из человеческой памяти, наблюдая за Алешей, который «постоянно думает» и сосредоточен на чем-то своем, писатель тщится проникнуть сердцем за непроницаемую пелену, скрывающую, наверное, «самое великое время» человеческой жизни, хочет наитием художника угадать — в чем оно, то возвышенное, вещее знание, что дается ребенку у истока дней? Он убежден: «и все-то на свете сотворено затем только, чтобы на него взглянули глаза ребенка», он не перестает удивляться, с какой жадной самостоятельностью постигает ребенок окружающий мир, — и нечто роковое видится ему в том, что зрелость и опыт не могут возместить человеку утраченной непосредственности и мудрости, и «загадочное превосходство детей» до конца дней печалит душу, извечно взыскующую родного зова и отклика.

Какая она, эта забываемая всеми страна беспамятного детства?

«Куда, в какие прекрасные края ехал ты в своем воображении?» — задается вопросом в «Свечечке» отец, глядя на Алешу.

И эта страна, всплывающая потом разве что во снах, эти неведомые края не могут не рисоваться отцу прекрасными, не могут не манить его — как последняя надежда.

Состояние отца, удрученного глухим ноябрем («Такая тоска забрала меня вдруг в тот вечер, что не знал я, куда и деваться — хоть вешайся!»), и состояние сына, беззаботно играющего с машинкой и вдруг исчезающего в крошечном мраке, — диаметрально противоположны. Отец надеется найти в сыне поддержку, он мертвец от страха за сына, потеряв того в ночной черноте, он обижается и негодует, — но сыну все это, кажется, невдомек, он удаляется от отца, «как звезда», и вроде бы не реагирует на отцовские мольбы.

Два ощущения времени, два душевных состояния. Трагически контрастные...

Но после того как обозначились в «Свечечке» обстоятельства, разделяющие отца и сына, начинается их сближение, их радостный возврат друг к другу. И ребенок первым нащупывает трепетную нить душевного контакта. Он более чуток сердцем и потому первым делает движение навстречу отцу.

«Но вот я взглянул на тебя пристальней, встретил твой какой-то особенный, ожидающий взгляд и увидел твое томление и как бы мечту о чем-то. Звук, ток укоризны и вопрошения исходил от тебя, и сердце мое забилося», — на этом ловит себя отец, испытывая досаду на себя и безмерную благодарность к сыну за «доверчивую нежность».

Ребенок предстает перед отцом воплощением святой чистоты и высшей мудрости, открывающей человеку смысл его духовного бытия. «Озаренный свечой, ты сиял, светился, глаза твои, цвета весеннего неба, лучились, ушки пламени, взлохмаченный пух белых волосиков нимбом окружал твою голову, и мне на миг показалось, что ты прозрачен, что не только спереди, но и сзади ты освещен свечой» — так думает отец, и эта свеча, этот свет, это прозрачное сияние, излучаемое сыном, на лице которого «промелькнула некая таинственная тень, будто хотел» он «остановить мгновение», видятся отцу символом негасимого горения жизни, символом счастья. Таков финал «Свечечки»...

А в рассказе «Во сне ты горько плакал» мотивы, настроения и нравственные метания, обозначившиеся в «Свечечке», варьируются и усложняются. На первый план выступает здесь противостояние жизни и смерти, судьбы и веры, а связующим лейтмотивом остается разлучение душ.

Сколько ни перечитывай этот рассказ, как справедливо отмечала Е. Ш. Галимова, он оставляет «ощущение неисчерпаемости, непромеренной глубины», доминирующим чувством, пронизывающим каждую его страницу, как и в «Свечечке», остается любовь, далекая «от умиротворенности и безмятежности», любовь-тоска, скрашенная «страхом потери, тревогой, ощущением хрупкости, непрочности человека и мира». В этом рассказе сошлось, как в фокусе, многое из намеченного в прежних рассказах, что придает ему характер «прощальной итоговости». Если в «Свечечке» автора смущало «загадочное превосходство детей», тайна младенчества, то в рассказе «Во сне ты горько плакал» автор стремится приблизиться к вещему знанию о тайне смерти, тайне вечности, не менее загадочной, чем тайна рождения. «Каждый фрагмент рассказа изобилует вопросительными предложениями, и вопросы эти, — писала Е. Ш. Галимова, — отражают стремление автора понять тайну человеческой природы, загадку жизни и загадку смерти... Границы бытия — канун смерти и начало жизни — сближаются в рассказе как два состояния человека, ближе всего подводящие его к порогу, за которым — таинственная неизвестность».

Уже в самом начале рассказа автор погружается в размышление о том, властен ли человек над собственной жизнью, — пытаюсь вникнуть в причины самоубийства своего абрамцевского знакомого, казалось бы, счастливого отца, так любившего своих детей, заботливого семьянина, такого бодрого и деятельного работника.

Этим знакомцем был Дмитрий Голубков, талантливый поэт и прозаик, автор стихотворных сборников и романов «Недуг бытия» (о Баратынском) и «Восторги» (о юности художника, пришедшейся на середину 1950-х годов). Д. Голубков родился в Москве в 1930 году, учился в художественной школе при институте имени Сурикова, окончил факультет журналистики МГУ. Судя по его стихам и прозе, он был умным, честным и чистым человеком и по-особому пленил Казакова. Может быть, своим интересом к Лермонтову (он написал о нем поэму и рассказ «Кузен Мишель»)? Может быть, трогательной любовью к абрамцевским окрестностям? Но, видимо, больше всего — своей деликатностью и «стеснительной неприязнью к низменной суете».

О настроениях Д. Голубкова свидетельствуют записи в его дневнике. 30 июля 1969: «Жара. Пишу роман («Восторги». — И. К.), переписываю на машинке уже вторую часть. Гнетет он меня, как собственная жизнь, как все путаное, страшное и неразъяснимое, что я перевидел и перечувствовал — и в личном, и в художествен-

ном, и „политически“. Но все это — обо мне, и мне все чаще кажется, что и самоубийство Олега — тоже обо мне». 18 сентября 1969: «Погода была чудесная, целую неделю — ни дождя, ни тучки. Задумчивая пышность осени, ясное и грустное ее великолепие. И странная, самоубийственная тоска: красота природы стала действовать на меня болезненно, она — фон для возможного (для меня — невозможного) счастья, призыв к гармонии, радости, простоте...» 4 апреля 1971: «Больница Баумана (№ 29, Госпитальная площадь, чудные голубые купола старинной церкви на Солдатской), операция, боль, ночные муки, чужое страдание, примериваемое на себя (мысленно — до боли). Заслуженность всякого страдания, невозможность роптать, кощунственность ропота...» Встречаются в этом дневнике и записи о Казакове, весьма субъективные, например, запись от 12 сентября 1969: «Казаков бывает почти каждый день. Превосходный его рассказ прочел («Осень в дубовых лесах»). Понял: это писатель звука (нет мысли: банален; нет страсти — спокоен); вроде ранней Ахматовой и раннего же Бунина: очень просто, почти ничего, а — воздух, звук, гармония».

Размышляя о случившейся трагедии и понимая, что не минутная слабость, а нечто другое, куда более грозное, стало причиной такого исхода, Казаков старается во всех деталях восстановить картину: как это было? — и, ставя себя на место самоубийцы, силится заглянуть в бездну, вечная тайна которой смущала не один великий ум.

Как известно, и Толстой задумывался над тем же. В «Исповеди» он вспоминал пережитый им ужас, когда жизнь вдруг опустылила ему, а мысль о самоубийстве пришла «так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни».

«И вот тогда я, счастливый человек, — признавался Толстой, — вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее и между тем чего-то еще надеялся от нее. И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем...»

Это ощущение, как и вся атмосфера нравственных поисков толстовской «Исповеди», пожалуй, в чем-то самом существенном объясняют замысел рассказа «Во сне ты горько плакал».

К толстовской «Исповеди» Казаков обращался с желанием почерпнуть из этой мудрой книги нечто для себя важнейшее, нечто указующее путь к душевному спасению, к разгадке самых тревожных проблем веры и самовоплощения, счастья и долга.

Еще в марте 1962 года он делился с Конечким: «Я сейчас в Тарусе, и за десять дней написал очерк про Закопане — так себе, пустячок — и рассказ. Рассказ небольшой, но препоганный. Я, знаешь, насколько раньше был непоколебим и уверен в себе, настолько сейчас заkis и расkis и не знаю, что делать. Как-то тянет меня на высокое и важное, а высокого и важного что-то все не подвертывается, и то, что делаю я сейчас, совершенно мне не в жилу... А тут еще... Взял Толстого „Исповедь“, почитал и совсем закручинился. Неотразимо пишет старик...»

Моральный пафос толстовской «Исповеди», вне всякого сомнения, воздействовал на Казакова и в ту пору, когда он в начале 1960-х годов работал над повестью «Разлучение душ», и когда в 1970-х писал «Свечечку» и «Во сне ты горько плакал». Мысль о «высоком и важном» никогда не оставляла его. И об абрамцевском своем знакомце он размышлял, мне кажется, тоже с невольной оглядкой на Толстого.

Перед Казаковым возникали заведомо фатальные вопросы: неужели на каждом из нас стоит неведомая печать, предопределяя весь ход нашей жизни? неужели каждый отмечен от рождения неким роковым знаком? — но Казаков все равно хотел достучаться до истины, хотел понять тайные страдания человека на границе жизни и смерти, так же как он стремился разгадать загадку младенчества и понять человека на той грани, когда он приходит в мир из небытия.

Рождение, исток жизни и ее финал оказывались одинаково значимыми. Человек приходил в мир со своей тайной и уносил ее с собой в могилу. Эта тайна пребывания человека в земной обители мучила Казакова постоянно, и он упирался в тот же вопрос вопросов, который с такой беспощадностью звучал в толстовской «Исповеди».

«Вопрос мой — тот, который в пятьдесят лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца, — писал Толстой, — тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том: „Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, — что выйдет из всей моей жизни?“ Иначе выраженный, вопрос будет такой: „Зачем мне

жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?“ Еще иначе выразить вопрос можно так: „Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?“»

Для Казакова этот вопрос о смысле человеческой жизни, вопрос о бессмертии был овеян мыслью о родстве отца и сына, мыслью о единении их душ. Как ни горько отцу в казаковском рассказе чувствовать, что сын в свои полтора года уже уходит от него, что душа сына «с каждым годом будет все отдаляться, отдаляться», в нем все-таки теплится надежда, что души их «когда-нибудь опять сольются, чтобы уже никогда не разлучаться». Как верно заметил А. Арьев (1988), «разъединение душ» таит у Казакова «мечту о „единении душ“, мечту, которой всегда жил писатель и которой жив человек». В этой мечте, в этой надежде — и символ личного бессмертия, и, помимо того, залог духовной цельности народа и нации.

Да, родство отца и сына предстает у Казакова как непеременимое условие бессмертия нации и народа, а следовательно, и всего человечества. На эту, может быть, одну из коренных черт казаковского миропонимания обратили в свое время внимание и, думается, верно ее интерпретировали М. Эпштейн и Е. Юкина в статье «Образы детства» (1979). Два последних рассказа Казакова, по логике авторов этой статьи, как бы венчали собой давнюю традицию русской литературы, а проблема родства и отцовства попадала в прямую зависимость от проблемы духовного бытия народа.

«Тема детства вошла в русскую литературу, — говорилось в статье, — как признак интенсивного самосознания личности и нации, отделившихся от своих стихийных, бессознательных истоков — и обернувшихся к ним. Может быть, не случайно, что интерес к детству отчетливее всего выражен у тех русских писателей, которые наиболее преданы идее старины, почвы, патриархального уклада: у Аксакова, Достоевского, Толстого, Бунина... Поэзия прошлого вообще имеет неоценимое значение для развития личности и нации, отнюдь не меньшее, чем фантазия о будущем. Любовь к прошлому придает самозамкнутость и самооценность прожитой жизни, выступающей уже не как средство для настоящего, но как цель в себе; сберегая прошлое, личность тем самым сохраняет непрерывность своего развития как личности, целостность духовного бытия».

У Толстого, по мнению авторов статьи, впервые в русской литературе выразились «психологические особенности ребенка

и одновременно — народа как единого лица»; Толстой настойчиво возвращал своих героев к стихийной, природной первооснове их существования — «потому-то детство и народ (начала всех начал) оказываются для него подлинными и первичными реальностями, над которыми нарастают выдуманные мифы взрослого сознания».

Что же касается Казакова, его взгляда на ребенка, то у него чувство родства и отцовства приобретает современную, неизвестную прежде окраску.

«В отцовстве, — писали М. Эпштейн и Е. Юкина, имея в виду Казакова, — по-новому проявляет себя чувство рода: некогда уязвленное и почти отринутое, оно теперь восстановилось, но стало очень личностным и обращенным скорее вперед, чем назад, — к детям, а не предкам. Ребенок становится нравственным центром семьи, в нем — надежда на приобщение к такой истине в ее истоках, которая раньше черпалась в заветах старины. И потому у отца к ребенку такое же отношение духовной зависимости и пietetа, как прежде — у ребенка к отцу. Герой Казакова в детстве не имел своего духовного и физического пристанища, он воспитывался не семьей, а войной; отсюда — жадное внимание к своему ребенку, к его опыту, наиболее первичному, являющемуся как бы исконный лик рода, который нельзя уже разглядеть в прошлом, во мгле немирных времен. Исторический опыт сиротства, который нельзя вычестить из современности, сказывается в том, что полнота и святость родовой жизни ощутима скорее в детях, чем в дедах, отнятых драмами минувших десятилетий».

В последних рассказах Казакова действительно остро ощутим «исторический опыт сиротства» — не просто в личном, биографическом плане. Мотивы собственного детства непрощено врываются в казаковское повествование, обнажая его трагический подтекст, но звучат они скорее глухо, как отголоски отшумевших социальных бурь...

В рассказах «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал» торжествует очистительное, возвышающее человеческую душу страдание, — они и скорбны, и мажорны. Пронизывающее их авторское чувство напоминает чувство религиозное, включающее в себя и ощущение мировой беспредельности, и ощущение тесной связи людей между собой, почитание рода, семейного очага, и ощущение таинственности неподвластных нашему разуму природных сил и явлений.

Когда-то об этих чертах религиозного сознания рассуждал, вспоминая своего отца и обращаясь к собственным детям, П. Фло-

ренский, делавший при этом вывод, что «единственный лозунг, который может быть общим, общим всем людям, который дает правильное разумение нравственным заповедям и требованиям религии, который не ведет к ожесточению и нетерпимости», — это человечность. Именно она и только она достойна стать основанием подлинно гуманного вероучения. «Человечность», — писал П. Флоренский в своих воспоминаниях, — вот любимое слово отца, которым он хотел заменить религиозный догмат и метафизическую истину. В человечности видел он всеобщий регулятор всех общественных и личных отношений, взамен религий, права и морали, — единственное, что должно быть проповедуемо и внушаемо». Думаю, такой взгляд, такое восприятие религии Казакова было и близко, и понятно.

Последние казаковские рассказы, по своей поэтической сути, не поддаются исчерпывающей расшифровке. Они многомерны и несводимы к какой-то одной смысловой или эмоциональной константе. Оркестровка, мелодика и образный строй этих рассказов позволяют уподоблять их симфонической классике, о чем писал Казакову один из читателей. Полагая, что «по своей форме, ритму и гармонии, а главным образом по своему напряженному духовному и философскому звучанию и по силе эмоционального воздействия» рассказ «Во сне ты горько плакал» приближается к музыкальным произведениям «великих старых мастеров», автор письма утверждал, что в казаковском рассказе ему слышатся те же раздумья о самом святом для человека, — те же темы жизни и смерти, любви и страдания, «темы о Боге (в самом высоком смысле этого слова и его философского содержания), темы непостижимости и тайной мудрости детского взгляда...»

Вот на каком духовном уровне воспринимались эти рассказы Казакова. По словам Т. М. Судник, он не мог без слез читать подобные письма, — а получал их немало.

Рассказы «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал» были его любимым детищем и волею судьбы стали его художественным завещанием.

Реакция на эти рассказы была единодушной: они воспринимались как главное достижение писателя. Горышин назвал «Во сне ты горько плакал» «самым проникновенным, неизъяснимым, трагичным и жизнеутверждающим» казаковским рассказом, где «в словах, в строчках, междустрочиях» таилась завораживающая «сила чувствования, магия духа, мощь таланта — и еще что-то очень русское, взыскующее сострадание...» Филолог Е. Ш. Гали-

мова считала этот рассказ «истинным шедевром» и, памятуя о «прощальной итоговости», относила его к «высшему этапу» казачьего творчества. Аналогичных отзывов найдется немало, однако при внешнем единодушии во взгляде на последние рассказы Казакова не обошлось и без упрощений.

Не могу, скажем, согласиться с А. Панфиловым, рассуждавшим в весьма содержательной статье «Момент ясности» (2002) о «пунктире казачьей эволюции». «В этих рассказах Казаков, — по мнению А. Панфилова, — возвратился в детство, откуда каждый человек, обманутый взрослой целесообразностью, уходит когда-то. Уходит, чтобы бродить в потемках („душа моя бродит в потемках...“ — рефрен рассказа „Во сне ты горько плакал“). Но опыт этого бродяжничества необходим, чтобы придать возвращению окончательный характер. А детский взгляд на мир, детское мироощущение определены, в христианском смысле религиозны, и отзвуков этой религиозности достаточно у позднего Казакова... Призвук двух последних его рассказов, не нуждаясь в терминологически строгих формулах, тем не менее не оставляет сомнений в том, к чему пришел Казаков в конце жизни. После этого можно было не писать рассказов, можно было пить в больших количествах портвейн, можно было ездить молиться в Троице-Сергиеву лавру...»

Безусловно, с тем, что детское мироощущение «в христианском смысле религиозно» и в этих рассказах оно доминирует, спорить не приходится, но, во-первых, Казаков, по-моему, никогда и не покидал детства, во-вторых, отзвуки религиозности слышны не только у позднего Казакова, они слышны уже в юношеских дневниках и, в-третьих, странновато звучит вывод (с долей иронии?) о том, что, когда возвращение приобрело «окончательный характер», — рассказов можно было уже не писать. Думаю, «момент ясности» тут декларировать рано. У казачьей драмы открытый финал...

Глава 12

«Я ИЗНЕМОГ И СОКРУШЕН ЧРЕЗМЕРНО...»

Последние свои годы Казаков уединенно провел в Абрамцеве.

«Так сложилось, — говорил он в интервью в 1979 году, — что триста сорок дней в году я живу на даче в Абрамцеве анахоретом. Грустновато, но я нахожу отраду в одиночестве. Одиночество тяжело, когда не о чем думать. Если есть о чем, то оно только помогает». Еще в январе 1972 года, жалуясь на стенокардию и прочие хвори, но все-таки надеясь, что с приходом весны он воспрянет и духом и телом, займется своим садом, будет «что-то втыкать в землю», Казаков обронил в письме к Э. Шиму: «Мне простительно, я литературу забросил...» Но такие настроения посещали его и в молодости, так что это признание не следует принимать за чистую монету. Работать, «ворошить слова и переделывать фразы», как выразился он в своем юношеском дневнике, Казаков продолжал, замыслов ему было не занимать, — хотя одни из них так и остались не доведенными до конца, а другие даже не лежались на бумагу.

Казаков в разное время пробовал оправдываться. В короткой заметке «Опыт, наблюдение, тон» (1968) объяснял: «Иногда рассказ не получается с самого начала: написал две-три страницы — чувствую, что нет такого звука, который мне нужен. В этом случае я просто не доканчиваю, бросаю, считая, что рассказ мне не удался, и все». А в интервью 1979 года искал более весомые причины: «...по мере того, как я знакомился с величайшими образцами литературы, по мере того, как сам писал все больше и по мере того, как оглядывался на современную нам жизнь, вера моя в силу слова начала таять. Дошло до того, что я стал не дописывать свои рассказы, оставлять их в черновиках...»

Словом, казаковский «роман» остался незавершенным...

Буквально до самых последних дней писателю не давала покоя повесть «Разлучение душ» — и судьба ее героя, и ее «идея в высшем смысле». Как-то не выстраивалась под пером эта судьба,

не сливалась органично с идеей, не стягивались в узел все сюжетные нити, не получалось той самой игры обертонов при одном чистом и ясном звуке, чего в других случаях он добивался с таким эффектом. Пытаясь объяснить самому себе, почему это происходит, Казаков еще в 1963 году записывал в дневнике: «...все кажется не то — очень много тяжелых рассуждений о войне и некоего раската, — того самого, который так удавался Толстому. Т. е. прежде чем подойти к сюжету и взять быка за рога, долго описываешь вообще — настроение того времени и т. д.». И все же Казаков никогда не отказывался от намерения справиться с этой повестью, считая ее такой своей вещью, «которую все-таки писать надо».

Среди неосуществленных казаковских замыслов откровенно выделяются те, где, как и в повести «Разлучение душ», звучит мотив смерти и бессмертия.

Один из таких набросков — «Навсегда-навсегда...». Это, как и в ряде других случаев, — первая страница рассказа, и трудно сказать, была ли она единственной или продолжение рассказа утрачено. На этой странице дана картина «ослепительного утра середины марта» на крохотном кладбище, где два парня — Егор и Вантай — сидят у вырытой могилы, предназначенной для московской артистки, «неизвестно почему пожелавшей лежать на кладбище именно в их деревне». Судя по всему, сценка эта представляет собой начало того «свирепого рассказа», про который Казаков писал Э. Шиму: «...герой хоронит свою любовницу-актрису за городом, в церкви отпевает и все такое, март, чистота небес, прозрачность леса, снег, заметенные, будто облитые глазурью могилы и проч. прелести...» А затем, по дороге домой, герой рассказа соблазняет подружку умершей, и вопиющая бессмысленность этого поступка нависает над ним жестокой моральной карой.

Другой набросок — из записной книжки 1981 года: «Журналист Ш. возвращается из полярной командировки, был у буровиков. На станцию везут на тракторе. Ночь, жгут костер из шпал. Поезд заиндевелый, пахнет антрацитом...» Пьяная проводница помещает журналиста в купе к женщине. «Ш. неловко. Мохнатые ресницы, потрескавшиеся губы, курит. Волосы черные, с каштановым отливом, прямые, отчего лицо узкое, запястье тонкое, с браслетом, обручального кольца нет, стеганый халатик, запах духов...» Наутро они пьют жидкий чай, пахнувший хлоркой. Потом идут обедать: «Пьяный ресторан, бормотуха в трехлитровых баллонах...» На Ярославском вокзале «Ш. просит телефон — визитная карточка ст. н. с. к. техн. н.». Написав очерк, он едет в отпуск, в Сухуми. «Тоска по

спутнице, звонит ей, зовет, наконец, вымалчивает приезд. Ночь, жлет на шоссе. Показывается такси. Он следит за фарами, такси срывается в пропасть, загорается. Ш. кажется, что он сам горит, сбегает к морю, раздевается, кидается в прибой...»

Еще набросок, «Ангел небесный», — всего двенадцать строк, но их, пожалуй, достаточно, чтобы увидеть «странного, странно-го» человека, равнодушного ко всему на свете, и к чужой смерти тоже, человека, не ведающего ее великого таинства... Э. Корпачев, со слов Казакова, так излагает этот сюжет: «Жил-был один москвич, которому казалось, что он слишком хорошо знает людей для того, чтобы не любить их. И более всего ему были по душе командировки, поездки. А в командировке, исполнив необходимые по службе дела очень любил оставаться в гостиничном номере один и читать детективы. Но вот однажды, в одной из поездок, случилось ему в ресторане обедать за одним столиком с гастролирующими лилипуточками. Они разговорились, ему очень понравились эти крошечные женщины, и уже все оставшееся время своей командировки он делил с гастролирующими лилипутками. Но в Москве, когда он вернулся и поделился с приятелем необычным своим знакомством, приятель грустно предостерег: „А знаешь, это не просто знакомство, это ангел небесный к тебе прилетал. А когда прилетает к нам ангел небесный — это не доброе предзнаменование: жди чего-то самого худшего, чуть ли не смерти“. И произошло так, как предсказал приятель. У нашего москвича вскоре случился удар, остался он на всю жизнь прикованным к койке. И вот тут-то, как раз тут-то! Да, что-то удивительное стало с ним происходить, и если раньше он сторонился людей, то теперь ему нужны были люди, не раздражали его, не тяготили, и он почувствовал, что вновь полюбил людей...»

Еще — страничка о смерти Чифа, любимой собаки Казакова. По словам Т. М. Судник, спаниель Чиф прожил у них двенадцать лет: «Юрий Павлович сам нарек его этим „морским“ именем — у моряков оно означает „старпом“, в полтора года спас его от чумки — дневал и несколько раз ночевал в ветеринарной лечебнице, брал его с собой на тягу, ходил с ним на собачьи выставки, а я по его заданию несколько лет вела подробный дневник Чифа». Плач по Чифу — как плач по человеку, по другу, горе от осознания быстротечности всякой жизни и вместе с этим восхищение ее красотой: «А какой теплый августовский день клонился тогда к вечеру! Какие царственные облака плыли по небу! Как наслаждалось, как торопилось жить все живое вокруг, по лесам и полям,

по своим гнездам и норкам, как жадно хлопотало, не подозревая даже, что еще одна душа уже далече, и смотрит на нас — как? Со-страдавая? Любуясь всеми нами, сожалея, завидуя прежней своей жизни на земле?»

И наконец, «Смерть, где жало твое?» — три с половиной страницы, посвященные Николаю Михайловичу Акользину, бывшему кандидату и доценту, москвичу, а с недавних пор лесничему в диких северных краях, куда он добровольно приехал, — собственно, умирать.

Первоначально рассказ назывался «Глухари», о нем Казаков писал Конецкому еще в марте 1958 года, — героя с той же фамилией звали Павлом Владимировичем, — вспоминал он этого героя и позже.

Когда сумрачным дождливым днем плыл Акользин на пароходе по осенней реке, «что-то сдвигалось в нем, открывалась какая-то пустота, в которую он никогда не заглядывал раньше, и странные мысли о времени, о жизни появлялись у него...». Предвестие этого сдвига и духовное преображение Акользина и должно было, по всей вероятности, стать предметом повествования и обозначить очередной рубеж в эволюции казаковского лирического героя.

Юный, восторженный созерцатель убегал, как помним, из города на лоно природы, дабы насладиться ее прелестью, не слишком вникая в причины своего безотчетного влечения. И вот теперь, на закате жизни, уходил в природу человек, привыкший «думать и говорить исторически», пользовавшийся широкими категориями, человек, пытавшийся понять: «Что же такое жизнь? Где она и в чем ее главное проявление?»

С присущим ему лаконизмом Казаков обнажает суть того внутреннего конфликта, который преследует Акользина: «И когда он жил в Москве, в своей хорошей квартире, когда он слышал по утрам радио, читал газеты, читал лекции студентам, говорил о будущем переустройстве земли не только в социальном, но и в физическом смысле, он свято верил во все это, мало того, он совершенно отчетливо представлял все это. А теперь что-то новое вдруг открылось в нем и удивляло его самого. Он смотрел на сизые избы, на людей, на реку, на лес, он пристально вглядывался в мельчайшие подробности и думал со смутным и странным ощущением, что, может быть, и важно то, чем он жил раньше и чем жил его круг людей, его общество, но что все это как-то отходит вдруг на задний план перед тем, что его окружало и полонило сейчас».

Это конфликт — разума и сердца, воли и смирения, учености и интуитивного знания, конфликт, во многом определяющий жизненный выбор и судьбу каждого человека. Связанный с Акользиным замысел не был осуществлен, и конфликт этот так и остался неразрешенным.

Однако было бы неверно думать, что лишь тема смерти приковывала Казакова в его неосуществленных замыслах.

В июне 1977 года он делился со своим старым учителем профессором В. В. Хоменко: «Я частенько вспоминаю свои музыкантские годы, и странно, что ни одного рассказа я почему-то не написал о музыкантах! Несколько лет назад в Гнесинском зале, ранней весной, состоялась премьера моих рассказов. Читал Борис Моргунов, а я в это время сидел в Алма-Ате, в горах, возле Медео, в санатории Совета Министров и занимался переводом романа Нурпеисова. И вот вообразил я московскую весну, улицу Воровского, которую я очень люблю, премьерную публику, гнесинский уютный зал — и так зашемило у меня на сердце, такая ностальгия схватила, так захотелось очутиться в Москве...» И далее сообщал, что задумал все-таки «написать рассказ о пианисте и композиторе» и хотел бы знать, «как играет, скажем, Рихтер», интересовался — «чтобы не наврать» — мельчайшими подробностями: «...заграничные гастроли — на каких условиях, есть ли у него импресарио, контракты, неустойки и проч. и проч.». Отголоски этого замысла слышны в наброске «Старый дом».

Словом, замыслы у Казакова были разнообразны — и веселые, легкие, праздничные, например, фрагмент безымянного рассказа о том, как молодой московский инженер Саша Скачков собирался ехать туристом в Париж; и озорные, сатирического оттенка — набросок об аспиранте Федоре Конне, который думал «преимущественно о двух вещах»: о покинувшей его жене и о своей диссертации «Роль случайности в истории русской цивилизации»; и совсем уж для Казакова замыслы необычные. Об одном из таких он упомянул в ноябре 1979 года в «Литературной газете»: «Вот совсем недавно закончил рассказ несколько неожиданный. Он вырос из поездки к другу, из случая в дороге. Я попал в туман, а туман всегда рождал во мне ощущение потерянности. Но никогда еще — столь полную иллюзию неподвижности. Я понимал, что машина движется, но не мог оторвать глаза от стрелки, показывающей, что бензин на нуле. И вот возник сюжет: некто едет, видит на дороге дом за странно непрерывной оградой, входит — так начинаются чудеса. Этот рассказ, поскольку он несколько фантас-

тический, написан в иронической манере, совершенно не своей-
ственной мне...»

Все замыслы Казакова попросту невозможно учесть. Ясно только, что его «роман рассказчика» мог еще засветиться самыми непредвиденными гранями. В архиве писателя, при том, что архиву нанесен непоправимый урон, сохранились кроме того, о чем так или иначе шла речь, рассказ «Пропасть» (1958) с оборванным концом, наброски «Девятый круг», «Вечерний звон», разрозненные страницы путевых и дневниковых заметок. Об одной своей встрече на Белом море Казаков предполагал написать рассказ «Сучий потрох». Т. Жирмунской в Красногорском госпитале пересказывал сюжет о террористах, о ветхозаветном старике, который молится об убивающих. Другой рассказ виделся ему за фразой: «Послушай! Не идет ли дождь?» Мелькала у него даже мысль о «гастрономической книге» — про старинную, забытую кухню...

Когда перебираешь наброски и неосуществленные варианты, порой складывается впечатление, что Казаков в разное время, как это зачастую делают в кино, пробовал «снимать» сцены, непосредственно меж собой не связанные — то из начала, то из конца «фильма», — но занимающие нужное место в каком-то только ему известном генеральном сюжете. Одни сцены получались, что называется, с первого дубля, другие на какой-то момент откладывались либо отбрасывались вовсе. При этом стратегическая доминанта оставалась неизменной.

Кстати, нужно отметить, что кино Казакова интриговало. Он объяснял: «Если бы не было рассказа, я бы сказал, что сценарий для меня — лучший способ выражения. Крупный план, дополнительное акцентирование деталей... Это импульс, галерея мгновений. Но, признаться, сценарий — работа неблагодарная: слишком много людей над тобой, слишком много поправок, и отказаться нельзя, так как от тебя уже зависят другие люди, и к зрителю выходит в конце концов не то, что ты сначала написал». Некоторый опыт работы для кино у Казакова был: известны его сценарии по рассказам «Манька» и «Странник», по «Тедди» и «Голубому и зеленому» сняты фильмы, в качестве основного сценариста участвовал он в создании двухсерийной картины «Великий самоед».

А в 1964 году с Казаковым приключилась и несколько курьезная история, когда «могучая кучка из пяти молодых гениев», а именно лауреат Ленинской премии прославленный сценарист «Баллады о солдате» Валентин Ежов, знаменитый режиссер Гия Данелия и трое амбициозных прозаиков — Виктор Конецкий,

Юрий Казаков и Василий Аксенов, вдохновленные солидным авансом «Мосфильма», решили по итальянскому методу создать умопомрачительную кинокомедию. Их заведомо обреченную затею в красках описал В. Конецкий («Как из „Ванну — капитану!“ получился тридцать третий зуб»), распространяться о ней нет резона, приведу лишь одну деталь, касающуюся Казакова, который быстро эту удалую компанию покинул. Как вспоминал В. Аксенов, «Юра однажды всех удивил, сказав, что он уже написал первый эпизод. Там на пять страниц шли описания свежесколоченного причала для лодок вкупе со всевозможными запахами заболоченного озера, сосновых досок, лодок, собак, ружей, сапог, словом всего фирменного букета. Данелия сказал, что кино не передает запахов, поэтому и в сценарии они не нужны. Казаков обиделся. Без описания запахов актер не поймет, что играть, а режиссер, дорогой Гия, не сможет правильно снять эпизод...» Такая вот забавная история...

С юности замыслы захлестывали Казакова, и ему казалось, что по сравнению с тем, о чем он мечтал, сделал он мало. В январе 1981 года он сокрушался в письме ко мне: «Так много было задумано, такие были грандиозные замыслы — и ничего не осуществилось... Чем похвастаться?»

Он был не прав. Его проза действительно заняла законное место на «книжной полке истинных мастеров», а он оставил еще и обширную переписку, множество писем, в которых, по верному замечанию Горышина, тоже запечатлелась «душа Казакова, мятущаяся, преданная жизни, взвихренная мечтой».

Письма к родным и друзьям служили для Казакова эмоциональной отдушиной, они компенсировали неудовлетворенную до конца потребность в писательстве. Еще в 1957 году он признавался Т. Жирмунской: «...у меня сегодня рассказ немножко захряс, а я, когда захряснет, письма пишу, вот и тебе написал, благо причина есть, без причины не напишешь...»

Иногда он писал по дюжине писем за один присест. «Все-таки, подумай, какая производительность, — делился он с Конецким в марте 1981 года, — каждое письмо примерно по странице, вот тебе пишу тринадцатое, клади на круг 12 стр. — и это в общем за полдня! Вот так и надо нам писать свои рассказы, не задумываясь, как будто письмо приятелю пишешь. Тогда у нас бы с тобой было по тридцать томов сочинений...»

Письма Казакова — по крайней мере те, что мне известны, — написаны в большинстве своем свободно, остро, полны самоиронии и доверия к собеседнику.

Хорошо сказал В. Лихоносов: «Некоторые знаменитые писатели письма свои *сочиняют*. Обращаясь к друзьям, посторонним лицам, они всякую минуту помнят, что когда-нибудь, после них, письма соберет комиссия по литературному наследству и предложит для публикации. Оттого эти письма лишены непосредственности, отделаны и полны нарочитых высказываний. Высказывания Ю. Казакова — это все тот же дружеский разговор, это нечаянное мнение, не рассчитанное на то, чтобы его знали все. Нет там претензий на величавость и мессианство; там откровенность художника, и все».

В разговоре с каждым из своих постоянных адресатов Казаков как бы вел свою внутреннюю тему, — будь то литература, путешествия, Север либо что-то иное. Каждый адресат обретал в его письмах свой образ, и сам Казаков открывался в письмах с разных, порой неожиданных сторон.

Горышин, например, рассказывал: «В течение десяти лет мы изредка переписывались с Юрием Казаковым. Он был великий мастер письма писать. То есть он писал их без малейшего внутреннего понуждения; в каждом его письме запечатлен порыв души: куда-нибудь съездить, сплавать, на кого-нибудь поохотиться, порыбачить; нас притягивала друг к другу наша общая страсть к путешествиям-авантюрам. При этом надо заметить, что мы вместе с Юрием Казаковым ни разу не путешествовали, даже не сделали ни единого шага в предполагаемом в письмах направлении. Только всё собирались, приглашали друг друга. Я думаю, загоревшись идеей — куда-то рвануть, что-нибудь такое предпринять, Юра садился писать письмо; в письме идея исчерпывалась, порыв погасал. Потом на ум приходило что-то другое...»

А вот казаковские письма к Э. Шиму пронизаны противоположным душевным порывом — заботой об абрамцевской усадьбе. «Я, старичок, — писал Казаков Э. Шиму в феврале 1969 года, — хочу на весну взять садовника... пуст он мне организует посадки и т. д. Самому некогда и не умею, а сажать мне надо много... Напиши о навозе, брать его мне сейчас или рано?..» В марте 1969-го: «Воображаю твои парники и ящики с разной порослью, но не гордись, старый, у тебя ведь стаж-то! А у меня еще года нет... Где купить сирень и жасмин? В Загорском питомнике есть липы — не надо?» В феврале 1971 года из Алма-Аты: «Нет, ты молодец и гений, что пишешь пьесы и выращиваешь тюльпаны, я подлизываюсь к тебе, я хнычу и скулю, с вожделием думая о том миге, когда ты будешь выкапывать и дарить мне негодные саженцы...

А у моего Нурпеисова друг-приятель директор ботанического сада. Этот сад получает семена и саженцы из ста стран мира... Мне дадут машину саженцев — как их доставить в Москву.. составь мне реестр, чего бы ты хотел из растительного мира — огородного, садового, лесного? Я с этим списком подступлю к ботаническому саду...»

У переписки Казакова с Георгием Семеновым, продолжавшейся двадцать пять лет, был свой сюжет. В Литературном институте Казаков учился на два года старше и в глазах Семенова выглядел «мэтром». Когда в 1961 году в «Знамени» напечатали первые рассказы Семенова он как-то отважился и спросил Казакова, читал ли тот их. «Узнав мою фамилию, — вспоминал Семенов, — „мэтр“ обрадовался и похвалил меня, наговорив мне кучу приятных слов о моих рассказах, пригласил поехать с ним на Валдай на охоту. Приглашение поехать с ним на охоту было для меня испытанием и праздником одновременно». С тех пор охота: покупка ружья, выбор места куда поехать, всевозможные поручения («Надо бы взять командировку от какого-нибудь журнала — как думаешь, от какого?»), подбор попутчиков — все эти хлопоты стали постоянным фоном их переписки, не исключавшей, естественно, разговора о главном, о том, кто что пишет и у кого что напечатано. Они дорожили ответным мнением, были очень дружны, правда, признавался Семенов, «писательская дружба — это особое явление: в ней непременно присутствует дух состязательности, соперничества. Всю жизнь эту дружбу хранил, хотя обстоятельства порой и разделяли нас».

В письмах же Казакова к Василию Рослякову, где дух состязательности как бы и не предполагался, проглянула одна немаловажная грань казаковского житья-бытья. Росляков был крестным отцом Алеши Казакова, и в письмах к нему Казаков обращался не иначе, как Кум! «Ты уехал, дорогой кум, — писал он в ноябре 1968 года, — и как в воду канул, между тем как я жду писем от тебя. Во-первых, по-родственному, во-вторых, как деревенский житель провинциал, жаждущий столичных новостей».

Росляков был старше Казакова на шесть лет. Он воевал — и писал о войне. Казаков читал его прозу, отзывался благожелательно, но и критиковал: «Брат мой во Христе! Собрат! Очень рад, что рассказы твои вышли и что их прочтет некоторый народ... Первый мне понравился больше, не потому, что он „социальный“, а потому что он больше рассказ...» — писал Казаков в мае 1972 года и дальше объяснял, что значит «больше рассказ».

В сентябре 1972 года Казаков откликнулся, прочитав один из романов Рослякова: «Очень хорошо ты сделал, что написал его. Боюсь, что человечество забывчиво и что скажем, через сто лет о нашей войне будут думать также, как мы сейчас думаем о войне Алой и Белой Роз. Уверен, что не будь Толстого, мы бы теперь так же слабо, невнятно представляли бы себе войну 1812 года... Нашей войне на Толстого не повезло. Но если перейти на близкий нам с тобой язык музыки и вообразить многочисленный хор, скорбно напоминающий все смерти и беды, выпавшие на нашу долю, то твой голос в этом хоре прозвучит чисто. Вторая половина твоего романа понравилась мне больше...» — продолжал Казаков и опять обстоятельно объяснил — почему.

Казаков неизменно звал Рослякова в гости: «Милый кум и брат во Христе!.. Не забудь, что Пасха у нас в этом году 26 апреля. Можно совместить рыбалку и Пасху в Загорске. Если хочешь, присоединяйся» (апрель 1972). Соблазнял: «Драгоценный мой кум Вася! А какое „Всенощное бдение“ я слушаю! Представь, как привез из Парижа, так ни разу не ставил эту пластинку, руки не доходили. И вот — дошли и я обалдел — до того хорошо» (июль 1970). Рассказывал Казаков, как водится, и о том, что пишет, какие у него планы, в феврале 1978-го, вспоминая библейский Псалом (21, 12): «Не уходи от меня, ибо горе близко и помочь мне некому», заметил: «Вообще, скажу я тебе, Библия — кладезь глубоких сюжетов, бери чуть ли не любую строку и пиши, так сказать, иллюстрацию...»

Для каждого своего адресата Казаков находил подходящую интонацию. В письмах к Паустовскому — исповедально-признавательную, к литературным сверстникам — чаще всего иронически-назидательную, а вот сыну Алеше писал по-отцовски тепло, вполне серьезно, хотя и слегка шутливо, о вещах обыденных и очевидных, но таких, в сущности, важных и понятных «школьнику младших классов».

Из Абрамцева (27 января 1976): «Здравствуй, дорогой Алеша! Когда ты получишь это письмо, день прибавится уже почти на полтора часа. Значит, теперь уже везде больше света: и в квартирах, и на улицах, и в лесах. И от этого веселее становится жить, потому что — знаешь, что самое главное на земле? Как ты думаешь? Солнце, свет! Приезжай, Алеша, опять в Абрамцево. Тебя ждет Щелкунчик, которым ты научился так ловко щелкать орешки. Он лежит в темном ящике, вспоминает тебя и думает: как-то он ведет себя в школе? Если плохо, то я щелкну и укушу его за палец! Прямо беда, какой грозный этот Щелкунчик!.. Ну, значит, я жду опять тебя

в субботу, приезжай с настоящими лыжами, а я тебя встречу с настоящими палками, и ты прямо от станции пойдешь на лыжах...»

Из Архангельска (20 января 1977): «Дорогой Алеша! Неделю прожив в очень красивом городе Ленинграде, я переехал в другой город, стоящий на огромной замерзшей реке. Тут очень холодно, мороз в 40 градусов, и если бы ты жил и учился здесь, то тебя бы не пускали в школу, потому что школьникам младших классов в сильные морозы выходить из дому запрещено... Был ли ты в Абрамцеве, закончил ли строительство большой модели? Воображаю, как далеко и высоко она полетит, когда ты ее сделаешь! А я все пишу рассказ про тебя. Про то время, когда ты был совсем маленьким. Надеюсь, что тебе будет интересно его прочесть, когда ты подрастешь...»

Из Дубулт (26 февраля 1977): «Дорогой Алеша!.. Живу я теперь на берегу Рижского залива Балтийского моря. Здесь течет река с очень смешным названием: Лиелупе. Вообще, здесь не говорят по-русски, а говорят по-латышски. И названия дачных станций не такие, как у нас: Ашукинская, Калистово, а такие: Булдури, Майори, Дубулты, Яундубулты, Кемери... А слово „столовая“ по-латышски звучит так: „едница“. А парикмахерская называется „фризетава“... Скоро я поеду в Ригу слушать органнй концерт. Тогда я тебе напишу про Ригу. А ты мне напиши, какая погода в Москве и как ты учишься. Перед тобой стоят три задачи: не болтать глупостей, хорошо учиться и слушаться маму. Запомнишь? Исполнишь? Напиши мне. Целую. Папа».

В письмах к Алеше Казаков нежен, как нигде, заботлив, чувствуется — сын ему по-особенному близок и он по сыну скучает. 18 декабря 1972 года Казаков писал жене и Алеше из Гагры: «Миленькие мои! Когда я прощался и ушел, ниточка от вас все тянула меня за сердце, и когда я потом сидел у Фимы, ниточка эта все не обрывалась, все давала о себе знать, и я вдруг среди веселых разговоров воображал, как вы проезжаете мимо Адлера, потом мимо Сочи...»

Ниточка эта не обрывалась никогда. Семья, жена и сын были для Казакова как бы продолжением, частью его самого. Мысли о семье были беспокойными, чистыми и светлыми. Ни с кем Казаков не был так незащитно откровенен. Из Углича 2 июля 1968 года писал: «Как вы там все? Алешка наш еще не говорит никакого отчетливого слова? Не ходит, хотя бы на помочах? Отец вас не ругает?...» В другом письме из Углича, чуть позже, спрашивал: «Как Тамара — пошла ли работать? И работает ли над диссертацией?»

Надо бы ей выделить часа 3 свободных, работать она может навер-ху. Слышишь, Смпл? Будь умницей! Жалко будет, если этот месяц у тебя пройдет бездарно. Нашли ли вы молочницу? Или все так и ездит папа за молоком?...» И в ту же поездку признавался: «А мне хочется домой, хочется вас приласкать и сказать вам какие-то добрые слова. Хочется... сделать дом еще лучше, чтобы приятно было зайти в него и еще охота поработать...»

В декабре 1972 года Казаков обращался к жене: «Хочется написать мне об Алешкиных глазах, когда он был совсем маленьким, хочется порадовать тебя. Да что! Ты самое любимое мое существо, ты даже не женщина для меня, а просто все. Я хочу, чтобы ты знала об этом. Я хочу быть тебе самым дорогим — а так часто не могу. Прости меня...» Это назойливое словечко — «хочется» — показательно. В письмах семье Казаков предстает таким, каким он хотел и мог бы быть, отдавая родным без остатка всю свою любовь, на какую был способен, но нередко случалось по-иному, и сознание невольной вины не могло не унижать Казакова в его собственных глазах.

Одинок живя в последние годы в Абрамцеве, Казаков усердно писал письма еще и потому, что творческого общения ему явно недоставало, недаром он так настойчиво звал к себе погостить и Конецкого, и Горышина, и других своих друзей.

...В середине марта 1981 года мне посчастливилось провести у Казакова в Абрамцеве — по его приглашению — целый день.

Добрался я к нему на дачу часов в двенадцать, прошел в незапертую калитку, потоптался у дверей дома, не подававшего, казалось, признаков жизни, откуда-то взялась заблудшая рыженькая собачка, подняла лай, дверь дома слегка приотворилась и на крылечко выглянула Устинья Андреевна: старческое, морщинистое лицо, коротко стриженные пепельно-серые волосы, очки с толстыми стеклами... Я объяснил ей, кто я и почему приехал. Она позвала меня в дом. Я разделся в сенях возле топившейся печки и прошел в комнату: радиоприемник и крохотный телевизор в углу, на стене северный пейзаж, на приемнике картинка — букетик цветов. От печки из сеней пробивалась по полу угольная пыль... Когда появился Казаков, в зеленовато-коричневом свитере, я его едва узнал, слишком долго мы не виделись...

Потом мы втроем пили чай. Устинья Андреевна вскоре ушла к себе, и наш с Казаковым разговор начался с воспоминаний о Ленинграде пятидесятых-шестидесятых годов, с общих знакомых

и полузабытых встреч той поры. Я вспомнил, как однажды молодой компанией мы стояли белой ночью на мосту через Фонтанку у Летнего сада и он сказал нам словно в упрек: «Вы не понимаете, среди какой красоты вы живете!» Естественно, и о той фразе, и о той компании Казаков забыл и стал рассказывать с грустью, как останавливался в конце пятидесятых у Конецкого на канале Круштейна, поблизости от Новой Голландии, какой восторг вызвал в нем наш фантастический, «совершенно ненормальный» город, как пугал и таинственно манил к себе... Теперь же партийно-«романовский» Ленинград раздражал Казакова своей провинциальностью, духом официоза, своим разительным несоответствием былой культуре, вызывал горечь и обиду, — будто после обмана и предательства... Казаков вспоминал Ялту, как проводили они там с Конецким когда-то дни: с утра отправлялись на рынок, покупали свежую редиску, помидоры, деревенское масло, выпивали, читали друг другу свои рассказы, рассуждали о литературе, а повесть о войне никак у него не получалась... Позже, в Москве, они поссорились — «черный ангел» виноват, — не встречались, потом в письмах помирились...

Рассказывал мне Казаков о Казахстане, о царивших там нравах и о том, как нелегко дались ему годы, потраченные на перевод нурпеисовского романа; как забывали там его в одночасье недавние приятели, а вот Юрий Домбровский, «хранитель древностей», с которым они тесно общались и в Алма-Ате, и в подмосковном Голицине, и в Абрамцеве, был истинным другом и оставался ему предан до самой смерти. Умер Домбровский от разрыва аорты, и в морге Казаков его едва опознал: так тщательно прилизали тому вечно взлохмаченную шевелюру...

Проговорив часа полтора в доме, мы вышли на морозец, разгребли снег у ворот гаража, сели в машину и поехали к абрамцевской усадьбе. День был мартовский — голубой, слепящий, с легкой капелью, — Казаков вел машину уверенно и не умолкая говорил обо всем: и о своей поездке во Францию, где о нем сочувственно писали газеты самого разного толка — от коммунистов до анархистов, а от репортеров случалось убежать из гостиницы через черный ход; и о Набокове, которого он, как выяснилось, весьма и весьма почитал за несравненное мастерство и высочайшую культуру; признавался Казаков, что терпеть не может интервьюеров и мемуаристов — и те, и другие нещадно врут; стал возражать вдруг Твардовскому, решительно отвергая «внутреннего редактора», потому что писатель должен быть свободен,

никаких самоограничений, писатель отвечает только перед своей совестью, а всякие обуздывания — дело цензоров, они за это деньги получают...

Время от времени Казаков останавливал машину, спокойно курил, около старинной усадьбы мы посидели с ним в кафе, потом поехали, не торопясь, куда-то дальше без особой цели, и он продолжал свой монолог — охотно, без напряжения, даже, пожалуй, с удовольствием... Он рассказывал о своих родителях, о Павле Гавриловиче — какой это был в молодости веселый, добродушный человек, как умел он открыто, по-смоленски улыбаться, и как его ни за что арестовывали в 1933 году; о том, как сам женился, и о сыне Алеше — вот он с детства до седины панически боится высоты, а сын с четырнадцатого этажа пускает бумажных голубей и без малейшего страха наклоняется через перила лоджии... На пути повстречался нам грузовик. Перемолвившись с знакомым шофером о торфе и навозе, Казаков стал жаловаться мне на свою дачу: участок громадный, обихаживать и обрабатывать его трудно, дом требует немалого ремонта, когда-то покупал дачу с верой в спокойное, размеренное житье, а теперь вот и обворовывали, и вообще хлопот не оберешься...

Возвращались мы поздно, снова стояли на дороге. Над темными абрамцевскими борами всходила луна, на снег ложились плотные тени. Я почему-то спросил Казакова: «Верил ли Юрий Домбровский в Бога?» И он ответил: «Как все мы, как в последнюю надежду». Фразу эту я хорошо запомнил.

Вернувшись, мы долго въезжали в ворота и, кажется, еще дольше в гараж... Казаков оставлял меня ночевать, но я заторопился на станцию. Он приглашал бывать у него. «Приезжайте поскорее, у нас счет не на годы, не на месяцы», — прибавила Устинья Андреевна. И уходя, я — сквозь заснеженные деревья — так и запомнил их вместе на пороге в освещенном проеме двери: старую, дряхлую, полуслепую мать и ее знаменитого сына, пожилого уже, обремененного хворями и душевными драмами человека, до отчаяния сознающего всю горестность своего положения...

Одинокое абрамцевское житье требовало от Казакова выдержки, упорства, призывало к аскетизму и духовной сосредоточенности. Он воевал с собой, старался одолеть и обуздать тоску. Но все чаще и чаще это житье — монотонное, с мелкими неурядицами, случайными приятелями — раздражало его, и тогда Казаков взрывался и бунтовал.

В интервью 1979 года сказал: «Люблю свой дом в Абрамцеве, но и жалею, жалею, что купил когда-то, очень держит дом — ремонты всякие, — не стало прежней легкости, когда за полдня собрался и был таков! Хочу на Валдай! Хочу опять стать бродягой, думаю все время, как я когда-то одиноко ездил, никому не известный, никем не любимый... Чем не жизнь? Хочу ехать на пароходе. Можно бродить ночью по палубе. Говорить с вахтенными матросами, слушать машину. Можно проснуться на рассвете от тишины, — потому что стоишь возле пристани у какой-нибудь деревеньки, — и жадно увидеть и увести с собой какую-то милую подробность. Чтобы потом вспомнить...»

Казаков бросал абрамцевский дом, отправлялся в Новгородчину, на Ловать, в те старорусские, диковатые места, что простираются между Торопцом, Холмом и Осташковом, либо в другую сторону — под Орел, в бывшие владения князя Кантемира: «А там ждут меня егеря и свора гончих и уютный коттедж в сосновом лесу со столовой и кухней, где можно готовить зайчиное рагу», — хвастался в письме к Горышину.

На Ловати, в заброшенных деревнях, никаких егерей и уютных коттеджей не было, ночевать приходилось в бесхозной заброшенной избенке — к тому же досаждали мелкие неприятности. Как рассказывал М. Костров, не раз сопровождавший Казакова, его спутник в болотистых тропах быстро уставал, требовал передышки, однажды повредил себе лодыжку и ковылял с трудом, на Рдейском озере он стрелял в поминутно взлетающих уток и все выстрелы шли мимо цели; как-то на рыбалке после первого же броска «сошел со спиннинга огромный окунь»... Не радовали глаз руины Рдейского монастыря. И Казаков, «уставший до предела, уже не знал, к чему придраться», капризничал, нервничал, они ссорились. «У нас обоих тяжелые характеры, — оправдывался М. Костров, — но Юрий Павлович всегда находил слово примирения: „Не сердись, ради бога, жизнь коротка для обид“». Костров же всегда считал себя правым и не шел на примирение первым. Только позже он сообразил, что Казаков, «понимая людей, очищался и, очистившись, мог и далее идти ввысь», а он сам «копил в себе скверну». Наблюдая за Казаковым, Костров был уверен, что тот ни разу в жизни не убивал ни вальдшнепов, ни глухарей, но, соприкасаясь с охотниками, «все отлично видел, понимал. Ему было этого достаточно. Остальное подсказывало воображение, чутье».

О том же писал в 1985 году Георгий Семенов: «Юрий Павлович стал охотником, по-моему, только ради естественности своего

положения в той же деревенской избе, чтобы не выглядеть перед людьми любопытствующим туристом и не смущать их своим присутствием... Он был неважным стрелком и редко убивал вальдшнепа или утку, поглядывая всегда на свою добычу с каким-то грустным сомнением, как будто не рад был удаче. Хотя очень любил похвастаться своими охотами. Но охотился, как я думаю теперь, Юрий Павлович не за дичью, а за своими рассказами, скрываясь под маской заядлого охотника. Он, скорее, любил саму обстановку охоты, чем стрельбу по летящей птице, любил рассказывать о бывших охотах и мечтать о будущих — это доставляло ему огромное удовольствие. А на самой охоте он спокойно мог проспать утреннюю зорьку и выйти из дома с ружьем тогда, когда уже ни о какой охоте нельзя было и думать. Но все-таки пройтись с ружьем по лесу или по берегу реки, заросшей камышами, он любил».

Вкуса к ритуалу охоты Казаков вроде бы не утратил, на вот на изображение ее смотрел иначе, чем в молодости. Тому же Горышину как-то отвечал: «А странно, что мы одновременно писали о глухаринной охоте. И еще любопытно, что ты замечаешь в скобках, зачем, мол, еще раз описывать глухаринную охоту, когда о ней столько уже написано. Я тоже об этом подумал да и не стал о ней писать. Ну цокнул он, ляскнул, ну охотник прыгнул, сердце там заколотилось, то, се, ликующая песнь, трали-вали и прочее — выстрел грянул, глухарь блякнулся оземь, взял я его за роговые лапы...»

И охота, и короткие путешествия по заброшенным новгородским деревенькам не возвращали Казакову прежней легкости, не поддерживали в нем художнического азарта, а потом и вовсе стали не под силу. На него навалились болезни, последовали серьезные операции, и абрамцевский быт оказался совсем уж ему в тягость.

В одном из писем к В. Христофорову Казаков писал в ту пору: «...скоро уже 2 месяца как валяюсь в больнице. Делали мне операцию, резали живот. Так что все мои августовские и сентябрьские планы (да скорее всего и октябрьские) пошли прахом. Хотел было поработать в б<ольни>це, но голова и тело не позволяют: голова кружится и торкает, а тело тянет лечь в постель. И нельзя мне теперь ни жирного, ни копченого... и выпить — нельзя! Вот такие пироги! С конца октября буду жить в Переделкине, т. к. в южные края мне нельзя тоже. Словом, кругом и везде: нельзя! Резали мне желчный пузырь и поджелуд<очную> железу. Теперь даже и пиллой пилить нельзя, т. к. она все-таки тянет 16 кг, а мне тяжести запрещены. Вот беда!»

Казаков тяжело болел, подолгу болела Устинья Андреевна, абрамцевский дом оставался без присмотра, в него не однажды забиралось хулиганье, топтали книги, жгли бумаги, рукописи... Дом сырел, дичал, проходил в упадок, — и будто возвращался, реял над Казаковым страшный призрак его полунищего детства, военного разора и неуют; сознание собственного бессилия, безвыходность складывающейся ситуации удручали сверх всякой меры. Жизненный круг замыкался, не обещая надежды на спасение.

Не оказалось рядом и старых друзей. «Где были эти друзья, — писала мне в апреле 1987 года Ирина Стин, — когда Юра, отчаявшийся, совершенно больной, страдающий от сознания собственной гибели, от всего, во что обратилась его домашняя жизнь, которая всегда была ужасна, а тут уж совсем обезобразилась: мать полуслепа, больна, ноет, пилит, поучает, мучает (но, это всегда — это лейтмотив, с пеленок!), с деньгами дрянно... выходить стало трудно, совершенно болен!.. Юра раздражен... страшен, как на последней фотографии, где уже не лицо, а одно страдание: он знает, что — все, хана!»

Казаков происходящее с ним отчетливо понимал и, хотя роптал на судьбу, к своим несчастьям и к мысли о смерти относился с достоинством, чувствовал: до черты, которая всегда влекла его своей изначальной тайной, остается немного шагов...

О том, чего стоило ему держаться на пределе страданий, его литературный ученик В. Мешков написал мне: «Я имел радость и боль знать Ю. П. Казакова в последние годы довольно близко (чем-то я ему приглянулся). И каждый раз, видя его, я чувствовал, что смерть уже ходит кругами возле его дома и время от времени заглядывает в окна. В этом не было никакой мистики. Естественное человеческое чувство. Так каждый, слушая своего старого, больного отца, с печалью сознает, что близок день, когда дорогой этот человек уйдет навсегда. Ведь Казаков был страшно болен! Дважды, трижды, четырежды... тяжело болен! Оставалось лишь поражаться тем огромным запасам духовной и физической силы, которые были отпущены ему природой. Кто бы еще так смог — днями, ночами, годами переносить непрерывную физическую боль? Но он не кричал криком, не жаловался, а только говорил: «Да, не случайно ведь в древнерусском языке „живот“ означало „жизнь“». Лекарства ему уже не помогали. И в последние годы это было, пожалуй, главной причиной того, что он пил. Водка на время давала облегчение...»

И тут, пожалуй, будет уместно еще раз напомнить о неизменном отставании общества от «величия художника» и его самого от «собственного величия». Все ведь непросто, все переплелось — и личное, и гражданское. Владимир Высоцкий, — а Казаков его песни и любил, и ценил, — поставил свой диагноз:

И нас хотя расстрелы не косили,
Но жили мы, поднять не смея глаз.
Мы тоже дети страшных лет России —
Безвременье вливало водку в нас...

Слова эти, сказанные, что называется, в лоб, имеют прямое отношение и к самому Высоцкому, и к Домбровскому, и к Конечному, и к Казакову. Эти слова не следует забывать, чтобы не путать причины и следствия. Нельзя соглашаться с теми, кто легкомысленно заявляет, что Казаков «умер от водки», хотя не менее легкомысленно и обратное — сделать вид, что этот тяжкий недуг не давил на него, не влиял на его судьбу.

Казаков был человеком сложным, предельно эмоциональным, его безоглядная откровенность и привлекала, и озадачивала, и пугала. С ним порой бывало нелегко общаться, и близко знавшие его люди, не желая погрешить против правды, каждый по-своему, эту его сложность старались объяснить.

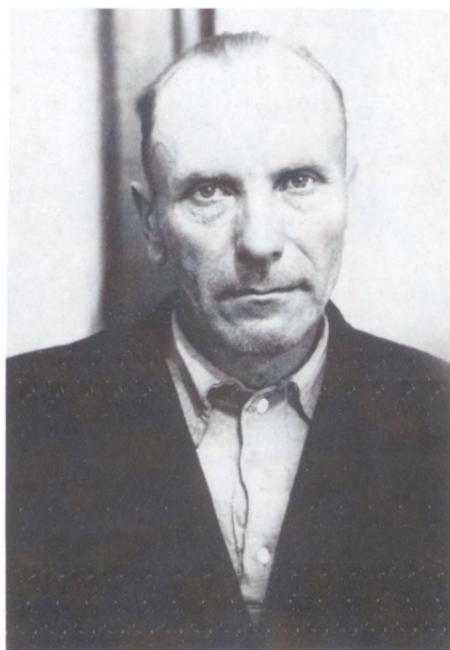
«Ни я, ни кто-либо другой из его друзей не станут сегодня утверждать, — писал после смерти Казакова А. Нурпеисов, — что он был ангелом. В его характере и поступках встречалась невероятная противоречивость, к которой поначалу так трудно было привыкнуть. В нем, как ни в ком другом, могла ужиться чрезмерная доброта рядом с непостижимым уму капризом, мгновенно переходящим в грубость. Мог широко, без оглядки одарить и осыпать тебя любовью, заботой и вниманием, но мог иногда до невыносимости бывать мелочным и неуживчивым. Любя его как человека в общем-то доброго, заботливого, восхищаясь его уникальным талантом, такого вот Казакова я не понимал, а случалось, и не любил откровенно...»

Тут уже речь не о писателе — но о человеке, и, как всякий человек, Казаков мог рассчитывать на элементарное снисхождение. Его «нескромность», как подметил в письме Конечному в 1985 году Натан Эйдельман, происходила «и от неуверенности, и от трудных внешних обстоятельств, и от стиля эпохи».

Вопрос же, у тех, кто знал его близко: в чем разгадка жизненного поведения Казакова — в обстоятельствах или в нем самом? —



Гавриил Демьянович Казаков,
дед писателя.



Павел Гаврилович Казаков,
отец писателя.



Устинья Андреевна и Павел Гаврилович с сыном.



Юре Казакову одиннадцать лет.



Первая профессия.



1940-е годы.



Студент Литературного института.



На Всероссийском семинаре молодых прозаиков в Ленинграде (1957):
В. Ф. Панова, П. Л. Далецкий, Ю. Казаков, В. Конецкий и другие.



Вера Федоровна Панова.



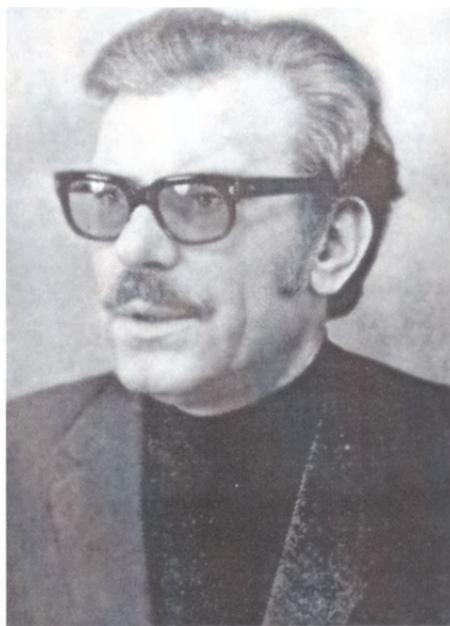
Виктор Коневский.



Олег Базунов.



Глеб Горышин.



Эдуард Шим.



Виктор Голявкин.



Тамара Жирмунская.



Ю. Казаков, Г. Горышин на Всероссийском семинаре
молодых прозаиков в Малеевке (1959).



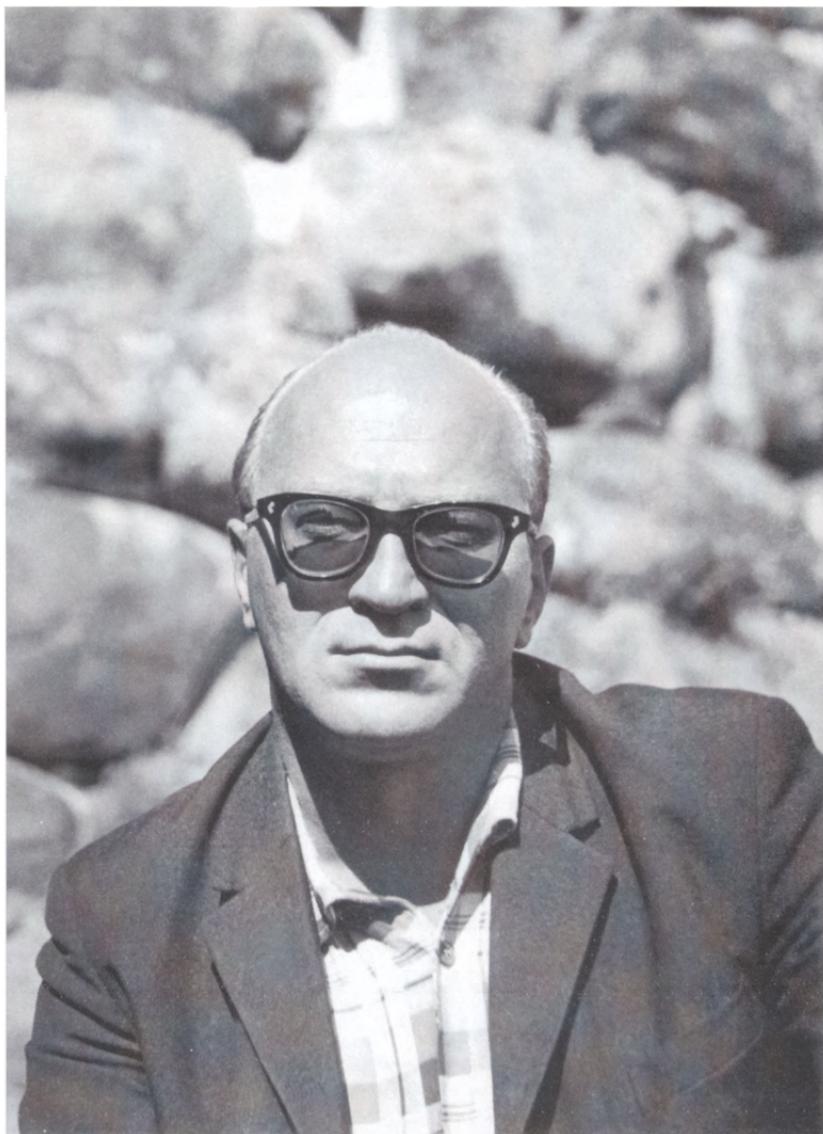
В Марфине.



С Константином Георгиевичем Паустовским.



Ю. Казаков и Е. Евтушенко на Севере.



На Соловецких островах.



Ф. Кузнецов, Ю. Казаков, А. Вознесенский.



В. Курочкин, В. Конецкий, Ю. Казаков, Г. Семенов, Ю. Трифонов на съезде писателей (1966).



Во Франции.



В Карпатах.



С Чифом в Абрамцево.



Устинья Андреевна и Павел Гаврилович с Чифом.



Ю. Казаков с женой и новорожденным Алешей.



На Новгородчине.



1970-е годы.



Из последних фотографий.



Мемориальная доска на Арбате.

тем не менее возникал. Т. Жирмунская, скажем, склонна была думать: разгадка «и там, и тут... но тут — больше». Она тоже и огорчалась, и сочувствовала: «Да, да, Юра был далеко не ангел во плоти и не „милый человек“ (как у нас принято называть безличных)». Была ему введома «таинственная реальность греха», «тяготение к бездне, кажущееся насладительным».

Повторю: дружба с такими ранимыми и на редкость восприимчивыми натурами, как Казаков, достается — ох, как! — нелегко, тем она и дорога... Но как было бы все просто и понятно, если бы писатель в повседневности не отставал от «своего величия», как было бы удобно отыскивать его жизненную и творческую доминанту, исходя из одной какой-то «причины», не учитывая множества генетических, психологических, общественных к тому предпосылок...

Задумывался о том, чем же был дорог ему Казаков и в чем причины его преждевременного угасания, и В. Лихоносов. Почему Казаков постился в абрамцевском анахоретстве, жил и жил в одиночестве, прикованный к своей дачной скале, и «сам выбрал себе распятие»? Почему после столь вдохновившей его поездки в Париж не вскрыл в своем творчестве новый пласт? Ведь он бы привозил из-за границы «после встреч с русскими людьми не презрение и жеманную политически хитроватую жалость, как это водилось у журналистов и некоторых писателей, а добросовестные впечатления о жизни наших соотечественников, десятилетиями оберегавших в чужой земле и русское чистое слово, и картины, и душу!» Почему не написал о смоленских своих предках или «что-то об Абрамцеве или о Лавре»? Откуда такая затяжная апатия? Только ли от характера и от болезни?

Между прочим, Александр Солженицын, еще в 1973 году, тоже недоумевал — почему «одни авторы, как Ю. Казаков, необъяснимо вдруг уклоняются от большой работы?».

Да, по мнению В. Лихоносова, держали Казакова на даче старые родители, мать, желавшая от полного сердца, чтобы «все было по ее понятиям», — «это узда вечная, это долги детей». Да, Казаков был подвержен вековому российскому пессимизму. И мог бы, наверное, согласиться с Петром Вяземским, когда-то писавшим: «Все, что нынче читается с жадностью, разве это литература в прежнем смысле слова?.. Ныне очарования нет. Времена чародеев минули. Сила и владычество вымысла и художественности отжили свой век. Ремесленники слова этому радуются и празднуют падение идеальных предшественников...»

И более того — В. Лихоносков спрашивал: «Говорят, уход писателя из жизни озарен высшей неслучайностью, он уступает место другим, более необходимым своему времени. Может, потому и умер Казаков-художник, что красота, нежная музыка искусства уже не властвует над людьми?» Сам В. Лихоносков в это наверняка не верил, полагая, что «никто не может знать сущего о мастере, потому что самоотречение такая же тайна, как и творчество».

Тайна самоотречения...

В их студенческие годы Т. Жирмунская не понимала, чем так притягивал Казакова «дикий барин», персонаж, знавший «что благородно и что честно» и поступающий неблагородно и нечестно. Этот прельстительный персонаж искушал и настораживал Казакова: было соблазнительно, подобно «дикому барину», извлекать «из душевных подвалов» черные, греховные мысли, дабы «перенести их боль и оторвать от себя» — «словно очнуться и очиститься». Казаков, никогда не перестававший «думать о себе в настоящем смысле», всю свою жизнь взнуздывал и казнил себя, мучился угрызениями совести, и признавая, и преувеличивая груз собственной греховности. Прощение свыше, верилось ему, обещала лишь откровенная, обезоруживающая готовность к покаянию.

Летом 1981 года он с матерью переехал в последнюю свою квартиру на ул. Чайковского, 16, поблизости от Арбата, чему несказанно радовался. Угодил опять в больницу, на Дмитровском шоссе, под угрозой диабетической гангрены. И в общем — покинул Абрамцево.

Осенью 1982 года Казакова положили в Красногорский военный госпиталь под Москвой.

Т. Жирмунская вспоминала, как приехала к нему в одно из ноябрьских воскресений, он был «ухоженной, чем в предыдущих больницах: коричневая пижама с белым воротничком и отворотами, чистое и целое постельное белье», в палате «на манер дома творчества» он пребывал один и каждому из навещавших его говорил, что очень хочет писать, пересказывал несколько сюжетов, «видоизменяя детали, но сохраняя костяк»... 26 и 27 ноября он звонил матери, жене, близким друзьям. Когда разговаривал с Т. Жирмунской, голос его казался спокойным, но внутри... Он попросил заказать ему в ателье Литфонда дешевую меховую шапку, и Т. Жирмунская дословно запомнила фразу: «Начинал писать в кроличьей шапке и закончу в ней...»

Жена Казакова, Тамара Михайловна, запомнила другую фразу: «Когда он однажды позвонил мне из госпиталя и просил при-

ехать 21 ноября, то сказал: „Смотри, а то не увидимся. Помнишь, как писал Шукшин перед смертью, всякие дела — суета, а есть только мы...“»

Из госпиталя Казаков написал Конечному:

«Дорогой Виктор! Лежу я себе на койке в госпитале, думаю невеселую думу, — и вдруг прекрасная девица вкатывает в палату столик на колесиках, столик с книгами и журналами. Предлагает то и это. И вдруг говорит: вы писателя Конечного знаете? вот возьмите новую его повесть в журнале „Звезда“...»

Ну, я взял.

А лежу я, брат, товарищ и друг, в Центральном военном госпитале по поводу диабета и отнимания ног. За окном то туман, то дождик, то снег выпадет, то растает — чудесно! Я себя за последние лет шесть так воспитал, что мне всякая погода и всякое время года хороши, одеться только нужно соответственно. Конечно, ноябрь проклянешь — выгони тебя на улицу босого и без штанов, а если потеплее одеться, то счастье и счастье.

Вот только этим я теперь и утешаюсь, сидя возле батареи в кресле и глядя на туман и снег. А вообще-то настроение — хуже некуда. Диабет ведь пожизненная болезнь, а тут еще ноги болят и дергаются в судорогах и немеют, и в весе теряешь и проч. прелести. Лечат меня тут всяко, аппаратура самая лучшая, заграничная, да толку пока мало, единственно, что больницу совсем не напоминает, а похоже на санаторий, только что в палате не курю, выхожу вон.

Жалко мне бесконечно тебя, да и себя, что не приехал ты ко мне на дачу! Славно бы поработали, очень для этого все было готово: и природа, и тишина в доме, отключенность ото всего...»

И дальше Казаков продолжал: «Надо, надо нам с тобой встретиться, поговорить надо, жизнь такая настает, что, во-первых, уже не в молодом задоре, как когда-то, а всерьез можем мы друг друга называть старыми хренами, того и гляди помрем, ну а во-вторых, время нынче очень уж серьезное и надо бы нам всем, хоть напоследок, нравственно обняться... Хочется мне после больницы, если выберусь я отсюда подобру-поздорову, махнуть на срок-другой в Переделкино и тихо заняться литературой...»

«Пульс у меня последнее время 120, давление 180/110, — делал приписку Казаков, — сегодня утром чуть сознание не потерял, говорят, спазм в мозгах, загрудинная боль схватывает раза 2 в день... Так что, на всякий случай, прощай, друг мой, не поминай лихом. Твой Ю. К.»

Спустя семь дней Казакова не стало. 29 ноября он скончался от кровоизлияния в мозг.

Он «не любил ноябрь, — вспоминала Тамара Михайловна Судник, — как будто предчувствовал, что ему предстоит умереть в этом месяце... Он всегда ждал, когда же ляжет снег. Умер он ранним утром, не было шести, когда позвонили из госпиталя. Я подошла к окну: был тихий снегопад...»

А письмо Конецкого, спешно посланное в ответ, — письмо со словами: «Прекрасно и, как всегда у тебя, просто написал ты, что настанет время нам всем нравственно обняться», — вернулось в Ленинград не доставленное адресату.

«Тихо заняться литературой...» «Надо бы нам всем хоть напоследок нравственно обняться...»

Об этом Казаков думал перед смертью, в те последние дни, когда просил принести в госпиталь Библию, когда изнемог от терзания сердца своего поистине чрезмерно...

Смерть Казакова отозвалась скорбью, щемящей болью, мало что добавив к разгадке его жизненной трагедии. Г. Семенов в некрологе «Памяти друга» писал: «Перо не слушается, сердце не верит и не поверит никогда, что умер Юрий Казаков. Столько прожито, пережито с ним, пройдено охотничьих троп, столько воспоминаний связано с этим удивительным человеком и превосходным писателем, что смерть кажется чудовишной неправдой».

«...Господи, как жалко, — сокрушался И. Золотусский, — как жалко, что этот талант так трудно рос, так долго освобождался, так страстно любя жизнь, был порушен той же жизнью. Сколько пролито слез, сколько грез и мечтаний изжито, как тяжело было выскрывать из себя раба, сворачивать с дороги, сворачивать в рыбаки, охотники, скитальцы, отшельники, натуралисты, когда натура требовала борьбы, войны, когда детство и юность, попавшие под власть однозначности и целесообразности, зывали к отпущению и бунту».

Смерть Казакова нелегко было осознать, она требовала и осознания и осмысления. «Его смерть, — писал Андрей Битов, — не стала, так сказать, общественным событием. Но она была и есть — общественное событие! Еще неведомого нам масштаба, но достаточно необратимого смысла. Пускай он молчал и десять, и пятнадцать лет — он БЫЛ! Молчал он ЗДЕСЬ. Он ни в чем не уронил и ничем не унизил им же впервые достигнутого уровня зарождавшейся было прозы. Молчащий писатель — тоже писатель. Он —

не врет. Он тем более писатель, если молчит ЗДЕСЬ и У НАС, в нашем разряженном бору (с которого по сосенке). Здесь он замолчал, здесь он молчал, и здесь он смолчался. Юрий Казаков скончался не просто порядочным и честным человеком; Юрий Казаков никогда не „умирал как писатель“ — он умер писателем...»

В этом, несомненно, суть: Казаков оставался самим собой до смертной черты. Неповторим его пример стойкости, прозорливой мудрости, чести, — за что не только знавшие его люди, а и его поколение, и вся русская литература не могут не быть ему благодарны.

Для своего же поколения Казаков навсегда остался фигурой первой величины. Прощаясь с ним, его сверстники хорошо понимали — по ком звонил колокол над казаковской могилой.

«Написав немного, уйдя из жизни рано и как-то рано почти вообще перестав писать, — огорчился в 1986 году Михаил Роштин, — болея, перемучась самыми высокими и самыми мелкими муками жития, изменяясь к концу и внешне, он (и его авторитет писателя) крепили и крепили с каждым годом и теперь вот стали обретать уже оттенок бронзы... Удивительно вдруг осознать это: как на твоих глазах сменяются одна другой эпохи, и уходящая уже принадлежит истории, а вчерашний твой товарищ, покидая „плен времен“, ступает прямо в вечность».

Андрей Вознесенский выразился образно: «Он поставил сруб в Абрамцеве и жил там чащобной жизнью. Потом совсем расстался с людьми и стал лесом...»

Да, стал лесом... И навсегда остался нежным окским плесом, тихим беломорским закатом, ночным звездным небом: растворился в стихии им самим созданного художественного мира.

...Отпевали Юрия Казакова в Ваганьковской церкви и похоронили здесь на старинном, тенистом и тесном кладбище, неподалеку от могилы его отца.

Когда-то, заключая рассказ «Голубое и зеленое», Казаков написал: «Ничто не вечно в этом мире, даже горе. А жизнь не останавливается. Нет, никогда не останавливается жизнь...»

В последние его годы, на грани 1970-х и 1980-х, жизнь вокруг будто притормозила, замерла, застыла, с тем чтобы вскоре — но уже без него! — резко рвануться дальше со штормовой силой.

Многое из того, о чем думал и чем мучился Казаков, стало стремительно меняться: большевистская диктатура в какой-то момент

была предана анафеме; российская история XX века, пусть и неохотно, приоткрывалась; правда русского крестьянина, «справного помора» Нестора запоздало, но была признана; русскому человеку, и ровесникам Казакова в том числе, был дарован недолгий вздох облегчения, тот самый «глоток свободы»; резко всколыхнулась, еще азартнее зашумела неумная Москва, — от себя нисколько не отрекаясь, не вникая жестокому требованию покаяния. Изменился даже старый Арбат, став, по словам простившегося с ним Булата Окуджавы, «красивой, прямо-таки курортной улицей, похожей на торт»...

История заспешила в новое тысячелетие, где ждали Россию совсем не радостные последствия очередной революционной ломки, горечь распада еще недавно великой державы, всевластие денег, соблазн «свободы без берегов»...

История заспешила в новое тысячелетие, — а Казаков остался в своем времени. Опечаленная душа его стала отдаляться и отдаляться от нас, «оплакивая что-то навсегда ушедшее»...

БИОГРАФИЧЕСКАЯ КАНВА

1927

8 августа в Москве, на Арбате, в рабочей семье выходцев из Смоленской губернии у Павла Гавриловича Казакова (1901—1974) и его жены Устиньи Андреевны (1900—1984) родился сын Юрий.

1933

П. Г. Казаков по доносу осужден за «нелояльные разговоры» и выслан из Москвы.

1937—1939

Живет в Загорске: «...могу я вам при настроении рассказать о двух годах, прожитых мною в Загорске — я учился там в 3 и 4 классах» — из письма И. С. Кузьмичеву от 25 февраля 1981.

1941

«В одну из ночей конца лета 1941 года он едва не был сброшен с крыши своего арбатского дома ударом взрывной волны. Спасла его печная труба, о которую он ударился...» (Ф. Поленов).

1942

Занимается в музыкальной школе.

1944

После 8 класса средней школы поступает в Московский архитектурно-строительный техникум.

1946

Поступает в Музыкальное училище им. Гнесиных и, окончив его по классу контрабаса в 1951 году, становится профессиональным музыкантом.

1949

Навещает с матерью на севере Кировской области сосланного отца.

1951—1952

Эпизодически играет в симфонических и джазовых оркестрах, подолгу оставаясь без работы.

1952

Первая печатная публикация — одноактная пьеса «Новый станок» в «Сборнике пьес для кружков художественной самодеятельности» (М., 1952).

1953

17 января в газете «Московский комсомолец» печатает рассказ «Обиженный полисмен». Сотрудничает с газетой «Советский спорт».

Поступает в Литературный институт им. М. Горького на заочное отделение, где занимается у драматурга Б. С. Ромашова.

1954

В июне переводится на очное отделение, в семинар Н. И. Замошкина.

1956

В журнале «Молодая гвардия» (№ 3) напечатаны рассказы «На полустанке» (1954), «Некрасивая» (1956), «Странник» (1956).

Первая поездка на побережье Белого моря в творческую командировку от журнала «Знамя».

1957

Летом с Ю. Коринцом ездил на Север — по рекам Сухоне, Северной Двине, Онеге, на Белое море и Кольский полуостров.

В Архангельске отдельным изданием выходит рассказ «Тедди. История одного медведя».

В журнале «Знамя» (№ 4) опубликован рассказ «Дом под кручей» (1955), в «Октябре» (№ 6) — «Голубое и зеленое» (1956), в «Москве» (№ 8) — «Арктур — гончий пес» (1957).

В ноябре участвует во Всероссийском семинаре молодых прозаиков в Ленинграде, где знакомится с В. Ф. Пановой (1905—1973) и участниками семинара Виктором Конечким (1929—2002), Эдуардом Шимом (1930—2006), Плебом Горышиным (1931—1998).

Начинает переписываться с К. Г. Паустовским.

1958

Оканчивает Литературный институт им. М. Горького.

В августе после поездки в Ленинград плавает по Мариинской системе (Вытегра, Белозерск, Череповец, Углич). Затем по командировке журнала «Октябрь» отправляется на Белое море, ведет путевой дневник.

В Архангельске издан сборник рассказов «Манька».

Принят в Союз советских писателей по рекомендациям В. Ф. Пановой, К. Г. Паустовского, Н. И. Замошкина.

1959

Участвует в совещании молодых прозаиков в Малеевке.

В июне совершает поездку по Сибири в вагоне-редакции «Литературной газеты».

1960

После плавания из Архангельска до Мезени на пароходе «Юшар» и на сейнере «Белужье» вдоль Зимнего берега Белого моря принимается писать «Северный дневник».

Посещает Псков и Печоры.

1961

В Калуге выходит в свет альманах «Тарусские страницы» с рассказами «Ни стуку, ни грюку» (1960), «В город» (1960), «Запах хлеба» (1961).

Журнал «Знамя» в № 3 — № 4 публикует очерк «Северный дневник», в № 9 рассказы «Кабиясы» (1960), «Вон бежит собака!» (1961), «Осень в дубовых лесах» (1961).

1962

В мае посещает Чехословакию (Прага, Братислава).

В Париже присуждают премию за лучшую книгу года, переведенную на французский язык.

В журнале «Москва» (№ 8) напечатан рассказ «Адам и Ева» (1962), в журнале «Огонек» (№ 32) — рассказ «Двое в декабре» (1962).

Поездка в устье Дуная (Вилково).

1963

В журнале «Огонек» (№ 2) напечатан рассказ «Плачу и рыдаю» (1963).

1964

В журнале «Москва» (№ 6) публикуются рассказы «Ночлег» (1963) и «Проклятый Север» (1964).

«...как и в прошлом году, месяц провел на Севере. На этот раз мы ходили на зверобойной шхуне на белужий промысел. Забрались далеко — из Архангельска все на север к Канину Носу, потом мимо острова Колгуева еще дальше на северо-восток, к Новой Земле. Потом прошли мимо острова Вайгач проливом Югорский Шар — в Карское море...» — из письма К. Паустовскому, 22 августа 1964.

Осенью в Алма-Ате начинает работу над переводом романа А. Нурпеисова «Кровь и пот».

1965

В алма-атинском журнале «Простор» (№ 4) печатается рассказ «Нестор и Кир» (1961).

В октябре посещает ГДР (Берлин, Дрезден, Лейпциг).

1966

Поездка в Закарпатье.

В «Литературной газете» публикуются эссе «Соловецкие мечтания» (13 сентября) и «О мужестве писателя» (24 ноября).

1967

В марте по приглашению синдиката французских писателей провел три недели в Париже и на юге Франции, встречался с Б. Зайцевым, Г. Адамовичем, М. Шагалом.

Посещает Румынию, где знакомится с Захарием Станку.

13 сентября родился сын Алексей.

1968

В феврале подписал письмо в правительство от группы писателей в защиту Ю. Галанского, А. Гинзбурга, А. Добровольского, В. Лашковой.

В июле плавает на яхте «Вега» по рекам и озерам Северо-Запада, ведет вахтенный журнал.

1969

В Алма-Ате издан сборник «Осень в дубовых лесах».

1970

В Италии удостоен Дантовской премии.

1971

Написаны воспоминания о К. Г. Паустовском «Поедемте в Лопшеньгу».

На Киевской студии им. Довженко режиссер В. С. Гресь ставит фильм по рассказу «Голубое и зеленое».

1973

В Москве отдельной книгой (в полном объеме) издан «Северный дневник».

Издан русский перевод романа А. Нурпейсова «Кровь и пот» в трех частях: «Сумерки» (1966), «Мытарства» (1966), «Крушение» (1973).

1974

В журнале «Наш современник» (№ 6) напечатан рассказ «Свечечка».

1975—1976

Ездит охотиться на Орловщину и под Новгород.

1977

В журнале «Наш современник» (№ 7) напечатан рассказ «Во сне ты горько плакал» (1977).

В издательстве «Современник» выходит последний прижизненный сборник рассказов «Во сне ты горько плакал».

1979

На киностудии «Казахфильм» по сценарию, написанному с участием Казакова, режиссерами А. Мамбетовым и Ю. Мастюгиным экранизирован роман А. Нурпеисова «Кровь и пот».

1980—1981

Тяжело болен, перенес несколько полостных операций («А было у меня: камни в желчном протоке, воспаление поджелудочной железы и общее полное отравление всего организма...» — из письма В. Рослякову, сентябрь 1979).

1980

«...всю зиму был в шоковом состоянии, не писал *никому*, мать у меня провела всю зиму в больнице... Но вот уж по пословице „пришла беда — отвори ворота“: за эту весну дачу мою дважды очистили, забрали все, что покупалось годами и даже десятилетиями, так что я гол как сокол...» — из письма В. Г. Христофорову.

1981

Летом, переехав в квартиру на ул. Чайковского, 16, фактически — покинул Абрамцево.

Лежал в больнице на Дмитровском шоссе под угрозой диабетической гангрены.

1982

На «Мосфильме» по сценарию Казакова режиссером А. Гордоном поставлена двухсерийная картина «Великий самоед».

29 ноября Казаков скончался в Красногорском военном госпитале под Москвой от кровоизлияния в мозг.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Книги Юрия Казакова

- Тедди: История одного медведя. Архангельск, Кн. изд-во, 1957.
Манька: Рассказы. Архангельск, Кн. изд-во, 1958.
Арктур — гончий пес: Рассказы. М., Детгиз, 1958.
На полустанке: Рассказы. М., Сов. писатель, 1959.
По дороге: Рассказы и очерк. М., Сов. писатель, 1961.
Голубое и зеленое: Рассказы и очерк. М., Сов. писатель, 1963.
Запах хлеба: Рассказы. М., Сов. Россия, 1965.
Двое в декабре: Рассказы. М., Молодая гвардия, 1966.
Осень в дубовых лесах: Рассказы и очерки. Алма-Ата, Жазуши, 1969.
Северный дневник. М., Сов. Россия, 1973.
Во сне ты горько плакал: Избранные рассказы. М., Современник, 1977.
Оленьи рога: Рассказы. М., Детская лит-ра, 1980.
Две ночи: Проза. Заметки. наброски. М., Современник, 1986.
Легкая жизнь: Рассказы. СПб., Азбука-классика, 2003.
Старый дом: Рассказы. М., Изд-во Сретенского монастыря, 2008.
Долгие крики: Рассказы. Иркутск, изд-во Сапронов, 2008.
Странник: Собр. соч. в трех томах. Т. 1-й: Рассказы. М., Русский мир, 2008.
Соловецкие мечтания: Собр. соч. в трех томах. Т. 2-й: Рассказы, очерки. М., Русский мир, 2009.
Вечерний звон: Собр. соч. в трех томах. Т. 3-й: Незавершенное, заметки, письма. М., Русский мир, 2011.

Воспоминания и книги о Юрии Казакове

- Федор Поленов. Половодье // У подножия радуги: Документальные рассказы. М., Современник, 1984; Синие гусары // Мир Паустовского, 1996, № 9–10.
Глеб Горышин. Сначала было слово // Наш современник, 1986. № 12; Жребий: Рассказы о писателях. Л., Сов. писатель, 1987, с. 261–318.

Виктор Конецкий. Опять название не придумывается // Нева, 1986, № 4; Некоторым образом драма: Непутевые заметки, письма. Л., Сов. писатель, 1989.

Игорь Кузьмичев. Юрий Казаков: набросок портрета. Л., Сов. писатель, 1986.

Михаил Рошин. Полоса: Повести, рассказы, статьи. М., Современник, 1987.

Виктор Лихоносов. Воспоминания о Юрии Казакове // Писатель и время: Сб. документ. прозы. М., Сов. писатель, 1988.

Вячеслав Мешков. «Не идет ли дождь?» Газета «Книжное обозрение», 20 ноября 1992.

Е. Ш. Галимова. Художественный мир Юрия Казакова. Архангельск, Изд-во Поморского гос. пед. университета, 1992.

Тамара Жирмунская. Мы — счастливые люди: Воспоминания. М., ЛАТМЭС, 1995.

Т. М. Судник. «И откуда знать, почему нам так тоскливо в ноябре?» Газета «Труд», 28 ноября 2002.

Георгий Семенов. Памяти друга // Континент, 2008, № 135.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Письма Юрия Казакова

Эпистолярное приложение к «документальному повествованию» включает 130 казаковских писем, не считая приведенных в основном корпусе книги (полностью или в пространных цитатах). Как уже отмечалось, Казаков писал письма охотно и помногу, они удовлетворяли его потребность в писательстве едва ли не меньше, чем рассказы. К сожалению, обширная переписка Казакова по сей день до конца не выявлена: часть писем утрачена безвозвратно, часть сохранилась в семейном архиве и у адресатов (или их правонаследников), часть цитировалась отрывками в воспоминаниях, часть публиковалась в журналах, нередко со значительными купюрами и искажениями. С одними адресатами, фигурирующими в Приложении (К. Паустовский, Т. Жирмунская, Г. Семенов, В. Конецкий), Казаков переписывался подолгу, с другими (В. Панова, Н. И. Замошкин, Г. Горышин, Э. Шим) — эпизодически, кого-то Казаков по-дружески наставлял на путь истинный (А. Шеметов), кому-то давал литературные советы (О. Базунов), и особое место в казаковской переписке занимают письма в семью (матери и отцу, жене и сыну Алеше). Приведенные в Приложении письма так или иначе проливают дополнительный свет на факты биографии и личность Юрия Казакова.

В примечаниях к письмам принято сокращение: Юрий Казаков. Собрание сочинений в трех томах. М., Русский мир, 2008—2011 — Собр. соч. (с указанием тома и страницы).

Н. И. ЗАМОШКИНУ

1

13 октября 1957

Дорогой Николай Иванович, здравствуйте!

Очень я соскучился по Вас, хочется поговорить и Вас послушать. Но наверно опять не приду на семинар. Одолела меня глухота: после вирусного гриппа — катар Евстахиевых труб.

Сижу дома и немного пописываю. После семимесячного перерыва сделал два рассказа.

Но сначала хочу преподнести вам нечто вроде творческого отчета. За это время у меня вышло два рассказа — «Арктур — гончий пес» («Москва», № 8) и «Никишкины тайны» («Знамя» № 8). «Арктур» Вы знаете, это новый вариант «Гомера», я его почистил, выбросил девочку с роялем и изменил композицию. «Никишкины тайны» — северный рассказ, Вы его не видели, т. к. закончил я его летом.

Вышел у меня «Тедди» отдельной книжкой в Архангельске¹. Эка, куда меня занесло! Кроме того приняты сразу три книжки: 1) в «Советском писателе»², 2) в Детгизе³, 3) опять-таки в Архангельске⁴.

Я пустил в ход все рассказы, кроме первых, «американских». Вот эти рассказы: «Тихое утро», «Ночь», «Дым», «Некрасивая», «Лешак», «Голубое и зеленое», «На полустанке», «Странник», «Дом под кручей», «Никишкины тайны», «Арктур», «Розовые туфли», «Тихон Бешеный» (сильно переделан!), «Тедди».

Все рассказы, конечно, будут в разных книжках в разных пропорциях. Так, например, в Детгизе у меня выходят: «Ник<ишкины> тайны», «Арктур», «Тедди», «Ночь», «Тихое утро», «Роз<овые> туфли», в «Сов<етском> писателе» они же (за исключением «Тедди» и «Роз<овых> туфель») и все остальные. В Архангельске не идет «Голубое и зеленое» и что-то еще, но зато я буду туда посылать до декабря все, что напишу нового за это время (2 рассказа уже написаны). Словом, книжки будут отличаться друг от друга процентов на 50—60, и даже больше.

Забыл еще сказать Вам, что несколько моих рассказов переведено в Италии. Летом я с ними (итальянцами) встречался и этой новостью ошарашил меня Витторио Страда⁵.

Издательство «Сов<етская> Россия» предлагало мне издать в 58 году новый сборник, но, увы, не было у меня рассказов и я, рыдая в душе, отказался. Теперь о материальной постановке дела.

В Детгизе договор со мною уже заключен, аванс получен и книжка сдана на иллюстрацию.

В Детгизе все в порядке!

В «Сов<етском> писателе» есть только принципиальное согласие И. Козлова⁶, три оч<ень> хороших рецензии и все. Договора пока нет, т. к. не утвержден еще план.

Так же нет договора еще с Архангельском.

Меня это начинает очень беспокоить, т. к. есть люди, которым интересно, наверно, пугать и они пугают меня вовсю. Трепещу! Но надеюсь, ибо не хлебом единым жив человек, но и надеждой.

Теперь об «Октябре». Не подумайте, пожалуйста, что я специально помимо Вас отдал в «Октябрь» свои злосчастные вещи. Падерин⁷ подошел ко мне во дворе института и попросил рассказов, я сказал, что нет, а есть старые и что старые Вы уже показывали Храпченко⁸ и он не взял их. Падерина однако это мое заявление не остановило, т. к. он надеется на иное отношение к этим рассказам со стороны Панферова⁹.

Раньше я не видел Вас и не мог Вам об этом сказать, и мне было весьма неудобно, когда Вы, открыв папку, узрели в ней старых знакомых. Теперь я виню себя и думаю, что мне надо было дожидаться Вас, но Вы знаете авторское нетерпение и, надеюсь, извините меня.

Сейчас пишу довольно активно, но все написанное как-то не удовлетворяет меня и мало нравится.

Николай Иванович, очень прошу Вас разрешить мне поехать в Дом творчества! Я помню Ваше недовольство в пр<ошлом> году, когда я Вас поставил, так сказать, пред свершившимся фактом. Теперь я прошу Вашего согласия заранее. Мне все-таки хочется подготовить к диплому побольше нового, дома работать трудно, а сюжетов целый пуд.

На этом позвольте закончить.

Будьте здоровы! До свидания.

Ваш Ю. Казаков

Если есть у Вас что сказать мне, поругать (хвалить пока не за что особенно) и если будет время, напишите мне, пожалуйста, очень Вас прошу! Адрес мой: Арбат, 30, кв. 29. Не знаю, сколько еще проболēju, врачи толком не говорят.

Замошкин Николай Иванович (1896—1960), критик, печатался с 1923 года, член литературного объединения «Перевал» (до 1932). С 1944 — руководитель творческого семинара прозаиков в Литературном институте

им. М. Горького. Автор статей о М. Пришвине («Писатель-Берендей», 1929; «Охота за счастьем», 1940; «Михаил Михайлович Пришвин», 1958), книг: «Литературные межи» (1930), «Спутники нашей жизни» (1964). Член редколлегии журнала «Октябрь». Письма в отрывках публиковались в кн.: Игорь Кузьмичев. Юрий Казаков: набросок портрета. — Л., Сов. писатель, 1986.

¹ Тедди: История одного медведя. Архангельск, кн. изд-во, 1957.

² На полустанке: Рассказы. М., Советский писатель, 1959.

³ Арктур — гончий пес: Рассказы. М., Детгиз, 1958.

⁴ Манька: Рассказы. Архангельск, кн. изд-во, 1958.

⁵ Витторио Страда (р. 1929), итальянский славист.

⁶ И. Козлов, главный редактор издательства «Советский писатель».

⁷ Падерин Иван Григорьевич (1918—1998), прозаик.

⁸ Храпченко Михаил Борисович (1904—1986), литературовед, академик АН СССР, Председатель Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР (1939—1948), член редколлегии журнала «Октябрь».

⁹ Панферов Федор Иванович (1896—1960), прозаик, главный редактор журнала «Октябрь». См. наст. изд., с. 54, 84.

2

15 января 1958

Дорогой Николай Иванович!

Простите, никак не могу к Вам собраться — экзамены; и особенно последний история философии — невысказанно ужасная вещь.

На кафедре тв<орчества> решили, что я должен сдать дипломную работу к 20. I. Но т. к. у многих срок — 1. II, то я думаю мне можно задержаться со сдачей диплома дня на 3—4.

21-го я кончаю экзамены, свободен, как птица, сразу берусь за дело и числа 23—4 тащу Вам на подпись свои рассказы.

Николай Иванович, я долго размышлял над содержанием диплома и решил, что нужно включить в него следующие рассказы: 1) «Некрасивая», 2) «Дым», 3) «Лешак», 4) «Арктур — гончий пес», 5) «Легкая жизнь», 6) «На острове», 7) «На полустанке».

7 — счастливое число!

Все эти вещи наиболее удачны и наиболее выявляют меня как автора их. «На острове» я перепишу еще разок, немножко сожму. Из этих рассказов Вы знаете, вернее плохо знаете одного «Артура». Остальные Вам довольно знакомы и каждый в свое время встречался Вами хорошим словом. Наконец, в пользу этих именно рассказов говорит то, что они прошли все большой искус, так сказать, были прочитаны многими, в том числе такими мастера-

ми слова, как Паустовский¹, В. Шкловский², Казакевич³, Панова⁴ и т. д. и многими ребятами. Все отзывались о них оч^{ень} хорошо, так что я со спокойной душой отдаю их в диплом. Если Вы не будете возражать, к ним можно подключить также «Странника».

Жаль, что нас так торопят с дипломом, т. е. что диплом надо сдавать именно сейчас. У меня есть интересные сюжеты, кот^орые, м. б., в феврале я реализую... Ну да бог с ними.

Будьте здоровы, Николай Иванович!

Ваш Ю. Казаков

Кого бы Вы посоветовали мне в оппоненты? Или положиться на провидение и доверить это дело кафедре⁵?

Будьте благодетелем, Николай Иванович. Подумайте! Вы ведь лучше знаете вкусы и настроения писателей.

¹ См. письма 3—18.

² Шкловский Виктор Борисович (1893—1984), прозаик, литературовед, руководитель творческого семинара в Лит. ин-те.

³ Казакевич Эммануил Генрихович (1913—1962), прозаик.

⁴ Панова Вера Федоровна (1905—1973), прозаик, драматург. См. письма к ней: 19—26.

⁵ См. наст. изд., с. 74—75.

К. Г. ПАУСТОВСКОМУ

3

9 октября 1957. Москва

Дорогой Константин Георгиевич!

Я пишу вам просто на Тарусу и не знаю, дойдет ли до Вас это письмо.

Пишу же я Вам потому, что хочу сказать, что я очень Вас люблю. Все лето я хотел приехать к Вам или написать, но постеснялся. Сейчас я получил I том Вашего собрания, читаю «Романтиков»¹ (я их раньше не читал), и вот хочу, чтобы Вы знали, что в Москве сидит на Арбате человек, читает Вашу книгу, поминутно растрогивается и любит Вас.

Я не хочу ничего говорить о Ваших книгах, хоть мог бы, наверно, многое сказать. Одного я хочу — встречи с Вами, хочу послушать Вас и, каюсь, задать Вам несколько вопросов, касающихся литературы. Вопросы эти мучат меня и расслабляют, а ответить на

них может только честный человек. Я горжусь Вашей честностью, Ваш гуманизм дорог мне и, естественно, только у Вас хочется мне спросить совета.

Этим летом я испытал большое потрясение — первый раз был в Ленинграде. Я застал еще последки белых ночей, сходил с ума, хотел что-то писать об этом насильственном городе, но, приехав домой, перечел «Медного всадника», поревел немного и писать ничего не стал.

До свидания, Константин Георгиевич, дай Вам бог здоровья!
Очень Вас люблю!

Ю. Казаков

Р. С. Я рад, что написал Вам об этом. Так я сказать бы побоялся, а сказать мне было необходимо. Может, это сентиментально выглядит? Ну и пускай — Вы же довели меня до этого!

Паустовский Константин Георгиевич (1892—1968), выдающийся русский прозаик XX века. Письма печатаются по машинописным копиям, присланным мне Т. А. Жирмунской в 1980-х годах. В приложениях использованы комментарии Г. Арбузовой и Л. Левицкого из журнала «Литературное обозрение» (1986, № 8), где эти письма были опубликованы.

¹ «Романтики» — роман К. Г. Паустовского, написанный в 1916—1923 и впервые опубликованный в 1935-м, им открывался 1-й том упомянутого собрания сочинений.

4

22 ноября 1957

Многоуважаемый, дорогой, милый Константин Георгиевич!

Я послал Вам уже одно письмо, адресовав его так: «Таруса, К. Г. Паустовскому», т. е. на деревню дедушке. Я решил быть до конца бессовестным и, узнав теперь, что Вы в Ялте, пишу Вам снова.

Говорят, Ваше собрание соч<инений> разошлось чудовищным тиражом¹! Ура! Радуюсь и благоговею. Радуюсь я вдвойне: во-первых, за Вас, во-вторых, тому как посрамлены будут Ваши враги.

Вы великий писатель, классик, и мне страшно Вам писать. Хочется сказать Вам много разных великолепных слов, но я стесняюсь и боюсь впасть в лиризм, который является настроением несовременным.

Я не видел еще второго тома, говорят, что там опубликована «Золотая роза» (первая часть)². Между тем, Вы пишете вторую

часть. Разве нельзя было подождать и напечатать в одном из последних томов всю работу?

Летом с детским поэтом Ю. Коринцом³ я ездил на север — реки Сухона, Сев<ерная> Двина, Онега, Белое море, Кольский п<олуостр>ов. Сперва я жалел, что Вас нет с нами (помните, я соблазнял Вас?), потом же стал радоваться. В наш век надо ездить так, как А. Сурков⁴ или Долматовский⁵, заранее известив официально все руководящие инстанции, чтобы они с машиной встречали высокогo гостя. Ездить так, как мы, т. е. диким способом, значит сто раз быть заподозренному в шпионаже, сто раз приволакиваться в милицию или КГБ и сто раз быть допрашиваемому с пристрастием.

Все это происходит потому, что все областные и районные газеты нафаршированы Шпановым⁶, Брянцевым⁷ и т. д. В каждом проезде видят шпиона, применяют против него хитрые действия, указанные в означенных повестях, и в удобный момент судорожным голосом кричат: руки вверх!

Потом на севере страшно много пьяных и нет от них никакого спасения. Пьют все и везде: на поездах, на пароходах, в городах и деревнях. И лучший способ ограждения от пьяных — самому быть пьяным.

После Дубулт я написал три рассказа. Два из них опубликованы, третий захряс: не то настроение! Приняты у меня в разных издательствах три книги. Так как это противоестественно для начинающего автора, т. е. такая удача — явление не нормальное, то я со дня на день жду пропасти и даже написал длинное стихотворение о грядущем возмездии белым стихом (на рифму пороку не хватило).

В Архангельске вышла у меня книжка⁸, которую я со страхом посылаю Вам. Книжка оч<ень> хороша для обл<астного> издательства (я говорю о внешности). Содержание же ее неважно, и Вы ее не читайте. Я бы не послал Вам ее, но это первая моя книжка, и мне, признаться, ужасно приятно всем ее дарить. Извините!

На севере пьяные начинают с вами разговор так:

— Я человек русский, конечно... Извините!

Сейчас во мне сидит целый пуд сюжетов, но приняться за них как-то не могу, разучился писать за лето. Начну, выходит такая унылость, что хоть вешайся. Я уж пугаться начал. Вообще я стал мистиком и фаталистом.

В институте у нас сейчас тоска. Озерова⁹ сняли за «либерализм», все присмирели, в том числе и Ваша Галка¹⁰... Впрочем, Вы, наверно, все знаете от нее, о наших институтских делах. Я рад, что кончаю институт, надоело.

В «Комс<омольской> правде» раздолбали наш «Журнал молодых», многим досталось, и от моего «Дыма» только дым пошел¹¹. Редакторша моя (из «Сов<етского> писателя») напугана до смерти и хочет выкинуть «Дым» из книжки. Я вяло сопротивляюсь.

Очень хотелось бы повидать Вас и поговорить. Как Вы себя чувствуете? Как Вам работается? В Ялте наверно хорошо сейчас, а в Москве холод собачий и свирепствует вирусный грипп.

Константин Георгиевич! Пришлите мне, пожалуйста, Вашу карточку! Ведь я Вас пятнадцать лет люблю, примите во внимание срок, т. е. постоянство мое и снизойдите! Я был в Ленинграде, видел Ричи¹², она показывала мне Ваше письмо к ней, хвасталась книжкой своей и смотрела на меня с презрением. Пленку, на которой Вы сняты в Дубултах и Риге, кто-то у них стащил, так что карточкой Вашей я не мог раздобыться.

Ленинград — совершенно ненормальный город, и я рад, что поехал туда в первый раз в 29 лет. Поехал бы я мальчишкой, наверно ничего бы не понял, а так — умирал и рыдал от восторгов.

Ричи с Игорем живут на фантастической улице — бывш<ей> Фурштатской, возле Таврического сада. Счастливицы! Москва и мой Арбат как-то померкли для меня и я страшно жалел, что «Голубое и зеленое» было в то время уже опубликовано, я бы все перенес в Ленинград и рассказ от этого только выиграл бы.

До свидания, будьте здоровы! Простите за беспокойство.

Ваш Ю. Казаков

Ужасно хочется с Вами поговорить, много вопросов. Можно ли надеяться на встречу с Вами?

Окончательно ли развалилась «Лит<ературная> Москва»¹³ и где можно теперь прочесть последнюю часть Вашей трилогии?

Видел Д. Гранина¹⁴ недавно, возле ССП. Улыбается. Приглашал чай пить (в Ленинград).

В конце ноября в Ленинграде будет семинар молод<ых> русск<их> прозаиков. Меня удостоили чести и пригласили. Не будете ли Вы руководить одним из семинаров на этом совещании¹⁵ и вообще не собираетесь ли осенью в Ленинград?

Письмо опубликовано в «Литературном обозрении» (1986, № 8) со значительными купюрами.

¹ Тираж составил 300 000 экз. В воспоминаниях о Паустовском Казаков писал: «Я в Москве не мог подписаться на его собрание сочинений, а подписался в Ленинграде, купил очередь у барышника за сто пятьдесят рублей старыми деньгами».

² Повесть «Золотая роза» опубликована в журнале «Октябрь» (1955, №9, 10).

³ Коринец Юрий Иосифович (1923—1989), поэт, друг Казакова.

⁴ Сурков Алексей Александрович (1899—1983), поэт, секретарь Правления Союза писателей СССР, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР, кандидат в члены ЦК КПСС (1956—1966).

⁵ Долматовский Евгений Аронович (1915—1994), поэт, профессор Лит. ин-та.

⁶ Шпанов Николай Николаевич (1896—1961), прозаик, автор официозных политических детективов «Поджигатели» (1949), «Заговорщики» (1951) и др.

⁷ Брянцев Георгий Михайлович (1904—1960), прозаик, автор остро сюжетных повестей о советских разведчиках и партизанах («Тайные тропы», 1953; «Следы на снегу», 1954; «Конец осиною гнезда», 1960 и др.).

⁸ «Тедди: История одного медведя» (1957).

⁹ Озеров Виталий Михайлович (1917—2007), критик, литературовед, директор Лит. ин-та (1955—1957).

¹⁰ Арбузова Галина Алексеевна (р. 1935), падчерица Паустовского, дочь драматурга Алексея Николаевича Арбузова (1908—1986), выпускница Лит. ин-та, критик, кинодраматург.

¹¹ «Журнал молодых» (1957, № 1) подвергся критике в статье О. Кучкиной «Перелистывая „Журнал молодых“» («Комсомольская правда», 1957, 27 сентября).

¹² Ричи Михайловна Достян, прозаик. Игорь Павлович Коссаковский, сценарист документального кино, муж Р. М. Достян. Улица Фурштатская — тогда им. Петра Лаврова.

¹³ «Литературная Москва» — литературно-художественный сборник московских писателей (М., 1956). Вышло два выпуска. Паустовский был членом его редколлегии.

¹⁴ Гранин Даниил Александрович (р. 1919), прозаик, эссеист.

¹⁵ Паустовский участия в этом совещании не принимал. Казаков попал в семинар к В. Ф. Пановой и прозаику Павлу Леонидовичу Далецкому (1903—1963). См. наст. изд., с 77—78.

5

<Декабрь 1957>

Дорогой Константин Георгиевич!

Простите, я к Вам с просьбой! М<осковское> О<тделение> СП решило принять меня в члены Союза, не дожидаясь появления на свет моей книжки.

Не могли бы Вы написать рекомендацию?¹

Если Вам трудно или неудобно по каким-нибудь причинам это сделать, не стесняйтесь с отказом, ради бога! Если Вам вообще не до писем, то даже можете не отвечать мне вовсе, я опять-таки

в обиде на Вас не буду ни в коем случае. Подождав Вашего ответа числа, скажем, до 15-го февраля и не получив его, я уразумею, что Вы заняты или больны, или не в настроении — мало ли что!

Будьте здоровы, бодрости и легкости Вам в работе!

Ваш Ю. Казаков

Адрес мой: Москва Г-2, Арбат 30, кв. 29.

Летом поеду в Приозерный р-н. Говорят, там скиты есть. Любопытно! Не хотите ли с нами?

Опубликовано в «Литературном обозрении» (1986, № 8).

¹ Рекомендация приводится на с. 83—84 наст. изд.

5 февраля 1958 года Паустовский писал Казакову из Тарусы: «Юра, дорогой! Не сердитесь на меня (хотя бы в глубине души) за то, что я Вам не отвечал. Это никак не касается моего отношения к Вам. Вы, может быть, догадываетесь или знаете от Галки («Ах, эта Галка!»), что я очень люблю Вас как писателя и, читая Ваши рассказы, бываю растроган до слез. И не по стриковской слезливости (ее у меня нет совершенно), а потому что я счастлив за нашу литературу, за наш народ, за то, что есть люди, которые сохраняют и умножат все то прекрасное, что создано нашими предками, — от Пушкина до Бунина. Велик Бог земли Русской!

Не отвечал я Вам из-за отвратительной болезни, привязавшейся ко мне: из-за астмы. Сейчас легче, а то я задыхался, как рыба на песке, и мне было трудно и думать, и писать, и говорить. Если к лету я оправлюсь, и врачи пустят, то я бы с наслаждением поехал бы с Вами в Приозерный район. Меня страшно тянет на Север. Если мне разрешат ехать, то, очевидно, возьму с собой Галку. Меня одного из-за болезни не пустят. Напишите мне обо всем, не смущайтесь моим молчанием. Будьте спокойны, работайте, живите счастливо.

Ваш К. Паустовский

P. S. Посылаю рекомендацию.

Опубликовано в Собр. соч., т. 3, с. 500.

6

3 марта 1958. Дубулты

Дорогой Константин Георгиевич!

Спасибо, спасибо Вам за письмо и рекомендацию! Я даже долго писать не насмеливался, — так был смущен и обрадован. Вы представить себе не можете, как помогли Вы мне своим теплым словом. Мне было очень тяжело весь этот год, и уж месяцев восемь я забросил литературу. Когда видишь каждый день, как на литературной арене вновь и вновь появляются старые бойцы бездарности, жирные

волкодавы софроновы¹ и проч., как бьют они направо и налево, как распоясываются, доходя до наглости и нельзя их укротить, — так делается тошно на душе и так, в конце концов, равнодушно!

А этот пленум — боже мой! Ни одной интересной речи, ни одной мысли, зато бездна общих слов и странные, дикие призывы не дипломатничать с писателями запада, т. к. это, мол, унижает советскую литературу. Как будто настоящую литературу можно унизить!

А нелепые требования в издательствах! У меня в «Арктуре» был абзац о цыганах. Потребовали: снять цыган, т. к. был указ о запрещении бродяжничества! В «Никишке» было выражение «мертвый лес». Потребовали: заменить «мертвый» другим словом, т. к. слово «мертвый» придает рассказу нехороший социальный оттенок. И т. д. и т. п.

Впрочем, черт с ними, теперь я снова начал работать. Снова я в Дубултах, опять здесь солнце, снежок, сосны, белки, лед у берега, прелестные дачи, чистота и тишина. Народу в доме творч<ества> совсем мало, не в пример прошлому году. Дух Ваш витает здесь². То и дело вспоминают, как Вы жили тут, как писали «Золотую розу»... Глядя на это море, на эти сосны, мне вдруг тоже захотелось написать что-нибудь дико приключенческое, романтическое и ужасное. Сюжет: старые пираты появляются в наши дни и совершают целую кучу всевозможных превосходных преступлений. Если я начну эту вещь, я буду писать так: «Звезды раскрыли свои мохнатые ресницы, сизые сосны дохнули туманом, с глухим топотом пронеслись траурные кобылицы сумерек, и в закопченном очаге таверны Слюнявого Боба запылал жаркий огонь, когда в залив вошел Черный Корабль Джима-Вшивого-Носа». Увы! Вместо того, чтобы заниматься этой сладостной работой, я пишу все про разных подлецов, они меня одолевают.

Как Ваше здоровье?

А летом, правда, давайте поедем на Север — какие народы там, какая рыба, какие церкви! Мы будем таскать рюкзаки, спать в сырых оврагах, питаться грибами и укреплять свое здоровье, расшатанное литературой. Мы будем дышать запахом водорослей, стрелять тюленей, плавать на шкунах, писать стихи, петь и скорбно думать о величии мира. В лесах за нами будут следить старички-лесовички, на полянах попадутся нам заколоченные, сизые от старости деревянные церкви, брякнемся мы на колени лицом на восток и забормочем: «Стану я, раб божий, благославясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, выйду в чисто поле...» Ах, ах! Поедемте, Константин Георгиевич!!

А пока будьте здоровы, низко Вам кланяюсь, а я здоров, чего и Вам от Господа Бога желаю! Галку же поздравляю с женским праздником номер восьмь! (казахск.)

Ах, да! Карточку! Когда же карточку, Константин Георгиевич?!

Ваш Ю. Казаков

Опубликовано с купюрами в «Литературном обозрении» (1986, № 8).

¹ Софронов Анатолий Владимирович (1911—1990), поэт, драматург, публицист, главный редактор журнала «Огонек» (1953—1986).

² Казаков познакомился с Паустовским весной 1957 года в Дубултах.

7

10 апреля 1958. Москва

Дорогой Константин Георгиевич!

На днях вернулся из Дубулт. Погода была прекрасная, работалось мне еще лучше (все Ваше письмо!) и написал я пять рассказов.

А в Москве сюрприз: письмо из Чехословакии, журнал которой «Мир<овая> литература» мной «интересуется». И опять Вы! Спасибо, спасибо Вам большое за доброе мнение обо мне, дай бог его оправдать!

Константин Георгиевич, что Вы скажете, если я один из новых своих рассказов посвящу Вам. В Дубултах его читал Штейнман¹ (ленинградский критик) и все просил его у меня для «Звезды». Да я не отдал. Так вот, если и здесь он всем понравится, то разрешите ли Вы посвятить его Вам? А мне так хочется! Рассказ о Севере.²

Мама моя слышала от одной знакомой о человеке, который лечит астму. Хотя это «религия и опиум», но не попробовать ли Вам полечиться у него? Такие люди часто действительно хорошо лечат — это факт. Мама попробует узнать адрес этого человека, и если это ей удастся, я Вам напишу его.

Очень хочется повидать Вас и поговорить, но это когда-нибудь, а сейчас я жду Вашего разрешения на посвящение. Напишите всего две строчки.

Еще раз большое спасибо Вам за все, будьте здоровы, легкой Вам работы и прекрасного настроения!

Ваш Ю. Казаков

Опубликовано в Собр. соч., т. 3, с. 333—334.

¹ Штейнман Зелик Яковлевич (1907—1967), литературный критик; 1936—1956 годы, будучи репрессированным, провёл на Севере.

² «Манька».

8

20 августа 1958. Москва

Дорогой Константин Георгиевич, здравствуйте!

Был я в Питере, испытал там сильнейший испуг в связи с Ливаном (в квартире, где я останавливался, уже поговаривали о повестках из военкомата)¹, потом несколько дней слушал разговоры о похоронах Зощенко², потом уехал и поплелся по Марининской системе, был в Вытегре, в Белозерске, в Череповце, Угличе, Ростове и поездом вернулся в Москву.

А в Москве пусто и скучно, дела литературные совсем дрянь. «Октябрь» даёт мне командировку на Север и я еду, хоть одному ехать не хочется. Коринец, не дождавшись меня, уехал один, в Каргополе встретился с Тендряковым³ и ещё двумя ребятами, теперь они вчетвером шатаются по Онеге, а я к ним не хочу, хочу поехать на Белое море в поморскую деревню, забраться на тоню к рыбакам и пожить с ними недели две-три, поглядеть поприспальнее на их житье-бытьё и, может быть, самому поработать с ними, половить рыбу.

Как Вы себя чувствуете? Не зудит ли у Вас на душе? А то давайте поедem вместе — дорога нетрудная, до Онеги поездом, а там день на пароходе и все. Уеду я числа 26 августа⁴.

Уже много дней у меня тоска, совсем не хочется писать, руки опускаются и никуда не подашь. Хотел было несколько раз приехать к Вам в Тарусу, да все откладывал, куда уж — у Вас, небось, своих хлопот полон рот. Книга в «Сов<етском> писателе» ещё не пошла в набор, хотя в июне мне говорили, что уже все — идет. Я туда и показываться боюсь, скажут: ага, вас нам и надо, вот тут у вас рассказ подозрительный, не исправите ли... Ну их!

Только один Вы и поддерживаете тем, что вообще где-то живете, пишете. Вспоминаю Ваше лицо, голос и — легче, а то кругом рыла кувшинные.

Очень хочу написать о Вас для «Охотничьих просторов». Попробую осенью, будет прилично получаться, отдам Смирнову Н. П.⁵, не будет — пусть уж кто-нибудь ещё напишет.

Рассказ («Манька»), посвященный Вам, вышел в «Крестьянке» (1958, № 8. — *И. К.*), но его страшно обкорнали и посвящение Вам сняли, так что Вы не читайте его пока, вот выйдет в книжке, тогда уж почитайте. А я тут Дорошу⁶ давал читать его и еще для проверки спросил о «Маньке» — Дорош похвалил, а то я все боюсь, что вдруг рассказ окажется не слишком хорошим и недостойным Вас.

В Архангельске книжка пошла в набор, и я даже боюсь о ней думать, как, знаете, на охоте крадешься к тетереву или утке и смотреть на них боишься. Там редакторша⁷ что-то по мне с ума сходит, т. е. по моим рассказам, подняла шум на весь Архангельск и тамошние троглодиты чуть меня не слопали, книжку затребовали в обком, я уж на ней крест поставил, вдруг ничего, идет понемножку и довольно хитро: по договору 4 листа, а фактически 7—8, и «Некрасивая» там, и «Дым», и «Манька», и прочие рассказы, которые здесь у меня все парятся.

Так что с одной стороны не так уж плохо у меня, но все равно все не то, не то, бесишься, жизнь-то коротка. Терпеть да ждать веку не хватит.

Я Вам все пишу, Вы не отвечаете, и я не знаю, доходят ли мои письма к Вам, а даже если не доходят или Вы их не читаете, все равно я буду писать — как в космос, пускай, мне приятно Вам писать, только простите, я хочу да и надо бы вообще писать бодро, интересно, как полагается мужчине, а я нет-нет да и заную, захнычу. Ну, очень уж туго приходится, шутка ли, сами посудите, за последние дни только получил нотацию от Панферова⁸, рецензию с выговором от Твардовского⁹, что, мол, и кокетничаю я, и захвален, и упиваюсь собственным художеством, и жизнь вижу односторонне, и влияние стариков чувствуется, и т. п. Кроме того еще в «Литературе и жизни» отказали двум рассказам, Зубавин в «Современнике»¹⁰ тоже отказал, С. Баруздин¹¹ все меня бить собирается — поневоле закряхтишь.

Ну, ничего, авось у рыбаков отдышусь и что-нибудь привезу оттуда соленое, крепкое. Вот бы Вы поехали! Хоть напишите, если не поедете, я ждать буду.

Я сейчас пожаловался Вам и вспомнил, мать рассказывала, у них сосед в деревне был, лодырь и пьяница, так он корову свою соломой кормил. Корова у него — кожа да кости, нюхнет солому, и есть не хочет, а сосед приговаривает: «Съес, матуска, съес! Ницем права будес!» Так вот и я — ничем прав буду, съем все и все переживу.

Ну, будьте здоровы, поклон Татьяне Алексеевне^{12!}

Уеду я месяца на полтора, если выдержу. Я хочу зимой в Дублты поехать, поработать. Вы туда не собираетесь?

Ну, до свидания. Как Ваше здоровье?

Ваш Ю. Казаков

Р. С. Зощенко, говорят, умер от нежелания жить, иначе — от черной меланхолии. На похоронах не обошлось без юмора: жена его, облокотившись на гроб, сказала: «Позвольте мне пару слов...» А Прокофьев¹³ с кем-то затеял дискуссию: «мог ли Зощенко стать эмигрантом». Похоронили его в Сестрорецке — в Питере, по каким-то причинам, не разрешили хоронить.

Опубликовано с купюрами в «Литературном обозрении» (1986, № 8).

¹ В 1958 году США ввели войска в Ливан.

² Зощенко Михаил Михайлович (1895—1958), прозаик, подвергся жестокой критике в Постановлении ЦК ВКПб «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» (1946).

³ Тендряков Владимир Федорович (1923—1984), прозаик, уроженец Вологодской области.

⁴ 20 сентября 1958 г. Паустовский писал Р. М. Достян: «Юра уезжал на Белое море, звал с собой меня, но моя астма никак меня не пускает, хотя и стало гораздо легче...» (К. Паустовский. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9. М., 1986, с. 348).

⁵ Смирнов Николай Павлович (1898—1987), прозаик, критик, редактор альманаха «Охотничьи просторы» (с 1948).

⁶ Дорош Ефим Яковлевич (1908—1972), прозаик, очеркист.

⁷ Сб. рассказов «Манька» редактировала Л. И. Одинцова.

⁸ Панферов Ф. И. См. письмо 1.

⁹ Твардовский Александр Трифонович (1910—1971), поэт, в это время редактор журнала «Новый мир». См. наст. изд., с. 76—77.

¹⁰ Зубавин Борис Михайлович (1915—1981), прозаик, в 1958 главный редактор журнала «Наш современник».

¹¹ Баруздин Сергей Алексеевич (1926—1991), детский писатель, поэт, прозаик, главный редактор журнала «Дружба народов» (с 1966).

¹² Паустовская (Евтеева, Арбузова) Татьяна Алексеевна (1910—1978), актриса, с 1949 жена Паустовского, мать Г. А. Арбузовой.

¹³ Прокофьев Александр Андреевич (1900—1971), поэт, в 1955—1965 гг. первый секретарь Правления ленинградской писательской организации.

22 июля 1958 на гражданской панихиде М. М. Зощенко возникла резкая полемика между ним и писателем Леонидом Ильичем Борисовым (1897—1972), прозаиком, автором романа «Ход конем» (1927), повести «Волшебник из Гель-Гью» (1945), посвященной А. С. Грину, романов «Жюль Верн» (1955), «Под флагом Катрионы» (1957) и др. произведений.

9 марта 1959. Москва

Дорогой Константин Георгиевич!

Наконец-то я дождался книжки¹ и могу послать ее Вам. Многие рассказы Вы знаете, незнакомы Вам, пожалуй, только «На острове», «Манька», «Поморка», ну и, может быть, еще что-то.

Я очень счастлив послать Вам книжку. И буду благославлять небо, если Вам понравится «Манька». В Архангельске, как мне пишут, книжка имеет шумный успех: ее разбирают и о ней говорят.

Московская книжка² еще не вышла. Она, в основном, состоит из этих же рассказов, прибавлены только «Голубое и зеленое» и «Старики» — зато отсутствуют «Поморка», «На острове», «Некрасивая».

Засим позвольте пожелать Вам здоровья и еще раз уверить в своей постоянной любви! Простите за краткость письма, очень тороплюсь на почту — сегодня уезжаю в Дубулты, где пробуду до начала апреля.

С «Оленьими рогами»³ — это я у Вас хлеб отбиваю! Ай-ай, до чего докатился!

Как Ваше здоровье? Как работается? Напишите мне в Дубулты. Низкий поклон Татьяне Алексеевне!

Ваш Ю. Казаков

Опубликовано в Собр. соч., т. 3, с. 333—334.

¹ Сборник «Манька» (Архангельск, 1958).

² «На полустанке» (1959).

³ Рассказ «Оленьи рога» («Девочка и тролли») был опубликован в сб. «Манька» (1958). См. письмо 27.

<Май 1959>

Дорогой Константин Георгиевич!

Не зная, где Вы сейчас, я на всякий случай пишу в Тарусу, авось это письмо достанет Вас когда-нибудь.

Ну, Вы небось догадываетесь, что со мною стало, когда я прочел Вашу статью¹. А другим она много крови испортила и, как я думаю, Соболев² не столько на меня налетел, сколько мною хотел Вас под ребро поддеть.

Милый Константин Георгиевич, если только есть в литературе понятие отцов и детей, то вот, ей-богу, я Вас не подведу, крест святой, буду писать все лучше!

А я очень сперва тужил, что Вы ничего не написали мне, тем более, как я слышал, другим Вы писали. Я думал, Вам «Манька» не понравилась: хвалить Вы не хотите и ругать тоже. И мне было грустно. Ну, а потом получил телеграмму и повеселее стало.

Я звонил Вам, Татьяна Алексеевна сказала мельком, что до вас дошли какие-то слухи насчет Малеевки. А в Малеевке было вот что: сперва я ругал разных серяков за антихудожественность (не мог терпеть, дурак!), ну, а потом серяки во главе с Карцевым³ сплотились и решили меня разгромить. И тут я скулиганичал, бросил им рассказ о Лермонтове («Звон брегета»), они и понеслись и воздали мне полной мерой, веселое было дело, но я выдержал.

На днях ездил я на Оку, у меня был план снять на лето там халупу какую-нибудь, работать, ловить рыбу и изредка принимать женщин. Поехал и набрел на изумительную деревушку. Вы знаете, я немало поболтался последние годы по разным прелестным местам, но когда я обнаружил эту деревушку, у меня дух заняло, так хороша. Деревня эта Марфино, на левом берегу, чуть повыше Егнышовки. Знаете что? Продайте мне Ваш дом в Тарусе, а себе постройте в этой деревне — я Вам дарю это место. Серьезно, съездите как-нибудь туда просто так, хоть на день, не пожалеете.

Так вот, снял я себе там пол-избы на лето, хотел маму привезти в дом отдыха в Егнышовку и вообще зарядился, как электрон, вдруг звонок из «Лит<ературной> газеты», предлагают ехать в Сибирь с вагоном писателей,⁴ причем не просто предлагают, а настаивают. И кому ни скажу, все советуют ехать, так что я уж наверно поеду, а на Оку уже потом, к концу июля.

А чудные вещи творятся на свете. Недавно написал я рассказ «Трали-вали» про бакенщика на Оке и вообще про Русь и русский характер, а больше всего про себя. Отнес я его в «Октябрь», Панферов отказал, т. к. нашел ущербность. А после выступления Соболева Панферов вдруг разозлился, попросил снова этот рассказ и хочет печатать в № 7 или 8 (уже сдал в набор)⁵. Я прямо боюсь думать об этом, шутка ли два года не печатался в журналах!

Будет время, прочтите его, он ничего себе.

Поздравляю Вас с днем рождения, дай бог Вам радости и сил и счастливые дни и ночи!

Спасибо Вам!

Ваш Юрий

Р. С. Чехи, наконец, напечатали три рассказа моих в журнале, а потом еще в газете «Культура».

Опубликовано с купюрами в «Литературном обозрении» (1986, № 8).

¹ Статья «Бесспорные и спорные мысли» («Литературная газета», 1959, 20 мая). См. наст. изд., с. 83—84.

² Выступая на Третьем Всесоюзном съезде советских писателей, Л. Соболев говорил: «...Казаков несомненно талантлив, но что-то не очень ему в помощь природное богатство. Есть у него и острая наблюдательность, есть стремление к раздумьям, что не часто встречается в наших рассказах, есть и чувство языка, подпорченное, правда, коллекционерской страстью к собиранию разных слов, восхитивших городской слух. Этому бы молодому таланту да стать на ясный путь! А он пишет о странниках, пытающихся на ночевках испортить девушку, о жестоких и тупых парнях, бросающих в деревне невест ради спортивной карьеры... Нет, не такой я вижу нашу смену...» («Литературная газета», 1959, 28 мая).

³ Карцев Владимир Петрович, прозаик.

⁴ Выездная редакция «Литературной газеты» отправилась из Москвы в Сибирь 10 июня 1959 г. по маршруту: Омск—Красноярск—Братск—Иркутск). См. письмо 44.

⁵ См. письмо 11.

11

30 августа 1959. Ленинград

Дорогой Константин Георгиевич!

Где-то Вы? Пишу Вам на Москву, но может быть Вы в Ялте опять или в Тарусе?

Я жив-здоров, настроение более или менее бодрое, часто вспоминаю Вас. Давно хотел я написать Вам вот о чем. Меня как-то пригласили на «Мосфильм» насчет сценария и т. п. Там я узнал, что ставят фильм по Вашей повести¹. Так вот, умоляю Вас, будьте жестоки и люты аки тигр, но не давайте им портить вещь. Следите сами за всеми делами, не уступайте им ни пяди, пусть из кожи лезут, а сделают настоящий фильм. Иначе Вам же первому будет плохо, душно и мерзко. Как я рад все-таки за Вас!

И еще просьба: прочитайте, пожалуйста, мой последний рассказ в № 7 «Октября». Только называется он не «Отщепенец» (это Панферов выдумал) — какой он отщепенец! — а «Трали-вали»².

Меня ругают сейчас все, но Вы не расстраивайтесь, пока есть люди, подобные Вам, нам, молодым, не страшно жить.

Я сейчас в Питере с Коринцом. Питер встретил нас холодом, дождем и ветром. Фонтанка шла вровень с берегами. Отсюда мы двинем в Карелию или в Новгород.

Будьте счастливы, дай Вам бог всего! Поклон Т. А.

Ваш Ю. Казаков

Опубликовано в «Литературном обозрении» (1986, № 8).

¹ Фильм «Северная повесть» по одноименной повести Паустовского поставил в 1960 году на «Мосфильме» режиссер Е. Н. Андриканис.

² См. наст. изд., с. 54.

В. В. Конецкий 2 августа 1959 писал Казакову: «Юра, сегодня я не буду принужденно острить. Я прочитал „Трали-вали“».

Это — прекрасный рассказ.

Это — великолепный, пахучий, упругий, плотный, цветистый, свежий, умный, русский рассказ.

Я тебя крепко целую, Юра. Я очень рад и горд за всех нас, за то, что это наш рассказ. Наш, а не каких-нибудь американцев, или немцев, или французов. И он очень умный, и ты, как и всегда, сам не понимаешь, сколько в нем умных штук.

Я его прочитал уже много раз и еще буду читать. И это мне будет помогать писать.

Только, Бога ради, дорогой, не зазнавайся! Пусть у тебя никогда не будет гонора и головокружения. Никогда! Я тебя поздравляю.

Единственное мое замечание: женщина менее плотски плотна, чем Егор. И еще (это вытекает из первого): Егор должен иногда быть более чувственным по отношению к ней. Вот когда они рядом лежат во тьме, и он разные вещи вспоминает и думает, я должен почувствовать рядом с ним плотное, соблазнительное женское тело, а ему в этот момент на физическую близость начхать. Он нежности и каких-то уговоров ждет. Но женщину надо прописать по-земляному, чтоб я ее сам захотел. Плохо я излагаю. Сумбурно и противоречиво-непоследовательно. Когда встретимся — поговорим.

Еще раз поздравляю тебя и очень благодарю Панферова. И удивляюсь на него. Ведь по этому рассказу опять пальба пойдет из всех пушек и пулеметов. И Панферову тоже достанется.

Моя мать в восторге от „Трали-вали“ и очень хотела приписать тебе пару строк, но сейчас ее дома нет, а я спешу письмо отправить, т. к. боюсь, что ты из Москвы уедешь» (В. Конецкий. Собр. соч. в семи томах, т. 7. СПб., 2002, с. 345—346).

12

8 января 1960. Голицыно

Дорогой Константин Георгиевич!

Простите меня, но это не я, а Вы меня забываете! Это я Вам правду истинную говорю. И давно хотел сказать, да все как-то не

говорилось. А тут мама переслала мне Вашу телеграмму, где написано: «Не забывайте».

Я о Вас все время помню, но ведь Вы трудно уловимы. Вот в Болгарии жили, я же не знал Вашего адреса!

И потом Вы почему-то не пишете мне ничего, не отвечаете на мои письма, хоть и пишете другим, той же Ричи Достян¹, хотя бы.

А Вы пишете, знаете, не всегда как-то ловко младшему быть инициатором в разных отношениях со старшим. Разные появляются мысли: а вдруг не вовремя, вдруг не к месту, вдруг не до меня и т. д.

Знаете, чем сейчас я занимаюсь? Сценарием для кино. Сценарием по рассказу «Манька»². (Кстати, я так и не знаю, понравился ли он Вам? Ведь я его Вам посвятил!) Теперь я почти его кончил, на днях сдам на «Мосфильм», а потом начнутся настоящие муки, я думаю — переделки всякие, придирки.

Живу я теперь в Голицыно, в Доме творчества, т. к. дома совсем нельзя работать.

И день и ночь мечтаю я об Оке, как туда поеду летом, как буду писать, ловить рыбу, изредка видаться с Вами. Будете Вы в Тарусе летом?

Славно мы повидались с Вами тогда, в сентябре. Я дурно жил этот год, как-то растерянно, пил много, не писал ничего. Надоела мне вдруг литература. И когда я с Вами поговорил, то есть кое-что Вам рассказал о себе, стало мне лучше, спокойнее.

И потом вся Ваша семья на меня действует очень. И Татьяна Алексеевна, и Галя.

А я все не женился, не задается мне как-то личная жизнь, просто беда! А писательская жизнь фиговая все-таки, нету ничего хуже. Я вот сижу уже два месяца, сперва в Малеевке, теперь в Голицыне. Сидишь, гнешься над машинкой, пишешь, стучишь, иной раз на улицу не выходишь — чего хорошего? Вообще не складывается жизнь у писателя. Если просто живешь, т. е. как все люди — с ними или без них — ну, шляешься, рыбу ловишь, ямы для яблонь копаешь, ездешь, охотишься, пьешь водку, спишь с девками, — все время мысль, что не пишешь ничего, что время идет, что забываешь, упускаешь такие слова, такие мысли, образы! А сядешь за работу, стучишь, куришь, не встречаешься ни с кем, думаешь все о фразах и прочем, тоже тоска.

Да еще и не понимают, да еще шпыняют, и все твои открытия ни к чему. Вон Чехова поняли, наконец, слава богу! — чуть не через сто лет, что же и нам надеяться на будущее, утешаться: ах, потомки... А ведь неохота потомков ждать, человеку нужна немедленная реакция на все, что он содеял. Правда? Я вон пишу,

например, что странник идет, а его с бешеным ревом машины обгоняют. Пишу и думаю, что это я не так просто пишу, а вроде символично. Странник — машины. В нашем веке все: прошлое и будущее. И вот ни одна собака не обращает внимания на мои машины, на мой этот символ, а все кричат: ага, странник! Ага, отщепенец! Пессимист! Абстракционист!

Встречали Вы когда-нибудь разбор Ваших вещей? Я имею в виду настоящий разбор, настоящее понимание, когда этот аналитик каждую Вашу строчку повторит, рассмотрит, решит, к чему она, зачем Вы ее написали, почему Вы поставили именно это, а не другое слово. То есть объяснил ли кто-нибудь Вам Вас? А это ведь так нужно, чтобы уверенней работать и жить, чувствовать, что ты не задаром работаешь.

Ну вот. Так что теперь я почему-то страшно хочу проплыть по Оке, на солнце поваляться, посадить чего-нибудь у Вас в саду, поймать какого-нибудь дивного леща.

Влюбиться в кого-нибудь! Это, Константин Георгиевич, страшное дело влюбиться. Чтобы тоска хватала. Даже пусть безответно, все равно здорово.

Недавно написал я новый рассказик. Почитайте его, будет он напечатан (если ничего не случится) в № 3 «Огонька»¹. Рассказик короткий очень — 5 стр. И написал я его как-то сам по себе, не знаю для чего.

А над чем Вы работаете?

Меня в Польше стали переводить. И в Братиславе.

Ну, до свиданья! Я Вас очень, очень люблю, только Вы пишете мне. Ей-богу, надо Вам подбрасывать хоть корявое полено в мой огонь.

Адрес мой: Голицыно, Моск. обл., Коммунистическая, 26, Дом творчества писателей.

Крепко обнимаю Вас!

Ю. Казаков

Как живет Галя? Она как-то исчезла из писательского общества, нигде ее не увидишь⁴.

Опубликовано с купюрами в журнале «Литературное обозрение» (1986, № 8).

¹ См. письмо 4.

² Сценарий по рассказу «Манька» предназначался для дипломной работы выпускника ВГИКа Ю. А. Файта.

³ Рассказ «В тумане» (под названием «Вечерний звон») напечатан в журнале «Огонек» (1959, № 3).

⁴ 29 сентября 1959 Казаков писал Конечкому: «Старик, я снова убит наповал Паустовским и женою его, а больше всего их дочкой, княжной Волконской. Эта дочка присутствует во всех его поздних рассказах. И в «Ночном дилижансе», и в «Повести о лесах» и т. д. Она окружена ореолом поэзии. На нее страшно смотреть. Она его муза. Я в нее влюблен — издаля, робко, тайно и уже много лет... А она, собака, полтора года назад взяла и вышла за князя Андрея! Я чуть не помер тогда. А сейчас вот увидел и сердце болит теперь. Ну, ничего, писать лучше буду. Я займусь полнейшим и тихим самоотречением — вещь занятная, болезненная, но поэтическая, т. к. пары в душе скопляются и требуют словесного выхода, и получается иной раз неплохо...» (В. Конечкий. Собр. соч. в семи томах, т. 7. СПб., 2002, с. 346—347).

13

<Зима 1960>

Дорогой Константин Георгиевич!

Сим извещаю Вас, что мною получен № 1 венгерского журнала «Надьвилаг», в котором напечатан «Арктур».

Снова должен я благодарить Вас, т. к. из письма переводчика явствует, что напечатали они рассказ по Вашему совету.

Журнал очень приятный на вид, и пахнет хорошо, но только ни одного слова, кроме своей фамилии, я не понял — очень уж чудной язык.

В журнале же оказалось содержание за прошлый год, а в содержании есть Вы и Ваша вещь: «Остап Бендер». Долго я размышлял, что бы это значило, но так и не догадался.

Тут у нас завернули морозы, правда, пока несильные, градусов на 15—20. Выпало много снега. Вечером дым падает вниз, а дым березовый, и снег под ногами хрустит, а от холода в носу щекотно.

Когда Вы приедете в Москву? Я очень хочу Вас видеть. И еще: половим ли мы с Вами рыбу когда-нибудь?

Я получил одно письмо, в котором есть несколько прекрасных слов о Вас и которое я кладу вместе с моим.

В марте предполагается очередная тур<истическая> поездка в Чехословакию. Я собираюсь поехать, не хотите ли и Вы? Право! Встретят Вас там, как бога, я думаю.

Ну вот и все. Сценарий свой я закончил, перечитал и вижу, что действительно я абстрактный гуманист, как назвал меня Гус¹.

Буду теперь писать рассказы. Есть у меня один замысел, похожий на Вашу «Телеграмму», но только в другом плане.

Вообще чертовски мне хочется Вас видеть.

Будьте здоровы, крепко обнимаю Вас, напишите мне!

Ю. Казаков

Опубликовано с купюрами в журнале «Литературное обозрение» (1986, № 8).

¹ Гус Михаил Семенович (1900—1984), критик, публицист.

14

28 марта 1960. Москва

Здравствуйте, дорогой Константин Георгиевич!

Отбыл я свой срок в Голицыне, да едва ли не зря отбыл: написал всего с гулькин нос, ибо посетила меня некстати любовь...

Ну, в общем, все это позади, т. к. для любви я решительно не гожусь по своему несчастному образу жизни, любить меня может только женщина с нервами кардинала Ришелье. Уезжаю вот на днях в Дубулты — и на сколько бы Вы думали? — на два месяца. Как живет нормальный человек? Нормальный человек едет на Оку весной или еще куда-нибудь, охотится, ловит рыбу, ночует у костра, выпивает с друзьями, поет хриплые песни, любит женщин и делает массу разнообразнейших и приятнейших вещей.

Ненормальный человек покидает родные пенаты, покидает друзей и женщин и свой Арбат и все, и едет в Дубулты (или в Ялту), садится в комнатенке, курит, злится, стучит на машинке, мельком только взглядывает за окно, на природу, на солнце, на белок, страдает бессонницей и живет так месяц, два, три — и все для того только, чтобы потом в тоске ходить по редакциям, предлагать сотворенное в эти три месяца и получать везде отказы. Ах, ах!

Очень долго возился я со сценарием, сделал раз, потребовали поправок, сделал второй раз и забастовал: душа с них вон! Я ведь хитрый, возьму и уеду в Дубулты, там они меня не достанут, а ведь фильм ставить надо, вот и поставят, поскрипят зубами, а поставят. Режиссер у меня дипломник ВГИКа¹, ему обязательно нужна картина.

В Дубултах ждет меня механическая и довольно приятная работа: буду переписывать все свои рассказы для сборника. Некоторые написаны года два-три назад, и теперь, на свежий взгляд, я в них замечаю много лишнего, что надо убрать. Боюсь я за свой новый сборник, т. к. процентов 80 в нем будет рассказов в духе «Странника» и «Отщепенца», редактор может многое выбросить.

А какой я недавно рассказ написал, если б Вы знали! Называется он так: «Запах хлеба». Маленький рассказик, но я им страшно доволен, так, как не был доволен почти ни одним. Его тут в Москве все читают, но печатать наверно никто не будет.² В числе двух других он должен был пойти в «Октябре», но Панферов со свойственной ему странностью вдруг переменял мнение и отказал.

А как Вы поживаете? Как подвигается работа? В Ялте сейчас наверно все цветет...

Я все хотел как-нибудь махнуть в Ялту, поглядеть на Вас, поговорить, да все не судьба. Ну, авось, летом в Тарусе увидимся. Очень я соскучился по Вас.

Всего доброго Вам, держитесь, не болейте!

Крепко обнимаю.

Ю. Казаков

Да! Был недавно в «Литературке», говорил с работником отдела писем. Так вот по письмам, т. е. по количеству писем о Вас — Вы сейчас стоите на первом месте. Назло всем нам. С чем Вас и поздравляю, тая в душе, как Вы догадываетесь, черную зависть.

Опубликовано с большими купорами в журнале «Литературное обозрение» (1986, № 8).

¹ См. письмо 12.

² Рассказ «Запах хлеба» напечатан в альманахе «Тарусские страницы» (1961).

15

10 сентября 1961

Дорогой Константин Георгиевич!

Спешно пишу Вам вот по какому поводу. Я здесь видался и даже выпивал с Левитом¹. Его настроение мне очень не понравилось. Исполняя его просьбу, я сообщаю Вам положение дел в Калуге.

Как гл<авному> редактору — Левиту обещана в Калуге квартира. Должностью своей он дорожит. И еще в изд<ательств>е у него выходит какая-то диссертация. Всего этого он боится лишиться, о чем прямо и сказал мне в присутствии Панченко².

Далее. На Левита жмет секр<етарь> обкома по пропаганде. Речь идет о стихах Д. Самойлова³, повести Окуджавы⁴ и моих рассказах⁵. Все это, по словам Левита, под угрозой.

Левит сказал следующее: «Если Паустовский будет твердо стоять на составе сборника, не соглашаясь на изменения, если Паустовский будет ставить вопрос так: или сборник идет целиком или не идет вообще, тогда он, Левит, тоже будет стоять на этом. Но ему нужна уверенность, что Вы не дадите себя уговорить на изменения сборника».

Такие вот дела.

Мне это все не нравится, но я не знаю, что лучше — подождать или сразу вмешаться. Ясно только одно: со сборника глаз нельзя спускать и нужно что есть силы торопить и двигать вперед дело, чтобы сборник вышел в задуманном виде. Тогда это будет победа и такая вещь, какой можно даже и погордиться. Общипанный сборник никому будет не нужен.

Галку я видал и деньги отдал. Большое Вам спасибо! Галка прелестна, сидит дома и слушает джаз на своем агрегате. Андрея ругали в «Сов<етской> музыке»⁶, Галка сбегала вниз, достала журнал, читала статью и тоже ругалась.

В «Московском литераторе» у меня просили «выбить» из Вас некое заявление. Они там затеяли серию выступлений известных писателей под рубрикой «Планы. Свершения». И еще что-то. Напишите им, как Вы рыбу ловите, ругаетесь с бакенщиками, пьете го-сотерн и небрежно рукой пишете гениальные вещи и создаете эпохальные «Тарусские страницы». А то про свои планы все так уныло пишут, что хочется поехать на Север, к тюленям и поговорить с ними за жизнь.

Будьте здоровы, самых лучших успехов в работе!

Ваш Ю. Казаков

Польский Рiw⁷ прислал мне письмо, просит телеграфировать тотчас по выходе сборника.

Опубликовано с купюрами в журнале «Литературное обозрение» (1986, № 8).

¹ Левита Р. Я. — главный редактор Калужского книжного издательства. (У Казакова ошибочно — Левит.) После выхода в свет «Тарусских страниц» он был уволен из издательства с выговором по партийной линии, а в 1968 году, будучи доцентом Обнинского филиала МИФИ, был снова уволен с работы и исключен из КПСС: «За примиренчество к распространению буржуазной идеологии, потерю политической бдительности, обман партии в карьеристических целях». Когда же он устроился в Москве в Институт конкретных социальных исследований АН СССР, его по сигналу из Калуги уволили и оттуда (Владимир Солоненко. «Знаменитые страницы» — газета «Книжное обозрение», 2011, 17 октября—13 ноября).

² Панченко Николай Васильевич (1924—2005), поэт, прозаик. В «Тарусских страницах» опубликованы «Обелиски. Стихи солдата» и «Наталья. Стихи о любви».

³ Самойлов Давид Самуилович (1920—1990), поэт. В «Тарусских страницах» опубликованы стихотворения «Заболоцкий в Тарусе», «Гости. Из Д. Ийеша», «Я стал теперь зависим от погоды», «Сорок лет...», «Памяти А. Р.», «Давайте защитим людей...», «Чайная».

⁴ «Будь здоров, школяр».

⁵ «Запах хлеба», «В город», «Ни стуку, ни грюку».

⁶ Волконский Андрей Михайлович (1933—2008), композитор, в то время муж Г. А. Арбузовой.

⁷ Польский Piw — Варшавское издательство.

16

26 сентября 1961. Печоры

Дорогой Константин Георгиевич!

Здравствуйте! Как у Вас в Тарусе погода? Здесь чудо, такая теплынь, так обильно пауки летят, такие красоты кругом, душа мрет, прибавьте к этому еще колокольный звон, осеннее мое писательское настроение, и Вы получите представление о моем здесь житье-бытье.

Константин Георгиевич! Теперь-то уж Вам придется мне написать, хоть две строчки. Я к Вам за советом. Дело в том, что забралась мне одна мыслишка и не дает покою. Всегда страшно завидовал я романистам. И все сам собирался роман написать — да где там! И вот что надумал. Помните мой «Сев<ерный> дневник»? Так вот, я решил все цифры оттуда выкинуть, еще поднатужиться, чтобы лучше в смысле словесном получилось, к этому куску прибавить еще кусок мурманский, калевальский, кусок с Зимнего берега (там у меня кулак один великолепный!), потом кусок зверобойный (для этого я специально поеду в феврале со зверобойной командой на шхуне к берегам Гренландии). Но и это еще не все, а придумал я прошпиговать все это еще своими же рассказами — «Манькой», «Никишкиными тайнами», «Поморкой» — и кончить весь этот, с позволения сказать, роман «Осенью в дубовых лесах»².

Я подсчитал — получается увесистая книга, листов на 13—15. Все мои рассказы и записки будут в этом романе как бы главами, частями. А почему бы и не роман?! Речь в нем будет вертеться все вокруг одного и того же: вокруг Белого моря, рыбаков, времен года, из которых будет почти все — осень, зима, лето (весны вот только нет). Кроме того везде будет присутствовать личность автора.

Я вспомнил и примеры, Лермонтова с его «Героем» — роман это? Или у Вас — «Золотая роза» повесть? Ведь у Вас тоже есть отдельные рассказы в ней, например «Ночной дилижанс».

Очень мне нужен совет и поддержка, и Вы, пожалуйста, напишите мне — будет это романом или нет, все это собрание очерков и рассказов.

Сиюю сейчас над мурманским очерком, чертовски трудная штука, а хочется сделать что-то очень поэтическое, сильное, чтоб лицом в грязь не ударить, пишу я его как-то ненормально, кусками из середины, из конца, а потом стану склеивать.

Я писал Оттену³, просил у него первый вариант «Осени в дубовых лесах», у меня почему-то нет, да он что-то не шлет, напомните ему при случае, чтоб искал и прислал мне сюда, я тут побуду еще с месяц.

Как там сборник поживает? Очень хотелось бы узнать. Напишите мне, Константин Георгиевич! Особенно про мой роман.

Будьте здоровы, крепко Вас обнимаю!

Адрес мой — Псковская обл., г. Печоры, почта, до востребования.

Ваш Ю. Казаков

Опубликовано с купюрами в «Литературном обозрении» (1986, № 8).

¹ «Северный дневник» («Знамя», 1961, №№ 3—4).

² Сокращенный вариант «Осени в дубовых лесах» был напечатан в «Знамени» (1961, № 9). В связи с этим Паустовский, выступая в Московском энергетическом институте 27 мая 1963 года, высказался о Казакове так: «Человек он угрюмый, в нем очень мало такого писательского оживления, такой жовиальности, которая обычно приписывается писателям. Угрюмый, думающий, очень острый человек, с очень хорошим глазом. Может, вы читали его рассказ «Осень в дубовых лесах». Так вот этот рассказ он испортил, из-за этого у нас вышли, так сказать, крупные разговоры... В «Знамени» вынули середину рассказа, самую сильную, самую интересную, самую потрясающую. И осталось только обрамление, но даже по обрамлению вы можете судить, насколько хорошо все это сделано, быт выписан. И он сдался. Вот за это его все ругали. Внешне он выглядит человеком очень сильным, крепким, а тут сдался. Я говорю — ну ради чего? Ну напечатали бы через два года. Как же можно — изуродовать рассказ и идти на это писателю. Так что ему попало за это сильно...» (журнал «Мир Паустовского», 2004, № 21). В сборниках Казакова этот рассказ печатался по первоначальному варианту.

³ Оттен Николай Давыдович (1907—1983), критик, сценарист, редактор-составитель альманаха «Тарусские страницы».

29 декабря 1961. Голицыно

Дорогой Константин Георгиевич!

С Новым годом, с Новым Счастьем!

Я сам видал, какая стояла очередь за «Тарусскими страницами», и смело теперь говорю всем вам — делавшим их — хорошее вы сделали дело, ура все вам и еще раз ура!

Дошло до меня, что мои последние рассказы Вам не понравились. И я вообразил, как Вы читали их, как выходили на двор и плевались, и фукали, и крутили головой, и как Вас потом успокаивал запах снега.

Извиняюсь, больше не буду!

Вы едете в Ялту? Самая страшная зима прошла — ноябрь, декабрь, — теперь настанет сплошное удовольствие, весна света и прочее. А в Ялту надо ехать весной, в марте-апреле, когда у нас сыро.

Я собираюсь в Тарусу в конце января, отсижу еще срок и поеду. Буду ездить в Поленово на санях в гости.

А какие морозы-то вдарили, давно ничего подобного не было, снег под ногами визжит, солнце мутно-красно, серебристая пыль, и хочется писать зимние рассказы.

Ей-ей, посидите-ка Вы январь и февраль в Тарусе, буду я ходить к Вам в гости, буду кричать и сморкаться с морозу, топтать валенками, а потом, надевши тулупы, будем ездить мы по гостям и сидеть там у печек и каминов и нюхать, как пахнет с кухни щами. Какая там Ялта! А? Тем более, что Вы поедете весной куда-нибудь в теплые страны — в Италию или Чехословакию.

А я тут написал еще рассказ. Когда-то каждый новый рассказ был для меня событие, а теперь я уже несколько ошарашен их бесконечностью и, как Тригорин в «Чайке», думаю: до каких же пор! Сколько можно!

И я мечтаю, как Федя Поленов! запряжет свою сивку-бурку, наложит в сани сена, мы сядем, запахнемся, подоткнемся, отворотимся от ветра, захрупают подковы, запоют полозья и поедем мы куда-нибудь в дальнюю тульскую деревню, и поночуем в избе, попьем топленого молока, и потом напишем что-нибудь вкусное, как молоко.

Ну — еще раз с Новым годом, и да будет всем нам мир в чловецах и в чем-то там таком благоволение!

Очень я рад, что Вы здоровы и бодры!

Ваш Ю. Казаков

Опубликовано в журнале «Литературное обозрение» (1986, № 8).

¹ Поленов Федор Дмитриевич (1929—2001), внук художника Василия Дмитриевича Поленова (1844—1927), хранитель музея-усадьбы «Поленово», друг Казакова. См. наст. изд., с. 162—163.

18

22 августа 1964. Москва

Дорогой Константин Георгиевич!

Со дня на день все собирался прикатить в Тарусу, повидать Вас и наговориться всласть, да разные мои дела да делишки все препятствуют этому моему благому намерению. Теперь уж не выдержал и пишу.

До меня доходят слухи, что Вы благополучно здравствуете, чему я очень рад. И что даже в Англию собираетесь, правда ли¹?

А я с Женей Евтушенко², как и в прошлом году, месяц провел на Севере. На этот раз мы ходили на зверобойной шхуне на белужий промысел. Забрались далеко — из Архангельска все на север, к Канину Носу, потом мимо острова Колгуева еще дальше на северо-восток, к Новой Земле. Потом прошли мимо о<стро>ва Вайгач, проливом Югорский Шар — в Карское море и там уже занялись смертью и кровью.

Мощное это зрелище, когда в белуху стреляют из винтовки почти в упор разрывной пулей, в голову — и из нее начинает бить фонтан крови толщиной в руку и зеленоватая вода вокруг окрашивается красным. А вдали низкий тундровый, совершенно дикий на сотни километров берег со снежными языками.

Здорово было идти возле Новой Земли почти в сплошных льдах, под солнцем и видеть разных нерп, чаек, уток, морских зайцев. Иногда мы попадали в туман и тогда шхуна наша была окружена радугами. Часто нам сопутствовали миражи — тогда льды на горизонте поднимались столбами, и столбы эти висели в воздухе, не касаясь линии воды.

А потом Амдерма — ужасное место, тусклое и страшное. Представьте себе небольшую реку, впадающую прямо в океан (т. е. без залива), невысокие голые холмы по сторонам и сотни барачков и сборных домиков по берегам, да десяток радиомачт. Два-три судна стоят на якорях напротив устья реки. Вот и весь пейзаж. А в самой Амдерме — ездовые собаки, солдаты да вербовочные.

Нас провожали. Почти половина команды съехала с нами на берег. Мы заняли номер в четыре койки, без стола, с двумя стульями. В магазинах было только шампанское и одеколон. Поэтому комсостав — капитан, старпом, стармех — и мы пили шампанское. Прочие — одеколон, неразбавленный. И произносили длинные красивые речи в нашу честь, и в этих речах были бури и льды, и полярное ночное солнце, и отвага, и чего только в них не было!

С тем мы и отбыли назад в Архангельск. Женя написал десяток стихов, а я вот сейчас сижу и шлепаю последние главы моего «Северного дневника». В конце августа—начале сентября заканчиваю — и с плеч долой! Хватит! Надоел мне Север.

Мечтаю о рыбалке, об охоте и прочих прелестях нашей среднейрусской полосы.

Слышал я, что у Вас есть «Тарусские страницы» на английском. И даже переведенное предисловие. Нельзя ли мне как-нибудь получить это предисловие? У Вас один экземпляр? И потом — напишите, пожалуйста, мне адрес издательства, выпустившего «Страницы». Я им напишу. Денег не платят, так пусть хоть книгу пришлют!

Будьте здоровы, большой привет Татьяне Алексеевне и всем, кто с Вами сейчас. Обнимаю и целую.

Ваш Ю. Казаков

Мой адрес: Москва Г-2, Арбат, 30, кв. 29.

Опубликовано с купюрами в журнале «Литературное обозрение» (1986, № 8).

¹ Осенью 1964 года Паустовский по приглашению издательства «Коллинз» совершил поездку в Англию.

² Евтушенко Евгений Александрович (р. 1933), поэт, прозаик, публицист. В 1951—1954 годах учился в Лит. ин-те.

В. Ф. ПАНОВОЙ

19

11 января 1958. Москва

Дорогая Вера Федоровна!

Спасибо Вам большое за Ваше неожиданное и хорошее письмо. Мне, правда очень хотелось поговорить с вами перед отъездом, да я подумал, что и так утомил вас (вкупе со своими коллегами)¹ и постеснялся прийти.

Сейчас у меня экзамены, время ужасное, все время готовлюсь, только свалю одно, как накидывается и душит другое. В общем, состояние обычное для студента. А страшно хочется писать. Не знаю, но кажется, писать теперь я стану как-то иначе: лучше, строже и серьезней. У меня был большой перерыв, ничего не делал, а только скорбел, изъязвлял свою душу, ругался с врагами и т. д. Думаю, перерыв этот должен пойти мне на пользу, и тогда хоть немного оправдаю я все те хорошие слова, которые сказали Вы на мой счет.

Вера Федоровна! Я свинья, только вчера вдруг вспомнил, что обещал прислать Вам стихи Пастернака², которых, Вы говорили, у Вас нет. Спешу исправиться и посылаю Вам три стиха. «Снег идет» мне нравится чрезвычайно — такой ритм, звук, мысль — боже мой! Хороши и другие два. Странно, почему их не печатают.

Знаете, сейчас все мало-мальски способные, умные ребята очень как-то хандрят. С кем ни поговоришь — сплошной мрак! Конецкий³ был в Москве, заходил ко мне — тоскует... Полуянов⁴ пишет из Архангельска мрачные письма. Девчонки-поэтессы рыдают у меня на груди в фигуральном и прямом смысле. Прямо не знаю, куда приткнуться. И так тяжело, не знаешь порой как быть, а тут еще жару подбавляют.

В Москве у нас было все голо и мерзко, на Новый год — водичка, а последние дни метели «с остервененьем налетели», настающая зима, морозец, хорошо!

До свидания, будьте здоровы!

Ваш Ю. Казаков

Панова Вера Федоровна (1905—1973), прозаик, драматург.
Письма впервые опубликованы в журнале «Звезда» (1990, № 1).

¹ См. наст. изд., с. 77.

О своем отношении к молодым прозаикам тех лет В. Ф. Панова говорила в беседе с критиком А. А. Ниновым: «Мне нравится тонкость письма Риччи Достян. Ее книга „Кто идет?“ прелестна. Достян работает на сравнительно узком материале, но то, о чем она пишет, увидено свежо, точно, по-своему. Удачные книги выпустили Виктор Конецкий, Эдуард Шим, Юрий Казаков. Это даровитые рассказчики, и при серьезном отношении к своему труду, к слову они обещают дать многое. Хочу обратить ваше внимание на рассказы Виктора Голявкина. Он юморист, пишет для детей, и дети уже успели оценить его юмор. Рассказики у него короткие, по страничке, по две, но необыкновенно смешные. Даже не совсем понятно, в чем именно заключается комизм его рассказов, но не смеяться нельзя. Есть у Голявкина рассказ о том, как в комнате передвигали шкаф. Так это целая юмористическая эпопея с самыми неожиданными ее смеш-

ными поворотами мысли. Простейшие вещи он умеет рассмотреть с какой-то присущей им абсурдной стороны. Чтобы так писать, нужно иметь дар Божий... (А. Нинов. Вера Панова. Жизнь. Творчество. Современники. Л., Советский писатель, 1980, с. 13).

² «Музыка», «Снег идет», «После перерыва».

³ Конечский Виктор Викторович (1929—2002), прозаик. См. наст. изд., с. 78—79 и письма 51—62.

⁴ Полуянов Иван Дмитриевич (1926—2008), прозаик, очеркист.

20

1 февраля 1958. Москва

Дорогая Вера Федоровна!

Обстоятельства вынуждают опять писать Вам, хотя Вы и устали от меня.

Дело в том, что наше М<осковское> О<тделение> СП вдруг обнаружило, что я существую на свете, радостно распростерло объятия и готово принять меня в свое лоно, т. е. в члены Союза. Причем я не напоминал им о себе, разрази меня Господь, и у меня нет книжки. Но это им нипочем, они готовы принять меня так, по рассказам, печатавшимся в журналах.

Нужны рекомендации, Вера Федоровна, и — простите! — я сразу вспомнил о Вас... «Непечатные» рассказы мои Вы знаете, но, верно, не читали печатавшихся. Вот они: журн<алы> «Молодая гвардия», № 3, 56 г., «Октябрь», № 6, 57 г., «Москва», № 8, 57 г. и «Знамя», № 8, 57 г.¹

Если же для Вас достаточно тех пяти рассказов, кот<орые> обсуждались на семинаре, то, ради бога, не читайте журналов, мне совестно затруднять Вас лишний раз.

Будьте здоровы, Вера Федоровна, дай Вам бог легкости в работе. Только напрасно Вы себя причисляете к старикам и слаете позиции нам, молодым. (Это я говорю о последнем Вашем письме.) Эти мысли, вероятно, навеяны были смертью Шварца², которого я, кстати, очень люблю, люблю с детства. И совестно Вам прибедняться перед нами, странно было даже читать, честное слово!

И Буниным Вы меня напрасно укорили. Что ж Бунин? Бунин олимпиец, бог — таких как он, у нас на Руси было 3—4 не больше. Но если я обожествляю Бунина, то это вовсе не значит, что я слеп и глух к остальному. Я многих люблю, я и Вас люблю, Вера Федоровна, и над Вашим «Сережей» я слезу пустил и загрустил и решил бросить писать, что со мной всегда бывает, когда прочту что-нибудь великолепное. Вот так!

И насчет XX века Вы, извините меня, не правы. У нас может стоять в глуши ракетная космическая установка, и — попади туда, подумаешь сон, фантазия. И тут же рядом в деревне бабы пьяные дерутся, и это увы, увы, не фантазия. Мы считаем, что Горький — святая правда. Однако Горький хотел и мог писать о пьяной бабе, т. к. пьяная баба была ему противна, больна, она разрушала его представление о женщине. Тогда был XIX век, скажете Вы! Но ведь и тогда были успехи громадные и тогда Горькому могли сказать — смотрите, у нас строятся заводы, шахты, ж<елезные> дороги и т. п., у нас прогресс в науке, у нас век великих открытий, а Вы пишете о бабе... Ну пишете наконец, но скажите же и о положительном! Иначе клевета выходит. Ведь Россия не только баба, Россия это и Толстой, и Шалапин, и МХАТ, и то и се...

Вот это, примерно, говорят нам. А м. б., теперешним писателям больней, когда в наш век и вдруг — тоже эта баба.

Знаете, меня очень ударил однажды факт засеивания колхозных полей из лукошка. Это было в Кировской области в 50 году³ в год укрупнения колхозов, в год, когда все критики и публицисты писали о переходе к коммунизму, когда у Корнейчука⁴ конфликтовали председатели колхозов социалистического и коммунистического. Скажите, разве не надо было честному писателю возопить: братцы! Какой же коммунизм, когда лукошко! — пусть даже лукошко это было последним в России. Однако же не вопили писатели об этом... Интересно: Горький всячески восхвалял в 30-е годы сов<етский> строй. Но восхвалял в статьях, а вот рассказа настоящего не написал об этом же. Рука не поднялась верно?

Простите, что так пространно пишу я Вам об этом, но я понял вас так, что Бунин изображал XIX век, а коль скоро я последователь этого Бунина, то значит и я погряз где-то в прошлом веке. Не знаю, прав ли я, но думаю — вся наша беда в том, что совр<еменную> литературу лишают такого качества как обобщение. Нам нельзя обобщать! За нашими героями не могут стоять тысячи и миллионы героев, как это было в старой литературе. Гончаров написал «Обломова». Добролюбов вывел термин «обломовщина». Правы ли они? И да, и нет. Отнюдь не вся Россия состояла из Обломовых, как это показали Гончаров и Добролюбов. Однако умные люди сделали вывод: мы обломовы — и следствие: надо просыпаться.

А теперь? Если Вы создадите образ или тип, или характер героя положительного, обобщите его, Вам скажут: правильно. Но стоит Вам с такой же силой написать героя отрицательного, скажут: клевета! А спутник? Вот тут и попробуйте «отображать». Види-

те, как затянулось мое прощание с Вами. Еще раз будьте здоровы и счастливы и, несмотря на эти мои, м. б., неверные высказывания, рекомендацию мне все же дайте, очень Вас прошу. Я когда-нибудь исправлюсь, честное слово! И не уступайте никому своего места. Его у Вас может взять женщина более талантливая, чем Вы, а пока таковой у нас на Руси нет, верьте моему слову.

Ваш *Ю. Казаков*.

Р. С. Кстати, где же Вы будете печатать Ваш «Сентиментальный роман»? Закс клянется, что в «Н<овом> мире»⁵, «Октябрь» — что у него, «Знамя» — тоже... Так где же?

¹ В «Молодой гвардии» (1956, № 3) печатались рассказы «На полустанке», «Некрасивая», «Странник»; в «Октябре» (1957, № 6) — «Голубое и зеленое»; в «Москве» (1957, № 8) — «Арктур — гончий пес»; в «Знамени» (1957, № 8) — «Никишкины тайны».

² Шварц Евгений Львович (1896—1958), драматург.

³ См. наст. изд., с. 94.

⁴ Корнейчук Александр Евдокимович (1905—1972), драматург, академик АН СССР, член ЦК КПСС (с 1952).

⁵ «Сентиментальный роман» опубликован в журнале «Новый мир» (1958, №№ 10—11).

Закс Борис Германович (1908—1998), ответственный секретарь «Нового мира» (1958—1966).

21

10 апреля 1958. Москва

Здравствуйте, дорогая Вера Федоровна!

Большое спасибо Вам за рекомендацию! Если бы знали Вы, как приятно мне было ее отдавать и как стыдно, что я Вас тотчас же не поблагодарил — свинья несчастная!

Но, голубушка, Вера Федоровна, было у меня время мрачного пессимизма, и куда уж там было писать! Теперь это все прошло, опять я способен на добрые чувства и на что хотите.

Надеюсь, Вы не приняли близко к сердцу выпад, кот<орый> сделала «Литературка» против Вас в связи с Чубаковой¹?

18-го состоится защита моя диплома в институте. Оппоненты: Н. Замошкин, Пospelов, Исбах и Панков². Панков этот мой рок и фатум, и нет мне от него никакого спасения. Ну, а я спокоен, помня Ваши наставления. И потом за последнее время я вдруг разошелся и написал пять новых рассказов. Работал я в Дубултах. Там чудесно, и если Вам захочется хорошо поработать, поезжайте

туда! Особенно хороши там месяцы февраль и март. Много солнца, слабый морозец, какая-то во всем отрешенная иностранность, и крутом все латыши, которые держатся особняком, в знакомство не лезут и, следовательно, не мешают.

Посылаю Вам для соблазна открытку со Старой Ригой.

Будьте здоровы, дорогая Вера Федоровна, не поминайте меня лихом. А я буду Вам писать (очень редко!).

Ваш Ю. Казаков

¹ Чубакова Вера Сергеевна (1922—1992), прозаик. В «Литературной газете» 8 февраля 1958 года напечатали весьма положительную рецензию Ивана Стаднюка на повесть В. Чубаковой «Моя весна» («Нева», 1957, № 12) и там же поместили провокационную врезку «От редакции», где, в частности, говорилось: «...на Всероссийском семинаре молодых прозаиков в Ленинграде, где руководителями были В. Панова, В. Фоменко, П. Далецкий и Н. Емельянова, в ходе обсуждения творчества В. Чубаковой наряду с верными замечаниями была вынесена, как о том свидетельствует запись в протоколе, ошибочная общая оценка ее работы... Характеризуя повесть В. Чубаковой, В. Панова сказала, что это мрачнейшее, неприятнейшее изображение нашей жизни; герои повести показались В. Пановой убогими, серыми, она не нашла в произведении „ни ума, ни мысли“. Такой уничтожающий отзыв был поддержан отдельными молодыми литераторами (Р. Достян, Ю. Казаковым)...»

² Замошкин Н. И. См. письмо 1 и наст. изд., с. 74. Поспелов Геннадий Николаевич (1899—1992), литературовед, профессор МГУ. Исбах Александр (Бахрах Исаак Абрамович) (1904—1977), поэт, прозаик. Панков Виктор Ксенофонтович (1920—1975), прозаик, литературовед.

22

7 июня 1958. Москва

Дорогая Вера Федоровна!

Поздравляю Вас с летом, с белыми ночами, с теплом и окончанием романа. Я слышал, Вы его кончили и отдаете в «Новый мир».

Дай-то бог, чтоб его хорошо приняли, чтобы не насели на него панковы. Впрочем, читатель до того уж Вас знает и верит, что чем пуще Вас будут ругать, тем большей любовью Вы будете пользоваться у всех.

А я кончаю институт и все никак не кончу. Диплом защитил на тройку. Панков, Исбах и Лаптев¹ все-таки упекли меня и поставили низкую отметку. В Союз меня еще не приняли — приемная комиссия самораспустилась на каникулы. Будут принимать осенью.

Я слышал, Вы в разговорах очень меня хвалите. Можете себе представить, как радостно мне это и как волнует! Спасибо Вам, милая Вера Федоровна!

Посылаю Вам свою книжку.²

Будьте здоровы, всяческих вам успехов и радостей!

Ваш Ю. Казаков

¹ Лаптев Юрий Григорьевич (1903—1984), прозаик, преподаватель Лит. ин-та.

² Книгу «Тедди» Казаков надписал: «Дорогой Вере Федоровне — любимому художнику и наставнику. Ю. Казаков. 5. VI. 58».

23

2 января 1959. Москва

Дорогая Вера Федоровна!

Поздравляю Вас с Новым годом, желаю в этом году Вам еще больших радостей, большей славы, здоровья, бодрости и т. п. приятных вещей, словом, всего того, что нужно такой прекрасной женщине и писательнице, какой являетесь Вы!

Верьте, что эти слова мои не просто от вежливости сказаны, и что я Вас очень хотел видеть. Кстати, Н<овый> год встречал я в Комарове, часов в 5 утра шел на станцию, забрел в Дом творчества, хотел увидеть Вас, но Вы, конечно, давно ушли к себе и я печально побрел дальше...

Вера Федоровна! У меня к Вам есть поручение. Приехал я сюда от «Огонька», буду, наверно, писать рассказ о Лермонтове¹, и в «Огоньке», узнав, что Вы взялись за рассказы (это я сказал им — извините, если я не к месту сказал) — очень просили у Вас рассказа. Н. Н. Кружков (зав. отделом)² кланялся и просил выручить, т. к. у них плохо с рассказами.

Если у Вас окажется рассказ и если Вы верите в «Огонек» — шлите им его.

Кроме того, Вам передает привет и извинения Н. Емельянова³. Она хотела принять Вас с «московским радушием» (ее слова), но не пришлось, о чем она сожалеет.

Наконец поклон и новогодние поздравления Вам от Володи Бжезовского⁴.

Вот и все. Вам, наверно, чудно работается — Комарово место очень хорошее. Но еще лучше в Доме композиторов, у них там по коттеджу на брата — просто болезненная роскошь! А я так хотел

видеть Вас еще в Москве и проводить, но заболел. Что-то у меня с сердцем вышло, я понервничал: прислали мне сверку со страшными иллюстрациями, — совершенно халтурными и гнусными, я задрожал, отказался печатать книгу с такими рисунками, наделал переполоху в издательстве, и свалился. Думал помру, но отошел и ничего. Зато рисунки сняли⁵!

Последняя московская новость (хотя, м. б., Вы ее уже знаете): Кочетова⁶ снимают, редактором «Литературки» будет Б. Полевой⁷. Так говорят, во всяком случае, а там бог их знает!

Всего доброго, Вера Федоровна! Не забудьте, пожалуйста, подарить мне свою книгу, когда выйдет — Вы обещали.

Будьте здоровы!

Ваш Ю. Казаков.

¹ Рассказ «Звон брегета» напечатан в газете «Московский комсомолец» (1960, 15 сентября).

² Кружков Николай Николаевич, очеркист.

³ Емельянова Нина Александровна, прозаик.

⁴ Бжезовский Владимир Викентьевич, прозаик, переводчик.

⁵ Речь идет, вероятно, о книге «На полустанке» (1959).

⁶ Кочетов Всеволод Анисимович (1912—1973), прозаик, главный редактор «Литературной газеты» (1955—1959), в марте 1959 года его на этом посту сменил Сергей Сергеевич Смирнов (1915—1976), прозаик, автор известной книги «Брестская крепость» (1957).

⁷ Полевой Борис Николаевич (1908—1981), прозаик, главный редактор журнала «Юность» (1962—1981).

24

6 марта 1959. Москва

Дорогая Вера Федоровна!

Примите мои самые искренние и сентиментальные поздравления!

Когда женщины затыкают за пояс мужчин в творчестве — они могут радостно праздновать 8 марта!

Желаю Вам большого счастья, удачи в литературе и здоровья. Скоро пришлю Вам свою книжку¹ и напишу подробно.

Всего доброго!

Ваш Ю. Казаков

P. S. На днях уезжаю в Дубулты.

¹ См. письмо 25.

11 марта 1959. Дубулты

Здравствуйте, дорогая Вера Федоровна!

Я долго не писал Вам, хотя и получил книгу, но не отвечал сознательно и вот почему. Со дня на день я ждал выхода своей книжки в Москве, и мне хотелось к своему письму присовокупить и книжку.

Но поворотливость наших издательств Вам известна — книжки я не дождался, махнул на нее рукой, собрался в Дубулты, как вдруг получил накануне отъезда, но не московскую, а из Архангельска. Ее я Вам и посылаю¹. Во-первых, московская книжка мало отличается от этой по содержанию, во-вторых, ту легче достать, а эта в некотором роде уникальное издание...

Вот. Читайте и судите об успехах Вашего подопечного члена СП.

Ваша книга чудесная²! Хорошо издана и быстро. Сам роман мне понравился чрезвычайно — композиция, язык — все преотменно! Большое спасибо, я очень рад, что Вы не забыли меня отметить таким дорогим подарком.

Есть у меня и замечания по роману, вернее одно замечание, на мой взгляд — существенное. Касается оно романа в целом, т. е. его законченности. Но я не буду сейчас писать: это трудно, субъективно и почти не доказуемо. Лучше поговорить как-нибудь при встрече об этом. Кроме того очень подозреваю, что Вы наслушались стольких мнений о своем романе, что мнение еще одного читателя не столь уж важно для Вас. Тем более, что роман издан и изменен, по-видимому, быть не может.

Я рекомендован на семинар рассказчиков, кот<орый>состоится в апреле³. А в списке руководителей семинара я видел Ваше имя. Если Вы не будете возражать, я очень хотел бы опять заниматься у Вас.

В Дубултах земля обнажилась. Белки валяются на дорожках. Солнце светит. А земля еще не оттаяла. И не поймешь — не то весна, не то осень. Что-то противоестественное.

Мне было очень плохо весь прошлый год — даже ужасно. Но все ничего — вытерпел. И понял наконец причину Вашего спокойствия и своей нервности. Я Вам ее расскажу, если увидимся в апреле — Вы удивитесь.

Как Вы довольны своим портретом в «Октябре»⁴?

Мне даже писать Вам страшно, ей-богу! Но все равно я Вас люблю и даже не стыжусь в этом признаться. Мало у нас настоящих поэтов в литературе, и тем дороже настоящие.

А как у Вас получаются рассказы? Вы не покажете мне их в рукописи? Или Вы не показываете?

Будьте здоровы! Всего Вам доброго, дай бог Вам здоровья!

Ваш Ю. Казаков

¹ Казаков послал В. Ф. Пановой книгу «Манька» (1958) с надписью: «Дорогой Вере Федоровне Пановой — с благодарностью от ученика и «крестника». Ю. Казаков. 11. III. 59». Сборник рассказов «На полустанке» (1959), вышедший в Москве, он выслал ей несколько позже, надпись: «Вере Федоровне Пановой — с любовью и благодарностью за все сделанное в литературе и автору этой книжки. Ю. Казаков. Май 1959 г.»

² «Сентиментальный роман».

³ Всероссийский семинар молодых прозаиков состоялся в Малеевке в мае 1959 г.

⁴ Литературный портрет «Вера Панова», принадлежавший З. Богуславской, был напечатан в № 2 журнала «Октябрь» за 1959 год.

26

23 ноября 1959. Малеевка

Дорогая Вера Федоровна, поздравляю Вас с прекрасными рассказами¹. Они прямо-таки великолепны, ей-богу, и они бесспорны, т. е. цельны. От них круглое впечатление, душа не саднит, никакой нет неудовлетворенности. Это очень чувствуется, это чувствовалось в «Сен<т>иментальном» романе», но там как раз была какая-то неудовлетворенность, никто не мог попасть в точку, все говорили разное, но все как-то поеживались, а тут все в один голос: превосходно!

Я очень рад Вам об этом сказать, так как, — простите, — Вашу победу считаю и своей победой, вообще победой всего талантливого, что у нас есть.

Оба рассказа без конца, один переливается в другой, и я подумал даже, что не будет ли это просто повесть, когда весь цикл закончится в последнем рассказе, все развяжется и разъяснится. Но это ведь и не столь важно — повесть, рассказы, — пусть критики подыскивают название жанра, важно, что это настоящая проза.

Очень пахнуло войной. Я в Москве был всю войну и уверен, что война в огромном городе имеет особенный привкус, особенную страшность, потому что, когда миллионы людей катастрофически падают из нормальной жизни в ненормальную, это что-то более гнетущее, чем взрывы бомб и снарядов в поле, в лесу, по деревням, словом — война пространственная. Да, когда большой

город погружается во тьму, а дети в муках сравниваются со взрослыми, это потрясает.

Живу я сейчас в Малеевке, пишу для «Костра» рассказ², очень как-то трудно, манера у меня в этом рассказе сказовая, нельзя с тона сбиваться, бросил бы, да аванс взят, надо расплачиваться.

Всего доброго, большой привет Д<авиду> Я<ковлевичу>³.

Ю. Казаков

¹ «Валя» и «Володя» («Октябрь», 1959, № 10).

² Рассказ «Розовые туфли» (под названием «Чудесные мастера») напечатан в журнале «Костер» (1960, № 3).

³ Дар Давид Яковлевич (1910—1980), журналист, прозаик, муж В. Ф. Пановой.

Л. В. НИКУЛИНУ

27

18 июля 1959. Москва

Уважаемый Лев Вениаминович!

Пишу Вам как человеку долго занимавшемуся Чеховым, как человеку, понимающему, что такое русская культура и ее история для нас.

Молодой ленинградский писатель Виктор Конецкий¹ написал рассказ о Чехове. Скажу Вам прямо — среди современных молодых писателей нет такого, который бы вызывал у меня зависть. Но этот рассказ написан так пронзительно-поэтически, что мне до тоски жалко стало, почему не я его написал. Есть такие великолепные вещи, о которых нельзя без зависти думать.

Содержание рассказа — мелиховский период, любовь к Лике Мизиновой, написание «Чайки», провал этой чайки в Петербурге, и петербургская ночь Чехова, когда, помните, он пропал где-то, а утром уехал. Момент в жизни Чехова важнейший! Вы знаете, как мы беспомощны обычно, когда пишем, как человек поет, или играет, или сочиняет стихи. Сплошной штамп и выпренность! «Звуки рвались ввысь». А Конецкий сделал процесс писания «Чайки» так, будто я сам пишу — прелесть! Точно и внятно.

Пишу я Вам затем, чтобы Вы помогли Конецкому. Рассказы такого рода необычайно трудно пробить в свет, знаю это по собственному опыту.

Помогите ему практически, пожалуйста! Вы старый писатель и авось Вас послушают. Сделайте божескую милость! Нельзя пропадать таким вещам. Да и о Конечком надо подумать — он-то писал эту вещь трудно, я знаю, и если она света не увидит, это ему подобьет крылья.

Адрес его: Ленинград, канал Круштейна, 9, кв. 19. И. О. — Виктор Викторович.

Напишите ему, он Вам пришлет рассказ. У меня есть экземпляр, да взял его один поэт, а теперь уехал.

Будьте здоровы!

С уважением Ю. Казаков

Никулин Лев Вениаминович (1891—1967), прозаик, драматург, эссеист. Письмо опубликовано в журнале «Звезда» (1990, № 1).

¹ См. письма 51—62 и наст. изд., с. 78—79. Рассказ «Две осени» впервые был напечатан в книге Конечкого «Камни под водой» (Л., 1959). В 1989 году в мемуарах «Некоторым образом драма: непутевые заметки, письма» Конечкий вспоминал: «С Никулиным я лично знаком не был. Ему попался рассказ „Две осени“, и старый, маститый писатель отозвался хвалебным письмом, в котором только одно было замечание. Никулин просил не идеализировать Лику Мизинову, ибо она „покуривала и попивала водочку тайком и даже в вагоне поезда“. Учитывать такое замечание я не стал, хотя Никулин родился в 1891 году, долго жила за границей и был автором книги литературных портретов „Чехов. Бунин. Куприн“. В 1963 году он напечатал биографические книги „Федор Шаляпин“ и „Тухачевский“...» И далее Конечкий цитирует статью А. Ваксберга о генеральном прокуроре СССР А. Я. Вышинском («Литературная газета», 27. 01. 88): «В общий хор включились и мастера слова. Меньше всего я хочу из нашего сегодняшнего далека упрекать тех, кто волею судьбы тогда оказался внутри разбушевавшейся стихии. Да, многие (даже честнейшие) присоединили свои голоса к тем, кто „полностью одобрял“, клеймил и хулил. Но сразу выделяются те, кто с восторгом принял лексику прокурора, торопясь стать первым учеником, выделиться в поиске оскорблений похлеще, лягнуть побольнее, надругаться глумливо над уже мертвым. „Звероподобная мерзость“, — вторил Вышинскому Лев Никулин. О Бухарине — он же: „комедиант“, „юродствующий прохвост“, „трясущаяся бородка“, „дрезбжащий тенорок“...» И Конечкий добавляет: «Повезло Льву Вениаминовичу — умер в 1967-м».

Т. А. ЖИРМУНСКОЙ

28

15 ноября 1957

Как нехорошо! Ай-яй-яй...

Я сперва глаза вылупил, не понял, что от тебя записка, передала Майка, я думал — от нее. Читаю, судорожно вспоминаю, может быть я ей когда-то объяснился в любви, а она только теперь среагировала? Потом все-таки уразумел автора, а, уразумев, крикнул.

Разве можно такие вещи делать? А если бы я поверил тому, что ты написала — какой ужас! Человек я нервный, фаталист, мне работать надо, я сейчас пишу мистический рассказ¹, там любовь и смерть, внезапные, как взгляд вора, такое напряжение, такая мука, я рад страшно, что спокоен, а тут ты такое пишешь.

И вообще, если я хороший человек, как ты говоришь, меня разыгрывать не надо, о боли своей так говорить не следует. Я знаю, что тебе больно, знаю, почему больно, т. е. думаю, уверен, что знаю. Черт вас всех возьми! Мог бы я — всем вам счастье и радость на веки веков преподнес бы на блюдечке, столько на свете развелось страждущих душ, хоть богадельню для них открывай. А что я могу? Пляжу только, понимаю... Единственная радость моя, могу как-то выразить, зацепить то с одного, то с другого края да и то слабо, и одно теперь желание: лучше, лучше! А лучше-то, знаешь, кусается, тяжело, мозги выворачиваются, хорошо, здоров я от природы, так уж рассыпался наполовину только, еще держусь, был бы послабее (вроде Симоненка), давно бы кровью плевал, так тружусь и томлюсь. А с другой стороны — на кой мне все это? Чужие страдания и т. п. Наплевать мне на них! Так вот и валишься то на один бок, то на другой.

Впрочем, все это мур, а вот скоро Н. Першин² будет читать мое «Голуб<ое> и зел<еное>». Читать будет и романсы петь по ходу действия, трио будет играть Чайковского, Рахманинова, чудно, я уж сам себе не верю. Пришел ко мне хлюст какой-то, начал очаровывать, то, сё — говорит, вы да мы... оказалось — какой-то Гришин. Набрал рассказов у меня, дает теперь своим ученикам, те на память зубрят и скоро по Москве пойдут литературно-танцевальные вечера из моих вещей. Каково? Небось завидно? То-то! А вот жалко мне одного: разучился играть, так вообще могу, но техники прежней нету, а то бы сыграл в трио. У Чайковского изумительное

трио есть «На смерть великого артиста» (Вернее «Памяти великого артиста»), знаешь? Мне часто во сне снится, что я играю. Пронсусь, так жалко. Я, может, если б занимался, каким музыкантом был бы!

Мне в институте скучно что-то. Скоро в Ленинград уеду, на две недели, уж там я поброжу! Слушайте себе тут Зарбаова¹, а я в Ленинграде буду пьянствовать от восторга какой город! Какие стихи я написал о нем, ого-го!

И вот уж вздыблен мост,
Застыл, воздевши руки,
В трагически актерском жесте,
Как царь толпы и будней жизни раб...

Это кусочек моего большого стиха «Грядущее возмездие». Катка читала, отдала назад вся красная, ничего не сказала, убил я ее своей гениальностью.

Поедем в Ленинград? На ленинградских поэтов с презрением бы посмотрели...

Ну, пока. И не думай, что я тебе серьезно пишу, так я это, дурачусь, у меня сегодня рассказ немножко захряс, а я, когда захряснет, письма пишу, вот и тебе написал, благо причина есть, без причины не напишешь. Будь здорова и не кашляй. В понедельник можешь в последний раз полюбоваться мной, во вторник уеду. А Коринец-то! В Ялте кейфует, подлец! Я знаю теперь, только что подумал: ты его любишь! Недаром летом такое письмо ему написала. Мне небось не написала. Но я прощаю тебя и все равно люблю!

Ю. Казаков

Жирмунская Тамара Александровна (р. 1936), поэтесса (сб. стихов «Район моей любви», 1962; «Забота», 1968; «Грибное место», 1974; «Нрав», 1988, «Праздник», 1993 и др.), переводчица. Автор воспоминаний «Мы — счастливые люди!» (1995), кн.: «Ум ищет Божество» (2006), «Я — сын эфир, Человек» (2009). Член русского ПЕН-центра. Живет в Мюнхене.

Письма печатаются по машинописным копиям с автографов. Используются примечания Т. А. Жирмунской к публикации в журнале «Литературное обозрение» (1986, № 8).

Опубликовано в Собр. соч., т. 3, с. 369—370.

¹ Рассказ «Пропасть». См. наст. изд., с. 78—79, 177—178 и письмо 29.

² Першин Николай Федорович (1902—1962), артист эстрады, мастер художественного слова.

³ Зарбаов Михаил Николаевич, кандидат философских наук, преподаватель марксизма-ленинизма в Лит. ин-те.

22 марта 1958. Дубулты

Здравствуй Цапля! Сегодня день весеннего солнцестояния! Поэтому настроение у меня прекрасное и я даже побрился. Еще я постригся и голова моя теперь — как бильярдный шар — отражает солнце и празднует весну света. Еще сегодня твой день рождения, и это тоже немножко влияет на мое настроение. Но только чуть-чуть. А главное, конечно, то, что я сегодня закончил новый (пятый по счету!) рассказ. Ты даже сообразить не можешь, о чем я в нем пишу. Я и сам не знал ничуть. А было так. Есть тут один парень не лишенный элементарного чувства красивого. Однажды, когда мы с ним гуляли, он сказал: «Здорово здесь! Домики чудные, так и ждешь, что из домика покажется тролль и заиграет на серебряной флейте». Так эти тролли и запали мне в душу. А дня три назад я пошел к морю и забрел в прелестный уголок — огромные пустые участки и заколоченные дачи. На одной из них к стене прибиты олени рога (снаружи). Домой я пришел уже обалдевшим, с мыслью писать рассказ о девочке и троллях. И в два дня накатал его. Называется «Девочка и тролли»¹, но это пока условно, м. б. придумается лучше. Я его перепишу еще раза два и пошлю в Москву на радио. И если там не будут идиотами и хлюстами — недели через две я буду лежать на диване, дрыгать ногами и слушать свой рассказ. Музыка будет Грига!

Кроме этого я еще наваял 4 рассказа, один из которых, правда, посмертный (о Ленинграде, пьянице, дикой любви, белых ночах, подъемах мостов и смерти в конце — как вопль рока в симфонии Чайковского — внезапный и страшный)². Вообще я здесь опозитизировался, живу ловко, о вас, чертях, не скучаю, и Москва — вещь для меня вовсе необязательная. О том как я пишу, т. е. о качестве написанного можешь судить по моим прежним вещам. Но теперешние — лучше. Доказательство тому, тот факт, что ленинградский критик Штейман³, прочтя мой рассказ, стал рыдать и просить его у меня для «Звезды». Но я сказал: накося, выкуси! Ведь меня ждут «Знамя», «Октябрь», «Огонек», «Москва» и пр. журналы, которым я и раздам свои вещи по приезду.

Вообще же тут весна, причем не то что в Москве, т. е. я могу видеть настоящую весну. И как бы хорошо, если б она длилась долго, и я мог бы долго отсюда не уезжать.

Итак, тебе пошел 23-й год? Ах, ах! Старуха ты! А мне пошел с этой весны 29-й — я теперь буду расти назад к 18 годам. Ты вый-

дешь замуж, состаришься и страшно располнеешь, а я все буду холостой, все буду праздновать весну и свободу и писать мистерии.

Больше я тебе писать ничего не буду — нечего. Жизни здесь никакой — спишь, встаешь, завтракаешь, работаешь и шляешься. Событий нет. Самые важные события те, что я наконец пробудился от спячки и стал работать. Талантливых писателей здесь тоже нет — одна вшивота и хлюсты. Один я тут и немного скучно. Удовлетворить мою эстетическую душу можно только коньяком, да я не пью, не с кем. Ну, будь здорова, напиши мне об институтских делах, кто защитил уже и скоро ли у тебя защита. Вернусь в Москву я к 8—10 апреля. Окончив этот рассказ, возьмусь за пиратскую повесть⁴. Письмо посылай авиапочтой. Если ты защитишь до моего приезда, телеграфируй — как?

Ю. Казаков

Я выпил сегодня за твое здоровье сто граммов рому. Тут продается ром. Я выпил его и почувствовал себя пиратом.

Опубликовано в Собр. соч., т. 3, с. 371—372.

¹ См. письмо 9.

² Рассказ «Пропасть», впервые опубликован в журнале «Смена» (1986, № 7). См. письмо 28.

³ См. письмо 7.

⁴ См. письмо 6.

24 апреля 1958. Таруса

С горячим приветом к Вам пишет Вам, дорогой и уважаемый тов. консультант¹, неизвестный Вам начинающий писатель. Вы меня, правда, не знаете, но скоро узнаете путем переписки.

Я интересуюсь, тов. консультант, знать, каковы Ваши успехи на боевом и трудном фронте нашей советской литературы, а также, если не секрет, и в жизни.

Сообщаю Вам, что живу я в Поленове на берегу Оки и скоро поплыву вверх по течению, а до сего время не плыву — не пускает уважаемая причина — погода. Очень тусклая погода, как в октябре, и дожди. А еще сообщаю, что Поленово прямо до невозможности поэтичный уголок и жить там очень до невозможности хорошо, но домов нет вообще, не только продажных, а земля не продается, так как заповедник.

Еще сообщаю, что был я у Паустовского, в его доме: дом тоже хорош и чудной, но со мной нахально поперся Коринец, и поговорить с Паустовским не пришлось — говорили все на общие темы, т. как я человек скрытный.

Товарищ консультант! Я надеюсь, Вы поймете мои устремления насчет жизни и литературы, а также мои настроения.

Больше писать нечего. Извините. Я надеюсь, что Вы откликнитесь на это мое, может быть, не поэтическое, но зато от всей души письмо и пришлете мне ответ по такому адресу: г. Таруса, Калужской обл., почта, до востребования.

Получили ли Вы рассказы из «Работницы» и мое фото? Насчет фото: пусть этот мертвый отпечаток напомнит образ мой живой.

До свидания и, может, до скорого, уважаемый тов. консультант тов. Жирмунская!

К сему Ю. Казаков.

Письмо не публиковалось.

¹ В 1958 году Жирмунская работала в военной газете «На боевом посту».

31

4 июля 1958. Москва

О, истомленная Тома!

Эту фразу я написал, чтобы ты спокойно и радостно читала дальше и не думала, что это письмо мое — последнее.

Но оно будет последнее, если ты не приедешь. Даже смерть не должна тебя остановить — пусть приедет твой дух (который, я уверен, будет темный по цвету).

Сегодня была у меня красавица, а я — о, дурище! — играл перед ней роль спокойного человека, слишком увлеченного лит<ерату>рой, чтобы обращать внимание на ее губы, глаза, ресницы и проч. Я ее угостил вином и легким разговором, я наговорил на пленку 200 слов, но не поцеловал ее ни разу — червонную даму, а не пленку — вот святой Христос! — и она ушла разочарованной. Пойми, из-за тебя я опозорил русскую лит<ерату>ру, ибо передо мной все время торчало твое лицо, а оно мне надоело, замечу в скобках. Тмархен! Мамаша! Что мне за это будет? Нет, не дож-

даться мне от тебя милости, ибо нет ничего хуже женщины окончившей литинститут, да еще с отличием.

Слушай, несчастная, ты хочешь, чтобы я тебя бросил? Ты хочешь, чтобы я, бросив тебя, один поднимался к вершинам зажиточной жизни? Ну что ж! Я буду жить один, писать и печататься. Я буду получать много денег, уеду в Латвию, куплю себе виллу в Яундубултах, женюсь на латышке и буду принимать гостей — англичан и прочих шведов. У меня будет камин, бочка рому и тролли на чердаке. А когда ты, старая, некрасивая, обуянная горем, придешь ко мне, я приму тебя, грустно улыбнусь, угощу ромом и уйду работать в кабинет. А ты пойдешь и утопишься в море. И рыбаки выловят твой старый, некрасивый труп и похоронят ради бога.

Если ты всего этого хочешь, — можешь не приезжать в воскресенье в Семхоз.

Если же ты хочешь другой жизни, то приезжай, я тебя буду ждать на сосновой платформе, на той самой, где я когда-то целовался с Лилей в первый раз <...>

Опубликовано в книге Т. А. Жирмунской «Мы — счастливые люди» (М., 1995), с. 213—214.

32

18 июля 1958. Ленинград

Милая, добрая Тamarхен!

Я в Питере, со мной машинка, наброски «Старого дома»¹, материалы по Лермонтову (знаешь ли, что я хочу писать о Лермонтове^{2?}), я живу в отдельной комнате окном на канал³, и мне не пишется что-то. «Мне не спится, не ложится...» Зачем же я уехал, будто кто-то вдруг погнал меня из Москвы? Я хожу по Питеру (здесь так называют Л<енингра>д), и опять восторги, но не те, что были в прошлом году — более глухие, пережитые... Все было, было уже... И потом эти частые радиопередачи о положении в Ливане⁴: все это мало располагает к спокойствию духа.

Здесь еще белые ночи, но уж нет блистания, а полумрак, очень слабый ночной свет.

Думаешь ли ты обо мне? Я скоро уеду отсюда, не знаю только куда — в Псковскую обл. сначала или прямо на Север, на пароходе. Мне хочется почему-то смутиться духом, попечалиться в одиночестве. Я делаюсь в эти минуты лучше, знаешь, такой маленький

Юрочка, неизвестно когда родившийся, едет по белу свету, смотрит и поражается его счастьем и грусти, и многим жизням и вечному, и мгновенному...

Я сейчас подумал, что как, в сущности, люблю я людей и как не могу без них и что если даже не люблю, ненавижу, то все равно из-за любви к ним. Значит, как же несправедливы ругающие меня и как, верно, долго мне терпеть все это.

Только что слушал Югославию: идет высадка английских войск в Иорданию, продолжается высадка американцев в Ливан. Словом, повторяется прошлогодняя египетская история, а кончится ли она мирно или нам всем придется поплакать — бог весть.

Пойду сейчас опускать тебе это письмо и бродить по городу. Все меня смущает, чего мне надо — не знаю, знаю только, что где-то есть ты, и если у нас будет все хорошо, когда-нибудь вернусь к тебе, как бумеранг. (Хотел написать: как свет возвращается к звезде — неверно; хотел написать: как сын к матери — слишком высокомерно; и остановился на бумеранге. Пусть я буду бумерангом. Пусть я буду пчелой, приносящей тебе мед мира и любви. И пусть я никогда не ужалю твою благотворящую руку.)

Я вспомнил сейчас запах твоей кожи и вкус твоих губ. И странно, как иногда бываешь ничтожен перед происходящим на земле, как остро и горько чувствуешь это, что ты мизерабль. Но зато и не существует же весь остальной мир, кроме вздоха любимой женщины, и только она и ты, а другое — необязательные пустяки. Весь секрет в том, — надолго ли? Хорошо бы — надолго, навсегда...

Если хочешь написать мне, пиши не откладывая. А то я могу уехать и не получить твоего письма. Я перечел сейчас свое письмо, вижу, что оно получилось грустным, но не буду переписывать. Ты же не особенно думай над тем, что оно грустно, а что я скучаю по тебе. Грусть же тяжка и требует сочувствия тогда только, когда она вызвана внешними тяжелыми причинами. Если же она внутрененна, то это не страшно, пройдет, как — помнишь? — прошли Азорские острова.

Ну будь здорова, не скучай и пиши сказки. Пришли, если хочешь, хоть одно свое стихотворение. Я буду ходить и бормотать его.

18 (?) июля 58 г. (Не уверен, что сегодня 18-е)

Ю. Казаков

¹ Набросок «Старый дом» напечатан в сборнике «Две ночи» (1986).

² «Звон брегета». См. наст. изд., с. 88—89 и письмо 10.

³ Квартира Конецкого. См. наст. изд., с. 79.

⁴ В 1958 году США ввели войска в Ливан.

33

21 июля 1958. Ленинград

Здравствуй, Тамара.

Я провел здесь два неприятных дня. Как я и ожидал, дело с Ливаном осложнилось и когда я услышал по радио ультимативное послание Эйзенхауэру, то совсем расстроился. Я стал думать о войне, о том, каким ничтожным станет всякий из нас в этом вихре, о том, какие страдания придется всем нам пережить и то, что я делаю сейчас, стало вдруг таким мерзким и маленьким, и ненужным. Так я страдал в одиночестве, пока не устал, подумав: что миру, то и бабушкиному сыну.. И тут я получил твое письмо. Оно так мило, написано из такого прекрасного далека, так защемило у меня сердце.

Панову¹ я видел в Доме кино на просмотре американской картины. Она сказала: «Юрий Павлович, вас еще не приняли в Союз?» — «Нет», — отвечал я проникновенным голосом. «Ну, до свидания, Юрий Павлович, рада была вас повидать...» — «До свидания», — отвечал я.

Она была рыжая, эта Панова, лицо ее было смутло насурьмлено, руки ее были в черных прозрачных перчатках.

Я был высок и бледен от сознания значительности слов, сказанных ею. Долго после этого, шагая уже по Невскому, вздыхал я и задумывался. Я прошел по Аничкову мосту, через Казанский мост на канале Грибоедова, я свернул по Мойке влево и пошел в сторону Адмиралтейского канала мимо особняка Юсупова, где был убит Распутин. Я шел по каменным плитам и думал о тебе и о городе, который до сих пор еще выбрасывает на рынок сознания больших гениев. Один из этих гениев — некий Голявкин², соученик Коринца по Самаркандскому художеств<енному> училищу. Вот как он пишет. «85 человек с такой силой ударились животами, что 35 в ту же минуту умерли. Оставшиеся в живых 50 человек снова с такой страстью ударились животами, что тут же умерли 49. Единственный оставшийся в живых съел большой огурец и пошел на край земного шара удариться еще с кем-нибудь животом». Умные люди увидели здесь намеки на будущую войну. Однако автор отперся и сказал, что он вовсе ничего не думал, когда писал про животы.

Я напрасно тебе это написал. Теперь ты полюбишь этого Гольякина за его гениальность, а меня разлюбишь. Тем более я ничего больше не напишу в жизни. Я окончательно пал духом.

В Эрмитаже я не был — как тебе это понравится? Я ленив, как корова, меня надо тащить, но меня никто не тащит. Слушай, я познакомился с Аллой Ларионовой³ и копьеметателем В. Кузнецовым⁴ (рекордсмен Мира, Европы, СССР и еще чего-то). Я так перепугался, что просидел смирно весь вечер на стуле, глотал коньяк, и никакими силами нельзя было отнять у меня рюмку или дожидаться ответа на вопрос. Я вышел ночью на площадь Искусств, сказал: ффу, — и решил, что ты лучше Ларионовой. Она дура. Она потушила свет, грохнулась на пол (разорвав при этом чулки) и фальшиво запела: «И то же в ней очарованье, и та ж в душе моей любовь». Она уезжает в Рио-де-Жанейро. Возле нее пресмыкался какой-то сытый дантист, имеющий, однако, собственную «Волгу». На «Волге» он три раза ездил за коньяком. А я — ты, конечно, не удивишься, — думал, что я не езжу за коньяком и не плачу за него. И еще, что мне наплевать на то, что Ларионова едет в Рио и что с ней обедали греческий и английский короли, хотя в Рио и я бы поехал, конечно, погреться там на солнышке, а то в Питере холодно и никаких белых ночей нет, т. к. небо в тучах, и что вообще неизвестно, зачем я тут нахожусь. Пиши сказки, моя радость, и не думай вовсе о королях. Можешь только думать обо мне и о том, как поехать со мной в Алабаму. Я страшно рад, что ты написала сценарий о Дельвиге. Они наш хлеб, т. е. люди, которые что-то там писали когда-то. Мой сосед, хозяин комнаты, пишет рассказ о Чехове. Я хочу написать о Лермонтове. Мне без тебя скучно, но я креплюсь и попаду в Москву только к старости. Даю тебе поэтому полную свободу, можешь пользоваться моим отсутствием и сколько угодно крутить с лейтенантами из «боевого поста»⁵, что ты уж верно и делаешь — кто-нибудь уж провожает тебя домой и заливает баки — я знаю. Что ж, «долг платежом красен, сказал он, мигая и прищуриваясь». А ты — женщина, погрязшая в предрассудках, не способная на широкую вольную жизнь, порабощенная мелкими привычными представлениями. Ты не годишься в спутницы моей жизни, тебе не понять духа моего сердца. Ты не решилась разделить со мной судьбу, предпочла тепленькое местечко в газете, папа зато погладил тебя по головке и мама сказала: ах...

Поэтому я не взял твоего телефона. Поэтому я всеми силами поддержал твоего папу, когда он сказал, что тебе необходим отдых на юге, в кругу своих благонравных родных.

Я серьезно это говорю, не улыбайся. Плевать я хотел на Коринца, можешь ему сказать, что никуда я с ним не поеду. А поеду один из Ленинграда в неизвестном направлении и вернусь стариком с палкой, с одышкой, с распухшими ногами, но зато не подавшимся на всякие женские затеи.

Ты пишешь: «Гуляй... и т. п. — бог с тобой». Вот именно. Бог со мной. Готт мит унс.

У нас здесь очень сильный ветер был эти дни. На канале много сбило сучьев, веток и повалило одно дерево. Дворники сметали в кучи зеленые листья, а ветер опять разбрасывал их. Вода в каналах поднялась. Холодно. Но теперь вышло солнце и, м. б., завтра потеплеет, наконец.

Так ты действительно увлеклась офицером? Прощай. Иду опускать письмо.

Видишь, как я обессилел, даже разучился писать приличные письма. Ну, не плачь, моя баскунюшка, я тебя так люблю, так люблю... Ах, (у меня в машинке нет восклицательного знака, но ты вообрази его). Ах, как я люблю тебя (вообрази восклицательный знак). Видишь, как я жалок, живу без восклицательного знака. Это ужасно — человек потерял восклицательный знак.

Поезжай к Коринцу, он тебя хорошо примет и ты увидишь Олю⁶. Это тебе доставит удовольствие.

Ох, устал я писать пустяки. Все мои письма к тебе — пустяки. Одно в них верно только, что я немного по тебе соскучился.

Впрочем, и это неверно. Поклон папе и маме.

Я достал сейчас у хозяина⁷ лоцию Белого моря. Там написано про о<стро>в Жижгин. Тра-ля-ля, я там был, ты не была, а я был. Я тогда был одинок, и мне некому было писать, ты меня тогда не любила и тоже была одинока. Зато я прочувствовал одиночество, и понуро ехал по берегу Белого моря на лошади, слезал, отдыхал, глядел туда-сюда... Я был одинок и мог делать все что угодно. Но я не делал что угодно, мне было стыдно лошади, она смотрела на меня фиолетовыми глазами. И я тогда написал Никишку⁸. Ах, этот Никишка (вообрази восклиц<ательный> знак). Я иногда рассматриваю слова своего рассказа и не верю, что это я его написал. Писал я его весной прошлого года. Вообще в прошлом году я был счастлив. Теперь я одинок, но не счастлив, и мне хочется написать «Птицу Сирина»⁹, я буду к ночи выходить на берег моря и молча смотреть, как опускается красное солнце в море. Я буду говорить себе: смотри, вот уходит твоя жизнь. Вот уходит жизнь миллионов людей, она уходит за море, вниз, внизу — там вечность

и застылость, нет жизни, туда уходит наша жизнь. Я у преддверия того места, куда уходят жизни, потому здесь так мертво и пусто и никто не поет песню красному солнцу, только птица Сирин с лицом женщины смотрит голубыми глазами на солнце и поет. Но ее песнь — это звук ледяного хрусталя. О (восклицательный знак). Качается, качается, волнами бежит туда моя жизнь, и еще жизни, и все они там, внизу, и солнце, умершее, застылое, купается в них, в жизнях, и встает опять молодое — это мы отдаем ему жизнь. Оно пьет нас.

До свидания, бумага вся. Жди меня, ей-богу, я достоин твоего ожидания.

Твой по гроб жизни

Ю. Казаков

Довольна ли ты мною? Моими тебе отчетами?

Опубликовано в журнале «Звезда» (1990, № 1).

¹ В. Ф. Панова. См. письмо 2 и наст. изд., с. 77.

² Голявкин Виктор Владимирович. См. письмо 52.

³ Ларионова Алла Дмитриевна (1931—2000), киноактриса.

⁴ Кузнецов Василий Дмитриевич (1932—2001), легкоатлет-десятиборец, заслуженный мастер спорта, многократный чемпион СССР и Европы, призер Олимпийских игр, в 1959 году был удостоен титула лучшего спортсмена мира.

⁵ См. письмо 30.

⁶ Оля Коринец — жена Ю. И. Коринца.

⁷ Конецкий Виктор Викторович. См. наст. изд., с. 79.

Летом 1960 года Конецкий писал Казакову: «Дорогой мой, славный мой горбоносый Юра Казаков! Я сегодня твое Белое море прочел, и совсем я скис и опустился. Как-то так нечего мне на бумагу пыряться. Мы тут с Игорем Кузьмичевым закапали слюнями весь дом. Я сразу лоцию достал, старую, тридцать второго года. Лоция Белого моря, со словарем поморских слов. Больше таких словарей (это составлено в основном из записок поморов, из словаря Рейнеке и морского словаря Бахтина) нигде, старый ты пес, не достанешь, как в старых лоциях. И вот эта лоция (в ней и все поморские названия румбов с происхождением их), вот эта лоция принадлежит тебе. И тебе надо ее получить до того, как сдать в печать свою рукопись. Понимаешь? Но она тяжелая очень, толстая. На почте надо ее посылкой отправлять, что ли. Да и не знаю я, где ты сейчас находишься, каков твой сегодняшний адрес. Срочно сообщи его, и я перешлю с проводником в «Стреле», как только уговоримся. Я эту лоцию у капитана спасательного судна в 1952 году украл и таскал ее с собой черт-те где, и она очень замусоленная, а от этого еще более симпатичная. И я ее тебе очень хочу скорее переправить...» (В. Конецкий. Собр. соч. в семи томах, т. 7. СПб., 2002, с. 349—350).

⁶ Рассказ «Никишкины тайны» напечатан в журнале «Знамя» (1957, № 8). См. наст. изд., с. 98—99.

⁹ Этот рассказ не был написан.

34

26 июля 1958. Ленинград

Милая, изумительная Тamarхен, варишь ли ты по-прежнему варенье или шуршишь, рассыпывая пачки сахара под кровати, диваны, этажерки и шкафы? Милая моя, не читай ты вредных книг, не изнурай свой благородный мозг, оставь хоть одну клеточку незанятой — для меня.

Завтра — представь — я уезжаю из этого города, а пока предаюсь умственной вакханалии. То мне представляется, что все население города исчезло и мы с тобой одни в нем. Открыты лучшие гостиницы, открыты квартиры, музеи, рестораны — в ресторанах на столах приготовлены всякие вкусности, течет себе Нева, текут каналы — и никого нет, на улицах стоят автомашины, трамваи и троллейбусы. В Эрмитаже пусто. Что нам делать? Надо вернуться в золотой век, раздеться донага: ты — нимфа, я — сатир... Пожалуйста. Мы можем бегать по Летнему саду и пить чай в Эрмитаже в Малахитовом зале, сидя на полу. И мы можем заглядывать во все квартиры...

Это, кажется, кто-то уже представлял, не знаю, но не в этом дело, мне ли первому пришла такая дикая мысль в голову или еще у кого-ниб<удь> она раньше появлялась, но то сладко, что только в этом городе придумается такое, мне даже жутко стало.

Погода наконец более или менее установилась и наконец я испытал вчера нечто похожее на прошлогоднее — это было возле Спаса-на-крови, знаешь, на канале Грибоедова, в том месте, где много мостов — три или четыре — и видна сразу Марсова площадь (поле), Летний сад вдаль, Михайловский замок и тут эта церковь, тут же сливается Мойка с каналом и вот долго я крутился на этом месте, не уходил, а снаружи на стене церкви — (на крови) выложен мозаикой Христос распятый, весь в свежей зелени и какие-то женщины приходят, целуют стену, целуют ступени крылец, двери, молятся, и голуби воркуют, купаются в лужах, молча постоял, глядя туда-сюда.

А вечером катался на водяном такси за червонец до Кировских о<строва>в и обратно. Вечер был и мгла небольшая, плотная к горизонту, красная с мутью и на этом красном на Неве, когда вышли, — Петропавловка и солнце просвечивало слабым шаром,

вода была синей от неба с красноватой примесью, с бликами от заката, открылись набережные. А когда ехали назад, солнце уже село и по морским обычаям шофер снял флаг с кормы и зажег сигнальные огни — зеленый и красный (флаг на восходе поднимают, на заходе спускают). А потом я шлялся по Грибоедовскому каналу, но с другой стороны Невского, там, где мостик со львами с золочеными крыльями, и потом возле Казанского собора и вокруг и сзади Александринского театра. Съездил я на Черную речку, но она оказалась такой черной, вонючей и грязной, так грохотали там самосвалы, такая стояла пыль, что я тотчас же удрал, купил газету и наслаждался статьей Далады о Тендрякове.¹

Свет здесь зажигают на улицах в 11 вечера. Но все-равно светло еще немного небо, особенно на севере, где солнце. А я бегу вслед за солнцем, на север, еду на пароходе по Ладоге, Онеге и, м. б., заеду в Повенец, в Кижы, словом, на край света (посмотри по карте и позавидуй, несчастная). Придумай кроссворд на северные темы.

До свиданья, любовь моя, больше тебе писать не буду, т. к. отсюда письма идут две недели, а я сам скорее приеду в Москву. И как писали раньше — и заочно крепко целую. Пиши сказки, бродяга (Бродяга — это ласковое слово). Ну-ну, не плачь, когда-нибудь и ты увидишь все эти прелести при посредстве меня, хоть папа твой упорно направляет тебя в Батум — он направляет тебя не на главный путь.

Ю. Казаков

С лейтенантами не смей гулять!

Мамаша, я протаскал вчера весь день письмо в кармане, так и не опустив его. Причины были следующие: не было денег. Буквально, ни копейки не было денег, не на что было купить конверт. Потом я занял, но уж вечером, так и не отправил. Но это ничего. Зато я хочу тебе написать кое-что еще про праздник. Сегодня в Питере морской праздник. Во вчерашнюю ночь вошли в Неву военные корабли. Они прикрепились к плавучим барабанам и встали носами вверх. Вечером они разиллюминизировались. Загорелись на Ростральных колоннах багровые факелы. А сейчас, когда я тебе пишу, с Петропавловки салютуют. Сейчас идет дождик, не знаю, какой вышел праздник при такой погоде. Я тороплюсь, т. к. до отъезда надо выяснить, где пристань и пр. и кое-что купить на дорогу. Я ведь сегодня уезжаю, погода кстати испортилась и не так жалко уезжать. А вчера был прекрасный вечер, свет, как я тебе писал, зажгли в 11 часов, а до этого — сумеречная Нева и огонь на Ростр<альных> колоннах. Огонь живой, что вообще странно

в городе. Днем же по Неве носились торпедные катера со страшной скоростью, поднимали огромные волны, которые к удовольствию ленинградцев переплескивались через парапеты.

Ах, мамаша, почему тебя нет со мной, почему в это странное, тяжелое время мы особняком каждый и где-то, когда-то мы соединимся или уж никогда? Это будет грустно для меня, т. к. почему-то я не хочу более никого знать. Ну да ладно, прочь печаль, как поют цыгане.

Будь здорова, не болей, по мне не скучай, не думай, пиши себе стихи, решай себе кроссворды, стой на боевом посту в деле боевой и идеологической подготовки.

Ю. К.

Ух, как, наверное, Коринец сердится на меня (воскл<ицательный> знак). Ведь я не еду с ним, как обещал, а еду сам тосковать, молиться, радоваться и бог знает что еще перечувствовать. А думаю об одном, все об одном — не пропало бы это для меня, не исчезло бы, не застыла бы кровь, а то зачем все, зачем я еду? Написать бы чего-нибудь.

Итак, решительно еду и знаешь куда? В Кижы, в Повенец, в Петрозаводск и бог знает куда еще занесет меня нелегкая. Сегодня измучился, все бегал и вот перед самым отъездом сижу на почте и отправляю тебе письмо. Еще бы неделю такой жизни — и ты получила бы от меня полное собрание писем в 5 томах, т. к. я все собирался бы отправить и все дописывал бы, дописывал... Подыщи мне что-ниб<удь> о Лермонтове (37 г.), где жил, кого посещал и т. д. (это если ты ходишь в Ленинку).

Ю. К.

Опубликовано в журнале «Звезда» (1990, № 1).

¹ Далада Николай Федорович, критик, однокурсник Казакова по Лит. ин-ту. Речь идет о его рецензии на повесть В. Тендрякова «Чудотворная» («Литературная газета», 1958, 24 июля).

5 сентября 1958. Нижняя Золотица

Мамочка моя, куда меня занесло! Что-нибудь одно: или я дурак совершенный или самый мудрый и хитрый человек — или я уеду отсюда, проклинаю Север и себя, или привезу в Москву полный мешок поэзии и счастья.

Пишу тебе сейчас потому, что нечего совсем делать — погода на дворе страшная, с ветром и дождем, температура, верно — 1. Но вчера я хватил-таки добрую стопку поэзии. Начать с парохода. Ну, пароход черный, погребальный, мрачный, 3 класса, в котором я ехал — грязный и жесткий, под потолком вечером тлели четыре лампочки, было сумрачно и нехорошо. Ехали на нем все местные и солдаты, шел он в Мезень. Солдаты и гражданские как начали пить в Архангельске, так и не перестают, наверное, и сейчас, — все это довольно обычно, знакомо и противно. (Вот она, «легкая-то жизнь»!)

Но на пароходе ехала девушка одна, я заметил ее еще в Архангельске и, грешным делом, крикнул еще тогда же — такие глаза, как у нее, — редкость великая, даже трудно подыскать определение: ленивые, странные, сумрачные, загадочные... все не то! Они такого, знаешь, лилового цвета, с темными длинными ресницами, м. б., тут ресницы играют роль, черт ее знает. Словом, я ошалел. По цвету они похожи на твои, но слегка выпуклые, помнишь Наташу Тарасенкову¹? — так вот примерно такие. Но у тебя в глазах что? — у тебя ум и внимание, дух, душа, у тебя глаза переменчивые, но интеллект в них виден всегда и сострадание и нежность, бог знает что еще, много, а у этой не то, у этой — сумрачная загадочность, как, м. б., у Маньки моей, я примерно такими воображал глаза Маньки, только зелеными, а у этой — фиолетовые.

Так вот, оказалась она моей соседкой, ну, я был мрачен, скучен и не помышлял, конечно, чтобы ухаживать за ней, к тому же ехали с ней ее знакомые ребята, и в ухаживателях недостатка не было. Но я все хотел еще и еще окунуться в ее глаза — тра-ля-ля... Почему бы не насладиться, не воспарить душой? Только сперва ничего не получилось — ни разу не взглянула она на меня хотя бы мельком. А потом как-то разговорились, уединились, на меня нашел стих — плотина лопнула, я стал оживлен, поэтичен и даже почти не заикался — представь! — голос мой играл и переливался, вздрагивал в нужных местах и пр. и пр. И все я чувствовал на себе ее взгляд, все боялся взглянуть, но потом внутренне подбирался, взглядывал — прощай все! — готов был, если б так глядеть, плыть с ней хоть на Чукотку (она плыла далеко, в Мезень). Ну вот, это, так сказать, первый глоток — ты не ревнуй, глоток чисто писательский, наблюдательный.

Приехали в Золотицу ночью, ах, я забыл еще сказать, вечером я торчал на палубе и думал, вспомнил вернее, как фосфоресцирует Черное море, и только подумал, как гляжу, в струе у борта зажглось

ярко-зеленое пятно и медленно стало отходить назад и гаснуть, потом еще и еще... так я и не понял, что это светилось, м. б., медузы, сталкиваясь с корпусом парохода, вспыхивали. Но бледный их мертвый свет вспыхивал все время то ярче, то глуше, верно, от того, на какой глубине вспыхивал. Было холодно, и я думал еще, что, если прыгнуть в воду, то больше двух-трех минут не продержишься, заколенеешь и утопнешь, и долго будешь идти ко дну — глубина, наверное, была метров 400—500.

Ужасный ветер, прямо изба дрожит и замерзли ноги (я живу в отдельной комнате, довольно прохладной, со скрипучими половицами). Еще наслаждение: я ел арбуз. Знаешь, что-то есть сладкое и необычайное, что на Севере, в холодном море под северным сиянием ты еще ешь арбуз и бросаешь корки за борт. Дул сильный ветер, выдувал из глаз у меня слезы, слезы текли по щекам, попадали на арбуз, арбуз тек по подбородку и холодил, а я все равно ел. Блаженство!

Итак, мы подъехали ночью, загремел якорь, зажгли бортовые огни, спустили трап и стали ждать. Минут через 20 подъехал первый катер, за ним мотодора. Стали слезать. Я сел в катер, кому-то сказали, чтобы меня проводил к какому-то Пахолову², он обещал, я сел в катер и закачался. Перед нами был черный борт, мы то поднимались вверх к желтому свету ламп, то опускались вниз в черноту, желтые иллюминаторы то оказывались на одном уровне с нами, то уносились в высоту. Потом мы отчалили от трапа, мотор затарахтел, и мы понеслись куда-то в темноту к берегу, вдали мигал проблесковый огонь — красный и зеленый. Вдруг мотор наш стал барахлить, и мы вынуждены были останавливаться и ждать, когда в карбюратор наберется горючее.

Над нами полыхало сев<ерное> сияние. Небо было чисто и черно, луна окружена мутным ореолом, а в зените стояло пятно света, и от него во все стороны чуть не до горизонта тянулись лучи, не полосы, а какая-то стремительная ткань, имеющая, однако, направление к зениту <...>, похоже было что мы сидим в центре гигантского шатра. Все постоянно менялось, самые различные оттенки, но больше всего гранатовых, кровавых, мрачных, но и передергивалось также зеленым, голубым, белым... И сквозь этот свет были видны звезды.

— К холоду! — говорили в катере, и вот, пожалуйста, холод.

Меня вели вчера темной деревней, привели в дом; я дрожал и посинел, так замерз.

Только что заходил хозяин и оторвал меня от письма. Зовет к себе на тоню, на которой он живет с каким-то парнем, по-види-

мому, с придурком — он неясно как-то сказал. Значит, поеду — там же и маяк есть и радист: м. б., как-нибудь брякну тебе оттуда телеграмму. А завтра я поеду в Верхнюю Золотицу — это десятью верстами выше по реке. Там я посмотрю, как и что, поживу несколько времени, потом спущусь вниз и уже на море. «Птица Синь»³ скоро запоеет свою песню.

Я послал тебе из Архангельска смурное письмо⁴. Теперь уж я успокоился и выиграл духом: прочь, прочь все! Гранки я отнес, моей возлюбленной не было — она заболела. Испытал я некоторый укол, стеснение, хотел даже зайти к ней домой, да слава богу не было времени — в 13 часов уходил пароход, а мне надо было написать письма и т. п.

Тут, говорят, где-то рядом (км. в 50) кочуют со своими оленями ненцы. Если мне повезет, я, м. б., заберусь к ним. Не знаю, дрожит у меня в душе что-то, какой-то зайчик солнечный прыгает иногда, мелькнет, вздохнешь только и не поймешь, что же это такое с тобой. Не есть ли это, я думаю, тайное предчувствие удачи?

Да, был я сегодня на погранпункте. Пошел туда с тяжелым сердцем. Ты знаешь мою старую неприязнь и боязнь всяческих таких объектов, зон и т. п., т. е. тех мест, где тебя перестают рассматривать как человека и начинают глядеть на тебя как на объект, кот<орый> должен находиться под наблюдением. Так вот, пошел представляться. К счастью, капитан попался хороший, похвалил, что я приехал изучать жизнь поморов, сам пошел познакомить меня кое с кем и даже предложил вымыться в бане...

Ура! Отлегло немного от сердца. Я сказал ему, что есть у меня фотоаппарат и бинокль, и теперь могу снимать и глядеть в бинокль и чихать на всех.

Во всяком случае в моем распоряжении еще дней десять, пока я тебе могу писать, а потом ты уедешь и мои письма тебя не застанут.

Пиши мне на Золотицу. Адрес: дер. Нижняя Золотица, Архангельской области. Посылай авиапочтой.

Ну, будь здорова, целую крепко, молю Бога, чтобы эта поездка дала мне духу на что-нибудь хорошее, чтоб и тебя обрадовать.

А жалко, что ты не со мной! Тут много на берегу пустых тонь. Можно жить в какой-нибудь, ловить рыбу и молиться Богу.

Скоро, скоро я попробую ухи из семги. Ай-яй, ты бы с твоим аппетитом умерла бы от счастья.

Привезти тебе подарок? Привезу!

Будешь писать, пришли мне свои стихи. Ладно?

Юрий

Опубликовано в Собр. соч., т. 3, с. 373—377.

¹ Тарасенкова Наталья Николаевна (р. 1928), прозаик; в 1957 окончила Лит. ин-тут.

² Пахолов Василий Дмитриевич, житель деревни Нижняя Золотица; прототип Нестора из рассказа «Нестор и Кир» (1961).

³ См. письмо 33.

⁴ См. наст. изд., с. 104—105.

36

26 сентября 1958. Архангельск

Сегодня прикатил в Архангельск и получил сразу целую кучу писем! Они жгли мне карман, но я терпел: пришел в гостиницу, спустился в ресторан, заказал шикарный обед (первый обед за месяц!) и, выпив рюмку коньяку, принялся за письма.

Ну, конечно, я страшно расстроен и удивляюсь, как вы втроем не могли сообразить (или вспомнить), что при наличии (прости за канцеляризм) бюллетеня путевка продлевается и пр. и пр., а билет можно купить всегда. Зачем было отдавать путевку!

Ужасно, я так расстроен и прямо не знаю как быть — ведь я еду отсюда в Пицунду, ведь мама уже там и ждет меня. Ну да ладно, потом что-нибудь выяснится.

Я перся пешком по берегу, и бывали моменты, когда я напоминал сам себе джеклондоновского героя. У меня был рюкзак 25 кг, ружье, патроны, удочки и спиннинг, сапоги, джемпер, куртка и плащ, и шапка зимняя: со всем этим и во всем этом я топал берегом моря, увязая в песке, или спотыкался на камнях в скалах. Бывали моменты, когда я валился отдыхать через каждые полчаса; ноги я разбил в кровь, несколько раз блудил, но все кончилось благополучно.

Дошел я до Куи (есть такая деревня) и тут как раз пришел пароход, я глянул на него, не выдержал, схватил рюкзак — и вот сегодня я уже в Архангельске.

Спасибо тебе за письма, вернее за то, что ты думаешь обо мне. Поездка моя оказалась совсем не тем, что я воображал себе. Т. е. к ужасу своему я понял, что или я прав, а весь мир не прав, или я не прав, или я совсем не туда забрался. Если все писать, как я чувствовал здесь, то это гроб, а по-другому писать, т. е. не то, а как надо — тоже гроб.

Я, м. б., покажу тебе дневник, я тут от скуки плел чего-то, ты увидишь, что я совсем зарыпался и того, что мне нужно бы, я не увидел, проглядел что ли, а всякие ощущения — это все эфемерно и, м. б., неверно. С чем я приду к Панферову! Наверное, мне надо бы съездить на Кубань или еще куда, где люди получают ордена за урожай и живут, вероятно, по-иному, чем здесь. Здесь же умирание, хуже, чем было, если верить, скажем, Пришвину и прочим. Я не могу тебе писать всего, что я тут увидел и подумал и пр. — я тебе говорил уже, прочитай «Колобок» Пришвина, сделай поправку на сегодня, т. е. преобразуй деревни в колхозы и т. п. и вот тебе точная картина жизни теперешних поморов, а мысли и ощущения Пришвина — мои мысли и ощущения!

Ты пишешь, что читать Гамсуна — мука для тебя. В каком смысле? В плохом или хорошем, т. е. сладкая мука? Неужели он не нравится тебе?

Милая, прости, чувствую, что письмо мое и сухо и невразумительно, но ярче и толковее писать я не в силах, м. б., отупел, а м. б., всегда таким был, только притворялся тонким и глубоким.

А точнее: цельное впечатление — не для письма, а деталей разных, тонкостей, довольно много и всех не выскажешь в письме.

Хотя бы вот: я провел часа 4 на этой тоне. За окном пасмурно — море спокойно, на берегу чайки. На тоне было двое рыбаков. Один помоложе мастерил ножны для ножа, второй постарше, глухонемой, курил и глядел в окно и опять курил. Изредка он зажигал спичку и палил на окне вялых мух — тогда лицо его немного оживлялось. А я сидел мокрый возле холодной печки и зябко дремал. За 4 часа кроме «здравствуй» и «до свидания» не было сказано ни слова. Какова картинка? Готовый рассказ — а попробуй-ка напиши, какой вой подымут! Забыл! — молодой рыбак изредка прекращал свое занятие (ножны), смотрел тоже в окно на чаек и бормотал:

Чайки ходят по песку,
Нагоняют нам тоску..

Потом снова принимался стругать и примерять. Вообрази-ка месяц такой жизни.

Ну, миленькая, ты уже верно поправились, как нехорошо, что случилась эта ангина — да и больно-то как и мерзко. Вот ты меня предупреждала, а сама свалилась.

Как же мы с тобой теперь?

А диким образом ты не поедешь, верно? Не пустят? Ну ясно, не пустят.

Завтра или послезавтра я, верно, уеду из Архангельска в глушь, но теперь уже в «материковую» глушь, в какое-нибудь лесничество. Там я пробуду несколько дней, наверное, недолго, а потом уже буду подаваться к солнцу, на юг — как удав, проглотивший слишком много, буду лежать на солнце, дремать и переваривать скопленное на Севере.

Поправляйся и не беспокойся обо мне, поздравляю с «Коллекционерами», а я-то! В атеисты попал! Господи, прости меня дурака грешного и помилуй и не оставь своими милостями! Вот не думал, не гадал.

До свидания, спасибо за все, целую крепко!

Твой Юрий

Опубликовано в Собр. соч., т. 3, с. 377—379.

37

29 октября 1958. Пицунда

Тамарка!

Я получил твою телеграмму, полную материнской нежности и подписанную так: мама (доехала благополучно лучше катером целую спасибо = мама). После того, как ты уехала, я получил еще два письма от Баруздина¹ — одно сюда, а другое мне переслали из дому, получил также и твою прошлую записку от третьего октября. Бедная, бедная ты, а я жестокий зверь.

Баруздин пишет, что меня приняли в СП, но еще не утвердили президиумом. Президиум должен был состояться 27-го октября.

Но это не главная литературная новость. Главная, что Пастернаку за роман «Доктор Живаго» и за лирику дали Нобелевскую премию. Скандал страшный². Не знаю, чем кончится, наверное его вышлют из СССР. Из СП во всяком случае исключат. Сегодня или завтра получится след<ующий> номер «Литературки», я тебе потом привезу.

Погода стоит ужасная и я захандрил, причем жестоко. В комнате холодно. А позавчерашнюю ночь была луна и снег в горах сиял.

Сегодня пробовал писать и вчера тоже, но ничего не выходит, хоть волком вой.

Я все подумываю, не смыться ли мне в Москву и тут же вопрос: а в Москве что?

Словом, паскудство. Единственный мой собеседник (инвалид) уехал и я теперь совсем один. Мама сегодня ушла к знакомой, оставила меня, чтобы я работал.

Тамарка, ей-богу, я ничтожество.

До свидания, моя детка. М. б., до Москвы, т. к. я не знаю уже, приеду ли к тебе как хотел, уж очень нехорошо со мной. Вдруг я сорвусь раньше тебя.

Но ты все-таки поглядывай в окошко.

Целую и обнимаю.

Читаю Блока.

Юрий

Ради бога, хоть ты-то пиши! Нам надо работать. Мысль, что ты пишешь, м. б., и меня подтолкнет и пристыдит. А то нельзя же, надо писать, причем сценарий и проч. не в счет — чисто денежные работы, надо писать для будущего.

Очень хочу, чтобы ты не зря провела эти последние дни здесь, хочу гордиться тобой. А на меня не обращай внимания, это со мной теперь почему-то почти постоянно. М. б., это болезнь, но она не должна превращаться в заразную.

А я должен ее преодолеть. И преодолею — вот тебе слово!

М. б., мне не приезжать, если ты работаешь? Телеграфируй мне. А то выйдет как со мной. Я было вздохнул, уперся, задрожал, хотел что-то написать, но ты приехала и все нарушила. Хоть и сладкое нарушение, но я не хочу быть тебе помехой. Это все, если ты здорово взялась, а если нет, тогда прикачу. Все-таки хочу приехать электричкой, т. к. где я буду искать машину из города.

Опубликовано с купюрами в книге Т. А. Жирмунской «Мы — счастливые люди» (1995), с. 221—222.

¹ Баруздин Сергей Алексеевич (1926—1991). См. письмо 8.

² Нобелевская премия была присуждена Б. Л. Пастернаку 23 октября 1958. 27 октября он был исключен из Союза писателей. 29 октября послал в Стокгольм телеграмму с отказом от премии. 31 октября собрание московских писателей обратилось в правительство с просьбой лишить Пастернака советского гражданства.

2 ноября 1958. Пицунда

Душа моя!

Если бы ты знала, как захотел я есть! Я приехал домой и выл, лежа на кровати, все время, пока мама варила борщ.

Теперь я дома, узнал новости насчет Пастернака, мама слушала радио. Теперь и ты все знаешь, так что комментарии излишни. Но ты приедешь, обязательно узнай подробности (у кого-нибудь из наших ребят, зайди что ли в институт, там, верно, знают), а когда я приеду, ты мне все расскажешь.

Тотчас по приезде я сунул маме «Молод<ежную> эстраду» и заставил ее читать вслух; она прочитала по складам и сказала, что надо было не «закапанные грязной», а «заляпанные» — вот тебе единственное и, по-моему, точное замечание¹. При переиздании исправь, хорошо?

А ты читаешь ли мою книжку? Как тебе показались «Тих<ое> утро» и «Ночь». Особенно «Тих<ое> утро» — напиши, пожалуйста, очень тебя прошу, это для меня важно.

Тамарка, какая была лунная ночь, а! А ты знаешь, я ехал по ужасной вертячей дороге и что-то придумалось вроде рассказа, в кот<ором> он и она будут стоять в горах вечером, в темноте на дороге и ждать автобуса, и автобус идет, но дорога с виражами и вдруг он срывается в пропасть и (издали) медленно катится вниз. Фары его горят и световые лучи описывают круги, восьмерки и т. д. Шаря по горам. Тогда... Тогда она прижимается к нему и т. д.

Загорай, Тамарочка, если получишь это письмо 4-го, сразу беги на пляж, если даже 5-го все равно, хоть день повалейся на пляже. Ну, будь умницей!

Я очень тороплюсь, поздно, потом поймал прекрасный джаз и это меня отвлекает. Завтра опущу это письмо, надеюсь, оно захватит тебя.

Спасибо, Тамарка, я очень тронут твоей заботой, очень рад, что побывал у тебя, словом, счастлив бесконечно.

Как ты дошла? Без приключений, надеюсь? И тоже, наверно, проголодалась, да? Ну конечно же — и ужин был у тебя неполный, и завтрак тоже, и на обед наверно опоздала... А я ужас как жрать захотел, прямо про все забыл и как щенок рысью трусил домой.

А какой 18-летний, глухой, геморроидальный и с одышкой пес!

Пришли мне телеграмму из Москвы обязательно.

Ну, до свидания, очень рад, что у тебя все хорошо. Будь умницей, не волнуйся, не принимай близко к сердцу дел, которые тебя каса-

ются отдаленно. Понимаешь? Давай станем оптимистами, им ведь, чертям, веселей жить на этом свете. Станем? Ну, ну, — обнимаю,
Твой Юрий

Опубликовано с купюрами в книге Т. А. Жирмунской «Мы — счастливые люди» (1995), с. 223—224.

¹ Речь идет о стихотворении «Журавль и Цапля» («Молодежная эстрада», 1958, № 5).

39

13 ноября 1958. Пицунда

Ну-с, голубушка моя, я написал-таки свои поганые рассказы-ки (имею в виду детские). Итого их теперь у меня четыре. И, знаешь, очень неплохое место есть у меня в одном рассказе («Тропики на печке». — *И. К.*), связанном с маяком и с гибелью пролетных птиц, прямо прелестное, ей-богу!

Мучился я с ними долго, т. е. собирался писать, а написал оба в один день и теперь — долой литературу!

Сегодня я шел купаться утром и зашел проведать одну тайную полянку, где недели две назад мы с мамой обнаружили много маслят. И что же — ничего теперь нет, грибы сошли и значит пора, пора мне отсюда убираться. Теперь мы с мамой здесь совсем одни, хорошо только какой-то дядя, с интеллигентным лицом, ходит по берегу утром и вечером. Погода славная все время, днем тепло и несколько ночей было теплых.

Вечерами я занимаюсь милым делом: достали мы два комплекта «Нивы» за 96 г. и 13 г.¹ и я ее перелистываю с некоторым умилением, прочитываю кое-что, но, главное, разглядываю картинки.

Странно, но эти комплекты совпали в том, что в 96 г. была коронация Николая II, а в 13 г. — 300-летие дома Романовых, и оба этих события весьма широко, разумеется, представлены в журнале.

Боже мой, какой кучер был у Николая! Медали во всю грудь, борода по плечам, зад — метра полтора, а морда, морда... Честное слово, на Николая я взирал равнодушно, с некоторым любопытством, но от кучера пришел в восторг, рождаются же такие неандертальцы!²

А знаешь, кто описывал, причем в восторженных тонах, коронацию? Влад<имир> Немирович-Данченко³. Это народный-то артист и соцреалист.

А знаешь, кем был Танеев⁴? Он был главным управляющим канцелярией его императорского Велич^ества, статс-секретарем Двора, гофмейстером и бог знает кем еще, он был «Ваше Высокопревосходительство» и небось задавал страху «почитателям» своего таланта.

И еще, представь, он же был автором монархического гимна «Боже, царя храни!» (для меня это новость!), а автором текста был наш вольнолюбивый А. С. Пушкин (новость тоже!). Вообще много-много кой-чего я там выудил.

Попалась мне на глаза статья о нобелевских лауреатах (ах и трижды ах!); лауреатом по литературе за 1912 г. стал Г. Гауптман⁵. И в 12 г. ему исполнилось 50 лет, Германия и весь мир широко отмечали эту дату. И я вспомнил заметку в «Огоньке» (не помню, несколько лет назад); какой-то тип рассказывал в ней о своем посещении старого, умирающего, забытого Гауптмана после войны в каком-то баварском местечке и о том, как Г. прослезился, узнав, что в России еще ставятся его пьесы... («Огонек», кажется, за 53 г.).

Попались мне стихи Ахматовой, Бальмонта, Бунина⁶ — первых двух слабенькие, выпретенные, пустышки, Бунина же крепко, сильно, но как бы зарисовки, как бы заметки (восход солнца, шум моря и т. п.).

Еще попались повести Авиловой⁷ (помнишь письма Чехова к ней?), Брешко-Брешковской⁸, Гусева-Оренбургского⁹... Все это слабо, довольно слюняво и в общем вполне справедливо умерло.

Удивительно, что никто почти из гениев в «Ниве» не печатался, так-таки совсем никто; Чехов, Куприн, Бунин, Пришвин, Андреев, Горький — все печатались где-то; и только собр^ания сочинений издавали у Маркса. Между тем «Нива», несомненно, самый распространенный тогдашний журнал, вроде нашего «Огонька».

Настроение у меня прекрасное, только одна мысль слегка омрачает мое существование, мысль о том, что придется скоро ехать и провести двое суток в дороге. Ах, Тамарка, как не люблю я ездить, просто ненавижу, так любил поезда в первые свои поездки (47 и 49 г.) и так переживаю и мучусь и извожусь каждый раз теперь.

В Москву я заявлюсь числа 20—24-го. Слушай, ты позвонишь и сходишь ли к фотографу насчет институтских карточек? Это же безобразие, до сих пор не получили, сволочь Хаблов, гораздо лучше было пригласить ф^отогра^фа из фотоателье. Подыми там хай в уч^ебной^части, что они надсмешки строят?

Ну, будь здорова, не кашляй.

Твой Юрий

Р. С. «Тихое утро»¹⁰ написано давно, тогда оно мне нравилось очень, но потом его заслонили более поздние вещи и потом оно как-то вошло в разряд детских (печаталось в «Пионере» и пр.) и я к нему охладел.

А «Ночь»¹¹ ты не поняла. Шепотом, говоришь, написано. В том-то и смак, что шепотом. Кто же ночью горланит, — одни пьяные, а нормальные люди говорят шепотом и пишут про ночное шепотом. «Ночь» лучший мой рассказ. Не рассказ, а поэма.

Привет папе и маме.

Мамаша моя тоже кланяется тебе.

Почитай дневник Рериха¹² («Октябрь», № 10).

С купюрами опубликовано в «Литературном обозрении» (1986, № 8).

¹ «Нива» — еженедельный иллюстрированный журнал политики и современной жизни, издавался в Петербурге в 1870—1918, до 1904 А. Ф. Марксом.

² Видимо, имеется в виду фотография, сделанная К. Буллой («Нива», 1913, № 31).

³ Коронацию Николая II описывал не Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858—1943), а его брат Василий Иванович Немирович-Данченко (1844—1936), поэт, прозаик, журналист, в 1890-е годы активно сотрудничавший с «Нивой».

⁴ В № 18 «Нивы» за 1913 г. была опубликована статья А. Когтяева, посвященная А. С. Танееву (1850—1918), государственному деятелю и композитору, автору трех симфоний, двух опер («Месть Амура» и «Метель»), симфонической поэмы «Алеша Попович», Ломоносовской кантаты, многих романсов, гимна «Боже, царя храни» на слова А. С. Пушкина (Государственный гимн России «Боже, царя храни» написан А. Ф. Львовым на слова В. А. Жуковского). Журнал «Театр и искусство» в 1918 году (№ 4—5) напечатал некролог А. С. Танеева, где, в частности, говорилось: «Умер А. С. Танеев. Умер едва ли не от тех неисчислимых бедствий, которые выпали на его долю на склоне лет. Нужно ли удивляться, что натура 68-летнего старца, несмотря на видимую крепость, не выдержала столь высокого социального давления? Как велика утрата, понесенная музыкальным миром в лице А. С. Танеева? Танеев не был крупным творцом, в отличие от его родственника покойного С. И. Танеева. Значение его в истории родного искусства преходяще... И чем дальше отойдет от нас современная ему эпоха, тем дальше будет отодвигаться и творческая фигура Танеева, пока не затеряется где-то в дали времен незаметной точкой. Музыкой он занимался постольку, поскольку позволяли служебные дела (покойный управлял б. собственной его Величества канцелярией). Он любил искусство, любил искренно, как то и подobaет настоящему дилетанту...»

⁵ Гауптман Герхарт (1862—1946), немецкий прозаик и драматург.

⁶ В 1913 г. в «Ниве» были напечатаны стихотворения А. Ахматовой: «Меня покинул в полнолуние...» (№ 5), «Песенка» и «Черная вилаьсь дорога» (№ 10); стихотворения К. Бальмонта: «Рассвет» (№ 2), «Кольцо» (№ 18), «Омут» (№ 22), «Псалом звезды» (№ 43) и др. И. Бунин в 1896 г. напечатал в «Ниве» стихотворение «Счастлив я, когда ты голубые...».

⁷ Авилова Лидия Алексеевна (1864—1943), прозаик, автор воспоминаний «А. П. Чехов в моей жизни». В «Ниве» (1913, №№ 23—24) напечатана ее повесть «Мы».

⁸ В «Ниве» (1913, №№ 16—24) была напечатана повесть Николая Николаевича Брешко-Брешковского (1874—1943) «Под шрапнелью. Из событий последней Балканской войны». Н. Н. Брешко-Брешковский (сын Екатерины Константиновны Брешко-Брешковской (1844—1934), известной революционерки-народницы, лидера партии эсеров) — плодовитый беллетрист, журналист. В 1920 г. эмигрировал в Сербию, жил в Варшаве и Берлине, приветствовал нападение Германии на СССР.

⁹ Гусев-Оренбургский Сергей Иванович (1867—1963), прозаик. После октября 1917 г. эмигрировал, жил в Нью-Йорке, неоднократно переиздавался в Советском Союзе. В «Ниве» за 1913 г. были опубликованы его повесть «Враги» (№№ 1—8) и рассказ «Преступник» (№ 34).

¹⁰ Рассказ «Тихое утро» написан в 1954 году и напечатан в журнале «Пионер» (1955, № 8).

¹¹ Рассказ «Ночь» (1955) напечатан в Альманахе молодых писателей «Молодая гвардия»; кн. 16. М., 1956.

¹² Дневник художника Николая Константиновича Рериха (1874—1947) напечатан в журнале «Октябрь» (1958, № 10).

40

17 марта 1959. Дубулты

Тамарочка, милая!

Спасибо за письмо и за хлопоты (с Барузд<иным>), хоть я не верю в их полезность. Рад я твоему бодрому письму и думать, что эта бодрость не напускная. А?

Год прошел, а как ничего не было — опять ты в Москве, а я в Дубултах.

А здесь все то же, только снегу нет давно, давно пахнет апрелем. И так все странно, пойдешь вечером на станцию письмо опустить, зайдешь в буфет за папиросами, будто вернешься к старой забытой жизни, поглядишь на людей. А домой идешь — сумерки, зеленая заря, черная кирха, безлюдье, пустота, странное очарование. Где я?

Вечерами здесь жгут листья. Кучи багрово тлеют, и все пахнет дымом — лес, дом и даже руки.

Я почти не работаю, переписал только рассказ для «Мурзилки»¹ да с грехом пополам нацарапал для «Крестьянки» статейку об Аксакове².

Все собираюсь сесть за повесть, да как подумаю, что повесть — вещь большая, работать над ней долго надо, то и думаю: успеется еще. Насчет рассказов — ни-ни! В голове блаженная пустота. Много хожу, рассказываю и выслушиваю разные случаи.

Тут у меня есть постоянная собеседница и спутница, дама лет под 60. И поделом мне!

В самом деле, в первый раз мне так приятно не работается. Хоть бы хны!

И писать тебе нечего. Одно только могу тебе сказать, что часто о тебе думаю и в смыслах самых положительных и приятных. Ну да это старая история.

А как ты поживаешь? «Как живется вам, бедняк, ежится, поется как?»

Ты хотела несколько строчек — вот они, получай. «Их есть у меня».

Как тебе показалась «Манька»³? Я, знаешь, не удержался-таки, кое-кому ее всучил почитать, впечатления самые высокие, меня ругают и хвалят, но это как-то мало трогает и зря все-таки давал, не надо бы...

Ну, до свидания! Целую крепко, не скучай. А у меня настроенье прекрасное, самое курортное.

Твой Юра

Письмо не публиковалось.

¹ Вероятно — «Корова-спасительница» («Мурзилка», 1959, № 6).

² См. письмо 43. Статья «Вдохновенный певец природы» («Крестьянка», 1959, № 5)

³ Книга, вышедшая в Архангельске в 1958 году.

26 марта 1959. Дубулты

Хэлло, моя крошка! Я уж раздраженно фыркал на твое молчание и думал самодовольно: «О, женщины!» — когда получил твое письмо. Ты — молоток, чувствуется школа «Труда»¹, дай бог, чтобы ты не стала лаконичной и чтобы всегда я получал такие длинные письма. Я засыпал, читая его, просыпался и снова читал

и потом опять засыпал. Мне казалось, что я иду по железной дороге, которая сужается и пропадает на горизонте. До конца я так и не дочитал, ну да неважно, все равно чувствуется, что ты молоток.

Сперва о неприятном. Я читал ту статейку. А между прочим этот Осетров² — пронизательный человек: своим письмом ты оправдала его упрек в многокилометровости. А? Хотя, конечно, он гусь лапчатый. Его морда похожа на ж... поросенка. Чего же от такого ждать? Собственно не понятно за что он на тебя насыкался. М. б., надо было кого-то ругнуть и он ругнул. Ругнул он тебя и нашего любимого «Коринца». Не ругать же ему Барто³ или Баруздина⁴ Или Архангельского⁵! А м. б., он тебя перепутал с той Жирмунской, которая пишет рассказы. М. б., он на нее зуб имеет.

Это, конечно, мура и не стоит разговора. Таких штучек каждого из нас ждет мильен. Это только в первый раз неприятно, а потом — как мухи. Чепуха!

Наслаждайся тем, что ты на мне спекульнула и ходишь в талантах. Слушай, когда ты прославишься и твои эти стихи будут читать по радио, я после каждого чтения буду макать перо и судорожно писать туда — это я, я, я!

Я страшно рад, что ты выползла наконец в Литинститут и не ударила в грязь перед тамошними недотепами. Молоток! Я всегда говорил.

На «Крестьянку» тоже не обращай внимания — м. б., у Майи было неважное настроение, может, она ребятенка от груди отымает, бог знает сколько причин для кислого настроения. То, что автор прислал письмо — чепуха, они постоянно присылают. На памяти у каждого рецензента сотни таких писем. И на меня один все время капал. В следующий раз придешь, дадут опять двадцать.

Что ж ты не написала, слушала ли ты мои рассказы? Я не мог послушать — тут по-латышски все шпарят. Наверно не слушала, забыла! Так я и знал.

Зато я получил из Чехословакии журнал! Ага! Три рассказа на первом месте, мой портрет (ах, какой я красивый!) и разные слова про меня. Ты можешь купить его в Москве в магазине периодики стран нар<одной> демократии. Кажется, где-то есть такой. Купи и упивайся моей карточкой и чешской речью. «Арктур, ловески пес» начинается так: «Никдо неведел, як зе стало, же зе объевил ве месте. Присел однекуд на яре и зачал ту зит. Никого необтебил звим панем» и т. д.

А журнал — прелесть! Я его весь обнюхал. Тут много интересного и кроме меня, всякие снимки и рисунки на современный

манер. Журнал назыв<ается>, если вздумаешь на самом деле купить, — «Светова литература», № 1 за 59 г.

Слушай-ка, давай махнем куда-нибудь летом с тобой? А? Ты это дело обмозгуй — хочешь, ко мне на родину, хочешь, еще куда-нито... Знаешь, как по-чешски «любовь»? «Ласка!» То-то!

Ну, гуд бай, моя крошка, не горюй милашка обо мне!

Вышла ли книга-то в Москве, черт!

Погода здесь прекрасная, я по-прежнему ничего не делаю, только люблю тебя и целую.

Твой Юрий

Спасибо за Баруздина.

Отрывки из этого письма опубликованы в книге Т. Жирмунской «Мы — счастливые люди» (1995), с. 224—225.

Полностью письмо публикуется впервые.

¹ После окончания Лит. ин-та Жирмунская работала внештатным корреспондентом столичной газеты «Труд».

² Осетров Евгений Иванович (1923—1993), литературный критик, в 1953 году окончил Лит. ин-тут. Речь идет о его рецензии «Веселая голубятня» («Литература и жизнь», 1959, 15 марта) на сборник «Голубятня» (М., 1958), где Е. Осетров резко высказался о стихотворениях Ю. Коринца («Как доживу лет до ста») и Т. Жирмунской («За ломом»).

³ Барто Агния Львовна (1906—1981), популярный детский поэт.

⁴ См. письмо 8.

⁵ Архангельский Владимир Васильевич (1906—1976), детский писатель, прозаик.

42

1 апреля 1959. Вечером. Дубулты

Дорогая унд любимая моя! Унд — это «и» по-немецки.

Вчера придумал, а сегодня наконец начал писать новый рассказ¹. Рассказ о Пасхе, о пасхальной ночи, о благовесте, о любви, о весне, о добре и вечной жизни — и да поможет мне Господь Бог! Я так рад теперь, главное, чтоб не растерялось то, что вчера подкатилось и так ясно встало и вообразилось, что у меня аж мурашки по коже пошли.

Какая удача: и мой старый дом с его запахом пыли аравийских пустынь от черепицы — все пойдет в рассказ и так естественно: девочка ночью выпрашивает ключ и ведет моего Павлика в этот

дом. Ах! А свечи, а крестный ход, а пение, а крик: «Христос воскрес!» А Ока внизу, а запах дыма от листьев, которые жгут в парке возле дома и... бог знает, что еще. Кончается же все березовым соком, который брызжет, капает в темноте — всюду.

Акции моих двух книжек все повышаются. Их тут читают и если бы ты знала, как смешно мне и любопытно. Давеча сосед мой какой-то милый еврейчик Соломон Константинович, ворвался ко мне и закричал: аха-ах! Чудо что за рассказ «Никишкины тайны» — лучше всего вашего, лучше «Арктура» и «Маньки»!

И «Никишка» в моем собственном мнении сразу подскочил на 20 пунктов. Я вспомнил, с каким стыдом я его писал. Не знаю почему, но этот рассказик мне было стыдно писать, будто я раздеваюсь.

И так постоянно — кто-нибудь похвалит вдруг неожиданно какой-нибудь рассказ, выделит его, вознесет, и я страшно начинаю им любоваться.

Новостей у меня почти нет. На днях только получил неожиданно договор с «Совписом» на 15 листов². И — представь! — воспринял это, как нечто естественное.

Погода все хорошая стоит, море великолепно. Вчера в 11 вечера мы вышли на море: низко над морем, на С-З стояла звезда. От нее к берегу была дорожка света. Мы поразились. Тем более, что этой звезды ранее никто не видел. Мы пошли в сторону Дзинтари, к маяку, все время оглядываясь на звезду. Она вдруг начала опускаться за горизонт, все тускнела в дымке и через минут 30 скрылась за горизонтом. Мы поняли, что это была не звезда. Но что это — воздушный шар? Мы долго гадали, потом разошлись и легли спать.

Я купил себе австрийское пальто. Короткое, серо-голубое. И берет. Теперь я хлюст вполне. Ты меня должна отвергнуть.

Приеду я в Москву числа 10—12. Только вот закончу рассказ и быстро закруглюсь, повесть моя пока не идет.

До свидания, целую тебя крепко, в губы твои — кровь и смоль и в глаза твои — ярь и жарь!

Твой Юрий

Опубликовано в Собр. соч., т. 3, с. 382—383.

¹ Этот рассказ написан не был. Сохранился отрывок, напечатанный в сборнике «Две ночи» (под названием «Вечерний звон»).

² Договор с изд-вом «Советский писатель» — см. письмо 43.

7 апреля 1959. Дубулты

Ух ты моя крошка! Милашка! Ах ты молоток! Как это ты меня ругаешь за эти слова, когда я тебя называю любовно? Как это вообще ты едешь куда-то в Калинин, когда я сижу в Дубултах, причем окончательно одубултенный?

Ты знаешь, меня таки раздолбали в Архангельске. Статья называется «Тени прошлого»¹ — а? Тон и содержание этой поносной статьи я тебе не стану цитировать, только конец, а он вот какой: «На наш взгляд, выход в свет книги рассказов Ю. Казакова, грубо искажающей напу действительность, облик наших современников — строителей коммунизма, — ошибка Архангельского издательства».

А сама статья такова, что пусть меня повесят, если архангельские аборигены не расхватали мою книжку, чтобы постараться узнать, что же за собака этот Казаков.

Как видишь, я бодр и спокоен. Жалко только Одинцову², ей, бедной, наверно, достанется.

Разноса же в Москве, по-видимому, тоже не избежать, хоть московская книжка по составу своему несколько мягче архангельской».

Но это не суть, а суть в том, что я получил договор на новую книгу в «Совписе» — объем 15 листов. И получил уже аванс. Как тебе нравится? Причем, если ты помнишь, я пальцем не пошевелил в пользу этого договора — не ходил, не кланчил, не переживал — заявку только написал.

Я пишу тебе и слушаю радио — изумительная программа! Шуберт, Корелли, Витали — а за окном серенький денек, мотаются на ветру ветки и они как-то в ритме музыки мотаются, и мне от этого хорошо и уютно. Все-таки я напишу скоро нечто такое, чем буду страшно доволен. Хотя я тебе, кажется, зря в последнем письме похвалялся: рассказ о Пасхе что-то захряс, покрылся пленкой и я его нащупываю.

От Коринца получил грустное-грустное письмо. Как посмотришь, так мы с тобой счастливые люди!

Все будет хорошо, моя крошка, мой молоточек!

Любишь ли ты меня? А я тебя прямо ужасно и чем далее, тем более — хорошо, что мы с тобой тогда не расстались, а то было бы очень паскудно мне сейчас.

У меня в кремле купола горят,
У меня в кремле колокола звонят...³

Это из Цветаевой. Но у меня тоже есть кремль, так вот в нем тоже самое.

Ну, будь здорова и благословенна! Все-таки хорошо, что ты собралась в Калинин, наверно будет интересно.

Целую тебя — всю!

Будешь ли ты 14—15 в Москве?

Будь! А то я снова уеду. Я, когда приеду домой, сразу позвоню маме твоей.

Юрий

Я для «Крестьянки» написал-таки маленькую статейку об Аксакове и взял ее без звука — ни одного замечания, хотя, сказать по секрету, я там наврал много.⁴ А когда писал, то вспоминал наш дождливый день в Абрамцеве. Помнишь? Ах, как я тебя люблю, ту!

Посылаю тебе кусочек янтаря, кот<орый> тут после шторма находят на берегу. И плюс к нему поэт<ический> образ: море бьет янтарными бусами в берег! А? Гениально!

Опубликовано в Собр. соч., т. 3, с. 384—385.

¹ Статья Т. Скороходовой «Тени прошлого» опубликована в газете «Правда Севера» 28 марта 1959.

² Одинцова Л. И. См. письмо 8.

³ У Цветаевой в «Стихах Блоку» (5):

У меня в Москве — купола горят,
У меня в Москве — колокола звонят...

⁴ В статье «Вдохновенный певец природы» («Крестьянка», 1959, № 5) Казаков Аксакова «почему-то назвал Степаном, — вспоминала Т. А. Жирмунская. — И как ни серьезен был тогда проверочный аппарат, ошибка просочилась в печать» («Мы — счастливые люди», с. 209).

В ночь на 2 июля 1959. Сибирь

Здравствуй, Тамарка! Извини, что долго молчал, но право не было ни времени, ни особенного настроения для писем. Вообще на письма я что-то охладел, послал только одно письмо домой. Пишу это дело я где-то возле Тайшета, разница с московским временем — пять часов. Вон куда забралась!! Ну, ты уж знаешь из газеты, что мы были в Омске, в Красноярске, на Назаровской ГРЭС, теперь подаемся на Братск. Там мы пробудем два дня, потом — Иркутск и Байкал — и домой.

Я опять попал впросак, но ничего, не слишком унываю и, наверное, все-таки потом пригодится все то, что я здесь видел. Видел же я до позорного мало и, как ты наверное догадываешься, — не по своей вине. Мы тут все ездим организованным порядком по стройкам, по заводам и тому подобным объектам. Все интересно, но мои рассказы гуляют...

Единственное наслаждение, причем громадное, получил я на Столбах в Красноярске. Это что-то необычайное, небывалое, дивное. Были мы там в ночь на воскресенье, ночевали в горах, причем я дико ругался с Захарченко² и Берестовым³ и всеми остальными, с презрением козыряя своим талантом и проч. и проч. Все это дело поливалось обильно выпивкой. Но ничего, вроде озлобления настоящего нету пока. Ну, а утром отправились на Столбы и тут началась сказка! Столбы — это такие скалы разных форм, невысокие, но все-таки, на нашу меру этажей этак по десять и выше. Там есть секта или вольница, или ярманка, кто ее знает, в общем ребята-скалолазы. Одеты они черт те во что, похожи на арлекинов, — в женские блузки, с талисманами, с перстнями, в шапочках, вышитых бисером, с кисточками, с гитарами, голорукие, в портках с желтым и красным задом, с большими крестами на груди, в галошах и резиновых тапках, с красными кушаками, с нарисованными усами и бородами, и бровями — все поющие, забирающиеся на самые верхушки скал, играющие там на гитарах. Виды оттуда великолепные, в бинокль того больше, солнце сверкало, жарко, вольно, воздух смолист, крутом совершенно дикие рожи, все это движется, пляшет, выпивает, щупает девочек, и сам делаешься немного хмельным и самому хочется к ним. Одним словом, что-то невиданное и сплошной восторг. Хотя есть много и гадкого, это что пьяные лезут на столбы и разбиваются, что бьют потом бутылки после выпивки и вообще между настоящими спортсменами есть подонки, которые являются на столбы только пошухарить.

Поездка эта все-таки обернется хорошей стороной, когда забудется плохое. А пока плохого много. Вагонная жизнь, теснота, жара, пыль и дым, грязные рубашки, невысыпание. Жара стоит все время невыносимая — 30—35 градусов. Жара эта меня изматывает вконец, неохота ничего делать и ни о чем думать. Кроме того раздражает неправильная организация всего дела — бесконечные совещания, встречи, поездки всем гуртом, спешка и небрежность в работе — ты можешь судить хотя бы по материалам, опубликованным до сих пор в газете. Я ничего почти не сделал для газеты, т. е. мы вместе — Берестов, Захарченко и я — написали

первый путевой дневник. Вся поэтическая мура принадлежала мне. Мы наивно предполагали, что т. к. в газете и так будет много технического и фактического материала, то дневник должен быть поэтическим. Но ты можешь посмотреть, что с нами сделали, напечатав фитюльку «В пути»⁴ — там сплошная информация — из 10 страниц сделали едва ли три, оставив только, так сказать, «технику» — поезда, нефтепровод и т. п. Ну, после этого мы разочаровались, объявили забастовку и только сейчас снова начали кое-что стряпать в таком же духе, т. е. «поэтичном». Не знаю, что выйдет.

Вот, миленькая, моя, такие дела. Время сейчас много — третий час, мы, кажется, прилопотали уже в Тайшет. Письмо это я пошлю уже из Братска. А ты напиши мне в Иркутск на вагон-редакцию так: Иркутск, вокзал, вагон-редакция «Литгазеты». В Иркутск мы приедем числа шестого и пробудем там до 10-го, так что пиши, не откладывая, и авиапочтой.

Обнимаю и целую тебя. Очень плохо, что мамы нет дома, я с ней говорил один раз, когда она оказалась у дяди Феде⁵ — приходится звонить ему. Вообще я как-то одинок теперь. А тебе не звонил, хотя и мог, потому что забыл телефон. Помню В 9 14... а дальше никак не вспомню.

Ну, теперь уже недолго осталось, скоро увидимся. Будь здорова и радостна, не скучай. Крепко целую! Я нарочно многого не пишу, чтобы потом было что рассказать.

Твой Юрий

Опубликовано в Собр. соч., т. 3, с. 385—387.

¹ В июле 1959 года Казаков совершил поездку по Сибири в вагон-редакции «Литературной газеты». См. письмо 10.

² Захарченко Василий Дмитриевич (1915—1999), журналист, публицист.

³ Берестов Валентин Дмитриевич (1928—1998), поэт.

⁴ Заметка «В пути» была напечатана в «Литературной газете» 20 июня 1959 г. за подписью: «Бригада „Литературной газеты“».

⁵ Каманенков Федор Андреевич, брат Устины Андреевны. Жирмунская вспоминала: «Твой родной дядя работал цензором. Это меня озадачило. Во-первых, я впервые видела живого цензора. Не из учебника, а из действительности. Во-вторых, странный получался расклад: ты страдаешь от цензоров всякого рода, от тебя требуют переделок рассказов, за принципиальность не публикуют, а твой дядя как раз и есть один из сатрапов печати. Держался он, впрочем, мило. Угощал вкусным. На твое недовольное бурчание по поводу засилия в книжном деле болванов-чиновников высказался в том смысле, что это пройдет. Нужно иметь терпение. И чиновники будут умнее, образованнее, и непризнанных гениев

признают. А что гонят их, так им же выгоднее. Славу создают, тиражи повышают... „А вот потом...“ — со вкусом намазал он булочку джемом. — „Когда потом?“ — насторожился ты. „Ну, лет через тридцать... Как бы не случилось чего похуже“. И ведь как в воду смотрел...» («Мы — счастливые люди», с. 184—185).

45

22 июля 1960. Койда

Милая моя!

Я опять на Севере, добрался на этот раз почти до Полярного круга и можешь представить мое удовольствие, когда перелистывая в северной избе «Смену» я наткнулся на тебя¹.

Господи, какая ты интересенькая! Чай, тебе теперь письма шлют солдаты и матросы.

Стихи приятные, особенно про сына и мать. Только куры не верещат. Не то слово. Ты что, кур не слыхала?

А в общем, очень это славно, только постарайся не пропадать со страниц журналов.

Большой тебе привет от Коринца, он со мной.

На Севере все время жарко. Только дня 3—4 было холодно. Мы в Архангельске купались днем и ночью. В полпервого ночи — представляешь?

Ну, будь здорова, привет твоим.

Проболтаюсь тут, верно, до конца августа.

Твой Юрий

Опубликовано в книге Т. А. Жирмунской «Мы — счастливые люди» (1995), с. 228.

¹ В журнале «Смена», в № 11 (мартовском) за 1960 г. напечатаны стихотворения «Вожатая», «Милый мой гайдаровский мальчишка», «Я знаю эту улицу...» и «Сын», где были такие строчки: «Бегают дворняга, хвост поджав, / куры верещат у огорода...»

46

21 сентября 1966. Таруса

Милая Тамара!

Получил я твое письмо дня два назад (жена привезла) и, к сожалению, ничего не слышал, конечно.

Я ведь обитаю в Тарусе.
 Но все равно рад за тебя и поздравляю!
 Как твои дела вообще? Как дочка?

Я летом работал, да мало — соблазнов было много: байдарка, мотоцикл, грибы, земляника, купания, рыбалка... Никогда больше не буду работать летом, все равно плохо получается.

Встретил я как-то летом Федю С., жалок он был, как и всегда. И С<имонен>ка видел...

Почему это наш курс весь такой бездарный? Из 30 с лишком человек только трое-четверо болтаются в лит<ерату>ре, печатаются, остальные же канули в Лету в тот самый момент, когда потной от счастья и надежд рукой получали диплом об окончании литинститута <...>

Книжку¹, если не достала, подарю так и быть. Да ведь тебе не интересно, там все старое. Не нравится она мне (т. е. рассказы), чего ее так хватали в Москве? Фик их знает.

Опубликовано в книге Т. А. Жирмунской «Мы — счастливые люди» (1995), с. 229.

¹ Вероятно: «Двое в декабре. Рассказы». М., Молодая гвардия, 1966.

22 августа 1974. Абрамцево

Дорогая Тамара! Ну как, насладились ли ты белыми ночами и встречами с Юшковым¹? Обязалась ли ты отобразить в своих стихах величие Сыктывкара, в котором герой Голявкина², пятилетний мальчик, подметал пристани? Он их подметал так быстро, что скоро ему стало нечего подметать. Тогда для него принялись строить новые пристани, но он успевал их подмести прежде, чем их построят. Он подметал еще пристани, которые были в проекте, а также те, которых в проекте не было. И его дядя, узнав об успехах племянника, воскликнул с гордостью: «Молодец! Пробился в люди!»

Нагляделась ли ты на строительство? Так же там строят, как в твоих Текстильщиках³, или лучше?

Был у меня в Казахстане принципиальный разговор с В. Кожениковым⁴. Он ехал в Караганду любоваться разными промкомбинатами и хотел, чтобы и я, дабы не отставать от НТР, тоже поехал бы в Караганду. А я ему сказал: уж ежели мне так припрет, то я за пятак поеду на завод Лихачева и наслажусь там НТР, а здесь,

сказал я, желаю смотреть на овечек и пастись вместе с ними на джайляу. (Что я и делал с удовольствием!)

Тамара! Не покупай дачу — даже если твой муж, Павел⁵, напишет сценарий, за который огребет большие тысячи! Все лето я ремонтирую свои дома, и конца этому не видится. Я не поехал из-за этого никуда, как предполагал, и все накрылось, уж августу крышка и температура по ночам — 7 гр. (не минус семь, а плюс, а минус в строке — это просто тире, ясно?) И все лето ничего не пишу, все мои гениальные произведения валяются незаконченными, бумага выцветает, строчки пылятся.

Не хочешь ли в Гагру осенью? Я собираюсь туда махнуть числу к двадцатому октября. Буду заканчивать там книжку. Ну, будь здорова. Книги мои храни, я все-таки их у тебя изыму. Геннадий Красильников⁶ умирает — рак. Так сказал мне Слава Марченко⁷. Вот уж и до нашего курса начинает добираться, подлая, а ведь Красильников на год моложе меня! А Симоненок вышел на пенсию. Ты только подумай, а? Помнишь, как он грохал своей сумкой в аудитории и вопил о справедливости? И вот он ее получил в виде мирного пенсионного существования.

Слушай, приехала бы ты ко мне! Хоть в следующую субботу. Я по субботам топлю баню и не работаю. Созвонись с Цыбиным⁸ и с кем там еще? И валяйте. Ехать надо до станции 55 км. Со станции налево. Ну, а адрес ты мой знаешь: Академ <ический> поселок, 43. Найдешь! Или одна приезжай, а то, черт побери, редко мы видимся. А это чревато. Это может кончиться тем, что видать друг друга мы будем только в гробу. Ясно?

Не забывай, пиши, читай мои рассказы, которые незаметно и гениально осеняют нашу родину. Прочти хотя бы «Свечечку». Ее у меня уже просят в Братиславе, хоть и называют почему-то «Светичка». Тоже красиво, правда?

Ю. Казаков

Сколько там у вас улиц Текстильщиков? У тебя 11? Или это две палочки? Но я их на всякий случай скопировал.

Опубликовано с купюрами в книге Т. Жирмунской «Мы — счастливые люди» (1995), с. 229—230.

¹ Юшков Геннадий Анатольевич (1932—2009), поэт, прозаик, драматург. Жил в г. Сыктывкар.

² Рассказ В. Голявкина «Пристани».

³ Т. А. Жирмунская жила по адресу: 11-я улица Текстильщиков, д. 10, кв. 79.

⁴ Кожевников Вадим Михайлович (1909—1984), прозаик. С 1949 — главный редактор журнала «Знамя». Секретарь Правления Союза писателей СССР.

⁵ Сиркес Павел Семенович (р. 1932), кинодраматург-документалист.

⁶ Красильников Геннадий Дмитриевич, прозаик. Жил в Ижевске.

⁷ Марченко Вячеслав Иванович, прозаик, автор документальной повести «Тверской бульвар» (об Литинституте), где фигурирует и Казаков. См.: Вячеслав Марченко. Тверской бульвар: Повесть и рассказы. М., Московский рабочий, 1984, с. 151—163 и др.

⁸ Цыбин Владимир Дмитриевич (1932—2001), поэт, прозаик, эссеист. Поступил в Лит. ин-тут в 1953 г.

48

19 декабря 1975. Абрамцево

Дорогая Тамара!

Как жизнь? Что-то тебя редко стало видно на страницах нашей славной печати. В чем дело?

Я наконец-то стал расквашиваться. Давай соревноваться — кто больше напишет, а?

Сижу в Абрамцево, мать в Москве, и я последнее время вовсе один. И даже не скучаю. Представь себе! День и ночь переворачиваю так и сяк свои рассказы.

Был в Новгороде — полный восторг, я бы там подольше пожил, да к 1 сент <ября> надо было Алешку в 1 класс провожать¹.

Речи были и духовой оркестр играл, и почему-то марш, похожий на марши, которыми провожали на фронт. Мы все даже прослезились.

А теперь Алешка яиц не ест. В школе от ребят он узнал, что яйца вылезают у курицы из попы, и теперь не ест, брезгует. Плоды просвещения.

Что новенького на литфронте? Я в ЦДЛ не был с тех пор, как мы с тобою фотографировались. И намериваюсь не бывать там вообще. Аминь!

Что ты пишешь?

Не знаешь, открылся ли дом тв<орчества> в Пицунде? И сколько туда путевки стоят?

Вообще как ты живешь, как дочка? Хватает ли денег? Муж обеспечивает тебя?

И телефон свой напиши, у меня нету.

А вообще приехала бы ты как-нибудь, вот каникулы будут, приезжай с дочкой на лыжах покататься, ночлегом обеспечу.

Печку во флигеле натопите и будете отсыпаться. Или ты в Малеевку?

Будь здорова, всего тебе самого, самого, пиши больше, ты же талантливая! А то вас всех Щипахина² обскачет! Ух! Эта Щипахина...

Пиши мне, не забывай.

Твой Ю. Казаков

11-я ул. Текстильщиков... Ах, ах! А хорош был адрес: ул. Горького! Дом забыл, а кв. № 24 — помню! Лифт помню, подъезд... Помнишь, ночью на бульваре таксист присел к нам на лавочку и сказал мне: «Пинжак будешь, если такую бросишь!» И телефон: Б9-50-14, не вру?

Опубликовано с купорами в книге Т. А. Жирмунской «Мы — счастливые люди» (1995), с. 230—231.

¹ См. письма 122—130.

² Щипахина Людмила Васильевна, поэтесса.

49

5 апреля 1977. Абрамцево

Дорогая Тамара! Я иду по твоим стопам: был в Дубултах. Да, но на этот раз ты Новый год встречала в Малеевке — значит теперь мне надо ехать в Малеевку. Жил я в Дубултах полтора срока, изрядно надоела мне эта гостиница с дневными сипящими, гудящими, зудящими и звенящими лампами, с паршивой кормежкой в столовой, с колхозниками, которых понатыкали, бедняг, по трое в комнату, которые рвались в столовую организованно и разом, а когда я по писательской привычке приходил обедать, скажем, не в 2 ровно, а в полтретьего, на меня глядели косо.

Сбитнев женился на Ганиной¹, ты знаешь, конечно? Они оба два ходили рядом, гренадерским шагом, не разлучаясь ни на секунду. Такая любовь! Каждый писал по повести. Хотя, кажется, Ганина писала роман. Во!

А я пил горькое пиво, усмехаясь в глубине души. Пивко там хорошо, копчущки хороши тоже. И вообще латыши живут лучше нас. Только вот погода этой весной была из рук вон. За полтора месяца полтора солнечных дня.

Я написал рассказ «Во сне ты горько плакал», сам заплакал, решил пока рассказов не писать (хорошенького понемножку),

заялся сценарием², который теперь заканчиваю, вышло две серии, хоть договор на одну, не знаю, что будет на «Мосфильме». Рассказ в свое время узришь в «Н<ашем> Совр<еменнике>» — там про Митю Голубкова³, как он застрелился, про меня и про сына. Фильм «Великий самоед» увидишь года через два. Ах, какой будет фильм! Как роман Фицджеральда «Великий Гетсби». Ей-богу!

Впереди одни ремонты: ремонт дачи, ремонт машины...

Как твои дела? Что-то твоих стихов не видать, хоть, признаться, я, как читатель, человек отсталый. Я-то не пишу откровенно, не хочется. А ты? Не пьешь, не куришь. Как женщина, должна быть склонна к усидчивой кропотливой работе. Должна писать стихи, как в старину шили на машинках Зингера. Целыми днями, бывало, слышишь за стеной стрекот. Была бы богата, раскатывала бы по Европам — у нас ведь, судя по газетам, прекрасно налажен культурный обмен. Говорила бы в Лондоне по-английски. Пила бы дайкири и мартини... А ты?

Поздравляю тебя с пресветлым Христовым Воскресеньем! Напиши по этому поводу стихи. Почитай Евангелие и напиши. Как доктор Живаго.

Будь здорова, милая Тамара, целую тебя и желаю самого хорошего.

Где-то Катя Судакова, где-то Румарчук, Медведева, Аугусткална, Кановас, Шипош⁴? Все в нетях. Одна Шипахина, дай ей боже здоровья, за вас всех отдувается и радуется нашего советского читателя своими прогрессивными стихами, выступает, участвует в неделях и декадах — молодец! И любви не чурается, прямо так и пишет: хочу любви! Во!

Тамара, влюбись в меня опять, начни страдать, и выдай цикл стихов, а?

Пиши мне, ладно? Я до лета в Абрамцево.

Ю. Казаков

Отрывок опубликован в «Литературном обозрении» (1986, № 8).

¹ Сбитнев Юрий Николаевич (р. 1931), прозаик. Ганина Майя Анатольевна (1927—2005), прозаик, публицист.

² Фильм по сценарию Казакова «Великий самоед» был поставлен на «Мосфильме» в 1982 году режиссером А. Гордоном.

³ Голубков Дмитрий Николаевич (1930—1972) — см. наст. изд., с. 232—233.

⁴ Румарчук Лариса Ильинична, поэт, прозаик, переводчик. Аугусткална Майя Вильгельмовна, критик. Собрать необходимые сведения об остальных однокурсниках Казакова по Лит. ин-ту, к сожалению, не удалось.

22 марта 1978

Милая, милая Тамара!

Поздравляю тебя с днем рождения и не вижу тебя теперешнюю, а вижу в панамке с пепельными косами с удивительно синими глазами, какой я тебя запомнил на всю жизнь с лета 1954 г.

Обнимаю, целую ручку, всегда твой

Ю. Казаков

Опубликовано в «Литературном обозрении» (1986, № 8).

В. В. КОНЕЦКОМУ

23 сентября 1959. Москва

Привет, бродяга, кэп!

Мне хочется еще раз поздравить тебя с рассказом¹ — прочитал его в журнале и он понравился мне очень. Ты молоток. И тебя печатают на последней странице обложки, преподносят тебя как рахат-лукум читателям и читательницам. Меня вот нигде не преподносят, не могу я никак соответствовать.

Новости: был в «Октябре», говорил со всеми, изливалось на меня масло и мирра и разные вообще клейкие слюни и ушел я от туда липкий и сладкий — хоть мухам садиться. Рассказы мои идут твердо — это в сборнике молодых²: «Легкая жизнь» и «Звон брегета». А твой Чехов («Две осени». — И. К.), зануда, идет, но не твердо. Он под сомнением. В нем (не в пример моему Лермонтову) («Звон брегета». — И. К.) слишком выпирают источники. Слишком нету своего взгляда на этого хмурого представителя светлой литературы. Я, конечно, тебя защищал. Я говорил, что взгляды есть, а что наоборот источников нету. Я говорил, что ты вообще ничего не читал о Чехове, что и Чехова не читал, что там все придумано — как же могут выпирать источники?

Не знаю, чем дело кончится. При следующей встрече я опять буду вопить за тебя. Но если саморазоблачатся, то я вообще худо верю в выход этого сборника. Что-то они долго слишком собираются. Вообще такого рода сборники — вещь маловероятная.

И еще новость — мне из Польши письмо: перевели моего «Отщепенца» («Трали-вали». — *И. К.*) в журнале «Современность». Простят фотографию и биографию. И вообще будут издавать сборник.

Ну вот, старик, груз новостей сброшен на твои плечи, теперь мне осталось только сказать, что девочка моя приехала в Петрозаводск и мы с ней уединились на десять дней в Кижях, питались рыбой, молоком и картошкой. Так что значит не зря я терпел все эти муки с Коринцом, бог меня пожалел и вознаградил.

А скоро наверно уеду я в Пицунду недели на две. Буду там говорить по-французски с твоей мамой³.

Как твои тигры и львы? Небось уже операторы протирают свои окуляры, чтобы снимать их⁴?

Ну вот. Нагибин⁵ бросил пить.

Я тоже.

А старику снились львы.

Твой Ю. Казаков.

Напиши мне о себе, а то скоро уеду.

Конечский Виктор Викторович (1929—2002), прозаик, киносценарист.

Письма печатаются по машинописным копиям, снятым с оригиналов, предоставившихся мне В. В. Конечским в 1980-х годах.

Отрывки из письма 51 см.: Виктор Конечский «Опять название не придумывается» («Нева», 1986, № 4) и в кн. «Некоторым образом драма» (Л., 1989).

¹ Вероятно, рассказ «Если позовет товарищ» («Знамя», 1959, № 9).

² Рассказ «Легкая жизнь» впервые был опубликован в «Правде» (1962, 28 декабря), «Звон брегета» — в «Московском комсомольце» (1960, 15 сентября), рассказ Конечского «Две осени» — в его книге «Камни под водой» (1959).

³ Любовь Дмитриевна Конечкая (1893—1971). В 1912 году окончила частный французский пансион Люси Ревиль в Петербурге, свободно владела французским языком; с ноября 1913 по июль 1914 состояла в труппе Дягилева артисткой миманса (позже — в Мариинском театре), побывала с труппой в Берлине, Праге, Париже, Лондоне. 19 апреля 1917 года вышла замуж за Виктора Андреевича Штейнберга (1892—1952). В 1927 году у них родился сын Олег, в 1929 — Виктор.

⁴ См. письмо 54.

⁵ Нагибин Юрий Маркович (1920—1994), прозаик, киносценарист. Писал о Казакове: «Свое и чужое» («Дружба народов», 1959, № 7), «Из записных книжек» («Дружба народов», 1987, № 1).

8 декабря 1959. Малеевка

Стыдно тебе, дядя, плакаться! У меня ничего нигде не идет! Поздравляю тебя с книжкой¹, хотя, конечно, 15 тыс. это как серпом по яйцам. Эта книжка как-то компактнее, круглее, лучше. А это значит — быть тебе писателем, если, конечно, не сопьешься, дурак. Мне Коринец рассказывал про тебя, так аж я поморщился. Вот. Непотребство все это. Какого черта, в самом деле! Уезжай-ка давай из Питера, приезжай в Малеевку, тут все старичье, пить не с кем, драться тоже, разве со мной только. Приезжай, попишем, тряхнем стариной, вспомним 57 год, когда меньше пилось, больше работалось.

А то, что эта книжка лучше — факт, и 1:0 в твою пользу. Ведь, знаешь, почти у всех вторые книжки как-то хуже выходят, слабее, водянистее.

Насчет водянистости, правда, оговорка у меня есть, уж как-то все больно здоровые рассказы ты пишешь — два-три листа, подумать только!

Как только получил твою книжку, собрал тут нескольких и стал читать. Прочли Чехова и Кока Ваську («Две осени» и «Наш кок Вася». — И. К). Чехов очень понравился, хотя и компелятивный рассказ, как я теперь понял (я недавно почитывал письма Чехова). А на Ваське все крепились, но как дошли до того, как механик штаны свои Ваське отдает, так и заревели, ей-богу! И я ревел, сволочь этакая. Ну да ладно, молоток ты, словом, дядя.

Зашился я со сценарием². Ты, дурак, недоволен, что продал право экранизации, а я так наоборот, жалею, что не пришла эта гениальная мысль мне раньше в голову. Ужасно занудистое дело эти сценарии. И впредь, если кто-нибудь вознамерится поставить фильм по моему рассказу, продам я его с потрохами за милую душу.

У вас там в Ленинграде много гениев развелось; но ты им не завидуй, даже больше — не думай о них. Ни хрена это не гении, это просто люди, принимающие других людей за круглых идиотов. Гениальничают они обычно год-два, а потом как сквозь землю проваливаются. А ты вот работаешь упористо, ты не гений, но ты писатель, и если гениев сейчас у нас вообще нету, то и писателей кот наплакал.

Видишь, какие я тебе слова говорю. Это я нарочно, чтобы ты не хныкал. И бросай скорее кино! — на рассказах заработаешь в сто раз больше, да и потом рассказы — твоя стихия.

Ремарк молодец. Тут живет его переводчик³, так я даже как-то на переводчика с робостью гляжу, как будто это половина Ремарка. (Он переводил «Тр<иумфальную> арку».)

Так-то, дядя. Хочется повидать тебя, да неохота в Питер ехать — «север вреден для меня».

Передай мой привет и соболезнования М. С. Довлатовой⁴.

В Москве было собеседование с молодыми, с коими говорил Щипачев⁵. Мы тоже выступали и требовали 1) посылать нас за границу, 2) омоложить за счет нас редколлегии толстых журналов.

Ну, будь здоров, большой привет маме и брату⁶.

Остаюсь всегда любящий тебя

Ю. Казаков

И не завидуй ремарковским героям — двойной кальвадос или мартины, — это всего-навсего 60 гр. Далеко им до нас!

Письмо не публиковалось.

¹ «Камни под водой: Рассказы» (Л., Советский писатель, 1959).

² Речь идет о сценарии по рассказу «Манька».

³ Роман Э.-М. Ремарка (1898—1970) «Триумфальная арка» (1946) в 1959 году перевели Б. Кремнев и И. Шрайбер.

⁴ Довлатова Маргарита Степановна, редактор изд-ва «Советский писатель».

Во второй половине 1950-х — начале 1960-х при Ленинградском отделении издательства «Советский писатель» под руководством Л. Н. Рахманова и М. Л. Слонимского работало объединение начинающих прозаиков, откуда вышли Александр Володин, Виктор Курочкин, Валентин Пикуль, Виктор Конецкий, Виктор Голявкин, Глеб Горышин, Андрей Битов, Валерий Попов и другие известные писатели. Печататься они начинали в ежегодном альманахе «Молодой Ленинград», составителем которого (и куратором объединения) была М. С. Довлатова, по ее признанию, «пожизненно влюбленная в чужие таланты». Сергей Довлатов, ее родной племянник, вспоминал: «...основная идеологическая нагрузка ложилась именно на нее, поскольку Рахманов был беспартийный, а моя тетка — давним и более-менее убежденным членом партии. Рахманов был известен как очень культурный, благородный и доброжелательный человек, а о своей родственнице мне говорить куда сложнее. Я знаю, что она была из числа так называемых „прогрессивных редакторов“, старалась удержаться в своей работе на грани дозволенной правды, восхищалась Пастернаком и Ахматовой, дружила с Зощенко, который в свою очередь относился к ней весьма дружески, о чем свидетельствуют уважительные и даже ласковые автографы на его книгах...» (См. главу «Наши университеты» в записках В. Конецкого «Кляксы на старых промокашках». СПб., 1997.)

⁵ Щипачев Степан Петрович (1898—1980), поэт, в 1959—1963 возглавлял Московскую писательскую организацию.

⁶ Базунов Олег Викторович (1927—1992), см. письмо 63.

53

21 марта 1960. Москва

Здравствуй, Витя!

Вчера «Знамя» в лице Дмитриева¹ заказало мне статью о тебе. Вот так, старик, теперь ты закури сигарету, прищури правый глаз, сядь за машинку и напиши мне большое письмо, в котором изложи свое кредо, т. е. чего ты хотел и хочешь сказать своими рассказами. Я это прошу потому, что могу не точно тебя понимать, да и никто, вероятно, так не знает, чего, собственно, хочет писатель, как этот самый писатель.

Видно доля моя такая — поддерживать своим могучим словом всяких таракашек, копошащихся в ногах литературы. То Горышин², то Коринец³, то ты...

А в общем я рад, что могу тебя поругать, стервеца, держись, старик, полетят от тебя пух и перья!

Дела у меня плохие, везде застопорилось и нигде наверно ничего не выйдет. Посему скрываюсь я, яко дым от огня, и уезжаю в начале апреля в Дубулты. Постарайся написать мне до конца марта, чтобы я получил твое письмо, а в Дубултах я уж буду писать статью.

Как тигры⁴?

Добиваю еще сценарий — вот занудная штука!

Прощай, Витя, поклон матушке и брату. Как-то у вас там в Питере? Небось худо? Поехал бы ты куда-нибудь в дом тв<орчества>! Только не в Дубулты! Поезжай в Ялту или Коктебель!

Что за семинар молодых был у вас и участвовал ли ты в нем?

Ну ладно, всего доброго! Пиши!

Юрий

Меня начали переводить в Югославии, прислали письмо: господину Казакову, вот собаки!

Письмо приводится в воспоминаниях «Опять название не придумывается» («Нева», 1986, № 4).

¹ Дмитриев Самуил, сотрудник редакции журнала «Знамя».

² Рецензия «Щедрость души» на книгу Г. Горышина «Хлеб и соль» (Л., Советский писатель, 1959) напечатана в «Литературной газете» (1959, 14 июля).

³ Рецензия «Добрый талант» на книгу Ю. Коринца «Тридцать три попугая» (М., Детгиз, 1959) напечатана в «Литературной газете» (1960, 3 марта).

⁴ См. письмо 54.

54

7 сентября 1960. Москва

Милейший кэп!

Ты меня узнаешь? Или окончательно погряз в блаженстве своего величия? А я, бедный, хочу тебя порадовать. Твое имя мелькнуло вкупе с моим в варшавском сборнике сов<етских> рассказов. Ты там объявился со своим Росомахой («Путь к причалу». — И. К.), я — с «Манькой». Это очень неплохо, старик, хотя и не платят они, собаки, денег. Но все равно! Смотри на это в высшем смысле. Это, знаешь ли, некоторая честь — доказывать полякам, немцам и прочим шведам, что наша литература существует и что она вовсе не дала дуба, как в этом уверены некоторые прочие шведы. Это есть миссия. Нам надо не учиться у них писать, а учить — а к этому идет, раз вышли на европейскую арену такие писатели как Виктор Конецки. (Это тебя так по-польски именуют — Конецки.) При каждом новом переводе они будут отбрасывать от твоей фамилии по букве, пока не останется Конец.

Увидишь Горышина¹, скажи, что и он появился на Западе, а именно в чехословацком журнале «Светова литература» и что прекрасные там к нему иллюстрации. Есть там также и Ричи Достян². Есть и твой лучший друг Э. Шим³. Вообще мне видно суждено возглавлять вас чертей, потому что каждый раз к какому-нибудь моему гениальному творению пристегивают на закуску несколько ваших вшивых рассказов.

Но, старик, иллюстрации там дивные, и мне даже несколько стыдно стало, когда к таким фиговым вещам как рассказы Достян и Шима рисуются такие прекрасные иллюстрации.

«Светова литература» № 3 за этот год, так и скажи Горышину. Хотя, очень может быть, он уже знает, получил и наслаждался.

Читал я и статью о тебе в «Литгазете»⁴, очень тебя поздравляю, ничего особенного в ней нет, но все-таки очень хорошо, что они тобой заинтересовались. Конечно ты и тут не утерпел и слизнул один свой рассказ у меня, другой у Нагибина⁵. Кстати, напиши

Нагибину и пусть он тебе вышлет бутылку коньяку — я-то помню, что не ты у него, а он у тебя слизнул свои «Пути-дороги», а вот видишь как оборачивается. Ну а я тебя прощаю.

Был я на Севере, очень славно съездил, и теперь с натугой ворошусь в своих записках и пишу не более, не менее как путевые очерки и не более, не менее как листа на четыре⁶. Не все тебе писать свои пухлые рассказы, надо и другим...

Вообще, кэп, славно жить на этом свете, хотя и сидишь ты сейчас как обычно, без денег. Все-таки славно чувствовать в себе какие-то силенки, видеть мир Божий, обливаться слезами и сопеть носом от обилия в нем хорошего, настоящего.

Был я в Печорах, городок божественный, женщина со мной была того лучше, забирались мы и в Эстонию и так там, милый мой, хорошо, что я жалею — почему я не эстонец.

От Москвы я совсем отбился, не живу в ней и дня. Только приехал и вот уже уезжаю на Оку. Пиши мне, пожалуйста, по такому адресу: Тульская область, Заокский район, п/о Страхово, дом Поленова, Ю. Казакову. Буду я там до октября.

Варшавяне попросили у меня твой адрес, я им его выслал, так что ты скоро получишь сборник со своим Росомахой, если не получил еще.

Как твоя повесть и твой фильм?? У меня в будущем году хотят снимать «Странника»⁸, но я, как ты догадываешься, в это мало верю.

Будь здоров, Витя! Привет маме и брату.

Твой Ю. Казаков

С сокращениями печаталось в книге Конечского «Некоторым образом драма» (с. 28—29).

¹ Горышин Глеб Александрович — см. письма 64—78.

² Достян Ричи Михайловна — см. письмо 4.

³ Шим Эдуард Юрьевич — см. письма 79—87.

⁴ Речь идет о статье Л. Анненского «Росомаха рубит трос» («Литературная газета», 1960, 7 июля).

⁵ Нагибин Юрий Маркович — см. письмо 51.

⁶ Имеется в виду «Северный дневник» («Знамя», 1961, №№ 3—4).

⁷ Картина «Полосатый рейс» (сценарий В. Конечского в соавторстве с А. Каплером, режиссер В. А. Фетин, оператор Д. Д. Месхиев, редактор С. А. Пономаренко) была поставлена на «Ленфильме» в 1961 году.

⁸ Фильм поставлен не был.

15 января 1961. Москва

Здорово, бродяга, старый ты пес!

Не презирай сонета — знаешь? Мы тебя с Шимом ждали, очки насквозь проглядели в клубе, но ты, подонок, не появился. С Евушенкой¹ повелся, да? Мы, значит, для тебя уже низшая раса?

Как ты там чирикаешь? Что ты там выкапываешь на бумагу? Небось пьешь?

А я сценарий кончил. Гениальными мазками набросал монастыри, сумерки, людей и прочую бодягу, вверх режиссера в сумеречное состояние — и умылся. Теперь душа с них вон, если даже не возьмут, то хоть аванс мой, фик они его теперь с меня требуют.

Но — есть слухи — нравится Ромму² и еще каким-то хлюстам из сценарного отдела. Завтра худсовет. Я пойду. Я, старик, пойду. И такого им там выдам, если они что-нибудь мне будут плести, какие-нибудь там поправки, так вот я такого им выдам, что этот день войдет в историю кино.

Я получил письмо из Праги от Кадлецевой³. И очень хорошую статью обо мне некоего Милослава Вагнера. Статья тебя не интересуется, конечно. Но вот что тебя наверняка заинтересует. Кадлецева пишет: «Я прочитала „Камни под водой“. Некоторые рассказы мне очень понравились. Попробуем доказать нашим друзьям в издательствах их качества!»

Понял, старый ты пес?

В свою очередь я ей написал, что ты, хоть и бездарен, — достоин все-таки ее внимания и что у тебя выходит в «Знамени» повесть⁴ и пусть она ее переведет. Вот что я ей написал.

Мой очерк («Северный дневник». — И. К.) перенесли в № 3 — таким образом ты лишился мощного конкурента, а журнал (т. е. номер) обеднел. Все из-за проклятых художников. Они затянули, а теперь типография не успевает сделать клише ко второму номеру. Грустно это.

Приедь на денек! А то я где-то в конце месяца смоюсь в Малевку и мы долго можем не увидаться.

Будь здоров! Поздравляю тебя задним числом с Рождеством, Крещеньем, Старым новым годом и желаю всех благ и колоссальных литуспехов!

Твой Ю. Казаков

Отрывочно включено в «Опять название не придумывается» («Нева», 1986, № 4).

¹ Евтушенко Евгений Александрович, см. письмо 18.

² Ромм Михаил Ильич (1901—1971), кинорежиссер, профессор ВГИКа.

³ Кадлецева Яна, переводила рассказы Казакова на чешский язык.

⁴ «Завтрашние заботы» («Знамя», 1961, № 2).

56

16 мая 1961. Коктебель

Старик, спешу поделиться с тобой своей радостью — ибо больше не с кем. А ты поймешь ее, эту мою радость, где-то ты ее поймешь. Кстати, заразное слово это «где-то», его у меня вдруг обнаружилось в рассказах — как вшей на покойнике. И я его давлю. Так вот, повторяю, ты поймешь, почему я сижу сейчас за тремя бутылками пива и за таранью, рву ее зубами, жую, пускаю на грудь себе слюни, подбираю их и пью пиво, круто посоленное. Кстати, не задумывался ли ты как писать «посоленный» или «посоленый»? Из-за этого загадочного слова появление на свет моего рассказа «Трали-вали» задержалось ровно на три дня. Я ходил вокруг машинки, изредка бегал в клуб выпивать, и все думал, как написать? Там у меня в первой фразе есть слово «недосоленный». Так вот я не знал, как его посолить.

Короче говоря, собака прибежала! Она прибежала, вернее пробежала, и это произошло за рекордное время — три часа! Ура! За три часа, старик, я отгрохал рассказ и тарыхтел на машинке так, что под моим окном собралась вся улица. Размер этого шедевра 13 стр. («Вон бежит собака!» — *И. К.*).¹ Но этого мало! На другой день, разъярившись, я сел за новый рассказ и затымутараканил его за шесть часов («Осень в дубовых лесах». — *И. К.*). Мало того! Сегодня я сел за машинку и, стуча на ней, как на кастаньетах, нащелкал еще пять тысяч слов и обрел новый рассказ про войну («Зависть». — *И. К.*). Старик! Я плакал, пища его, я сморкался одной рукой, шмякал соплю об пол, а другая рука в это время выбивала глаголы и существительные.

Три рассказа, старик, за три дня! Теперь я, как падишах, пью пиво и жру тарань. Я начхал на всех хемингуэев и разных прочих ричидостян. Теперь я могу ехать на Север. Сегодня я долго думал кому послать телеграмму, о том, что у меня столько изумительных рассказов. Я сперва хотел в «Огонек», потом — в «Литгазету», потом в «Знамя». А потом я раздумал, хотя эти рассказы жгут мою душу и требуют немедленного опубликования.

Ах, ах, не те времена, старик! Если бы это были раньшие времена, то в «Новом времени»² появилась бы заметка: «Знаменитый писатель Ю. Казаков, который сейчас находится в Коктебеле, закончил четыре новых рассказа. По слухам, право первоиздания он предоставил газете «Правда». Читатели с нетерпением ждут опубликования новых шедевров гениального русского писателя, о котором Толстой сказал, что он второй Толстой. Соб<ственный> корреспондент Трахман». Анонсы, авансы... Все приятные слова, кстати, кроме «алиментов», начинаются на «А». В Бухаресте полно магазинов, которые называются почему-то «Алиментаре», что приводило наших женщин в восторг.

Да! Знаешь, Витька, мое поведение повергло моих хозяев в уныние и испуг. Я не сказал им, конечно, что я писатель. Они привыкли к отдыхающим. Они привыкли, что нормальные люди встают утром, завтракают и идут на море до обеда, потом они обедают и идут опять на море и т. д. И вдруг появился поц, который не выходит из комнаты совершенно, ложится спать в три часа, встает в семь и издает подозрительно шелкающие звуки. Они потребовали с меня паспорт и залог 10 руб. И сказали, что если б знали, то никогда не сдали б мне комнату, так как неизвестно, чем я занимаюсь вообще и не вредный ли я для общества человек.

А как тебе понравится такая деталь? «Телята с наслаждением паслись на седых озимых и часто мочились, задирая хвосты и расставляя курчавые в паху ноги. И там, где они мочились, появлялись изумрудные пятна обрызганной ржи» («Осень в дубовых лесах». — И. К.). Дело происходит в осенние заморозки. Это я сам придумал, ей-богу!

Я еле пишу тебе это письмо, т. к. устал — это идет нынче седьмая тысяча слов — и поэтому закругляюсь. Я тебя страшно люблю! Напиши мне в Москву, ибо здесь мне делать больше нечего и я скоро уезжаю, только покупаюсь и загорю дня за три-четыре. Целую!

Твой Ю. Казаков

Большуший привет маме! И еще просьба, если вам напишут из Ялты насчет моей книжки «На полустанке», кот<орая> числится за твоей мамой, то ты ответь, что она отдала ее какой-то женщине с просьбой, чтобы та сдала. (Я эту книжку взял у вас и затаил, короче спер в Ялтинской библиотеке, т. к. у меня нету.)

Включено с сокращениями в воспоминания «Опять название не придумывается» («Нева», 1986, № 4).

¹ Прочитав рассказ «Вон бежит собака!», Конецкий написал на Казакова пародию под названием «Ой, ты Северное море»:

«— Все мы на земле странники, — говорил пожилой, бородатый, одетый в армяк, слегка испачканный кровью барана, горбоносый, гнусавый, с залысиной на затылке колхозник из села Ромашино: села, что раскинулось, сжалось, разбежалось, примедлилось по-над странным, тревожным, дурманящим морским запахом.

— И то верно, милоч, — соглашалась с ним пожилая, морщинистая, слегка испачканная коровьим навозом, с перебитым носом седая колхозница.

Они тянули невод из холодного моря, на которое опрокинулось холодное небо. От моря тянуло запахом моря, воды, водянистым, мокрым, влажным, подмоченным запахом...

По берегу бежала собака, оставляя за собой мелкие, острые, быстрые следы своих мохнатых, когтистых лап. Собака бежала совершенно слепая, ее окружал, опушивал, начинял запах дичи.

— Вон бежит собака, — пробормотал кто-то из них и бросил невод.

Собака блеснула странным, диким, соленым глазом и промолчала.

А море все говорило свое, извечное, непонятное, лизало холодные берега. И смешно было, странно, глупо, невесело смотреть на людей и собаку, когда рядом говорило свое извечное, северное, белое море».

Эту пародию, напечатанную в «Литературной газете» 15 сентября 1962, Конецкий включил в свои воспоминания «Опять название не придумывается» (Собр. соч. в семи томах, т. 7, СПб., 2002, с. 353—354).

² Газета «Новое время» издавалась в Петербурге с 1868 по 1917 год (с 1876 — А. С. Сувориным).

57

29 марта 1963

Обеднел, обеднел, старик! Даже чернил не стало адрес написать, еле-еле нацарапал — нехорошо!

В Питер я не поехал, как-то раздумал, ты уж извини меня. А у меня к тебе просьба будет: поговори-ка ты там у себя насчет злосчастной моей «Маньки»¹, авось кто-нибудь из режиссеров и согласиться ее ставить, я бы тогда сразу приехал договор подписывать.

Новости в Москве сам знаешь какие.

«Нестора и Кира»² — это я такую бадягу написал еще в прошлом году — отодвинули в «Москве» еще на два месяца. В Америку мне отказали. В мае должен был состояться конгресс Европейского сообщества писателей, меня и вызвали в Москву ради такого дела, но тут же стало известно, что конгресс не состоится. Я и завернул оглобли. Начинают меня мало-помалу вспоминать в печати и нехорошо вспоминать, а это мне совсем ни к чему, если учесть,

что в этом году заряжены у меня разные книжки в разных издательствах. Пожалуй, начнут их вскоре раскурочивать.

Ты вот что, ты возьми свой драндулет, поезжай в публичную вашу библиотеку, возьми там «Октябрь» № 3³, выйди, залезь на крышу своего драндулета и читай. Там статья большая про разные разности, там про тебя и меня здорово написано. Если еще не видел, поинтересуйся, большое удовольствие получишь.

Вношу предложение: если в самом деле поедешь на машине в Малеевку, так ведь сто верст для тебя не крюк, заедешь в Москву, возьмешь Шима⁴ и приезжай в Тарусу. Адрес — ул. Декабристов 2/а, телефон 165. Можешь даже из Питера позвонить, дают быстро, Шим очень хочет навестить меня в моем заточении и ждет, чтобы ты за ним заехал. В Тарусе я пробуду числа до 13 апреля, потом домой на Пасху, а потом мы с Г. Семеновым⁵ поедем в Псковскую область на весеннюю охоту. Я и сапоги себе купил охотничьи, аж до самых яиц. А наемни мне сон приснился, будто мы с тобой охотимся и стреляем разных скворцов и дроздов почему-то — серьезно.

Наконец и к нам весна пришла и грачи прилетели, тепло, и мне с непривычки даже душно в моем доме, ибо исхолодался я в нем за зиму.

А не хочешь ли с нами на охоту? В самую что ни на есть глухомань, а? Там, понимаешь, чай будет из березового сока, вальдшнепы будут летать, утки крикать, всякая такая живность, народишко какой-никакой вокруг будет мотаться, слова всякие произносить насчет там соцсоревнования, подъема зябей и прочего. Ты ведь этого чай не видал, а? Глядишь и сюжетик какой-нибудь на тебя накатит сухопутный. И командировку возьмем в «Лит<тературной> России». Они дадут. Семенов с ними говорил. И на твоей машине, а? Оставили бы ее там, откуда дальше проезду нет, а сами бы на лодках или на лошадях добирались бы до места. Гляди, старик! Весна ведь раз в год бывает. А годов-то нам отпущено ой как мало. А потом бы поехали мы с тобой в Крым, недельки на две, очень я рад, что ты не пьешь, и я бы глядя на тебя не пил, и повкалывали бы в четыре руки какие-нибудь прозаические шедевры, как в былое время, отвели бы душу — и назад. А там и лето, там уж всякие путешествия и прочее. А? Отпиши, милый, — вот было бы славно, с псковщины да с вологодчины, да прямо в Крым.

Ну ладно, закругляюсь и поплетусь на почту. День больно хорош.

Будь здоров.

Посылаю тебе одну из статей, это не к тому, чтоб похвалиться, а к тому, что все-таки французы подонки, до сих пор воображают, что мы с тобой на нартах ездим и медведей стреляем, в чем публично и расписываются — полюбуйся на снимок, украшающий эту статейку.

Целую.

Твой Ю. Казаков

А «На острове» — помнишь ленинградский семинар? — наконец-таки вышел в «Знамени»⁶, но в урезанном виде. Вот так, старик, — шесть лет надо ждать! Учись у меня терпению.

Отрывок включен в воспоминания «Опять название не придумывается» («Нева», 1986, № 4).

¹ Еще 16 января 1962 Казаков писал в Ленинград редактору «Ленфильма» С. А. Пономаренко: «Старуха, милая, предложи у себя экранизировать рассказ «Манька», 5 частей. Пусть твои руководящие товарищи прочтут рассказ, если он придется им в жилу, пусть вышлют мне договор и аванс. Сценарий у меня есть, но его как бы нету. Я получу аванс и вскоре сценарий вышлю. Этак где-нибудь в феврале. А там можешь и не ставить — мне деньги очень нужны. Сценарий очень хороший — мне многие говорили...» (архив И. С. Кузьмичева).

² Рассказ «Нестор и Кир» был напечатан с купюрами в алма-атинском журнале «Простор» (1965, № 4), полный текст — в «Новом мире» (1990, № 7).

³ Вероятно, речь идет о статье А. Дремова «Образ молодого современника» («Октябрь», 1963, № 3).

⁴ Шим Эдуард Юрьевич — см. письма 79—87.

⁵ Семенов Георгий Витальевич (1931—1992), прозаик, близкий друг Казакова. См. письма 95—105.

⁶ Рассказ «На острове» напечатан в «Знамени» (1963, № 3).

14 июня 1979. *Абрамцево*

Дорогой Виктор!

Вот видишь, и дожили мы до твоего 50-летия! Поздравляю тебя, хоть, собственно, поздравлять не с чем особенно, но что делать, если первый наш юбилей падает не на двадцать лет, а на пятьдесят. Утешимся хотя бы тем, что это первый юбилей, и дай тебе Бог дожить хотя бы до третьего.

Не так давно попалась мне в библиотеке твоя книжка «Соленый лед»¹, я ее прочел разом и должен тебе сказать, что давно не

испытывал подобного удовольствия, молодец ты, и очень жалко, таких книжек у тебя мало, жалко особенно, если учесть, что талант во все времена редок.

Ты, видимо, из кино выбрался, а я на старости лет в него втяпался, убил два года, и, как водится, оброс «соавторами», ибо, как мне сказали, ничего я в кинематографе не смыслю. Зато они смыслят и фильм² выйдет фиговый, как водится, зато съемки будут на Новой Земле и я заранее предвкушаю наслаждение от вещей издавна мне милых, как то: ото льдов, полыней, тюленей, собак, могилы Баренца (там у меня Русанов с Вылкой идут вокруг Новой Земли) и прочих северных прелестей. Там и война есть, тихая война, подлодка всплывает в полынь, и немчики высаживаются на берег (им метеобаза нужна для рейдеров), так что и постреляем маленько...

Ну, и гольца поедим во всяких его ипостасях и прочие удовольствия. Вот, присоединяйся к нам консультантом, а? В августе, м. б., поедим на «выбор натуры» — присоединяйся, подышишь дней десять солеными льдами, в Арх<ангель>ске, говорят, новую гостиницу отгрохали на уровне мировых стандартов.

Мелькнуло, что у тебя в «Неве» или «Звезде» идет новая порция твоих морских рассказов³, прислал бы, а то я тут в лесу, в Москву в кои веки выберусь...

Будь здоров, Витя, пиши больше, от души обнимаю и люблю. Если считать с 57-го года, то я тебя вот уже 22 года люблю. Не плачь.

Будешь в Москве, и выберется свободная минута, приезжай в Абрамцево! Если я затею ремонт, то проколачиваюсь тут все лето. Ехать надо с Яросл<авского> вок<зала> до станции пл<атформа> 55 км. С поезда — налево, ну а тут язык доведет⁴.

Твой Ю. Казаков

141352 Абрамцево Мос<ковской> обл<асти>.

Пос<елок> Академиков, дача 43

С сокращениями включено в воспоминания «Опять название не придумывается» («Нева», 1986, № 4).

¹ «Соленый лед» (Л., Советский писатель, 1969).

² «Великий самоед».

³ «Вчерашние заботы. Повесть-странствие» («Звезда», 1979, № 5).

⁴ На это письмо Конечский отвечал: «Пишу тебе из Певека, где мы застряли под разгрузкой. Поздравление твое получил здесь только — с опозданием на три месяца. Пятидесятилетие пережил тяжело. Все это

так избито: «Ах, как быстро промелькнула жизнь! Ох, как ничего не сделано! Эх, как некрасиво, неумело, грязно прожито!» — и никуда не денешься: идешь по штампу, хотя и ненавижу я его смертельно. Что было-то в жизни: блокада, эвакуация, казарма, погоны, служба, безденежье, муки и унижения печатания... И опять все то же. И как нестерпимо хочется как-то успеть наладить хотя бы квартирный быт и написать хорошую книгу, и как весь опыт жизни говорит, что ничего уже не сможешь, ибо на это особый талант нужен. Вот какие, дорогой мой, словеса я выпускаю на белые льдины, которые плавают взад-вперед по рейду, а вода возле них плюхает — будто кто-то усталый на весла наваливается из последних сил... Слишком давно мы не общались — десять лет. И потому я чувствую себя в этом письме неуверенно — как первый раз в море. И литературщина из меня прет, а я на нее со стороны смотрю с удовольствием...»

Дальше Конецкий вспоминает: «...письма к Казакову не закончил — или запутался, или служебные дела позвали. А вот не отправил этого письма из Певека — уже по лени: конверта нет, судно на рейде, катера не дожидаться, тащиться на берег неохота и т. д. А Юра-то именно в тот момент первый раз оказался на краю жизни — ему делали в больнице тяжелую полостную операцию...» (Собр. соч. в семи томах, т. 7. СПб., 2002, с. 379—380).

59

7 мая 1980. *Абрамцево*

Милый Витя!

Пишу тебе на авось. Книги твои, кот<орые> ты мне подарил¹, вызвали у меня массу ощущений, но я всю зиму был в говне, т. е. собирался умирать и поэтому достойно ответить тебе не мог.

А теперь, боюсь, ты снова где-то в Сингапуре.

Если ты здесь, т. е. дома, в Л<енингра>де — черкни мне хоть открытку в Абрамцево, и тогда я тебе дам! Целую тебя и люблю и до сих пор ищу письмо твое хамское², на которое я соответственно ответил (там было что-то о Паустовском) и не найду. А жаль. Жаль, что по пьянке расходятся люди нужные друг другу. Ну, об этом в другой раз. Обнимаю.

Ю. Казаков

Адрес мой, если не забыл — Абрамцево, Мос<ковской> обл<асти>, пос<елок> Академиков. Ю. Казаков.

Помнишь — Москва, Кремль, Сталину?

С сокращениями включено в воспоминания «Опять название не придумывается» («Нева», 1986, № 4).

¹ В 1979 году были изданы книги Конецкого: 1) *Вчерашние заботы: Путевые дневники и повесть в них* (Л., Советский писатель); 2) *Соленый хлеб: Избранное* (Л., Художественная литература); 3) *Завтрашние заботы. Кто смотрит на облака. Путевые портреты с морским пейзажем* (Л., Лениздат).

² Об их ссоре см. «Опять название не придумывается» (Собр. соч. в семи томах, т. 7. СПб., 2002, с. 370—378).

Конецкий, в частности, писал: «...Я не могу с должной определенностью восстановить обстоятельства нашей ссоры и затем даже полного разрыва всяких дипломатических отношений в 1968 году. Причины разрыва: 1. Пьянство и дурь, которую люди вытворяют, находясь в пьяном состоянии. 2. Наше разное отношение к Константину Георгиевичу Паустовскому...» (с. 370). Причем несколькими страницами далее Конецкий заметил: «Мое уважение к Паустовскому и в те (послевоенные. — И. К.) времена было и сейчас остается глубоким и искренним...» (с. 375).

60

20 мая 1980. Абрамцево

Милый Витя!

Сто раз собирался написать тебе, но всю осень и зиму был в такой мерлехлюндии, что не писал вообще никому, не отвечал даже на письма из редакций.

Спасибо тебе, дружище, за книги, и рад сказать тебе, что талант твой значительно вырос и окреп — это помимо того, что пишешь ты о том и так, о чем у нас никто не пишет.

Получил я письмо от одного дотошного начинающего литератора, и вот он пишет, что был в Л<енингра>де специально повидать тебя и вручить свои опусы, но ты, как он говорит, болеешь и по утрам никого не принимаешь.

Что бы это значило?

И вообще как у тебя со здоровьем? И как море — распростился ли ты с ним, как грозился в своей книге¹, или опять будешь плавать? Ах, Витя, Витя! Как давно мы не видались, а это так плохо, ибо человек смертен и эта невеселая история может случиться с каждым из нас со дня на день...

Будь здоров, милый, не болей, пиши, еще раз говорю, много радости ты подарил мне своими последними книгами.

Если будет охота, черкни мне о своих делах — женат ли? Я и этого не знаю.

Обнимаю.

Твой Ю. Казаков

Письмо не публиковалось.

¹ Казаков мог иметь в виду рассказ Конечского «Последний раз в Антверпене» (1977), где в финале читаем: «Я все так хорошо — даже детали — помню потому, что тогда очередной раз собирался завязывать с морем; очередной раз бросать плавать. И думал, что рейс последний». В 2000 году в повести «Последний рейс» Конечский писал: «Последний раз я был в Арктике 14 лет назад. Тогда же и была задумана книга об этом воистину последнем рейсе 1986 года — в 1987 году я из парходства уволился».

61

20 марта — 18 мая 1981. Абрамцево

Давеча¹ я забыл тебе сказать, что никакого кинотеатра — ни паршивенького, ни шикарного — на Сивцеве Вражке не было, нет и не будет. И точно так же, как Америка не простила Маяковскому Бруклинского моста через Гудзон, так и тебе Москва не простит этого кинотеатрика. Выбрось его². А если он тебе нужен (расходятся люди после сеанса и т. п.), то перенеси свою комнату в другой район. Ну, а теперь о Николе-чудотворце. Это пишет профессор Лен<инградской> Дух<овной> академии Н. Д. Успенский³, командированный в Италию. Можешь, кстати, связаться с ним, узнать разные подробности, рассказать ему в свою очередь, как ты стоял на том месте, где Магдалина мыла ноги Христу, и он тебе выставит шнапса и икорки из церковных подвалов. Итак, внимай!

«С особым благоговением почитает христианский Восток, в частности Русская Церковь, Святителя Николая Чудотворца. „Отче Николае, аще и Мирская страна молчит, но мир весь, иже тобою просвещенный, мира же благоухание и чудес множества взывает благохвальными песньми“ — так сказано в стихаре на литии, глас 2 на день празднования кончины Святителя (6 декабря 350 года). „Мирская страна молчит...“ Некогда город с морской гаванью, Миры ныне представляют собою маленькую турецкую деревню. Промыслу Божию было угодно, чтобы останки Святителя Николая сохранились. Моряки из города Бари привезли их в свой город. (Обрати внимание, Витя, моряки!)

В Бари на низком берегу стоял монастырь с церковью во имя святителя Григория Великого. В эту церковь 9 мая 1087 года, как считают в Бари, и был поставлен саркофаг с останками Святителя Николая Чудотворца.

Через два года была построена крипта (подземная часовня) и папа Урбан II собственноручно положил останки Святителя Николая в приготовленный в крипте глубокий, вытесанный из мрамора саркофаг. В середине XII века над криптой был построен большой трехнефный храм, так что крипта оказалась под алтарями базилики. <...> В 1953 году в базилике, простоявшей 866 лет, производились капитальные работы по укреплению ее стен и дна склепа, где находился саркофаг с мощами Святителя Николая. По благословению папы Пия XII был открыт поднятый из склепа саркофаг Святителя; останки его, которые не открывались с того дня, как положил их в саркофаг папа Урбан II, были тщательно освидетельствованы. На дне саркофага было до 2 см прозрачной жидкости, похожей на воду горного источника. Кости, находившиеся на уровне воды, были извлечены, и вода вылита из саркофага. Поскольку крипта Святителя Николая находится на расстоянии около 200 метров от моря и саркофаг лежит ниже уровня воды, естественным было предположение, что морская вода проникла через трещины в саркофаг. После тщательной просушки саркофаг был обследован, но трещин в нем не оказалось. Поэтому вопрос проникновения воды остается пока не разрешенным. Говорят, что она в небольшом количестве появляется и теперь в гробнице. Ее оттуда достают с помощью особого сифона, и паломники могут приобрести ее в маленьких флакончиках в киоске, прилегающем ко входу в аббатство, что сделал и я.

Тщательное исследование останков показало, что Святитель скончался в возрасте от 70 до 80 лет. Изучение грудной клетки и позвоночника свидетельствует, что он страдал артрозом позвоночника и, возможно, анкилозом. Радиологическое исследование черепа выявило костное уплотнение черепной коробки, весьма обширное и ярко выраженное. Полагают, что это могло быть следствием многолетнего томления в сырых тюрьмах, куда Святитель Николай был заключен в возрасте около 50 лет. Таким образом, исследование останков Святителя подтвердило, что он, как исповедник Христов, перенес те испытания, о которых упоминается в его Житии. Путем изучения строения черепа и рисунка лицевой маски (рисунок приводится) удалось восстановить черты лица Святителя. Интересно, что они оказываются довольно близкими лику его, изображаемому на русских иконах. Очевидно, одухотворенный творческий гений русских иконописцев интуитив-

но открывал им то, что мы видим в результате современного изучения». Ну и т. д.

Вот, Витя, начал я еще в марте, а продолжаю в мае, получив твое письмо⁴. Ты небось успел уже нажраться латышской водки и опохмелится? Очень бы мне этого не хотелось бы! Там в этом вшивом доме⁵ перед столовой бар есть. Этот бар, бывало, все меня сбивал с панталыку. Идешь честно на обед, а тут бар... Но все-таки, Витя, я боролся. Свидетельство тому 140 страниц сценария, то есть хорошей прозы. В целях борьбы с баром я зато охотно посещал пивные. Их две: одна возле станции Дубулты. Другая в Майори. И в той и другой прелестно. Никакого тебе мата, ни опухших рож, ни пальто, надетых на голое тело, — тихо и благородно и народу мало. Правда то было в марте-апреле. Теперь небось в Дубултах полно народу. Не знаю, как ты в смысле еды, разборчив ли? Кормили нас дурно. При таком огромном количестве столоующихся, естественно, и воровство было огромное, так что калорий нам не хватало. Времена быстротекущи, поэтому не знаю как сейчас, а тогда я выходил из положения, покупая сосиски или копчущку и пожирая все это, запершись в номере и запивая чудесным рижским пивом.

Не помню, писал ли я тебе, что купил «Жигули». Так вот, едва проехав 1000 км, она задумалась и думает до сих пор и никто мне не может помочь, и я в отчаянии. Представляешь, вернулся я (еще в марте) из поездки по магазинам, остановился перед гаражом, выключил мотор, вынул сумки с продуктами, отнес домой, потом открыл гараж, сел за руль, воткнул ключик, повернул и — ничего. Так она у меня и стоит до сих пор на улице.

Витя, Хемингуэй в романе «Острова в океане» дает своему Томасу Хадсону на опохмел лекарство, именуемое «Секонал». Вот бы достать! Запомни на всякий случай это лекарство, вдруг попадетсЯ. Вот, дорогой мой, заканчиваю я это письмо и отправляюсь за молоком на ст<анцию> Калистово. А в этом Калистове хмелеводческое хозяйство, и хмель забирает Бадаевский завод, этот же завод и снабжает свежим пивом пивнушку. Так вот, опустивши это письмецо, я заверну в эту пивнушку, понял? Теперь вот что, давай-ка ты из Дубулт едь не в Питер, а в Москву, а потом, не заходя никуда, дуй ко мне в Абрамцево. Поживешь у меня хоть недельку, да и в Москве небось делишки найдутся. Приезжай, Витя, а то кто знает, когда повидаемся! Я даже, если машину исправлю, и встретить тебя могу. Сейчас я тороплюсь, но дня через два повторю тебе приглашение более подробно. Да! Чуть не забыл — получил я из

Новороссийска письмо от одного капитана, в котором он восторгается тобою и дико материт меня за мои ошибки в морской терминологии. Вот я это письмо сыщу и процитирую тебе.

Отдыхай, Витя, дай Бог тебе здоровья. В этом доме творчества кроме бара, есть также и медицина и даже стоматология, не пренебрегай медициной, покупайся в ваннах и пусть тебе в задницу впишется животворная тонкая сталь! Целую.

Ю. Казаков

Опубликовано в книге «Некоторым образом драма. Непутевые заметки. Письма» (Л., 1989).

¹ В письме от 18 марта 1981 Казаков спрашивал: «Витя, напиши же, в конце концов, как ты и что? Давно ли умерла мама и от чего, и был ли ты в это время в море или при ней? И есть ли у тебя собака? Не покупай собаку, Витя! Ее выгуливать надо, а потом начинаешь ее любить, а потом, когда она помирает, начинаешь страдать, пить горькую и укорачивать и без того короткую свою жизнь. У меня был спаниель, 12 лет жил, переболел чумой, совсем очеловечился, а когда помер, я мамашу два раза на «скорую помощь» в Хотьково возил, потому что Чифа (так его звали) страшно любил отец, который незадолго перед этим тоже помер, и вот тут все соединилось — не приведи Бог!.. А помнишь, в Ялте, ежедневную утреннюю редиску, какую-то длинную рыбу, которую я таскал на кухню жарить, и водку, которую ты со стуком ставил на стол?»

Конечный тогда же известил Казакова: «Отвечаю на вопросы. Мама умерла девять лет назад. Одна в квартире, ночью. Как утверждают врачи — во сне, но мне не верится, и потому иногда накатывает ужас за нее. Я в этот момент ехал из Кракова в Варшаву, и она мне приснилась, и я уже знал, что она умерла. И я спокойно верю теперь в телепатию — во всяком случае, между матерью и сыном.

Собаку я не заводил, потому что знаю про все, что ты об этом деле пишешь, — очень ответственное, и чувствительное, и счастливо-грустное это дело. Ялту, редиску, длинных рыбин и водку, которая в те времена, казалось, лишь веселила, будила мысль, фантазию, веру в счастье, а нынче только угнетает и лишает творческого, оставлю в душе как самое прекрасное в прожитой жизни. И кабачок с музыкантами, и дом Чехова... Обнимаю...»

² «Замызганный кинотеатрик» на Сивцевом Вражке фигурирует в «Морских снах» (третья часть романа-странствия «За Доброй Надеждой»), в главе «Чертовщина».

³ В том же письме от 18 марта 1981 Казаков писал: «Слушай, я тут, когда лежал в больнице в Загорске, оказался вдвоем в палате с Князем церкви, и он выписал мне журнал Московской патриархии. Так вот в одном из номеров я вычитал интереснейшее описание вскрытия гробницы Николая-угодника. (Я этот журнал найду, не поленюсь и перепечатаю

тебе подробности...) Успенский Николай Дмитриевич (1900—1987), профессор, доктор церковной истории, кандидат искусствоведения.

⁴ Конецкий — Казакову (7 мая 1981): «Дорогой Блаженный Юра! Где книга, тюлень небритый? Опять зажал? стыдно! Спишь с Князем Церкви, впадая в свертяжий грех, а сам обещаний не выполняешь — срам! Где описание мук и путешествий Николая Угодника?

Я 11 мая уезжаю в Дубулты первый раз в жизни. Там, говорят, небо-скреб, бассейн для алкоголиков, — чтобы топиться, не покидая рабочего места, и пр. прелести. Приезжай, а? <...>

Я потерял всякое желание печататься — это все я тебе как на духу говорю. То, что деньги кончаются и это означает необходимость опять что-то печатать, — ужасно. И не только процесс редактур и цензур, нет! Но просто мне как-то не хочется показывать опять себя всем желающим в своем нежном исподнем. Если бы не деньги, то я все писал бы для того, чтобы печатали после смерти. Тут, вероятно, связано еще с тем, что я выработал очень искреннюю манеру письма, а с годами потрошить нутро на публику все противнее и тяжелее. Писать же иначе уже никогда не научусь. Да, вероятно, и сама природа моих способностей наподобие рогов не пускает меня в рай чужих образов...» (Собр. соч. в семи томах, т. 7. СПб., 2002, с. 391—392).

⁵ Дом творчества в Дубултах.

62

21 ноября 1982. Красногорский госпиталь

Дорогой Виктор!

Лежу я себе на койке в госпитале, думаю, невеселую думу, — и вдруг прекрасная девица вкатывает в палату столик на колесиках, столик с книгами и журналами. Предлагает то и это. И вдруг говорит: вы писателя Конецкого знаете? Вот возьмите новую его повесть в журнале «Звезда»¹...

Ну, я взял.

А лежу я, брат, товарищ и друг, в Центральном военном госпитале по поводу диабета и отнимания ног. За окном то туман, то дождик, то снег выпадет, то растает — чудесно! Я себя за последние лет шесть так воспитал, что мне всякая погода и всякое время года хороши, одеться нужно только соответственно. Конечно, ноябрь проклянешь, — выгони тебя на улицу босого и без штанов, а если потеплее одеться, то счастье и счастье.

Вот только этим я теперь и утешаюсь, сидя возле батареи в кресле и глядя на туман и снег. А вообще-то настроение — хуже некуда. Диабет ведь пожизненная болезнь, а тут еще ноги болят и дергаются в судорогах и немеют, и в весе теряешь и проч<ие>

прелести. Лечат меня тут всяко, аппаратура самая лучшая, заграничная, да толку пока мало, единственно, что больницу совсем не напоминает, а похоже на санаторий, только что в палате не курю, выхожу вон.

Жалко мне бесконечно тебя, да и себя, что не приехал ты ко мне на дачу! Славно бы поработали, очень для этого все было готово: и природа, и тишина в доме, отключенность ото всего...

Так вот, прочитал я твоего «Лишнего», прочитал и взяла меня досада, — что это ты, братец, нехорошо себя повел, начал всенародно плакаться. Ты вот подумай только, мог бы Чехов написать такое? Э? И ордена свои поминать?

Ты не третий и не лишний, а ты первый! И все капитаны и начальники должны себе зады чесать разбитыми бутылками от зависти и преисполняться слезами восторга от сознания, что они с тобой знакомы! Мне вот один капитан-наставник из Новороссийска прислал письмо по поводу разных моих неграмотностей, а кстати и тебя всячески расхвалил за твою точность и морской профессионализм, не зная, по всей вероятности, что я тебя знаю. Хотел было я тебя порадовать выдержками из этого письма, да потом рассердился, что ты не отвечаешь, махнул рукой и пошел в магазин за «стрелецкой».

Ну, я понимаю, допекли тебя твои морские собратья, нехорошо с тобой поступили, наверное писали на тебя куда только можно (м. б., только в ООН не писали!), ну допекли, ну сел бы написал бы обстоятельное открытое письмо кому-нибудь, растолковал бы что такое лит<ературный> образ и пр. Прочли бы и утерлись бы и крыть им было бы нечем. А теперь — что? Обида у тебя так и прет из каждого абзаца, обида и обида, а больше ничего, нет простора, нет игры ума, иронии, которые так щедро разбросаны везде в твоих «Заботах»², в других твоих вещах, которые хочется перечитывать, а тут ты до того уязвлен и до того убит обстоятельствами, что оправдываешься направо и налево за что-то, и даже я как-то не понял в качестве кого ты плывешь на пароходе — корреспондент ты? Третий помощник? Бог весть... И насчет декабристов что-то неубедительно и, прости, восторженно излишне, почти как у Паустовского, над офицерами ломают шпаги, рвут эполеты и рыдают братцы-матросики, ай-ай...

Надо, надо нам с тобой встретиться, поговорить надо, жизнь такая настает, что, во-первых, уже не в молодом задоре, как когда-то, а всерьез можем мы друг друга называть старыми хренами, того

и гляди помрем, ну а, во-вторых, время нынче очень уж серьезное и надо бы нам всем, хоть напоследок, нравственно обняться...

Хочется мне после больницы, если выберусь я отсюда по добру по здорову, махнуть на срок-другой в Переделкино и тихо заняться литературой. Давно уж я не питаю никаких иллюзий насчет воздействия слова на братьев наших меньших, и хочется заниматься литературой ни к чему не обязывающей, — ну, о том, как я выпил, как повторил и что потом воспоследствовало, или о том, как, например, прощаешься с женщиной, о людской одинокости, «незапный мрак или что-нибудь такое...», — кто там разберет, что в жизни главное, важно только хорошо об этом писать. Ну и счастье, которого нам осталось с гулькин нос, оно, м. б., и есть ощущение, что ты пишешь хорошо. Написал страницу или пять, пошел в бар, выпил, покашлял, глаза тебе заволочет слезой... Ну вот, ну вот, и благодари Господа, а большего счастья уж и не будет.

Не приедешь ли в Переделкино в декабре? Или ты к Комарову прикипел? А то бы похаживали друг к другу в гости и хвастались кто лучше написал.

В горнице моей светло,
 Это от ночной звезды.
 Матушка моя ведро
 Молча принесет воды...

Вот такие стихи я готов день и ночь читать³. А тут еще и милая родственная мысль: это же он с похмелюги! Похмелюга, братец, внутри пекет, пить охота, пить литрами, вот матушка грустно и молча несет ему воды. Ведро. Холодное, из колодезя. И молчит. А что ей говорить?

С зубами же напрасно ты мучишься: выдери все и вставь новые. Могу дать адрес, когда попадешь туда, загляни и передай от меня привет. Адрес не потеряй: Ефим Майстер, авеню Бельведер, 16, Лос-Анджелес, США. Этот Майстер делает зубы всем голливудским звездам мужского и женского пола. Будешь потом своих любовниц за титьки и коленки кусать и меня поминать.

Так все-таки я и не пойму, плаваешь ты еще или бросил?

Напиши, Витя!

Остаюсь любящий тебя

Ю. Казаков

Адрес мой пока: 143420, Мос<ковская> обл<ась>, Красногорский р<айон>, п/о Архангельское, 3 ЦКВГ, 10 отд<еление>, 823 палата. (Длинные у нас адреса!)

Пульс у меня последнее время 120, давление 180/110 — сегодня утром чуть сознание не потерял, говорят, спазм в мозгах, загрудинная боль схватывает раза 2 в день...

Так что, на всякий случай, прощай, друг мой, не поминай лихом⁴.

Твой Ю. К.

С сокращениями опубликовано в воспоминаниях «Опять название не придумывается» («Нева», 1986, № 4).

¹ Повесть «Третий лишний» была напечатана в «Звезде» (1982, № 8).

² Повести: «Завтрашние заботы» («Знамя», 1961, № 2), «Вчерашние заботы» («Звезда», 1979, № 5).

³ Первая строфа стихотворения Николая Михайловича Рубцова (1936—1971) «В горнице».

⁴ В. Конецкий вспоминал: «Весь накопленный за жизнь опыт сказал мне: конец. Семь дней я сочинял бодренький, лживый ответ:

«Тщательно проанализировал твой почерк в последнем послании. И машинописный текст. И содержание. И пришел к выводу, что ты сильно преувеличиваешь свою близость к тому свету.

Жизни в тебе еще навалом, если смог так окрыситься на меня за «Третьего лишнего».

Мне жалко бесконечно, что не выбрался в твой дом, не заплакался в твою жилетку слезами — не написанными. Очень мне хочется заплакаться...

А помнишь, как мы с тобой поцапались в «Национале», когда посидели с Олешей и я руганул Паустовского? Очень ты на меня обозлился... Четверть века назад это было, дорогой товарищ.

Прекрасно, и как всегда у тебя, просто написал ты, что настает время, чтобы всем нам нравственно обняться.

Счастья я никакого не жду. Не было его, нет и не будет.

Радость от хорошей работы, от удачи забывается с такой скоростью, что и ощутить не успеваешь.

Так вот, Юра, ты еще десяток лет скрипеть обречен — и я в этом толк понимаю. Но писать ты обязан больше — лень даже таких, как ты, не украшает.

Прекрасной медицинской сестрице, которая тебе моего «Лишнего» принесла, поцелуй, пожалуйста, пальчики на левой ручке, — левая ближе к сердечку.

В Голливуд к Ефиму Абрамовичу вылечу завтра вечером.

Обнимаю тебя, пиши мне и пиши рассказы».

Письмо это я отправил в 17 часов 28 ноября 1982 года. Плохие сны снились ночью.

Утром позвонили из Москвы: Казаков умер с 28-го на 29-е от диабетического криза и инсульта». («Опять название не придумывается»).

О. В. БАЗУНОВУ

63

27 июня 1962. Таруса

Дорогой Олег!

Прости, пожалуйста, за столь поздний ответ, тому две причины: две недели я бродяжил в лесах, и потом ждал твоего адреса, я его потерял и просил у Виктора (Конечского. — И. К.). Адреса я не дождался, поэтому посылаю бандероль Виктору, а он уже передаст.

Начну сразу с недостатков¹. Основных недостатков — два. Во-первых, совсем почти не показана жизнь лагеря, т. е. людей населяющих его. Все внимание отдано Борису, немного Инне — остальные прошли мимо меня, не задев души. И мне не жалко с ними расставаться, а нужно, чтобы было жалко.

Во-вторых, на мой взгляд, не нужны здесь теоретические рассуждения. Они были бы необходимы, если бы ты, скажем, писал монографию о Сезанне. А в рассказе, в повести неизмеримо важнее показать самый процесс художника, его жизнь вообще. Мне важно *как* он пишет, мне надо *видеть* его, а не читать о технологии и философии искусства. Понимаешь? Вспомни тургеневских певцов — они поют, и ты их слышишь. Что бы было, если б Тургенев стал писать о диафрагме, бельканто, интонировании и т. п.?

Так вот: долой теорию и побольше мяса на Иване, Григории, Инне. И еще: хорошо бы было, если бы Борис не просто бы приехал в Молдавию на практику, а приехал бы туда после какой-нибудь мучительной полосы жизни. Диалектическая линия в характерах всегда должна идти вверх или вниз, или как угодно. У тебя же она идет ровно. Что произошло с душой Бориса? Он открыл для себя пейзаж Молдавии? Этого мало. Он должен открыть что-то неизмеримо большее, а это он может сделать только от чего-то отказавшись в своих прошлых мыслях. Что-то должно в нем разрушиться старое и выстроиться новое.

Впрочем, м. б., я не прав.

В «Холмах» много прелестного — ощущение жара и влаги, облака и земля, гроза, дороги, вода, все это написано вкусно. Люди же тронуты мало, и хотелось бы, чтобы они были такие, как земля у тебя. И нужно, нужно, чтобы что-нибудь произошло в их жизни, — не только у Бориса, но и у Ивана, у Григория. Григорий стал мягче, прекрасно! Почему же? Кто он и что он? И Иван?

А это легко сделать. Им нужно дать говорить, чтобы они вставали, уходили, приходили, вздыхали, чтобы им снились сны, чтобы у каждого была судьба.

Будь здоров, счастливой тебе работы!

А что Витька? Он не пишет мне. В Л<енингра>де он?

В начале июля двинусь я снова на Север за второй книжкой своего дневника («Северный дневник». — *И. К.*). Я буду где-то в районе Мурманска и назад поеду через Питер, повидаемся и поговорим.

Твой *Ю. Казаков*

Базунов Олег Викторович (1927—1992), прозаик, искусствовед. Старший брат В. В. Конецкого — см. письмо 51. Автор книг: «Холмы, освещенные солнцем» (Л., 1977), «Тополь. Записки любителя городской природы» (Л., 1984), «Окно» (М., 1987), «Мореплаватель» (Л., 1990), «Мореплаватель: Избранная проза. Воспоминания об Олеге Базунове» (СПб., 2007). В предисловии к повести «Мореплаватель» («Новый мир», 1987, № 6, 7), академик Д. С. Лихачев писал: «Проза Олега Базунова (ее не включишь ни в один из известных прозаических жанров — это не рассказы, не очерки, не повести, не романы) обладает совершенно особыми — целительными свойствами. Она выключает вас из стремительного потока делового времени наших дней, заставляет медленно размышлять над окружающим, думать о настоящем, находить вокруг неожиданные ракурсы, смотреть на обступающий вас будничный мир то в лупу, то в бинокль, обернутый противоположной стороной. Самое обычное окружение то приближается к вам вплотную, то оказывается удаленным почти до бесконечности. Во всем есть интересное, новое, скрытое от других, но открытое вам. А поэтому-то проза О. Базунова снимает стрессы, заставляет удовлетворяться самым скромным, любить настоящее, наблюдать за малым. Она переключает читателя в замедленный, но сильный ритм жизни, приучает его быть добрым не только к людям, но и к вещам, растениям, животным, временам дня и года...»

Письмо опубликовано в журнале «Звезда» (1990, № 1).

¹ Речь идет о повести «Холмы, освещенные солнцем» (альманах «Молодой Ленинград», 1962).

Г. А. ГОРЫШИНУ

64

20 августа 1968. Абрамцево

Милый Глеб!

Не сердись, что не ответил тебе на твое милое письмо весной, сто раз собирался, да и не собрался, а всему виной то, что дом себе я все-таки купил, а как купил дом, так и погиб: миллион всяких дел, начиная с навоза и кончая шифером.

А тут еще понесла меня нелегкая на Север¹ да еще на шлюпке по всем рекам и озерам, в результате чего я чуть не потонул на Рыбинском в<одохранилище> вкупе со всеми, а кроме того двадцать дней мерз и мок хуже последнего пса. И если даже мои домашние здесь перемерзли все, то можешь себе представить, что было на Сухоне и Сев<ерной> Двине!

Октябрь был, старичок, во всей своей поганой суровости!

А вдобавок ко всему прочему рассыпали у меня набор двух книг в Москве и в Алма-Ате — это после подписания мною пресловутого письма² на тот предмет, чтобы я, значит, не заносился, и чтоб гордыня меня не обуяла.

Представляешь, какой удар в жопу был мне нанесен! И это после того, как я повыскреб все сусеки, покупая дачу (15 тысяч все-таки!).

Но тут, назло всем моим врагам вышел мой перевод Нурпейсова³ и запустили в производство фильм (по «Тедди»)⁴ и я снова жив и даже мог тебе сто грамм<ов> поставить, а не только чтоб у тебя просить. И машину продавать не пришлось.

А машина у меня молоденькая, всего семь тысяч прошла, да и сказывается наверно еще то, что на экспорт делана, ходит, как огурчик, и я себе позволяю иногда роскошь дать на ней 130 км, знаешь, рано утром еду в Москву, шоссе от Хотькова отличное, никого нет, тогда упираюсь я в педаль, гну ее выю до полу и гляжу на стрелку, а она, милая, лезет и лезет направо и останавливается возле ста тридцати, а дальше не идет, и так я еду километра два, а потом мне делается неуютно, ибо машина моя все-таки подлетывает, и я перехожу опять на нормальную скорость — 80—90 км. И это говорят, еще при неотрегулированном зажигании... Какие все-таки у нас дороги фиговые, как разгонишься, так и начинает машину отрывать от земли.

А насчет потопления — вот тебе интересная деталь. Был у нас целый ящик ракет. Ракеты были аварийные. И вот когда стали мы тонуть, наш командор получил превеликое наслаждение, пуляя эти ракеты в черные небеса, а всякие речные корабли продолжали идти своим курсом и вовсе на нас не обращали никакого внимания, так что мы могли вполне залиться к чертям собачьим, а спасения не дождались бы.

Насчет литературы ничего тебе не могу сказать, все в унынии и даже Вася Аксенов заделался переводчиком с казахского.

Пишешь ли ты чего?

А я крепко надеюсь на осень, на глубокую осень, когда сыро и холодно и повсюду темно, и потому так тепел и светел кажется дом, и так хочется сидеть и что-то свое ковырять, может быть вовсе и не дурное. У меня тут белки прыгают, а осенью начну птиц подкармливать. Эта зима, глядишь, что-нибудь и даст мне, потому что, старичок, что есть наше счастье? Рассказ хороший написал, вот и счастье. А все остальное ерунда.

Будь здоров и счастлив.

Захочешь написать, пиши по адресу: п/о Абрамцево, Московск<ая> обл<ась> Загорского р-на, поселок Академиков, дача № 43.

Ю. Казаков

Горышин Глеб Александрович (1931—1998), прозаик. С 1977 по 1981 главный редактор журнала «Аврора»; секретарь Правления ленинградской писательской организации (1970—1980).

Письма печатаются по машинописным копиям, предоставленным мне Г. А. Горышиным в 1980-х.

Письмо 64 включалось в воспоминания «Сначала было слово...» (Глеб Горышин. Жребий: Рассказы о писателях. Л., 1987).

¹ См. главу «Северного дневника» «Ночь на „Вега“» («Вокруг света», 1969, № 6). Во время этой поездки Казаков вел «Вахтенный журнал» моторно-парусной шлюпки «Вега» (30 июня—23 июля 1968). См.: Анатолий Друзенко «В парусах есть что-то от птицы... О неизвестном „Вахтенном журнале“...» («Известия», 4 июля 1998).

² В феврале 1968 Казаков вместе с группой писателей (К. Паустовский, В. Каверин, П. Антокольский, Г. Поженян, В. Аксенов, М. Рошин, Б. Балтер и др.) подписал письмо в правительство на имя Л. И. Брежнева в защиту судимых Ю. Галанского, А. Гинзбурга, А. Добровольского и В. Лашковой.

³ Вторая часть романа «Кровь и пот» — «Мытарства» («Дружба народов», 1967, № 12).

⁴ Фильм по рассказу «Тедди» (под названием «Король манежа») снял на «Мосфильме» (1970) реж. Ю. С. Чулюкин.

65

4 декабря 1968. Абрамцево

Горыныч, ау, где ты?

Всю осень честно прождал я тебя в Абрамцеве, никуда не рываясь. Серьезно, я надеялся на твой приезд, как ты грозился, думал, закатимся мы с тобой в Ростов, в Переславль, в Калязин на Волгу и обозрим, так сказать. Да ты не пожаловал что-то.

Завидую твоим прибалтийским скитаниям. Может, и я махну по весне в Прибалтику через Валдай, Псков, Печоры и т. п. А почему ты ничего не написал про угрей? Неужели не довелось попробовать?

Ты мне хорошее письмо написал, старик, очень ты меня расстрогал пороховым запахом и запахом птичьей крови. Этих запахов в этом году я так, увы, и не попробовал.

Ты знаешь, у нас тут довольно много зайца. Я ходил недавно присматривать себе елку к Новому году, так в лесу целые тропы вытоптаны. Слушай, в след<ующем> году я отделаю второй свой дом специально для гостей, у меня Гусев приятель, редактор журнала «Охота»,¹ он возьмет какого-нибудь гончатника с парой гончих, приезжай и ты. Поживете у меня. Чего, в самом деле, нам по каким-то деревням да по охотхозяйствам скитаться? Славно поохотимся, только бы дожить.

Дом мой, к счастью, теплый. Были у нас морозы до 20 гр<адусов> и ничего. А главное уборная теплая. А то, знаешь, жил я в Тарусе — у! Яйца на морозе лопались и говно, замерзая на лету, каменно стучалось обо что-то звонкое, прости за натурализм.

Недавно написал я про Паустовского 15 страниц воспоминаний², очень трудное дело эти воспоминания, когда все еще живы. Нельзя, понимаешь, по правде писать, надо вилять все время. А у старика трудная была жизнь, обдирали его как липку, все это его окружение и семья.

Ты вроде завидуешь мне в киргиз-кайсацком смысле, а я вот — тебе в смысле собственного писания. Ты сам для себя пишешь, а я свою кровь вливаю в утомленные жилы Востока. Вот и сейчас сижу над сценарием по роману Нурпеисова³ и даже зубами скриплю. Хреново это, милый. Я вот только трилогию эту добыю и все! Ближе потом к переводу не подойду.

Женя Евтушенко однажды скопил на меня свой круглый глаз и спросил: «А ты уверен, что он там четвертую часть не пишет?»

Тебе не попадались в «Н<овом> мире» стихи Ахмадуллиной про переделкинскую зиму⁴? Как всегда, прелестны. Среде переделкинских дерев и что-то там еще. Умиляет меня эти «дерев», «стогны» и т. п.

У нас зима хорошо взялась, я уж предвкушаю свои рассказы (после сценария), Новый год, Рождество... У нас тут поселок пуст, три дома только живут — Леонтовичи, еще кто-то и я. Темно, дико, крыши белеют в черноте лесов, иногда чуть слышен перестук электрички. Если б в Троице-Сергиевской лавре звонили, у нас бы слышно было. Ты знаешь, я Алешку крестил⁵, взял, поехал в Загорск и окрестил его в православную веру. Очень все было трогательно, а больше всего возгласы священника и крестных: «Тьфу! Тьфу! Изыди, нечистая сила, Сатана, сгинь!» И сгинул Сатана, а Алешка пальчиком себя по губам и на всю церковь — брлем, брлем, брлем!.. Да-да-да-да-да-да...

Насчет твоей машины я тебе вот что скажу. Хоть она и отечественная, т. е. для отечества сделана, но для заграницы — лучше. Ты вот приезжай на ней летом, я тебя познакомлю тут с одним дядькой, он работает на заводе и тебе твою машину переоборудует. Поставит масляной радиатор. И поставит тропическую помпу и вентилятор — не четырех-, а шестиллопастной. Тогда никакого перегрева у тебя не будет. Можешь хоть в Сухуми ехать в июле месяце. Он Жорке Семенову⁶ в этом году сделал и еще дополнительные мигалки поставил наверху, так что теперь, когда Жорка поворачивает, то у него все мигает рубиново и оранжево, как на самолетах, идущих на посадку над Переделкиным. Красота!

Ты не читал № 8 «Нового мира»? Там должна быть повесть Лихоносова⁷. Интересно, что это за штука? Я тут как-то отстал от журнальной жизни, видел в «Литроссии» что ли, что у тебя в «Звезде» что ли что-то вышло — не пришлешь почитать? Раньше хорошее заведение было — давать в редакциях журналов авторам бесплатные оттиски их творений. И авторы обильно пользовались этим и рассылали оттиски друзьям. А теперь хочешь свое послать, покупай весь журнал.

В январе, в середине или в конце, мы с Васей Росляковым и, м. б., с Васей Аксеновым едем в Алма-Ату и Фрунзе. Поскольку неоднократно ты выражал зависть моим сношениям с киргиз-кайсаками, то вот тебе мое слово: если хочешь, присоединяйся. Я тебя там со всеми сведу, а сосватаешься ты уж сам с кем-нибудь. Будем

жить в правительственных санаториях, кушать яблоки-апорт и работать. Поедем потом к Чингиз-хану Айтматову и пропьем его Госпремию, которую получил он совершенно зазря — хватило бы ему и Ленинской¹.

Это, старичок, серьезное предложение и ты решаешь. Если решишь ехать, то дней за пять до поездки мы тебе дадим телеграмму, ты с нами съедешься и покатаем все вместе.

Ну будь здоров, милый, целую и остаюсь твоей

Ю. Казаков

Пиши!

Ты оч<ень> хорошо делаешь, что пишешь мне на машинке, а то почерк у тебя дикий.

Цитировалось в воспоминаниях «Сначала было слово...».

¹ Гусев Олег Кириллович (р. 1930), главный редактор журнала «Охота и охотничье хозяйство» с 1964 года.

² Воспоминания о Паустовском «Поедемте в Лопшеньгу» напечатаны в сб. «Воспоминания о Константине Паустовском» (М., 1975).

³ Роман А. Нурпеисова «Кровь и пот» экранизирован в 1979 году на киностудии «Казахфильм» режиссерами А. Мамбетовым и Ю. Мاستюгиным.

⁴ Стихотворения Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937—2010) «Снегопад» (1967), «Метель» (1968) опубликованы в «Новом мире» (1968, № 5).

⁵ Крестным отцом Алеши Казакова был Василий Петрович Росляков (1921—1991), прозаик, критик, друг Казакова. См. письма 106—113.

⁶ См. письмо 57.

⁷ Лихоносов Виктор Иванович (р. 1936), прозаик. Казаков написал предисловие к его книге «Голоса в тишине» (1967). В № 8 «Нового мира» за 1968 год печаталась повесть «На улице Широкой». Воспоминания Лихоносова о Казакове опубликованы в журнале «Подъем» (1968, № 10) и др. изданиях.

⁸ Айтматов Чингиз Торекулович (1928—2008), прозаик, общественный деятель, дипломат, народный писатель Киргизии. Ленинскую премию получил в 1963 году за книгу «Повести гор и степей», Государственную премию СССР в 1968 году — за повесть «Прощай, Гюльсары!».

24 декабря 1968. Абрамцево

Ну вот, старина, дело к свету пошло, на минуту день прибавился, глядишь и до светлых денечков доживем, когда одна заря сменить другую и т. д.

С чего бы это у тебя с... заболела? И думал ли ты о том, что она у тебя заболит в майские дни в Малеевке?

А ведь как мало талантов на святой Руси, как подумаешь, бог ты мой! Ведь тогда, почти десять лет назад, собраны были, по мнению СП, лучшие силы молодые в количестве 50 голов — и что же? Ни одного мало-мальски способного человека не оказалось там, что и подтвердило время. Разве что ты, да вот еще Ткаченко²...

Разбередил ты меня своим пребыванием в Гаграх и т. д. — я там с 60 года не был. А побывал ли ты в Пицунде? Я ее застал еще в девственном виде — одни сосны были да рыбаки, у которых покупал я копченую и свежую барабульку, и отваливалась там кора с эвкалиптов, ребятишки жгли из нее костры и по вечерам монастырь розовел сквозь лекарственный дым, а по утрам грузины стреляли по полям перепелок и потом продавали на базаре связками. (Кстати об охоте — у меня тут намечается новый вариант. Есть тут один рабочий в поселке, охотник, так вот он просил меня достать гончака англо-русского, чтобы в будущем октябре мне его брать, когда надо будет. Т. е. гончак этот мною только куплен будет, а содержать его станет этот охотник, ну а когда мне понадобится, то я могу пользоваться. Неплохо? Я сейчас этим и занимаюсь, т. е. ищущенка от выдающихся родителей. А еще местные охотнички пришли ко мне на поклон, чтоб достал я лицензию на лося. Вот видишь, какие тут перспективы. Зайца действительно очень много в этом году, я, к сожалению, не тропил, все с проклятым Нурпеисовым вожушь³, но после Нового года займусь, благо снегу еще немного, можно ходить по лесу.)

Значит, перешерстили, говоришь, у тебя книгу⁴? Ну и добре. Я тебе давно говорю, плюнь на Л<енингра>д, перебирайся в Москву, Союз наш тебя с охотой примет и квартиру даст какую-нибудь. У нас тоже не сахар в смысле разных строгостей, но в Л<енингра>де, как и во всякой провинции, еще хуже. Провинция — страшная вещь. Там все усугубляется. Не помню, говорил ли я тебе, что когда мы с Евтушенкой приехали в Арх<ангель>ск и об этом прослышало начальство, то всех архангельских писателей срочно затребовали в обком и запретили с нами общаться. Это доподлинная правда, мне потом рассказали во всех подробностях, как было дело. В Москве же до такого, слава богу, пока еще не дошли.

В самом деле, зайди при случае к нашему начальству, пощупай почву — имя твое достаточно известно.

Будущим летом хотим мы покататься на нашей знаменитой «Вега»⁵ по Ладоге да по Онеге, и даже есть мыслишка пройти из Онежск<ого> оз<ера> через Беломорканал в Сороку, а там, «каботажно», т. е. вдоль берега — на Онегу, Лямцы, Летний наволок, Лопшеньгу и т. д. — до Архангельска. Если ты не прочь, забронируем тебе местечко. На веслах посидишь, на парусах поработаешь, вот и пройдет твой геморрой.

А в синих порточках, в серебристой куртке лазурный лыжник, старина, ни ты и не Володя Фролов⁶, а я. Так-то. Я ведь с ней ходил, когда тебя не было, и после тебя тоже. Изнемогали мы с ней с похмеля, но все-таки ходили и даже до Внукова — пили там коньячок, похмелялись.

Ну, привет, милый, с Новым годом тебя, с новым, как говорится, счастьем. Оно, т. е. счастье, глядишь, нет-нет да и посетит нас недостойных, и не все оно позади, а и впереди немало будет, пока обратимся в «кости сокровенны», и тогда уж ничего не будет.

Пиши мне, старина, я твои письма буду хранить, чтобы было чем прокормиться потом каким-нибудь горышведам (или горышникам?).

Ю. Казаков

Цитировано в воспоминаниях «Сначала было слово...».

¹ В Малеевке в мае 1959 года проходил Всероссийский семинар молодых прозаиков.

² Ткаченко Анатолий Сергеевич (1926—2009), прозаик. Долгое время жил на Сахалине и Дальнем Востоке, со второй половины 1960-х жил в Обнинске, Калужской обл.

³ См. письмо 79.

⁴ «До полудня. Две повести» (Л., Советский писатель, 1969).

⁵ Поездка не состоялась.

⁶ Фролов Владимир Васильевич, критик.

15 марта 1969. Абрамцево

Дорогой Глеб!

Я тут совсем было расхворался.

Поздравляю тебя с должностью¹. Она полезна тебе, все-таки будешь являться в присутствие, а следоват<ельно> и пить меньше.

Употребляй свою должность на добрые дела. Помогай старикам.

На молодых плюнь, они молоды, здоровы и своего добьются. А есть талантливые забытые старики наподобие нашего Шергина² — и вот таким надо помочь, вспомнить их, провести творческий вечер, рекомендовать что-то для переиздания, схлопотать путевку в Ялту и т. п.

Как твоя новая книжка? Пришли, если вышла.

Плохо, старина, болеть — полтора мес<яца> у меня был грипп с возвратами, только начну ползать, опять укладывает, — хреново это.

Как Курочкин³? Жалко его. В санаторий его надо. Он у меня раз был со страшного похмелья и не хотел показать, что с похмелья, а взгляд был дикий и руки тряслись и весь как студень.

Я наверно летом проездом буду в Питере, хорошо бы если б ты был. Проездом — это значит, что хочу побывать в Карелии, туда дороги хорошие? Ты машину, гляди, не продавай. Она 100 тыс<яч> км может служить без кап<итального> ремонта, а это для нашего брата на 10 лет! Я и сам хотел было продать, а потом как вспомнил очереди на автобусы да на поезда (летом особенно), да бессонные ночи на всяких вокзалах и автоб<усных> станциях, так меня в дрожь кинуло, все-таки свои колеса это вещь.

Курочкину, при случае, поклонись.

Охоту в этом году наверно запретят? Жалко, я только настроился — в прошлом году я совсем не охотился.

Вася Аксенов сидит в Алма-Ате, стряпает сценарий по переведенному им же казахск<ому> роману. Мой сценарий приняли⁴. Вот так-то.

Как там у вас зима? Нас тут совсем замучила — морозы до сих пор ночью в 20°! Надоело!

Хочу сморчков!

Хочу учиться на рояле. Играть Шопена. <...>

Куплю летом рояль.

Будь здоров, милый, пиши иногда.

Ю. Казаков

Опубликовано в «Звезде» (1990, № 1).

¹ Горышин был избран секретарем Правления Ленинградской писательской организации.

² Шергин Борис Викторович (1893—1973), сказитель, прозаик.

³ Курочкин Виктор Александрович. См. письмо 83.

⁴ Сценарий по рассказу «Голубое и зеленое». См. письмо 86.

23 марта 1969. Абрамцево

Где же это тебе, старина, подавали шампанское в ведерке со льдом? Пил я в Советском Союзе в забегаловках и в лучших ресторанах в Архангельске, Вильнюсе, Таллине, Риге, Сухуми, Ялте, Ленинграде, Горьком, Ярославле, Валдае, Друскениках, Резекне, Мурманске, Кандалакше, Умбе, Кеми, Мезени, Одессе, Измаиле, Львове, Ужгороде, Тарусе, Пскове, Печорах, Острове и прочих бесчисленных городах, не считая нашей столицы, а также столиц азиатских южных республик, а также Берлина, Лейпцига, Дрездена, Варшавы, Кракова и Закопане, Праги, Карловых Вар, Софии и Варны — и ведерки с настоящим мокрым льдом стояли у столиков только в Бухаресте в роскошном ресторане роскошного отеля «Лидо» с ударением на последнем слоге, и можно было выйти во внутренний сад, снять портки и рубашку и кинуться в бирюзовую морскую воду бассейна в пену прибоя, старичок, ибо в глубине этого бассейна еще проклятой королевской властью были устроены машины, рождающие настоящие волны и гонющие их на пологий мраморный берег, а искупавшись и подзагорев, можно было опять идти к своему столику, тащить из ледяного крошева бутылку и припадать к запотелому бокалу сухим ртом и жаждущей глоткой.

Поздравляю тебя с новой книжкой! Это славно, что ты шевелишь мозгой и не даешь себе покрыться пылью и паутиной, подобно мне. На тебя глядя, и мне захотелось поднатужиться. А хорошо, знаешь, получить свежие экземпляры своей книжки и потом надписывать и посылать в желтых конвертах или дарить приятелям в ресторане где-нибудь — а где, кстати, пьют питерские писатели? Лет пять назад я сунул нос в ваш ЦДЛ и в ужас пришел: ни души! Но где-то вы пьете, если заняли первое место по потреблению спиртного?

А знаешь, я сейчас вспомнил, как мы с Женей Евт<ушенко> сидели вечером в ресторане Нарьян-Мара и Женя пил шампанское без ведерка, а я — спирт, разводя его водой с клюквенным сиропом, и солнце никак не хотело садиться, и более страшного пейзажа за окном я не видал (разве что в Амдерме). Представь себе — опилки, дощатые тротуары, бараки, всюду сизое дерево... Зато такой охоты, как там, ты и в глаза не видел, да и я не увижу наверное.

Кстати, в этом году, кажется, запретят весеннюю охоту?

Ты бы меня свозил как-нибудь в свои места, на Ладугу, на Онегу, в Карелию — это ведь недалеко от Питера? Порыбачили бы. Вот я, м. б., летом приеду, белые ночи и все такое, я тебе французской лески привезу на поводки — 0,08 — в воде ее совсем не видать. Я в Париже зашел в спортивный отдел универмага и чуть не помер там — такие там были патроны, такие пистолеты, винтовки, палатки, лодки, моторы — а охота, мне говорили, прямо королевская, дичи до черта, стреляй не хочу, только за деньги, за браконьерство тюрьма, а не то, что у нас — первые браконьеры власти! Это же черт знает что, мне, например, в Алма-Ате секретари обкомов говорили: приезжай, на сайгака поедем, фазанов будем бить. И ездят, и бьют, и ни хрена теперь нет, в Нарьян-Мар надо ехать, чтобы пострелять как следует, чтобы сига поймать.

Ну, будь здоров, читаю твою книжку с удовольствием, многое в ней узнаю из твоей жизни, как ты рассказывал (а что, кстати, Сергуненков², где он, что с ним?).

Завтра поеду в город руководить совещанием молодых, заработаю немного монет на ремонт своей халупы. Кого-то бог пошлет мне в семинар.

Обнимаю!

Ю. Казаков

Кстати, никогда не пиши «лазал», но «лазил». Так пишется по-русски. А «лазал» это по-одесски.

Да, забыл тебе сказать (или писал уже? Я тут подбиваю хорошую компанию), у меня в Череповце завелся кореш капитан катера, так вот — можно было бы к нему на недельку и пойти с ним на Шекснинское <водохранилище> и на оз<еро> Кубенское. И ловить рыбку, и думать, и мечтать, и выпивать помалу, и вялить леща, и мало ли что... Хочешь?

С сокращениями включено в воспоминания «Сначала было слово...».

¹ На книге «До полудня. Две повести» (Л., Советский писатель, 1968), подаренной мне, редактору, Г. Горышин написал: «Игорь, когда толпа прототипов и членов семей прототипов соберется бить автора, ты не думай, что оправдаешься усердием в читке этой книжки. И тебе тоже перепадет. Так что нам лучше после полудня держаться вместе. Глеб. 12. III. 69».

² Сергуненков Борис Николаевич (р. 1931), прозаик, член Литературного объединения при ЛО изд-ва «Советский писатель». См. письмо 52.

8 октября 1971. *Абрамцево*

Милый Глеб! Рад, что ты подал голос. Сочувствую тебе в твоём новом начинании¹.

Сказать тебе что-нибудь определенное о технике перевода я не могу, т. к. сколько переводчиков, столько и методов перевода.

Я переписывал Нурпеисова, стараясь все-таки, чтобы это был Нурпеисов, а не Казаков. Подстрочник ни в коей мере не передает букву оригинала, но дух оригинала в подстрочнике все же присутствует и, уловив этот дух, можно довольно смело работать, не опускаясь, с одной стороны, до примитивизмов подстрочника и, с другой стороны, не возвышаясь над автором. Что касается длины, то, я думаю, такие места можно опускать, договорившись конечно, с автором.

Если будут попадаться места, не требующие «перевода», т. е. хорошие куски, то их можно оставлять.

Не знаю, как тебе достанется перевод, а мне было тяжело. Халтурить душа не позволяла, и я, в сущности, как бы вновь писал роман и времени уходило много, как на свой собственный.

В заключение один совет. В смысле денежном переводческая работа весьма неблагодарна. Поэтому (если ты вообще не переводчик по призванию и профессии) нужно переводить такие книги, которые издадутся потом не один раз. Тогда твой донорский подвиг будет хоть компенсирован материально.

Поэтому без договоров и без включения романа в издательские планы — не связывайся.

Во дни своего литературного разгула (в 62 г.) я перевел как-то маленькую повесть якута², т. е. написал ее и она вышла в «Дружбе народов» и нигде больше, таким образом мой подвиг пропал втуне.

Был я в августе на Б<елом> море и справил там довольно грустный юбилей: впервые на Б<елом> море побывал я ровно 15 лет назад. Тогда я был студентом Литинститута и впереди что-то светило. И вот теперь хочу я написать нечто элегическое.

Сижу я в Абрамцево, хвораю и вот даже пишу тебе лежа. Осень, а и не поохотился, душа моя теперь дремлет.

Будь здоров, дорогой, не пропадай, пиши иногда.

Не хочешь ли махнуть на охоту на Арал?

Твой Ю. Казаков

Конецкому, если увидишь, привет.

Включено в воспоминания «Сначала было слово...».

¹ Горышин перевел с казахского роман Азильхана Нуршаихова (1922—2011) «Годы радости и любви» (1970, русский перевод — 1978).

² Повесть Николая Чискана (Заболоцкого) «Белый поток» («Дружба народов», 1962, № 6).

70

16 октября 1971. Абрамцево

Привет старче! Я тут с болезненной скуки потянул свою исхудалую руку, выковырнул твою книжку, начал читать про рыбаков и вот не утерпел, решил тебе написать, поделиться, так сказать. Понимаешь, уж года три меня преследует мечта поплавать по нашим рекам и озерам и, может, даже по Б<елому> морю на суденышке, желательнo, конечно, на своем. После долгих раздумий я пришел к выводу, что лучше, чем мотодора для этого ничего нет. И даже узнал, где их делают. В Архангельске, братец ты мой, на соломбальской судовой верфи. И двигатель у них дивный безо всяких свечей и прочей электрической фиготины, и корпус мореходный, я интересовался, говорят, тамошние рыбаки не боятся на них ходить при волне до 8 баллов.

Но дорого! 2200 монет голенькая, а если еще построить каюты, рубку, койки, столы, камбуз и прочее, то потянет на все 3000.

А поплавать смерть охота!

И вот я подумал, что не только 3000, а еще где ее хранить зимой? Ведь ее, паскудину, надо трактором на берег вытягивать. Сплошные неудобства. Наконец меня осенило: аренда! Ведь владельцы всяких катеров не все же время на них плавают! И не все уж так дрожат за свою посудину, что не дают чужой ноге на нее ступить. Может, кто-нибудь и сдает в аренду свои плавсредства. Или, м. б., этим ведают клубы ДОСААФ?

Ваш Питер самый плавучий город, вот я и подумал, м. б., ты на досуге разузнаешь про аренду. Тебе это не трудно будет сделать, тем более, что ты секретарь и можешь звонить как лицо официальное. Вот славно бы в мае сплавать, пройти по Волго-Балту или куда угодно.

А что такое мотоела? М. б., это тоже что и мотодора? Мотодорку ты знаешь? Скуластая, бокастая и с одинаковыми кормой и носом.

Узнай, милый, про это дело и напиши мне. А то мы с тобой не охотились и не рыбачили вместе, а только пьянствовали иногда, а ведь это дурно. Сижу и помаленьку тюкаю свой сев<ерный> очерк. Вот в 72 году выйдет «Сев<ерный> дневник»¹, пришлю тебе, если буду жив.

Мотодора еще мне знаешь чем нравится? Ей на борт наступишь, она и не дрогнет, а то эти все катера — в них бабу ласкаешь с риском для жизни.

Ну, как ты решил переводить?

Целую!

Ю. Казаков

Письмо не публиковалось.

¹ «Северный дневник» отдельным изданием в полном объеме вышел в 1973 году (М., Советская Россия, 1973).

71

25 января 1972. Абрамцево

Ну? Ты наконец погрузился в казахские степи и потому безмолвствуешь и не пишешь ничего мне о мотодоре? А я-то надеялся на тебя и на Питер! Еще бы! Питерский классик, а Питер великий порт, не может, думал я, быть, чтобы не сдали нам в аренду какую-нибудь шхуну.

У нас морозы. Летают сороки. Снег не выдерживает тишины и сыплется с елок и берез. Хочется весны, казашенок, бесбармака. Сегодня варил уху из наваги, присланной мне прямо из Унской губы Белого моря. На банкете в «Берлине» ел аральского копченого леща и все мне кричали, отворачиваясь от семги: кинь кусочек, ребрышко!

Тем и живы.

Вдруг вот возьму и приеду в Питер. Слушай, очень хочется приехать. Пришли мне вызов, придумай причину — на неделю! Чтобы не тратить свои «кровные и потные» деньги и чтобы иметь основание стать на постой в гостинице.

Будь здоров, дорогой, обнимаю.

Ю. Казаков

Включено в воспоминания «Сначала было слово...».

21 января 1973. Абрамцево

Спасибо тебе, милый Глеб, разом за письмо, за «Неву», за приглашение участвовать в твоём журнале¹.

А странно, что мы одновременно писали о глухариной охоте. И еще любопытно, что ты замечаешь в скобках, зачем, мол, еще раз описывать глухариную охоту, когда уже столько о ней написано. Я тоже об этом подумал, да и не стал о ней писать. Ну цокнул он, ляскнул, ну охотник прыгнул, сердце там заколотилось, то, се, ликующая песнь, трали-вали и прочее — выстрел грянул, глухарь баякнулся оземь, взял я его за роговые лапы...

Одно только в моем опусе меня повергло в ужас: при наборе вышла опечатка: вместо «краснобровый тетерев» — «краснобородый», я, естественно, это дело исправил, но каким-то образом опечатка проскочила, так и осталось «краснобородый»!

А твой рассказ («Островенский вермут». — И. К.) хорош, хоть я и не верю, что ты одну бутылку вермута взял, да и ту не выпил, «забыл», а? Спасибо, что пишешь, все-таки хорошего у нас мало-вато, так что каждый хороший рассказ ценен вдвойне.

С удовольствием дал бы что-нибудь ради твоей новой должности, но — потерпи. Все, что у меня пишется теперь, запродано по московским журналам, а давать тебе отрывки совесть не велит.

А подумать только, какую карьеру ты сделал! Ах, ах, какую карьеру! Вспомнил я, как тебя допустили на семинар 57 года² вести протоколы заседаний, а теперь вот ты сам кого хочешь, того и напечатываешь. Зажимай их, сукиных сынов, нещадно.

Кстати, есть у меня один интересный молодой писатель³. Я привез из Гагры целую кучу его рассказов, весьма интересных. Пока я их отдал в «Н<аш> с<овременник>», а когда они вернутся оттуда, пришлю тебе, парень талантливый, пора его печатать.

Жил я в Гагре почти до нового года, и жалею теперь, что раньше не наезжал туда осенью, все-таки гагрский ноябрь и декабрь несравнимы с нашими — темными и тоскливыми.

А что же ты не написал мне про Париж? Каково тебя там принимали, кого и что повидал и чувствовал ли ты в свои парижские дни праздник, «кот<орый> всегда с тобой»?

В Абрамцево крещенские холода, ночью 36, днем 27. А погода как дай бог летом, десять дней ни облачка, а ночью слепнешь от луны.

Будь здоров, пиши, обнимаю крепко, может, весной, в марте, махнем вместе в Архангельск? Прикинь, сможешь ли?

Обнимаю!

Ю. Казаков

Будешь в Москве, разыщи Домбровского⁴, почитай, что можно у него взять. Это будет люкс.

Включено в воспоминания «Сначала было слово...».

¹ Горышин стал заведовать отделом прозы журнала «Аврора».

² См. наст. изд., с. 77—78.

³ См. письмо 73.

⁴ См. письмо 81.

73

19 сентября 1973. Абрамцево

Дорогой Глеб!

Посылаю тебе рассказы молодого гагрского писателя Кости Гердова¹.

Выбери для «Авроры», что больше тебе понравится.

Если из этих рассказов ничего тебе не подойдет, напиши Косте, он тебе еще пришлет — у него это такой цикл, о соседях, о себе, о матери, о южном городе и т. д.

Некоторые мне нравятся.

В общем, смотри сам и выбирай.

У меня вышел наконец-таки мой многострадальный «Сев<ерный> дневник». Как получу авторские, так пришлю тебе.

Еду на октябрь в Гагру, попытаюсь там кончить повесть, хоть боюсь загадывать: когда погода хороша, хочется купаться, загорать, ездить по ресторанам и проч.

Может быть, и ты приедешь погреть свою ломоту в заднице? Вот было бы славно, Лихоносов² там будет, Астафьев³, Евтушенко и проч. элита.

Целую.

Полтора месяца провел в Архангельске, собирал сведения о Тыко Вылке⁴, очень меня он занимает.

Включено в воспоминания «Сначала было слово...».

¹ Гердов Константин Николаевич (р. 1941), член русского ПЕН-клуба.

² См. письмо 65 и наст. изд., с. 257—258.

³ Астафьев Виктор Петрович (1924—2001), прозаик.

⁴ Тыко Вылка — см. наст. изд., с. 148—152.

74

4 декабря 1973. Гагра

Милый Глеб! Завтра пошлю тебе свою книжку («Северный дневник». — *И. К.*), хотя, м. б., она у тебя уже есть и мой присыл будет ни к чему, ну да все равно! Сажу в Гагре, работаю с переменным успехом, берусь вот уже за второй рассказ, но все мне мешают мысли о будущей работе, т. е. еще один рассказ лезет в голову, а потом еще повесть, о которой даже страшно помыслить (я же ведь не романист), ну то и дело приходится делать какие-то записки, авось потом пригодятся.

Скучно временами тут чертовски, ибо из писателей никого нет, а все «шахтеры», но и бросить все и уехать нельзя с моим характером: знаю, сколько забот и хлопот свалится на меня в Москве и Абрамцеве, и вся моя работа пойдет к черту.

Теперь вот какое дело. Получил ли ты бандероль с рассказами Кости Гердова¹? Почему не отвечаешь ему ничего, малый очень волнуется, а между тем накатал еще уйму вещей, которые я тебе тоже пошлю. Пристрой и пригрей ты его, ради Бога, в «Авроре». Рассказы его несколько сумбурны и порою странноваты, но человек он явно не без искры божьей и ему бы только начать, а там пойдет — я имею в виду: начать печататься. Любит его Борис Балтер², Женя Евтушенко написал предисловие³, так что снизойди, а?

А как ты поживаешь? Много ли написал и вообще каковы дела во всех смыслах — где побывал, что повидал? Напиши мне сюда, я тут пробуду до Нового года.

Обнимаю тебя, будь здоров и счастлив сколько можно!

Ю. Казаков

Включено в воспоминания «Сначала было слово...».

¹ См. письмо 73.

² Балтер Борис Исаакович (1919—1974) — прозаик, автор знаковой для 1960-х годов повести «До свидания, мальчики» (1962).

³ Книга К. Гердова «Перед бегущей рекой. Рассказы и повесть» с предисловием Е. Евтушенко издана в Москве в 1984 г.

27 сентября 1975

Дорогой Глеб!

Спасибо за книжку¹. Очень меня развеселило в ней касание твоим персонажем женских коленок. Этого, по-моему, в мир<о-вой> литературе не было.

Марк² написал мне, что ты купил резиновую лодку? Молодец! Я бы поехал, да у меня на руках большая мать. И сам я где-то схватил флегмону левой ноги и никуда теперь не годен надолго.

Змей у вас там полно. Черт знает что такое!

Слушай, а зайцев давай погоняем в ноябре? Я бы приехал. Собаку там можно достать? Егеря какие-нибудь есть?

Прости, милый, не могу больше писать, очень меня припекает. Я только хотел тебя поблагодарить за книжку и сказать, как встарь: молодец!

Обнимаю.

Ю. Казаков

Обрати внимание на конверт: во, где я живу! Напиши о себе: как ты, что ты?

Письмо не публиковалось

¹ «Други мои. Повести и рассказы» (М., 1974).

² Костров Марк Леонидович (р. 1929), прозаик. См. наст. изд., с. 253.

14 ноября 1975

Дорогой Глеб!

Ой как я тебя понимаю, ой понимаю! Еще бы! — после всех-то Парижей, Мадридов, Барселон, Канарских островов, после громадного кабинета с громадной приемной (как пишет Марк¹) — еще бы, говорю я, — любого потянет за сто верст киселя хлебать. А мне грешному это выходит не в жилу. Да и есть ли там у тебя зайцы? А собаки? А удобства?

Нет, милый, еду я в Орловскую губернию, в имение князя Дмитрия Кантемира. А там ждут меня егеря и свора гончих и уютный коттедж в сосновом лесу со столовой и с кухней, где можно готовить зайчиное рагу.

Но ты небось уже давно на Ловати, а я собираюсь в последней декаде ноября. Я тебе потом напишу, как там было.

А ты что, в самом деле вознесся? Мне тут попалась заметка о перевыборах в нашем Правлении, но ни твое, ни Конецкого имя не мелькнуло, а я вас двоих только знаю и люблю.

Будь здоров, дорогой, ни пуха, ни пера!

Твой Ю. Казаков

Публиковалось в «Звезде» (1990, № 1).

¹ См. письмо 75.

77

14 декабря 1975

Ну, Глеб! Как охота, как чернотроп? Я таки был в Орле, взял трех зайцев, мог больше, да куда? Лосей там до черта, кабаны. Раз чуть в штаны я не наклал: собаки, гоня зайца, стронули кабанов, и вот пять штук с каким-то утробным еканьем протопотали шагах в десяти от меня и, слава аллаху, не оказался я на их пути.

А зайцев и в Абрамцеве полно. Приехал, пока со станции шел, следов видел так много, будто собаки набегали. Только я собрался с ружьишком в лес, как запуржило, заметелило, завьюжило, зазимело, и снегу уже по пуп, не очень-то побродишь, а на моих беговых узеньких лыжах по целине не пройдешь и 200 метров.

Пишу тебе, хоть ты ведь наверное делегат и — в Москве, на съезде¹? Я дома не был, не знаю, делегат ли я. Скорее всего, нет, но даже если б и делегат, не поехал бы на съезд.

Не ндравится мне последнее время ничего, в ЦДЛ год не был, сижу дома, занимаюсь самоусовершенствованием². Читаю Марка, он меня завалил своими повестями и рассказами².

Все-таки напиши старичок, как там твоя Ловать, как дом родной, хороша ли охота была. Да и вообще что новенького.

Я, м. б., зимой в Питер заверну дня на 2—3. Поеду в Новгород³, хочу на церкви поглядеть еще разок, ну а от Новгорода³ до тебя рукой подать.

Приду к тебе на службу просить — чего? Не знаю, что и просить. Все у меня есть, кроме денег. А деньги будут.

Будь здоров, милый, не болей, пиши мне и вообще пиши, т. е. рассказы, очерки, повести.

Обнимаю.

Ю. Казаков

Включено с сокращениями в воспоминания «Сначала было слово...».

¹ 4-й съезд писателей РСФСР проходил в Москве с 15 по 18 декабря 1975 года.

² См. письмо 75.

78

18 ноября 1977

Прости, что так поздно отвечаю тебе на твоё такое хорошее и столь смутившее меня письмо и на твою прекрасную книгу¹. Я её всю прочёл и оказалось, что — перечёл: все твои вещи я читал, но удовольствия у меня от этого не убыло!

Задержался я с ответом, потому что вскорости ждал свою книжку и хотел, так сказать, отдариться. Сидел я в Абрамцеве, а книжка моя вышла², а редактор мне об этом не сообщил (странный редактор у меня). Одним словом, я её прохлопал, а когда узнал и послал режиссеру своему телеграмму с просьбой купить для меня, то — куда там! Наконец получил я 2 экз. (переиздание) и совсем загорюнился: вместо 200 тыс., дали мне 100 тыс., а это, как ты знаешь, тысячи три убытку, а потом столько опечаток, сколько не было их у меня во всех моих книжках: «барахтались» вместо «бархатились» (про осины), Алешка мой стучит по столу ножкой, а не ложкой, пропуски слов и даже нескольких, так что я в двух местах даже и не понял об чем речь, вставили мне почему-то медуницу (вместо таволги) и, значит, её белую кипень! и шапки!

Словом, сплошное неудовольствие.

Но я и доволен отчасти, что удалось протащить «Ни стуку, ни гроку» и «В город», кот<орые> были напечатаны в «Тарус<ских> страницах» в 61 г., страшно раздолбаны и кот<орые> у меня вышвыривали из всех сборников. И почти целый «Нестор и Кир»³ (он был целый набран, но тут уж наверное цензура...).

Теперь об охоте. Мне почему-то представилось, что в твоей деревне зайцев много и тетеревов (с чучелами на них). Я и рассчитывал на середину ноября, конец откладывая на Орел. А Марк⁴ долго не отвечал и теперь все сваливается на декабрь, значит чернотропа не будет, будет снег, зайца не увидишь, собак у нас нет... Да еще Марк предлагает Нагибина⁵ позвать и чтоб ты на своей ехал, а я на своей, а еще Рошин⁶ тоже на своей — на трех машинах за одним зайцем? Это раньше только пьяные купцы ездили на трех ликах. Не знаю, что и сказать! Если снег, то еще и лыжи волочить

надо! Может, тогда не на Ловать, а ближе к Новгороду? Нет! — ближе новгородцы все небось выбили. Словом, подумай как лучше.

Книжку я все-таки надеюсь достать и тогда тебе пришлю.

Будь здоров, пиши!

Твой Ю. Казаков

Опубликовано в «Звезде» (1990, № 1).

¹ Сборник рассказов «С наилучшими пожеланиями» (1977).

² «Во сне ты горько плакал: Избранные рассказы» (М., Современник, 1977). Редактор Ю. Бондарев.

³ См. наст. изд., с. 137.

⁴ См. письмо 75.

⁵ См. письмо 51.

⁶ Рошин Михаил Михайлович (1933—2010), прозаик, сокурсник Казакова по Лит. ин-ту. Писал о Казакове: Полоса. Повести, рассказы, статьи (М., Современник, 1987).

Э. Ю. ШИМУ

79

25 ноября 1968. Абрамцево

Дорогой Шим! Каждый раз когда я еду в Абрамцево, душа моя тоскует от желания повидать тебя. Но каждый раз в Москве столько делишек, — что рано не выберешься, а едешь поздно и остается одно — гнать и гнать, чтобы поскорее преодолеть семьдесят километров, отделяющие Москву от Абрамцева.

Сто раз (еще с Семеновым¹) собирались мы захватить за тобой, чтобы умыкнуть тебя сюда к нам. И лето прошло, и осень, и поэтому теперь остается одно: написать тебе, чтобы как-то вымолить прощение. Со страхом, старичок, приступал я к зимовке на своей даче. Чай сам понимаешь, что такое холод на даче. Но вот уже месяц холодов прошел (причем бывали морозы до двадцати градусов) — и ничего, жить можно. Очень сухой дом у меня, милый Шим. Ура! А знаешь как определяется сухость дома? По штанам и сигаретам. Влажные штаны и сигареты свидетельствуют о том, что в доме сыро. Когда я две недели жил у Конечского (еще на канале), я каждое утро снимал со стула тяжелые влажные штаны и раскуривал сырую сигарету². И еще есть один важнейший показатель влажности: окна. Если на окнах нарастает лед,

значит сыро. У меня, старичок, окна чистые и сухие. Вот как. Вот, значит, как.

А как тебе понравилась Германия³? Поразили ли ты берлинским развалинам? Видел ли ты целые кварталы разбитых домов? «Что это, — все спрашивал я себя. — Нарочно они что ли не восстанавливают?» Был ли ты в Дрездене? Видел ли ты, бродил ли по Лейпцигскому вокзалу? И какие цветы ты оттуда вывез? Вообще у меня к тебе тыща вопросов, надо бы повидаться, потолковать — но как это сделать? Я тут, по всей видимости, засел крепко. Пишу, понимаешь ли, сценарий по Нурпеисову⁴ — это предпоследняя моя работа, когда отдаешь свою литкровь, вернее вливаешь ее в чужое произведение. Еще переведу один роман и баста! Буду потом огребать деньги за переиздания. Но и своего за эту зиму накатаю порядочно, так мне кажется. А давно *сам* не писал, даже страшно братья. Наверно разучился к чертям, снова надо набивать руку.

Что у тебя нового? Как тебе работается? Напиши мне. А потом давай сговоримся насчет твоего приезда ко мне. Надо условиться о дне и времени — я буду встречать тебя на станции. А пока — обнимаю,

твой Ю. Казаков

А что, ездила Лена⁵ куда-нибудь еще в проклятые и гнилые капстраны? Давай напишем по пьесе для нее, а?

Шим (Шмидт) Эдуард Юрьевич (1930—2006), прозаик, детский писатель. Родился и долго жил в Ленинграде, в 1960-х переехал в Москву и много времени проводил на даче в Валентиновке (сравнительно недалеко от Абрамцева). См. наст. изд., с. 223—224.

Письма печатаются по машинописным копиям оригиналов.

Письмо 79 опубликовано в Собр. соч., т. 3, с. 424—425.

¹ Семенов Георгий Витальевич (1931—1992). См. письма 95—105.

² Сейчас на доме 9 по Адмиралтейскому каналу (тогда канал Круштейна) висит мемориальная доска памяти Виктора Конецкого.

³ Казаков побывал в Германской Демократической Республике в октябре 1965 года.

⁴ Осенью 1964 года Казаков приступил к переводу романа «Кровь и пот» казахского писателя Абдижамила Нурпеисова (р. 1924), на что потребовалось несколько лет: первые две части — «Сумерки» и «Мыгартства» — были изданы по-русски в 1966 году, третья часть «Крушение» — в 1973-м.

⁵ Добронравова Елена Борисовна (1932—1999) — артистка Московского театра им. Е. Б. Вахтангова, дочь известного мхатовского актера Бориса Георгиевича Добронравова (1896—1949), жена Э. Шима.

13 декабря 1968. Абрамцево

Да, милый Шим, Эрфурт я прохлопал. Но ведь тогда не было у меня парка, не было недвижимости... Зато я читал когда-то «Эрфуртскую программу», а ты, как не имеющий высшего образования, небось о такой и не слыхал.

Насчет Решке¹ — это ты прав. Пьяница, сукин сын! Но — пьяница хороший, легкий. Знаешь, есть легкие пьяницы, как покойный Светлов, а есть тяжелые — как Конецкий, да и я, пожалуй. А кабак ты напрасно обругал, не знаю, тот ли ты имел в виду, который имел я? Я имел в виду кабак, завешанный всяким речным оборудованием — бакенами, фонарями с баржей, сетями, рыбами и проч. Очень дымный, с чугунной печкой, орущими немцами, с пивным запахом, с крепкой водкой и, что любопытно, — частный, а не госкабак.

Знаешь, я в Берлине встретил Леву Гинзбурга². Он там, как дома, пришел к Лео Кошуту³, привет, говорит...

А еще в отеле «Беролина» встретил я пани Ирену Ласонь — мою польскую издательницу.

Вообще странные бывают встречи. Раз, перед поездкой в Ниццу⁴ моя переводчица поведала мне свою жизнь, рассказала о муже, с коим развелась и не видала 11 лет. И вот мчимся мы в экспрессе в Ниццу, сидим, конечно, в ресторане и вдруг возглас: «О! Лили!..» — это был ее муж. Ну, ясно, то да се, выпили по одной, потом по другой, потом ресторан закрылся, но, старик, это тебе не наши поезда, — закрылся ресторан, зато открылся вагон-бар, жратвы там уже не подавали, зато всего другого сколько угодно. И вот мы сидели в этом темноватом баре, лакали всякие напитки, я не стеснялся, ибо вполне надеялся на этого мужа, который есть самый натуральный миллионер. Но когда часа в четыре утра пришла пора расплачиваться, то этот сукин сын муж заплатил только за себя. Я, знаешь ли, всегда недолюбливал капиталистов, но тут мне захотелось его немедленно экспроприровать к чертям собачьим. Вдобавок оказалось, что места у нас в одном купе, у него наверху, у меня внизу. Он лег и захрапел, а я шурушал всякими эмигрантскими газетами, которые набрал на дорогу. А газеты, старичок, все были в траурных извещениях: в возрасте 78 лет скончался Л. гв. Измайловского полка капитан князь Шаховской, отпевание в соборе св. Ал. Невского на рю Дарю... и т. п. в том же духе.

Прими мои соболезнования насчет твоего колена, как же это тебя угораздило? Бедный Шим! Зато страдания очищают душу и помогают лучше писать. Так что утешься! Я к тебе, м. б., заеду завтра (я поеду в Москву за мебелью). Надо же утереть твои слезы?

Неужто ты пьесу написал⁵? Молодец, а мене наука.

Давай поедem в Голландию?

Насчет тюльпанов — ты прав, сердце мое дрогнуло. Но знаешь, какой из меня садовник? Я могу только ухаживать за тем, что есть, т. е. окапывать, рыхлить, подрезать, поливать и т. д., — а вот выбирать сорта, сажать, планировать цветник и сад... Это же наука! Так что я тут взял да и накатал слезное письмишко в районную газету, м. б., они мне в Загорске подыщут хорошего садовника и тот с весны возьмется за мой сад.

Впрочем, прощай! Целую и все такое, а Леночке передай поклон.

Твой Ю. Казаков

Р. S. Ты что-то заработался, мой милый, если разжижаешь слишком плотно написанные страницы, как ты пишешь, чтобы тем самым выдержать равновесие. А ты, наоборот, попробуй другие страницы доводить до кондиции наиболее тебе удавшихся — эта задача помудренее.

Я бы тебе был благодарен, если бы ты дал мне почитать свое, когда кончишь. Дашь?

И пьесу.

Письмо не публиковалось.

¹ Немецкий переводчик Томас Решке принимал участие в работе над сб. рассказов Казакова «Lagi-Väri» («Трали-вали»), который в 1967 году выпустило издательство «Kultur und Fortschritt» (Берлин).

² Гинзбург Лев Владимирович (1921—1980), поэт, переводчик (с немецкого), публицист.

³ Леонард Кошут родился в 1923 году в Киеве, в 1931-м семья эмигрировала в Австрию; переводчик и редактор, в 1960-х годах заведовал отделом советской литературы в издательстве «Volk und Welt» (ГДР, Берлин), где участвовал в выпуске «Казахстанской библиотеки» и, в частности, книг А. Нурпеисова.

⁴ В марте 1967 года Казаков по приглашению синдиката французских писателей провел три недели в Париже и на юге Франции; по дороге в Ниццу пытался отыскать дом Бунина в Грассе, о чем рассказано в отрывке «Вилла Бельведер» (1968—1969). См. наст. изд., с. 219—220.

⁵ Э. Шим к тому моменту написал пьесу в трех действиях «Королева и семь дочерей» (1964), включавшуюся в репертуар Московского театра

Юного зрителя, одноактную пьесу «А дети не слушаются родителей» (М., Искусство, 1966), и позже — пьесу в двух частях «Требуются на работу» (М., ВУОАП, 1971), комедию в двух частях «Встретились двое» (М., ВААП, 1977) и др.

81

21 января 1969. Абрамцево

Не можешь ли ты, любезный Шим, объяснить мне следующее явления. Еще в конце ноября устроил я себе кормушку перед окном, прибил ее к дубу, насыпал всякой всячины и стал ждать.

Первыми появились синицы. По две-три штуки. Не больше. Потом общество увеличилось и разнообразилось.

Вот кто прилетал: большие синицы, лазоревки, московки, черноголовки, хохлатые синицы (если верить определителю птиц — редкость), затем поползни, дятлы и, наконец, сойки и сороки.

Дятлы, между прочим, интересно едят. Клюв у него тонкий на конце, зернышко им трудно ухватить, и вот дятлы прилаживались есть боком клюва.

Когда я насыпал семечек, — пространство за окном становилось как бы заштрихованным. Почему-то ни одна птица не могла съесть семечку на кормушке, а схватив — обязательно летела на ближайшую ветку, там зажимала семечку лапкой и расклевывала. Управлялась она с этим делом за несколько секунд и летела опять к кормушке, чтобы схватить новую. А так как птиц бывало порой много, то их непрерывные прилеты и улеты были похожи, как кто-нибудь строчил бы из пулемета трассирующими пулями во все стороны.

Позже всех появились воробьи. Стаями штук по двадцать-тридцать. Они сперва облепили елку возле кормушки сверху до низу, потом слетали на кормушку, клевали и также непонятно потом улетали все вместе, хотя корм еще оставался.

Но вот странность. После появления воробьев исчезли все остальные птицы. И еще странность: полетав недели две, исчезли и воробьи. И много дней кормушка моя вообще пустовала.

Вот только недели полторы опять появились синицы и поползни.

А воробьев и в помине нет. Все птицы страшно любят пшено и семечки.

И совсем не любят почему-то льняного семени и еловых и соновых семян, которые покупал я в Москве в зоомагазине и которые все птичники хватили почем зря.

Ты не замерз на своей даче?

И почему ты молчишь? Не поздравил даже с Новым годом? Это даже невежливо.

У меня на Нов<ый> год были гости Т. Самойлова¹ с В. Осиповым² и Ю. Домбровский с восточной женой своей Кларой³. Перепившись, Домбр<овский> хватал Осипова за горло, шумел, и проч<ее>, а я спал.

Отсюда вывод: звать в гости непьющих.

Напиши мне, можно ли уже теперь завозить навоз. Не потеряет ли он своих там разных аммиаков, азотов и прочего добра.

Дай знать о себе, старичок, и не гордись своими немецкими огурцами, они тут не будут расти и в одну прекрасную ночь уберут с твоих грядок в свою теплую Германию.

Будь здоров. С Нурпеисовым я разделался и теперь дышу свободно и принялся за свое.

Привет Лене.

Ю. Казаков

Письмо опубликовано в Собр. соч., т. 3, с. 425—427.

¹ Самойлова Татьяна Евгеньевна (р. 1934) — киноактриса.

² Осипов Валерий Дмитриевич (р. 1930) — писатель, публицист. По его повести «Неотправленное письмо» (1957) был поставлен режиссером М. К. Калатозовым одноименный фильм (1960), где Т. Самойлова сыграла главную роль.

³ Домбровский Юрий Осипович (1909—1978) — прозаик, друг Казакова. Турумова-Домбровская Клара Файзуллаевна — жена Домбровского.

82

22 января 1969

Здравствуй, Шим!

Напиши-ка ты мне, сделай милость, по-прежнему ли ты составляешь передачи из Л<енингра>да «Вести из лесу»¹.

А то у меня рассказец проклянулся как раз по этой части.

Я теперь радио почти не слушаю и не знаю, живы ли еще эти «Вести» или в Бозе померли.

Куда ты пропал?

Не забудь, ты еще обещал в гости ко мне в январе. А январь уже на исходе.

Обнимаю Ю. Казаков

Письмо опубликовано в Собр. соч., т. 3, с. 427.

¹ «Вести из леса» (первоначально — «Лесные были и небылицы») — популярная в 1950-х — 1960-х годах передача для детей, транслировавшаяся из Ленинграда по Всесоюзному радио; основателем и ответственным редактором ее был писатель-натуралист Виталий Валентинович Бианки (1894—1959), а одним из постоянных составителей и авторов (вместе с Н. Сладковым, А. Ливеровским и др.) его ученик Э. Шим. По словам редакторов Л. Флит и И. Русаковой, передача заполнялась «чудесными звериными сказками», подслушанными в лесу разговорами, «ребячьими делами и обязательными загадками в конце», а иллюстрировалась птичьими голосами, «естественными записями, сделанными в лесу, в поле, где-нибудь на болоте» (Флит Л., Русакова И. Вести из леса // Жизнь и творчество Виталия Бианки. Л.: Детская литература, 1967, с. 137—144). Использованные в этой передаче коротенькие рассказы и сказки Э. Шима собраны в его книге «Цветной венок» (1975), с рисунками Н. Чарушина.

83

13 февраля 1969. Абрамцево

Дорогой Шим!

Спасибо тебе за письмо, и ты наверное прав насчет птиц, но — не знаю, не привыкли они, что ли, к моему дому? Все-таки 20 лет стоял он зимами пустой и холодный. Так или иначе, но они у меня не держатся. Сейчас, правда, есть некоторое оживление, а то почти две недели стояла кормушка безжизненная, полная пшеном, геркулесом, льняным семенем и даже колбасой. Никто не прилетал.

Теперь насчет навоза. Навоз мне нужен подо все: под огород, под деревья и кусты и под цветы.

Я, старичок, хочу на весну взять садовника (месяца на два) из Загорска, пусть он мне организует посадки и т. д. Самому некогда и не умею, а сажать мне надо много, у меня на улице выходит забор не такой, как у тебя, не сплошной, а решеточкой, и я хочу вдоль забора посадить декоративный кустарник, хотя улица у нас понятие условное, но все-таки дом мой стоит в низинке и всем проходящим все видно. А ставить сплошной забор — накладно.

Что ж ты не пришел тогда? И где твоя генеральная повесть? Пришли, сделай милость! Я тут с наслаждением прочел на днях повесть Ан. Злобина «Демонтаж» — о том, как валили монумент Сталина в 61 году. Страшно увлекательные подробности и вообще трагическая вещь!

Одолевают меня сойки и сороки, я их в декабре бил, а теперь Алешка¹, стрелять неловко, так я открываю форточку и свишу яко Соловей-разбойник.

Напиши о навозе, брать его мне сейчас или рано?

Затеваю ремонт, вернее не ремонт, а благоустройство, выписываю для этого мастеров из Москвы — здешние пентюхи ни хрена не умеют.

Не знаешь ли ты случаем хорошего специалиста по каминам? У меня запас корней года на 4, на 5 — хочу их пожечь в камине. Несколько груз<овых> машин пней с корнями, жалко же добра! Надо камин делать.

Я, старичок, не нарадуюсь на Алешку и тужу об одном только, что раньше не обзавелся этим добром, хоть бы лет 10 назад, сейчас мы бы с ним — ого! <...>

А меня вдруг повело в мемуары (старость, значит), взял я и написал оные под названием «Моя охота»². А вообще-то грустно, как начнешь перебирать юность, не знаю, как у тебя, — у меня это самое печальное время. Хоть брось!

А ты как в воду глядел, когда написал мне насчет воробья. Я и в самом деле пишу сейчас сказочку о воробье. Глупость, конечно, но что делать — писать для ребятишек одно удовольствие да и денежно... Мне вот прислали письмо из «Диафильма», хотят сделать что-то по моему рассказу «Дом»³, Тамара⁴ привезла мне «Мурзилку» с моим рассказом, а там и твой о мышатах — ерунда в сущности, а хорошо! Смысл весь в том, что когда мамы нет, то хоть бы поколотила, да была бы дома — это так понятно для маленьких!

Ну будь здоров, милый, напиши про навоз-то!

У меня в этом году много гладиолусов будет, а «деток» — тыща! Славно все-таки в земле копаться.

Напиши.

Ю. Казаков

Горышин стал председателем секции прозы.

Курочкина хватил инсульт.

Конецкий поставляет оружие арабам и тем гордится. Вот трепу будет в Питере, когда он вернется!⁵

Письмо опубликовано в Собр. соч., т. 3, с. 427—429.

¹ Сын Казакова родился 13 сентября 1967 года.

² Этими воспоминаниями (первая фраза второго абзаца: «Моя охота началась тридцать лет назад на Арбате...») открывается глава «Долгие крики» (1966—1972) в «Северном дневнике».

³ Рассказ «Как я строил дом» был напечатан в журнале «Мурзилка» (1966, № 3) под названием «Дым».

⁴ Тамара Михайловна Судник — жена Казакова. См. письма 114—121.

⁵ Глеб Александрович Горышин (1931—1998), Виктор Александрович Курочкин (1923—1976), Виктор Викторович Конецкий (1929—2002), Эдуард Юрьевич Шим (1930—2006) во второй половине 1950-х годов занимались в литературном объединении при Ленинградском отделении издательства «Советский писатель» — см. письмо 52. «Когда в 1955-м Валентин Пихуль, — вспоминал Конецкий, — привел меня в литературное объединение... Курочкин был для меня живым Монбланом, потому что уже напечатал «Пастуха» и «Цыгана Бенко», сотрудничал в газетах, а я еще ни разу не видел своего имени в печатном исполнении...» Курочкин подростком был вывезен из блокадного Ленинграда, с 1943-го по 1945-й воевал, на фронте был тяжело ранен, после войны (1948—1952) он работал народным судьей в Новгородской области и в литобъединении пользовался немалым уважением, еще и потому, что «по таланту, по литературному дару», как отметил Конецкий, его можно было сравнить «разве только с Юрием Казаковым». Автор повестей «Заколотый дом» (1958), «Записки народного судьи Семена Бузыкина» (1963), «Урод» (1964), Курочкин в 1965-м написал свою самую известную повесть «На войне как на войне», по которой на «Ленфильме» в 1969 году режиссер В. И. Трегубович снял одноименный фильм.

84

5 марта 1969. Абрамцево

А у меня, старичок, весны нет как нет. И вообще весна нынче странная, ненормальная — месяца полтора солнце, ни грамма снегу, мороз по ночам как по заказу — 25—27°... Что такое? И нет у меня ни кресса, ни салата, ни тюльпанов.

Глядел, глядел я на голубое небо, взял и заболел. Болезнь как болезнь противная, а хуже всего — на голову надела, головешка была, как полено, и посему две недели я не только рассказами своими не занимался, но и письма путного составить не мог.

Теперь вот стал ползать.

И как-то надоело мне жить в родном краю, хочется заграницы, хочется малость посибаритствовать. А то тут просто делать нечего — представь, даже пить бросил, последний раз причащался в Москве в конце января...

Воображаю твои парники и ящики с разной порослью, но не гордись, старый, у тебя ведь стаж-то! А у меня еще году нет.

Зато я покупаю полсотни розы-ругозы (так, кажется), это прекрасное растение наподобие шиповника, только бутоны как у настоящей розы и зимостойки.

Где купить сирень и жасмин?

В загородном питомнике есть липы — не надо?

Не забудь выделить мне лимонника.

Да ты приехал бы! Чай нога зажила, что ж не приедешь, поглядел бы на мой дикий лес.

Насчет садовника ты не понял меня — копать и все такое я буду, но мне нужна высшая идея. Мне нужен специалист садовод и цветовод, который поглядел бы на мой участок, и набросал бы мне план, что, где и когда сажать и, м. б., помог бы мне достать всякие саженцы и проч.

Читал ли ты Уоррена¹?

16 марта. А я, старина, опять болел — такой поганый у меня был грипп с возвратами.

Но эта болезнь на пользу пошла, придумал, понимаешь ли, свирепый рассказ² — герой хоронит свою любовницу-актрису за городом, в церкви отпевает и все такое, март, чистота небес, прозрачность леса, снег, заметенные, будто облитые глазурью, могилы и прочие прелести (знаешь, деревенские кладбища, особенно в местах, где были барские усадьбы, прелестны!), — а потом по дороге домой е... вдруг подруту покойницы (они едут в машине). И вот в этой <...> на свежей могилке (символически) и есть весь смак бессмысленной нашей судьбы.

А приятно писать такие рассказы. Только потом погано — каждая стерва будет строить целку из себя и кричать: ах, ах, как это грубо и как это писатель выискивает задворки жизни. И будет всячески препятствовать появлению этого рассказа в печати.

А весны, братец, все нет и нет, прямо беда! Надоело котел топить. Я тут глупость сделал, не нанял истопника, а теперь уж и не стоит нанимать, цыган шубу продает.

Я к тебе как-нибудь на днях вырвусь, только боюсь, не застану. Ты мне напиши, когда ты будешь у себя в усадьбе, я тогда и приеду. Надо поговорить. А потом и ты ко мне в гости закатай. Ладно? Ну, целую, Бог с тобой.

Ю. Казаков

Письмо опубликовано в Собр. соч., т. 3, с. 429—430.

¹ Уоррен Роберт Пенн (1905—1989) — американский писатель. Журнал «Новый мир» в 1968 году (№№ 7—11) публиковал его роман «Вся королевская рать», в переводе В. Голышева.

² Рассказ не был написан, сохранилась лишь его начальная страница, впервые напечатанная среди незавершенных набросков (под названием «Навсегда-навсегда») в сборнике «Две ночи» (1986).

85

18 января 1971. Алма-Ата

Милый, мудрый Шим! Вспомнил я твой дом в моем изгнании, среди чуждых гор, и стало мне приятно от мысли, что если мне постараться, то и у меня будет когда-нибудь такой же дом, т. е. в смысле ухоженности и красоты земли. Как-то я тут смотрел в громадный телескоп на звезды, а потом вышел вон, но и снаружи не было уютнее — белели вокруг горы и блестели под луной купола обсерваторий, и так мне захотелось в Абрамцево, затопить камин и чтобы весной вылез из земли тюльпан, баню затопить, и вообще чего-нибудь простого захотелось, что даже нехорошо стало.

Все-таки молодец ты, что живешь на земле, не на асфальте, хорошо, что и я купил себе домишко и что еще одно усилие, еще одна трата денег на ремонт, а потом десяток лет можно не думать о доме, а только о посадках, о теплицах, о расчистке леса, о деревьях и кустах и вообще — жить. И жалко, что благодать эта пришла мне теперь, а не в 25 лет, когда я впервые начал стремиться к землевладению.

В этом году — я твой частый гость, ученик и проситель — буду клянчить у тебя всякие растения, а ты уж не жалея, ладно?

Кстати, не привезти ли тебе отсюда семян, луковиц или чего-нибудь подобного? Я хочу перед отъездом заняться этим делом, т. е. наберу всего, чего можно, а дома посажу у южной стены и погляжу, что из этого выйдет.

Если у тебя будут просьбы на этот счет — напиши. Что ты пишешь сейчас? Завидую я вам, чертям, что вы свое что-то царапаете, а мне вот надо своей кровью орошать пустыни Казахстана. Но что делать — последний том, верный заработок, верный, следовательно, хлеб и луковицы, и семена, и ремонты, и налоги, и все остальное. А со своим еще без денег насидишься, знаю я, как писать свое. Зато после Казахстана ни одной нации не подпущу я к себе близко и вновь займусь изучением русского языка.

А камин вышел у меня все-таки великоват, т. е. кубатура самого камина не соответствует сечению дымохода — когда дрова горят дружно, тяга гудит и все в порядке, а когда огонь начинает угасать, то головешкин дым чуть-чуть попадает наружу. Его бы

переделать, но как вспомню, сколько грязи было в доме, когда делали, то руки опускаются.

А садовника себе я все-таки найму (если только удастся!) хоть на весну и лето, старикана, ибо одному мне не сладить. Очень уж много работы, и не знаю ничего, а тут, как я убедился, нужно практически поглядеть, как и что, и когда нужно делать и нужно заложить хорошую основу, а тогда уж легче будет, тогда можно самому. Так что твое издевательское отношение к наемному садовнику в данном случае меня не трогает. Если бы только в Загорске в обществе охраны природы нашелся бы какой-нибудь пенсионер, кот<орый>согласился бы через день ко мне ездить!

Приезжай ко мне, милый Шим, париться в бане! Я ее в этом году отделаю так, что художники будут просить разрешения ее рисовать.

Всех тебе благ, поклон Лене¹. Если смотришь телевизор, то обращай внимание на программу — м. б., скоро пойдет мой телефильм «Голубое и зеленое»², режиссер вроде ничего. Молодой. По фамилии Гресь.

Напиши мне. Сядь вечером у камина или ляг на шкуру (медвежью. — *И. К.*) и напиши что-нибудь мудрое и поучительное.

Целую тебя.

Ю. Казаков

Опубликовано в «Звезде» (1990, № 1).

¹ См. письмо 79.

² См. письмо 86.

10 февраля 1971. Алма-Ата

Здорово, драматург! От твоего письма по телу моему прошла дрожь, как от женщины. Еще бы! Навоз, тюльпаны, лаванда... Кстати, ты что, ее в ящиках сеешь? И годится ли ее семя, то есть эти лиловые зернышки, так чудно пахнущие, для посева? А то у меня есть два пакета таких — один из Парижа, другой из Румынии. Я бы сеял. Я, знаешь, как Паустовский, люблю лавандовый запах. <...> Нет, ты молодец и гений, что пишешь пьесы и выращиваешь тюльпаны, я подлизываюсь к тебе, я хнычу и скулю, с вождением думая о том миге, когда ты будешь выкапывать

и дарить мне негодные саженцы, ибо хороших ты не подаришь, не захочешь расставаться с фотографиями из «Цветоводства».

Зато — фу! — каким провинциальным подмосковным снобизмом веет от остальных твоих рассуждений. «Степи... Что ты мне можешь привезти?» А между тем тут яблони — как дубы! — знаменитейший алма-атинский апорт! Ты небось таких яблоков и не едал. Тут растет все — от винограда до лопухов. А у моего Нурпейсова друг-приятель директор ботанического сада. Этот сад получает семена и саженцы из ста стран мира и во столько же отправляет свои. Я одного только боюсь: как бы не навезти того, что не будет успевать расцвести и вызреть в нашем сопливом климате. А потом семена семенами, а как быть с саженцами? Если мне дадут машину саженцев — как их доставить в Москву? Как ты смотришь на Золотой корень? Или — на кедр? Они будут расти у нас?

Одним словом, ты отложи на вечерок свою пьесу, сядь и составь мне реестр, чего бы ты хотел из растительного мира — огородного, садового и лесного? Я с этим списком приступлю к ботаническому саду.

Судя по обратному адресу, ты предоставляешь своей лаванде расти в одиночестве, а сам сидишь в Москве?

Представь, я, наверное, надолго пропал для отечественной литературы. Мало того, что я в поте лица тружусь над переводом, мне еще предстоит создать сценарий для двухсерийного фильма по трилогии. Ужас!

К сожалению, не могу похвастать написанными и «завернутыми» рассказами. Только всего и успехов, что фильм, который я делал в Киеве на квартире у одной красивой и <...> хохлушки, к которой прямо-таки рвались мужчины и взламывали двери, — фильм этот, как написал режиссер, вышел¹. И вроде бы очень хороший получился фильм. А конкретнее сказать ничего не могу, ибо не видал. Да еще одна новость — приятная и неприятная вместе. Стал я отныне и навеки, старичок, лауреатом Дантовской итальянской премии. Приглашение приехать на церемонию вручения мне, конечно, не передали. И прошлой осенью такая церемония состоялась, были кардиналы, и министр культуры произносил речь, а вместо меня там был мой дух да еще моя переводчица. Братски обнявшись, дух с переводчицей сидели во дворце XIII века, где когда-то жил Данте одно время... Ну, не гнусность ли? Зато я теперь имею диплом и золотую медаль. Вечером я прицепляю ее к пижаме и гляжусь в зеркало. После Ахматовой² я второй иностранец, удостоенный премии. Ты будешь — третьим.

Ну, ладно, шутки шутками, а я здорово соскучился по нашим местам и жду не дождусь, когда приеду домой. Будет это, скорее всего в конце марта — как раз время земледельцев. Буду уповать на тебя.

Серьезно, напиши, что бы ты хотел иметь, я постараюсь привезти.

А пока кланяюсь, в надежде, что ты не оставишь меня своими милостями.

Ю. Казаков

Письмо опубликовано в Собр. соч., т. 3, с. 432—433.

¹ Фильм по рассказу «Голубое и зеленое» на Киевской студии им. А. П. Довженко поставил в 1970 году режиссер В. С. Гресь (р. 1939).

² Казаков был удостоен Дантовской премии в 1970 году. А. А. Ахматова в 1964 году получила на Сицилии премию «Этна Таормина».

87

15 января 1972. Абрамцево

Милый Шим! Ты небось решил, что я свинья — обещал тебя навестить в больнице и пропал? А я совсем наоборот. 20 сентября скрутила меня такая стенокардия, что очухался я и поехал в Малеевку только в середине ноября. А в Малеевке еще того хлеще. Форменно загибался по пять раз на дню. Руки-ноги холодели, и задыхался, и вкатывали мне разные уколы — до сих пор задница и предплечья чешутся.

И вот как только мне малость полегчало, тороплюсь поздравить тебя с Новым годом и принести к твоему порогу всяческие благие пожелания.

Что-то братец тебя давно не видно и не слышно нигде, и как-то скучно. Мне простительно, я литературу забросил, а вот ты-то что? Почему я твоих афиш не вижу — ведь ты же пьесы писал? И почему твои книжки мне не попадают? Или я темный и отсталый, и Москва об тебе шумит, а я не слышу?

Что ж, старичок, опять значит скоро весна, посевная, и — все такое, опять мы с тобой будем что-то втыкать в землю — ты методично и планомерно, а я кое-как и поверхностно. Но — все-таки.

Балтер¹ отгрохал себе ранчо за 10 тысяч возле Малеевки. Ранчо его состоит из одной комнаты. Мечтает о переоборудовании чердака под кабинет.

Не порушился ли твой сад этой осенью? У нас кругом столько лесу и садов поломало — прямо как после тунгусского метеорита. За одну ночь столько снегу навалило, что я по участку ходить в сапогах не мог, черпал голенищами, и все березки на моей опушке полегли до земли, но, слава богу, ни одна не сломалась, зато в глубине (как перебило!) сломался пополам здоровенный дуб.

Сижу я пока в Абрамцево с редкими наездами в Москву, морозы завернули, но дни тихие, ясные, свету прибавилось, с 19 января по Пришвину начинается весна света, в этом только и утешение.

Будь здоров, дорогой, не болей — что у тебя было с кровью? Елене мой поклон.

Ю. Казаков

Письмо опубликовано в Собр. соч., т. 3, с. 433—434.

¹ См. письмо 74.

А. И. ШЕМЕТОВУ

88

7 сентября 1965. Друскининкай

Дорогой Алексей Иванович!

Два дня тому назад зашиб я пальцы правой руки, поэтому сижу и диктую. Я бы мог, конечно, погодить и написать тебе попозже сам, но тороплюсь, потому что хотел бы поскорее все-таки получить от тебя свой охотничий билет.

Я думаю, что Григорий Иванович Герасимов теперь уже приступил к занятиям, так что ты можешь наконец его увидеть, взять билет и прислать мне. Адрес до 1 октября — Литовская ССР, Друскининкай, Главпочтамт, до востребования.

Сочти сам, когда будешь посылать, сколько примерно дней будет идти письмо из Тарусы в Друскининкай. Если ты получишь билет тогда, когда уже не уверен будешь, что оно меня здесь застанет — оставь его у себя, пришлешь мне его потом в Москву. Я тебе напишу когда.

Ужасно хочу в Тарусу. Не из-за этого говенного города, а чтобы повидать всех вас.

Написал бы ты, как живете, как Галя и дочка? Что слышно из Алма-Аты?

Теперь о Габите Мусрепове¹. Я ему напишу, что хочешь, только я не знаю, в каком духе ему писать. Ты мне это дело растолкуй, и я тотчас же с удовольствием сделаю. Мало того, вместе с письмом к нему я напишу письмо Анверу Шманову, с ним я более или менее близок и могу писать ему откровенно.

А помнишь, как пили с тобой гамзу?

А помнишь, как ты лазил за вербой?

А помнишь ты гениального писателя Кобликова²?

А помнишь ты Штейнберга³?

Ты небось в сапогах резиновых уже ходишь?

Обнимаю и целую. И нежный поцелуй Гале.

Пиши. До 1 октября я в Друскининкай.

Ю. Казаков

Шеметов Алексей Иванович (1913—1993), прозаик. Родом из сибирской деревни Тальма на Лене, автор рассказов, повестей, исторических хроник о Державине, Радищеве, Кропоткине. В 1930-х годах учился в Томске, в Алма-Ате поступил на филологический факультет университета, но в 1941 был осужден по статье 58, п. 10. После освобождения работал в поисковых геологических партиях, сменил много профессий, а в 1962 году поселился в Тарусе, где познакомился с Казаковым, и о первой их встрече писал впоследствии: «...он представлялся мне высоким дедки начала шестидесятых годов. И вот встречаю в прихожей коренастого человека в меховой куртке, в серой кроличьей шапке, с рюкзаком на спине. Когда он снял шапку, я увидел голую массивную голову, облысевшую как бы для того, чтобы полностью открыть мощный покатый лоб и придать лицу с крупными характерными чертами наибольшее своеобразие...»

Письма опубликованы в журнале «Нева» (1998, № 6).

¹ Мусрепов Габид Махмудович (1902—1985), казахский писатель, общественный деятель, депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва, секретарь Правления Союза писателей СССР (с 1959).

² Кобликов Владимир Васильевич (1928—1972), калужский поэт, детский писатель.

³ Штейнберг Аркадий Акимович (1907—1984), поэт, переводчик.

21 сентября 1965. Друскининкай

Милый Алексей Иванович, спасибо большое за билет, я его получил вкуче с твоим письмом. Просьбу твою я уже выполнил, написал большое письмо Шманову и послал его на имя Нурпеисова¹. А Нурпеисову я написал, чтобы он письмо это передал Шманову и еще сам бы поговорил о тебе.

Что же касается вероятности получения квартиры в Алма-Ате, так я думаю, что тут очень кстати поговорка «С глаз долой — из сердца вон». И надо бы тебе не месить сапогами грязь в Тарусе, а гулять бы по алма-атинским проспектам и хотя бы раза два в неделю заявляться в соответствующие инстанции, смотришь, дела бы пошли ходчей. Да и заработал бы там уже порядочную сумму, так что на жизнь бы хватило, понял? Рассказ-то в «Просторе» напечатали? Про старика Хайджи? Нурпеисов давно писал, что рассказ взяли в «Простор». А ты бы там и другие свои вещи пристроил бы и вообще бы аклиматизировался бы, так сказать, своим бы стал, авансы бы получал и все такое. А так в Тарусе сидеть — ж... мохом обрастет. И что Галя смотрит, дура такая! Гнать тебя надо взащей из Тарусы.

Слышишь, Галя? Пинком его под зад, поняла? Семью, гад, завел, а создать божескую жизнь для этой семьи не может. А все от чего? От лени. Приехал в Алма-Ату, ж... вертанул и назад. И сидит. Ждет.

Ты, м..., знаешь ли, что такое не рыпаться? Я вот однажды послал в апреле из Тарусы два рассказа в «Огонек» и тут же получил письмо, что оба взяли. Я и успокоился. И в «Огонек» ни ногой. А там авторы так и толкутся. И свои рассказы вонючие пхают и пробивают. А я, как благородный м..., сижу в Тарусе и созерцаю ее говенную грязь. И вот один рассказ вышел в конце августа, а другой так в январе следующего года. А посланы в апреле. А журнал выходит каждую неделю, понял?

Вот так, старик. Надевай-ка ты штаны и катись к едрене фене в Алма-Ату, да Галю бери с собой вкупе с дочкой. Там комнату снимешь, поживешь. Осень там чудная. До половины октября, так уж и быть, поживи в Тарусе. Ибо! Ибо первая половина октября и в Тарусе хороша. А там бери Галю и поезжай. Да не будь дураком, напиши сперва кому-нибудь, чтобы тебе комнатку подыскали недорогую, понял? Все мои «понял» следует читать с ударением на «я», поняЛ? А я б к тебе завернул бы, позвонил бы тебе в звоночек, кнопочку бы нажал, а не стучал бы как необразованный, Галя бы мне открыла в белом передничке, а я б ее ущипнул, а потом бы к тебе в кабинет. А ты б тут же бегом в магазин за бутылкой, понял? А денег бы у тебя к тому времени было! Мы б с тобой как засели, так по всей Алма-Ате дым пошел.

И вот благословляю я тебя архиpastырским благословением ехать в Алма-Ату, сиречь город Верный, а посему и благословение мое крепко и верно, понял? — опять же с ударением на «я».

Отпиши, что думаешь по этому поводу, отпиши — мне, недостойному рабу божьему, в Друскининкай, где я пребывать буду до октября десятого дня. А отпиши авиапочтой, две копейки не жми, хмырь ты эдакой!

А Галю цалую. В уста сахарные.

Адрес тот же: до востреб<ования>.

Будьте здоровы!

Ю. Казаков

Чюрленис — что на конверте, — это литовский гениальный художник и композитор. Это чтобы ты знал и при случае где-нибудь ввернул бы: так, мол, и так, кого-кого, а Чюрлениса я знаю...

¹ См. письмо 79.

90

5 октября 1965. Друскининкай

Алексей Иванович, дорогой! Ты ничего не понял из прошлого моего письма. Я вовсе не предлагал тебе оставить тарусскую квартиру (т. е. отказаться от нее) и мыкаться по чужим углам в Алма-Ате. Речь шла о том, чтобы ты поехал в Алма-Ату один на время, ну хоть в какую-нибудь командировку, на месяц. И то время, которое ты там пробудешь, использовал бы в хлопотах. Сам посуди, получил бы ты квартиру в Тарусе, если бы не жил в ней и не ходил бы к начальству?

Я получил письмо от Нурпеисова, и вот что он пишет (переписываю буквально, сохраняя даже орфографию):

«Я сейчас, сию минуту отнесу письмо твое Шманову. Он, конечно, как парень положительный, а самое главное, как человек влюбленный в тебя по уши, будет служить тебе, как и раньше, и верой, и правдой. Но гораздо было бы хорошо, если Алексей Иванович приехал сам, немедленно, тогда уж он получил бы квартиру непременно в течении каких-нибудь 20—30 дней».

Видишь — тот же глас: тебе надо быть там самому.

Теперь относительно жизни русских писателей в Алма-Ате. Я бывал в гостях у многих, все они живут лучше тебя и меня в сто раз. А этого старого м... Домбровского¹ ты не слушай, он трепач большой. Целый год он мне вопил, чтобы я не связывался с Нурпеисовым, потому что-де тот подонок и т. д. А Нурпеисов оказался чудесным человеком.

Дело твое, конечно, ты можешь поступать, как хочешь, но, я думаю, если ты не поедешь и тебе не дадут квартиру, тебя потом будет грызть мысль, что не поехал и тем самым упустил шанс получить. А если поедешь и не получишь все-таки, то совесть твоя будет спокойна: ты сделал со своей стороны все, что мог.

В Калуге тебе жизни не будет, точно так же, как в Тарусе. Сам знаешь калужские полиграфические возможности. Насчет Федосеева² — берись, почему не написать. А аванс они тебе дают? Без аванса, оно, знаешь, плоховато, и даже не в смысле денег, а в том смысле, что у издательства нет к тебе никаких обязательств, не примет рукопись и в ответе не будет.

Вот так, дорогой, надеюсь, у тебя хватит характера собраться и съездить в Алма-Ату. Здесь я работаю над второй книгой «Сев<ерного>дневника». А что с Галей? И в какой она больнице — в Тарусской? Свяжись с Александровым, пусть поконсультирует.

Ну будь здоров, Гале большой привет, пусть поправляется скорее.

Если захочешь написать, не откладывай надолго, а то я дней через 10 уеду отсюда.

Бывает ли в Тарусе Володя Кобликов? Привет ему передавай, если увидишь.

Ю. Казаков

¹ Домбровский. См. наст. изд., с. 251 и письмо 81.

² Федосеев Григорий Анисимович (1899—1968), писатель, инженер-геодезист. Автор книг: «Мы идем по Восточному Саяну» (1951), «В тисках Джугдыра» (1956), «Смерть меня подождет» (1963) и др.

2 апреля 1970. Абрамцево

Дорогой Алексей Иванович! Знаю твою нелюбовь к письмам и прочей тому подобной ерунде. Но все-таки! Будь благодетелем, отклей от стула свою худую задницу, спустись вниз и отстукай мне телеграмму о дне, когда, по тарусским расчетам, начнется у вас половодье. Не ледоход, а половодье, понимаешь? И я грядю!

Абрамцево всем хорошо, да вот Оки у нас тут, как на грех, нету.

О своих делах и прочих новостях расскажу при встрече, а пока — до свидания!

Твой Ю. Казаков

Р. С. Телеграмму, разумеется, следует высылать, когда вода начнет подыматься.

92

18 апреля 1970. Абрамцево

Любезный Шеметов!

Спасибо тебе большое за телеграмму. Был! Был я на разливе, но в Поленове, рвался душой в Тарусу, но катера не ходили, и я только глядел из Бехова на вас в бинокль и горько плакал.

Я даже выпить с тобой хотел, чего я давно уже не делаю, но — в Тарусе — хотел! Пришлось мне все-таки не пить и, пробывши в Поленове с субботы до среды, убраться восвояси несолоно хлебавши.

Но разлив-то, разлив каков был! Чай ты от пивной к пивной на лодке плавал?

Напиши хоть, каково было, если уж мне не судьба была увидеть самому разлив в Тарусе. Было б мне ехать через Калугу, дураку! Но я рассудил, что как только лед пройдет, то и катера пойдут. Они и пошли с понедельника, но какие-то длинные колымаги с целым фонтаном сзади и в Поленове не останавливались...

Не ленись, дружок, напиши, как у тебя дела и вообще. А я к тебе еще приеду.

Обнимаю.

Напиши свой адрес, а то я тебе все посылаю письма на авось, на Курган. Нехорошо. Ты же не Ст<епан> Разин!

Ю. Казаков

93

17 декабря 1975. Абрамцево

Здравствуй, милый Алексей Иванович!

Видел, видел я тебя по телевизору: пока перед камерой суесловил Кугультинов¹, за спиной у него прошел человек со скулой (в полупрофиль), и я тотчас подумал: Шеметов! — а ты, чтобы окончательно уверить меня в том, что это ты, тут же повернулся и прошел по диагонали еще раз, уже полуанфасом, тут я и усы увидел...

Вот, подумал я, бродит человек между людей, не зная, к кому приткнуться...

Как живешь, Алексей Иванович? И чем вдохновил тебя съезд²? Икорки небось поклевал на приеме, а? Выпил небось на дармовщинку?

Что пишешь? Есть ли деньжата? Как здоровье? Приезжают ли в Тарусу писатели с художниками?

Сто лет собираюсь навестить Тарусу, тебя, разумеется, Федю Поленова, Александрова, да как-то меня все мимо несет — то в Новгород, то в Орел, то на Север.

Но в январе приеду обязательно дня на два-три. Места в гостинице будут, как ты думаешь? Какой у тебя сейчас адрес? Что-то слышал я, будто ты другую квартиру получил, уже не на Кургане. Поэтому посылаю письмо на авось, в надежде, что тарусская почта знает твой адрес.

Напиши мне. Гале привет. А дочка небось уже невеста? Мой сынок пошел в первый класс. Если мать привезет его на каникулы в Абрамцево, будем с ним на лыжах ходить.

Будь здоров, дорогой, обнимаю!

Ю. Казаков

¹ Кугульгинов Давид Никитич (1922—2006), калмыцкий поэт, лауреат Ленинской премии (1976).

² Съезд писателей РСФСР состоялся в Москве 15—18 декабря 1975.

15 января 1976. Абрамцево

Дорогой мой Шеметов!

Рад, что ты жив-здоров. Ул. Горького — это где? На Кургане, где ты когда-то поселился, или ты опять переехал? А писать просто так не собираешься? Я имею в виду не историческое, а просто как некто пришел к некоей (или ушел) и что из этого получилось.

Эти исторические вещи ведь выматывают автора в смысле сидения по архивам и проч. Я вот тут сдуру решил откликнуться на просьбу Детгиза и сделать им книжку о Т. Вылке¹. Ну и что? Ездил в Архангельск, сидел в архиве, встречал людей, знавших Вылку, и все это суета. То ли дело написать: «Я из дому вышел, был сильный мороз...» Или: «Хожу на охоту, живется легко!» Вот что-то ты, братец, побрел за Радишевым, а путь у него вон какой! Не только из Петербурга в Москву, но и дальше... Да ладно, дуй, раз взялся.

Слушай, в Тарусе пиво есть? Ведь я приеду, выпить надо? А выпить я не люблю, пиво ж — другой коленкор.

Что не заедешь в Абрамцево?

Насчет затишья в Тарусе — радуйся. Я вот гостям всегда рад, но, понимаешь, когда работаешь, а тут гости — тогда плохо, дом все-таки небольшой, это тебе не Ясная и не Спасское, в которых гости как бы растворялись. И хозяевам глаза не мозолили. И могли жить месяцами.

А что Штейнберг², все с молодой женой?

И где это твоя ул. Горького? Объясни. А дом Щербаковых стоит? Помнишь, как мы с тобой там окапывались? Эх, время-то было золотое!

Будь здоров, дорогой, обнимаю! Приеду, как только закончу Вылку. Где-нибудь в конце января. Ты в это время в Москву не собираешься? И есть ли у тебя телефон, напиши. Я это к тому, что, м. б., ты бы приехал в Москву на такси, встретились бы и обратно вместе, в расходах поучаствую, разумеется.

Твой Ю. Казаков

¹ Повесть «Мальчик из снежной ямы».

² См. письмо 88.

Г. В. СЕМЕНОВУ

95

28 января 1962. Москва

Старик! — я уезжаю и поэтому пишу тебе.

Ружье у Бродского¹ — я видал, он даже дал мне его, чтобы я попробовал, оно прекрасно по форме, но, увы, — никуда не годно по содержанию. Стволы изнутри и снаружи покрыты раковинами. Так что вся надежда теперь на твой «Зимсон». А хорошее слово — «Зимсон» — зимний сон, правда?

Итак, смелей и выше. Хватай свою тетю, держи ее, а я приеду и унесу ружье. Приеду я к середине февраля.

Затем! Точно как и тетю, хватай за горло Кожевникова, тереби его как стреляную утку. Это я имею в виду мои рассказы.

Бедные мои рассказы! Я, как Пушкин, поднимаюсь сейчас на высшую ступень, а обо мне дурно говорят. До чего дошла наша литература!

По приезде я буду звонить тебе или просто зайду.
Будь здоров, желаю успехов!

Ю. Казаков

Семенов Георгий Витальевич (1931—1992), прозаик.
Письма публикуются по Собр. соч., т. 3, с. 440—458.

¹ Бродский Иосиф Александрович (1940—1996), поэт, лауреат Нобелевской премии.

96

21 апреля 1962. Таруса

Старик! Увы, охоты не вышло. Не то, понимаешь, ныне время, чтобы охотиться. Не та эра. Не та эпоха. Это тебе не девятнадцатый век! Это тебе не Аксаков и не какой-нибудь Толстой.

Все эти дни ходил я в лес, но кроме реактивных самолетов, с ревом проносившихся в верхотуре, ни хрена не видал. С горя стрелял по сойкам и дроздам. Ружье хорошо — то ли ты наклак слишком много пороху в патроны? — но бьет здорово. А дрозды все равно вкусны. Я воображал, что это вальдшнепы.

Ну и были еще разные приключения. Один раз, возвращаясь в темноте с тяги (которой не было), мы нашли ежей. Двух штук. Сейчас они живут у нас на террасе, фырчат, издают звуки, будто густая каша кипит на плите, топчут по полу, переворачивают тазы и кастрюли, пьют молоко, едят хлеб и птичью требуху и днем спят без просыпу. Мы их скоро выпустим опять в лес.

Еще была встреча. Опять мы шли с тяги, которой не было, шли подлеском, такие, знаешь, частые, красные пруты, и вот вдали над этими прутами, в темноте узрел я корягу, очень похожую на лося. Это и был лось. А с ним еще лосиха и лосенок. Ты думаешь, они удрали? А вот хрен! Лось насторожил уши и пошел к нам. Он всхрапывал и был страшно большой. И нам стало как-то неудобно. Пропала, понимаешь, вся интимность. Главное, что ружье было на вальдшнепа заряжено. И пуль не было. И потом еще всякие такие мысли насчет штрафа в 10 тысяч рублей или тюрьмы. За этого-то подлеца нахала лося, а? В общем, во мне боролись противоположные чувства, пока мы трусливо обходили проклятых лосей стороной. Это ли не подлость?

Больше приключений не было. Ружье я почистил, смазал и запаковал до осени.

Теперь вот какая к тебе будет просьба. Я тут куда-то засунул твое письмо с адресом Бочарова¹. Не то я его в Москву свез и там оставил. Я ведь так и не позвонил ему, ружье все мои мозги отбило. Не дается мне этот Бочаров. Будь другом, позвони ему ты, спроси, взял ли он в сборник какой-нибудь мой рассказ. Если взял, то какой? Если не взял, то будет ли вообще брать. Если будет, то пусть берет «Осень в дубовых лесах». А потом напиши мне сюда — хорошо?

Вот и все. Привет Лене и маленькой поэтессе². Пиши мне сюда.

Ю. Казаков

¹ Бочаров Анатолий Георгиевич (1922—1997), критик, доктор филологических наук, профессор МГУ. Речь идет о сборнике лучших рассказов года, выпускавшемся изд-вом «Советский писатель». В сб. «Рассказы 1962 года» (М., 1963) был помещен рассказ Казакова «Легкая жизнь».

² Речь идет о жене Г. Семенова Елене Владимировне и его дочери Наташе.

97

1 апреля 1963. Таруса

Старик, на обороте — это одна девочка у меня упражнялась на машинке. Ко мне сюда ездят всякие такие умненькие девочки, а эта еще вдобавок пианистка и два дня услаждала мою нежную душу звуками.

А я еще раз повторяю: ничего нет и неизвестно (между прочим, ты не оценил этого перла. Это в Тарусе однажды было объявление на керосиновой лавке «Керосину нет и неизвестно») — ехали мы сюда, было мокренько, весной пахло, и мысли у нас были весенние, о сапогах, и как отсюда выбираться. А потом опять стукнули морозы, дует злой ветер, весны и в помине нет, грачи, которые уже прилетели, — в полной панике, жрать им нечего, любви тоже никакой, мороз кровь сгущает, мотаются они по ветру, над белой равниной, и тоскливое очарование исходит на мою кровавую душу от их пролетов. И письма от друзей все приходят унылые, зимние. Словом, заморозки.

Но ты не робей, а ты вот что — разведись с женой, детей отдай в детский дом, собаку подари Кочетову¹, доставай гильз и пистонов и думай все время обо мне и о деревне Грызавино (название-то, с ума сойти!), сделай себе соляной раствор, заряди шприц и в предвкушении маринования всяких уток, и глухарей,

и тетеревей, и прочей мрази, втыкай пока время от времени шприц себе в задницу и напускай туда соли. Кровь должна быть соленая, это ты знаешь? А у тебя она пресная, судя по твоим унылым письмам.

Я приеду под Пасху. Под светлый праздничек Христова Воскресения. И позвоню тебе тогда, и мы решим, что нам делать. Если с весной затянется, то охоту, наверное, отложат на недельку, ну да нам не к спеху, поедем попозже.

Ружо я вынул и повесил на стенку. И гляжу на него. Такое оно изячное.

Повесть моя пускает соки.

Девочка моя привезла мне гиацинты. Они сейчас стоят передо мной в банке, толстенькие такие и пахнут одновременно бананами, клубникой, сиренью и шампиньонами. У меня на столе весна. И мне охота писать рассказы для детей про весну. И быть каким-нибудь там Пришвиным или Бианкой, и чтобы окружен я был какими-нибудь домовитыми, уютными старушками, чтобы их вокруг меня было штук десять и чтобы они мне носки вязали, кофе варили, спину мне чесали, а когда я напишу свеженький рассказец, чтоб они садились возле и я бы читал им, а они бы ахали и какая-нибудь из них бежала бы после этого в магазин за четвертинкой. Хотел бы я быть старосветским помещиком, старик, вот так! Я тут стал читать одного старого писателя (и хорошего) Салова², так у него есть такое место, где охотник жалуется на плохую тягу, всего шесть штук убил, а?

Ну, будь здоров, информируй меня, ради бога, как с охотой и как с гильзами, порохом и прочим.

Привет Лене!

Ю. Казаков

¹ См. письмо 23.

² Салов Илья Александрович (1834—1902), прозаик, драматург, переводчик.

11 апреля 1963. Таруса

На какой я тебе бумаге пишу, а? Ты погляди на свет. На такой бумаге только президенты пишут, Льву Толстому не снилась такая бумага.

Слушай, старина, что Бог ни делает, все к лучшему. То бы мы поехали в Псков, а теперь так: 10 дней по Вологодчине пошляемся, я сегодня писну письмишко одному знакомому писателю, он там охотился, знает, где лучше.

А потом 10 дней в Архангельской. Слушай, купи дрови 00 или даже картечи, мы там поплывем куда-нибудь к ненцам, на Колгуев остров и будем в тундре гусей бить.

Ты бил гусей в тундре, а? То-то! А тюленей бил? Белых медведей бил? А пока заряжай патроны и мечтай.

Приезжай! Разлив в этом году будет небывалый, и хоть я живу на 20-метровой высоте над рекой, но вода подойдет к самому дому. Во как! А тяга тут приличная — больше никакой охоты нет, можешь в Москве купить живых уток, тут выпустить и поохотиться. А тяга ничего. В 58 лошадиных сил тяга! Привет Лене. Целую, жду¹.

Ю. Казаков

¹ Е. В. Семенова так комментирует это письмо: «В марте 63 г. состоялся пленум СП, на котором учинили разнос Евгению Евтушенко за публикацию во Франции его «Автобиографии». Перед этим были статьи в „Правде“ и „Известиях“, разгромные. По Москве поползли слухи, по нарастающей, о его реакции, о его переживаниях. Казаков предлагает Семенову пригласить Евтушенко на охоту. Позвонили, позвали, помогли купить ружье и отправились на Вологодчину втроем. В Вологде, где они пробыли один день, было холодно, ветрено и дождливо. Да и приездом их в тройственном числе были немало смущены! Поселились в деревне, в охотничьем домике. О том, как они охотились, написано в рассказе Юрия Казакова „Долгие крики“» (Собр. соч., т. 3, с. 446).

26 января 1965. Алма-Ата

Милый Юра!

Ты не только не опоздал с письмом, но я еще пробуду здесь с месяц. Роман я закончу довольно скоро, да потом приедет мама, мы поживем здесь немного, просто так, ничего не делая, а потом махнем в Аральск, поглядеть на настоящую Азию. А то здесь — как у Хемингуэя. Горы, солнце, елки, горная речушка. Пахнет весной, да и мало сказать «пахнет» — просто настоящая весна. Как у нас перед ледоходом. Дроздов много. Дрозды жирные. Есть черные — большинство, — но попадаются и серые. Глядя на них, я каждый раз вздрагиваю и хватаюсь за несуществующий приклад ружья. Ел ли ты когда-нибудь жареных дроздов?

Все бы отлично, да вот с правами у меня дело швах. Тут казахи было ретиво взялись за мои права. Все было на мази. Т. е. мне был обещан мягкий экзамен в ГАИ и торжественное вручение прав. Но потом вопрос уперся в прописку, и я уж не знаю, что будет. Я ведь документы свои, т. е. медицинскую справку затребовал из Москвы. Там-то хоть я мог сдавать экзамены. А теперь в Москве я и этого лишен. Придется, видимо, по приезду поступать на твои иностранные курсы. Вот беда нам с этими правами.

Если б ты знал, как мне охота домой, в Россию. И поездить на машинке. Слава богу, она у меня в гараже, в тепле и покое. Но я уж не буду таким дураком, как в прошлом году. Весной меня приглашают в Англию. Так вот, я и в Англию не поеду, пока не сдам на права.

Поохотиться — это было бы славно. Да мы еще, м. б., и рыбки половим, съездим. Вообще-то я хочу забиться в Тарусу. Потому что в Москве работать не по мне, а работать очень охота. У меня ведь не окончен «Северный дневник» и повесть. Вот какие дела.

С Нового года я не пью совсем, и неохота. Очень хорошо себя чувствую, лазаю по горам, поглядывая на сорок и дроздов. На охоту я так больше и не ездил. Мне было устроили охоту в заповеднике. Да на мою беду за три дня до меня приехал туда охотиться Пред. Совмина, а там ему что-то мало попало. Он и сказал, что это такое, если даже в заповеднике не поохотишься как следует. Не пускать никого и даже меня в течение года! И охотка моя сорвалась.

Писатели тут живут очень здорово. У всех громадные квартиры. Я бы тут имел не менее четырехкомнатной. И писатели запросто ходят к Первому секретарю ЦК, и вообще в ЦК, и в Верховный совет, и в Совет министров.

Живу я теперь не в доме отдыха, а в санатории. Это тут же, только повыше в горах. Порядки тут зверские. Разные процедуры, режим и прочее. Все бы ничего, да мешают работе. Только распишешься, заходит сестра: просим на циркулярный душ. Или массаж. Или хвойные ванны. Сбивают, понимаешь, настроение. Но все-таки работенка двигается и уже конец маячит. Как ни говори, а 15 листов для меня много. Я же рассказчик! А тут сразу такой роман. Я в нем и плаваю, как г.. в проруби. Но ничего, казахи довольны, говорят, что перевожу я гениально. А я сам не знаю. Наверяд ли.

Спасибо за адрес Жоры Садовникова¹ — завтра я получаю деньги и сразу же пошлю ему.

Будь здоров, милый, поцелуй Леночку, привет папе и маме! Напиши мне о новостях, а то я тут одичал совсем. Адрес мой та-

кой: Алма-Ата, 20, Санаторий Совета Министров Казахской ССР. Понял? Попробуй-ка ты в Москве устроиться в санаторий в Барвиху. Так-то. Целую. Пиши.

Р. S. Привет Жене Евтушенко. Вышла ли у него в «Юности» поэма² и что говорят о ней в Москве? Обидно будет, если она не придется.

Ю. Казаков

¹ Садовников Георгий Михайлович (р. 1932), прозаик, кинодраматург.

² Поэма Е. Евтушенко «Братская ГЭС» была опубликована в № 4 журнала «Юность» за 1965 год.

100

7 декабря 1968. Абрамцево

Поросята вы эдакие! Адреса-то своего вы мне так и не дали! Склероз вас заел! Не надо пить с Таней Самойловой¹. Не надо быть снобами. (Кстати, чтоб вы знали, сноб — это не человек, который к другим относится с пренебрежением, а сноб — тот, кто водится только со знаменитостями, это в точном первоначальном смысле.)

Итак, долой Самойлову, да здравствует Казаков!

Тут зима. Тут живет Галя. Одна. А? И я один. А?

Шим написал гениальную пьесу и гениальную повесть. Он уверен в этом.

А я еще не написал бездарного сценария. И я в этом тоже уверен. И сижу дома в меховых чулках. Ружье мое бьет изумительно. С сорока-пятидесяти шагов кладу сойку или сороку бездвижно. То есть после выстрела они падают как камень, не трепыхнувшись. Потом я их обдираю, даю Ваське, и он воет, бегаёт по всем углам и никак не может спрятаться со своим сокровищем, то есть это ему кажется, что не может.

Купил ли ты гордона, или ирландца, или как его еще там?

Езжу на машине гулять. Она у меня фырчит, зад у нее засыпан снежной изморозью, печка греет. Куплю радио, тогда совсем будет серенада в солнечной долине. Два раза ходил на лыжах. Воспитаваю в себе вкус к одиночеству (как Шим). Это нам всем предстоит. И надо заранее готовиться.

Читал ли ты Лихоносова². Этот глухой пень дает нам всем прос....ся (Лена, не читай этого слова!). Это Шопен в прозе.

Вот так, а вы там ходите по ЦДЛ, а потом стучите кулаком по столу, действуя на нервы жене и гостям.

А читал ли ты Камю — «Чужой»? Если нет, то не надо, яглянул — Нора Галь по-бабски и пискляво перевела эту загадочную и могучую вещь, я тебе дам в переводе Адамовича¹.

Пиши мне, хоть ты и бездарен в письмах, как Бунин.

На зайцев я, наверное, не пойду, подсыпало еще снегу, и теперь в лесу не побегаешь, снегу почти по колено.

Лена, у меня давнишняя склонность к полигамии, так что если Семенов будет еще стучать кулаками, прибегай ко мне, места хватит, будем жить дружно. У Нурпеисова старшая жена называется байбише, младшая — токал. Ты будешь токал, хорошо? (Это место Юрка пусть не читает, а то он зарядит свой боксфлит карточью...)

Чиф⁴ все умнеет, и я даже начинаю его стесняться.

15 янв<аря> я уезжаю в Лондон на полтора месяца⁵. Королева, ребята, меня пригласила, ее величество. Лондон это прекрасно, но мой визит к королеве повергает меня в мерихлюндию — никогда не разговаривал с королевами. Завтра вот надо ехать в ЦК... (Только это между нами.)

Воробьи мои, нажравшись пшенки, воображают, что уже весна и начинают драться и яростно чирикать.

Посылаю вам фотографию, ради которой, собственно, я и написал вам все эти глупости. Целую вас и прошу — пишите! Лена, напиши, как ты меня любишь.

Будьте здоровы и Богом хранимы, ребяткишки. Остаюсь весь ваш

Ю. Казаков

¹ См. письмо 81.

² См. письмо 65. Речь, видимо, идет о повести «На улице Широкой» («Новый мир», 1968, № 8).

³ Галь Нора Яковлевна (1912—1991), переводчик, критик.

Адамович Георгий Викторович (1894—1972), поэт, критик, эмигрант первой волны. Казаков познакомился с ним в 1967 году в Париже, у них завязалась переписка. 23 мая 1967 года Адамович, в частности, писал: «Дорогой Юрий Павлович, искренне благодарю Вас за письмо. Я был очень рад встрече и знакомству с Вами, но жалею, что мы виделись с Вами, в сущности, мало, да и то на людях <...> Спасибо за добрый отзыв о моей книге «Одиночество и свобода» и за обещание прислать роман Ю. Домбровского...» 5 августа 1967: «...хотя и с большим опозданием, хочу поблагодарить Вас за «Хранителя древностей» <...> Книга действительно замечательная, и Вы правы — талантливость автора чувствуется на каждой странице <...> Надеюсь, Вы хорошо отдыхаете на Оке...» 20 января 1969: «...Спасибо, что вспомнили и написали. Очень был рад <...> Судя по

Вашему письму и по тому, что Вы теперь домовладелец и собираетесь провести зиму в Абрамцево, едва ли Вы вскоре будете в Париже. А жаль! Мне искренне бы хотелось Вас видеть. На днях видел издание Вашего «Полустанка» <...> Рассказ в книге, именно так и называющийся, — мой любимый. Как бывает изредка в настоящей, не выдуманной литературе: на трех страничках все сказано, больше дословного содержания, и нечего добавить...» (Собр. соч., т. 3, с. 501—504).

⁴ О спаниеле Чифе см. наст. изд., с. 241.

⁵ Поездка не состоялась.

101

20 декабря 1968. Абрамцево

Любезный барон!

Заяц трепаться не любит: сказано — сделано!

Это я к тому, что, помнишь, ты неоднократно причмокивал от мысли, что найти бы охотника, который бы держал у себя нашего гончака, а мы бы к нему приезжали по осени, по первому полю.

Так вот, такого охотника я нашел.

Теперь весь вопрос упирается в щенка. Щенок нужен, как сам понимаешь, от наилучших родителей, какие только найдутся в Москве. По всем статьям сейчас наилучшей считается англо-русская гончая. Так что щенка нужно непременно англо-русского. И еще одно: сучку не надо, только кобелька.

Понял, ваше сиятельство?

Так что — действуй! Садись к телефону и звони во все концы. Гусеву¹ не звони, я ему написал — если он найдет нам что-нибудь, мы тогда поглядим, что лучше. Я хочу, понимаешь, чтоб у нас был выбор. Благословляю!

М. быть, лучше взять щенка в госпитомнике?

Ты представляешь, к будущей охоте у нас будет в Абрамцево прекрасный пес! Да мы с ним тут всех зайцев побьем, в Переславль поедем, под Загорск и т. п.

А зайца тут пропасть — сплошные тропы, полно следов, полно следов в самом поселке, у меня на участке следы, я даже побаиваюсь за свои молоденькие яблоньки, хоть в тулупе выходи на ночь сторожить.

Получил ли ты мое письмо с фотографией? Почему молчишь?

Ай, ваше благородие, подумай насчет Нового года! А то ведь я тебя знаю, кончится дело тем, что ты закажешь столик в ЦДЛ, надерешься там, как свинья, и будешь целоваться с Фирсовым², вместо того чтобы целоваться со мной и Васей Росляковым.

Барон! Объясни мне, почему, если кухарка выходит замуж за барона, она становится баронессой, а если кучер женится на баронессе, то он так и остается кучером? И дети его — кучерята?

Ее светлости, Леночке, целую ручки. Даже не целую, а — цалую!

А тебя, цыганский барон, небрежно чмокаю в прищуренный левый глаз. А, впрочем, честь имею прибыть и проч.

Вашего превосходительства всепокорнейший слуга

Ю. Казаков

В «Русской старине», которую я сейчас усердно читаю, есть одно любопытное всеподданнейшее письмо бедного дворянчика, погрязшего в нищете и обремененного огромным семейством. На сем прощении всемилостивейше начертано: «Пусть терпит».

Пиши мне. Как только застолбишь щенка — телеграфируй, мы с охотником немедленно приедем.

У меня в парке теперь теперь птиц — как у Шима! Сейчас завожу машину и еду за пшеном.

¹ См. письмо 65.

² Фирсов Владимир Иванович (1937—2011), поэт, учился в Лит. ин-те на одном курсе с Георгием Семеновым.

102

28 марта 1971. <Медео>

Милый, милый Юрочка! Из похвальбы Кожевникова перед 5000 иностранных корреспондентов я узнал, что у тебя в «Знамени» скоро выходит повесть¹. Молодец! Один ты блюдешь и пасешь отечественную литературу, и мне приятно представлять, как ты пишешь ровным почерком страницу за страницей, а Лена потом перепечатывает, и сначала испытываете удовольствие только вы вдвоем, а потом при посредстве Кожевникова и мы все.

Зато я вдосталь напился горами, санаторием, казахскими героями и героинями и скоро, скоро поеду домой и опять засяду в Абрамцеве и буду прислушиваться и поглядывать в окно, не прощуршит ли твой «Москвич» слоновой кости. Но ты, наверное, редко теперь будешь посещать наши бедные края и нас с Голубковым...²

Зима прошла, как сон, и тут уже, как у нас в мае, отошли подснежники, скоро зацветут тюльпаны — жарко, работать не хочется. Хочется пить холодное шампанское и говорить как Евтушенко: прощайте, прощайте, приходите целоваться ко мне на могилку!

Охота весенняя опять накрылась, ружья долгой, да здравствуют судаки!

Ты небось думаешь, что я заканчиваю последнюю часть трилогии, и прощай Казахстан и Нурпеисов? Нет, мой милый, эти оба понятия беспредельны и бесконечны, и мы уже вдвоем с режиссером засаживаемся за работу над двухсерийным фильмом по трилогии. Так-то вот, это тебе не какой-нибудь грузин, которого ты перевел в мгновение ока³. Это, брат, дело фундаментальное.

Сижу я сейчас без копейки, как в 1953—1954 годах, когда еще не печатался, а учился в институте. Не одолжишь ли от щедрот твоих под трилогию? Под фильм? А? Я серьезно — с весны мне надо браться за ремонт дома, а деньги начнут валом валить только осенью.

В самом деле, где ты будешь проводить лето? В Абрамцево? Или на колесах? Или, м. б., ты уже купил себе усадьбу где-нибудь?

Напиши мне на Абрамцево, сюда не успеешь, я тут до 31 марта — очень мне будет радостно получить, приехав, письмо от тебя.

Новостей у меня никаких, кроме того, что я Дантовский лауреат и весной-летом поеду в Италию за премией⁴. Ну да это не новость. Все остальное по-старому.

Я не пью, а папахен мой бросил курить, с возрастом, как видишь, мы исправляемся.

Я было хотел остаться здесь насовсем, а дом продать, да теперь как-то раздумался, не знаю, как быть.

Я бы тебе давно написал, да твоего адреса не было под рукой, а в Алма-Ату я не спускался (санаторий в горах), а вот позавчера был и в справочнике твой адрес узнал. И пишу.

Будь счастлив, милый, обнимаю. Лене целую ручку.

Твой Ю. Казаков

¹ Повесть «К зиме, минувшая осень» напечатана в «Знамени» (1971, № 5).

² См. наст. изд., с. 232—233.

³ Илья Руруа. Добрый дом. Рассказы. Тбилиси, Мерани, 1973.

⁴ См. письмо 86.

14 ноября 1972. Гагра

Дорогой Юра!

Идем по вашим стопам, и вот ноябрь, а мы — в Гагре, как и вы два года назад. Погода здесь такая — семьдесят процентов солнеч-

ных дней, тридцать — пасмурных.купаемся в море, ездим иногда в разные злачные места. Удовольствие небольшое, но все-таки. Кроме того, пьем чудесный кофе, который теперь готовит во всей Гагре один только кофевар.

Пробудем здесь до декабря, даже если будет плохая погода, потому что у нас в Абрамцево еще хуже...

О Голубкове знаем. Эта смерть меня просто убила и повергла в транс¹. Не будь тут Тамары, я нарвелся бы до чертиков и рыдал бы не переставая. Странно, не был он мне другом, а вот горюю больше даже, чем если бы погиб друг...

М. б., потому, что был он мне сосед? И как-то без него для меня Абрамцево осиротело.

Рассказ твой прочел, очень хорошо. За упоминание о писателе Ю. Казакове — спасибо².

Здесь жил Евтушенко, как всегда трагичен и бодр одновременно, написал про меня стих, о том как я его тащу из болота³. Мне становится стыдно, хочется всех вас любить и писать больше и лучше, чтобы оправдать добрые слова обо мне.

Загляни, кстати, в 11-й номер «Нашего современника»⁴, авось понравится.

Ну будь здоров, целую, напиши мне в Гагру. Тамара кланяется и посылает вырезку из газеты, кот<орую> она тут читает.

Леночке привет. Не поминай лихом, а я вас люблю.

Ю. К.

¹ См. наст. изд., с. 232—233.

² Рассказ «Голубой дым»: «В ненастные дни Танечка забиралась с ногами под серое одеяло и, насупившись, читала рассказы Юрия Казакова. Их легко было читать, но так же легко можно было уйти от них и в бездумье парить в музыке, оставшейся в душе...» («Знамя», 1972, № 10).

³ Стихотворение «Долгие крики».

⁴ В № 11 «Нашего современника» за 1972 год были напечатаны главы «Северного дневника» «Белуха» и «Долгие крики».

18 июня 1976. Березово

Дорогой Юрочка!

Кланяюсь тебе с берегов Ловати. Привет тебе от шук, судаков, сомов, густеры, леща и проч. Ждут они тебя в гости! Кланяются тебе еще кабаны, медведи, лисы, зайцы, тетерева!

Одно плохо — постоянные дожди. Ловать разлилась, и приятель мой¹ боится ехать дальше на байдарке. Но я его уговорю! И все-таки, видимо, на съезд² опоздаю.

Прошу, предупреди там кого надо, что я буду, что поспею к рабочей части съезда, пусть оставят на мое имя мандат и прочее.

Везу тебе в подарок гениальную блесну, которую изобрел и опробовал здесь мой приятель. Он твой поклонник и собирается развивать твои традиции. Блесну он хочет назвать «Семеновка», а я не спорю и настаиваю, чтоб он ее назвал «Семеновна» или «Еленка».

Целую тебя.

Сидим в избе Глеба Горышина. А цена ей 300 руб. Не хочешь ли купить такую же поблизости? А то поедем и купим.

Твои «Фонари»³ мне весьма пришлись, жаль что ты не развил образ чудака, который ходит в библиотеку, катает барышень на такси, а денег у него нет. Оч<ень> интересный тип. Жалко, мало о нем написал.

Еще раз привет от твоего поклонника Марка Кострова⁴.

Твой Ю. Казаков

Привет Леночке.

¹ См. наст. изд., с. 253.

² 21—25 июня 1976 г. в Москве проходил 6-й съезд СП СССР.

³ Повесть «Уличные фонари» («Наш современник», 1975, № 7, 8).

⁴ См. письмо 75.

105

14 ноября 1982. <Красногорск>

Дорогой Юра!

Во-первых, большое тебе спасибо за участие в моей госпитализации! Авось, с твоей легкой руки я тут пойду на поправку.

Мне Наташа¹ сказала твой дачный телефон, но я так и не добился до коммутатора.

Ну, я тут живу, лечусь, собираюсь нечто написать, да все не с руки — много очень процедур и разных анализов, порою мучительных.

Мою дачу опять грабанули, не знаю, что взяли (я там не был), но зато знаю, что украли мой славный «Зимсон», с которым так много связано, который немало породил рассказов и очерков, произвел немало хороших выстрелов, и у колыбели покупки которого стоял опять же ты — 20 лет назад!

Вот такие грустные дела, словом.

Юрочка, вот у меня к тебе две просьбы:

А) тебе позвонит Анатолий (мой двоюродный брат)², подскажи ему, где купить эти железные скрепки на угол стекла, и потом, где заказать или опять же купить болты на колеса, которые не отворачиваются? И каким образом достать замок зажигания? Посоветуй, пожалуйста!

Б) пришли мне телефон, и адрес, и имя-отчество врача — зубного протезиста, его бумажка у меня куда-то задевалась, а мне горько надо.

За зайцами не собираешься? М. б., съездишь в то охотхозяйство, где мы с тобой шикарно поохотились в ноябре 63-го, когда убили Кеннеди? Это так близко.

...Ну, Господь с тобой! Слышу, что ты всю работаешь и — радуюсь.

Леночке самый нежный привет.

Ю. Казаков

Мой адрес пока: 143420, Моск. обл., Красногорский р-н, п/о Архангельское, 3 ЦКВГ, 10-е отд., 823-я палата.

Как тебе нравится название: «Послушай! Не идет ли дождь?»

P. S. Вот черт, перечитал фразу, и вышло, что мы с тобой убили Кеннеди. Что значит давно не брать шашек в руки.

¹ Дочь Георгия Семенова Наталья Лусканова, психолог по профессии.

² Каманенков Анатолий Яковлевич.

В. П. РОСЛЯКОВУ

106

20 ноября 1968. Абрамцево

Ты уехал, дорогой кум¹, и как в воду канул, между тем как я жду писем от тебя. Во-первых, по-родственному, во-вторых, как деревенский житель-провинциал, жаждущий столичных новостей.

У нас тут легла зима не зима, но что-то такое легло — снег во всяком случае есть, у меня за окном кормушка, и прилетают всякие поползни, синицы, хохлатые жаворонки и пр.

Я тужился, тужился и выдал наконец из себя 26 страниц т. н. лирической прозы, которую и отправил в «Вокруг света»² (они

мне давали командировку). Теперь, скрепя зубами, сижу над нурпеисовским сценарием, четверть которого сделал. К декабрю рассчитаюсь с Нурпеисовым и — вольный казак! «Жизнь и смерть Сергея Петровича»³, а?

У меня опять было рассыпали набор⁴, ты об этом знаешь, тебе звонил Нурпеисов, но я тут ни при чем, ты уж извини нас великодушно, я не знал ничего, вдруг получаю телеграмму — ура! — а потом и письмо, в котором Нурпеисов сообщает, что все улажено. Но ЦК уже столько раз покушался на мою несчастную особу, что я теперь ничему не верю, пока не увижу книжку изданной.

Топим котел и — представь себе — в доме тепло. Так что я серьезно намереваюсь тут зимовать и жду тебя в гости — вообще в гости, а на Новый год в особенности — с чадами и домочадцами. Будет елка и фейерверк.

Посылаю тебе фотографию тебя и Алешки. Ты вообще завел бы (как Никита³) на столе большое стекло и подсовывал бы под него фотографии близких тебе существ, чтобы, когда ты садишься за стол, они смотрели на тебя своими чистыми глазами и не позволяли бы тебе лениться и писать дурно.

Что нового — в Союзе и вообще? Ей-богу, кум, напиши, а то как ни хорошо здесь, а все-таки человек — скотина общественная, и ему интересно, что делает не только он сам, но и все общество.

Как твой перевод? Не раздумал ли ты в январе ехать со мной в Алма-Ату? Пишешь ли ты что-нибудь кроме перевода?

Тамара была в Минске с Алешкой, теперь приехала. Алешка начинает ходить самостоятельно.

Будь здоров, милый, целую и обнимаю, привет сердечный от всех наших всему твоему семейству.

Ю. Казаков

Росляков Василий Петрович (1921—1991), прозаик, критик, кандидат филологических наук. До Великой Отечественной войны учился в МИФЛИ.

Письма публикуются по Собр. соч., т. 3, с. 459—476.

¹ В. П. Росляков был крестным отцом Алешки Казакова.

² В журнале «Вокруг света» (1969, № 6) опубликована глава «Северного дневника» «Ночь на „Вега“».

³ Этот замысел не был осуществлен.

⁴ Рассыпали набор не только книги Казакова, но и книги А. Нурпеисова в его переводе. См. письмо 64.

⁵ Толстой Никита Ильич (1923—1996), филолог-славист, академик АН СССР (с 1987), друг Казакова.

107

13 декабря 1968. Абрамцево

Я думал, Вася, ты за тутриками в Монголию собрался и порадовался было за тебя. Эка! — подумал я, Вася-то, Вася наш! После Дрездена да на нашу прародину (мы ведь все татарове!), привезет, думаю, жене шубу на лисьем меху, себе сапоги войлочные, чтобы было в чем на зимнюю рыбалку ездить. А потом слышу — сам повез монголам дань, собрал с союза ясак и повез, как какой-нибудь захудалый князек, а не свободный сын просвещенного мира.

Чем же тебя там кормили, любезный? Небось все кониной да бараниной? Скакал ли ты на мохнатых лошадах? Снимался ли на фоне юрт? Пока это письмо дойдет до Москвы, ты, я думаю, уже приедешь, умоешь руки, оботрешь сало с губ, сядешь за стол в своем огромном кабинете, слазив предварительно в свой потайной сейф для вдохновения — и напишешь мне подробный отчет о поездке (копию пошлешь Косорукову¹).

Почему-то не судьба нам с тобой попасть в одну группу для совместного вояжа.

Приедешь ли ко мне с Ниной² на Новый год? Ты отпиши мне непременно.

Посылаю тебе вырезку из газеты. В идеале было бы неплохо 31-го с утра махнуть отсюда на оз<еро> Плещеево, наловить рыбки и в сумерках вернуться в теплый дом, пахнущий елкой, мандаринами и новогодними приготовлениями...

Слушай, а помнишь ли ты зимний Таллин? Посылает же нам судьба немного счастья в жизни, как подумаешь. За что? Меня это волнует. Не пришлось бы потом расплачиваться.

Это кафе с синим садом и запахом голубых цветочков, а? Эти калориферы, греющие наши бока, музыка, слезы, танцы... А Вышгород, а площадь ратуши в косо летящем снеге, а «Медная монета», а наши завтраки в прохладном свете утра в ресторане за белыми скатертями!

«Я жил тогда на улице Лабораториум...»

А даль залива и мы — на корабле, а наша тоска и желание медленно уплыть куда-то...

Давай не забывать это! Давай разочтемся с Нурпеисовым и Токомбаевым³ и засядем за свое. Давай напишем «Праздники,

которые всегда с нами». Я когда читал эти хемингуэвские записки, я его очень понимал — понимал, как сладко было ему вспомнить свою молодость в Париже, все эти кафе, утра и ночи. Так давай же не лениться!

Очень бы я был счастлив, если бы ты поселился в Абрамцеве, мы бы работали и тем самым подстегивали друг друга. Я рад был бы пронести дружбу с тобой до гробовой доски, потому что дружба, помимо любимой семьи, — единственное, что нас греет в этой жизни.

Будь здоров, поцелуй Нине ручку.

Пиши мне почаще.

Ю. Казаков

¹ Косоруков Александр Александрович (р. 1931), переводчик, председатель иностранной комиссии Союза писателей.

² Жена Рослякова Нина Андреевна.

³ Токомбаев Аалы (1904—1988), киргизский поэт и прозаик; Росляков переводил его прозу.

108

31 июля 1970. Абрамцево

Драгоценный мой кум Вася!

Зачем же занесло тебя к Медведице, когда мог ты жить в Абрамцеве, как я предлагал, рыбы тут полно на оз<ере> Озерецком, тишина, покой и святые земли?

А Нерль опять же рядом — отличное шоссе!

А какое «Всенощное бдение» я слушаю! Представь, как привез из Парижа, так ни разу не ставил эту пластинку, руки не доходили. И вот — дошли, и я обалдел — до того хорошо.

Дорогой мой Вася! Дни наши с тобой бегут, все меньше их у нас впереди, и надо бы нам видеться с тобой почаще, жить подружной. А ты все дальше и дальше забираешься и все трудней тебя достичь и постичь.

На Валдай мне одному ехать скучно, т. к. я, конечно, не работать туда поеду, а половить рыбки. Весь вопрос упирается в человека, который хочет поехать со мной. Если бы не это обстоятельство, я бы давно махнул бы туда и заехал бы по дороге к тебе.

Семенов все ездит на Можайское вдхр., ловить судаков, загорел страшно, здоров и бодр, говорит только о насадках, кругах и т. п.

Еще живет тут Хмелик¹, ловит в дер<евне> Плевове карасей, копит их в баке с водой, когда накопятся — жарит в сметане.

После длинных жарких дней пошли грозы, а грибов нет как нет.

Тут как-то забросила меня судьба в Шереметевский аэропорт, сидел я там в кафе, пил кофе с зельтерской и слушал, как объявляют рейсы «Эр Франс» и «Аэрофлота» в Париж, Вену, Геную, Рим... очень хорошо было мне. Все думалось, вот сейчас и я полечу. Но не полетел.

Ты там завяль рыбки-то. Подлещики хороши для вяленья, а потом ко мне приедешь, привезешь несколько штук, в баньке попаримся, потом рыбкой побалуемся, пивком... Поговорим культурно.

Хочу поехать в Киев на съемки моего фильма². Поедем, Вася, в Киев! Там на берегу Днепра чудный рыбацкий рынок: червей продают прямо с землей, выползков, жемчужных опарышей в плоских банках из-под сельдей, мотыля рубинового, кашу манную, овес пареный. Там в пузырьках загадочные снадобья. Там Днепр, который чуден. Там в эпизодических ролях такие кадры будут без нас сохнуть и пропадать — кому их оценить? А мы оценим, мы будем пампушки кушать...

Ну, прощай. Бог с тобой.

Ю. Казаков

¹ Хмелик Александр Григорьевич (1925—2001), драматург, киносценарист.

² См. письмо 86.

1 сентября 1972. Абрамцево

Синьор! Истинно говорю тебе, что пить пиво в больших количествах вредно, хотя бы и немецкое. А теперь перейдем к твоему роману¹. Прочел я его. Очень хорошо ты сделал, что написал его. Боюсь, что человечество забывчиво и что, скажем, через сто лет о нашей войне будут думать так же, как мы сейчас думаем о войне Алой и Белой Роз. Уверен, что не будь Толстого, мы бы теперь так же слабо, невнятно представляли бы себе войну 1812 года. Но старик Толстой не дает нам ее забывать, и, покуда жива литература как таковая, русские всегда будут помнить 1812 год — через слово Толстого.

Нашей войне на Толстого не повезло. Но если перейти на близкий нам с тобой язык музыки и вообразить многочисленный хор, скорбно поминающий все смерти и беды, выпавшие на нашу долю, то твой голос прозвучит в этом хоре чисто.

Вторая половина твоего романа понравилась мне меньше. В первой все тревожней, значительней, загадочней, все страшнее, неизвестнее. Ты-то ведь знаешь, что у литературы свои законы, часто отличающиеся от законов жизни. Когда вас немного, вы таитесь, а враг многочислен — тогда страшно, тогда каждый твой выстрел по врагу, просто какое-то честное действие, просто смелый взгляд на вещи вырастает до размеров грозных. А когда вас много, и газета начинает выходить, и советская власть функционирует, и особые отделы завелись, и там разные пекарни-столярни-токарни-овчарни, то враг стушевывается, уходит, дрожит где-то в отдалении, какие-то несчастные полицаи пьянствуют с перепугу, а поезда летят под откосы, и города занимают и целые районы занимают вами, тогда роман делается спокойнее и в то же время перечислительнее, а читательский интерес — падает.

Поэтому, когда твой Славка из всех возможных путей — спрятаться, прилепиться к какой-нибудь бабенке, пойти в полицаи и т. п. — выбирает самый честный и опасный путь, я слежу за ним с трепетом, ибо я не знаю, что с ним будет и как обернется дело. А когда Славка начинает писать корреспонденции в газету, я заранее знаю чем все кончится: партизанский район будет все укрупняться, пока не превратится в армию Ковпака, наносящую грозные удары по тылам противника.

Мы еще с тобой поговорим на эту тему, а пока что, повторяю, очень рад я за тебя, потому что эта книга нужна была тебе, а значит, нужна будет и нам. Ура!

Ну, Сашу можно поздравить? Дай ему Бог, студенчество все-таки золотая пора в жизни каждого кто был студентом.

А теперь — идея. Вчера кончил я некое готическое сооружение под названием «Долгие крики», получилось что-то около страниц пятидесяти, писал, писал, не знаю, что получилось, однако дело сделано, а главное, окончен «Сев<ерный> дневник». Баста!

И вот предлагаю тебе отдохнуть. Неделю. Десять дней. Берем ружья, удочки, летим в Архангельск, там отдаемся в руки наших собратьев по перу, нас везут на рыбалку, на охоту, мы говорим с народом, любимся друг другом, нравственно обнимаемся и возвращаемся к родным пенатам. Это серьезно, Вася! Будь человеком, не кидай меня в минуту злую, не отравляй отказом мой заслужен-

ный отпуск. Все лето, в дыму и в жаре я вкалывал, попутно ремонтируя еще свои владения, — это ли не подвиг!

Я приеду в начале след<ующей> недели, буду тебе звонить. Возьмем командировки, так что поездка нам ничего не будет стоить. Вася, будь человеком, а?

Привет всему твоему дому, а Сашу и Мишу поздравляю с началом учебы. Как говорится, петушок пропел давно. Целую.

Ю. Казаков

¹ Речь идет о романе Рослякова «Последняя война», опубликованном в журнале «Наш современник» (кн. 1-я — 1972, № 7, № 8; кн. 2-я — 1973, № 6, № 7). Славка Холопов — главный герой этого романа.

² Саша и Миша — сыновья Рослякова.

110

1 декабря 1972. Вечер. Гагра

Здравствуй, драгоценный мой Вася!

Вот и зима в Гагре. А зима здесь чистая, прозрачная, солнечная и очень похожа на весну. Это море такое, остывшее, и от него поэтому веет весенней свежестью. По вечерам же хозяева бесчисленных здешних садиков сгребают в кучи листья, кору эвкалиптов и зажигают костры, и тогда веет бальзамическим дымком. А закаты зловещи и коротки, а когда свет исчезнет — замечаешь вдруг над горизонтом тончайший, нездешний какой-то, турецкий серп луны.

Самое бы время нам тут с тобой жить и работать — писателей никого нет, ни одна похмельная рожа не заглядывает к тебе и ты ни к кому не заглядываешь. А по вечерам мы бы с тобой вкушали маджарку или изабеллу.

Два дня назад внезапно сорвался и уехал Евтушенко (он собирался зимовать тут), и опять, вот уже который раз, поражал он меня неумной своей энергией, заходил каждое утро и читал свои новые и новые стихи, а кроме работы — еще загорал, влюблялся в девочек, ездил обедать в Сухуми и проч. места, и крутил хула-хуп, и махал гантелями, и бегал по утрам по парапёту.

Со мной здесь Тамара и Алешка. А я все думаю, как вернусь в осиротевшее без Мити Абрамцево, как начну тихо кропать рассказы, их у меня много набралось, и они тербят меня. Слушай, приедь ко мне в Абрамцево в январе, попишем, а? На лыжах побегаем... В кафе сходим, в Ашукинскую съездим за пивком, в баньке

попаримся. Не хочешь? Митя своим выстрелом и меня подранил. Тем более, что стрелял он патроном, который я ему дал. Пришел раз, дай, говорит, патрончиков... Я и дал. Вот так-то, но это пока тяжело для меня, потом как-нибудь поговорим.

Начавши это письмо 1 декабря, заканчиваю его 8. 12. Живем мы тут, как видишь, не торопясь. Завтра мои уезжают в Москву, а я остаюсь на недельку или поболее того. Погода все время прекрасная, захаживаем иногда в совершенно пустой и поэтому вдвойне прекрасный ресторан «Гагрипш» (построенный, кстати, в Норвегии, разобранный там и собранный вновь здесь), пьем кофе, а сегодня ходили в горы, довольно высоко, и, представь, твой крестник вел себя молодцом.

За хорошие твои слова о «Долгих Криках» спасибо, за замечания тоже. Значит, ты вместо Коктебеля поехал в Гагру и, насколько я понял, смылся 20 октября? А я тут с 26-го.

Погода дивная, уже дней десять море как стекло, такого моря и летом не увидишь.

Целую тебя, и всем твоим присным поклон и привет. Тамара кланяется.

Ю. Казаков

111

Февраль, 1978. Абрамцево

Майн либер кум!

Забурил ты что ли? Или письма моего не получил? Почто не напишешь мне-дак? И почему не присылаешь «Н<аш> С<овременник>» с твоим рассказом? И как твой роман — понравился ли? (имею в виду редакторов).

Слушай, ты Нине показываешь свои опусы до напечатания? Я раньше страх как любил тыркать всем в нос свои рассказы, а теперь боюсь, берегу свои нервишки: вдруг.. Как сказал один поэт не из последних: «Бывало думал: ради мига и год, и два, и жизнь отдам... Цены не знает прощелыга своим приبلудным пятакам. Теперь иные дни настали, лежат морщины возле губ, мои минуты вздоржали, я стал ленив, суров и скуп»¹.

Пишу я теперь нечто очень хорошее, на мой взгляд, и когда напишу особенно удачную страницу, похрюкаю тихо и спрячу, и спрячу.

«Если бы вы собрались помолиться Богу и заехали ко мне, то мы обо всем бы потолковали и почитали», — в 1853 году С. Т. Акса-

ков писал так из Абрамцева в Москву историку М. П. Погодину — так начинает свое письмо ко мне В. Лихоносов.

Так вот, не соберешься ли ты помолиться Богу?

Семье твоей кланяюсь, а тебя обнимаю нежно.

Один мой герой просыпается темным ноябрьским утром в пещале, греет кофе, вздыхает, глядит на запотевшее сумеречно-сивое окошко и думает: «Не уходи от меня, ибо горе близко и помочь мне некому»².

Вообще, скажу я тебе, Библия — кладезь глубоких сюжетов, бери чуть ли не любую строку и пиши, так сказать, иллюстрацию.

Ю. Казаков

Где-то в конце марта Алексей Божий человек, т. е. Алешкины именины, на которых, как крестный отец, ты конечно должен быть. Я тебе потом сообщу о дне.

¹ Начальные строчки стихотворения В. Ф. Ходасевича (1886—1939) «Стансы» (1922).

² Псалом 21, 12.

112

<Сентябрь 1979. Москва>

Дорогой Вася!

Видишь, как выходит — оперироваться собирался ты, а вспороли неожиданно меня. Причем все врачи считали меня безнадежным. А я в это время в реаниматорской (после операции) скандалил с сестрами и врачами, требуя передышки во вливаниях, а вливали в меня всякую дребедень, и кровь в том числе, по 17—18 часов без перерыва, так что со мной начинались нервные судороги. Одним словом, за 10 дней моего пребывания в реаниматорской на 8 литров моей крови мне влупили литров 50 всяких белков и прочего, так что по жилам моим тек, наверное, бульон.

Теперь уж мне разрешили ходить, что мне не очень удается, так как (я только что взвесился) потерял я 12 кг веса. Выпишут меня навряд ли скоро, так как плохо заживает нижняя часть шва, разъеденная выделявшимися из поджелудочной железы ферментами. Вообще-то, раза два в реанимат<орской> я подумывал о смерти, и было жалко оставить неотделанным посвященный тебе хулиганский рассказик¹.

А было у меня: камни в желчном протоке, воспаление поджелудочной железы и общее полное отравление всего организма, т. е. в течение недели желчь поступала в кровь, и стал я желт, как <неразборчиво>, уже заговаривался, т. е. вместо одного слова говорил другое и забывал, кого как зовут. Т. е., как выражаются ученые люди, пунктирная потеря сознания.

Будущее, милый Вася, меня не веселит: ничего мне нельзя будет — нельзя есть соленого и копченого, нельзя пить пива, не говоря о прочем, нельзя никуда ехать, надо быть все время в пределах досягаемости «скорой помощи», нельзя копаться в саду и огороде, нельзя поднимать тяжелое и т. д. Одним словом — инвалид. Одна надежда, что Господь не отнял еще у меня талант и мне удастся еще кое-что написать.

Прочел отрывок из твоего романа («Витенька». — И. К.) и скажу, что если весь роман написал так же, то я тебя поздравляю! Пожалуйста, поблагодари Нину за предложение перевода меня в лучшую больницу, но мне было бы грешно изменить здешним врачам. Кроме того у меня отдельная палата и женщина, кот<орая> готовит мне еду и ставит клизмы, и все о'кей.

Обнимаю тебя, милый Вася, Нине и ребятам кланяюсь. М. б., заглянешь? От 4-х до 7. 11-я Парковая улица (Измайлово), б-ца № 57, палата 330.

Твой Ю. Казаков

¹ См. письмо 106.

26 марта 1981. Абрамцево

Дорогой Вася!

Одно утешение тебе могу сказать: каждое утро, и каждый день, и молясь Богу на ночь — уверяй себя, что тебе исполнилось сорок лет. Упрись, и все! Сорок! И не месяцем больше.

А не побывал я у тебя, чтобы лицезреть твою цветущую физиономию, потому, что почта абрамцевская работает гораздо хуже мелиховской.

В те стародавние времена Чехов мог, сидя в своем Мелихове, писать Суворину и Мизиновой и назначать им свидание на следующий день в «Славянском базаре». А раз назначал, значит, был уверен, что письмо доедет вовремя и свидание состоится. А твое

письмо, хоть отправленное чуть не за неделю (я поглядел на штемпель), пришло спустя два дня после твоего тезоименитства.

И электрички теперь ходят медленнее, чем раньше ходили паровички. Я подсчитал: до платформы «55-й км» современная электричка идет 1. 10—1. 15 минут. Значит 45—47 км в час. А мы, видишь ли, изнемогаем от скоростей, от потока информации и обретаем стрессы.

Я и не знал твоего дня рождения, но будто чувствуя, написал тебе письмо с разными заманчивыми весенне-летними предложениями, получил ли ты его?

И все-таки бесконечно жаль, что не смог я явиться к тебе с копчеными лещами, мы бы тогда отгородились от всех дюжиной бутылок немецкого пива, расстелили бы газетку и мурлыкали бы, не обращая внимания ни на коньяк, ни на все остальное, — ты только пересмотри Нинины «кандидатские» слайды: какие все были смурные, окоселые и т. п., одни мы с тобой как огурчики!

Ну вот, Вася!

Обнимаю и целую и кланяюсь Нине!

Ю. Казаков

Мне привезли навоз, так что можешь приехать понюхать и умилить свое русское сердце.

Ю. К.

МАТЕРИ И ЖЕНЕ

114

25 марта 1967. Париж

Писать так писать! Вчера написал вам, дорогие мои, а сегодня с утра снова принимаюсь — если застану Солоухина (потому что последние дни он исчез), то отправлю это письмо с ним.

Второй день в Париже уверенная солнечная погода. Завтра Пасха, я пойду слушать мессу, а вчера и сегодня весь Париж кидается вон, тут каникулы, и никто не хочет сидеть дома. И остаюсь я один во всем Париже.

Вчера был вечером в кафе «Куполь» (Coupole) на Монпарнасе. Это теперь знаменитое кафе, каким была «Ротонда» 40 лет назад. И вчера меня там высвечивали и снимали для телевидения, и за окнами стояла толпа и глазела — небось думали, что я штангист.

Вчерашний вечер я закончил беседой с девушкой, которой 34 года. Итальянка Italia Zuccari. Она окончила Неаполитанский университет, живет в Люксембурге, специально приехала (первый раз в жизни) в Париж, чтобы говорить со мной, пишет про меня диссертацию. У меня все время мысль, что я не заслужил ни интервью, ни диссертаций. Посылаю пока (если опять-таки увижу Солоухина — а сейчас 8 утра) одно интервью в газете Figaro, я ведь не знаю, что и где вышло, мне Лили¹ дает. Еще где-то есть, потом привезу.

Заказал себе два костюма, куплю, м. б., магнитофон, а потом разных подарков всем, только смущают меня размеры, тут другие размеры и боюсь будут не в пору.

В общем, я жив-здоров, скучаю по Вам, хочу домой. Целую. Потом напишу, а то все боюсь, что Солоухин исчезнет и я не застану его.

Целую.

Юра

Устинья Андреевна Казакова — см. наст. изд., с. 11.

Тамара Михайловна Судник-Казакова — см. наст. изд., с. 213.

Письма в семью публикуются по Собр. соч., т. 3, с. 477—498.

¹ В переводе Лили Дени (Lily Denis) во Франции изданы сборники рассказов Казакова *La belle vie* (1964), *Ce Nord maudit* (1967).

115

27 марта 1967. Париж

Здравствуйте милые! Вот и еще один день в Париже кончается — тихий, дождливый, слегка туманный день, и наполнен он был грустью для меня. Ездил я сегодня км на 25 от Парижа на русское кладбище Сен-Женевьев, побывал у могилы Бунина, потом прошелся по кладбищу — столько знакомых имен! Березы растут, но почему-то стволы покрыты зеленью — от сырости? Нет — скорей какой-нибудь грибок. Прелестная маленькая церковь, мы вошли туда и поставили четыре свечи — за всех умерших и за нас, которые еще живы...¹

Юра

¹ В телефонном разговоре с редакцией «Литературной газеты» Казаков 29 марта 1967 года сообщал, что у него состоялись встречи с рабо-

чими завода «Рено», по их приглашению, со студентами, изучающими русский язык, принимали его в издательстве Галлимара... «Мы совершили, — добавлял он, — интересную поездку в Бретань и посетили крошечный Сен-Мишель, в котором проживает всего-навсего 138 жителей. Этот городок находится на острове. Здесь много старинных строений. С какой удивительной бережливостью здесь сохраняются памятники старины!..» («Три недели во Франции» — «Лит. газета», 29 марта 1967).

116

3 апреля 1967. Марсель

Привет из Марсея!

Милые мои, я в Марселе, приехал вчера вечером, но вчера не мог сесть за письмо, очень устал, а теперь вот 15 минут до завтрака, я побрился, помылся, натянул вчера вечером собственноручно выстиранную рубашу и галстук (парижский шик-блеск) и попробую кое-что написать. В Сан-Рафаэле купил я себе большой легкий чемодан, и теперь в нем жалко болтается несессер.

Позавчера мы с Мари Клер выехали из Сан-Рафаэля и взяли курс куда-то в горы и долины, к дому, где проводила ночь Лили (у своих друзей). Ехали, ехали и приехали. Крошечный совсем городок, а на окраине замок. Огромный дом, огромный парк, семь гектаров виноградников, дом, как музей, комнат не счесть, лестницы, переходы, и проч., круглая башня, наверху которой зубцы, узенькие окошки в этой башне, забранные решетками, внутри, во всех комнатах, полно старых картин, старой мебели, на стенах висит старинное оружие — все это куплено за 20 тыс. новых франков, т. е. за 5—7 тыс. по-нашему! Право, зависть и досада грызет меня неустанно.

Позвонивши предварительно Анн Филипп¹, поехали мы на свидание с ней. Она должна была ждать нас в городке Ramatuelle (Раматюель). Опять крутили и вертели по горным дорогам Прованса, по сторонам была красная (пардон, ровно в 9, как и заказано было вчера, принесли завтрак-пети дежене), так вот, значит, красная земля виноградников, черные раскоряки лоз, яблони печальных тонов, старинные поместья, и даже баров и бензозаправочных станций нет почти на дорогах.

Приехали мы в этот Раматюель и увидели Анн с ребяташками (мальчик ужасно похож на Жерара Филиппа, одет в ковбойскую шляпу и обрезанные выше колен джинсы, девочка мечтает стать балериной). Тут же на площади сели обедать. Площадь в четыре

раза меньше площади в Тарусе, от нее расходятся улицы шириной в «Запорожец». Посредине площади вот такая каменная штука (рисунок), т. е. сложенная из камней круглая площадка, а посреди нее растет, в сквозных дырах трехсотлетнее дерево неизвестной породы, а под деревом со своими детишками сидит А<нн> Ф<илипп>, мы так прямо и уперлись в них на своем «Рено» (у нас «Рено» — чудная машина!). Отобедавши с вином из виноградников А<нн> Ф<илипп> (тут все хозяева виноградников сдают урожай кооперативу, а тот уже делает вино), погрузившись на две машины, мы отправились в имение Ж<ерара> Ф<илиппа>. Дом прекрасный, но маленький, по сравнению с замками, в которых я побывал, затопили камин, стали пить опять же собственное вино, т. е. из собственных виноградников. Очень милая женщина А. Ф., но она была старше Жерара и теперь ей под 50.

От нее мы поехали опять по Провансу, и опять — редкие старые городки, отдельные старые замки, виноградники, брошенные открытыми машины, и парочки, целующиеся и загорающие под дорогой.

Приехали вчера вечером уже в темноте в чудесную гостиницу на отшибе в парке, со старинной мебелью, и в комнатах и везде, как любит писать Паустовский, пахло лавандой. (Кажется, кончается ручка.)

Дописываю письмо новой ручкой, купил за 1 фр<анк>. Ездил я уже на остров Иф (где Монте-Кристо), ездил по Марселю, через 20 минут надо ехать в магазин книги, раздавать автографы, давать интервью, а потом в Арль. И завтра же, т. е. 4-го в 4 час дня — на поезд и в 12 часов ночи мы в Париже, и здравствуй, Монталембер. Здравствуй, грусть этого печального, унылого, пасмурного отеля. 5, 6 и 7-го разные покупки, поездка в Версаль, последние визиты, встречи, а 8-го — здравствуйте, вы все! — и все, Париж и Франция станет сном.

Ел я позавчера в этой самой гостинице, которая в парке и в которой все старое, ел я, братцы, лягушек. Очень вкусные! Вообще, поел я тут разных гадостей, они дороги, как правило, зато любопытны: ел мулю (ракушки), эскарго (печеные улитки), ел морских ежей, устриц, креветок, лангуст, омаров, и только вот осьминогов я не стал есть, очень страшны, маленькие такие осьминоги, немного поменьше Чифа.

Сегодня купил Тамаре зонтик. Маме куплю от солнца — в Париже. Не придумаю, что отцу купить и что дяде Феде² (часы, которые он просил, стоят дорого).

У меня в теперешнем номере окно во всю стену от полу до потолка, за окном балкон, внизу по-тигриному ревут машины, которые как-будто взбесились все и мчатся в смерть, тут же в 20 метрах бухта, яхты, моторки, катера — тысячи, за бухтой на скале собор с фигурой богоматери — покровительницы Марселя. Собор и фигура вчера были озарены прожекторами, и на темном холме, вернее, на скале, были очень эффектно. Иф совсем рядом, виден из моего окна, 10 минут ходу на катере. Монте-Кристо там не сидел, но аббат, вместо которого его выбросили, был, сидел там и Мирабо, и Железная маска... Страшное место, голые скалы серые, ни кустика, и такие же серые бастионы и черные камеры.

Боюсь, что письмо это придет позже, чем прилечу я, и как-то не хочется подробно писать, да подробно писать — нужно сидеть целыми днями и вспоминать.

Поэтому целую вас крепко, и теперь уже до скорой встречи.

Ваш Юра

¹ Анн Филипп (Анн-Мари-Николь-Гислен Ново), журналистка, жена знаменитого французского актера Жерара Филиппа (1922—1959). Их дети: Анн-Мари (р. 1954), Оливье (р. 1956).

³ См. письмо 44.

ОТЦУ, МАТЕРИ, ЖЕНЕ, СЫНУ

117

2 июля 1968. Углич.

Моторно-парусная шлюпка «Вега»

С приветом к вам ваш сын, муж и отец!

Вот я и в Угличе уже — второй день. Все пошли на корвет, я задержался в гостинице, чтоб написать Вам это письмецо.

Пока все у нас благополучно. Мама, наверное, уже сказала, что вышли мы не в четверг, а в пятницу, в шесть утра, а в субботу, в два часа ночи, миновал с тральщиком 6 шлюзов, были уже в Белом Городке, на Большой Волге. В субботу же, часов в одиннадцать утра, уже самостоятельно, тронулись мы дальше, в три часа дня были уже в Калязине, пообедали там, часов в шесть тронулись дальше и ночевали в прелестной бухте на левом берегу, т. е. ночевали лодка с дежурным, а все остальные спали на сене в сарае,

возле которого жалобно плакала весь вечер и ночь до утра какая-то птичка. Деревня называется Заволжье.

На след<ующий> день вышли опять в 11, в 3 часа подошли к Угличскому шлюзу, а в 6 часов уже причалили к Угличу под церковью «на крови», т. е. на том месте, где убили царевича Дмитрия.

Через час опять отчаливаем — впереди у нас Мышкин на Волге, а еще км через 30—40 — Рыбинское вдхр. К нему, наверное, пойдем завтра, т. е. 3-го июля, и там опять будем проситься на буксир, чтобы миновать водохранилище. Если повезет, мы 3-го ночью или 4-го утром будем в Череповце, а потом в Шексну.

Ты, Тамара, и ты, мама, пишите прежде всего на Вологду. В Тотьму пошлите письмо-телеграмму, в Великий Устюг письма, а дальше, куда я напишу.

Как-то вы там все? Алешка наш еще не говорит никакого отчетливого слова? Не ходит, хотя бы на помочах? Отец вас не ругает? Грибы — есть ли? Земляника? Клубника краснеет?

Ну, обнимаю, целую.

Юра

118

10 июля 1968. Река Шексна

Пройдя под парусами в Переборы (возле Рыбинска), мы затем на буксире отправились в Пошехонье. Старый городок, очень красивый, глухой, а жизни нам в нем было меньше суток.

Выйдя из Пошехонья под парусами, мы при сильном противном ветре сделали км 15 и заночевали в деревне, где в первый раз ели уху из леща и чехони, и жареного судака, и еще засолили, а теперь вялим. А на следующий день мы то ехали на моторе, то гребли, уже по морю от буя к бую. Часов в пять потянул попутный ветер, поставили мы паруса — все три — и побежали. Ветер крепчал. Мы летели, как птица, как какой-нибудь чайный клипер, только скрипели мачты да шипели за бортом гребни волн. Решили идти всю ночь, чтобы к утру прийти в Череповец.

Ветер достиг такой силы, что пришлось нам рубить сначала фок, а затем и грот и идти дальше на одном стакселе. Но и под стакселем бежали мы, как хорошая моторка.

Потом в час ночи шхуна наша села на мель. Бывалин¹ стал пускать ракеты бедствия, ребята мужественно все попрыгали за борт и стали толкать шлюпку на глубокое. Завели аварийный стак-

сель. Я оставался на борту, но все равно вымок до нитки — такие были брызги.

Столкнувшись с мели, мы пошли дальше, часа в три подошли к двум танкерам, стоявшим на якорях, пришвартовались и блаженно стали сушиться и пить горячий чай в салоне.

В Череповце нас хорошо приняли, и вот теперь катер тащит нас по Шексне, кругом красивые берега, сильный встречный ветер, затопленные березовые рощи, я сижу в носовом кубрике и пишу, ребята спят.

Все мы очень загорели, я весь луплюсь. Здоров, все время в трудах. Моторы наши все ни к черту, 2 мы отправили в Москву, один остался. Если б я знал, что мы два дня простоим в Череповце, я бы в Москву съездил повидать всех вас — это близко, через Вологду, ну да теперь ладно.

Хорошо думается. Я тут порядочно записываю, веду вахтенный журнал.

Целую всех!

Пишите мне в Великий Устюг, а потом уже и в Архангельск.

10 июля 1968 г. река Шексна, где-то км в 80 от Череповца.

Юра

¹ Алексей Бывалин, командор экипажа «Веги».

13—14 июля 1968. Углич.

Моторно-парусная шлюпка «Вега»

Сегодня я вахтенный и, как бывало давным-давно на Белом море, сижу у окна, отворенного на верхнюю фрамугу, в заброшенном доме, поглядываю за окно на нашу лодку, которая мрет на реке в свете уже не белой ночи, передо мной керосиновая лампа, керосин потрескивает, наверное, плохой, и только не слышно шума прибора за окном, да и деревня уже не деревня — 3 двора, а забрались мы довольно далеко — км за 900 от Москвы, если считать по водному пути, осталось нам еще 1100. Но это нереально, т. е. нужно идти быстро — или мы не поспеем к концу месяца. Верно, придется нам заканчивать путь вчетвером, т. к. только четверо могут задержаться до конца августа.

Все последние дни ужасная погода, ветер и обложной дождь, Кубенское озеро — 80 км длины — прошли мы на буксире за танкером при большом волнении, и нужно бы теперь идти дальше,

к Тотье, но все такие вымотанные и все на нас так мокро, что сегодня и завтра у нас отдых и сушка. Одно пока хорошо: холод, дождь, ветер разогнали комаров, а то мы бы тут с ума сошли. Тут во всех избах спят под пологами из марли, и даже в нашей заброшенной над провалившейся кроватью — рваный марлевый полог.

Все время, пока мы передвигаемся, меня не оставляет мысль совершить когда-нибудь (в след<ующем> году) такое путешествие вместе. Так все-таки красивы все места, которые мы проходим, и так в сущности прост и удобен путь, если идти не как мы — на лодке, а на теплоходе в хороших каютах. С остановками. С рыбалкой.

Кирилло-Белозерский монастырь — чудо из чудес! Такой огромный, разбросанный, неожиданный! И так пустынен! Мы, правда, были в будни, но народу почти никого, одни бородатые художники и девочки в брючках, переписывающие иконы Дионисия.

Все тут хорошо, и состояние приличное, т. е. конечно ободран, осыпается и проч. Но нет тех разрушений, которые видны на Соловках.

Много я видел разных древностей, но в Кирилло-Бел<озерском> застрял перед древностью так древностью. Святыня! В 1397 году Кирилл и Ферапонт пришли и открыли пещеру и стали жить, а потом Ферапонт ушел дальше, к Белому озеру, а Кирилл остался и в том же 1397 году выстроил себе келейку деревянную, неумело срубил, и вот эта деревянная избушечка цела! Лет двести назад ее накрыли сводом, забрали деревянной решеткой со всех сторон, а она в середине и крест вырублен над дверью в бревнах. А ведь в 1997 году будет 600 лет. 600 лет дереву!

Слышал я, что и в Москве погода плохая. Как-то там наш огород? И вообще, не замерзаете ли вы? Как Тамара¹ — пошла ли работать? И работает ли над диссертацией? Надо бы ей выделить часа 3 в день свободных, работать она может наверху. Слышишь, Симпл? Будь умницей! Жалко будет, если этот месяц у тебя пройдет бездарно. Нашли ли вы молочницу? Или все так и ездит папа за молоком?

Мимо проходят пароходы с зеленым и красным огнями по бортам и белым на мачте.

Ребята все спят тихо, и никто не храпит, а то мы бы погибли, если бы попался кто-нибудь вроде Васи Рослякова.

Здесь много еще старых буксиров колесных, гудят они чудесно, последний поэтический звук на реке. Они уйдут, и останется только зуденье моторок и тархтенье дизелей, да вой сирен.

Мечтали мы помыгться в бане, да тут бани топятся по-черному, подумали мы, почесались и не решились — вылезешь еще оттуда как трубочист.

Я пишу с ошибками — темно, да и глаза слипаются — 12 ночи, а мне еще час сидеть. Все как умерли.

Под крышей у нас вялится рыба. Ждем В<еликого> Устюга, чтобы съесть с пивом. Вроде живот у меня подобрался чуть-чуть, а насчет «облика» не знаю, давно не глядел в зеркало. Да и все обросли. Загар, который мы успели схватить на Волге, почти весь сошел. (А то в Череповце спрашивали, не с юга ли мы?) Народ у нас все хороший, едем мирно, ругаемся только, когда заспорим, приставать или нет, а если приставать, то где? А так постепенно притираемся друг к другу, начинаем понемногу рассказывать, кто как живет, пускаться в воспоминания и т. д.

Лампа моя почему-то то тухнет совсем, то опять разгорается, и я никак не пойму, что бы это значило: фитиль длинный, и вывернут хорошо, и керосину много, — так что пишу почти что ошупью. Лазил сейчас на чердак, думал, м. б., иконы валяются — нет ничего. Пыль, хлам. Стоит широкий берестяной туес, в нем высохшие пчелиные соты, в другом углу бак для качания меда, родители были живы, пчел, видно, держали, а теперь померли, сын в Вологде, дом забросил, все рушится, приезжает только рыбу ловить. Мы влезли в дом, печку стопили.

Как-то грустно мне, живы в памяти дни, когда я одиноко скитался осенями по Северу, а сейчас — как осень. Но все-таки — июль! Вот солнышко пойдет, веселее станет.

Да, передайте Семенову, что рыбы здесь — ведро за час вылавливают. Удочкой. Мы уже рыбы наелись, что и не тянет.

Значит дня через 3 будем в Тотме, потом в Устюге, а потом уж вывалим и на Сев<ерную>Двину.

Целую вас всех и желаю тихой мирной жизни.

Сейчас пойду будить очередного вахтенного. Где опущу письмо, не знаю. В Кириллове опустил письмецо, которое писал на Шексне, и открытку.

Я здоров, сильный стал, много приходится грести, и вы мне все снитесь.

Юра

¹ Тамара Михайловна работала в Институте славяноведения АН СССР.

19—20 июля 1968. Река Сухона

Это письмецо я опущу Вам, наверное, в Нюксенице — район-центр еще км в 5 отсюда. А в деревню эту нас загнал и держит дождь, вот уж второй день — и к счастью. Впервые за три недели спал я в теплом доме под одеялом, а то все под чужой телогрейкой в сарае, или на земле, или (2 раза) в Доме колхозника на казенной койке.

Только что ходили за грибами. Наелся земляники и принес корзину подберезовиков и подосиновиков. Здесь во всю растет земляника, которой я съел стакана два, — никто ее тут не берет. И цветет ночная фиалка, и в память Тарусы я собрал букетик, и он стоит сейчас передо мной и благоухает... Грибов здесь так много, что лень на них глядеть, и все-таки прекрасен момент, когда увидишь среди темно-зеленых мокрых, как бы лакированных листьев брусники апельсиновый огонек подосиновика, оглянешься — еще, еще...

За окном у меня две бани курятся дымом во все щели, топятся по-черному для нас. А две потому, что нас девять душ, и все не мылись уже 3 недели. Деревушка маленькая стоит на косогоре, дворов пять всего, раскинулись широко, и между ними переплетения поскотин.

Грибы мои уже жарятся и варятся, и дом полон грибным духом, слюнки текут. А у вас — у нас — есть ли уже грибы?

Уже десять дней нас преследует непогода. Некстати она не только нам, но и всем — сейчас тут сенокос, сено гниет. А нам в нашей открытой лодке под мокрым брезентом совсем худо. Но, м. б., просто природа отдает нам свой долг? Ведь тут полтора месяца не было ни капли дождя, Сухона обмелела, и даже большие пассажирские теплоходы перестали ходить.

Это я пишу уже после бани, в которой вода с меня текла черная, так давно я не мылся, еле добрал до избы в сладкой истоме, а когда стал бриться, вдруг увидел, что шея у меня совсем тоненькая, вот как похудел! Ура! Но — надолго ли?

Уж пять часов, уж мы пообедали, поели грибов, сейчас чай будем пить (из самовара), и я даю себе слово в этом же году строить баню.

Фирсовы¹ не присылали фотографий?

Купили мы два дня назад в колхозе (через райком) барана за 13 руб. (10 кг), и эти дни у нас баранина, а сегодня вечером последнее баранье пиршество — шашлык, боюсь только, выйдет он жесткий, хоть и молодой барашек.

Вы самовар-то ставите? И было бы хорошо, если бы Тамара сходила в контору и пригласила бы Николая Федоровича на чай, и вы поговорили бы, сколько примерно будет стоить вынесение котла на улицу. Т. к. это надо делать в августе. Потом его надо будет опрессовывать, опробывать и т. д., и красить трубы, и ремонт в кухне, и еще ремонт домика. Сделаем все, чтобы спокойно глядеть зиме в глаза. (Я везу ракету на Н<овый> год.)

Сейчас был разговор о глухарях, и я убил всех своими познаниями. Дождь все сеет, в лодке полно воды, натекло через брезент, не знаю как мы завтра поедим. Бррр! Ребята (вторая очередь) купаются в Сухоне после бани, обалдели, никто не мылся в деревне. Все пришли, шум, гам, анекдоты, плохо все-таки, когда 9 человек в одной избе, не считая хозяев. Продолжу потом.

20 июля

Продолжаю утром, скоро отходим, сегодня с семи утра приводили лодку в порядок, отливали воду, расстилали паруса и растерянно взирали на разрушения, сделанные водой. Погода сегодня такая же мрачная, вот только вместо дождя — мельчайшая изморось.

Из Нюксеницы пошлю Вам телеграмму, чтоб вы мне телеграфировали в Устюг последние новости. А потом пишете мне прямо в Архангельск, потому что не знаю, где мы будем останавливаться по Сев<ерной> Двине, а где нет.

Вчера ребята видели двух тетеревов, — вообще, здесь места благоприятные для охоты и рыбалки, как в былые времена в Лузе или Солге². На Лузу, как я хотел, мы не зайдем, не остается времени, очень нас задержали эти непогодные дни, слишком много времени уходило на просушку, на переноску, бывали дни, когда мы трогались в дальнейший путь в 3—4 часа дня вместо 7—8 утра по плану. Маме ехать в Архангельск не следует, я там буду день два и домой, много дома дел, а в сентябре (в конце) мы можем прокатиться на машине на юг или в Прибалтику дней на 10 ради отдыха и развлечения.

Опять в избе гомон, что-то стучают на кухне заслонкой, пахнет молоком топленным, веет от окна фиалкой, махорка прет с крыльца — ребята смолят, в путь; в путь!

А мне хочется домой, хочется всех вас приласкать и сказать вам какие-то добрые слова. Хочется на завтрак не консервов из ведра, а цветной капусты со слив<очным> маслом. Хочется сделать дом еще лучше, чтобы приятно было зайти в него, и еще охота поработать.

Ну привет, зовут завтракать, надо идти, а то у наших разбойников аппетита, дай Бог, очень они мне напоминают эсков из Бутырки (улыбка Будды).

Целую всех, мир вам и благополучие!

Юра

Вот мы и в Ньюксенице, все в порядке, только сильный встречный ветер с севера, холодно. Ньюксеница — прелестный беспорядочный деревянный городок. Чистые деревянные тротуары и грязь посредине на улице.

У меня здоровые мозоли от сидения на банках (так называются скамейки на шлюпке).

Дорогой останавливались и обедали земляникой и черникой. Клубнику ешьте, не берегите до меня, свежая она лучше всего, лучше всяких варений.

Целую!

Ю.

¹ Фотографы-художники Ирина Игоревна Стин (1932—2010), Анатолий Васильевич Фирсов (1931—2011).

² Места, где отбывал ссылку Павел Гаврилович Казаков.

ЖЕНЕ И СЫНУ

121

18 декабря 1972. Гагра

Маленькие мои!

Когда я попрощался и ушел, ниточка от вас все тянула меня за сердце, и когда я потом сидел у Фимы, ниточка все не обрывалась, все давала о себе знать, и я вдруг среди веселых разговоров воображал, как вы проезжаете мимо Адлера, потом мимо Сочи...

Утром я иду пить кофе к суровому грузину, потом назад, мимо часовщика Жоры, перехожу на другую сторону, созерцаю некоторое время заголовки газет в киоске, возвращаюсь назад, мимоходом заглядываю в витрину фруктового магазинчика, ощущаю вкус разгрызаемых орехов, потом приостанавливаюсь у попугая Бори, перехожу по мосту над речкой, иду мимо пустыря автомобильной стоянки — направо почта, — мимо нашего дома, — мимо

хинкальных и Павильона, перехожу на другую сторону, дохожу до кондитерской; потом еще дальше, до Детского мира, и рука моя то и дело опускается в поисках руки Алешки, и сердце каждый раз замирает, когда мимо особенно шумно и быстро проносятся автомашина.

Все мне кажется что маленькая фигурка ринется через дорогу...¹

И я, как последний дурак, начинаю заглядывать во все дырки, читать подряд все таблички, на которых написано все одно и то же: «пр<оспект> Руставели».

После вашего отъезда по-настоящему «заосеняло», опять выпал в горах снег, уже прочный, зимний, низкое небо, а на горах разбросаны будто клочки ваты, очень низко — ниже даже, чем мы были с Алешкой.

Меня переселили на другой же день, теперь я живу в одиночном номере, и под руку мне беспрестанно попадают то Алешкины ботинки, то его рисунки — выбросить ни того, ни другого я пока не осмелился и, наверное, привезу все это в Москву.

Я хочу тут добить Нурпеисова и вообще «очиститься» — все мне в голову приходят прекрасные сюжеты, просто грех тратить мозги на что-то другое. В одиночестве, в зиме особенно чисто думается!

Тамара! Только что перечел я какие-то кусочки из своего опуса в «Н<ашем> С<овременнике>»², и понял, что все-таки писатель я не дурной. И вот — не будем валять дурака, — скажу тебе, что мне захотелось еще что-то сделать... <...>

Хочется написать мне об Алешкиных глазах, когда он был совсем маленьким, хочется порадовать тебя. Да что! Ты самое любимое существо, ты даже не женщина для меня, а просто все. Я хочу, чтоб ты знала об этом. Я хочу быть тебе самым дорогим — а так часто не могу. Прости меня, любимая! Единственным утешением мне служит мысль, что люди так далеки от совершенства!

Целую тебя!

Если буду жив, как каждый день писал Л<ев> Н<иколаевич> — а думать об этом надо — сколько смертей! — и Кирсанов³! И Исаак Борисов⁴! — если буду жив, обещаю тебе много творческой радости, не говоря уже о радостях других. Прости за опечатки, пишу на чужой машинке, шрифт незнаком, приходится раздумывать чуть ли не над каждой буквой. Целую и люблю. Буду тебе звонить и телеграфировать, денег не надо.

Твой Ю.

¹ Здесь Алеша едва не попал под машину. Казаков предполагал написать об этом рассказ «Компотик». См. наст. изд., с. 226.

² Вероятно, речь идет о главе «Северного дневника» «Долгие крики» («Наш современник», 1972, № 11).

³ Кирсанов Семен Исаакович (1906—1972), поэт.

⁴ Борисов Исаак Борисович (1923—1972), поэт.

АЛЕШЕ КАЗАКОВУ

122

<Зима 1973. Гагра>

Дорогой милый Алеша!

У вас теперь зима, снег и морозы. А я опять живу в Гагре, в доме творчества. У нас тут солнышко и тихое море, а тепло так, что иногда можно ходить без пальто.

В прошлом году мы ходили с тобой и мамой по проспекту Руставели, покупали мандарины и орехи, и ты нюхал разные цветы, которые росли возле дома творчества. И ты забирался по железной лесенке наверх. А потом мы с тобой и мамой забирались на высокую гору.

Мы с тобой давно не виделись, и мне теперь скучно без вас, и опять хочется пойти в кафе, где мы когда-то вместе покупали пирожные.

Вот когда я приеду домой, я привезу тебе мандаринов и орехов и еще чего-нибудь вкусного.

Не болей, и поменьше балуйся, и слушайся маму.

Напиши мне, как ты живешь и чем занимаешься. А если захочешь, то нарисуй мне что-нибудь.

Целую тебя и крепко обнимаю.

Твой папа

123

5 сентября 1975. Абрамцево

Дорогой Алеша!

Я очень, очень рад, что ты уже школьник. И поэтому пишу тебе на самой лучшей бумаге, какая только есть на свете.

Будь, пожалуйста, хорошим мальчиком. Внимательно слушай учительницу и не вставай во время урока.

Знай, что одному быть в школе очень скучно. Постарайся подружиться с каким-нибудь мальчиком, с тем, который тебе очень понравится и которому понравишься ты.

Еще хочу сказать тебе по секрету, что тех детей, которые слишком шалят в классе и не слушаются учительницу, иногда даже исключают из школы. Они так и остаются на всю жизнь неграмотными, ничего не знают и не умеют даже книжку прочесть.

Будь здоров, Алеша, целую тебя!

Твой папа

Посмотри бумагу на свет. Ты увидишь птицу. Это дятел — самая красивая и полезная птица в лесу.

Напиши мне письмо. Напиши, как живешь и нравится ли тебе учиться в школе.

124

27 января 1976. Абрамцево

Здравствуй, дорогой Алеша!

Когда ты получишь это письмо, день прибавится уже почти на полтора часа. Значит, теперь уже везде больше света: и в квартирах, и на улицах, и в лесах. И от этого веселее становится жить, потому что — знаешь, что самое главное на земле? Как ты думаешь?

Солнце, свет!

Приезжай, Алеша, опять в Абрамцево. Тебя ждет Щелкунчик, которым ты научился так ловко щелкать орешки. Он лежит в темном ящике, вспоминает тебя и думает: как-то он ведет себя в школе? Если плохо, то я щелкну и укушу его за палец!

Прямо беда, какой грозный этот Щелкунчик!

И бабочка тебя дожидается в твоей комнате. Полетает, сядет на окно, которое на веранду выходит, и крылышки то распушит, то сложит. Не знаю, спрячется ли она куда-нибудь до твоего приезда или дождет тебя. Если дождет, ты с ней поздоровайся. Она, конечно, тебе не ответит, как Кешка, потому что у нее одни крылышки, а голоса нет, но ты все равно поздоровайся. Хорошо?

Ну, значит, я жду опять тебя в субботу, приезжай с настоящими лыжами, а я тебя встречу с настоящими палками, и ты прямо от станции пойдешь на лыжах.

Скажи маме, чтобы не забыла купить себе кружки на палки, а потом две банки кофе, яичек и взяла бы деготь для своих лыж.

Сегодня у нас солнечный день. А у тебя какой день был во вторник?

Целую.

Папа

125

9 февраля 1976. Абрамцево

Дорогой Алеша!

Я по тебе уже соскучился, и ты каждую ночь снишься мне во сне. Ты очень много и интересно говоришь со мною во сне.

А тебе что снится? Ты мне расскажешь, когда приедешь, ладно?

Я бы и сам приехал домой в Москву, но меня держит в Абрамцево книжка, которую сейчас пишу. Но к твоему приезду в субботу я ее закончу. Потом ее напечатают в типографии. А лет через пять ты ее прочтешь. Потому что эта книжка для больших мальчиков.

Отыщи на своем глобусе Новую Землю. Вот на этой земле среди льдов и снега жил хороший человек, о котором теперь я и пишу. А звали его Тыка Вылка. Он был ненец. Он был похож на японца. Японцев ты знаешь. Это такие люди, у которых узенькие глаза.

В Абрамцево были такие сильные морозы, что даже замерз газ, и нельзя было сварить супа.

Но теперь стало тепло, то есть мороз небольшой и хорошо кататься на лыжах.

А теперь у меня к тебе просьба. Возьми маму за руку и поезжай с ней на Преображенский рынок. На рынке купите мне сала грамм<ов> 600—700. У меня есть очень вкусная горчица, и мы с тобой будем есть сало с горчицей.

Потом скажи маме, чтобы не забыла купить кружки на свои палки. И новую лыжную куртку.

Ну, Алеша, приезжай в субботу, жду тебя с лыжами, а я выйду встречать вас с палками. Интересно, какого цвета твои новые лыжи?

До свидания, крепко целую.

Папа

20 января 1977. Архангельск

Дорогой Алеша!

Неделю прожив в очень красивом городе Ленинграде, я переехал в другой город, стоящий на огромной замерзшей реке. Тут очень холодно, мороз в 40 градусов, и если бы ты жил и учился здесь, то тебя бы не пускали в школу, потому что школьникам младших классов в сильные морозы выходить из дому запрещено.

Я скоро поеду в лес, в гости к лесникам, и мне там покажут диких оленей, кабанов и разных других зверей. Тебе бы было очень интересно увидеть их не в зоопарке, в клетках, а живущими свободно в лесу.

Был ли ты в Абрамцеве, закончил ли строительство большой модели? Воображаю, как далеко и высоко она полетит, когда ты ее сделаешь!

А я все пишу рассказ про тебя. Про то время, когда ты был совсем маленьким. Надеюсь, что тебе будет интересно его прочесть, когда ты подрастешь.

Еще я хожу по музеям, в которых выставлены старинные пушки и ружья, модели пароходов и первых самолетов.

По реке, взламывая лед, прошел вчера большой ледокол, а за ним шли три парохода. Уходили они в Белое море.

Все дни светит солнце, только оно из-за мороза красное. День на севере гораздо короче, чем у нас в Москве, поэтому рассветает тут позже, а темнеет рано.

Ну, будь здоров, милый Алеша, целую тебя, веди себя умненько!

Твой папа

22 января 1977. Архангельск

Дорогой Алеша!

Я очень рад, что мой Слоненок побывал снова в зоопарке и познакомился с дядюшкой Павианом. Я только пожалел, что ты так мало написал, всего одну фразу. Если мы все друг с другом будем обмениваться одной фразой, то на земле наступит молчание и холод.

В Архангельске очень красиво, жаль, что ты этого не видишь! Очень сильный мороз, все прохожие надели шубы и валенки, спрятали носы в шарфы, виднеются только глаза, а шарфы, платки

и шапки у всех белые и пушистые от инея. Солнце днем не белое, а красное, и город кажется розовым. Из всех труб идут столбы дыма, прямо вверх, до неба. Автомшины окружены облаками пара. Я хотел сегодня уехать на Белое море, сначала на автобусе, а потом по ледяному морю на «Бурани» (это такой снежный вездеход), чтобы посмотреть, как рыбаки ловят из-под льда рыбу. А ловят они очень вкусную рыбу: навагу, камбалу, сига, треску, зубатку. «Посмотрю, — думаю, — а потом куплю у рыбаков свежей рыбки, привезу в Архангельск и буду варить уху и жарить, потому что это вовсе не такая рыба, которую мы покупаем в магазине, а в сто раз вкуснее!»

И вот из-за мороза мы не поехали. И я тебе ничего не могу сказать о том, как ловят рыбу и с каким аппетитом ее едят.

Мама мне написала, что 30 января вы собираетесь ехать в Абрамцево. Это очень хорошо, и я вдвойне рад, потому что 30-го утром и я приеду из Архангельска на Ярославский вокзал. Поезд мой приходит, кажется, в девять часов утра. Если бы мама узнала точно, когда приходит из Архангельска утренний поезд, и если бы вы встали пораньше, чтобы этот поезд встретить, то мы бы в Абрамцево и поехали вместе. Я тебе привезу такой пряник, какого ты никогда не ел в жизни! Никогда! Потому что эти пряники делают художники только здесь, в Архангельске, и их выставляют даже в музее.

Ну, Алеша, будь здоров, не заболей гриппом! А главное, знаешь что? Главное, никогда не говори глупостей! Старайся всегда прежде хорошо подумать, а потом уже что-нибудь сказать.

Целую тебя, милый Слоненок!

Твой папа

Рассказ про тебя я уже дописываю! Постараюсь написать его на пять.

Ю. Казаков

26 февраля 1977. Дубулты

Дорогой Алеша!

Писатель Антон Павлович Чехов, рассказ которого «Каштанка» ты уже читал, или будешь читать, побывал на острове Цейлон и привез оттуда двух мангустов. Он писал потом другу: «Каких милых зверей привез я с собой из Индии! Это мангусты, величиною со средних лет котенка, очень веселые и шустрые звери. Качества

их: отвага, любопытство и привязанность к человеку. Они выходят на бой с гремучей змеей и не боятся. Что же касается любопытства, то в комнате нет ни одного узелка и свертка, которого бы они не развернули. Встречаясь с кем-нибудь, они прежде всего лезут посмотреть в карманы: что там? Когда остаются одни в комнате, начинают плакать, так сильно они скучают без людей».

Я это выписал, думая, что тебе будет интересно узнать еще одно качество твоего любимого зверька. Если, конечно, ты его не разлюбил уже.

Живу я теперь на берегу Рижского залива Балтийского моря. Здесь течет река с очень смешным названием: Лиелупе. Вообще, здесь не говорят по-русски, а говорят по-латышски. И названия дачных станций не такие, как у нас: Ашукинская, Калистово, а такие: Булдури, Майори, Дубулты, Яундубулты, Кемери... А слово «столовая» по-латышски звучит так: «едница». А парикмахерская называется «фризетава».

По берегу моря растет только сосновый лес. Ни берез, ни осин, ни елей тут нет, одни сосны. Море у берегов замерзло, сплошная снежная равнина, и только на горизонте виднеется голубая полоса — там море свободно ото льда.

Очень красивые дома, таких красивых домов у нас больше нигде нет. Много белок, и они совсем ручные, как у нас в Сокольниках.

Скоро я поеду в Ригу слушать органнй концерт. Тогда я тебе напишу про Ригу. А ты мне напиши, какая погода в Москве и как ты учишься.

Перед тобой стоят три задачи: не болтать глупостей, хорошо учиться и слушаться маму. Запомнишь? Исполнишь? Напиши мне. Целую.

Папа

31 июля 1977. Абрамцево

Дорогой Алеша!

Как ты живешь? Я все ждал от тебя письма, которое ты мне обещал, но ты, наверное, забыл.

У нас в Абрамцево очень жарко. Редиска твоя давно выросла, и мы ее съели. Очень вкусно было! Теперь уже появились кабачки и огурцы. Очень жалко, что ничего этого тебе нельзя попробовать.

Автомашину мою починили, и я теперь катаюсь на ней.
Последние дни над нами летают почему-то только АН-2.

Начали подкапывать картошку. Но твою картошку не трогаем, приедешь, сам выкопаешь.

Научился ли ты на Нарочи плавать? И пишешь ли изложения? Вот я написал изложение про тебя, оно напечатано в журнале. Но ты прочтешь его лет через десять, наверно.

Напиши мне, Алеша, как ты живешь и чем занимаешься? Буду ждать твоего письма.

А пока будь здоров, целую тебя крепко и скучаю!

Твой папа Ю. Казаков

130

12 апреля 1980. Абрамцево

Дорогой Алеша!

Вот, наконец, мне попало подробное описание, как построить змея.

Внимательно почитай и попробуй сделать все, как указано.

Листочки эти не потеряй. Если с первого раза не получится — в Абрамцеве сделаем еще. И запустим под облака!

Целую.

Папа

Только учись хорошо и не огорчай маму!

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Рассказы Юрия Казакова

НА ПОЛУСТАНКЕ

Была пасмурная холодная осень. Низкое бревенчатое здание небольшой станции почернело от дождей. Второй день дул резкий северный ветер, свистел в чердачном окне, гудел в станционном колоколе, сильно раскачивал голые сучья берез.

У сломанной коновязи, низко свесив голову, расставив оплывшие ноги, стояла лошадь. Ветер откидывал у ней хвост на сторону, шевелил гривой, сеном на телеге, дергал за поводья. Но лошадь не поднимала головы и не открывала глаз: должно быть, думала о чем-то тяжелом или дремала.

Возле телеги на чемодане сидел вихрастый рябой парень в кожаном пальто, с грубым, тяжелым и плоским лицом. Он частыми затяжками курил дешевую папиросу, сплевывал, поглаживал подбородок красной короткопалой рукой, утрюмо смотрел в землю.

Рядом с ним стояла девушка с припухшими глазами и выбившейся из-под платка прядью волос. В лице ее, бледном и усталом, не было уже ни надежды, ни желания; оно казалось холодным, равнодушным. И только в тоскующих темных глазах ее притаилось что-то болезненно-невысказанное. Она терпеливо переступала короткими ногами в грязных ботиках, старалась стать спиной к ветру, не отрываясь смотрела на белое хрящеватое ухо парня.

Со слабым шорохом катились по перрону листья, собирались в кучи, шептались тоскливо о чем-то своем, потом, разгоняемые ветром, снова крутились по сырой земле, попадали в лужи и, прижавшись к воде, затихали. Кругом было сыро и зябко...

— Вот она, жизнь-то, как повернулась, а? — заговорил вдруг парень и усмехнулся одними губами. — Теперь мое дело — порядок! Чего мне теперь в колхозе? Дом? Дом пускай матери с сестрой достается, не жалко. Я в область явлюсь, сейчас мне тренера дадут, опять же, квартиру... Штангисты-то у нас какие? На соревнованиях был, видал: самолучшие еде на первый разряд идут. А я вон норму мастера жиманул запросто! Чуешь?

— А я как же? — тихо спросила девушка.

— Ты-то? — Парень покосился на нее, кашлянул. — Говорено было. Дай огляжусь — приеду. Мне сейчас некогда... Мне на рекорды давить надо. В Москву еще поеду, я им там дам жизни. Мне вот одного жалко: не знал я этой механики раньше. А то бы давно... Как они там живут? Тренируются... А у меня сила нутряная, ты погоди маленько, я их там всех вместе поприжму. За границу ездить буду, житуха начнется — дай бог! Н-да... А к тебе приеду... Я потом это... напишу...

Вдали послышался слабый, неясный шум поезда; унылую тишину хмурого дня прорезал тонкий тягучий гудок; дверь станции хлопнула, на перрон, прячась в воротник шинели, вышел начальник станции с заспанным лицом, в красной фуражке с темными пятнами мазута.

Он покосился на одиноких пассажиров, вытащил папиросу, помял ее в пальцах, понюхал и, посмотрев на небо, спрятал в карман. Потом, зевнув, сипло спросил:

— Какой вагон?

Парень тяжело повернул голову на короткой толстой шее, посмотрел на новые калоши начальника станции, полез за билетом.

— Девятый. А что?

— Ну-ну... — пробормотал начальник и снова зевнул. — Девятый, говоришь? Так... Девятый. А погода — сволочь. Ох-хо-хо...

Отвернулся и, обходя лужи, побрел к багажному отделению. Поезд показался из-за леса, быстро приблизился, сбавляя ход, прокричал еще раз, устало и тонко. Парень поднялся, бросил папиросу, посмотрел на девушку: та силилась улыбнуться, но губы не слушались, тряслись.

— А ну, хватит! — проворчал парень, нагибаясь за чемоданом. Слыхала? Хватит, я говорю!

Они медленно пошли по перрону навстречу поезду. Девушка жадно заглядывала парню в лицо, держалась за рукав, говорила, путаясь и торопясь:

— Ты там берегись, слишком-то не подымай... А то жила какая-нибудь лопнет... О себе подумай, не надрывайся... Я что? Я ждать буду! В газетах про тебя искать буду... Ты обо мне не мечтай. Так я это, люблю тебя, вот и плачу, думаю...

— А ну, брось! — сказал парень. — Сказано — приеду...

Мимо них, сотрясая землю, прошел паровоз, обдав их теплом и влажным паром. Потом все медленней и медленней пошли усталые вагоны: один, другой, третий...

— Вон девятый! — быстро сказала девушка. — Подождем!

Вагон мягко остановился возле них. В тамбуре толпились измятые, бледные пассажиры, с любопытством выглядывали наружу. За окном стоял толстый небритый человек в полосатой пижаме и, наморщив маленький пухлый лобик, ожесточенно дергал раму. Рама не поддавалась, и пассажир страдальчески морщился. Наконец ему удалось открыть окно, он сейчас же высунулся, оглядывая с близорукой улыбкой полустанок, увидел девушку, еще шире улыбнулся и слабо закричал:

— Девушка, это какая станция?

— Лунданка, — сипло сказал проводник.

— Базар есть? — спросил человек в пижаме, по-прежнему глядя на девушку.

— Нету базара, — опять отозвался проводник. — Две минуты стоим.

— Как же так? — изумился пассажир, все еще глядя на девушку.

— Закройте окно! — попросили из вагона капризным голосом.

Человек в пижаме обернулся, показывая пухлую спину, потом, жалко улыбаясь, закрыл окно и вдруг исчез, будто провалился.

Парень поставил чемодан на подножку вагона, повернулся к девушке.

— Ну, прощай, что ли, — тяжело проговорил он и сунул руки в карманы.

У девушки поползли по щекам слезы. Она всхлипнула, уткнулась парню в плечо.

— Скучно мне будет, — шептала она. — Пиши почаще-то... Слышишь? Пиши-и... Ведь приедешь?

— Сказано уже, — неохотно и испуганно говорил парень. — Оботри слезы-то... Ну!

— Да я ничего, — шептала девушка, задыхаясь, быстро, побелിച്ചи стирая слезы и влюбленно глядя в лицо парню. — Одна я остаюсь. Помни, о чем говорили-то...

— Я помню, мне что! — хмуро бормотал парень, задирая голову и поводя глазами.

— А мне... Я всю жизнь для тебя... Ты знай это!

— Сказано... — буркнул парень, равнодушно глядя себе под ноги.

Два раза надтреснуто, жидко ударил колокол.

— Гражданин, попрошу в вагон, останетесь... — сказал проводник и первым полез торопливо на площадку.

Девушка побледнела, схватилась рукою за рот.

— Вася! — закричала она и невидящим взглядом посмотрела на пассажиров: те сразу отвернулись. — Вася! Поцелуй же меня...

— Мне что... — пробормотал парень, затравленно покосился назад и нагнулся к девушке. Потом выпрямился, словно кончил тяжелую работу, вскочил на подножку. Девушка тихо ахнула, закусила прыгающую губу, закрыла лицо руками, но тотчас отняла руки...

Под вагонами зашипело, сдавленно крикнул впереди паровоз, и так же сдавленно отозвалось из леса короткое, глухое эхо. Вагоны едва уловимо тронулись. Заскрипели шпалы. Парень стоял на подножке, хмуро смотрел на девушку, потом покраснел и негромко крикнул:

— Слышь... Не приеду я больше! Слышь...

Он оскалился, сильно втянул в себя воздух, сказал еще что-то непонятное, злое и, взяв с подножки чемодан, боком полез в тамбур.

Девушка сразу как-то согнулась, опустила голову... Мимо нее мелькали вагоны, глухо дышали шпалы, что-то поскрипывало, попискивало, а она пристально, не мигая, смотрела на радужное пятно мазута на рельсе, скрывавшееся на мгновение под колесами и снова показывающееся, смотрела задумчиво, робко, незаметно для себя все ближе подвигаясь к этому пятну, будто манило, притягивало оно ее. Она напрягалась, прижимала руку к нестерпимо болевшему сердцу, робкие, почти еще детские губы ее все белели...

— Берегись! — раздался вдруг дикий крик над ее головой.

Девушка вздрогнула, моргнула, радужное пятно посветлело, поскрипывание шпал и стук колес прекратились, и, подняв голову, она увидела, что последний вагон с круглым красным щитком на буфере неслышно, как по воздуху, уплывает все дальше. Тогда она подняла голову к низкому, равнодушному небу, стянула на лицо платок и завывала по-бабьи, качаясь, будто пьяная:

— Уеха-а-ал!..

Поезд быстро скрылся за ближним лесом. Стало тихо. Шаркая по земле ногами, подошел начальник станции, остановился за спиной девушки, зевнул.

— Уехал? — спросил он. — Н-да... Нынче все едут.

Помолчал, потом смачно плюнул, растер плевок ногой.

— Скоро и я уеду... — забормотал он. — На юг подамся. Тут скука, дожди... А там, на юге-то, теплынь! Эти — как их? — кипарисы...

Окинул взглядом фигуру девушки, долго смотрел на грязные ботики, спросил негромко и равнодушно:

— Вы не из «Красного маяка» будете? А? Н-да... Вон оно что... А погода-то — сволочь. Факт!

И ушел, волоча ноги, старательно обходя лужи.

Девушка долго еще стояла на пустой платформе, смотрела прямо перед собой и ничего не видела: ни темного, мокрого леса, ни тускло блестящих рельсов, ни бурой никлой травы... Видела она рябое и грубое лицо парня.

Наконец вздохнула, вытерла мокрое лицо, пошла к лошади. Отвязала лошадь, поправила шлею, перевернула сено, оскользнувшись, забралась на телегу, тронула вожжи. Лошадь подалась назад, вяло махнула хвостом, сама завернула, с трудом переставляя ноги, пошла мимо палисадника, мимо стогов сена и сложенных крест-накрест шпал к проселочной дороге.

Девушка сидела, не шевелясь, глядя поверх дуги, потом в последний раз оглянулась на полустанок и легла в телеге ничком.

1954

МАНЬКА

Посвящается К. Г. Паустовскому

1

От Вазинцев до Золотицы — тридцать верст. Дороги нет, идти нужно по глухой тропе, зарастающей мхом, травой, даже грибами. Маньке кажется иногда: не ходи она каждый день с почтой по этой тропе, все бы давно заглохло — блуди потом по лесу!

Манька — сирота.

— Батюшка в шторм потонул, — говорит она, опуская глаза и облизывая губы острым языком, — а матушка на другой год руки на себя наложила. Порáто тосковала! Вечером раз вышла из избы, побегла по льду в море, добегла до полыньи, разболоклась, одежду узелком на льду сложила и пала в воду...

И, покраснев, невнятно договаривает:

— У меня матушка дикая была...

Дикость какая-то, необычность есть и в Маньке. Дремучесть, затаенность чувствуются в ее молчании, в неопределенной улыбке, в опущенных зеленоватых глазах. Когда года четыре назад хоронили ее мать, Манька, скучная, равнодушная, упорно смотревшая себе под ноги, вдруг поднимала ресницы и разглядывала провожавших такими лениво-дерзкими, странными глазами, что мужики только смущенно откашливались, а бабы переставали выть и бледнели — пугались.

Года два уже работает Манька письмоноском. В свои семнадцать лет она прошла так много верст, что, наверное, до Владивостока хватило бы. Но работу свою она любит. Дома неприглядно, пусто, скучно: скотины нет, сквозь давно не чиненную крышу повети глядит небо, печь полгода не топлена.

Худая, высокая, голенастая — ходит Манька легко и споро, почти не уставая. Выгорают за лето ее волосы, краснеют, а потом темнеют ноги и руки, истончается, худеет лицо, и еще зеленой, пронзительней становятся глаза.

Дует в лицо ровный морской ветер, несет удивительно крепкий запах водорослей, от которого сладко ломит в груди. По берегам темных речушек, заваленных буреломом, журчащих и желто пенящихся, зацветают к августу пышные алые цветы. Рвет тогда их Манька, навязывает из них тяжелые букеты. Или, отдыхая в тени серых, изуродованных северными зимними ветрами елок, украшает себя ромашками, можжевельником с темно-сизыми ягодами, воображает себя невестой.

Легко, сладко, вольно ходить ей, когда мало почты. Но иногда приходит много посылок, бандеролей, журналов. Тогда надевают на спину Маньке большой пестерь и плотно, тяжело нагружают его.

— Ну как, девка? — кричит тенором начальник почты. — Дойдешь ли? Может, за лошадью послать?

— Ничего... — сипло отвечает Манька, розовеет лицом и шевелит лопатками, поудобнее устраивая пестерь.

Уже через версту начинает ломить у нее спину и тяжелеют ноги. Зато сколько радости в эти дни у рыбаков на тonya! Какое оживление, веселье разгорается, как медленно, старательно, с каким смехом заполняются квитанции и как любят рыбаки Маньку в такие дни!

— А ну, девка! — кричат ей. — Скидывай пестерь-то, поспеешь еще дак... Садись с нами уху хлебать! Митька, ложку!

И кидается какой-нибудь белобрысый Митька со всех ног в чулан за ложкой, торопливо обтирает ее полотенцем, с шутливым низким поклоном подает Маньке.

— Семужки, семужки ей поболе! — покрикивают с разных сторон. И, краснея, опуская глаза, Манька садится и ест, стараясь не глотать громко, с благодарностью чувствуя заботу и любовь к себе рыбаков.

Зато с газетами и письмами идти хорошо, не режут плеч лямки пестеря, чего только не насмотришься в дороге, о чем не надумаешься! В три рыбацких тони нужно зайти Маньке по дороге в Золотицу. Каждый раз ждут ее там с нетерпением, и никогда не обманывает она ожидания: вовремя зайдет, попьет чаю с брусникой, расскажет новости, отдаст почту, к вечеру приходит в Золотицу и ночует там. А утром, захватив обратную почту, идет к себе в Вазинцы.

2

Первая от Вазинцев тоня называется Вороньей. Жили там четверо рыбаков со стряпухой, а с лета, когда ночи стали золотеть, прибавился пятый — Перфилий Волокитин.

Черноволосый, стриженный, с крепким маленьким лицом, он по весне демобилизовался, месяца два жил дома, хотел подаваться в город, но вдруг загулял с Ленкой — самой красивой и озорной девкой в деревне, из-за которой не раз дрались в клубе ребята, — решил остаться и попросился на Воронью рыбаком.

Принес он на тоню гармонь, часто играл, бездумно глядя в море, был постоянно и ровно весел, был по-солдатски чуток, расторопен, охотно брался за самую тяжелую работу, а вечерами брился, подшивал к гимнастерке ослепительные подворотнички, чистил сапоги, надевал набекрень фуражку и уходил в деревню, в клуб, возвращаясь каждый раз на рассвете.

Был он еще силен и буен, ловок, неутомим в танцах, был находчив и насмешлив в разговоре, и Манька, встречаясь с ним в клубе, отдавая ему письма и газеты, стала вдруг краснеть и опускать глаза. Ночами, дома и в Золотице, стала она плохо засыпать — подолгу думала о Перфилии, вспоминала его лицо и голос, его слова и смех, воображала с пылающими щеками, что живет она с Перфилием в высокой новой избе окнами на море и все у них есть, а заснув, колотилась коленками в стену, бормотала во сне.

Она спала в Золотице, в душной, натопленной избе, где ночевали еще человек восемь — бригада плотников, — когда под утро

ей приснился вдруг Перфилий. Ярок, необычен и стыден был этот предрассветный сон, и Манька сразу проснулась, широко раскрыла свои зеленоватые глаза, вскинулась и села, ничего в первую минуту не чувствуя, кроме колотящегося сердца.

Всхрипывали спящие на полу и на лавках плотники, тлела за потными окошками белая ночь, и неслышно давилась, всхлипывала Манька, внезапно понявшая, что любит Перфилия, содрогаясь от жалости к себе, к своему худому, детскому еще телу, от ненависти к красивой Ленке, от мысли, что пропала, загублена теперь вся ее жизнь. И только на рассвете, сморенная, измученная, заснула она с мокрым от слез лицом.

Страшно стало ей после этого утра подходить к тоне, боялась выдать себя, боялась грубого рыбацкого смеха, вздрагивала, холодела, увидев Перфилия, услышав его голос, сердце у нее падало, губы пересыхали и мягко ныло в груди.

Вся сомлев, полуживая, уходила она от Вороньей, понемногу прибавляла шаг, чуть не бежала, забиралась в глушь, падала лицом в сухой белый мох и долго сладко плакала от радости, от любви, от одиночества и непонятости. Несколько раз блудила она в лесу, шла куда глаза глядят, улыбалась, разговаривала сама с собой.

А иногда выходила к морю, садилась на камень, сжималась в комок, пригретая солнцем, смотрела на чаек, на сине-зеленую гладь моря, раскачивалась и бормотала: «Чаечки, чаечки... Донесите вы к нему мою любовь!» И вспоминалась ей, как сквозь сон, старая ее бабка, давно умершая, давно ушедшая из этого мира, вспоминались ее сказки, ее вопли, и приходили сами собой, уверенно выговаривались дикие и вещие слова: «Стану я, раба Божия Манька, благословясь, пойду перекрестясь... Из дверей в двери, из ворот в ворота, выйду я в чисто поле... Так бы и он скрипел, и болел, и в огне горел, не мог бы он ни жить и ни быть и ни пить и ни исъ!» Жутко становилось ей, громко стучало сердце, потели ладони, и особенно желанным, особенно недоступно-красивым был для нее в эти минуты Перфилий!

Море было неподвижным, шелковистым, едва заметно поднималось и опадало, будто дышало. Небо затягивало легкими светлыми облаками, пряталось в них солнце, светило мутным пятном. А там, над горбатым голубым мысом, падали в море веерообразные, бело-синие столбы света, и нестерпимо сияло, вспухало и как бы дымилось в том месте море. Лето стояло прекрасное, радостное, необычно теплое...

Однажды, уже в сентябре, Манька еще более одичавшая за лето, подошла к тоне и настороженно остановилась. День выдался с утра ненастный, с ветром, с беспорядочным волнением на море. На рассвете прошел короткий крупный дождь, изба потемнела, приняла сразу осенний вид, скупо, бледно отсвечивала стеклами. Особенно много навалило на берегу в этот день водорослей, особенно много было на песке влажно-алых медуз, бурожелтых мелких звезд...

Вчера к вечеру попало в ловушки много семги, сегодня в Вазинцах был престольный праздник, — стосковавшиеся рыбаки погрузили семгу в карбас и все вместе поехали сдавать ее на рыбоприемный пункт, а заодно попариться в бане, переночевать дома и погулять на празднике.

Поехал вместе со всеми и Перфилий, вечером пошел в клуб, послушал гармошку, сам немного и пренебрежительно поиграл, потом бросил, стал грызть подсолнухи, стал особенно громко острить, потом выпил с ребятами на улице, темные красивые глаза его начали косить, голос слегка охрип, он все больше возбуждался, расталкивал ребят и девок, враскачку входил в круг, закинув суховатое маленькое лицо, лениво прикрывая глаза, постукивал, поскрипывал хромовыми сапогами и равнодушно, под радостный гогот ребят и притворную ругань девок, выпевал похабные частушки...

И весь вечер хищно, трепетно следил за Ленкой, и что бы ни делал — делал ради нее. А когда всех выгнали из зала, стали расставлять лавки и продавать билеты в кино, он нашел ее в толпе, крепко схватил за руку, вывел в сени, где хрустела под ногами подсолнечная шелуха и пахло уборной, прижал к стене и, все больше бледнея, кося глазами, зашептал:

— Пойдем к тебе... Что ж ты со мной делаешь? Пойдем, дома посидим...

— Дома я всегда насажусь, — бойко, равнодушно сказала Ленка, не глядя на Перфилия, жадно прислушиваясь к тому, что делалось в клубе.

— Не хочешь, значит? — с угрозой и бессилием просил Перфилий, вдыхая запах пудры и волос Ленки. — Другого нашла? Из морячков, да? Смотри, не пожалела бы! Смотри, потрешь на кулак слезы...

— Пусти! — шепотом приказала Ленка, грубо и сильно рванулась и, не взглянув на Перфилия, ушла опять в клуб, сильно хлопнув

дверью. А Перфилий впервые заметил, какая у нее раздражающе высокая грудь, какие жадные и крупные руки, какое жестоко-красивое лицо и как нагло, вызывающе покачивает они на ходу бедрами.

Он вышел на темную улицу, освещенную редкими фонарями, на бодрящий холод, отрывая пуговицы, расстегнул гимнастерку, снял фуражку и пошел домой, вздрагивая от ярости и стыда, крепко стуча сапогами по деревянным мосткам. Из дому, не слушая уговоров матери, захватив с собой бутылку водки, хлеба и сала, он спустился к морю, сел в карбас и через два часа был у себя на тоне.

Он вошел, разгоряченный злобной греблей, зажег лампу, не присаживаясь к столу, налил стакан водки, выпил и сжал зубы, моргая, ероша отросшие за лето жесткие волосы. Потом вышел из избы, сел на бревне, закурил и долго остекленелыми глазами смотрел в темноту, в холод моря, туда, где летом катился ночью по горизонту огромный тускло-багровый диск солнца и где теперь все чаще дрожали, зыбко светились и устало потухали голубые столбы северного сияния.

И когда утром, настороженная необычной тишиной, вошла в избу Манька, Перфилий спал на своей койке в углу, раскинув ноги, с заголившимся мускулистым животом, завернув голову телогрейкой. Услышав стукнувшую дверь, он проснулся, тупо посмотрел на Маньку, потер лицо.

— А! Пришла... — сказал он хмуро и сел к столу, обхватив голову руками. — Письма есть?

— Нету... — Манька опустила на лавку, стыдливо поджала ноги и перевела дух.

— Нету! А чего принесла?

— Газеты, — Манька кашлянула и облизала губы.

— Газеты! — Перфилий мрачно посмотрел в окно. — Шторм будет! Как бы ловушки не сорвало... В деревне-то чего у нас? Уехали, суки, гулять им надо!

Он тяжело поднялся, пошел к ведру напиться, оглядывая съевшуюся фигуру Маньки.

— Чего это ты сегодня какая-то... — невнятно спросил он и, закинув голову, раздувая горло, стал пить.

— Какая? Никакая... — прошептала Манька, краснея до смуглоты, наклоняясь, разглаживая платье на коленях.

— Все одна живешь?

— Одна...

— Скучно одной-то, — без выражения сказал Перфилий, глядя в окно.

— Живу... — Манька слабо двинула рукой, кашлянула, встала, подошла к ведру и тоже стала пить, наслаждаясь от мысли, что пьет из той же кружки, из которой только что пил Перфилий.

— Идти мне надо, — сипло сказала она, снова садясь и поднимая на Перфилия испуганный взгляд. Но Перфилий не слышал ее — смотрел в окно и молчал.

— Шторм идет! — сказал он глухо. — Метеористы чертовы! Три балла сегодня по метеосводке...

Манька тоже взглянула в окно. Море потемнело, билось в берег, ветер посвистывал в вешалах. Волны шли быстро, пенясь, налезая друг на друга, а по горизонту росла, приближалась чернотинная полоса.

— Шторм идет, а они гулять поехали! — горько и грубо повторил Перфилий, вспомнив Ленку, пошел за занавеску, стал натягивать брезентовые штаны и куртку.

— Куда ты? — спросила Манька, обмирая. — Куда ты, ай утонуть хочешь?

— Куда! Ловушки в море стоят, выбирать надо! — пробормотал Перфилий и вышел вон.

Манька, приоткрыв рот, прислушалась к ветру, потом глянула в окно на полосу, которая значительно расширилась за эту минуту, и опрометью выскочила вслед за Перфилием. Ветер туго ударил ей в лицо. Перфилий возился у карбаса, когда Манька подбежала к нему.

— Ну? — Перфилий недовольно повернулся к ней и, не дожидаясь ответа, стал спихивать карбас по каткам к воде.

— Я с тобой, — сказала Манька и тоже уперлась плечом в карбас.

— Еще чего! Детский сад! — заорал Перфилий, когда карбас уже прыгал и бился по песку. — Пошла в избу!

— Не пойду! — Манька вцепилась белыми пальцами в борт. — Чего я, моря не видала?

— Ну так прыгай! — весело вдруг и с какой-то отчаянностью закричал Перфилий и оскалился. — Лезь!

Манька ловко вскочила в карбас, падая с борта на борт, пробралась на корму. Перфилий, побагровев, оттопыривая зад, по пояс в воде, толкнул карбас, подпрыгнул, упал животом на борт, перевалился внутрь, схватил весла и стал заворачивать карбас на волну. Через минуту они уже ходко шли, поднимаясь и проваливаясь, к черным кольям ловушек, поставленных метрах в двухстах от берега. Манька сильно подгребала, слизывая с губ соленые брызги, ветер раздувал ее волосы. «Платок забыла! — думала она. — Ой,

потонем мы, ой, ветер порато дует!» И влюбленно глядела в закинутое, решительное, красное от напряжения лицо Перфилия.

Подошли к первой ловушке и с ходу, спеша, боясь даже глядеть на приближающуюся черную полосу, стали вытаскивать кольца и укладывать их вместе с сетью в карбас. Манька то подтягивала сеть, то выбрасывала черпаком воду. У нее скоро заломило руки и ноги, платье намокло, задралось, оголились пятнистые от холода крепкие узкие бедра, показался край розовых штанов. Маньке было стыдно, но она уже не могла выбрать минуту опрavit платье. А Перфилий и не смотрел на нее, кольца были вбиты крепко, он раскачивал их, карбас бросало, волны становились все выше, надо было спешить.

Минут через пятнадцать ловушка была снята, пошли к берегу. Карбас осел. Перфилий бешено греб, глядя на что-то, что приближалось с моря. Манька сидела лицом к берегу, подгребала, вычерпывала воду и боялась оглянуться.

— Стой! — дико заорал Перфилий. — На берег не выедем, кидай в воду, отсюда не унесет!

Выбросив ловушку, которую тотчас с ревом потащило на берег, они повернули опять в море. Теперь лицом к морю сидела Манька, полуживая от ужаса. Ни неба, ни облаков, ни моря вдали не было. Было что-то черное, туманное, бесстыдно, нагло возбужденное, взлохмаченное, и в черноте этой одни гребни волн холодно и жестоко белели. До второй ловушки еле добрались сквозь ветер. Перфилий выгибался, закидывался при каждом гребке, у Маньки подламывались руки...

И опять цеплялся Перфилий за кольца, раскачивал их, опять ходуном ходил карбас и, когда поднимался, задира л нос, заваливаясь набок — голова и руки Перфилия скрывались за бортом. Округлив от ужаса глаза, Манька видела тогда только его напряженный зад и раскоряченные ноги в мокрых блестящих сапогах. Выданный из грунта кол прыгал вверх, Перфилий отваливался назад, втаскивал сеть в карбас. В этой ловушке было несколько семг, метались брусковатые сиги, но на них не обращали внимания.

Наконец подошел настоящий шторм, волны сразу покрылись пеной, полетела водяная пыль, от берега стал доноситься сплошной рев: там по песку шел чудовищный накат, доставая почти до тони. Море начало приобретать шоколадный цвет. Вторая ловушка была почти вся в карбасе, оставалось втащить только полотно правой стенки, когда карбас полез на волну, встал почти верти-

кально, падая в то же время набок, перевернулся и оглушенная, задохнувшаяся Манька оказалась под ним.

Она уже ничего не понимала в темноте, ей хотелось света, воздуха, хотелось увидеть Перфилия, а она стучалась головой о скамейки, тонущая сеть запуталась у нее в ногах, тащила за собой. «Господи! — гудело у нее в голове. — Мамочка, ой, пропала я совсем, ой, пропала!»

Что-то шаркнуло ее по ноге, она брыкнулась, вцепилась в скамейку, прислонила лицо ко дну, — тут еще оставалось немного пахнущего рыбой воздуха, — и завывла. И опять, скользнув по ногам, схватили за бедра, за платье резкие злые руки, жестоко дернули вниз, Манька захлебнулась, давясь, уже по-звериному вырываясь, изгибаясь, — а ее все так же больно, грубо рвануло кверху, прижало к пузатому рубчатому боку карбаса: Перфилий, отплевываясь, заголя напряженную, с выступившими позвонками спину, карабкался на киль, тащил за собой Маньку.

— Чего под карбасом болтаешься, дура! — счастливо заорал он ей в самое ухо, крепко прижимая ее к себе, держась за осклизлый киль. — Держись! К берегу несет, выплывем!..

Манька, мотаясь, кашляя, ничего не видя сквозь слезы, задыхаясь от влажного соленого ветра, от водяной пыли, одной рукой вцепилась в киль, другой — обняла Перфилия за шею и замерла, заоченела.

— Ничего! — весело, надсадно орал Перфилий, ерзая сапогами по днищу карбаса. — Живем! Кто у моря не жывал, тот и горя не видал!..

А море ревели, будто громадный буйный зверь, и, будто зверь, поднимало, опускало на своей спине опрокинутый карбас, все ближе поднося его к берегу. Уже через полчаса, поблескивая круглыми боками, карбас плясал в ревушем прибое. Волной подхватывало его, выносило на берег, потом волна разбивалась внизу, а карбас, окруженный шипящей пеной, сначала медленно, затем все быстрее мчался назад, чтобы снова, поднявшись на волне, броситься на берег.

Внезапно все стихло, слышно стало шипенье скатывающейся назад воды, а сзади послышался нарастающий, как от поезда, гул. Перфилий оглянулся и чуть не выпустил киль: неслась на них зловещая, закрученная, поплескивающая сверху волна. Она ударила в карбас, который не успел взобраться на нее, перевернула его, понесла на берег, гулко хряпнула о песок, и последнее, что помни-

ла Манька, — это как несло ее куда-то, ударяя лицом, спиной, локтями о песок, ломая, вывертывая руки и ноги.

Очнулась Манька на берегу. Перфилий стоял возле нее на коленях, приподнимал ей голову. Маньке стало стыдно, она оттолкнула его и села, оправляя платье, прикрывая заголившиеся ноги. Ее тошнило, голова кружилась, плавали в глазах мушки.

— Никак жива! — обрадовался Перфилий. — Погоди тут, я сейчас...

Он тяжело побежал по песку туда, где, как живой, ерзал в пене лоснящийся карбас, забрел по пояс в воду, поймал конец, поволок карбас на берег. Потом, снова забредя в мутно-белый шипящий раскат, ухватил ловушку и, наклоняясь почти до песка, дрожа ногами, вытащил на берег и ее. Запыхавшись, хлопая голенищами сапог, мокрыми полами куртки, он вернулся к Маньке. Она еще сидела, не в силах подняться.

— Ну что ты! — притворно-укоризненно и бодро сказал Перфилий. — Ничего, ничего... А ну, берись за шею — понесу! — крикнул он, нагибаясь, тревожно заглядывая ей в лицо.

Но Манька отвернулась и встала, качаясь как пьяная, со слабой виноватой улыбкой на белом лице. Они пошли рядом. Перфилий обнимал, поддерживал ее за спину, чувствовал ее худые лопатки, ширкал голенищами сапог, все больше оживляясь, поглядывая на море, загораясь, говорил, смеялся над собой, над Манькой, над штормом, будто не он минуту назад держался за киль, хрипло, надсадно орал, напрягался и с ужасом глядел на волны.

4

В избе Перфилий растопил печку, стащил с себя все мокрое, переоделся, вынес штаны, свитер и куртку Маньке, ушел в сени и жадно закурил там, рассматривая дрожащие, в ссадинах руки.

— Скоро ль, что ль? — закричал он через минуту.

— Ой! Сейчас! — испуганно отозвалась Манька и заторопилась, с усилием стаскивая прилипшее к телу платье и рубашку. Одеваясь в сухое, путаясь с непривычки в длинных штанах, она покосилась, потрогала свою еще чуть припухшую грудь, тяжело вздохнула.

— Ну? — опять крикнул Перфилий из сеней.

— Иди! — смущенно разрешила Манька, торопясь, опуская глаза, стесняясь мужской одежды, быстро вынесла вон все свое мокрое, выжала и развесила на ветру.

— Ну-ка! — встретил ее Перфилий. — Поди сюда! Сейчас лечиться будем по последнему слову науки и техники...

Он посадил Маньку за стол, на лавку, достал из-под койки начатую вчера бутылку водки, налил в стаканы ей и себе.

— Выпьем! — сказал он жарко, глядя ей в лицо. — Пей, пей! Подыдем стаканы, содвинем их сразу.. Это от простуды. С благополучным приземлением вас...

Он выпил первый, подышал открытым ртом и тотчас налил в кружки чаю. Манька тоже выпила, задохнулась, затрясла головой. Она быстро опьянела, зарозовела, зеленые глаза ее замерцали. Вся обмирая, ужасаясь, все больше, острее хотела она только одного: чтобы обнял, поцеловал ее Перфилий.

И Перфилий, взглянув на нее, вдруг замолчал и побледнел. Отодвинув кружку с чаем, он встал, легким хищным шагом вышел из избы, быстро посмотрел в обе стороны: берег был пустынен. Он вернулся, напряженно сел, стал жадно, открыто разглядывать Манькино лицо с пылающими щеками, влажные еще, курчавившиеся волосы, опущенные золотистые ресницы, уже понимая причину ее молчания, ее странности, опущенных глаз, сиплого голоса. Грозно, гулко шумело за стеной море, а в избе было тепло, сухо, трещала печка, пахло рыбой.

— Тебе лет-то сколько? — быстро спросил он изменившимся голосом.

— Идти мне надо... — слабо сказала Манька, приподнимаясь, и тут же села.

— Лет-то сколько тебе? — опять спросил Перфилий, стараясь заглянуть ей в глаза.

— Девятнадцать... — соврала, прошептала Манька, отвернулась и почувствовала, как холодеют у нее руки и кружится голова. И вспомнила вдруг, будто облитая холодом, свою летнюю тоску, свои слезы, весь стыд первой тайной любви, все отчаяние призрачных белых ночей — сладкий ужас охватил ее: сидел рядом Перфилий, смотрел на нее страшными глазами, сбывались ее сны! «Чего же это! — подумалось ей. — Ай он кинется на меня сейчас! Мамочка, чего же это!» и дико взглянула в лицо Перфилию.

— Эх! — вскрикнул он в нарочитом отчаянии и, легко притворившись тоже диким, придвинулся по лавке к ней, схватил, запрокинул ей лицо и, перекосив глаза, жадно и долго поцеловал ее, бесстыдно шаря свободной рукой по ее шуплому телу. Манька обомлела, помертвела...

— Чегой-то ты! — вырвалась она. — Проклятый! Да ты чегой-то!

— Сердце у меня слабое... — смущенно забормотал Перфилий, поднимаясь и двигаясь к ней.

— Дурак! — чуть не плача, хрипло закричала Манька. — Своих лахудров целуй... А меня не трожь! Я... я тебе не кто-нибудь!

— Маня! Манюша... — уже растерянно, покаянно просил Перфилий. — Погоди ты, я ж к тебе по-хорошему!..

— Я тебе не какая-нибудь! Ленку свою целуй, ступай к ней. А я еще неце... нецелованная! — с усилием выговаривала Манька, вся трясясь, и вдруг отвернулась, прерывисто дыша, расстегнула куртку, бросила на пол. — Уйди, проклятый! — сказала она низко. — Мне почту... Почту надо...

Она переделалась, уже не боясь, что войдет Перфилий, дрожа от ярости и какого-то сладкого, мстительного чувства, взяла сумку и, низко наклонив голову, не протыся с топтавшимся в сених и курившим Перфилием, пошла.

Она отошла уже порядочно, когда, простоволосый, в опорках на босу ногу, догнал ее Перфилий.

— Вот тут у меня было... — забормотал он, суя в сумку ей шоколадные конфеты. — Это тебе на дорогу. Не обижайся, Маня... Простишь, а? А с Ленкой у меня все! — отчаянно и грустно сказал он. — Стерва она, гуляет...

— Уйди! — сказала Манька, глядя в сторону. — Отстань!

— В субботу в клуб придеешь? — спросил Перфилий, быстро шагая рядом.

— Почта у меня, — по-прежнему глядя в сторону, сказала Манька.

— Ну в воскресенье! — не сдавался Перфилий. — Мне тебе что-то сказать надо... Приходи, Маня, а?

— Не знаю, — помолчав, невнятно сказала Манька и ускорила шаг. Перфилий отстал.

«Как же! Так и приду, жди! — думала Манька, низко наклонив голову, слушая приглушенный расстоянием шум моря. — Дуру какую нашел... Чего я пойду! С конфетами... подлизывается!» Она запустила руку в сумку, нащупала конфеты, сжала, но не бросила почему-то, как сперва хотела, так и шла, сжимая конфеты в руке.

На повороте она оглянулась, будто кто-то толкнул ее в спину: Перфилий стоял на дорожке, на том месте, где отстал, и смотрел ей вслед. Увидев, что Манька обернулась, он поднял руку, и Манька сейчас же заторопилась, заспешила, еле удерживаясь, чтобы не побежать. А пройдя с полверсты, она присела, настороженно осмотрелась, свернула в кусты, в золотисто-желтые березки, в мох

и легла там, лицом на сумку. «Ах, да что ж это приключилось... Как же я теперь письма им буду носить!» — думалось ей.

Лицо ее горело, голова кружилась от свежего, чистого, рыбацкого запаха Перфилия. Видела она близко его темные, шальные, перекошенные глаза, замирала, вновь переживая весь ужас, всю радость, весь стыд сегодняшнего дня. И уже весело, мстительно, томительно-уверенно звучали в ней все те же дикие и вещице слова: «Так бы и он скрипел и болел, и в огне горел, не мог бы он ни жить и ни быть и ни пить и ни ись!»

1958

ТРАЛИ-ВАЛИ

1

Разморенный жарким днем, наевшись недожаренной, недосоленной рыбы, бакенщик Егор спит у себя в сторожке.

Сторожка его нова и пуста. Даже печки нет, вырезана только половина пола, навалены в сенях кирпичи и сырая глина. По бревенчатым стенам висит из пазов пакля, рамы новые, стекла не замазаны, тонко звенят, отзываются пароходным гудкам, и ползают по подоконникам муравьи.

Просыпается Егор, когда садится солнце и все вокруг наполняется туманным блеском, а река становится неподвижно-золотой. Он зевает, зевает со сладкой мукой, замирая, выгибаясь, напрягаясь чуть не до судорог. Почти не открывая глаз, торопливо вялыми руками свертывает папиросу и закуривает. А закурив, страстно, глубоко затягивается, издавая губами всхлипывающий звук, с наслаждением кашляет со сна, крепко дерет твердыми ногтями грудь и бока под рубахой. Глаза его увлажняются, хмелеют, тело наливается бодрой мягкой истомой.

Накурившись, он идет в сени и так же жадно, как курил, пьет холодную воду, пахнущую листом, корнями, оставляющую во рту приятно-оскоменый вкус. Потом берет весла, керосиновые фонари и спускается вниз, к лодке.

Лодка его набита мятой осокой, набрала воды, осела кормой и отяжелела. Егор думает, что надо бы вылить воду, но выливать лень, и, вздохнув, поглядев на закат, потом вверх и вниз по реке, он раскорячивается, напрягается больше, чем нужно, и спихивает лодку с берега.

Плес у Егора небольшой. Ему нужно зажечь фонари на четырех бакенах, два из которых стоят наверху, два — внизу. Каждый раз он долго соображает, куда ловчее сначала грести: вверх или вниз. Он и сейчас задумывается. Потом, устраиваясь, стучит веслами, уминает осоку, пихает ногами фонари и начинает выгребать против течения. «Все это трали-вали...» — думает он, разминаясь, разогреваясь, гребя резкими рывками, быстро валясь назад и выпрямляясь, поглядывая на темнеющие, розовеющие, отраженные в спокойной воде берега. Лодка оставляет за собой темный на золоте воды след и аккуратные завитки по бокам.

Воздух холодеет, ласточки носятся над самой водой, пронзительно визжат, под берегами всплескивает рыба, и при каждом всплеске Егор делает такое лицо, будто давно знает именно эту рыбу. С берегов тянет запахом земляники, сена, росистых кустов, из лодки — рыбой, керосином и осокой, а от воды уже поднимается едва заметный туман и пахнет глубиной, потаенностью.

По очереди зажигает и устанавливает Егор красные и белые фонари на бакенах, лениво, картинно, почти не огребаясь, спускается вниз и там зажигает. Бакены горят ярко и далеко видны в наступающих сумерках. А Егор уже торопливо выгребает вверх, пристает возле сторожки, моется, смотрится в зеркало, надевает сапоги, свежую рубаху, туго и набекрень натискивает морскую фуражку, переезжает на другой берег, зачаливает лодку у кустов, выходит на луг и зорко смотрит вперед, на закат.

На лугу уже туман, и пахнет сыростью.

Туман так плотен и бел, что издали кажется разливом. Как во сне, идет, плывет Егор по плечи в тумане, и только верхушки стогов видны, только черная полоска леса вдали под беззвучным небом, под гаснущим уже закатом.

Егор поднимается на цыпочки, вытягивает шею и замечает наконец вдали розовую косынку над туманом.

— Э-ей! — звучным тенором окликает он.

— А-а... — слабо доносится издали. Егор ускоряет шаг, потом пригибается и бежит, будто перепел, тропой. Свернув с тропы, он ложится, обзеленя коленки и локти о траву, и с колотящимся сердцем всматривается в ту сторону, где показалась ему розовая косынка.

Проходит минута, две, но никого нет, звука шагов не слышно, и Егор не выдерживает, поднимается, глядит поверх тумана. По-прежнему видит он только закат, полоску леса, черные шапки стогов — смутно и сизо вокруг него. «Спряталась!» — с нетерпеливым

восторгом думает он, опять ныряет в туман и опять крадется. Он надувается, сдерживая дыхание, лицо наливаясь кровью, фуражка начинает резать ему лоб. Вдруг он видит совсем рядом съежившуюся фигурку и вздрагивает от неожиданности.

— Стой! — дико вопит он. — Стой, убью!

И, топоча сапогами, гонится за ней, а она с визгом, со смехом убегает от него, роняя что-то из сумки. Он быстро догоняет ее, вместе валятся они на мягкие, пахнущие свежей землей и грибами кротовые кучи и крепко, счастливо обнимаются в тумане. Потом поднимаются, разыскивают уроненное из сумки и медленно бредут к лодке.

2

Егор очень молод, но уже пьяница.

Пьяницей была и его жена, распущенная потрепанная бабенка, гораздо старше его, утонувшая осенью в ледостав. Пошла в деревню за водкой, обратной дорогой выпила, опьянела, шла и пела песни, подошла к реке против сторожки, закричала:

— Егор, зараза, выходи, глянь на меня!

Егор вышел, радостный, в накинутом полушубке, в опорках на босу ногу, и видел, как она шла, помахивая сумкой, как принялась плясать посреди реки, хотел крикнуть, чтобы поскорее шла, и не успел: на его глазах проломился лед, и мгновенно ушла под воду жена.

В одной рубаше, скинув полушубок и опорки, побежал он босиком по льду, и когда бежал, все потрескивал, мягко колыхался, подавался под ним лед, — упал, дополз на животе до полыньи и только посмотрел на черную дымящуюся воду, только завыл, зажмурился и пополз обратно. А через три дня заколотил сторожку и ушел на зиму к себе в деревню за три километра, на другую сторону.

Весной же, на разливе, перевозил он как-то молодую Аленку из Трубцекого, и когда та стала доставать деньги, Егор вдруг торопливо сказал:

— Ну ладно, ладно... Это все трали-вали! А ты когда зайди ко мне-то: один живу, скучно. Да и постирать там чего, а то завшивеешь без бабы, а я тебе рыбы дам.

А когда недели две спустя Аленка, возвращаясь откуда-то к себе в деревню, зашла под вечер к нему в сторожку, у Егора так забило сердце, что он испугался. И первый раз в жизни засуетился Егор из-за девки, побежал на улицу, развел из щепок костерок между кирпичами, поставил закоптелый чайник, стал расспрашивать

Аленку про жизнь, замолкая вдруг на полуслове, смущая ее до слез и сам смущаясь, вымылся и надел чистую рубаху в сенях, а через реку перевез ее уже ночью и далеко провожал лугами.

Теперь Аленка часто приходит к нему и каждый раз остается в сторожке дня на три. И когда она с ним, Егор небрежен и насмешлив. Когда ее нет, он скучает, места себе не находит, все валится у него из рук, он много спит, и сны снятся ему нехорошие, тревожные.

Егор крепок, кадыкаст, немного вял и слегка косолап. Лицо у него крупное, рыхлое, неподвижно-сонное и горбоносое. На летнем солнце, на ветру загорел он почти до черноты, и серые глаза его кажутся синими от этого. «Недоделанный я какой-то! — жалуется он, выпив. — Черт меня делал на пьяной козе!»

Этой весной он остается вдруг у себя в сторожке на Первое мая. Почему не пошел он в деревню, как сперва хотел, он и сам не знает. Валяется на сбитой, неприбранной постели, мрачно посвистывает. В полдень прибегает из деревни сестренка и тоненько вопит с того берега:

— Его-о-ор!..

Егор сумрачно выходит к воде.

— Его-орка, тебе велели иди-ить...

— Кто велел-то? — помолчав, кричит Егор.

— Дядя ...а-а-а и дядя ...е-е-е...

— А для чего они сами не пришли-и?

— Они не ...о-гут иди-ить, они пья-аныи-и...

Лицо Егора изображает тоску.

— Работа у меня, скажи, рабо-ота! — кричит он, хотя никакой работы у него, конечно, нет. «Эх, и гуляют сейчас в деревне!» — горько думает он и воображает пьяных родных, мать, столы с закуской, пироги, непрерывную музыку, дрожжевой вкус браги, нарядных девок, флаги на избах, кино в клубе, мрачно плюет в воду и лезет на обрыв, в сторожку.

— О-о-ор... иди-и... — звенит, манит его с того берега голос, но Егор не слушает.

Относится он ко всему с равнодушием, с насмешкой, ленив необыкновенно, денег у него бывает много, и достаются они ему легко. Моста поблизости нет, и Егор перевозит всех, беря за перевоз по рублю, а в раздражении — и по два. Работа бакенщика, легкая, стариковская, развратила, избаловала его окончательно.

Но иногда смутное беспокойство охватывает Егора. Чаще всего бывает это вечером. Лежа рядом со спящей Аленкой, вспоми-

нает Егор, как служил во флоте на Севере. Вспоминает корешей, с которыми, конечно, давно потерял всякую связь, вспоминает их голоса, их лица и даже разговоры, но неясно, лениво...

Вспоминает Егор низкий сумрачный берег, северное море, жуткое полярное сияние зимой, сизые маленькие изуродованные елки, мох, песок; вспоминает, как горел по ночам маяк, как ослепительно и дымно мерцал его свет, лучами скользя по мертвому лесу. Но думается ему обо всем этом равнодушно и отдаленно.

Иногда же его охватывает, бьет странная дрожь и странные, дикие мысли лезут в голову: что берег и сейчас такой же, и сейчас стоят на нем бараки с шиферными крышами, сверкает по ночам маяк, а в бараках моряки, койки в два яруса, треск радиоприемника, разговоры, писание писем, курило... Все-все такое же, а его нет там, как будто он умер, он даже как бы и не жил там, не служил, а все это так... наваждение, сон!

Тогда он встает, выходит на берег, садится или ложится под кустом, завернувшись в полушубок, и чутко слушает и смотрит в темноту на отраженные в реке звезды, на далекие яркие огоньки бакенов. Притворяться ему в такие минуты не перед кем, и лицо его становится грустным, задумчивым. Томно у него на сердце, хочется чего-то, хочется уехать куда-нибудь, хочется иной жизни.

На Трубецком плесе медленно возникает и так же медленно пропадает густой, бархатистый, трехтоновый гудок. Немного погодя показывается пароход, ярко озаренный светом, торопливо шлепает плицами, шипит паром и снова гудит. И шум его, плеск, гудение гулко, знобяще отдаются в прибрежных лесах. Егор смотрит на пароход и еще сильнее тоскует.

Он воображает дальнюю дорогу, воображает, как спят по каютам молодые женщины, пахнущие духами и едущие неизвестно куда. Он воображает, как возле машинного отделения сладко, мягко пахнет паром, начищенной медью и утробным машинным теплом. Палубы и перила покрыты росой, на мостике стоят зевающие вахтенные, перекачивают руль. На верхней палубе сидят одинокие пассажиры, завернулись в пальто, смотрят в темноту, на огоньки бакенов, на редкие красные костры рыбаков, на зарево фабрики или электростанции — и все это им кажется прекрасным, чудным и так манит сойти где-нибудь на маленькой пристани, остаться в тишине, в росистом холоде. И обязательно спит кто-нибудь на лавке, натянув пиджак на голову, поджав ноги, и просыпается на секунду от гудков, от чистого воздуха, от толчка парохода о пристань...

Идет мимо него жизнь! Что за звон стоит в его сердце и над всей землей? Что так манит и будоражит его в глухой вечерний час? И почему так тоскует он и немилы ему росистые луга и тихий плес, немилы легкая, вольная, редкая работа?

А ведь прекрасна же его родина — эти пыльные дороги, искоженные, истоптанные с младенчества, эти деревни — каждая на особицу, каждая со своим говором, со своими девками, деревни, куда так часто ходил он вечерами, где он целовался, прячась во ржах, где дрался не раз до крови, до беспамятства; прекрасен же сизый дым костра над рекой, и огни бакенов, и весна с лиловым снегом на полях, с мутным необозримым разливом, с холодными закатами в полнеба, с ворохами шуршащих палых прошлогодних листьев по оврагам! Прекрасна и осень с ее скукой, с дождиком, с пахучим ночным ветром, с особенным в это время уютом сторожки!

Так почему же просыпается он, кто зовет по ночам его, будто звездный крик гудит по реке: «Его-о-ор!»? И смутно и знобно ему, какие-то дали зовут его, города, шум, свет. Тоска по работе, по настоящему труду — до смертной усталости, до счастья!

И, волоча полушубок, идет он в сторожку, ложится к Аленке, будит ее и жалко и жадно приникает, прижимается к ней, чувствует только ее, как ребенок, готовый заплакать. Зажмурившись, трется он лицом о ее плечо, целует ее в шею, слабея от радости, от горячей любви и нежности к ней, чувствуя на лице ответные, быстрые и нежные ее поцелуи, уже не думая ни о чем и ничего не желая, а желая только, чтобы так продолжалось всегда.

Потом они шепчутся, хотя могут говорить громко. И Аленка, как всегда, уговаривает Егора остепениться, бросить пить, пожениться, поехать куда-нибудь, устроиться на настоящую работу, чтобы его уважали, чтобы писали про него в газетах.

И уже через полчаса — успокоенный, ленивый и насмешливый — через полчаса бормочет Егор свое любимое «трали-вали», но бормочет как-то рассеянно, не обидно, желая втайне, чтобы она еще и еще шептала, чтобы еще и еще уговаривала его начать новую жизнь.

3

Часто в сторожке у Егора ночуют проезжие, поднимающиеся и спускающиеся по реке на моторках, на байдарках и даже на плотах. Каждый раз при этом происходит одно и то же: проезжие глушат внизу мотор, и кто-нибудь поднимается к Егору в сторожку.

— Здорово, хозяин! — наигранно бодро говорит проезжий.

Егор молчит, посапывая, ковыряет ивовую вершу.

— Здравствуйте! — уже слабее повторяет проезжий. — Переночевать нельзя ли у вас?

И опять ответом ему молчание. Егор даже дышать перестает, так занят вершей.

— А сколько вас? — спустя долгое время спрашивает он.

— Да трое только... Мы как-нибудь... — с робкой надеждой говорит проезжий. — Мы заплатим, не беспокойтесь...

Егор равнодушно, медленно, с паузами расспрашивает, кто такие, куда едут, откуда... И когда спрашивать уже нечего, с видимой неохотой разрешает:

— Ну что ж, переночевать можно.

Тогда все вылезает из лодки, подыскивают место, складывают вещи, вытаскивают и переворачивают лодку, носят в сторожку рюкзаки, канистры, котелки, мотор. В сторожке начинает пахнуть бензином, дорогой, сапогами, делается тесно. Егор оживляется, подает каждому руку, чувствует прилив веселости, чувствует предстоящую выпивку. Начинает он суетиться, начинает говорить без умолку, преимущественно о погоде, покрикивает на Аленку, разводит возле сторожки большой яркий костер.

А когда разливают водку, Егор опускает ресницы, глаза его мерцают, дышит он редко и тихо, страдая и боясь, что ему недолго. Потом берет своей крепкой, темной рукой со сбитыми ногтями стакан, твердо и весело говорит: «Со знакомством!» — и выпивает, каменя лицом.

Пьянеет он быстро, радостно и легко. Пьянеет — и начинает врать складно, убежденно, с наслаждением. Врет он главным образом про рыбу, так как уверен почему-то, что проезжие интересуются только рыбой.

— Рыба, — говорит он, осторожно и как бы нехотя закусывая, — у нас всякая... Правда, мало ее стало, н-но... — он хакает, делает паузу и понижает голос, — но кто умеет... Я вчера, между прочим, щуку поймал. Щучка, правду сказать, небольшая — полтора пуда всего... Утром поехал по бакенам, слышу, под берегом плесканула. Я сразу закидуху в воду, пока с бакенами возился, она и села: крючок аж в пузо зашел!

— Где же щука-то? — спрашивают его.

— А я ее тогда же в рабочий поселок свез, продал, — не моргнув глазом, отвечает Егор и подробно описывает, какая была щука.

И если кто-нибудь усомнится — а сомневаются постоянно, и Егор ждет этого с нетерпением, — он вспыхивает и уже, как хозяин, тянется к бутылке, наливает себе — ровно сто пятьдесят граммов, — быстро выпивает и тогда только поднимает на усомнившегося хмельные, бездумно-отчаянные глаза и говорит:

— А хочешь, завтра поедем? На чего спорим? У вас какой мотор-то?

— «ЛМ-1», — отвечают ему.

Егор поворачивается и минуту смотрит на мотор, прислоненный к углу.

— Этот? Ну, это трали-вали! — пренебрежительно говорит он. — У Славки болиндер, это у него мой, я ему привез с флота, сам собрал. Зверь, а не мотор: двадцать километров в час! Это еще против воды... Ну? Давай на мотор! Ставлю болиндер против твоей трали-вали! Ну? Один такой поспорил — ружье проспори́л. Показать ружье? Заказная «тулка», бьет, как зверь, я на нее зимой, — он секунду думает, стекленея глазами, — триста пятьдесят зайцев взял! Ну?

И покоробленные, немного растерявшиеся гости, чтобы хоть как-то уколоть его, тотчас спросят о печке:

— Что ж, парень, без печки живешь?

— Печка? — уже кричит Егор. — А кто может скласть? Ты можешь? Склады! Плина, кирпич есть, матерьял, словом. Склады, полтораста сразу даю, как пить дать! Ну? Склады! — настаивает он упорно, зная, видя, что просьба его невыполнима, а раз невыполнима, то победа опять его. — Ну? Склады!

И в ту же минуту, заметив, что водка еще есть, что гости смеются, он выходит в сени, надевает там морскую свою фуражку с «крабом», распахивает ворот рубахи, чтобы видна была тельняшка, и входит снова.

— Разрешите? — спрашивает он с пьяной, нарочитой почтительностью и тут же докладывает: — Боцманмат Северного флота прибыл в ваше распоряжение! Дозвольте поздравить с годовщиной праздника коммунизма и социализма. Все силы мира на борьбу с врагом, мать его за ногу, и в честь этого поднесите!

Ему подносят, а Аленка, страдая от стыда за него, начинает стлать гостям, чувствуя на глазах горячие слезы, дожидаясь с нетерпением, почти с бешенством, когда же Егор начнет поражать гостей. И Егор поражает.

Совсем осоловевший, он садится вдруг на лавку, приваливается к стене, двигает лопатками, шебаршит ногами, устраиваясь поудобнее, откашливается, поднимает лицо и запевает.

И при первых же звуках его голоса мгновенно смолкают разговоры — непонятно, с испугом все смотрят на него! Не частушки поет он и не современные песни, хоть все их знает и постоянно мурлычет, — поет он на старинный русский манер, врасстяжку, как бы неохотно, как бы хрипловато, как, слышал он в детстве, певали старики. Поет песню старую, долгую, с бесконечными, за душу хватающими «о-о-о...» и «а-а...». Поет негромко, чуть играя, чуть кокетничая, но столько силы и пронзительности в его тихом голосе, столько настоящего русского, будто бы древне-былинного, что через минуту забыто все — грубость и глупость Егора, его пьянство и хвастовство, забыта дорога и усталость, будто сошлись вместе и прошлое и будущее, и только необычайный голос звенит, и вьется, и туманит голову, и хочется без конца слушать, подпершись рукой, согнувшись, закрыв глаза, и не дышать и не сдерживать сладких слез.

— В Большой театр тебе надо! В Большой театр! — кричат все сразу, когда Егор кончает, и все возбужденно, блестя глазами, предлагают ему помощь, все хотят написать куда-то: на радио, в газету, позвонить кому-то... Всем радостно, празднично, а Егор, счастливый от похвал, уставший, уже слегка остывший, опять небрежен и насмешлив, и крупное лицо его опять ничего не выражает.

Смутно представляет он себе Большой театр, Москву, летящую четверку коней, свет между колоннами, сияющий зал, звуки оркестра — как все видел он это в кино, — лениво потягивается и бормочет:

— Все это трали-вали... театры там всякие...

И на него даже не обижаются: так велика теперь его слава, таким непонятным и сильным кажется он теперь гостям.

Но это еще не вся слава его.

4

Это не вся слава его, а только четверть. А настоящая слава бывает у него, когда, как он сам говорит, его затаяет. Затагивает же его раза два в месяц, когда особенно скучно и не по себе становится ему.

Тогда хандрит он с самого утра, с самого же утра и пьет. Пьет, правда, понемногу и время от времени лениво говорит:

— Ну чего... Давай, что ли, это.. А?

— Чего? — притворяется непонимающей Аленка.

— Споем, что ли... дуется, а? — вяло говорит Егор и вздыхает.

Аленка пренебрежительно усмехается и ничего не отвечает. Она знает, что время еще не пришло, что Егора еще не окончательно затянуло. И она ходит по сторожке, все что-то чистит, что-то моет, уходит на реку полоскать белье, снова возвращается...

Наконец наступает время. Случается это обычно к вечеру. И Егор уже не просит «дуэта», он встает, нечесанный, хмурый, смотрит в одно окошко, в другое, выходит, пьет воду, потом сует в карман бутылку с водкой, берет полушубок.

— Далеко ль собрался? — невинно спрашивает Аленка, но все в ней начинает дрожать.

— Пошли! — грубо говорит Егор и косолапо перешагивает порог.

Лицо его бледнеет, ноздри разываются, на висках обозначаются вены. Аленка, покашливая, стягивая у горла шерстяной платок, идет рядом. Она знает, что Егор выйдет сначала на обрыв, посмотрит вверх и вниз по реке, немного подумает, будто не зная, где приладиться, и пойдет потом к любимому своему месту — к перевернутой дырявой плоскодонке, у самой воды, в березках. И там он будет петь с ней, но совсем не так петь, как пел гостям: им он пел немного небрежно, немного играя и далеко не в полный голос...

Егор и вправду останавливается на берегу и минуту думает, потом молча идет к плоскодонке. Он стелет здесь полушубок, садится, опираясь спиной о борт лодки, раскорячивает и подвертывает ноги и ставит меж ног бутылку.

А закат прекрасен, а на лугах туман, как разлив, и черна полоска леса на горизонте, черны верхушки стогов. А ветви берез над головой неподвижны, трава волгла, воздух спокоен и тепел, но Аленке уже зябко, прижимается она к Егору, а Егор берет дрожащей рукой бутылку и глотает из нее, передергиваясь и хакая. Рот его полон сладкой слюны.

— Ну... — говорит он, вертит шей, покашливает и предупреждает шепотом. — Только втору давай смотри мне!..

Он набирает полную грудь воздуха, напрягается и начинает заунывно и дрожаще чистейшим и высочайшим тенором:

Вдо-о-оль по морю..
Мо-о-орю си-и-инему..

Аленка зажмуривается, мучительно сотрясается, выжидая время, и вступает низко, звучно и точно — дух в дух:

Плывет ле-ебедь со лебе-едушко...

Но себя, но своего низкого, матового, страстного голоса она и не слышит уже — где уж там! Чувствует она только, как мягко, благородно давит, сжимает ее плечо рука Егора, слышит только его голос.

Ах, что за сладость — песня, что за мука! А Егор, то обмякая, то напрягаясь, то подпуская сиплоты, то, наоборот, металлически-звучно, все выговаривает дивные слова, такие необыкновенные, такие простонародные, будто сотню лет петые:

Плывет ле-ебедь, не всколо-о-охнется,
Желтым мелким песком
Не взворо-о-охнется...

Ах да что же это? И как больно, как знакомо все это, будто уж и знала она всю-то свою жизнь заранее, будто уж и жила когда-то, давным-давно, и пела вот так же и дивный голос Егора слушала!

Откуль взялся сизо-о-ой орел...

Стонет и плачет Егор, с глубокой мукой отдается пению, приклонив ухо, приотвернувшись от Аленки. И дрожит его кадык, и скорбны губы.

Ах, этот сизой орел! Зачем, зачем кинулся он на лебедя белого, зачем поникла трава, подернулось все тьмою, зачем попадали звезды! Скорей бы конец этим слезам, этому голосу, скорей бы конец песне!

И они поют, чувствуя одно только — что сейчас разорвется сердце, сейчас упадут они на траву мертвыми, и не надо уж им живой воды, не воскреснуть им после такого счастья и такой муки.

А когда кончают, измученные, опустошенные, счастливые, когда Егор молча ложится головой ей на колени и тяжело дышит, она целует его бледное холодное лицо и шепчет, задыхаясь:

— Егорушка, милый... Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой...

«А! Трали-вали...» — хочет сказать Егор, но ничего не говорит. Во рту у него сладко и сухо.

ОСЕНЬ В ДУБОВЫХ ЛЕСАХ

Я взял ведро, чтобы набрать в роднике воды. Я был счастлив в ту ночь, потому что ночным катером приезжала она. Но я знал, что такое счастье, знал его переменчивость и поэтому нарочно взял ведро, будто я вовсе не надеюсь на ее приезд, а иду просто за водой. Что-то слишком уж хорошо складывалось все у меня в ту осень.

Аспидно-черной была эта ночь поздней осени, и не хотелось выходить из дому, но я все-таки вышел. Долго я устанавливал свечку в фонаре, а когда установил и зажег, стекла на минуту затуманились и слабое пятнышко света мигало, мигало, пока наконец свеча не разгорелась, стекла обсохли и стали прозрачными.

Свет в доме я нарочно не погасил, и освещенное окно было хорошо видно, пока я спускался по лиственничной аллее к Оке. Фонарь мой бросал вздрагивающий свет вперед и по сторонам, и я, наверное, похож был на стрелочника, только под сапогами у меня глухо шумели отсыревшие к ночи вороха кленовых листьев и хвоя лиственниц, которая даже при смутном свете фонаря была золотистой, а на голых кустах рдели ягоды барбариса.

Жутко идти ночью одному с фонарем! Один ты шуршишь сапогами, один ты освещен и на виду, все остальное, притаившись, молча созерцает тебя.

Аллея круто уходила вниз по скату, свет в окне моего дома скоро пропал, потом и аллея кончилась, пошли беспорядочные кусты, дубняк и елки. По ведру щелкали последние высокие ромашки, кончики еловых лап, какие-то голые прутики, и то глухо, то звонко раздавалось: «Бум! Бум!» — и далеко было слышно в тишине.

Тропа становилась круче и извилистей, пошли частые березы, их белые стволы поминутно выступали из мрака. Потом кончились и березы, на тропе стали попадаться камни, дохнуло свежестью, и, хоть за пятном света от фонаря ничего не было видно, впереди почудилось мне широкое пространство — я вышел к реке.

Тут уж увидел я далекий бакен справа. Красный огонек его двоялся, отражаясь в воде. Потом показался бакен на моей стороне, гораздо ближе, и слегка мигнуло тоже, и река обозначилась.

По мокрой траве между кустами ивняка пошел я вниз по реке к тому месту, где обычно приставал катер, если кто-нибудь сходил на нашей глухой стороне. В темноте одностонно лопотал и булькал родничок. Я поставил фонарь, пошел к родничку, зачерпнул воды, напился и утерся рукавом. Потом поставил мокрое ведро рядом с фонарем и стал смотреть в сторону далекой пристани.

Катер уже стоял возле пристани, слабо видны были его красный и зеленый огни по бортам. Я сел и закурил. Руки у меня дрожали и были холодны. Я вдруг подумал, что, если ее нет на катере, а с катера заметят мой фонарь, подумают, что я хочу ехать, и пристанут к берегу. Тогда я погасил фонарь.

Сразу стало темно, только, будто проколотые иглой, горели бакены по всей реке. Тишина стояла звенящая; в этот поздний час, верно, один я был на многие километры на берегу. А наверху, за дубовым лесом, лежала темная деревенька, все давно спали, и только в моем доме на краю горел свет.

Я представил вдруг весь ее длинный путь ко мне, как она ехала из Архангельска, спала или сидела у окна в вагоне и с кем-то говорила. Как она, так же как и я, все эти дни думала о встрече со мной. И как она едет теперь по Оке и видит берега, о которых я ей писал, когда звал к себе. Как она выходит на палубу и в лицо ей дует ветер, несущий запах сырых дубовых лесов. И какие разговоры внизу всю дорогу, в тепле, за запотевшими стеклами, как ей объясняют, где сойти и где переночевать, если никто не встретит.

Потом я вспомнил Север, свои скитания по нему и то, как я жил на тоне и мы с ней били зубаток в белые ночи. Рыбаки тяжело спали, всхрапывая и постанывая, а мы дожидались отлива и выходили на карбасе в море. Она беззвучно гребла, а я вглядывался в глубину, в клубки водорослей, разыскивая между ними очертания рыб. Я тихо подводил острогу и вонзал белое острие зубатке в затылок, напрягаясь, вынимал ее из воды, и она, брызгая нам в лицо, хищно билась на остроге, разевала ужасную пасть, свертывалась в кольцо и пружинисто распрямлялась, похожая на тритона. И потом, уже на дне карбаса, долго шуршала еще, вздрагивала и вцеплялась во что попало мертвой хваткой.

И я вспомнил весь этот год, какой он был для меня счастливый, как много успел я написать рассказов и еще, наверное, напишу за оставшиеся глухие, тихие дни на этой реке, среди этой природы, уже погасшей и предзимней...

Ночь была вокруг меня, и папираса, когда я затягивался, ярко освещала мои руки, и лицо, и сапоги, но не мешала мне видеть звезды, — а их было в эту осень такое ярчайшее множество, что виден был их пепельный свет, видна была освещенная звездами река, и деревья, и белые камни на берегу, темные четырехугольники полей на холмах, и в оврагах было гораздо темнее и душистее, чем в полях.

И я подумал тут же, что главное в жизни — не сколько ты проживешь: тридцать, пятьдесят или восемьдесят лет, — потому что этого все равно мало и умирать будет все равно ужасно, — а главное, сколько в жизни у каждого будет таких ночей.

Катер уже отошел от пристани. Он был так далек еще, что движения его нельзя было уловить. Казалось, он стоял на месте, но от пристани отделился, и это значило, что он шел теперь вверх, ко мне. Скоро послышался высокий звук дизеля, и мне вдруг стало страшно, что она не приедет, что ее нет на катере и я напрасно жду. Я увидел внезапно расстояние и дни, которые ей надо преодолеть, чтобы добраться до меня, и понял, как это непрочно все — какие-то мои планы счастливой жизни здесь вдвоем.

— Что же это! — сказал я вслух и поднялся. Я не мог уже сидеть и стал ходить по берегу. — Что же это! — время от времени беспомощно повторял я и все поглядывал на катер, а сам думал, как дико будет идти мне одному наверх со своей водой и как пусто станет в моем доме. И неужели нам не повезет наконец и после стольких дней и наших неудач мы не встретимся и так все пойдет прахом?

Я вспомнил, как уезжал три месяца назад с Севера домой, как она неожиданно приехала в деревню с тони проводить меня, как стояла на мостках, пока я садился в мотобот, чтобы плыть к пароходу на далеком рейде, и как говорила все одно и то же: «Куда же ты едешь? Ты ничего не понимаешь! Ты ничего не понимаешь! Куда ты едешь?» А я уже на мотоботе среди прощаний, слез женщин, криков парней и всякого шума понимал, что делаю что-то ребяческое, уезжая и слабо надеясь как-то все поправить в будущем.

Катер был теперь близко, а я уже не ходил, а стоял на самом краю, на самом обрыве над черной водой и смотрел на него не отрываясь, шурясь и громко дыша от возбуждения и надежды.

Звук мотора внезапно стал ниже по тону, на рубке сверкнул прожектор, и дымный косой луч секанул по берегу, перескакивая с дерева на дерево. Катер искал место, где пристать. Он забирал все вправо, напряженный луч прожектора ударил мне в лицо, я отвернулся, потом опять поглядел. На верхней палубе стоял матрос и уже открывал борт, чтобы сойти вниз и перекинуть на берег трап. А рядом с ним в чем-то светлом стояла она.

Нос катера мягко и глубоко вонзился в берег, матрос сдвинул трап, помог ей сойти, а я перехватил чемодан, отнес его подальше, поставил рядом с ведром и тогда только медленно обернулся. Свет прожектора слепил меня, и я никак не мог ее рассмотреть.

Отбрасывая громадную зыбкую тень на лесистый откос наверху, она подходила ко мне. Я хотел ее поцеловать, но потом раздумал, мне не хотелось этого под светом прожектора. И мы просто встали рядом, прикрываясь руками от света, и, напряженно улыбаясь, стали смотреть на катер. Катер дал задний ход, луч прожектора пополз в сторону, потом и вовсе погас, дизель внизу опять запел, и катер — с длинным рядом освещенных окон в нижних салонах — быстро стал удаляться вверх по реке. Мы остались одни.

— Ну, здравствуй, — сказал я смущенно.

Она поднялась на цыпочки, больно взяла меня за плечи и поцеловала в глаза.

— Пойдем! — сказал я и покашлял. — Черт, как темно, погоди, я фонарь зажгу...

Я зажег фонарь, и он опять сначала затуманился, и пришлось подождать, пока разгорится свеча и обсохнут, станут прозрачными стекла. Потом мы пошли: я впереди с чемоданом и фонарем, она — сзади с ведром воды.

— Тебе не тяжело? — спросил я через минуту.

— Иди, иди! — сипло сказала она.

У нее всегда был сиплый, низкий голос, и вообще она была жесткая и сильная, и я долго не любил в ней этого. Потому что я любил в женщинах нежность. Но сейчас, здесь, на берегу реки, ночью, когда мы шли друг за другом к дому, после стольких дней злости, разлуки, писем и странных угрожающих снов, ее голос, и крепкое тело, и шершавые руки, ее северный выговор, были как дыхание нездешней птицы — дикой, сероперой, отставшей от осенней стаи.

Мы свернули направо в овраг, по которому вверх шла неизвестно кем и когда мощенная короткая дорога — узкая, заросшая орешником, соснами и рябиной. Мы стали подниматься по ней во тьме, едва светя себе фонарем, а над нами текла узкая звездная река, по ней плыли сосновые черные ветви и по очереди закрывали и открывали звезды.

Еле переводя дух, мы вышли на лиственничную аллею и пошли рядом. Мне вдруг захотелось ей все показать и рассказать о здешнем, о народе, о разных маленьких происшествиях.

— Понюхай, — сказал я, — как пахнет!

— Вином, — ответила она, слегка задыхаясь от ходьбы. — Я давно почуяла, еще на пароходе...

— Это листья. А вот пойді сюда!

Мы оставили на аллее вещи, перепрыгнули через канавку и полезли в кусты, светя себе фонарем.

— Это где-то должно быть тут.. — бормотал я.

— Грибы, — изумленно сказала она сзади. — Сыроежки.

Наконец я нашел то, что искал. Это были белые перья от цыпленка, рассеянные по траве, хвое и желтым листьям.

— Посмотри, — сказал я и стал светить. — У нас здесь птицеферма в деревушке. Цыплята подросли, их начали выпускать. И вот лиса приходит теперь каждый день и сидит в кустах. Когда цыплята разбредутся по лесу, она ловит какого-нибудь. И тут же жрет.

Я представил себе эту лису с сединой на темной морде, как она облизывается и фукает, чтобы сдуть с носа пух.

— Ее надо убить! — сказала она.

— У меня ружье, мы с тобой ходим по лесам, и, может быть, нам повезет.

Мы выбрались опять на аллею и пошли дальше. Показалось освещенное окно моего дома, и я стал думать о том, что сейчас будет, когда мы придем. Мне сразу захотелось выпить, а у меня была рябиновка. Я ее делал сам, хорошо было рвать в лесу рябину, приносить домой, давить ее в соковыжималке, чтобы текла желтая пена, а потом цедить сок в бутылку с водкой.

— А у нас зима! — сказала она как будто удивленно. — Двина замерзла, только посерединке ледоколы проделали проход. Все белое, а проход черный... И пар идет. А когда корабль идет по черной воде, то по льду рядом собаки бегут. И почему-то бегут троим.

Она так и сказала по-северному: «троем», а я представил Двину, и пароходы, и Архангельск, и деревню на Белом море, откуда она приехала. Высокие двухэтажные пустые избы, черные стены, безмолвие и уединенность.

— Лед уже появился? — спросил я. — В море?

— Нагоняет, — сказала она и тоже о чем-то подумала, может быть, о том, что оставила там. — Обрато на оленях придется добираться, если...

Она замолчала, я подождал, прислушиваясь к ее дыханию и шагам, потом спросил:

— Что если?

— Ничего, — особенно сишло и медленно сказала она. — Если еще льду нагонит, вот что!

Потопав по крыльцу, мы вошли в дом.

— У-у! — сказала она, оглядываясь и снимая платок. Она всегда, когда удивлялась или радовалась, говорила это свое низкое и медленное «у».

Дом был мал и стар, я снял его у москвича, который жил в нем только летом. Мебели почти не было, только старые кровати, стол да стулья... Стены точил жучок, и все они были обсыпаны белой мукой. Зато в доме были приемник, электрический свет, печка и несколько толстых старых книг, которые я любил читать по вечерам.

— Раздевайся! — сказал я. — Сейчас печку растопим...

И пошел на двор рубить хворост для печки. Но мне было что-то не по себе от счастья, в голове звенело, руки тряслись, вообще весь я как-то ослаб и хотелось посидеть. Звезды сверкали мелко и остро. «Будет мороз, — подумал я. — И, значит, утром слетят все листья. Скоро зазимок!»

На Оке медленно возник певучий трехтоновый гудок и долго отдавался, перекатываясь по холмам. Где-то внизу шел буксир, один из тех старых паровых буксиров, которых мало уж теперь. Новые катера и водометы-толкачи гудят коротко, высоко и гнусаво. Разбуженные гудком, на птичнике прокричали фальцетом несколько петушков...

Я нарубил сучьев, набрал дров и пошел в дом. Она сняла пальто, стояла спиной ко мне и шелестела газетами: доставала что-то из чемодана. Была она в цветистом платице, оно было тесно ей, и, приведи я ее в Москве куда-нибудь в гости, в клуб, все бы незаметно улыбались, а это, наверное, было ее лучшее платье. И я вспомнил, что обычно она ходит в спортивных брюках, заправленных в сапоги, а поверх какая-нибудь старая, выгоревшая юбка, и это очень там было здорово.

Я поставил чайник и стал растапливать печь. В печи скоро загудело, хворост затрещал, запахло дымом и дровами.

— Это тебе! — сказала она сзади.

Я обернулся и увидел на столе семгу — великолепную, тускло-серебряную, с широкой темной спиной, с загнутой сверху нижней челюстью. В доме запахло рыбой, и тоска по странствиям опять охватила меня.

Она была поморкой, она даже родилась в море на мотоботе летом в золотую ночь. Но к ночам она была равнодушна. Ведь только приезжий видит их и сходит с ума от тишины и одиночества. Только когда ты там гость, оторван от всех и как бы всеми забыт, только тогда ты не спишь ночью и все думаешь, думаешь и говоришь себе: «Ну-ну! Это ничего, это просто ночь, а ты здесь не навсегда, и что тебе до ночи, пусть солнце крадется краем моря. Спи, спи...»

А она? Она крепко спала ночами на тонях за ситцевой занавеской, потому что на рассвете ей надо было вставать и вместе с дюжими рыбаками грести, доставать из ловушек рыбу, а потом варить уху, мыть посуду... И это было всегда, каждое лето, пока не приехал я.

И вот теперь на Оке мы пьем рябиновку, едим семгу и говорим, вспоминаем разные разности. И то, как мы выезжали белыми ночами в море бить зубаток, и как тянули в шторм с рыбаками ловушки, и захлебывались горькой водой, и нас мутило, и как ходили на маяк за хлебом, и как сидели однажды ночью в деревенской библиотечке, и, разувшись, скинув телогрейки, читали все газеты и журналы, вышедшие за те дни, когда мы были на тоне.

Я бросил на пол к печке шубу мехом вверх, мы поставили рядом чайник и конфеты, взяли чашки и легли на эту шубу, глядя попеременно то друг на друга, то в розовую топку, на угли, как по ним перебежали огоньки, и, чтобы так подольше лежать, я иногда вставал и подбрасывал в печь хворосту, и он начинал трещать, а мы отодвигались от жара. Часа в два ночи я встал в темноте, потому что не мог спать. Мне казалось: если я усну, она куда-то уйдет от меня, я не буду ее ощущать, а мне хотелось, чтобы она была все время со мной и я бы это знал. «Возьми меня в свои сны, чтобы я был всегда с тобой! — хотелось мне сказать. — Потому что нельзя расставаться надолго». Потом я подумал, что люди, которые уходят от нас и мы их не встречаем больше, эти люди для нас умирают. А мы для них. Странные мысли приходят в голову ночью, когда не можешь спать от радости или от тоски.

— Ты спишь? — спросил я тихо.

— Нет, — отозвалась она с постели. — Мне хорошо. Не гляди, я оденусь...

Тогда я пошел в угол, где на ремнях на стене висел приемник, и включил его. Среди треска и бормотания дикторов я искал музыку. Я знал, что она должна быть, и нашел ее. Низкий мужской голос что-то сказал по-английски, потом была пауза, и я понял, что сейчас станут играть.

Я вздрогнул, потому что с первого же звука узнал мелодию. Когда мне хорошо или, наоборот, больно, я всегда вспоминаю эту джазовую мелодию. Она чужда мне, но в ней звучит какая-то тайная мысль, и не понять, печальна она или радостна. Я часто вспоминал ее, когда ехал куда-нибудь, когда что-нибудь меня радовало или, наоборот, угнетало. Напомнила она мне и ту московскую ночь, когда мы все ездили, ездили и ходили, одинокие и несчаст-

ные, и во всю ночь ни слова упрека не услышал я от нее, и мне было стыдно.

Она уезжала в Архангельск после пяти каких-то пустых дней, проведенных в Москве. Все было точно так же, как всегда бывает на московских вокзалах: катили свои тележки носильщики, зудели автокары, кругом торопились, прощались, оставались считанные минуты... Она уезжала, хотя могла бы и не ехать еще, у нее было время — несколько свободных дней. А мне было досадно, горько, я злился и на себя и на нее. Я думал, как пусто мне станет без нее и опять придется пить, чтобы как-то справиться с тоской.

— Не уезжай! — сказал я.

Она только усмехнулась и дрожащими глазами снизу посмотрела на меня. Глаза у нее были темные, с зелеными искорками, нельзя было понять — зеленые они у нее или черные. Но когда она на меня там смотрела, они были черные, это я хорошо помню.

— Как глупо! — говорил я. — То я уехал с Севера, ничего не поняв, а теперь ты, и опять ничего... Как глупо! Не уезжай!

— Чего теперь говорить, — пробормотала она со злостью.

— Не нужно было останавливаться у каких-то родных, которые всегда дома!

— А у кого? У тебя, что ли? Все равно, — сказала она упрямо. — Чего теперь говорить...

— Поедем сейчас в гостиницу, ты поживешь там эти дни.

— Поезд сейчас пойдет, — сказала она, отворачиваясь.

— Да нет, погоди, подумай! После стольких писем мы будем вместе, одни, подумай!

Она долго молчала, поводя глазами по моему лицу, прикусив губу, наконец спросила жалко, подстреленно:

— А ты будешь рад, если я останусь?

Мне стало трудно дышать, комок подступил к горлу, я повернулся, быстро вошел в вагон, наталкиваясь на кого-то, протискиваясь, отыскал ее купе, взял чемодан и вышел. До сих пор помню, как смотрели на нас проводники и все, кто был около вагона в ту минуту.

— Поедем, — сказал я.

— А билет? — сияя глазами, спросила она.

— Плевать на билет! — сказал я и взял ее за руку.

Мы вышли на площадь и сели в такси.

— В гостиницу, — сказал я.

— В какую? — спросил шофер.

— Все равно в какую!

Машина тронулась, понеслась навстречу светофорам, уже горящим неоновым вывескам, мимо вокзалов, людей и домов.

— Постой, старик, — сказал я шоферу возле какого-то магазина, вышел и купил бутылку вина. Я вернулся, засунув ее в боковой карман. Я воображал, как мы пьем это вино одни, поднимая бокалы и глядя друг другу в глаза. Я ощущал уже его вкус во рту, когда мы подъехали к гостинице и я пошел к администратору.

— Мест нет, — сообщил он мне спокойно.

— Любой номер. Понимаете — любой номер, самый плохой или самый лучший!

— Мест нет, — кисло повторил он и с досадой взял трубку беспрерывно звонившего телефона.

Она дожидалась меня в вестибюле, робко глядя на великолепие колонн и зеркал. Она и на меня взглянула робко, будто я был владыкой всего этого! Мы вышли к стоянке такси.

— Поедем в другую, — сказал я огорченно.

Она безропотно села в машину, и мы понеслись по Москве. Я заехал к другу занять денег и чуть было не попросил приютить нас, но у сестры его были гости, я посмотрел на них, на стол с вином, на тахту, на задранные ноги в узких мокасынах и ничего не попросил. Зато денег взял побольше.

— Выпей! — сказал мне друг, перехватив мой взгляд.

— Нет, меня ждут, спасибо!

Прошел час и два, а мы все ездили, и везде нам говорили одно и то же: «Мест нет!» Выходя на улицу, я оглядывал огромные здания гостиниц и домов, все эти многоэтажные ряды окон, многие из которых были уже погашены, и думал обо всех, кто в этот час может спокойно сидеть и лежать у себя в комнате, и слушать радио, и читать что-нибудь на сон или обнимать женщину, и у меня начинало болеть сердце.

Наконец, измученные, мы отвезли ее чемодан на вокзал, сдали его в камеру хранения и медленно пошли к Сокольникам. Был двенадцатый час ночи.

— Что ж будем делать? — со смехом спросил я.

— Не знаю, — сказала она устало. — Может, в ресторан зайдем? Я есть хочу..

— Рестораны закрыты, — сказал я, посмотрев на часы, и опять глупо засмеялся. — Пошли в центр, на бульвары.

Мы шли быстрым шагом, как ходили на Севере по берегу моря, когда нам нужно было не опоздать в кино в клубе за двадцать километров. Фонари погасли, горели только через один и на одной

стороне. Людей почти не стало на улицах. Наконец мы пришли на Тверской бульвар и сели на скамейку.

— А к тебе никак нельзя? — спросила она с надеждой.

— А то бы я ходил с тобой! Отец, мать — куда!

— Ну ладно, — сказала она. — Не горюй, завтра я уеду, есть еще утренний поезд. А потом... — она вздохнула, — потом ты опять когда-нибудь приедешь к нам.

Я обнял ее, она прижалась ко мне, закрыла глаза.

— Мы и так посидим, правда? — бормотала она, шевелясь на скамейке и устраиваясь поудобней. — Ты хороший, я тебя люблю, дурачок, я тебя там еще полюбила, а ты не знал... Бедный ты, бедный!

Посидев минуту неподвижно, она скинула туфли и подобрала ноги, укрыв их юбкой.

— Ноги болят, — сонно бормотала она. — Туфли эти... Без привычки...

По боковой аллее шли два милиционера. Увидев нас, один из них вышел на свет и пошел к нам.

— Пройдите, гражданин! — сказал он почему-то только мне. — Это не разрешается.

— Что не разрешается? — спросил я в то время, пока она смущенно надевала туфли на опухшие ноги.

— Нечего разговаривать! Сказано — пройдите!

Мы встали и пошли. Я снова стал разглядывать дома и окна, и мне все время представлялась комната с тахтой. Больше в этой комнате ничего не было, только слабый розовый свет и тахта.

— Слушай, зайдем в подъезд, — сказал я неуверенно.

— Пойдем, — согласилась она и слабо улыбнулась. — Я там туфли сниму, на ступеньке посидим.

Мы вошли в какой-то темный двор, пошли в угол к самому дальнему подъезду, закрыли за собой дверь и сели на ступеньку. Она тотчас сняла туфли и стала растирать ступни.

— Устала? — спросил я и закурил. — Бедная, не повезло нам в Москве.

— Да, — она потерлась щекой о мое плечо. — Очень большой город.

Послышались шаги, дверь отворилась, в подъезд заглянула дворничиха и увидела нас.

— А ну, пошли отсюда! — закричала она. — Напасти на вас, чертей, нету, как кошки подворотные, шляются! Пошли, а то за свищу сейчас!

И она вытащила из кармана фартука блестящий свисток. Лицо у нее было злое, скуластое. Мы опять пошли двором, сзади шла дворничиха и ругалась. На улице мы посмотрели друг на друга и засмеялись.

— Это тебе не Белое море, — сказал я.

— Ничего, — опять успокоила она меня, — давай просто так ходить. Или поедem на вокзал, на лавках хоть поспим, а?

— Ладно, — согласился я и вдруг оживился: — Слушай, я дурак, давай поедem за город! Возьмем такси, деньги у меня есть и поедem километров за тридцать у нас так делают!

По улице медленно проезжало такси. Я любил раньше, возвращаясь поздно, смотреть на эти ночные такси. Как заколдованные, медленно блуждают они по спящему городу, мерцая зелеными огоньками, и, глядя на эти огоньки, всегда хочется уехать куда-нибудь далеко.

Мы остановили такси.

— За город? — переспросил таксист и сразу заметно понаглед. — Семь с полтиной — повезу.

— Ладно, — сказал я. Мне было уже все равно. Пока ехали, мне захотелось спать. Дорога была пустынна, на западе держался еще сумрак, но восток побелел, начинался рассвет. Ветер ровно гудел снаружи, а в такси сильно пахло бензином.

— Тут, что ли? — спросил шофер, замедляя ход возле какой-то рощицы. Дальше у нас не ездят. Периферийная, что ли? — спросил он, глядя на нее.

Мы вышли, и нас тут же стало знобить от предрассветного холода.

— Полчаса хватит? — спросил шофер, оценивающе разглядывая меня. — Я вздремну, придете — разбудите. Сигаретка есть? Дайка закурю...

И стал разворачиваться на обочине, а мы пошли жесткой травой к лесу, и единственным моим ощущением тогда было ощущение сырости и озноба. Костюм мой задубел, отяжелел, ботинки стали мокры, а складка на брюках разгладилась. В лесу стоял сумеречный свет; я взглянул на нее, думая, что же я буду теперь делать. У нее был усталый вид, лицо осунулось, и под глазами лежали круги. Она вдруг откровенно зевнула и скучно посмотрела вокруг, как бы недоумевающая, зачем мы сюда заехали.

— Тоже мне лес... — пробормотала она и вдруг враждебно поглядела на меня.

Я тоже зевнул, почувствовал скуку и злость, что я не дома в постели, а здесь, в сырости и холоде.

— Надоево, — сказала она, судорожно зевая, низко и силпо выговаривая «надоево» вместо «надоело». — О господи! Не надо ничего, я не хочу, поехали обратно...

— Назад так назад, — сказал я вяло и тоже зевнул. — Только давай выпьем, а то карман оттягивает.

Я вытащил бутылку, попробовал вышибить пробку, но пробка втиснута была очень плотно. Тогда я проткнул ее внутрь сургучом.

— Пей, — сказал я, подавая ей теплую бутылку.

— Не хочу, — пробормотала она, но бутылку взяла и, вздохнув, стала пить. Две струйки, как кровь, пролились по ее подбородку, она закашлялась и отдала мне бутылку. Я допил ее и бросил.

— Пошли, — сказал я с облегчением.

Мы опять брели по сырому лесу, по папоротникам, потом по кочкам луговины, и она все приподнимала платье, чтобы не забрызгать росой подол.

— Чего так рано? — спросил шофер и насмешливо посмотрел на меня. Характером не сошлись?

— Давай крути! — злобно сказал я, еле удерживаясь, чтобы не ударить его.

Мы ехали назад и дремали, приваливаясь друг к другу при крутых поворотах, и, помню, прикосновения к ней были неприятны мне, да и ей тоже, наверное... Было часов пять утра, а до поезда надо было болтаться где-то еще часа три. Мне было плохо, вино ударило в голову, но как-то тяжело, душно.

Три часа эти были мучением, а главное, что я не мог уйти, а должен был с ней быть до конца. Еле дождавшись поезда, я снова провожал ее и не знал, что сказать, голова у меня трещала.

— Ну ладно, пиши, — сказала она и взялась за поручень.

Я нашел в себе силы приостановить ее.

— Не сердись, — пробормотал я, поцеловал ее в лоб и пошел к выходу. Помню, мне стало так легко, когда я с ней расстался, что я даже удивился, но было и грустно; где-то глубоко какая-то ранка саднила в душе, и стыдно как-то было...

Я подтащил шубу к приемнику, и мы сели на нее рядом, обнявшись. Все эти месяцы в душе моей жило чувство потери, а теперь я все нашел, и найденное было даже лучше, чем я мог предполагать.

Элегически бормотал контрабас, отыскивая во тьме свои контрапунктические ходы, блуждая в неразрешимости, поднимаясь и опускаясь, и мне его медленный ход напоминал звездное небо.

А прислушиваясь к нему, жаловался на что-то саксофон, снова и снова забиралась в неистовые верха труба, и рояль время от времени входил между ними со своими квинтовыми апокалипсическими аккордами. И, как метроном, как время, раскладывая ритм на синкопы, мягкими пустыми ударами подчинял себе все ударник.

— Не будем зажигать света, ладно? — сказала она, глядя с пола вверх, на зеленоватую шкалу приемника, на его волчий глаз.

— Ладно, — согласился я и подумал, что, может быть, такой ночи у меня никогда больше не будет. И мне стало грустно, что прошло уже три часа, мне захотелось, чтобы все это началось сначала, чтобы я опять вышел с фонарем и ждал, чтобы мы снова вспоминали, а потом опять боялись бы расстаться друг с другом во тьме.

Она поднялась на минуту за чем-то, заглянула в окно и силло сказала:

— Снег...

Я тоже привстал и посмотрел в темноту за окном. Шел неслышный снег. Первый настоящий снег этой осенью. Я представил, как завтра днем обнаружатся мышиные следы вокруг куч хвороста в лесу и заячьи следы возле акации, которую они так любят глотать по ночам, вспомнил о своем ружье, мне стало весело, и пробрала дрожь. Как славно, что снег, и что приехала она, и мы одни, и с нами музыка, наше прошлое и будущее, которое, может быть, будет лучше прошлого, и что завтра я поведу ее на свои любимые места, покажу Оку, поля, холмы, лес и овраги... Ночь шла, а мы все не могли заснуть, говорили шепотом и обнимались, боясь потерять друг друга, и опять топили печку, смотрели в ее огненный зев, и красный свет пек наши лица. Заснули мы часов в семь утра, уж окна поглубели, и проспали долго, потому что нас никто не будил в нашем доме. Пока мы спали, взошло солнце, и все подтаяло, но потом снова заморозило. Попив чаю, я взял ружье, и мы вышли из дому. Даже больно на секунду нам стало — такой белый зимний свет ударил нам в глаза и так чист и резок был воздух. Снег сошел, но всюду остались ледяные корки. Они были матовы, полупрозрачны. Из коровника шел душистый пар, телята толкались возле и громко топотали, как по деревянным мосткам. Это потому, что под верхними ледяными колчами еще не замерзла навозная жижа. А некоторые с наслаждением паслись на седьх озимых и часто мочились, задирая хвосты и расставляя курчавые в паху ноги. И там, где они мочились, появлялись изумрудные пятна мокрой молодой ржи.

Мы шли сперва по дороге. Колеи затянулись матовым, но подо льдом стояла глинистая вода, и, когда сапоги наши прола-

мывали корку, на лед коричнево брызгало. А в лесу из-подо льда торчали поздние, едва зажелтевшие одуванчики. Во льду видны были вмержшие листья и хвоя, стояли заледеневшие последние грибы, и, когда мы ударяли по ним ногой, они сламывались и, гремя, подскакивая, долго катились по льду. Лед под нашими ногами проседал, и далеко хрустело, и гремело кругом: спереди, сзади и по бокам.

Поля на холмах были дымно-зелены издали и будто пересыпаны мукой, стога почернели, лес сквозил, был черен и гол, только резко проступал березовый белый частокол, барахтались и лоснились зеленою стволы осин, да кое-где по лесистым холмам цвели, горели еще последние красные шапки неопавших деревьев. Река сквозь лес была видна на большое расстояние и была пустынна и холодна на взгляд. Мы спустились вниз по снежному оврагу, оставляя за собой глубокие, сперва грязные, а потом чистые следы и стали пить из родника возле срубленной осины. В неподвижном бочажке родника плотно опустились на дно почерневшие кленовые и дубовые листья, а срубленная осина пахла горько и холодно, и древесина на срубе была янтарной.

— Хорошо? — спросил я, посмотрев на нее, и изумился: глаза у нее были зеленые.

— Хорошо! — сказала она, жадно озираясь и облизывая губы.

— Лучше, чем на Белом море? — спросил я еще.

Она опять стала смотреть на реку и вверх по откосу, и глаза ее еще позеленели.

— Ну, Белое море... — сказала она неопределенно. — У нас... у нас... А тут дубы, — перебила она себя. — Как это ты нашел такое место?

Я был счастлив, но мне и странно как-то было и боязно: уж очень все хорошо выходило у меня в ту осень. Чтобы успокоиться, я закурил и стал весь куриться дымом и паром. На Оке со стороны Алексина показался буксирный катер, он шибко бежал вниз, гнал волну, и мы молча проводили его глазами. Из машины у него шел обильный пар и струей еще выскакивал на сторону из борта, из дырки над темной водой.

Когда катер скрылся за поворотом, мы, держась за руки, стали подниматься вверх среди редких деревьев в светлом лесу, чтобы посмотреть еще раз на Оку сверху. Мы шли тихо, молча, как в белом сне, в котором мы наконец были вместе.

НАМ СТАНОВИТСЯ ПРОТИВНО

Весной на меня наваливается странная какая-то тоска. Я все хочу чего-то, мне скучно, я думаю о проходящей своей жизни, много сплю и встаю осоловевший и разбитый.

Стоял апрель, мы жили в Ялте, бездельничали после девяти месяцев отчаянной трепки в зимнем океане. Всю осень и зиму мы ловили треску в Баренцевом море, забирались иногда в Норвежское, в Атлантику, и ни разу залитая рыбьим жиром палуба нашего траулера не была спокойной.

В Ялте горы казались красно-лиловыми, море синело и блестело, туманы были редки, а на набережной продавалось кислое крымское вино. Везде из садов, из-за каменных стен, на узких кривых татарских улочках в гористой части Ялты тянуло запахом цветов и влажной земли. И вообще пахло югом, древними горами и морем. На камнях, на плитах тротуаров лежали розовые лепестки — деревья осыпали свой цвет, и весь Крым в эту пору розово дымился и пах нежным дурманом. На базаре продавали красную редиску и невиданную иглу-рыбу с черной спиной, белым брюхом и зеленым позвоночником.

Мы жили в гостинице на набережной, и по ночам под нашими окнами шумело море, иногда перехлестывая через парапет. Мигал рубиновым глазом маяк в конце мола, и часто заходили, медленно двигаясь, и застывали в порту красивые, освещенные, белые пароходы.

Мы презирали эти пароходы за их величину, за лень и благополучие, за их освещенность и легкость. Мы не могли смотреть без смеха на южных моряков-каботажников, на их белые мичманки, белые рубашки, на галстуки и на их отутюженные брючки. Мы вспоминали, как кривоногого, беспомощно и упорно пляшем мы в полярном мраке, среди воя и свиста, среди гулких ударов, скрипа и треска — на палубах, резко освещенных рабочими лампами.

— А то давай, переведемся, а? — иронически предлагал я, лежа на балконе в шезлонге, глядя вниз на белые пароходы. — Будем жрать мандарины в каком-нибудь Потти, вино лакать... Тут вина много, а?

Друг мой только скалился.

Еще цвело в Ялте иудино дерево. Не было на нем веток, не было листьев — просто мучительно искривленные коряги, черные во время захода солнца и будто сочащиеся кровью. Но в то же время они и мохнаты были, как уродливые гусеницы, от цветов, которые лезли прямо из коры.

Одно такое дерево торчало как раз под верандой нашей гостиной. Мы сидели вечерами на веранде. Пили коньяк и кофе — единственный хороший во всей Ялте, — смотрели молча то на море, на огни в порту, то на набережную, на женщин и пижонов в цветных рубашках, то на это дерево. Когда нам надоело смотреть вниз, мы поворачивались и смотрели на горы, которые постепенно теряли свои краски, становились сперва палевыми, дымчатыми, потом густо-лиловыми, потом черными...

Днем мы толкались на набережной или ездили в Гурзуф, в Оранду, вечером снова бродили по набережной, под фонарями. И днем и вечером всюду было оживленно, шумно,людно, пахло духами, пудрой, женским телом — все будто торопились жить, все хотели счастья, легкости и знакомств.

А нам было скучно. Каждый раз вечером наваливалась на нас тоска, и Ялта казалась нам убогой, веселье людей — неестественным, и даже море было для нас ненастоящим, слишком прилизанным и удобным, созданным будто специально для отдыхающих, для прогулок на катерах. А катера были обязательно с громкоговорителями, и обязательно на весь порт, на всю Ялту, на все море хрипели и выли давно знакомые, заезженные пластинки.

Отчего нам было скучно, мы не знали.

И этот день начался плохо для нас. Мы валялись в номере, засыпали и просыпались, зевали, шелестели газетами. Мы ходили в буфет, но и пить с утра нам не хотелось. Наконец друг мой спросил:

— Слушай, а в доме Чехова ты был?

— Не был. А что?

Я где-то видел этот дом на открытке, но забыл, и теперь мне представилось что-то белое и решетчатое, что-то такое восточное.

— Давай, старик, поедем! — предложил мой друг. — Я люблю Чехова, знаешь. Как-то я его нежно очень люблю.

Мы побрились, пошли по набережной к почтамту, взяли такси и поехали. День был яркий, знойный, солнце отражалось от домов, от дороги, от каменных стен, от крыш внизу, когда дорога взбегала наверх. В машине было очень жарко, и машина была расхлябанная, брэнчала и громычала, и воняла бензином, и шофер почему-то был неразговорчивый, мрачный.

Все оказалось совсем не таким, как я думал. Внизу, под дорогой стоял дом и флигель, и стены, выходящие во двор, были какие-то плоские, слепые. Двор около дома был засыпан гравием.

На гравий больно было смотреть, так он был бел под солнцем. Под ногами неприятно шуршало и скрипело, а на верхней дороге жужжали МАЗы, и душный выхлопной дымок сносило сюда, к дому.

А когда мы вошли, надели шлепанцы и вошли, друг мой стал морщиться, сопеть, играть скулами.

— Ты чего? — спросил я. — Сам приехал, не тянули!

Нам было как-то неловко в этом доме. Я все думал, что вот строил человек себе дом, хотел тихо пожить, чай пить, глядеть на море, вообще как-то побыть самому, писать там что-нибудь, думать. И вот мы надели шлепанцы и ходим по комнатам, заглядываем в разные углы. Там, глядишь, висит пальто, шляпа — Чехов надевал. Там марки какие-то лежат, стопочкой связаны, крючки рыболовные, лески... Думаешь, вот марками занимался, радость ему была, небось слюнями мочил или над самоваром отпаривал, разглядывал. А может, если бы он знал, что через шестьдесят лет мы будем разглядывать все это, — ни за что бы не стал собирать.

Ходила вместе с нами какая-то компания, на машине приехали, и от всех слегка пахло выпивкой. И были они все красивые, распаренные, и, видно, не знали сами, как это их сюда занесло. Они шептались, впрочем достаточно громко, чтобы слышать их. И было в их шепоте что-то гнусное и жалкое одновременно:

— А она его любила? Зачем он с бородою был, ему не идет. А домик ничего себе! В таком доме и я бы написал чего-нибудь. Сколько тут комнат? Ого! — а говорят, скромный был.

Я скорей перешел в кабинет. Тут был камин, письменный стол с какими-то вещичками, фотографии на стенках. Был стенд, заваленный весь фотокарточками — вот красавец Шаляпин с коком, с резкими ноздрями вздернутого носа, вот урколикий Бунин с твердыми, серыми, надменными глазами, с пушком на верхней губе. И на всех фотокарточках были надписи — все размашистые, нарочито небрежные, будто каждому и не было вовсе лестно подарить карточку Чехову. Но было в то же время во всех надписях и еще что-то такое — для потомства, для истории, словно каждый хотел сказать своей надписью: вот, мол, хоть бы и Чехов, а я его знаю, хоть он и знаменит, однако и сам я не хуже, и неизвестно еще, кто кому оказывает честь — он мне, принимая карточку, или я ему — даря.

Заглянули мы и в спальню с жалкой какой-то железной кроватью, а больше уж и глядеть нечего было, да и не хотелось нам, и все время неловко было, будто пришли, а хозяина нет, вот-вот вернется и застанет нас.

С облегчением сняли мы шлепанцы, вышли на двор, сели на лавочку под каким-то деревом, закурили. Глаза у моего друга были мокрые, скулы побелели, он шурясь оглядывал двор.

— Кувшины видал какие? — кивнул я на огромные глиняные круглые сосуды под водосточными трубами у флигеля. — Это при нем было?

— При нем, — сказал мой друг. Он все знал о Чехове. — Тогда водопровод плохо работал, дождевую собирали.

Мы помолчали. Как-то стало нам очень грустно в этом доме и жалко чего-то.

— А сад какой! — сказал мой друг. — Это он сажал, знаешь. Очень это хорошо! А знаешь, есть такая фотография: стоит он в кабинете, у стены, возле шкафа...

Сигарета у него погасла.

— Ну?

— Я поглядел, шкаф стоит. И все как было. Вот так, старик. Шкаф стоит... Он тогда как раз возле шкафа стоял, даже опирался плечом. Или нет? Забыл... Но он там стоял, без пенсне, очень какой-то весь черный.

Мы еще посидели. Давешняя компания вышла из дома. Мужчины радостно закурили, женщины вынули зеркальца и пудреницы. Потом все пошли к машине, повозились там с какими-то тайными приспособлениями, отомкнули ее, сели и уехали.

— Подумать только! — со внезапной злобой сказал мой друг. — Как он жил, как жил, господи ты боже мой! Равнодушная жена в Москве, а он здесь или в Ницце, пишет ей уничижительные письма, вымаливает свидания! А здесь вот, в этом самом доме, печки отвратительные, температура в кабинете десять градусов, холод собачий, тоска... В Москву поехать нельзя, и в Крыму болеет Толстой. А на севере — Россия, снег, бабы, нищие, грязь и темнота, и угарные избы. Ведь он все это знал, а у самого чахотка, кровь горлом, эх! Пошли, старик, выпьем! Несчастливая у него была жизнь, а крепкий все же был человек, настоящий! Я его люблю, как никого из писателей, даже Толстого. Вот так.

Солнце уже стояло низко над горами, мы посидели еще и пошли домой пешком. Шли мы долго, и я думал, что и в этот вечер у меня снова будет тоска и что хорошо бы куда-нибудь пойти на люди. А когда пришли на набережную, солнце совсем скрылось, горы посинели, на маяке зажгли огонь. На набережной прямо под небом сидели за столиками и пили багровое и светлое сухое вино.

— Выпьем вина? — вяло предложил я.

— Иди, пасись! — сказал мой друг. — Мне три литра надо выпить, чтобы почувствовать. А три литра выпьешь, идешь, будто траулер с полными трюмами. Вот так, старик, давай-ка лучше погребем к коньячку!

Потом мы стали ругать коньяк и водку и вообще пьянство. Нам надоело пить, но мы никак почему-то не могли это бросить. Когда долго живешь на море и видишь все одно и то же: треску, морского окуня, поднимающийся и опускающийся горизонт, вспененную, взлохмаченную поверхность воды, когда в каюте у тебя все ерзает, падает, когда ты сам во сне валишься через бортик койки и только в последнее мгновение цепляешься за что-нибудь и снова забираешься под одеяло — хочется чего-то высокого и настоящего: настоящих женщин, музыки, настоящей еды, интересных разговоров и тишины. Но все это где-то далеко, все это отделено от нас сотнями миль пустынной штормовой поверхности океана, и проходит целая вечность, пока ты ступишь на берег, уж забудешь его запах и вид. И вот, когда Кольским заливом идешь к Мурманску, то еще часа за четыре бросаешь робу, надеваешь чистую рубаху, бреешься, а рубаха так прекрасно пахнет! Надеваешь еще галстук, от которого отвек, и узкие ботинки, которые жмут, и почему-то думаешь только о том, как придешь в ресторан, где будет тепло, светло и покойно, где будут женщины — пусть не твои, — где будет вино и бифштексы, пусть плохие, но все лучше, чем стряпня корабельного кока и тресковая опостылевшая уха.

И в Ялте мы были одни, как будто только вернулись из долгого рейса, нам некуда было деваться, а только разговаривать о смысле жизни, о ее краткости, переменчивости, и чем веселее было вокруг нас, тем грустнее было нам, хоть это и глупо грустить, когда весна, когда ты в Ялте, на берегу прекрасного моря, когда кругом так много людей, и так южно и дерзко пахнет, так все зовет к бездумности, к счастью, — но что делать и кто виноват, что нам плохо!

В ресторане было уж порядочно народу, когда мы пришли. Но столик возле оркестра как раз освобождался, и мы поскорей сели. Нам долго пришлось ждать среди грязной посуды и пустых бутылок, пока не пришел официант. Он был старый, раздраженный, ходил медленно, приседая, выворачивая ступни, и лицо у него было пошлое и алчное. Кое-как он убрал стол, пренебрежительно записал, что мы ему наговорили, и ушел, а мы выложили сигареты, закурили, облокотились и стали слушать музыку и глядеть по сторонам.

Музыкантов на эстраде было трое: пианист, скрипач и гитарист.

Когда я слушаю музыку в ресторане, смотрю на оркестр, на лица музыкантов, как они переговариваются, отдыхают, как они играют давным-давно знакомые вещи, которые играли, кажется, еще до того, как ты родился, и как они в то же время чувствуют себя выше всех этих жующих и пьющих, хохочущих, красных и пьяных, наполняющих наши рестораны, — мне делается жалко музыкантов. Я думаю о том, как некоторые из них учились когда-то, ходили в музыкальную школу или в училище, или даже в консерваторию, слышали из-за дверей классов звуки роялей, виолончелей, как разучивали концерты Моцарта и Бетховена, как им грезились симфонические концерты, мраморные залы, партер и ложи, мощно, дружно звучащий оркестр и они в этом оркестре, и их соло в каком-то месте симфонии. И как потом у каждого из них что-то не получилось, не удалось, и вот все они мало-помалу превратились в лабухов, усвоили легко тот музыкальный жаргон, который теперь так широко подхватили пижоны — и человека уже называют «чуваком», о своей игре говорят: «лабать», еда и выпивка для них «бирлянство» и «кирянство», а если играют на похоронах, то это удача, и покойник для них не покойник, а «жмурик»... Лица у них потасканные, равнодушные, судьбы у них нет никакой, спят они до часу дня, дома не занимаются и постепенно забывают все, чему их учили когда-то, играть начинают хуже и если киксуют, то уже не конфузятся, а если фальшивят, то не слышат.

Но эти музыканты как-то сразу понравились нам. У каждого из них было лицо, и играли они хорошо, и вещи, которые они играли, хотя бы и старые, вдруг казались как новые, и почему-то все выходило у них грустно.

Пианист был слеп, и у него, как у всех слепых, было неподвижное лицо. А этот кроме всего был еще и худ, изящен, с бабочкой и в темных французских очках. Локти, плечи, колени — все у него было нервное, острое, пальцы белые и длинные, сухие. Но лучше всего было лицо — аскетически-худое, со страдальческими морщинами возле губ, со втянутыми щеками, запавшими висками, очень трагический профиль и в тонких бледных губах постоянно тлела сигарета. Когда музыканты кончали номер и отдыхали, он откидывался, поднимал лицо и брал тихонько необыкновенные, сказочные по сложности аккорды и, как птица, слушал себя, и даже моряки за соседним столиком, уловив что-то необычное, некоторое время молчали, пьяно поводя глазами.

Скрипач был чудовищно толст, пузат и маслянист, с выпуклыми, как луковицы, глазами. Он постоянно улыбался, переступал, весь вытягивался к микрофону, закатывал глаза и играл с подъездами, сипло и неистово, как румын, и звук его скрипки, усиленный микрофоном, терзал сердце, и хотелось плакать и говорить, и пить, и чтобы рядом сидела смуглая прекрасная женщина, которая все понимает.

А гитарист, с каменным, медалевидным профилем, даже берета не снимал, сидел вольно выставив ноги, тихо трогал свою гитару, к которой присоединен был динамик, и она у него пела чисто и звучно. И ни на кого не смотрел, а смотрел куда-то в стену, поверх голов, и вид у него был, как у орла в клетке, замороженно глядящего на ослепительный конус горной вершины. Иногда он вставал, если заказывали песню, и сделав шаг к микрофону, скосив глаза на тетрадку со словами, которая лежала на пульте, пел с бесстрастным лицом, еле шевеля губами, на иностранный манер выговаривая пошлые слова о том, как встретились мы в баре-ресторане. Скрипач в этот момент отступал в глубь эстрады, елозил смычком по баскам, шевелил пухлыми пальцами, пожирал глазами тот столик, который заказывал песню, и сладко улыбался.

— А я бы взял в плавание этого — в берете, — сказал вдруг мой приятель и прищурился. — Смотри, какое лицо, с этим можно идти в разведку, а?

— Почему мне грустно, старик, скажи! — спросил я и стряхнул пепел с сигареты. — И зачем мы пошли к Чехову?

За соседним столиком моряки пили коктейль. Как всегда, они преувеличивали свою отрешенность от земли, девочки у них были с высокими круглыми прическами, крашенные, с загорелыми руками и шеями, и требовали себе мороженого и сухого вина. А моряки пили коктейль, который составляли из шампанского, пива и водки. Сперва в фужер наливали водку, потом смешивали с пивом и доливали шампанским. Потом чокались и пили, зажмуриваясь. Наверное, им было противно, но они держали марку: коктейль все-таки.

— Видал? — спросил я.

Мой друг налил себе и мне коньяку.

— Выпьем за Чехова, — сказал он. — Как-то на меня это подействовало, знаешь. Раньше как-то не думал, а теперь понял: несчастный он был. Дом этот и вообще все — бодяга это. Какая тут жизнь? Ему Россия нужна была, он на Шпицберген все собирался

сездить. У меня сердце что-то болит, нельзя мне пить. Уехать бы нам из этой Ялты, а старик?

За соседним столиком не знали о чем говорить, но молчать было нельзя, и вот один стал рассказывать анекдоты, другой достал блокнот, листал и с нетерпением ждал своей очереди.

— Вопрос армянскому радио, — говорил первый с акцентом. — Можно ли убить человека газетой? Атвэчаем: можно! Нада в газету завэрнуть утуг!

Девочки хохотали, курили и кашляли.

— А вот статистика любви, — среди хохота начинал другой и тут же кричал: — Слушайте! Тихо! Статистика любви: в одну минуту на всем земном шаре происходит три миллиона поцелуев!

— Ха-ха-ха! — закатывались девочки.

— Пять тысяч четыреста шестьдесят три женщины рожают! — кричал моряк.

— Брось! Ах... Брось! — задыхались девочки.

— Сильно, а? — спросил я.

— Ты знаешь, чего я вспомнил, — сказал мой друг. — Мы разловили в Норвежском море на РТ-206, тебя тогда с нами не было, а я старпомом плавал. Штормяга был крепкий, декабрь, темно, волна шла с Атлантики неимоверная. А у нас в трюмах течь, дрейфuem, все время авралы, но не уходим, все думаем — вот кончится. Да где там — только разыгрывается. Душу выматывает, туман слюями идет, навалит — носа не видно. Десять дней штормовали, а на одиннадцатый у нас матрос один с ума сошел. Молоденький был, салака, вот и чокнулся. Прибегают ко мне ребята, кричат отчаянно: «Гляньте, товарищ старпом!» Я гляжу, а матрос этот по палубе в кальсонах и в тельнике бегаёт. Волной его заливают, бьёт о лебедку, о трюма, как только за борт не смыло! «Хватайте его!» — кричу. Навалились, схватили, а он орёт, вырывается... Вечером немного утих, пошел я на полубак. «Что с тобой?» — спрашиваю. «Знаете, — говорит, — товарищ старпом, ребята надо мной издеваются». — «Как же так?» — спрашиваю. «А так, — говорит, — лягу на койку, а они снизу меня шилом колют, я с ними не могу, я лучше за борт кинусь! Велите им меня не трогать!» Ну я на ребят смотрю, кричу: вы это что же, тра-та-та, да вы как это смеете, тра-та-та, да я вас, тра-та-та! А он радуется, язык им показывает. «Вот, — говорю, — больше они не будут тебя колоть, будь спокоен, у нас на корабле дисциплина!» А сам ребятам тихонько сказал, чтобы глаз с него не спускали. Еще два дня прошло, стало стихать. Встретился нам один траулер, домой шел, связались мы с Мурманском, оттуда прика-

зывают — на берег его. Стали мы его пересаживать, а он не хочет. Ребята на хитрость пошли, говорят ему тихонько: «Давай скорее на тот! Тот новый, а у этого полны трюма воды, вот-вот дуба даст, потонет к чертям собачьим!» — «А! — говорит, — тогда, ребята, давайте, скорей давайте!» И покотил в Мурманск. А мы остались тресочку ловить. Вот так!

— А что потом с ним стало, не знаешь? — спросил я.

— Вылечился, опять плавает. Я его встречал, хороший матрос.

— Да, — сказал я и закурил. — Давай выпьем!

В ресторане было светло, шумно, хлопало шампанское, кто-то в углу орал, ругался, его выводили. Музыканты играли себе, и скрипач, выворачивая белки, жадно глядел на столики, и если встречал чей-нибудь взгляд, начинал восторженно улыбаться. А музыка была грустная-грустная, гитарист, далеко растянув пальцы на грифе, глухо брал аккорды, гитара его звучала, как электроорган, а пианист курил и откидывал горькое свое лицо в темных очках.

— Тихо! — кричал за соседним столиком моряк. — Шесть тысяч пятьсот женщин изменяют в минуту своим мужьям!

— Иди ты! — небрежно отвечали девочки. — А про вас там написано? Ну? Давай!

Моряк что-то прочел про себя, фыркнул, показал приятелю. Они загоготали, переглядываясь...

— А мужики... Ху-ху-ху... Пятьдесят девять тысяч в минуту!

— Ты помнишь, как мы с тобой познакомились? — спросил внезапно мой друг.

И я тотчас вспомнил Ленинград в декабре, туманно-морозные дни, солнце, красным шаром проступающее сквозь туман, черно-серебряный по утрам Исаакий... И как мой друг на другой день после знакомства приехал ко мне в гостиницу, был выпивши, весел, рассказывал, как прошел с караваном малых сейнеров по Великому северному пути, как схватил ревмокардит и язву желудка, и как, обманув врачей, опять плавает и что за баба у них буфетчица на траулере. Потом мы еще выпили тут же у меня, потом он звонил своей подруге, потащил меня к ней, приехали, и он сразу в шинели лег на пол и сказал: «Пой! А я умру! И все». А подруга его много пела и любила петь, только голос у нее был сиплый, а я смотрел на них и завидовал им. Он тогда веселый был, радостный, все ждал чего-то замечательного, хоть и закрыли ему заграничную визу за какую-то грандиозную драку в Мурманске в ресторане «Арктика». Да и я начинал только плавать, говорил лишь о море, о Севере, имена Норденшельда, Нансена святые были для меня имена.

Еще бы не помнить — веселое было время! И этот зимний Ленинград, его улицы, кафе, толкотня на Невском, пустота ночных площадей, пар над каналами, снег на Медном всаднике, тихие пасмурные утра в гостинице, когда тело звенит от силы и легкости и спрашиваешь себя: «Что мне сегодня предстоит такое хорошее?» И появление моего друга, уже неистового, с одной мыслью: гулять, гулять, пить, ехать к приятелям, к женщинам. И мы ехали, гуляли, много смеялись, кажется, все время смеялись, я хохотал, а друг мой только скалился, хохотать он и тогда не умел — я тогда окончил мореходку и начинал жить.

— А Наташку помнишь? — спросил мой друг, опуская глаза.

Это была его женщина, которая пела когда-то в зимнем Ленинграде.

— Ты это брось, — сказал я. — Брось, старик, а то и так тоска.

— А Мишку помнишь, длинного Мишку? Ты тогда, пьяный, сильно его презирал?

— Ну помню, — сказал я. — Я потом его встречал, прекрасный парень оказался. Я дурак, а ты брось, не вспоминай ничего!

— Он погиб два года назад, в проливе Вилькицкого. Забыл тебе совсем сказать, я на его могиле был, когда в прошлом году на перегоне работал. Вот так, старик, а мы с тобой в Ялте коньячок лакаем.

— А! — сказал я.

И затосковал, а музыка наигрывала что-то печальное, и в голову почему-то лезли три миллиона поцелуев в минуту. Это была такая страшная цифра, что как-то даже и не воображалось ничего, нельзя было осознать, почувствовать эти поцелуи, которыми в эту минуту занимались где-то у нас на громадном пространстве и в Африке, и в Австралии, и в Польше... А вспоминались мне почему-то дикие фактории — все, какие я видал на Севере, острова, черные базальтовые скалы и ледяные купола, уходящие в фиолетовое арктическое небо, и изумрудные изломы ледников, синие тени в трещинах, вечные молчаливые чайки за кормой, вздохи машин, жар в котельных преисподнях, тесные кубрики, каюты, паровое тепло в рубках, сильные низкие ревы пароводных гудков в тумане и безымянные по всему северу могилы, в которых коченеют ребята, и эти ребята никогда никого не поцелуют... Все это проходило, смешивалось, и было радостно и холодно, и тоскливо одновременно.

— Эй, кореша! — окликнули нас с соседнего столика. — Извиняюсь, вы моряки будете? Будем здоровы!

И поднимаются к красным лицам мутные бокалы с водочно-шампанской бурдой.

— Будьте счастливы, попутного ветра! — отвечаем мы и тоже поднимаем свои рюмки.

Девочки оттуда во все глаза смотрят на нас, и нам уже нехорошо, что их только две. А не четыре, а то пересесть бы к ним, и так же, как их ребята, травить какую-то бадягу и жать под скатертью колени своих дам.

— Ты мне вот что скажи, — спросил меня друг. — Тебя женщины любят?

— Нет, — сказал я. — Я неинтересный. Все мне скучно. И вообще как-то так...

— А у меня все некрасивые, — сказал друг. — Мне на них везет. Я на них глядеть спокойно не могу, жалею. И они это чувствуют, собаки. А красивых у меня как-то, знаешь, не было. Странно это.

— Фиг с ней, — сказал я. — Красивая из тебя душу вынет. А так, видишь, душа на месте.

— А может, мне как раз надо, чтобы вынула? Может, я как раз хочу, чтоб было такое смертельное, что ли, — понимаешь? Чтоб я погорел на этом деле к чертям собачьим! А?

— Ничего, ничего, — сказал я. — Спокойно, старик! У тебя хоть некрасивые есть, а у меня ничего. А вот видишь, сижу, коньячок пью, музыку слушаю — и ничего.

— А какие бабы есть несчастные! — сказал мой друг и пригорюнился, подперся. — Мне их всех страшно жалко. Женщины все-таки. Они ведь нежные. У них животы очень нежные — знаешь?

— Брось! — сказал я. — Дай-ка лучше сигаретку, посидим, покурим, музыку послушаем. Мы же с тобой в отпуску. Нам надо отдыхать, салага ты скуластая!

В это время музыканты умолкают, скрипач кладет скрипку и смычок на стул, сходит с эстрады и идет мимо нашего столика. Он сошел будто бы только промяться, но я же знаю — ждет, когда его кто-нибудь позовет и что-нибудь закажет из песен.

— Маэстро! — говорю я ему. — Вы здорово играете!

Скрипач тотчас подходит к нам.

— Разрешите? — спрашивает он как-то не по-русски и садится.

Он разгорячен, потен, резко пахнет, как пахнут запаленные лошади, улыбается одновременно заискивающе и нагло, но в глубине его выпученных глаз дрожит что-то бесконечно смиренное, услужливо покорное.

— О да! — говорит он и кивает на эстраду. — Настоящие музыканты! Разрешите? — смотрит он на коньяк.

Друг мой скалится и наливает ему.

— Попутного ветра! — говорит он, так же, как и морякам.

Скрипач быстро пьет, причем лицо его ничего не выражает, только глаза влажнеют.

— Спасибо! — говорит он. — Что бы вы хотели послушать?

— Вы не русский? — спрашивает мой друг.

— Да, я итальянец, мы все итальянцы... — говорит скрипач и оглядывается на наших соседей моряков. Те радостно прислушиваются.

— Аллегро пиццикато! — говорит один из них. — Калор... рагацца модерато! Го-го-го!

Девочки хохочут, скрипач тоже.

— Как же вы к нам попали? — спрашивает мой друг скрипача.

— О-ля-ля! — машинально отвечает скрипач, дрожа белками, косясь и оглядывая весь зал, кивая кому-то. — Длинная история, еще в войну... Разрешите? — Он сам наливает себе и пьет не закусывая.

— Извиняюсь, — моряк с соседнего столика подходит, покачиваясь с бокалом своей бурды. — Выпей, папаша! — он хлопает скрипача по жирной спине. — Виваче адажио, а? Ха-ха!.. Давай, за здоровье моряков, ну?

— Спасибо, — говорит скрипач радостно и выпивает. Моряк, довольный, отходит.

— Вы позволите, я угощу нашего пьяниста? — спрашивает скрипач.

— А гитарист? — друг мой берется за бутылку.

— О, гитарист не пьет. Спасибо! — скрипач поднимается на эстраду, дает рюмку пианисту и что-то говорит ему. Пианист поворачивается в нашу сторону — теперь мы видим его длинное острое лицо, сухой нос, губы, опущенные вниз, громадные французские очки. Пианист поднимает рюмку, как бы приветствуя весь зал, выпивает и тотчас закуривает новую сигарету.

— Так что бы вы хотели послушать? — спрашивает опять скрипач, ставя на стол пустую рюмку.

Я сразу вспоминаю Поленово, Оку, осень, которую я однажды там провел, какое все было красное, осыпались клены, тихую сонную жизнь в доме отдыха. И как однажды приехали артисты в дом отдыха, и был концерт в недостроенном клубе. Там были только стены и крыша, и эстрада, потолка не было, видны были все балки.

Электричества тоже не было, принесли много керосиновых ламп, зажгли возле эстрады, развесили на дощатых стенах. Но все равно в сарае был холодный полумрак, все сидели в пальто, курили, артисты мерзли, торопливо бормотали что-то, и это забылось, и только один номер был хорош.

Вышли аккордеонист и чечеточник. Чечеточник был тонкий, гибкий, в шерстяном черном трико и в белой рубашке с отложным воротником. И зазвучала вдруг французская шансонетка, такой вальсик, который поет Ив Мотан, и чечеточник, изображая лицом и телом задумчивость, сложил на груди руки, бросил на лоб прядь длинных волос, прикрыл глаза и даже голову склонил, и только ноги с фантастической неутомимостью и ритмичностью мелькали подобно велосипедным спицам, и подошвы издавали одообразный стрекот «ч-ч-ч-ч-ч!» — и звучала, звучала, звала куда-то, навевала теплую печаль эта самая французская песенка.

Чечеточника долго вызывали на бис, и он опять повторил тот же номер, потом выступали, кричали и орали, воображая, что поют, другие артисты, а мне стало хорошо, и я ушел, ходил один, напевая этот мотивчик, чтобы не забыть, и думал о любви и вообще о всех людях. И шел снег, а на другое утро все крутом было такого цвета, как гречневая каша с молоком, и только Ока была черная и дымилась.

И вот я вспомнил ту осень, и опять что-то встрепенулось и заняло у меня на душе, я поглядел в глаза скрипачу и сказал:

— А знаете вы вот такую штуку... Я не знаю, как она называется, но в общем вот так: та-ра-ра-раа-там-там... А?

— О! — скрипач улыбнулся. — Ив Монган? Конечно! Хорошо.

— Только подольше поиграйте, ладно? — попросил я.

— Хорошо.

Скрипач поднялся опять на эстраду, сказал тихо гитаристу и пианисту. Гитарист все так же равнодушно подстроил свою гитару, пианист сразу взял медленные два-три аккорда из этой песенки. Он будто остановил ритм, время, выхватил несколько созвучий и любовался ими, вслушивался и откидывал лицо. Скрипач тоже позудел, настраиваясь, и прозвучали всегда так волнующие меня пустые квинты. Гитарист стал возиться с динамиком, и тот у него уркал и завывал тихонько. А мы все ждали, ждали, и друг мой хоть и не знал этой песенки, но по лицу моему понимал, что в ней для меня что-то необыкновенное, курил, пил коньяк мелкими глотками и опускал глаза.

Наконец заиграли, и вновь ударило меня по сердцу, и завертелось, закружилось, понеслось мимо — и та осень, и зима в Ленинграде, вся моя жизнь на кораблях, все мечты, разочарования и грусть. И почему-то вообразился вдруг Париж, тихий, осенний, с дымкой, черепичные крыши, Сена, какие-то мосты, какие-то парки, как на картинах импрессионистов, и какая-то девочка, несчастная, брошенная, одинокая, на долю которой не досталось ни одного поцелуя из трех миллионов в эту минуту. И неожиданно как слабый дух, как чистый снежный дух, трогает меня одна весна в Румынии.

Это было в марте. Сначала мы живем в Бухаресте в отеле «Амбассадор», там зеркальные стены, и когда идешь, то кругом тебя идет сотня твоих подобий. Ужинаем мы в ресторане этого же отеля, там тоже зеркала, ресторан кажется бесконечным, уходит в дынно-сизую даль. Играют оркестры, каждый день разные. Поет Жан Якубеску, ученик и друг Лещенко, узнал, что в ресторане русские, и поет нам такие песни, что берет нас даже какая-то эмигрантская тоска, и ужасно хочется домой.

А потом едем по Румынии, минуем Синай, что-то такое швейцарское, горное, тихонькое, виллы, дворцы, уютные отели, брусчатка на улицах, горный воздух. Потом забираемся еще дальше, в Брашов, ходим каждый день в «Бочку» — в такой подвальчик, вход в который как днище бочки, а внутри темнота, сальные огни в каминах, фигурки гномов, какие-то румыны в папахах, в бараньих шапках, официанты в национальных костюмах, похожие на цыган. И вино нам приносят в больших фаянсовых чайниках, горячее вино с корицей, пьешь и перхаешь, как овца.

Утром ждет нас у отеля старый «студебеккер» без глушителя, чтобы мотор был еще мощнее. Мы садимся, шофер надвигает берет, закуривает, и наш зверь-«студебеккер», ревя и сотрясая весь Брашов до основания, ползет вверх мимо ратуши, мимо черной готической церкви, по узким улочкам, выбирается из города — и мы в горах.

Дорога петляет отчаянно, горы все выше, круче, по сторонам пропасти, дух замирает, и земля как-то отдаляется, отдаляется, остается в долине, это очень чувствуется, а перед нами неземная чистота и покой. Эхо нашего рева отдается от скал, ворчит в каменных пропастях, ручьи попадают беспрестанно, земля камениста, гола, лес только набух немного, а внизу давно все распустилось. Солнце сияет сильнее, ярче, но с каждой минутой в воздухе

холоднее. И выезжаем на горное плато, видим по сторонам островерхие домики с красными крышами, и так нам всем хочется сойти, пожить в этих домиках! А над альпийскими лугами возвышаются кругом снежные вершины, сияют, выпукло впаянные в густую синеву неба.

Миновав несколько отелей, подъезжаем к зданию, от которого на самую снежную вершину, до самого неба уходят столбы, как от высоковольтной передачи, а едут туда и спускаются оттуда на тросах маленькие открытые люльки на двоих. Это и есть нижняя станция канатной дороги.

Ездит со мной один приятель, тоже моряк. А в Мурманск к нам приезжал журналист, элегантный такой специалист по Западу, был он в Париже,пил аперитив с миллионерами, ходил в ночные бары и рассказывал нам: «Представьте себе Париж ночью... (жест рукой). Ах, Париж! Вы входите в подвал, в дымное чрево разгула бездельников. Вы видите, как за столиками сидят и пьют мальчишки и девочки, такие, знаете ли, битники и капиталисты. А на эстраде завывает, рвет вам душу какой-то там, знаете ли, проклятый, смердящий джаз! И эти паразиты-битники дергаются за своими столиками. Им работать надо, создавать материальные ценности, а не сидеть в барах. И тут же на эстраду выпархивают девушки (жест рукой и телом), прекрасные девушки, гибнущие в пороке. И эти девушки тоже начинают дергаться в пароксизмах и танцевать рок-н-ролл и, танцуя, начинают (жест телом) раздеваться! Они раздеваются, вот они уже голые в одних чулках, вы смотрите на них... и вам становится противно!»

Мы долго тогда смеялись над этим журналистом. А теперь мы обязательно провожаем глазами каждую красивую, и н а м с т а н о в и т с я п р о т и в н о.

Выходим из «студебеккера» и, пока нам оформляют билеты на подъемник, мы с приятелем заходим внутрь, туда, где кассы. Там полно народу, полным-полно разных шведов, французов и немцев. Все с лыжами, все парами. Старые и молодые, и все черны, загорелы, только зубы и белки глаз блестят. Все одеты в немислимых цветов костюмы, штаны узкие, обтягивают икры, ботинки с толстыми подошвами, и все ходят, толкаются, говорят, курят, тянутся к кассам, и одна пара за другой уходят к подъемнику, туда, где безостановочно вращается колесо, где двое рабочих подкатывают все новые и новые люльки, усаживают лыжников, укутывают им ноги одеялами, толкают, колесо наверху подцепляет их люльку, крюками замыкает кулачок намертво на тросе, и все эти пары

в красных, голубых, желтых и зеленых свитерах, с торчащими лыжами выезжают вверх, к солнцу, к снегу, как невиданные яркие птицы.

Мы изнываем от зависти, глядя на эти лыжи, на штаны и ботинки, в своих пальто мы кажемся себе убогими. И тут я замечаю одинокую фигурку. Она стоит у стены, выставив вперед колено, вся в темном. Линия плеч и бедер у нее сказочная, и я, почти страдая, жду, когда она повернется, и мне уже страшно, что у нее окажется некрасивое лицо. Она поворачивается. Не то чтобы она была красавицей, хотя и красива, но не это привлекает, а что-то другое, роковое, тайное. У нее лицо всепонимающей женщины. Грусть в этом лице.

Я толкаю приятеля. Он смотрит, раскрывает слегка рот. Потом складывает губы и тихонько свистит. «И вам становится противно», — бормочет он. Мы нервно посмеиваемся.

Девушка медленно выходит на солнечную веранду. Мы идем следом. На веранде она становится к стене, поднимает к солнцу лицо и закрывает глаза — загорает. Мы сходим на снег, переминаемся, дышим. Снег скрипит у нас под ногами. Потом нас зовут на подъемник. Так же, как и все, садимся, нас замыкают цепочкой, подталкивают вперед, наверху щелкает, нас встряхивает, и мы начинаем возноситься.

Снег сверкает, режет глаза. Под нами проплывают заснеженные леса, ущелья, проносятся лыжники, тормозят в облаке снежной пыли и опять летят вниз. Чем выше, тем все более открывается нам огромная гористая страна, вся Трансильвания, все ее вершины на сотню километров вокруг. Лошадки мохнатые везут внизу возы с дровами, тирольцы в высоких шапках, увязая в снегу, бредут рядом. В люльках навстречу нам спускаются смуглые девушки, улыбаются нам и кричат однообразно: «Хелло!» И н а м становится противно.

Наконец мы достигаем вершины, выплываем в кажущуюся темной со свету гудящую мотором верхнюю станцию, нас подхватывают, помогают выпутаться из одеяла. Мы выходим на мороз, на снег, такая пустынность вокруг, такие синие дали и крошечные домики с красными крышами внизу в долине, что мы тут же садимся на какое-то бревно и смотрим. Но говорят, что надо лезть еще выше и там отель «Хижина». Мы лезем, вязнем в снегу, ноги у нас зябнут, но это весело. Веранда отеля полна народу, сидят в шезлонгах, зажмурившись, положив ботинки с рубчатými подошвами на перила, загорают, голые по пояс. Как в кино!

Я в войну смотрел кинокартину «Серенада Солнечной долины». Мне есть тогда нечего было, я голодал, ходил в каком-то тряпье, грузил уголь и смотрел на экран, как на тот свет, — не верилось даже, что такое может где-нибудь быть на земле. И вот теперь я сам тут, правда, всего на какой-нибудь час, но я здесь, и кругом невероятный солнечный свет, красивые женщины. Отель из черных бревен.

Мы заходим внутрь — там, говорят, есть бар. И правда — бар. И два бармена, веселых парня в тирольских шляпках с перышками, и обе шляпки сплошь покрыты туристскими значками. Увидав нас, они сразу стягивают шляпки и подают нам. И мы втыкаем каждому по большому значку — «Москва».

— О! Мерси! — говорят они. — Моску! Дружба! Мир! — смеются и потом смотрят вопрошительно.

Мы берем чего-то такого непонятного, с сивушным духом — там у них все водки и коньяки с сивушным духом. И садимся. Играет чудовищная какая-то стеклянная машина, наполненная люминесцентным светом, с ребристым диском, уставленным пластинками. Тепло, горит камин, на высоких табуретах сидят, обвинив ногами ножки, и пьют коктейли.

Приятель толкает меня и ведет глазами. В морозном облаке в бар входит давешняя девушка. Мы замираем. Н а м с р а з у с т а н о в и т с я п р о т и в н о. Она подходит к бару. Оба бармена подсказывают к ней, сияют, едят ее глазами. Потом оба, суетясь, оглядываясь на нее, делают ей коктейль. Она тем временем разглядывает всех в баре. Замечает нас, морщит лоб и отворачивается.

Ей дают стакан, она кидает какие-то монеты на прилавок и уходит к камину. Там она сидит в одиночестве, постукивает ботинком, слушает музыку, без выражения глядит за окно.

Она несчастная почему-то, живет где-нибудь в Стокгольме или в Париже, что-то читает, о чем-то думает, она сильная, с печальным лицом и длинными ногами, с темными кудрями вдоль щек, сидит здесь, на высоте двух с половиной тысяч метров, слушает музыку, курит, пьет коктейль и грустит, грустит... Потом медленно выходит. Мы тоже. Она берет лыжи, прислоненные к веранде, осматривает их, надевает, прыгает несколько раз, мгновенно поворачивая их в воздухе, и подкатывает к обрыву. Мы заглядываем вниз. Ух, как далеко внизу торчат ели и сосны, какой прекрасный пологий и огромный скат! Она некоторое время смотрит тоже вниз, опершись на палки, потом, оттолкнувшись палками, подпрыгивает, подбирает в воздухе ноги с лыжами, прижимает колени к груди

и бросается комком вниз. Пыль летит у нее из-под лыж, черный комок катится вправо, влево, делается все меньше... Где-нибудь в лесу, осыпанная снегом, она остановится и будет дышать, одна, подняв лицо к вершинам елей. Если бы вот так же ринуться вслед за ней, если бы побыть там с ней в лесу, чтобы между сосен видеть вершины гор — белые с одной стороны и синие с другой! Как это было бы противно.

Но нам нельзя. И мы, выпив еще на дорогу, мрачно спускаемся к подъемнику.

Вспомнив это, я поежился от какой-то сладкой печали, от любви к жизни, ко всем ее подаркам, все-таки и не очень редким, если припомнить.

— Ты что? — спросил у меня друг.

— Слушай, ты, морской волкодав, — сказал я ему. — Я тебе расскажу про Трансильванию, про отели и про девушек — хочешь?

— Валяй! — сказал друг и поерзал, устраиваясь поудобнее.

И я рассказал ему обо всем, что пришло мне на память минуту назад, и о том, как нам было противно.

Моряки за соседним столиком расплатились, взяли своих девочек и пошли к выходу. Мы смотрели им вслед, стараясь увидеть, хороши ли фигуры и ноги у девочек.

Музыка кончилась, и как-то кончилось для нас одно настроение и началось другое. Нам захотелось на улицу. Мы допили коньяк и вышли. Маяк на молу мигал. Стоял и светился, как обычно, большой белый пароход, и на нем играла музыка, но совсем другая, чем мы только что слышали, — что-то маршеобразное и громкое.

Мы потолкались на набережной, посмотрели на женщин и пошли в магазин пить вино. Мы взяли сперва по стакану сладкого, оно было клейко и пахло горелым. После него захотелось чего-нибудь кисленького, и мы выпили еще сухого вина.

Друг мой заметно опьянел, настроение у него стало хорошее, он шел, выбрасывая в стороны ноги, и я знал, будь мы в Ленинграде или в Мурманске, сейчас бы поехали куда-нибудь, оттуда бы опять поехали, и было бы все хорошо.

Мы остановились и поглядели друг на друга, что-то такое было в наших лицах и глазах, дьявольски смелое и большое.

— Слушай, — старательно выговаривая, сказал мне друг. — Что должен делать человек? В высшем смысле что он должен сделать?

— Работать, наверное, — неуверенно предположил я.

— Это грандиозно! — сказал мой друг. — И мы работаем. И плевать нам в высшем смысле на всяких там парижанок-лыжниц.

— Земля! — бормотал мой друг, когда мы шли домой. — Старуха земля! Пять тысяч совокуплений в минуту. Пять...десять тысяч. Пять миллиардов! На каждом метре, а? Старуха земля трещит по всем швам и отклоняется с орбиты, а? Представляешь? Пятьдесят триллионов по... поцелуев в минуту, а? И каждый силой в пятьдесят тонн, а?

— Да, старик, — сказал я. — Только мы с тобой в этом не участвуем. Грустно все это. Пошли спать.

— Пошли спать. А завтра поедем в этот... как его?

— Куда?

— Как его?.. А! Да черт с ней, куда-нибудь!

1962

СВЕЧЕЧКА

Такая тоска забрала меня вдруг в тот вечер, что не знал я, куда и деваться — хоть вешайся!

Мы были с тобой одни в нашем большом, светлом и теплом доме. А за окнами давно уже стояла ноябрьская тьма, часто порывами налетал ветер, и тогда лес вокруг дома начинал шуметь печальным голым шумом.

Я вышел на крыльцо поглядеть, нет ли дождя...

Дождя не было.

Тогда мы с тобой оделись потеплее и пошли гулять.

Но сначала я хочу сказать тебе о твоей страсти. А страсть тогда была у тебя одна: автомашины! Ты ни о чем не мог думать в те дни, кроме как об автомашинах. Было их у тебя дюжины две — от самого большого деревянного самосвала, в который ты любил садиться, подобрав ноги, и я возил тебя в нем по комнатам, — до крошечной пластмассовой машинки, величиной со спичечный коробок. Ты и спать ложился с машиной и долго катал ее по одеялу и подушке, пока не засыпал...

Так вот, когда вошли мы в аспидную черноту ноябрьского вечера, ты, конечно, крепко держал в руке маленький пластмассовый автомобильчик.

Медленно, еле угадывая во тьме дорожку, пошли мы к воротам. Кусты с обеих сторон, сильно наклонившиеся под тяжестью недавнего снега, который потом растаял, касались наших лиц и рук,

и прикосновения эти напоминали уже навсегда невозвратное для нас с тобой время, когда они цвели и были мокры по утрам от росы.

Поравнявшись с другим нашим домом, в котором был гараж, ты вдруг побежал к гаражу и взялся за замок.

— Хочешь кататься на настоящей машине! — сказал ты.

— Что ты, милый! — возразил я. — Теперь поздно, скоро спать...

А потом куда же мы поедем?

— Поедем... поедем... — Ты запнулся, перебирая в уме места, куда бы мы могли поехать. — В Москву!

— Ну — в Москву! — сказал я. — Зачем нам Москва? Там шумно, сыро, а потом это ведь так далеко!

— Хочешь далеко! — упрямо возразил ты.

— Ладно, — согласился я, — поедем, но только через три дня. Зато я тебе обещаю: завтра мы поедем с тобой в магазин, а теперь ведь мы вышли просто погулять? Давай руку...

Ты покорно вздохнул и вложил в мою руку свою маленькую теплую ладошку.

Выйдя за ворота и подумавши несколько, пошли мы с тобой направо. Ты шел впереди, весь сосредоточась на своем автомобильчике, и по твоим движениям, смутно различимым в темноте, я догадывался, что ты его катаешь то по одному, то по другому рукаву. Иногда, не выдержав, ты присаживался на корточки и катал свой автомобильчик уже по дороге.

Куда, в какие прекрасные края ехал ты в своем воображении? Я останавливался в ожидании, пока далекая твоя, неведомая мне дорога кончится, когда приедешь ты куда-нибудь и мы пойдем с тобой дальше.

— Слушай, любишь ты позднюю осень? — спросил я у тебя.

— Любишь! — машинально отвечал ты.

— А я не люблю! — сказал я. — Ах, как не люблю я этой темноты, этих ранних сумерек, поздних рассветов и серых дней! Все уведоша, яко трава, все погребешися... Понимаешь ты, о чем я говорю?

— Понимаешь! — тотчас откликнулся ты.

Эх, малыш, ничего-то ты не понимаешь... Давно ли было лето, давно ли всю ночь зеленовато горела заря, а солнце вставало чуть не в три часа утра? И лето, казалось, будет длиться вечность, а оно все убывало, убывало... Оно прошло, как мгновенье, как один удар сердца. Впрочем, мгновенным оно было только для меня. Ведь чем ты старше, тем короче дни и страшнее тьма. А для тебя, может быть, это лето было как целая жизнь?

Но и ранняя осень хорошо: тихо светит солнце, по утрам туманы, стекла в доме запотевают — а как горели клены возле нашего дома, какие громадные багряные листья собирали мы с тобой!

А теперь вот и земля черна, и все умерло, и свет ушел, и как же хочется взмолиться: не уходи от меня, ибо горе близко и помочь мне некому! Понимаешь!

Ты молчал, мчась куда-то на своей машине, удаляясь от меня, как звезда. Ты так далеко уехал, что когда нам пришлось свернуть с тобой вбок по дороге и я свернул, то ты не свернул. Я догнал тебя, взял за плечо, повернул, и ты послушно пошел за мной: тебе все равно было, куда идти, ведь ты не шел, ты ехал!

— Впрочем, — продолжал я, — не обращай внимания, это мне просто тоскливо бывает такими ночами. А на самом деле, малыш, все на земле прекрасно — и ноябрь тоже! Ноябрь — как человек, который спит. Что ж, что темно, холодно и мертво — это просто кажется, а на самом деле все живет.

Вот когда-нибудь ты узнаешь, как прекрасно идти под дождем, в сапогах, поздней осенью, как тогда пахнет, и какие мокрые стволы у деревьев, и как хлопотливо перелетают по кустам птицы, оставшиеся у нас зимовать. Погоди, сделаем мы кормушку у тебя под окном, и станут к тебе прилетать разные синички, поползни, дятлы...

Ну, а то, что деревья сегодня кажутся мертвыми, то это просто от моей тоски, а на самом деле они живы, они спят.

И откуда знать, почему нам так тоскливо в ноябре? Почему так жадно ездим мы на концерты, в гости друг к другу, почему так любим огни, лампы? Может быть, миллион лет назад люди тоже засыпали на зиму, как засыпают теперь медведи, барсуки и ежи, а теперь вот мы не спим?

А в общем, не беда, что темно! Ведь у нас с тобой есть теплый дом и свет, и, вернувшись, мы растопим камин и станем смотреть в огонь...

Вдруг словно мышь пробежала у меня по рукаву, потом по спине, потом по другому рукаву — это ты ехал уже по моей дублинке и, проехав какое-то воображаемое расстояние, опять побежал впереди.

— Ничего, — заговорил я снова, — скоро ляжет зазимок, станет светлее от снега, и тогда мы с тобой славно покатаемся на санках с горки. Тут рядом с нами есть деревушка Глебово, вот туда мы и будем ходить, там такие хорошие горки — как раз для тебя! И станешь

ты надевать шубку и валенки, и без варежек уже нельзя будет выходить на двор, а возвращаться ты будешь весь в снегу и входить в дом румяным с мороза...

Я оглянулся: сквозь голые деревья только один наш дом светил окнами в непроглядной тьме. С соседних дач все давно съехали, и они сиротливо и мертво отражали иногда своими стеклами свет редких неярких фонарей.

— Счастливый ты человек, Алеша, что есть у тебя дом! — вдруг неожиданно для самого себя сказал я. — Это, малыш, понимаешь, хорошо, когда есть у тебя дом, в котором ты вырос. Это уж на всю жизнь... Недаром есть такое выражение: отчий дом! Хотя не знаю, почему, например, не «материнский дом»? Как ты думаешь? Может, потому, что дома испокон веку строили или покупали мужики, мужчины, отцы?

Так вот, милый, у тебя-то есть дом, а у меня... Не было никогда у меня отчего дома, малыш! А где я только не жил! В каких домах только не проходили мои дни — и в сторожках бакенщиков, и на лесных кордонах, и в таких, где и перегородки-то не до потолка, и в таких, которые топились по-черному, и в хороших старых домах, в которых и фарфор был, и рояли, и каминьы, и даже представь себе! — даже в замке пришлось пожить, в самом настоящем замке средневековом, далеко, во Франции, возле Сан-Рафаэля!

А там, братец ты мой, по углам и на лестницах стояли рыцарские доспехи, по стенам висели мечи и копья, с которыми еще крестоносцы ходили в свои походы, и вместо деревянных полов были каменные плиты, а камин в зале был такой, что быка целого можно в нем зажарить, а рвы кругом какие были, а подъемный мост на цепях, а башни по углам!..

И отовсюду приходилось мне уезжать, чтобы больше уж никогда туда не вернуться... Горько это, сынок, горько, когда нету у тебя отчего дома!

Вот, знаешь, ехали мы в один прекрасный день на пароходе с приятелем по чудесной реке Оке (погоди, милый, подрастешь ты, и повезу я тебя на Оку, и тогда ты сам увидишь, что это за река!). Так вот, ехали мы с товарищем к нему домой, а не был он дома больше года. До дома его было еще километров пятнадцать, а приятель уж стоял на носу, волновался и все показывал мне, все говорил: вот тут мы с отцом рыбу ловили, а вон там такая-то горка, а вон, видишь, речка впадает, а вон такой-то овраг...

А была весна, разлив, дебаркадеров еще не поставили, и поэтому, когда мы приехали, пароход наш просто ткнулся в берег. И сходни перебросили, и сошли мы на берег, а на берегу уж ждал отец моего приятеля, и тут же лошадь стояла, запряженная в телегу...

Вот ты все мчишься на своей автомашине и не знаешь даже, что куда лучше ехать на телеге или в санях по лесной или полевой дороге — смотришь по сторонам, думаешь о чем-то, и хорошо тебе, потому что чувствуешь всей душой, что все, что вокруг тебя, все это и есть твоя родина!

И взвалили мы все свои чемоданы и рюкзаки на телегу, а сами пошли на изволок, вверх по скату, по весеннему прозрачному лесу, и чем ближе подходили к дому, тем сильнее волновался мой приятель.

Еще бы! Ведь дом этот, малыш, строил дед моего товарища, и отец и мать прожили здесь всю жизнь, и товарищ мой тут родился и вырос.

И как только взошли мы в этот дом, так и пропал мгновенно мой товарищ, побежал по комнатам, побежал здороваться с домом. А и было же с чем здороваться! Ведь дом тот был не чета нашему с тобой и недаром назывался: «Музей-усадьба».

Столько там было милых старых вещей, столько всех этих диванов с погнутыми ножками, резных стульев. Столько прекрасных картин висело по стенам, такие заунывные и радостные пейзажи открывались из окон! А какие разные были там комнаты: светлые, с громадными окнами, узкие, длинные, затененные деревьями и совсем крохотные, с низкими потолками! А какие окна там были — большие, маленькие, с внезапными витражами в верхних фрамугах, с внезапными формами, напоминающими вдруг то фигурные замковые окна, то бойницы... А между комнатами, коридорами, закоулками, площадками — какие шли скрипучие антресоли, лестницы с темными перилами, истертыми ступеньками. И какими, наконец, старыми, приятными запахами пропитана была там каждая вещь, и не понять было — не то пахло чебрецом, сорванным когда-то какой-нибудь романтической мечтательницей, не то старыми книгами, целый век простоявшими в шкафах, пожелтевшими, с сухой кожей и бумагой, не то пахли все эти лестницы, перила, мебель, дубовые балки, истончившийся паркет...

Ты не думай, малыш, что дома и вещи, сделанные человеком, ничего не знают и не помнят, что они не живут, не радуются, не

играют в восторге или не плачут от горя. Как все-таки мало знаем мы о них и как порою равнодушны к ним и даже насмешливы: подумаешь, старье!

Так и ты уедешь когда-нибудь из отчего дома, и долго будешь в отлучке, и так много увидишь, в таких землях побываешь, станешь совсем другим человеком, много добра и зла узнаешь...

Но вот настанет время, ты вернешься в старый свой дом, вот поднимешься на крыльцо, и сердце твое забьется, в горле ты почувствуешь комок, и глаза у тебя защиплет, и услышишь ты трепетные шаги старой уже твоей матери, — а меня тогда, скорей всего, уж и не будет на этом свете, — и дом примет тебя. Он обвеет тебя знакомыми со младенчества запахами, комнаты его улыбнутся тебе, каждое окно будет манить тебя к себе, в буфете звякнет любимая тобою прежде чашка, и часы особенно звонко пробьют счастливый миг, и дом откроется перед тобою: «Вот мой чердак, вот мои комнаты, вот коридор, где любил ты прятаться... А помнишь ты эти обои, а видишь ты вбитый когда-то тобой в стену гвоздь? Ах, я рад, что ты опять здесь, ничего, что ты теперь такой большой, прости меня, я рос давно, когда строился, а теперь я просто живу, но я помню тебя, я люблю тебя, поживи во мне, возвратись в свое детство!» — вот что скажет тебе твой дом.

Как жалею я иногда, что родился в Москве, а не в деревне, не в отцовском или дедовском доме. Я бы приезжал туда, возвращался бы в тоске или в радости, как птица возвращается в свое гнездо.

И поверь, малыш, совсем не смешно мне было, когда один мой друг, рассказывая о войне, о том, как он соскакивал с танка, чтобы бежать в атаку, — а был он десантником, — и кругом все кричали: «За Родину!», и он вместе со всеми тоже кричал: «За Родину!», а сам видел в эти, может быть, последние свои секунды на земле не Родину вообще, а отцовский дом и сарай, и сеновал, и огород, и поветь в деревне Лопшеньга на берегу Белого моря!

Так, разговаривая о том, о сем, свернули мы с тобой на едва светлевшую аллею в лесу, который полого спускался к крохотной речке Яснушке. Тут стало так темно, что я тебя почти не видел и поймал опять твою нежную руку.

Дойдя до речки, дальше мы не пошли, чтобы не переходить во тьме скользких узеньких мостков.

Внизу едва внятно бежала по камешкам вода. Ветер иногда касался вершин берез и елей, и они начинали отдаленно шуметь. Вдохнув несколько раз горький, сиротский запах мокрой земли и облетевших листьев, я решил закурить — и выпустил твою руку.

Пламя спички показалось мне ослепительным, пока я прикуривал, и несколько секунд после этого плавали перед глазами оранжевые пятна.

Когда же я опустил руку, чтобы тронуть тебя за плечо, снова взявшись за твою нежную ладошку и повернуть назад, к дому — тебя не было возле меня!

— Алеша! — позвал я.

Ты не отозвался.

И мгновенно вспомнил я, как часто, заигравшись, ты не откликнулся, когда тебя звали!

Мгновенно представилась мне солнечная поляна в августе, по которой я чуть не час ползал, срезая рыжики и опять и оглядываясь временами на тебя: где ты? А ты за этот час ни разу не подумал обо мне, не подбежал ко мне — ты ходил по опушке, выискивая самые большие пни, и катал по ним свою машину.

Я помертвел, вообразив, как ты в этой черноте, занятый своим автомобильчиком, все дальше уходишь в лес. И ведь мертвые дачи во всей округе, даже днем души не увидишь нигде!

И что с тобой станет, когда, очнувшись наконец от своей игры где-нибудь далеко в лесу, ты станешь звать меня, исходить в захлебывающемся крике, а я тебя уже не услышу!

Как бросался ты со всех ног к настоящему автомобилю, когда я выезжал из гаража, собираясь ехать в магазин. Как торопливо обрывался ты, не попадая коленками на порог кабины, когда я открывал тебе дверцу. И как потом счастливо стоял всю дорогу на цыпочках, уцепившись побелевшими пальчиками за панель, потому что был ты еще таким маленьким, что, когда садился на сиденье, тебе не было видно дороги впереди. И как упоенно шептал ты изобретенное тобой словечко, когда мы переезжали какую-нибудь трещину в асфальте и слышался сдвоенный мягкий толчок колес:

— Ждаль-ждаль!..

И я подумал с ужасом, что, катая сейчас свою машину по стволам деревьев или по своим рукавам и уходя все дальше от меня, ты в воображении своем, может быть, едешь на настоящей автомашине, слышишь звук мотора, и фары ярко освещают дорогу перед тобой, и светится в кабине панель, и дрожат красные стрелки на ней, и зеленый глазок загадочно горит — до того ли тебе, что тьма вокруг, а я не знаю даже, в какую сторону ты едешь!

Я присел, надеясь снизу увидеть бледное пятно твоего лица, если ты недалеко ушел. Потом зажег спичку, и, загородив ее ладонью от себя, сделал несколько шагов в одну сторону, потом зажег

еще, пошел в другую... После неверного, колеблющегося света спички, хватавшего едва ли на два шага, стало как бы еще темнее.

— Алешка! Иди сейчас же ко мне! — звал я тебя то ласково, то строго.

Шумел поверху лес...

— Алеша, пошли домой, мы там свет будем включать и свечи зажжем... — жалко добавил я, вспомнив, как ты любишь зажигать и гасить бесчисленные лампочки в доме, как любишь горящие свечи.

«Папа, поднеси меня. пожалуйста, к выключателю!» — бывало просил ты, подходя, обнимая мои колени, и, закинув вверх голову, счастливо заглядывал мне в лицо.

Я брал тебя на руки, ты упирался пальчиком в кнопку выключателя, шелкал, тут же мгновенно оборачивался, взглядывал на лампу и упоенно выпевал: «Лампочка голи-ит!»

Но и выключатели и свечи не подействовали — ты не откликнулся.

Тогда мне счастливо пришло в голову последнее средство, и я оживленно-фальшивым голосом громко воскликнул:

— А ну-ка, иди скорей сюда! У меня в кармане есть такая автомашина! Скорей!

И тотчас зашуршали по листе твои торопливые шаги, и ты подбежал ко мне. Острое же зрение было у тебя!

— Хочешь такую машину! — с торопливой готовностью к новому счастью сказал ты, хватая меня сначала за одну, потом за другую руку.

— Никаких тебе машин! — страдальчески, даже злобно закричал я в ответ и только теперь почувствовал, как обдало меня холодным потом и как колотится мое сердце. — Мерзкий ты мальчишка! Как смеешь ты не откликаться, когда тебя папа зовет!

Но ты еще не верил, что тебя обманули и что новую машину ты не получишь, ты полез мне в карманы...

Ты потрясен был обманом, и как долго пришлось мне, присев на корточки, успокаивать тебя, обнимать, поглаживать по спине и вытирать ладонью твои слезы.

Велико же и младенческое горе!

Домой пришли мы обиженные друг на друга.

— И никакого камина я тебе не растоплю, и никаких свечек тебе не будет, никаких выключателей, и гулять мы с тобой больше

никогда не пойдем! — выговаривал я тебе дорогой. — И вообще, не будь ты такой маленький, я бы тут же поставил тебя в угол на целый час! И все бы машины отобрал и запер!

Ты молча бежал впереди меня, не желая со мной разговаривать. Придя домой, я сердито включил телевизор, а ты ходил по столовой и играл сам с собой. (До сих пор простить себе не могу, что, сердясь на тебя, так долго смотрел какую-то скучную передачу!) Ты мог часами играть один, не обращая ни на кого внимания, но в тот вечер ты томился.

Тебе не хотелось быть одному, и ты иногда подходил к телевизору, как бы приобщаясь ко мне, соединяясь со мной, заранее виновато, но в то же время шаловливо улыбался, пытался нажать какую-нибудь кнопку и тут же укоризненно восклицал, обращаясь сам к себе, заранее зная, что я скажу:

— Алеша, ну зачем ты это делаешь?

Я досадливо отводил тебя рукой, говорил: «Не мешай!» — и ты вздыхал, покорно отходил, катал свою машину по столу и шептал, подражая звуку передних и задних ее колес, когда она переезжала какое-нибудь препятствие:

— Ждаль-ждаль!

Я иногда оглядывался на тебя рассеянно, проверяя, не делаешь ли ты чего-нибудь такого, чего тебе нельзя делать — ведь жизнь твоя состояла из сплошных ограничений: нельзя было стаскивать скатерть со стола, брать спички, рисовать в книгах, да мало ли что еще, всего не перечтешь!

Но вот я взглянул на тебя пристальней, встретил твой какой-то особенный, ожидающий взгляд и увидел твое томление и как бы мечту о чем-то. Звук, ток укоризны и вопрошения исходил от тебя, и сердце мое забилося.

— Ну-ну, милый, ладно! — сказал я. — Иди ко мне...

А когда ты подошел, потупившись, с несмело-выжидательной полуулыбкой, я обнял тебя и почему-то тихо сказал тебе на ухо, одновременно с замиранием вдыхая запах твоих волос:

— Хочешь, поиграем вместе?

— Хочешь! — тотчас звонко сказал ты.

— Гм... А во что же мы станем играть? Знаешь что? Иди-ка ты садись у той стены, и мы будем друг к другу катать машину. Ладно?

Как мгновенно преобразился ты, какое счастье переполнило тебя сразу, как кинулся ты опрометью от меня, наклоняясь вперед, будто летя, и, еще не добегая до стены, уже приседая, полуоборачиваясь одновременно, с разбегу упал на четвереньки, по-

том сел, повернулся ко мне лицом и, — уже придвигаясь задом, прижимаясь к стене спиной, расставляя ноги, чтобы удобнее было ловить машину, с выражением восторга, ожидания, но в то же время и робко еще — не раздумал ли я? — взглянул своими потемневшими, расширившимися от волнения глазами на меня!

Дождавшись, пока ты окончательно устроился и укрепился, я пустил к тебе инерционную машину, и, нежно жужжа, она покатила к тебе через всю столовую. Ты же, пригнувшись до полу, стараясь заглянуть ей под колеса, упиваясь их непостижимым, таинственным вращением, жадно ждал ее, поймал, крепко сжал ее своими короткими пальчиками и уже доверчиво, общительно глядя на меня, засмеялся своим непрерывно льющимся, закатавающимся смехом, который бывает только у таких маленьких, как ты, детей, когда смех журчит и горлышко трепещет не только при выдохе, но и при вдохе...

Отодвинув кресло, к совершенному твоему восторгу, я сел на пол и, так же, как ты, широко расставил ноги. И теперь уже одинаково принадлежащая нам ярко-красная пожарная машина с тонким своим жужжанием бегала от тебя ко мне и от меня к тебе.

Потом я лежал на полу перед тобой — но ты сидел! — и уже не пускал автомобильчик, а медленно катал его, выделявая самые прихотливые повороты, подражая звуку мотора и сигнала, а ты, весь напрягшись, вытянув шейку, следя за малейшим движением машины, за всеми ее поворотами и разворотами, будто одной своей волей, одним взглядом управляя ею, — только нежно и обожающе произносил иногда своим свирельным голоском, когда автомобильчик переезжал с половицы на половицу:

— Ждаль-ждаль!

И еще одно счастье в этот вечер ожидало тебя, и ты знал об этом!

Когда пришла пора тебе спать, я раздел тебя, уложил в кровать, укрыл одеялом, погасил свет и вышел. Из детской твоей не доносилось ни звука, но я знал; что ты не спишь, дожидаясь последнего за этот день наслаждения. Я знал, что, зарывшись с головой в подушку, затаив дыхание, с бьющимся сердцем, ты ждешь меня, ждешь той захватывающей минуты, когда я приду к тебе со свечкой.

Надо сказать, что у нас с тобой был чудесный подсвечник — мне подарили его в Германии. А представлял он из себя фарфорового добродушного человечка, столбиком стоявшего на медной

подставке, — с круглым животом, в камзоле, в коротких панталонах, в белых чулках, с пухлыми щечками и с шандалом на треугольной шляпе.

И вот зажег я свечу в этом подсвечнике, подождал некоторое время, пока она получше разгорится, а потом медленно, шагами командора, подошел к твоей комнате и остановился перед дверью.

Ну, несомненно же ты слышал мои шаги, знал, зачем я подошел к твоей двери, видел свет свечи в щелочке между дверью и косяком, но терпеливо, весь напрягшись, ждал.

Наконец я торжественно, медленно стукнул тебе в дверь три раза: «Тук! Тук! Тук!» — тотчас услышал стремительный шорох, — ты вскочил, как пружинка, открыл дверь (кровать твоя стояла рядом с дверью) и выговорил нараспев:

— Све-е-ечечка!

Озаренный свечой, ты сиял, светился, глаза твои, цвета весеннего неба, лучились, ушки пламенели, взлохмаченный пух белых волосиков нимбом окружал твою голову, и мне на миг показалось, что ты прозрачен, что не только спереди, но и сзади ты освещен свечой.

«Да ты сам свечечка!» — подумал я и сказал:

— Ну! Давай!

— Это... это... — заторопился ты, трогая пальцем подставку, — подсвечничек!

— Так. Дальше?

— Это животик...

— Э, братец кролик, ты уж не перескакивай, давай по порядку!

— Знаешь, знаешь! — заспешил ты, торопясь поскорее добраться до главного. — Подсвечничек, потом ножки, потом штанишки и уже животик... Потом головка... шапочка...

— Опять пропустил! — напомнил я

— Щечки, носик... — спохватился ты. — Потом шапочка, а это... это... — запнулся ты, не зная, как назвать шандал, укрепленный на треуголке, это — такая штучка...

И вот наконец главное!

— Све-е-ечечка го-ли-и-ит! — с упоением протянул ты.

— Ну вот, — весело сказал я. — Вот и все. Теперь спать. Гаси свечку и бай, бай, — хорошо?

Еще несколько секунд глядел ты на огонь свечи своими огромными лучистыми глазами, и на лице твоём промелькнула некая таинственная тень, будто хотел ты остановить мгновенье, потом лицо твое опять просияло, ты вздохнул легко, дунул на свечку и, восторженно взбрыкнув ногами, бросился головой в подушку.

Укрыв тебя одеялом, погладив пушистые твои волосики, я вышел и стал ходить по столовой.

Я думал о тебе, и мне пришла вдруг на память поздняя осень на Севере и одинокие мои скитания. Однажды я возвращался с охоты вечером, и была такая же тьма, как и сегодня, вдобавок еще дождь моросил, и я заблудился. Отшагал за день я не меньше сорока километров, ружье и рюкзак казались мне до того тяжелыми, что готов был бросить их.

Я уж потерял всякую надежду выйти к жилью, но не это меня угнетало, хоть кругом на сотни километров были глухие леса! — а угнетало то, что все было мокро, под ногами чавкало, и не было никакой возможности развести костер, отдохнуть и обсушиться.

И вот далеко, как затухающая звезда в космосе, мелькнул мне во тьме желтый огонек. Я пошел на него. Еще не зная, что это — костер ли охотников, окошко ли лесного кордона, — я упорно шел к этому огоньку, скрывавшемуся иногда за стволами деревьев и снова показывавшемуся, и мне сразу стало хорошо: вообразились какие-то люди, разговоры, тепло, свет, жизнь...

И, вспомнив этот давний случай и думая о тебе, я почувствовал вдруг, как мне стало весело, недавнюю тоску мою как рукой сняло, и снова захотелось жить.

Гагра, декабрь 1973 г.

Содержание

<i>Вступление</i>	5
<i>Глава 1. «Самое печальное время...»</i>	8
<i>Глава 2. «Моя охота...»</i>	36
<i>Глава 3. «Тоска, совсем не хочется писать...»</i>	64
<i>Глава 4. «Зачем, зачем я здесь?...»</i>	94
<i>Глава 5. Тихие герои</i>	115
<i>Глава 6. «Эта внезапная божественность слова...»</i>	140
<i>Глава 7. «Вся жизнь — одна ли, две ли ночи...»</i>	161
<i>Глава 8. «И вздох может пронзить...»</i>	187
<i>Глава 9. «Плачу и рыдаю, егда помышляю жизнь...»</i>	198
<i>Глава 10. «Выбери себе место на земле...»</i>	210
<i>Глава 11. Свечечка</i>	226
<i>Глава 12. «Я изнемог и сокрушен чрезмерно...»</i>	239

Биографическая канва	263
Краткая библиография	268

Приложение I. Письма Юрия Казакова

Н. И. Замошкину

1. 13 октября 1957	271
2. 15 января 1958	273

К. Г. Паустовскому

3. 9 октября 1957. Москва	274
4. 22 ноября 1957	275
5. <Декабрь 1957>	278
6. 3 марта 1958. Дубулты	279
7. 10 апреля 1958. Москва	281
8. 20 августа 1958. Москва	282
9. 9 марта 1959. Москва	285
10. <Май 1959>	285
11. 30 августа 1959. Ленинград	287
12. 8 января 1960. Голицыно	288
13. <Зима 1960>	291
14. 28 марта 1960. Москва	292

15. 10 сентября 1961	293
16. 26 сентября 1961. Печоры	295
17. 29 декабря 1961. Голицыно	297
18. 22 августа 1964. Москва	298

В. Ф. Пановой

19. 11 января 1958. Москва	299
20. 1 февраля 1958. Москва	301
21. 10 апреля 1958. Москва	303
22. 7 июня 1958. Москва	304
23. 2 января 1959. Москва	305
24. 6 марта 1959. Москва	306
25. 11 марта 1959. Дубулты	307
26. 23 ноября 1959. Малеевка	308

Л. В. Никулину

27. 18 июля 1959. Москва	309
--------------------------------	-----

Т. А. Жирмунской

28. 15 ноября 1957	311
29. 22 марта 1958. Дубулты	313
30. 24 апреля 1958. Таруса	314
31. 4 июля 1958. Москва	315
32. 18 июля 1958. Ленинград	316
33. 21 июля 1958. Ленинград	318
34. 26 июля 1958. Ленинград	322
35. 5 сентября 1958. Нижняя Золотица	324
36. 26 сентября 1958. Архангельск	328
37. 29 октября 1958. Пицунда	330
38. 2 ноября 1958. Пицунда	332
39. 13 ноября 1958. Пицунда	333
40. 17 марта 1959. Дубулты	336
41. 26 марта 1959. Дубулты	337
42. 1 апреля 1959. Вечером. Дубулты	339
43. 7 апреля 1959. Дубулты	341
44. В ночь на 2 июля 1959. Сибирь	342
45. 22 июля 1960. Койда	345
46. 21 сентября 1966. Таруса	345
47. 22 августа 1974. Абрамцево	346
48. 19 декабря 1975. Абрамцево	348
49. 5 апреля 1977. Абрамцево	349
50. 22 марта 1978	351

В. В. Конецкому

51. 23 сентября 1959. Москва	351
52. 8 декабря 1959. Малеевка	353

53. 21 марта 1960. Москва	355
54. 7 сентября 1960. Москва	356
55. 15 января 1961. Москва	358
56. 16 мая 1961. Коктебель	359
57. 29 марта 1963	361
58. 14 июня 1979. Абрамцево	363
59. 7 мая 1980. Абрамцево	365
60. 20 мая 1980. Абрамцево	366
61. 20 марта—18 мая 1981. Абрамцево	367
62. 21 ноября 1982. Красногорский госпиталь	371
О. В. Базунову	
63. 27 июня 1962. Таруса	375
Г. А. Горышину	
64. 20 августа 1968. Абрамцево	377
65. 4 декабря 1968. Абрамцево	379
66. 24 декабря 1968. Абрамцево	381
67. 15 марта 1969. Абрамцево	383
68. 23 марта 1969. Абрамцево	385
69. 8 октября 1971. Абрамцево	387
70. 16 октября 1971. Абрамцево	388
71. 25 января 1972. Абрамцево	389
72. 21 января 1973. Абрамцево	390
73. 19 сентября 1973. Абрамцево	391
74. 4 декабря 1973. Гагра	392
75. 27 сентября 1975	393
76. 14 ноября 1975	393
77. 14 декабря 1975	394
78. 18 ноября 1977	395
Э. Ю. Шиму	
79. 25 ноября 1968. Абрамцево	396
80. 13 декабря 1968. Абрамцево	398
81. 21 января 1969. Абрамцево	400
82. 22 января 1969	401
83. 13 февраля 1969. Абрамцево	402
84. 5 марта 1969. Абрамцево	404
85. 18 января 1971. Алма-Ата	406
86. 10 февраля 1971. Алма-Ата	407
87. 15 января 1972. Абрамцево	409
А. И. Шеметову	
88. 7 сентября 1965. Друскининкай	410
89. 21 сентября 1965. Друскининкай	411
90. 5 октября 1965. Друскининкай	413

91. 2 апреля 1970. Абрамцево	414
92. 18 апреля 1970. Абрамцево	415
93. 17 декабря 1975. Абрамцево	415
94. 15 января 1976. Абрамцево	416

Г. В. Семенову

95. 28 января 1962. Москва	417
96. 21 апреля 1962. Таруса	418
97. 1 апреля 1963. Таруса	419
98. 11 апреля 1963. Таруса	420
99. 26 января 1965. Алма-Ата	421
100. 7 декабря 1968. Абрамцево	423
101. 20 декабря 1968. Абрамцево	425
102. 28 марта 1971. <Медео>	426
103. 14 ноября 1972. Гагра	427
104. 18 июня 1976. Березово	428
105. 14 ноября 1982. <Красногорск>	429

В. П. Рослякову

106. 20 ноября 1968. Абрамцево	430
107. 13 декабря 1968. Абрамцево	432
108. 31 июля 1970. Абрамцево	433
109. 1 сентября 1972. Абрамцево	434
110. 1 декабря 1972. Вечер. Гагра	436
111. Февраль, 1978. Абрамцево	437
112. <Сентябрь 1979. Москва>	438
113. 26 марта 1981. Абрамцево	439

Матери и жене

114. 25 марта 1967. Париж	440
115. 27 марта 1967. Париж	441
116. 3 апреля 1967. Марсель	442

Отцу, матери, жене, сыну

117. 2 июля 1968. Углич	444
118. 10 июля 1968. Река Шексна	445
119. 13—14 июля 1968. Углич	446
120. 19—20 июля 1968. Река Сухона	449

Жене и сыну

121. 18 декабря 1972. Гагра	451
-----------------------------------	-----

Алеше Казакову

122. <Зима 1973. Гагра>	453
123. 5 сентября 1975. Абрамцево	453
124. 27 января 1976. Абрамцево	454
125. 9 февраля 1976. Абрамцево	455

126. 20 января 1977. Архангельск	456
127. 22 января 1977. Архангельск	456
128. 26 февраля 1977. Дубутты	457
129. 31 июля 1977. Абрамцево	458
130. 12 апреля 1980. Абрамцево	459

Приложение II. Рассказы Юрия Казакова

На полустанке	460
Манька	464
Трали-вали	476
Осень в дубовых лесах	487
Нам становится противно	501
Свечечка	519

Игорь Кузьмичев

К 89 **Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование.** — СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга, ООО «Журнал „Звезда“», 2012. — 536 с. + фото 16 с.

ISBN 978-5-7439-0160-9

Юрий Павлович Казаков (1927—1982) — мастер психологического рассказа, продолжатель русской классической традиции, чья проза во второй половине XX века получила мировую известность. Книга И. Кузьмичева насыщена мемуарными свидетельствами и документами; в ней в соответствии с требованиями серии «Жизнь и судьба» помещены в Приложении 130 казаковских писем, ряд уникальных фотографий и несколько казаковских рассказов.

Книга подготовлена к печати ООО «Журнал „Звезда“».

ББК 84.Р7

Кузьмичев Игорь Сергеевич

ЖИЗНЬ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Документальное повествование

Корректор *Н. В. Виноградова*

Верстка *В. М. Бердник*

Подписано к печати 30.04.2012. Формат 60x88¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура Ньютон. Уч. изд. л. 28,00. Уч. печ. л. 32,83. Тираж 500 экз. Заказ № 178.

Санкт-Петербургская общественная организация

«Союз писателей Санкт-Петербурга»

191186, Санкт-Петербург, Невский пр. д. 7-9.

Отдел реализации (812) 273-37-24

Отпечатано с готовых диапозитивов в «ИПК „Бионт“»

199026, Санкт-Петербург, В. О. Средний пр., 86.

тел. (812) 320-52-85

Серия «Русские писатели XX века. Жизнь и судьба»
представлена биографиями М. Волошина, Г. Иванова,
Н. Клюева, О. Мандельштама, Б. Пастернака,
М. Цветаевой и будет продолжена.